

Вальтер

Скотт



Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Под общей редакцией

Б. Г. РЕИЗОВА, Р. М. САМАРИНА,

Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО



Издательство

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Москва 1965 Ленинград

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том двадцатый

ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЖСКИЙ

Перевод с английского

Б. Т. ГРИБАНОВА

и

Н. С. НАДЕЖДИНОЙ

СТАТЬИ И ДНЕВНИКИ

Переводы с английского



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965 Ленинград

И (Англ.)

С-44

WALTER SCOTT
COUNT ROBERT OF PARIS
ARTICLES AND JOURNAL

Редакция переводов

Э. Л. Линецкой

Комментарии

*В. В. Захарова, Е. И. Клименко
и Н. А. Егунновой*

**ГРАФ
РОБЕРТ ПАРИЖСКИЙ**

Глава I

Леонтий

Та сила, что, как вестницу ненастья,
На небеса шлет грозовую тучу,
Веля в гнездо укрыться коноплянке,
На Грецию взирала безучастно
И нам судьбы ничем не предрекла.

Деметрий

О, были сотни предзнаменований:
Поправление законов, слабость власти,
Бунтарство черни, вырождение знати —
Все признаки больного государства.
В те дни, когда заводит всякий сброд
Речь о правах, каких еще, Леонтий,
Ждать знамений в угоду демагогам,
Что вводят в заблужденье лишь глупцов?

«Ирина», акт I¹

Внимательным наблюдателям за жизнью растительного царства хорошо известно, что хотя отводок от старого дерева по внешнему виду ничуть не отличается от молодого побега, в действительности этот отводок достиг такой же степени зрелости или даже одряхления, как и дерево-родитель. Этой особенностью, говорят, и объясняется одновременная болезнь и гибель многочисленных деревьев определенной породы, получивших все свои жизненные соки

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Васильевым.

от одного ствола и поэтому не способных пережить его.

Точно так же земные владыки пытаются ценой огромного напряжения сил пересаживать целые поселения, большие города и столицы; основатель такой столицы рассчитывает, что она будет столь же богата, величава, обширна и пышно украшена, как и прежняя, которую он жаждет воссоздать. В то же время он надеется начать новую эру, воздвигнув новую метрополию, которая должна, по его замыслу, не только сравняться долговечностью и славой со своей предшественницей, но, быть может, даже затмить ее юным великолепием. Однако у природы существуют свои законы, равно применимые, надо полагать, и к человеческому обществу и к царству растений. Есть, видимо, общее правило, согласно которому то, чему предназначена долгая жизнь, должно развиваться медленно и улучшаться постепенно; всякая же попытка, какой бы грандиозной она ни была, поскорее осуществить задуманное на века, с самого начала обрекает предпринятое дело на преждевременную гибель. В одной прелестной восточной сказке дервиш рассказывает султану, как он ухаживал за великолепными деревьями, среди которых они сейчас гуляют, когда эти деревья были еще слабыми побегами; гордость султана уязвлена, ибо он видит, что рощи, выращенные столь безыскусственно, с каждым днем набирают новые силы, а его собственные истощенные кедры, насильственно вырванные единым усилием из родной почвы, поникли своими царственными кронами в долине Ореца.

Насколько мне известно, все обладающие вкусом люди — кстати, при этом многие из них недавно побывали в Константинополе — сходятся на том, что если бы любому сведущему человеку дали возможность обозреть земной шар и выбрать город, более всего подходящий для столицы мировой империи, он отдал бы предпочтение городу Константины, столь счастливо сочетающему в себе красоту, роскошь, безопасность местоположения и величие. И все-таки, при всех преимуществах расположения и климата, при всем архитектурном блеске церквей и дворцов, при обилии

мрамора и сокровищницах, полных золота, даже сам царственный основатель города, должно быть, понимал, что хотя он и может по своему усмотрению распорядиться этими богатствами, но создать замечательные творения искусства и мысли, которые веками потрясают и радуют людей, способен только человеческий разум, развитый и доведенный древними до высшего своего предела. Греческий император мог своей властью разорить другие города и вывезти оттуда статуи и жертвенники, для того чтобы украсить ими новую столицу, но и те люди, которые совершили великие подвиги, и те — не менее, может быть, почитаемые, — которые запечатлели эти деяния в поэзии, в живописи, в музыке, давно перестали существовать. Для народа, хоть он и был пока что самым цивилизованным в мире, уже прошел тот период, когда жажда заслуженной славы является единственной или главной причиной, побуждающей трудиться историка или поэта, художника или ваятеля. Принятая в государстве раболопная и деспотическая конституция уже давно полностью разрушила гражданский дух, оживлявший историю свободного Рима; она оставила лишь бледные воспоминания, которые отнюдь не вызывали желания соперничать с нею.

Если представить себе Константинополь в виде одушевленного существа, то следует сказать, что пусть бы даже Константин и сумел возродить свою новую столицу, привив ей жизненно важные и животворные принципы древнего Рима, — Константинополь уже не мог подхватить, как не мог и Рим бросить, эту блистательную искру.

В одном важнейшем отношении состояние столицы Константина совершенно изменилось, и, безусловно, к лучшему. Мир стал теперь христианским и, отказавшись от языческих законов, избавился от гнета позорных суеверий. Нет ни малейшего сомнения и в том, что лучшая вера дала естественные и желанные плоды, понежнему смягчая грубость сердец и укрощая страсти народа. Но в то время как многие из обращенных смиренно принимали новое вероучение, кое-кто в своем высокомерии обеднял священное писание

собственными домыслами, а другие не упускали случая использовать свою принадлежность к церкви или духовный сан как средство к достижению временной власти. Так и получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране, хотя и принесли непосредственные плоды, посеяв множество добрых семян, которые должны были взойти впоследствии, но в четвертом столетии они еще не смогли проявиться настолько, чтобы приобрести господствующее влияние, ожидаемое людьми, в них уверовавшими.

Само убранство Константинополя, его вывезенная из чужих краев роскошь были отмечены некоей печатью старческого увядания. Когда Константин привез в новую столицу древние статуи, картины,obelisks и другие произведения искусства, он тем самым признал, что ничего сравнимого с ними в более поздние времена уже создано не было. Император, ограбивший весь мир, и особенно Рим, для того, чтобы украсить свой город, стал похож на беспутного юнца, который похищает у престарелой родительницы драгоценности и дарит их ветреной любовнице, хотя все видит, как неуместны на ней эти украшения.

Итак, превратившись в 324 году из скромной Византии в императорскую столицу, едва возникший и, повторяем, сверкающий заимствованным блеском, Константинополь уже таил в себе признаки быстрого упадка, к которому незаметно, подчиняясь внутренним причинам, клонился весь цивилизованный мир, ограниченный тогда рамками Римской империи. И потребовалось не так уж много веков, чтобы эти знамения гибели полностью оправдались.

В 1080 году Алексей Комнин¹ взошел на императорский трон, то есть был объявлен властителем Константинополя и всех зависимых от него областей и провинций. Отметим кстати, что, пожелай император вести спокойное существование, ему не следовало бы выезжать из своей столицы, ибо за ее пределами сон

¹ См. у Гиббона, гл. XLVIII, о происхождении и первоначальной истории дома Комнинов. (*Прим. автора.*)

его то и дело нарушался бесчинными набегами скифов и венгров. Только в самом городе, видимо, и было без-опасно жить: недаром императрица Пульхерия, решив воздвигнуть храм в честь деви Марии, выбрала место для него подальше от городских ворот, чтобы злобные вопли варваров не прерывали возносимых ею молитв. По тем же соображениям неподалеку от этого храма выстроил свой дворец и правящий император.

Алексей Комнин оказался в положении монарха, который скорее расхлебывает последствия того, что его предшественники были богаты, могущественны и владели огромной державой, нежели пользуется остат-ками этого наследства. Хотя он и звался императором, но управлять своими распадающимися провинциями мог не больше, чем издыхающая лошадь может дви-гаться конечностями, на которых уже расселись вороны и ястребы, терзающие добычу.

Всевозможные враги со всех сторон нападали на его владения и то с полным, то с переменным успехом вели с ним войны; многочисленные народы, с кото-рыми он враждовал, — франки на западе, турки, на-ступающие с востока, бесчисленные орды скифов и половцев, надвигавшиеся с севера и посылавшие тучи стрел, сарацины, вернее племена, на которые они делились, наседавшие с юга, — все они смотрели на Греческую империю как на лакомый кусок. У них у всех были свои собственные способы ведения войны и приемы боя, но римляне, как продолжали называть несчастных подданных Греческой империи, неизменно оказывались куда более слабыми, более неумелыми и трусливыми, чем любой враг, с которым они встреча-лись на поле сражения; император почитал себя счастливым, если ему удавалось вести оборонитель-ную войну, играя на противоречиях и используя ди-ких скифов для того, чтобы отбросить турок, или и скифов и турок, чтобы оборониться от неукротимых франков, которых во времена Алексея Петр Пустын-ник особенно воодушевил могущественной идеей кре-стовых походов.

И если Алексей Комнин во время своего беспо-койного правления Восточной империей был вынужден

вести нечестную и коварную политику, если порой, сомневаясь в доблести своих войск, колебался, вступать ли ему в бой, если нередко хитрость и обман заменяли ему мудрость, а вероломство — храбрость, то в этом скорее проявлялись позорные черты эпохи, нежели его личные свойства.

Императора Алексея можно обвинить и в том, что он довел придворный этикет до такой помпезности, которая часто граничила с глупостью. Он любил присваивать себе и даровать другим титулы, о которых оповещали пестро раскрашенные нагрудные знаки, не взирая на то, что эти пожалованные императором звания лишь усиливали презрение свободных варваров к придворной знати. Греческий двор был обременен бессмысленными церемониями, призванными возместить недостаток благоговейного почтения к государю, которое является данью истинным достоинствам и могуществу. Но не Алексей ввел эти церемонии: уже много веков их придерживались все византийские монархи. Действительно, по этому мелочному этикету, устанавливавшему правила поведения в самых обыденных делах на протяжении дня, по количеству глупейших правил Греческая империя не могла сравниться ни с одним государством, за исключением Китайской империи: обе они, бесспорно, находились под влиянием одного и того же суетного стремления — придать достойный вид и облик значительности тому, что по самой своей природе было весьма незначительно.

Но и тут мы должны оправдать Алексея, ибо хотя уловки, к которым он прибегал, были довольно низменными, все же они приносили его империи больше пользы, чем меры, к которым мог бы обратиться в подобных обстоятельствах более гордый и мужественный государь. Алексей, конечно, не стал бы мериться силами в поединке со своим франкским соперником, прославленным Боэмундом Антиохийским,¹ однако

¹ Боэмунд, сын Роберта Гискара, норманский покоритель Апулии, Калабрии и Сицилии, к началу Первого крестового похода имел титул графа Тарентского. Он был уже не молод, но

ему не раз доводилось сознательно рисковать жизнью; досконально изучив его деяния, нельзя не прийти к выводу, что особенно опасным этот греческий император становился в тех случаях, когда враги пытались задержать его во время отступления после стычки, в которой он был побежден.

Мало того, что Алексей, в соответствии с обычаями того времени, не колеблясь подвергал себя иной раз опасностям рукопашной схватки, — он еще обладал таким знанием военного дела, какое считалось бы достаточным и в наши дни. Он знал, как с наибольшей выгодой занять боевые позиции, и порою с подлинным искусством умел скрыть свое поражение или ловко использовать сомнительный исход боя, к глубокому разочарованию тех, кто полагал, что война ведется только на поле сражения.

Хорошо разбираясь в способах ведения войны, Алексей Комнин был еще более искусен в вопросах политики; не ограничиваясь только целью переговоров, которые он вел в данный момент, умея заглядывать далеко вперед, император уверенно добивался важных и прочных преимуществ; тем не менее нередко ему приходилось и проигрывать из-за беззастенчивого коварства или откровенного предательства со стороны варваров, как обычно именовали греки все остальные нации, в особенности же со стороны племен (их никак нельзя назвать государствами), окружавших его империю.

Мы можем завершить нашу краткую характеристику Комнина, сказав, что, не будь он вынужден непрерывно держать всех в страхе, чтобы уберечься от бесчисленных заговоров как в своей собственной семье, так и за ее пределами, он, по всей вероятности, был бы исполненным доброй воли и гуманным государем. Бесспорно, что он проявил себя человеком добродушным и реже рубил головы и выкалывал

охотно присоединился к походу латинян и стал князем Антиохийским. О подробностях его походов, о его смерти, а также о его необыкновенном нраве рассказывается у Гиббона, гл. LIX, и в «Истории крестовых походов» Миллса, т. I. (*Прим. автора.*)

глаза, чем его предшественники, которые, в основном, прибегали именно к этому способу борьбы с честолюбивыми происками соперников.

Остается еще упомянуть, что, полностью разделяя предрассудки той эпохи, Алексей лицемерно скрывал свое суеверие. Утверждают даже, что его супруга Ирина, которая, конечно, лучше других знала подлинный характер императора, обвинила своего умирающего супруга в том, что и на ложе смерти он прибегает к обману — постоянному спутнику своей жизни. Алексей с глубоким интересом относился ко всем вопросам, связанным с церковью, и всегда боялся, что в ней возобладают ереси, которые он ненавидел — или делал вид, что ненавидит. Мы не находим в его отношении к манихеям или к павликианам того сострадания к их теоретическим ошибкам, которого, по современным представлениям, вполне заслуживали эти несчастные секты размахом своей полезной мирской деятельности. Император не знал снисхождения к тем, кто неверно истолковывал таинства церкви или ее учение, и был убежден, что защита религии от раскола — такой же непреложный его долг, как и защита империи от бесчисленных варварских племен, нападавших на ее границы.

Здравый смысл в сочетании с нравственной слабостью, низость в сочетании с величием, благоразумная расчетливость в сочетании с малодушием, доходившим, по крайней мере с точки зрения европейцев, до прямой трусости, — такова была основа характера Алексея Комнина, а жил он в тот век, когда на чаше весов колебалась судьба Греции и всего, что еще уцелело от ее культуры и искусства, когда их спасение или гибель зависели от способности императора распорядиться картами, которые были ему сданы в этой нелегкой игре.

Мы вкратце изложили эти наиболее существенные обстоятельства для того, чтобы читатель, достаточно сведущий в истории, вспомнил особенности эпохи, избранной нами в качестве фундамента для нижеследующей повести.

Глава II

О ф и й

Наследница властителя земли,
Как ты зовешь хвастливо этот город,
Стоит одна в веках, как в океане, —
Большой страны последний островок:
Он грозной бездной не был поглощен
И, уцелев по милости природы,
Громадами подъятых в небо скал
Безбрежную пустыню озирает
В величье одиноком.

«Константин Палеолог», сщ. I

Перенесемся сперва в то место столицы Восточной империи, которое именуется Золотыми воротами Константинополя, и, кстати, отметим, что этот пышный эпитет выбран не так уж опрометчиво, как можно было бы ожидать от греков с их пристрастием к напыщенным восхвалениям самих себя, своей архитектуры и своих памятников.

Феодосий, прозванный Великим, значительно перестроил и укрепил мощные, на вид неприступные стены, которыми Константин окружил город. Триумфальная арка, сооруженная в былые, лучшие, хотя и отмеченные уже печатью вырождения времена, служила одновременно воротами, открывающими путникам вход в город. Над ее сводом высилась бронзовая статуя, олицетворявшая богиню Победы, которая склоняла чашу весов в пользу Феодосия; поскольку зодчий решил возместить недостаток вкуса роскошью, все надписи были окружены золоченым орнаментом; из-за этого орнамента ворота и получили в народе название Золотых. Статуи, изваянные в далекую и благодатную эпоху, смотрели со стен, отнюдь не составляя удачного сочетания с их архитектурой. Более поздние по времени украшения Золотых ворот странно противоречили в ту пору, о которой мы рассказываем, лстивым надписям, гласившим, что благодаря мечу Феодосия «победа вернулась в этот город» и наступил «вечный мир»: на арке было установлено несколько орудий для метания крупных

дротиков, и, таким образом, это чисто декоративное сооружение оказалось приспособленным для нужд обороны.

Был вечерний час, и свежий ветерок, дувший с моря, располагал прохожих, если только они не слишком торопились по своим делам, замедлить шаг и полюбоваться удивительными воротами, красивыми видами природы и разнообразными произведениями искусства, которые предлагал Константинополь и своим обитателям и приезжим.

Один человек, во всяком случае, проявлял ко всему этому больше интереса и любопытства, чем следовало ожидать от местного уроженца; быстрые удивленные взгляды, которые он бросал на окружавшие его редкости, говорили о том, что воображение его поражено новым и необычным зрелищем. Внешность этого человека выдавала в нем иноземца и воина: какая бы случайность ни занесла его в настоящее время к Золотым воротам, какую бы службу ни нес он при императорском дворе, если судить по цвету лица и волос, родина его находилась далеко от греческой столицы.

Ему было года двадцать два, и он отличался великолепным атлетическим сложением — качеством, в котором понимали толк жители Константинополя, частенько посещавшие гимнастические игры, где и научились ценить прекрасное человеческое тело, ибо среди их сограждан встречались несравненные образцы рода людского.

Впрочем, греки редко бывали так высоки ростом, как этот чужеземец у Золотых ворот; его зоркие голубые глаза и белокурые волосы, которые выбивались из-под легкого, изящно отделанного серебром шлема, украшенного гребнем в виде дракона, раскрывающего свою ужасную пасть, а также очень светлая кожа свидетельствовали о том, что он уроженец севера. Несмотря на редкостную красоту лица и фигуры, его никак нельзя было упрекнуть в женственности. От этого юношу спасали физическая сила и та спокойная уверенность в себе, с какой он смотрел на окружавшие его чудеса: глаза незнакомца выражали не бессмысленную растерянность тупицы и невежды, напо-

тив того — в них сверкал смелый ум, который, схватывая многое на лету, старается разобраться во всем, что было им не понято или, быть может, понято неправильно. Этот острый, светившийся мыслью взгляд привлекал внимание к молодому варвару, и прохожие, удивляясь тому, что ликарь из какого-то неведомого или отдаленного уголка земли обладает столь благородной внешностью, говорящей о его высоком уме, в то же время испытывали к нему уважение за то самообладание, с которым он относился к новым обычаям и обстановке, к предметам роскоши, чье назначение было ему совершенно неизвестно.

Одежда молодого человека, представляя собой удивительную смесь воинственного великолепия с женственной изысканностью, давала возможность опытному наблюдателю определить его национальность и род службы. Мы уже упоминали о причудливом шлеме с гребнем, изобличавшем в юноше чужеземца; пусть читатель добавит еще в своем воображении небольшую кирасу, или серебряный нагрудник, настолько узкий, что он явно не мог прикрыть такую широкую грудь и, следовательно, служил скорее украшением, нежели защитой; более того — попади точно брошенный дротик или стрела с острым наконечником прямо в эту богато разукрашенную кирасу, она и в этом случае вряд ли уберегла бы молодого воина от раны.

С его плеч на спину спадало нечто, напоминавшее медвежью шкуру; лишь при самом пристальном разглядывании обнаруживалось, что это отнюдь не охотничий трофей, а лишь подделка под него — короткий плащ, вытканый из толстого мохнатого шелка, и притом столь искусно, что даже на близком расстоянии ткань была похожа на шкуру медведя. На левом боку у чужестранца висела легкая кривая сабля в украшенных золотом и слоновой костью ножнах; чеканный эфес сабли был слишком мал для широкой руки этого так пышно разодетого молодого Геракла. Пурпурная одежда, плотно облегавшая тело, доходила только до колен, оставляя ноги солдата голыми, а от ступней до икр шли переплетенные ремни санда-

лий, скрепленные вместо пряжки золотой монетой с изображением царствующего императора.

Куда больше подходило к росту молодого варвара другое оружие, с которым не сумел бы справиться человек менее могучего сложения — алебарда с древком из крепкого вяза, отделанным железом и медью; многочисленные накладки и кольца прочно скрепляли сталь с деревом. Алебарда имела два широких, обращенных в разные стороны лезвия, между которыми торчал острый наконечник. Стальные ее части — лезвия и наконечник — были отполированы до зеркального блеска. Кому-нибудь послабее эта огромная алебарда была бы обременительна, но молодой воин нес ее как пушинку. Впрочем, этим тщательно сделанным и отлично уравновешенным орудием было гораздо легче наносить и отражать удары, чем казалось постороннему зрителю.

Уже то обстоятельство, что воин имел при себе алебарду и саблю, говорило о его иноземном происхождении. Греки, как народ просвещенный, никогда не носили в мирное время оружия, за исключением тех, от кого их воинский долг и звание требовали, чтобы они всегда были вооружены. Этих воинов без труда можно было отличить от мирных граждан, и прохожие со страхом и неприязнью говорили друг другу о чужеземце, что он варяг: так называли варваров, служивших в личной охране императора.

Чтобы возместить недостаток доблести среди своих собственных подданных и обеспечить себя воинами, целиком зависящими от милости императора, греческие государи издавна держали в качестве телохранителей отборную гвардию наемников. Эти наемники, отличавшиеся железной дисциплиной, нерушимой преданностью, физической силой и неукротимой отвагой, были достаточно многочисленны не только для того, чтобы предотвратить любое предательское покушение на особу императора, но и для того, чтобы подавить открытый мятеж, если, конечно, в нем не принимали участие крупные вооруженные силы. Жалование они получали щедрое, а их положение и утвердившаяся репутация смельчаков обеспечивали немалое уваже-

ние со стороны народа, мужество которого в последние несколько веков оценивалось не слишком высоко; будучи чужеземцами и служа в привилегированном воинском отряде, варяги не раз принимали участие в насильственных действиях против населения, и греки, питая к ним неприязнь, в то же время так их боялись, что храбрых чужеземцев мало трогало, любят их или нет жители Константинополя. Их парадное снаряжение отличалось, как мы уже говорили, богатством, вернее — кричащей роскошью, и только отдаленно напоминало одежду и оружие, которое они носили когда-то в своих родных лесах. Но когда воины этой гвардии несли службу за городом, они снаряжались так, как привыкли на родине; в этом снаряжении, не столь роскошном, но куда более устрашающем, они и выходили на поле боя.

Варяжская гвардия (согласно одному толкованию, слово «варяг» употреблялось как общее понятие «варвар») была создана в ранний период существования империи из жителей северных стран, занимавшихся мореплаванием и пиратством; в неведомые моря их увлекала безмерная страсть к приключениям и небывалое еще в истории презрение к опасностям. «Пиратство, — отмечает с обычной для него выразительностью Гиббон, — было для скандинавских юношей гимнастикой, ремеслом, источником славы и доблести. Наскучив суровым климатом и тесными границами своей родины, они вставали из-за пиршественного стола, хватали оружие, трубили в рог, поднимались на корабли и уплывали на поиски земель, где можно было чем-нибудь поживиться или надолго обосноваться».

Победы, одержанные во Франции и Англии этими дикими «владыками морей», как их тогда называли, затмили воспоминания о других северных завоевателях, которые, задолго до эпохи Комнинов, достигали Константинополя и собственными глазами убеждались в богатстве и слабости Греческой империи. Одни из них прокладывали себе путь через неведомые просторы России, другие плавали по Средиземному морю на «морских змеях», как именовали они свои

пиратские корабли. Императоры, насмерть перепуганные появлением этих бесстрашных жителей ледяного севера, прибегали к обычной политике богатого и не любящего войны народа: оплачивая золотом услуги их мечей, они составляли себе, таким образом, личную гвардию, более отважную, чем прославленная преторианская гвардия в Риме, и, вероятно, в силу меньшей численности, более преданную своим новым государям.

Однако в позднейший период императорам стало труднее отыскивать солдат для своей любимой отборной гвардии, ибо северные народы в значительной степени отказались от пиратских набегов и странствий, которые влекли их предков от Эльсинорского пролива в проливы Сеста и Абидоса. Поэтому варяжские отряды либо вовсе исчезли бы, либо пополнились менее ценным человеческим материалом, если бы завоевания норманнов на далеком западе не пришли на помощь Комнину, вызвав приток в его гвардию изгнанников, покинувших Британские острова и, в частности, Англию. Это были англосаксы, но благодаря путаным географическим представлениям, царившим при константинопольском дворе, их стали называть англо-датчанами, ибо их родину смешивали с Туле; в античные времена под этим названием разумели, собственно, Зееландский и Оркнейский архипелаги, но, по представлению греков, туда же входили и Дания и Британия. Действительно, язык, на котором говорили эти люди, не многим отличался от языка настоящих варягов, и они тем охотнее приняли это название, что оно напоминало им об их горестной судьбе, поскольку слово «варяг» могло истолковываться и как «изгнанник». Не считая одного-двух высших начальников-греков, которым император в виде исключения доверял, командирами варягов были люди той же национальности, что они сами; благодаря своим многочисленным привилегиям, а также все время вливающимся в их отряд свежим силам из числа англосаксов, или англо-датчан, прибывавших на восток в качестве крестоносцев, пилигримов или переселенцев, варяжские отряды просуществовали до последних дней

Греческой империи, сохраняя свое значение и свой родной язык вместе с безусловной верностью и непоколебимым боевым духом, отличавшими их отцов.

Все эти сведения о варягах являются строго историческими и могут быть подтверждены ссылками на византийских историков, большинство которых, как и Виллардуен в своем описании взятия Константинополя франками и венецианцами, неоднократно упоминало об этом избранном и единственном в своем роде отряде англичан, составлявших наемную охранную гвардию при греческих императорах.¹

Теперь, объяснив, каким образом наш варяг мог очутиться у Золотых ворот, мы продолжим прерванный рассказ.

Вряд ли приходится удивляться тому, что прохожие посматривали на этого воина императорской гвардии с некоторой долей любопытства. Варяги несли такого рода службу, что, разумеется, начальники не поощряли их к частому общению с местным населением, да они и сами понимали, что полицейские обязанности, которые им приходилось выполнять, внушают скорее страх, чем приязнь; знали они и о той зависти, с какой воины других отрядов относились к их высокому жалованью, роскошному снаряжению и непосредственной близости к императору. Поэтому они обычно держались поближе к своим казармам и показывались в других частях города, только если им давали какое-нибудь важное поручение.

При таком положении дел понятно, что столь любопытные люди, как греки, с интересом глазели на чужеземца, который то останавливался, то ходил взад и вперед, словно человек, который не может разыскать нужное ему место или не встретил знакомого, назначившего ему свидание. Изобретательные горожане придумывали по этому поводу тысячи всевозможных и самых противоречивых толкований.

¹ Дюканж излил поток учепости по поводу этого необыкновенного предмета, упомянутого им в «Заметках Виллардуена о Константинополе при французских императорах», Париж, 1637, in folio, стр. 196. Можно справиться и в «Истории» Гиббона, т. X, стр. 231. (Прим. автора.)

— Смотри, да ведь это варяг,— заметил один прохожий другому,— и не иначе как по делам службы. Позволь сказать тебе кое-что на ухо...

— А как ты думаешь, зачем он здесь? — полюбопытствовал его собеседник.

— О боги и богини! Неужели ты полагаешь, что я могу ответить на этот вопрос? Может, он подслушивает, что люди говорят об императоре, — отозвался константинопольский болтун.

— Вряд ли, — заявил вопрошавший. — Эти варяги объясняются только на своем наречии и, следовательно, не годятся для роли шпионов; ведь большинство из них не знает ни слова по-гречески. Нет, нет, не думаю, чтобы император держал в качестве соглядатая человека, не понимающего здешнего языка.

— Но если правда, как утверждают люди, что среди этих варваров есть такие, которые знают множество языков, то, согласись, они замечательно подходят для того, чтобы высматривать и подслушивать; у них есть все данные, необходимые для шпионов, и никому в голову не придет заподозрить их, — настаивал любитель политических сплетен.

— Все может быть, — ответил его собеседник, — и раз уж мы так ясно разглядели лисьи лапы и когти, выглядывающие из-под овечьей — или, если позволишь, скорее из-под медвежьей — шкуры, то не лучше ли нам потихоньку отправиться по домам, пока нас с тобой не обвинили в оскорблении варяжской гвардии?

Опасение, высказанное вторым собеседником, который был постарше и поискушеннее в делах политики, чем его приятель, заставило обоих спешно retirоваться. Они плотнее запахнули плащи, взялись под руки и, возбужденным шепотом обмениваясь тревожными сведениями, поспешили к своим домам, расположенным в другом, дальнем конце города.

Тем временем солнце склонялось к западу, и тени от стен, башен и арок становились темнее и гуще. Варягу, видимо, надоело разгуливать по маленькому кругу, в пределах которого он топтался уже больше часа, словно дух, обреченный витать в заколдованном

месте, откуда ему не выбраться, пока не будут разрушены чары. Наконец, бросив нетерпеливый взгляд на солнце, которое в яркой короне лучей садилось за купу густо разросшихся кипарисов, варвар выбрал себе место на одной из каменных скамеек, расположенных в тени триумфальной арки Феодосия, положил под бок главное свое оружие — алебарду, укрылся плащом, и, хотя одеяние его так же мало было приспособлено для сна, как ложе, избранное им для отдыха, не прошло и трех минут, как он крепко уснул. Быть может, непреодолимое желание отдохнуть, заставившее его расположиться в столь неподходящем месте, было вызвано длительным стоянием в карауле прошлой ночью. Однако, даже погрузившись в сон, он оставался настороже, словно бодрствуя с закрытыми глазами, и можно сказать, что ни одна сторожевая собака не спит так чутко, как спал наш англосакс у Золотых ворот Константинополя.

Но незнакомец, и спящий, привлекал к себе не меньше внимания случайных прохожих, чем прежде, когда он слонялся без дела. Под аркой появилось двое. Один из них, по имени Лисимах, тщедушный, подвижной человек, был художником. Все его профессиональное снаряжение состояло из свитка бумаги, который он держал в руке, и мешочка с несколькими мелками и карандашами; будучи знаком с памятниками античного искусства, он разглагольствовал о нем весьма авторитетным тоном, хотя, к сожалению, этот тон далеко не оправдывался его собственным мастерством. Его спутник напоминал отличным сложением молодого варвара, о котором уже шла речь, но черты лица у него были куда более грубые и жесткие; это был хорошо известный в палестре борец по имени Стефан.

— Постойм здесь, мой друг, — обратился к своему спутнику художник, доставая карандаши, — я хочу сделать набросок с этого юного Геракла.

— Я всегда считал, что Геракл был грек, — возражал ему борец, — а это спящее животное — варвар.

В голосе его прозвучала некоторая обида, и художник поторопился смягчить недовольство своего

друга, которое он, сам того не желая, вызвал. Стефан, известный под прозвищем Кастор, славился как превосходный гимнаст и в какой-то мере покровительствовал маленькому художнику; видимо, благодаря его известности не остался незамеченным и талант его друга.

— Красота и сила, — ответил находчивый художник, — не имеют национальности, и пусть наша муза откажет мне в своей благосклонности, но я наслаждаюсь, сравнивая их проявления у нецивилизованного северного дикаря и у любимого сына просвещенного народа, у человека, который сумел к своим выдающимся природным данным присоединить искусство гимнастической школы; такое сочетание мы видим теперь только в работах Фидия и Праксителя или в нашем живом образце, воскрешающем античный идеал гимнаста.

— Нет, я признаю, что этот варвар хорошо сложен, — сказал, несколько смягчившись, атлет, — только бедный дикарь, вероятно, ни разу в жизни не растер себе грудь даже каплей масла. Геракл же учредил Истмийские игры...

— Погоди, — прервал его художник. — Что это он прижимает к себе под своей медвежьей шкурой даже во сне? Уж не дубинка ли это?

— Прочь, прочь отсюда, мой друг! — воскликнул Стефан, приглядевшись к спящему. -- Разве ты не видишь, что это варварское оружие? Они ведь сражаются не мечом или копьем, как принято сражаться с людьми из плоти и крови, а молотом и топором, точно им предстоит рубить тела из камня и мышцы из дуба. Я готов прозакладывать свой венок — увы, из увядшей петрушки, — что он здесь для того, чтобы арестовать какого-нибудь высокопоставленного военачальника, оскорбившего власть. Иначе зачем ему быть столь грозно вооруженным... Прочь, прочь отсюда, мой добрый Лисимах, будем уважать сон этого медведя.

С этими словами чемпион палестры поторопился скрыться, проявив гораздо меньше уверенности в себе, чем можно было ожидать при его росте и силе.

Наступал вечер, тени кипарисов становились все гуще, прохожие попадались все реже и шли не останавливаясь. Две женщины-простолюдинки обратили внимание на спящего.

— Святая Мария! — сказала одна из них. — Он точь-в-точь как тот храбрый принц из восточной сказки, которого джинн унес из свадебных покоев в Египте и спящего бросил у ворот Дамаска. Разбужу-ка я этого бедного ягненка, а не то он простудится от ночной росы.

— Простудится? — отозвалась вторая, на вид постарше, с озлобленным лицом. — Роса причинит ему не больше вреда, чем холодная вода Кидна дикому лебедю. Ягненок! Ты уж скажешь! Да это скорее волк, или медведь, или на худой конец варяг, и ни одна порядочная женщина не станет разговаривать с таким неотесанным варваром. Вот я тебе расскажу, что со мной сделал один из этих англо-датчан...

И она увлекла свою подругу, которая последовала за ней с явной неохотой, делая вид, что слушает ее болтовню, но при этом все время оглядываясь на спящего.

Солнце зашло, и сумерки, которые в тропических странах столь коротки — одна из немногих привилегий стран с более умеренным климатом как раз в том и состоит, что там этот нежный и спокойный свет дольше не гаснет, — уступили место темноте; это послужило сигналом для городской стражи запереть створчатые половины Золотых ворот и закрыть на засов калитку, через которую попадали теперь в город те, кого дела допоздна задержали за стенами Константинополя и, уж само собой разумеется, кто готов был расплатиться какой-нибудь мелкой монетой. Варяг, распростертый на скамье и, видимо, спящий непробудным сном, не мог не привлечь внимания охраны ворот, где нес службу сильный отряд регулярных греческих войск.

— Клянусь Кастором и Поллуксом! — воскликнул центурион — ибо греки по-прежнему клялись именами античных богов и героев, хотя уже не поклонялись им, точно так же, впрочем, как они сохраняли воинские

звания, существовавшие еще в те времена, когда «непоколебимые римляне сотрясали мир», хотя давно уже переродились и забыли свои древние доблести. — Клянусь Кастором и Поллуксом, друзья, хотя эти ворота называются Золотыми, золота они нам не приносят, но мы сами будем виноваты, если не сумеем собрать добрую жатву серебром. Золотой век был самый древний и славный, не спорю, однако в наше ничтожное время не так уж плохо, если нам блеснет и менее благородный металл.

— Мы не заслуживали бы чести служить под командованием благородного центуриона Гарпакса, — отозвался один из стражников, мусульманин, судя по бритой голове и единственному пучку волос на макушке, — если бы не считали серебро достойным того, чтобы побеспокоить себя ради него, коли уж невозможно разжиться золотом: мы и цвет-то его позабыли — столько месяцев нам ничего не перепало ни от казны, ни от прохожих.

— А то серебро, о котором я говорю, ты увидишь собственными глазами и услышишь, как оно зазвенит, падая в мешок, где хранится наша общая казна.

— Ты хочешь сказать, доблестный начальник, где когда-то хранилась, ибо, насколько я знаю, сейчас в этом мешке нет ничего, кроме нескольких жалких обол, на которые можно купить только маринованных овощей да соленой рыбы — надо же чем-нибудь закупить виноградное пойло, что нам выдают. Я готов уступить свою долю дьяволу, если кто-нибудь обнаружит в этом мешке или на блюде признаки века более богатого, нежели бронзовый.

— Будь у нас еще меньше звонкой монеты, — ответил центурион, — все равно я пополню нашу казну. А ну-ка, подойдите ближе к калитке. Не забудьте, мы императорская стража, или стража императорской столицы, — это одно и то же, так что не зевайте, пусть никто не проскользнет мимо нас незамеченным. А теперь, когда каждый из вас смотрит в оба, я объясню вам... Впрочем, одну минуту... — прервал свою речь доблестный центурион. — Все ли здесь стоят один за другого? Все ли знают старинный и похвальный обы-

чай городской стражи — сохранять в тайне все, что касается прибылей и дел нашего поста, помогать и поддерживать друг друга, ничего не разбалтывая и никого не предавая?

— Ты сегодня что-то слишком подозрителен, — ответил ему стражник. — Мне кажется, мы поддерживали тебя и не болтали языком в делах посерьезнее. Забыл ты, что ли, как здесь проходил торговец драгоценными камнями?.. Это был не золотой и не серебряный век, а самый что ни на есть алмазный...

— Помолчи, Измаил, мой добрый язычник, — прервал его центурион. — Кстати сказать, слава богу, что у всех у нас разная вера — надо надеяться, хоть одна истинная среди них да найдется. Так вот, помолчи, говорю я, незачем разбалтывать старые тайны в доказательство того, что ты умеешь хранить новые. Иди сюда и посмотри сквозь калитку на каменную скамью вон там, в тени большого портика. Скажи-ка мне, старина, что ты там видишь?

— Спящего человека, — ответил Измаил. — И, клянусь небом, насколько я могу разобрать при свете луны, это один из тех варваров, заморских псов, которых в таком множестве набрал себе император.

— И ты, умная голова, видишь, что он спит, и не можешь придумать, как повыгоднее воспользоваться этим?

— Почему не могу? — возразил Измаил. — Хотя они не только варвары, а еще и языческие псы, но, в отличие от нас, мусульман, и от назареев, им платят очень хорошо. Этот малый напился и не смог вовремя найти дорогу к своим казармам. Его ждет жестокое наказание, если мы не согласимся пропустить его, а чтобы уговорить нас, ему придется опустошить свой пояс.

— Да, это уж по меньшей мере, — поддержали его остальные стражники, стараясь говорить потише, хотя в голосах их звучало нетерпение.

— И это все, что вы собираетесь извлечь из такого случая? — с презрением спросил Гарпакс. — Нет, друзья, если этот чужеземный зверь спасется от нас, то по крайней мере он должен оставить нам свою

шерсть. Неужто вы не видите, как сверкают его шлем и нагрудник? Заранее могу сказать, что они из настоящего серебра, хотя, может быть, и из тонкого. Вот они, серебряные копи, о которых я говорил, и они обогатят ловкие руки, способные поработать.

— Но ведь этот варвар, как ты его называешь, — воин императора, — несмело произнес молодой грек, недавно вступивший в отряд и незнакомый еще с его обычаями. — Если нас уличат в том, что мы отобрали у него оружие, то по заслугам накажут, как военных преступников.

— Нет, вы только послушайте, как этот новый Ликург учит нас нашему долгу! — воскликнул центурион. — Запомни, мальчишка, что, во-первых, столичная стража не может совершить преступление, а во-вторых, никто не может уличить ее в этом. Представь себе, что нам попался отбившийся от своих варвар, варяг, вроде этого спящего, или франк, или какой другой из этих иноземцев, чье имя и произнести-то невозможно, хотя, к стыду нашему, они вооружены и одеты, словно истые римские воины; так неужели же мы, кому доверено защищать столь важный пост, пропустим такого подозрительного человека, который, возможно, злоумышляет против Золотых ворот и золотых сердец, охраняющих их, — ведь ворота могут захватить, а нам попросту перерезать глотки?

— Если он кажется вам опасным человеком, — ответил новичок, — не пропускайте его совсем. Что касается меня, то я не стал бы его бояться, не будь при нем этой огромной обоюдоострой алебарды, поблескивающей из-под его плаща куда более страшно, чем комета, которая предвещает, по словам астрологов, такие удивительные события.

— Ну вот, выходит, мы во всем и согласны, — сказал Гарпакс, — сейчас ты говоришь как скромный и толковый юноша. Можешь мне поверить, государство ничего не потеряет, если кто-нибудь ограбит этого дикаря. У каждого из них есть доспехи, украшенные золотом, серебром, инкрустациями и костью, как подобает тем, кто несет службу во дворце самого императора, и, кроме того, есть боевое снаряжение из трижды

закаленной стали, прочное, тяжелое, перед которым нельзя устоять. Если мы отберем у этого подозрительного молодчика серебряный шлем и кирасу, мы тем самым заставим его облачиться в подобающие ему доспехи, и ты увидишь, что он пойдет в бой с тем оружием, какое ему пристало.

— Так-то оно так, — возразил новичок, — только из твоих рассуждений выходит, что, мол, сегодня мы вправе отнять у него снаряжение, но если завтра варяг докажет, что он человек не подозрительный, нам придется все вернуть, да еще поклониться при этом. А у меня есть такая мыслишка, что неплохо бы отобрать у него все это насовсем, в наше общее пользование, только вот не знаю, как это сделать.

— Конечно, надо отобрать насовсем, — сказал Гарпакс, — ибо еще со времен замечательного центуриона Сизифа установлено правило, по которому всякая контрабанда, всякое недозволенное оружие и прочие подозрительные товары, что пытаются пронести в город ночью, поступают в пользу воинов стражи; а уж если император решит, что товары или оружие отобраны незаконно, то, надо думать, он достаточно богат, чтобы возместить их стоимость потерпевшему.

— И все-таки, все-таки, — сказал упомянутый молодой грек, по имени Себаст из Митилены, — если император узнает...

— Ты просто осел! — воскликнул Гарпакс. — Не может он узнать, будь у него столько глаз, сколько у Аргуса на хвосте. Нас здесь двенадцать человек, и, как испокон веков заведено у городской стражи, все мы дали клятву не подводить друг друга. Допустим, этот варвар, даже если он что-нибудь вспомнит — в чем я очень сомневаюсь, так как место, выбранное им для отдыха, говорит о его давнишней дружбе с кувшином вина, — и станет рассказывать невероятную историю о том, как он потерял оружие, а мы, друзья мои, — при этом центурион оглядел своих соратников, — будем упорно все отрицать — я полагаю, на это у нас хватит храбрости, — то кому поверят? Конечно, страже!

— Вот уж нет! — ответил Себаст. — Я родился далеко отсюда, но даже до острова Митилены доходили

слухи, будто воины городской стражи Константинополя достигли такого совершенства во лжи, что клятва одного варвара перевесит клятвы целого отряда христиан, тем более, что в нем не одни христиане,— например, этот смуглый с пучком волос на голове.

— Даже если так, — сказал с мрачным и злоеющим видом центурион, — есть другой способ отнять у него оружие и при этом не попасться.

Глядя в упор на своего командира, Себаст дотронулся до висевшего у него сбоку восточного кинжала, словно спрашивая, правильно ли он понял. Центурион кивнул головой в знак согласия.

— Хотя я и молод, — сказал Себаст, — но мне уже довелось пять лет быть морским пиратом, а потом в течение трех лет заниматься грабежом в горах, и я ни разу не слышал, чтобы в подобных случаях, когда нужно действовать не мешкая, мужчина побоялся принять решение, единственно достойное храброго человека.

Гарпакс пожал стражнику руку в знак того, что разделяет его решимость, но, когда он заговорил, голос его слегка дрожал.

— Как же мы с ним поступим? — спросил он Себаста, который, хотя и был самым младшим среди стражников, поднялся в его глазах на недостижимую высоту.

— Да как угодно, — отозвался митиленец, — вон лежат луки и стрелы, и если никто, кроме меня, не умеет обращаться с ними...

— У нас, — сказал центурион, — это оружие не в ходу.

— Нечего сказать, хорошие вы стражи! — Молодой воин разразился грубым хохотом, в котором было что-то оскорбительное. — Что ж, пусть будет так. Я стреляю не хуже скифа, — продолжал он, — только кивните мне, и первой же стрелой я пробью ему череп, а вторую всажу в сердце.

— Bravo, мой благородный друг! — сказал Гарпакс с приторным восхищением, однако приглушив голос, словно уважая сон варяга. — Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты, и понадобились полубоги, чтобы

свершить над ними то, что столь ошибочно называют правосудием. Их потомки, равные им по смелости, останутся хозяевами на материке и островах Греции, пока на земле вновь не появятся Гераклы и Тесеи. И все-таки стрелять не надо, мой доблестный Себаст, здесь надо действовать наверняка, мой бесценный митиленец: ведь ты можешь только ранить его, а не убить.

— Этого я и сам не хотел бы, — сказал Себаст, вновь разражаясь грубым, кудахтающим смехом, который начал раздражать центуриона, хотя вряд ли он мог объяснить, почему этот смех так ему неприятен.

«Если я не позабочусь о себе, — подумал он, — так, пожалуй, у нас в отряде окажутся два центуриона вместо одного. Этот митиленец — или кто он там, дьявол его знает, — легко меня обскачет. За ним нужен глаз да глаз». Вслух же он властно сказал:

— Ну что ж, действуй, молодой человек; нехорошо осаживать начинающего. Если ты не врешь и действительно был разбойником в лесах и на море, так сам знаешь, что нужно делать, дабы не оставлять следов: вон лежит варяг, пьяный или спящий — этого уж мы не знаем, да оно и неважно, ибо ты должен расправиться с ним в любом случае.

— Значит, ты предоставляешь мне заколоть спящего или пьяного человека, высокоблагородный центурион? — спросил грек. — Может, тебе самому хочется заняться этим? — продолжал он с иронией в голосе.

— Делай что приказано, приятель, — буркнул Гарпакс, показывая ему на лесенку внутри башни, которая вела со стены к сводчатому входу под портиком.

— До чего бесшумно движется, прямо как кошка, — пробормотал он, когда стражник стал спускаться, чтобы совершить преступление, которое центурион по долгу службы обязан был предотвратить. — Этому петушку пора отрезать гребешок, не то он станет править в нашем курятнике. Посмотрим, какая у него рука — такая же решительная, как язык, или нет, а тогда будет ясно, что с ним делать.

Пока Гарпакс бормотал сквозь зубы, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо из своих подчи-

ненных, митиленец показался из-под арки и на цыпочках, но очень быстро направился к варягу, двигаясь необыкновенно проворно и вместе с тем бесшумно. Кинжал, который он успел обнажить, пока спускался, был отведен назад, чтобы его не было видно, и поблескивал в лунном свете. На секунду убийца застыл над спящим, словно для того, чтобы лучше разглядеть, в каком месте злополучная кираса обнажает грудь, которую она должна была защищать, но в тот миг, когда он собирался вонзить кинжал, варяг молниеносно вскочил, алебардой отбросил вверх руку убийцы и, избегнув опасности, в свою очередь нанес греку такой мощный удар, какому Себаста не обучали в гимнастической школе; у митиленца не хватило дыхания даже на то, чтобы позвать на помощь своих товарищей с крепостной стены. Они видели всё, что случилось: как варвар наступил ногой на их товарища и занес над ним алебарду, чей свист зловеще отдался под старинной аркой, видели, как он на мгновение приостановился с занесенным оружием перед тем, как обрушить на врага последний удар. Между стражниками поднялась суматоха, словно они намеревались броситься на помощь Себасту, без особой, впрочем, стремительности, но Гарпакс громким шепотом скомандовал им не двигаться.

— Все по местам, — прошипел он, — что бы там ни случилось. Сюда идет начальник гвардии; если митиленец убит этим дикарем — а я полагаю, что убит, ибо он не шевелит ни рукой, ни ногой, — то нашей тайны никто не узнает. Если же, друзья, он остался жив, будьте немые как рыбы — он один, а нас двенадцать. Мы ничего не знали о его намерении, кроме того, что он пошел посмотреть, почему варвар спит так близко от сторожевого поста.

Пока центурион деловито растолковывал товарищам по караулу, как им следует вести себя, внизу показался рослый и статный воин; на нем было богатое оружие и шлем, высокий гребень которого засверкал, когда его владелец вышел из-под арки на лунный свет. Среди стражников, стоявших наверху, пробежал шепот.

— Задвиньте засов, закройте калитку, — приказал центурион, — а уж с митиленцем пусть будет что будет: мы погибли, если признаем, что он один из наших. Это идет сам начальник варяжской гвардии, главный телохранитель императора.

— Эй, Хирвард, — обратился к варягу пришедший на ломаном лингва-франка, на котором обычно объяснялись варвары, служившие в императорской гвардии, — ты что, поймал ночного сокола?

— Клянусь святым Георгием, ты прав, — отозвался варяг, — только у меня на родине его посчитали бы всего лишь коршуном.

— А кто он? — спросил начальник.

— Это он сам тебе расскажет, — ответил варяг, — когда я перестану сжимать ему горло.

— Отпусти его, — последовал приказ.

Англичанин повиновался, но как только митиленец почувствовал свободу, он с неожиданной ловкостью выскочил из-под арки и побежал, укрываясь за вычурными украшениями, которыми по воле зодчего изобиловали ворота снаружи; он вертелся вокруг опор и выступов, преследуемый по пятам варягом, которому его оружие мешало догнать быстрого грека, укрывавшегося от своего преследователя то в одном темном углу, то в другом. Вновь пришедший от души смеялся, глядя, как эти две фигуры, неожиданно появляясь и исчезая подобно теням, метались друг за другом вокруг арки Феодосия.

— Клянусь Гераклом, можно подумать, что это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона, — произнес он, — только на этот раз Пелиду, пожалуй, не настигнуть сына Приама. Эй ты, рожденный богиней, сын белоногой Фетиды! Впрочем, бедному дикарю непонятны эти сравнения. Эй, Хирвард! Говорю тебе, остановись! Уж свое-то варварское имя ты знаешь. — Последние слова он пробормотал себе под нос, затем опять возвысил голос: — Побереги свое дыхание, добрый Хирвард! Оно тебе еще понадобится сегодня ночью.

— Стоило тебе приказать, — ответил варяг, нехотя приближаясь к командиру и с трудом переводя

дух, как человек, бежавший из последних сил, — и уж я не упустил бы его, загнал бы, как борзая зайца. Не будь на мне этих дурацких доспехов, которые только обременяют, вместо того чтобы защищать, мне не потребовалось бы и двух прыжков, чтобы схватить его и сдвинуть ему глотку.

— Оставь его в покое, — сказал воин, который действительно был главным телохранителем или, как его называли, аколитом, ибо обязанностью этого облеченного высокими полномочиями начальника варяжской гвардии было постоянно сопровождать особу императора. — Давай лучше посмотрим, каким образом нам вернуться в город, потому что, если, как я подозреваю, эту шутку сыграл с тобой один из стражников, его товарищи могут не захотеть добровольно пропустить нас.

— А разве для тебя не дело чести до конца расследовать такое нарушение порядка?

— Помолчи, мой простодушный дикарь! Я часто говорил тебе, невежественный Хирвард, что мозги тех, кто явился сюда с севера, из холодной и грязной Беотии, скорее вынесут двадцать ударов кузнечным молотом, чем изобретут какой-нибудь ловкий и хитроумный ход. Слушай меня внимательно, Хирвард. Конечно, я хорошо понимаю, что разоблачать тайны греческой политики перед столь неискушенным варваром, как ты, все равно что метать бисер перед свиньями, а святое писание предостерегает нас от этого; тем не менее, поскольку у тебя такое доброе и верное сердце, какое не часто сыщется даже среди моих варягов, я воспользуюсь случаем — ты ведь должен сегодня сопровождать меня — и познакомлю тебя с некоторыми сторонами этой политики. Я сам, главный телохранитель, начальник над всеми варягами, возведенный их непобедимыми алебардами в сан доблестного из доблестных, руководствуюсь ею несмотря на то, что у меня есть все возможности вести свою галеру против дворцовых течений с помощью одних лишь весел и парусов. Да, я снисхожу до политики, хотя ни один человек при императорском дворе, этом средоточии блистательных умов, не смог бы, пустив в ход

открытую силу, добиться того, чего легко достиг бы я. Что ты по этому поводу думаешь, мой добрый ди-карь?

— Я знаю одно, — ответил варяг, следуя за своим начальником в полутора шагах сзади, как положено и в наши дни идти вестовому за своим офицером, — мне было бы жаль ломать себе голову над тем, что можно решить в два счета с помощью рук.

— Ну, не прав ли я был? — сказал главный телохранитель, который уже несколько минут шагал вдоль наружной, залитой лунным светом городской стены, внимательно вглядываясь в нее, словно не рассчитывая больше на то, что Золотые ворота открыты, и отыскивая другой вход. — Вот видишь, чем набита твоя голова вместо мозгов! По сравнению с головами ваши руки — настоящее совершенство. Слушай же меня, самое невежественное из всех животных и именно поэтому — надежнейший из наперсников и храбрейший из воинов: я открою тебе секрет нашей сегодняшней ночной прогулки, хотя не уверен, что ты все поймешь даже после моих объяснений.

— Мой долг стараться понять твою доблесть, — ответил варяг, — вернее — твою политику, раз уж ты так снисходительно стараешься растолковать ее мне. Что касается твоей доблести, — добавил он, — то хорошо бы я был, если бы не знал ее вдоль и поперек.

Греческий военачальник слегка покраснел, однако голос его не дрогнул:

— Это правда, мой добрый Хирвард. Мы видели друг друга в бою.

Тут Хирвард не сдержался и легонько кашлянул. Грамматикам того времени, столь изощренным в искусстве разгадывать смысл интонации, этот кашель не показался бы панегириком храбрости грека. Действительно, несмотря на то, что командир на протяжении всей их беседы тоном своим то и дело подчеркивал свое высокое положение и превосходство, в этом тоне чувствовалось явное уважение к собеседнику, как к человеку, который в минуту опасности во многих отношениях может проявить себя более храбрым воином, чем он сам. С другой стороны, хотя могучий

северный воин отвечал своему начальнику, соблюдая все правила дисциплины и этикета, беседа их порой напоминала разговор между невежественным франком офицером и опытным сержантом того же полка, — речь идет, разумеется, о том времени, когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским. В каждом слове северянина звучало чувство собственного превосходства, прикрытое внешней почтительностью, и начальник молчаливо признавал это превосходство.

— Ты позволишь мне, мой простодушный друг, — продолжал главный телохранитель прежним тоном, — вкратце познакомить тебя с основным принципом политики, который господствует при константинопольском дворе. Дело в том, что милость императора, — тут он приподнял шлем, а варяг сделал вид, что повторяет его движение, — который (да будет благословенна земля, по коей он ступает!) является не менее животворным началом для своих подданных, чем солнце — для всего рода человеческого...

— Я уже слышал что-то в этом роде от наших ораторов, — заметил варяг.

— Они обязаны поучать вас, — ответил начальник, — и я полагаю, что священники, произнося свои проповеди, также не забывают наставлять моих варягов в верности и преданности императору.

— Нет, не забывают, только мы, изгнанники, сами знаем свой долг.

— Видит бог, я не сомневаюсь в этом, — сказал главный телохранитель. — Просто хочу, чтобы ты понял, мой дорогой Хирвард, что есть такие насекомые — впрочем, в вашем суровом и мрачном климате их, быть может, и не существует, — которые рождаются с первыми проблесками света и гибнут с заходом солнца. Мы называем их эфемерами, поскольку они живут всего лишь один день. Такова же и участь придворного фаворита, который живет в лучах улыбок священной особы императора. Счастлив тот, кто попал в милость с той минуты, когда император, подобно светилу, появившемуся из-за горизонта, впервые вззошел на трон, кто потом сверкал отраженным све-

том императорской славы, кто сохранил свое место, когда эта слава достигла зенита, кто исчез и умер вместе с последним лучом императорского сияния.

— Твоя доблесть, — прервал его островитянин, — говорит столь высоким слогом, что моим северным мозгам трудно все это понять. Только, по-моему, чем избирать такую долю — жить до захода солнца, так уж я, будь я насекомым, предпочел бы родиться мошкой и просуществовать два-три часа в темноте.

— Таковы, Хирвард, низменные желания людей ничтожных и обреченных на жизнь ничем не выдающуюся, — с напускным высокомерием произнес главный телохранитель, — мы же, люди, отмеченные печатью высоких достоинств, составляющие ближайшее, избраннейшее окружение императора Алексея, где он является центром, мы с женской ревностью следим за тем, как он раздает свои милости, не упуская возможности, то объединяясь, то выступая друг против друга, выдвинуться и удостоиться его ясного взора.

— Пожалуй, я понял, о чем ты говоришь, — сказал Хирвард, — хотя жить такой жизнью, полной интриг... Но, конечно, это к делу не относится...

— Конечно, не относится, мой добрый Хирвард, — ответил главный телохранитель, — и счастье твое, что тебя не тянет к такой жизни. И все же я видел варваров, которые достигали высоких постов при императорском дворе, хотя им и не хватало гибкости или, скажем, эластичности, не хватало счастливой способности применяться к обстоятельствам... Так вот, повторяю, я знавал представителей варварских племен — большей частью это были люди, с детства воспитанные при дворе, — которые при небольшой гибкости обладали столь непреклонной силой характера, что, будучи не слишком способными использовать обстоятельства, сами с необыкновенным талантом эти обстоятельства создавали. Однако довольно сравнений. Итак, тебе должно быть понятно, что в этой погоне за славой, то есть за монаршей милостью, приближенные благословенного императорского двора стараются всячески выделиться и показать государю, что каждый из них не только превосходно справляется

со своими обязанностями, но и может в случае необходимости заменить других.

— Да, теперь мне все понятно, — сказал англосакс. — Выходит, что высокопоставленные придворные, военачальники и помощники государственных деятелей постоянно заняты не тем, чтобы помогать друг другу, а тем, чтобы шпионить за своим соседом?

— Совершенно верно, — ответил начальник, — и не далее как несколько дней назад я получил бесспорное доказательство этому. Любой придворный, как бы глуп он ни был, знает, что великий протоспафарий — таков титул главнокомандующего всеми военными силами империи, — тебе это, разумеется, известно, — так вот, он ненавидит меня, ибо я являюсь начальником грозных варягов, которые заслуженно пользуются привилегией не подчиняться его беспредельной власти, распространяющейся на все войсковые соединения, хотя Никанору, несмотря на его столь победоносно звучащее имя, власть эта не больше подходит, чем седло — волю.

— Вот как! — воскликнул варяг. — Значит, протоспафарий хочет командовать благородными изгнанниками? Клянусь знаменем красного дракона, под которым мы сражаемся и умираем, мы не станем подчиняться ни единой живой душе, кроме самого Алексея Комнина и наших начальников!

— Это ты сказал правильно и смело, мой добрый Хирвард, — заметил главный телохранитель. — Но, и предаваясь справедливому негодованию, смотри не забывай при упоминании имени благословенного императора прикладывать руку к шлему и перечислять его титулы.

— Моя рука будет подниматься достаточно часто и достаточно высоко, когда этого потребует служба императору, — заявил северянин.

— В этом я могу поклясться, — сказал Ахилл Татий, начальник варяжской императорской гвардии, решив, что сейчас неподходящее время для того, чтобы требовать точного соблюдения этикета, хотя знание этого этикета он считал своей важнейшей

воинской заслугой. — И все-таки, сын мой, если бы не постоянная бдительность вашего начальника, благородные варяги были бы попорчены и растворились бы в общей массе армии, среди всех этих языческих когорт гуннов, скифов или предавшихся нам нечестивых турок в тюрбанах. И теперь вашему начальнику угрожает опасность именно из-за того, что он требует, чтобы его алебардщиков оценивали выше, чем жалких скифских копьеносцев и вооруженных дротиками мавров, чье оружие годится только для детских игр.

— От любой опасности, — сказал воин, доверительно придвигаясь к Ахиллу Татию, — тебя защитят наши алебарды!

— Разве я когда-нибудь сомневался в этом? — сказал Ахилл Татий. — Но сейчас главный телохранитель благословенного монарха доверяет свою безопасность тебе одному.

— Я сделаю все, что подобает воину, — ответил Хирвард. — Решай, как действовать дальше, и не забудь, что я один стою двух любых воинов из других отрядов императора.

— Слушай дальше, мой храбрый друг, — продолжал Ахилл Татий. — Этот Никанор осмелился бросить тень на нашу благородную гвардию, обвинив ее воинов — о боги и богини! — в том, что на поле боя они похитили и — что еще святотатственнее! — выпили драгоценное вино, приготовленное для самого святейшего императора. В присутствии священной особы императора я, как ты сам понимаешь, не мог промолчать...

— Понимаю, ты хочешь загнать ему эту ложь в его наглую глотку! — воскликнул варяг. — Ты назначил ему встречу где-нибудь в окрестностях и взял с собой своего ничтожного подчиненного Хирварда из Гемптона, который за такую честь будет твоим рабом до конца дней! Только почему ты не сказал мне, чтобы я взял с собой обычное оружие? Однако со мной алебарда и...

Тут Ахилл Татий улучил момент и прервал своего спутника, встревоженный его слишком воинственным тоном,

— Успокойся, сын мой, — сказал он, — и говори потише. Ты сделал неправильный вывод, мой доблестный Хирвард. Действительно, когда ты рядом со мной, я не побоюсь сразиться с пятью такими воинами, как Никанор, но поединки запрещены законом нашей возлюбленной богом империи и не угодны трижды прославленному монарху, правящему ею. Тебя испортили, мой храбрый воин, хвастливые рассказы франков — эти истории, которые с каждым днем все больше распространяются по Константинополю.

— Никогда по доброй воле я ни в чем не стану подражать тем, кого ты называешь франками, а мы — норманнами, — сердито ответил варяг.

— Не горячись, — сказал Татий, продолжая идти вдоль стены. — Лучше вдумайся в существо дела, и тогда тебе станет ясно, что обычай, который франки именуют дуэлью, не может существовать в стране, где господствуют цивилизация и здравый смысл, не говоря уже о нашем государстве, удостоенном такого монарха, как несравненный Алексей Комнин. Два царедворца или два военачальника спорят в присутствии высокочтимой особы императора. Они в чем-то несогласны между собой. И вдруг, вместо того чтобы каждому отстаивать свою точку зрения, выдвигая аргументы или доказательства, представь, что они обратятся к обычаю этих варваров франков! «Ты наглый лжец!», — скажет один. «Нет, это ты насквозь пропитан гнусной ложью!» — ответит другой, и тут же оба начнут выбирать место для поединка. Каждый клянется, что правда на его стороне, хотя, вероятно, оба недостаточно знают, в чем она заключается. Один из них, возможно — наиболее храбрый, честный и добродетельный, главный телохранитель императора и отец своих варягов, остается лежать бездыханным на земле — смерть ведь никого не щадит, мой верный спутник, — а другой возвращается и процветает при дворе, хотя, если бы дело было расследовано с точки зрения здравого смысла и справедливости, то победителя, как его величают, должны были бы послать на виселицу. Вот что такое спор, решенный в «честном

поединке», как ты изволишь называть это, друг мой Хирвард.

— Если на то пошло, твоя доблесть, то согласен, в твоих словах есть доля правды, — ответил варвар, — но меня легче убедить в том, что эта лунная ночь черна, как пасть волка, чем заставить спокойно слушать, как меня обзывают лжецом. Нет, я тут же вгоню эти слова обидчику в глотку острием моей алебарды! Обвинить человека во лжи — это все равно что ударить его по лицу, а кто не отвечает ударом на удар, тот просто жалкий раб или выючное животное.

— Опять ты за свое! — сказал Ахилл Татий. — Неужели я так никогда и не внушу вам, что ваши варварские обычаи толкают вас, самых дисциплинированных воинов божественного императора, на кровавые ссоры и вражду, которые...

— Господин начальник, — угрюмо отозвался варяг, — послушай моего совета, принимай варягов такими, каковы они есть; поверь мне, если ты приучишь их сносить оскорбления, терпеть ложь и не отвечать на удары, то очень скоро убедишься, что при самой лучшей дисциплине они не будут стоить дневной порции соли, которую расходует на них святейший император, если таков его титул. Скажу тебе больше, доблестный начальник: варяги вряд ли будут очень благодарны своему командиру, если узнают, что при нем их обозвали грабителями, пьяницами и еще не знаю как, а он тут же на месте не опроверг этих обвинений.

«Да, — подумал Татий, — если бы я не умел приноравливаться к причудам моих варваров, дело кончилось бы ссорой с этими неукротимыми островитянами: напрасно император думает, что их так легко держать в повиновении. Надо немедленно уладить эту размолвку».

— Мой верный воин, — примирительно сказал он саксу, — точно так же, как вы полагаете себя обязанными возмущаться, когда вас обвиняют во лжи, мы, римляне, в соответствии с обычаями наших предков, считаем для себя делом чести говорить только правду, и поскольку все, что сказал Никанор, чистейшая

правда, я поступил бы бесчестно, упрекнув его во лжи...

— Как! Выходит, что мы, варяги, действительно воры, пьяницы и тому подобное? — еще более раздраженно, чем раньше, спросил Хирвард.

— Конечно нет, если говорить по существу, — ответил Ахилл Татий, — однако вы дали серьезный повод для этой выдумки.

— Где и когда? — спросил англосакс.

— Помнишь ли ты, — сказал начальник, — тот длинный переход от ущелья к Лаодикее, когда варяги разгромили полчища турок и отбили захваченный ими обоз с императорским имуществом? Ты отлично знаешь, что вы наделали в тот день, — я имею в виду то, как вы утолили тогда свою жажду.

— У меня есть все основания помнить, — ответил Хирвард из Гемптона, — мы чуть не задохлись от пыли и усталости, а хуже всего было то, что нам все время приходилось отбивать атаки с тыла; тут как раз нам в руки попало несколько бочек с вином, оставленных на разбитых повозках, и вино это исчезло в наших глотках так быстро, точно то был лучший эль из Саут-гемптона.

— Несчастные! — воскликнул главный телохранитель. — Неужели вы не заметили, что эти бочки были опечатаны личной и неприкосновенной печатью трижды превосходительного главного кравчего и предназначены для священных уст его императорского величества?

— Клянусь добрым святым Георгием нашей веселой Англии, который стоит дюжины ваших святых Георгиев Каппадокийских, вот уж что меня мало заботило! — ответил Хирвард. — Я только помню, что и твоя доблесть сделала хороший глоток из моего шлема — не из этой серебряной игрушки, а из стального шлема, который вдвое больше. И доказательство этому есть: сперва ты приказал отступать, а как отмыл глотку от пыли, будто сразу стал другим человеком и крикнул нам: «Грудью встретим новый удар врага, мои храбрые и стойкие сыны Британии!»

— О, — ответил Ахилл Татий, — в бою я не знаю удержу. Но в одном ты ошибся, добрый Хирвард; вино, которым я освежился после изнурительной схватки с врагом, было не то, что предназначалось для собственных уст его священного величества, а совсем другое, второго сорта, оставленное главным кравчим для самого себя, и я, как один из высших военачальников, имел законное право попробовать его. Однако дело все равно чрезвычайно неприятное.

— Клянусь жизнью, — ответил Хирвард, — я не вижу большого греха в том, что, умирая от жажды, мы выпили это вино.

— Ничего, мой благородный друг, не унывай, — сказал Ахилл; поспешно оправдав себя, он сделал вид, что не замечает легкомыслия, с каким варяг отнесся к своему проступку. — Его императорское величество в своей неизреченной милости не считает преступниками тех, кто участвовал в этой неблагоразумной проделке. Более того — он упрекнул протоспафария за то, что тот выступил с таким обвинением, и, напомнив о неразберихе и смятении, царивших в тот трудный день, сказал: «Я сам почувствовал себя лучше в этом ужасном пекле, когда промочил себе горло глотком ячменного вина, которое обычно пьют мои бедные варяги; да, я с удовольствием выпил за их здоровье, тем более что если бы не они, это был бы последний глоток в моей жизни. Слава их мужеству, хотя они, в свою очередь, выдули мое вино!» После этого он отвернулся, словно говоря: «С меня довольно всех этих сплетен и козней, направленных против Ахилла Татия и его храбрых варягов».

— Да благословит господь его благородное сердце за такие слова! — воскликнул Хирвард, и на этот раз в его тоне было больше искренней сердечности, чем полагающегося почтения. — Я буду пить за его здоровье, чем бы мне ни пришлось в следующий раз утолять жажду — элем, вином или водой из канавы.

— Хорошо сказано, только не старайся перекричать самого себя и не забывай прикладывать руку к шлему, когда называешь имя императора или думаешь о нем. Ну так вот, Хирвард, получив такое преимуще-

ство и понимая, что, отбив атаку, всегда следует немедленно переходить в наступление, я возложил на протоспафария Никанора ответственность за грабежи, которые происходят у Золотых ворот и у других входов в город: ведь совсем недавно был похищен и убит купец, который вез драгоценности, принадлежавшие патриарху.

— В самом деле? — воскликнул варяг. — И что же сказал Алек... то есть святейший император, когда он услышал о таких подвигах городской стражи? Хотя ведь он сам, как говорят у меня на родине, поставил лису стеречь гусей.

— Может, так оно и есть, — ответил Ахилл, — но наш государь — тонкий политик и не станет преследовать этих вероломных стражей или их начальника протоспафария, не имея решающих доказательств. Поэтому его святейшее величество поручил мне добыть с твоей помощью обстоятельные улики.

— Я добыл бы их в две минуты, не прикажи ты мне прекратить погоню за этим гнусным головорезом. Но его величество знает, чего стоит слово варяга, и я могу заверить его, что желание завладеть этой серебряной штукой, которую они, точно в насмешку, называют кирасой, и ненависть к нашему отряду — вполне достаточный повод для любого из этих негодяев, чтобы перерезать горло уснувшему варягу. Надо думать, мы с тобой пойдем сейчас к императору и расскажем ему об этом ночном разбое?

— Нет, мой нетерпеливый варяг, даже если бы ты поймал мерзавца, я немедленно отпустил бы его, и я требую от тебя, чтобы ты забыл обо всем происшедшем.

— Вот так поворот в политике! — воскликнул варяг.

— Ты прав, мой храбрый Хирвард. Перед тем как я ушел сегодня из дворца, патриарх постарался восстановить мир между мной и протоспафарием, и поскольку наше доброе согласие очень важно для государства, я как хороший воин и хороший христианин не мог отказаться от примирения. Патриарх поручился, что все оскорбления, нанесенные моей чести, бу-

дут полностью искуплены. Император, который предпочитает ничего не знать о наших ссорах, очень хочет, чтобы эта история заглохла.

— А обвинения, возведенные на варягов... — начал Хирвард.

— Будут взяты обратно и заглажены, — прервал его Ахилл Татий, — увесистым подарком в виде золотых монет, которые раздадут всем воинам англо-датского отряда. Если хочешь, мой Хирвард, я назначу тебя раздатчиком, и ты позолотишь свою алебарду, только сумей ловко провести этот дележ.

— Мне моя алебарда больше нравится такой, какова она есть, — сказал варяг. — Мой отец разил ею воров норманнов при Гастингсе. Эта сталь мне дороже золота.

— Дело твое, Хирвард, — ответил начальник. — Только пеняй на себя, если ты так и останешься бедняком.

Но тут они подошли к калитке, или, лучше сказать, к вылазным воротам, которые вели внутрь большого и массивного укрепления, прикрывавшего вход в город. Начальник остановился и склонил голову с видом святоши, готовящегося войти в особо почитаемую часовню.

Глава III

Здесь дерзость — не подмога:
Главу ты обнажи
И меч свой у порога
Смирненно положи.
Опасностей здесь много:
Будь словно лань, что вдруг
Охотничьего рога
Заслышит дальний звук.

«Двор»

Перед тем как войти в калитку, Ахилл Татий проделал ряд сложных поклонов, а непривычный к этому варяг неловко и смущенно повторял все его движения. Почти вся служба Хирварда до этого проходила

в боевых походах, и только совсем недавно его перевели в константинопольский гарнизон. Поэтому он не был еще знаком с разработанным до мелочей этикетом, который греки — самые церемонные и чопорные воины и придворные в мире — соблюдали не только по отношению к самому императору, но и вообще ко всему, что было с ним связано.

Ахилл, особым образом отвесив полагающиеся поклоны, постучал наконец в ворота, отчетливо и в то же время негромко. Трижды повторив стук, он прошептал своему сопровождающему:

— Сейчас откроют! Если тебе дорога жизнь, повторяй за мной все, что я буду делать.

В тот же момент он подался назад, низко опустил голову, прикрыл глаза рукой, словно защищая их от яркого света, который вот-вот должен вспыхнуть, и стал ждать ответа. Англо-датчанин, повинувшись приказу командира и повторяя все его движения, застыл рядом в позе, на восточный лад изображавшей смирение. Маленькие воротца открылись внутрь; из полной темноты возникли фигуры четырех варягов с алебардами, занесенными так, словно они собирались повергнуть наземь пришельцев, нарушивших покой их сторожевого поста.

— Аколит, — произнес начальник вместо пароля.

— Аколит Татий, — пробормотали стражи и опустили алебарды.

Ахилл горделиво вскинул голову, украшенную высоким шлемом, весьма довольный, что воины знают, как велико его влияние при дворе. Хирвард остался невозмутимым к полному недоумению главного телохранителя, удивленно вопрошавшего себя, как это можно быть столь невежественным, чтобы спокойно наблюдать такую сцену, которая, по его личному мнению, должна была внушать благоговейный страх. Спокойствие своего спутника он отнес за счет его тупой бесчувственности.

Они прошли между стражами, которые, расступившись, пропустили их к длинной и узкой доске, перекинутой через городской ров, прорытый между укреплением и городской стеной.

— Эту доску,— шепнул начальник Хирварду,— называют Мостом Опасности: говорят, иногда она оказывалась смазанной маслом или посыпанной сушеным горохом, и тела людей, приближенных к священной особе императора, обнаруживали в бухте Золотой Рог, куда стекают воды из рва.

— Никогда бы не подумал,— сказал островитянин, повысив голос до обычного,— что Алексей Комнин...

— Молчи, безумец, или не сносить тебе головы! — воскликнул Ахилл Татий. — Тот, кто будит дочь императорских сводов,¹ всегда навлекает на себя тяжкую кару; но если преступный безумец нарушает ее покой словами, затрагивающими священную особу его величества императора, смерть — и та покажется благом по сравнению с наказанием, которое ждет наглеца, прервавшего ее праведный сон! Судьба лишила меня милостей, иначе я не получил бы прямого приказа доставить в священные покои существо, стоящее на столь низкой ступени цивилизации, что оно способно думать только о безопасности своего брэнного тела и не знает духовных радостей. Посмотри на себя, Хирвард, и подумай, кто ты такой? Обыкновенный варвар, и похвалиться ты можешь лишь тем, что на войне, которую ведет твой государь, ты убил нескольких мусульман и что тебя допустили в запретные покои Влахернского дворца, где твой голос может услышать не только царственная дочь императорских сводов, или, иначе говоря, эхо этих великолепных залов,— продолжал красноречивый аколит, — но и, помилуй нас небо, само священное ухо!

— Ладно, начальник,— ответил варяг, — я, конечно, не умею сказать все так, как положено в этом месте, и сам понимаю, что не гожусь для придворных бесед. Поэтому я не вымолвлю ни слова, пока ко мне не обратятся, если только не увижу там людей вроде меня самого. Мне трудно приглушать свой голос и изменять его: каким его создала природа, такой он и есть.

¹ Дочь сводов — выражение, бывшее в ходу при дворе и означающее эхо, как это объясняет сам придворный военачальник. (Прим. автора.)

А поэтому, мой храбрый начальник, я буду нем, пока ты не дашь мне знака говорить.

— Вот это мудро с твоей стороны, — сказал начальник. — Здесь будут особы весьма высокого ранга, более того — порфирородные, так что, Хирвард, приготовься соразмерять свое пустое варварское самодовольство с их высоким разумением и не вздумай отвечать на изящные улыбки взрывами дикого хохота, которыми ты привык раздражаться в компании своих приятелей.

— Я ведь уже сказал тебе, что буду молчать, — возразил задетый этими словами варяг. — Если ты веришь моему слову — хорошо, а если считаешь, что я сорока, которая трещит где попало и что попало, то я вернусь домой, и дело с концом.

Ахилл, считая, видимо, неразумным доводить до крайности своего подчиненного, в ответ на резкие слова варяга несколько понизил тон, как бы говоря этим, что прощает грубость человеку, с которым даже его соотечественникам трудно было состязаться в силе и храбрости: эти качества Ахилл в глубине души ценил куда больше, чем изысканные манеры выложенных и учтивых воинов, поэтому и пропускал мимо ушей бесцеремонные замечания Хирварда.

Главный телохранитель, отлично знавший лабиринты императорской резиденции, пересек несколько дворов причудливой формы, составлявших часть огромного Влахернского дворца,¹ и через боковую дверцу, охраняемую также стражами из варяжской гвардии, которые, узнав, пропустили их, он вместе с варягом вошел в здание. В следующей комнате помещалась караульня, где несколько воинов этого же отряда развлекались играми, напоминавшими современные шашки и кости, то и дело прикладываясь к вместительным бутылкам с элем, которым их щедро снабжали, чтобы скрасить часы их службы. Хирвард переглянулся с товарищами; он предпочел бы присоединиться к ним или хотя бы поболтать, так как после приключения с мити-

¹ Этот дворец получил свое наименование от соседних Влахернских ворот и моста. (Прим. автора.)

ленцем эта прогулка при лунном свете его скорее раздражала, чем радовала, если не считать коротких, но волнующих минут, когда он предполагал, что ему предстоит драться на дуэли. Но хотя варяги и не соблюдали строгих правил этикета, принятого при высочайшем дворе, у них были свои, весьма жесткие понятия о воинском долге; поэтому Хирвард, не перемолвившись ни единым словом с товарищами, проследовал за начальником через караульную и через несколько приемных залов, роскошная обстановка которых подсказала ему, что теперь он находится в священных покоях самого императора.

Миновав многочисленные коридоры и покои, по которым главный телохранитель, видимо хорошо знакомый с ними, шел мягкими, крадущимися и какими-то почтительными шагами, словно, пользуясь его собственным напыщенным выражением, боялся разбудить эхо величественных и монументальных сводов, они начали наконец встречать других обитателей дворца. Наш северянин увидел несчастных рабов, большей частью африканцев, которых греческие императоры порою облакали большой властью и даже окружали почетом, следуя в этом одному из самых варварских обычаев восточного деспотизма. Иные из них стояли у дверей и в проходах как бы на страже, с обнаженными саблями в руках, другие по-восточному сидели на коврах, отдыхая или играя в различные игры, проходившие в полном молчании. Начальник Хирварда ни слова не говорил этим дряхлым и искалеченным существам. Стражам достаточно было взглянуть на главного телохранителя, чтобы беспрестанно пропустить и его и варяга.

Пройдя несколько помещений, где были только рабы, либо вообще никого не было, они попали в отделанный черным мрамором или каким-то другим темным камнем зал, еще более величественный и длинный, чем остальные. Насколько мог разглядеть островитянин, в зал вело несколько боковых проходов, однако масляные и смоляные светильники над порталами так чадили, что в их неверном мерцании трудно было опре-

делить форму и архитектуру зала. Только по концам этого огромного и длинного помещения светильники горели ярче. Дойдя до середины покоя, Ахилл обратился к воину не своим обычным голосом, а тем осторожным шепотом, которым он начал говорить с того момента, как они миновали Мост Опасности:

— Оставайся здесь, пока я не вернусь; ни при каких обстоятельствах не уходи отсюда.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил варяг, употребив формулу повиновения, которую, как и многие другие выражения и обычаи, империя, все еще присваивавшая себе титул Римской, заимствовала у восточных варваров. Ахилл Татий поспешно поднялся по ступенькам, которые вели к одной из боковых дверей зала, слегка толкнул ее, она бесшумно открылась и пропустила главного телохранителя.

Оставшись в одиночестве, варяг, желая развлечься в дозволенных ему пределах, обошел оба конца зала, где свет давал возможность лучше рассмотреть помещение. В задней стене, в самом центре ее была низенькая железная дверь. Над ней был прибит бронзовый крест, а вокруг него и по сторонам двери висели бронзовые же украшения в виде оков и цепей. Дверь в темной сводчатой нише была приоткрыта, и Хирвард, естественно, заглянул в нее — ведь приказ начальника не запрещал ему удовлетворять свое любопытство таким путем. Тусклый красноватый свет, похожий на мерцание далекой искры, исходил от площадки, укрепленной на стене очень узкой винтовой лестницы, размерами и очертаниями напоминавшей колодец; внизу лестница упиралась в порог железной двери, — мнилось, тут начинается спуск в преисподнюю. Варяг, которого греки с их быстрым умом считали несообразительным, тем не менее легко догадался, что лестница столь мрачного вида, да еще украшенная столь зловещими символами, может вести только в императорские подземелья — по своей протяженности и запутанности самую, быть может, значительную и, уж во всяком случае, самую устрашающую часть священного дворца. Хирвард внимательно прислушался, и ему показалось, что он слышит звуки,

которые могли бы исходить из могил, где заживо погребены люди; ему мерещились стоны и вздохи, доносившиеся из бездонной пропасти. Но здесь, видимо, его воображение дополнило картину, созданную на основании догадок.

«Я не сделал ничего такого, — подумал он, — за что меня можно было бы замуровать в одной из этих подземных пещер. Хотя мой начальник Ахилл Татий и не многим умнее осла, но не так же он вероломен, чтобы под вымышленным предлогом заманить меня в тюрьму. Однако если он все-таки решил подобным образом позабавиться сегодня вечером, то, думаю, последнее, что он в жизни увидит, — это блеск английской алебарды. Пойду-ка я лучше посмотрю, что делается в другом конце этого огромного зала; может быть, там я найду более счастливые предзнаменования».

Подумав так, могучий сакс направился в другой конец чернораморного зала, стараясь согласно требованиям этикета приглушить свои тяжелые шаги и не бряцать оружием. Здесь портал был украшен небольшим алтарем, который несколько выступал над аркой и был похож на алтари в языческих храмах. На нем курились благовония, и вьющийся дымок легким облачком поднимался к потолку, застилая удивительную эмблему, совершенно непостижимую для варяга. Это было бронзовое изваяние, изображавшее две руки с раскрытыми ладонями, словно отделявшиеся от стены и дарующие благословение тем, кто приближался к алтарю. Руки эти, вдвинутые вглубь по сравнению с алтарем, все же были видны сквозь дым курений в свете площадок, помещенных так, чтобы озарять всю арку. «Я понял бы смысл этого изображения, — подумал простодушный варвар, — если бы руки были стиснуты в кулаки, а зал предназначался для гимнастических упражнений, или, по-нашему, для кулачных боев... Нет, поскольку даже беспомощные греки дерутся кулаками, то, клянусь святым Георгием, я не могу понять, что означают эти разжатые ладони».

Но тут в ту же дверь, через которую он уходил, вошел главный телохранитель и, приблизившись к неопиту, как можно было бы назвать варяга, сказал ему:

— Следуй за мной, Хирвард, ибо наступает решающая минута. Собери все свое мужество, потому что, поверь мне, от этого зависят твоя честь и доброе имя.

— Если для того, что мне предстоит сегодня, достаточно доблестного сердца и сильной руки, способной обращаться вот с этой игрушкой, то можешь не тревожиться за мою честь и доброе имя.

— Сколько раз я тебе уже напоминал — говори тише и смиреннее, — сказал начальник, — кроме того, опусти алебарду; вообще, мне думается, лучше бы ты оставил ее во внешних покоех.

— С твоего дозволения, доблестный начальник, — ответил Хирвард, — я не люблю расставаться с моей кормилицей. Я ведь один из тех неотесанных невеж, которые не умеют вести себя прилично, если им нечем занять руки, а моя верная алебарда — лучшая забава для них.

— Ну ладно, оставь ее при себе, только помни, что не следует размахивать ею, как ты это обычно делаешь, и не надо орать, вопить и рычать, как на поле боя; не забывай о святости этого места, где любой шум подобен богохульству, и о том, с какими особами тебе, быть может, придется здесь встретиться: оскорбить их — это в некотором смысле все равно, что кощунственно бросить вызов небу.

Наставляя таким образом своего ученика, учитель провел его через боковую дверь в соседнюю комнату, по всем признакам — прихожую, пересек ее и остановился на пороге приоткрытой двухстворчатой двери, ведущей в помещение, которое, видимо, можно было назвать парадным залом дворца. Глазам неотесанного уроженца севера открылось зрелище новое и необычайное для него.

Это был тот покой Влахернского дворца, которым пользовалась в особых случаях любимая дочь императора Алексея, царевна Анна Комнин, чье имя дошло

и до наших дней благодаря ее литературному таланту, запечатлевшему историю правления ее отца. Она торжественно восседала в кругу избранного литературного общества, какое в те времена могла собрать только дочь императора, порфирородная, то есть рожденная в священном порфирном покое. Она была душой и властительницей этого общества, и сейчас мы окинем его взглядом, чтобы составить себе представление о ее родных и гостях.

У царевны-писательницы были живые глаза, правильные черты лица и, по всеобщему мнению, мягкие, приятные манеры; впрочем, ничего другого о дочери императора все равно никто не сказал бы, будь даже ее манеры не слишком любезны. Она расположилась на небольшой скамье, или софе, потому что в Византии прекрасному полу не разрешалось возлежать, как это было принято у римских матрон. Стол перед ней был завален книгами, чертежами, засушенными травами, рисунками. Скамья стояла на небольшом возвышении, и приближенным царевны или вообще тем, с кем она желала побеседовать особо, разрешалось во время этой почетной беседы прислоняться коленями к упомянутому возвышению, или помосту; таким образом, они как бы стояли, но в то же время и преклоняли колена. Три других сиденья различной высоты были установлены на том же помосте и под тем же царственным балдахином, который осенял царевну Анну.

Одно из них, точно соответствовавшее по размерам и форме ее собственной скамье, предназначалось для ее мужа, Никифора Вриенния. О нем говорили, что он испытывал, — а может быть, только выказывал — величайшее уважение к учености своей супруги, хотя придворные утверждали, что на ее вечерних приемах он отсутствует гораздо чаще, чем хотелось бы самой Анне и ее царственным родителям. Придворные сплетники частично объясняли это тем, что Анна Комнин была гораздо привлекательней, пока не стала такой ученой, и хотя ее можно было назвать красивой женщиной и сейчас, все же, чем образован-

нее она становилась, тем более утрачивала женское обаяние.

Для того чтобы искупить недостаточную по сравнению с императорским тронном высоту скамьи Никифора Вриенния, ее подвинули почти вплотную к скамье Анны, чтобы царица все время видела своего красавца мужа, а он не упускал ни единой крупинки мудрости, срывающейся с уст его ученой супруги.

Два других почетных сиденья, или, скорее, трона, потому что там были и подлокотники, и расшитые подушки под спину, и скамеечки для ног, не говоря уже о великолепии простертого над ними балдахина, предназначались для императорской четы, которая часто посещала публичные чтения своей дочери, происходившие в уже знакомой нам обстановке. В таких случаях императрица Ирина испытывала чувство особой гордости, как мать столь образованной дочери, а Алексей с удовольствием слушал рассказ о своих собственных подвигах, изложенный напыщенным языком царицы, а порой незаметно дремал, убаюканный ее диалогами о премудростях философии, вместе с патриархом Зосимой и другими почтенными мужами.

В описываемый нами момент все места, предназначенные для членов императорской семьи, были заняты, за исключением того, где должен был сидеть Никифор Вриенний, супруг прекрасной Анны Комнин. Вероятно, сердитая морщинка на челе царицы была вызвана именно его отсутствием, свидетельствовавшим о пренебрежении. Рядом с ней на помосте находились две прислуживавшие ей нимфы в белых одеяниях, а попросту — две рабыни, которые стояли, преклонив колена на подушки, пока не требовалась их помощь в качестве живых подставок для того, чтобы держать или разворачивать пергаментные свитки, куда царица заносила свои собственные глубокие мысли или откуда цитировала чужие. Одна из этих девушек, по имени Астарта, была таким выдающимся каллиграфом, так красиво умела писать на разных языках с разными алфавитами, что однажды ее чуть было не отправили в подарок калифу, не умевшему ни читать, ни писать, чтобы задобрить его и предот-

вратить войну. Что же касается Виоланты, второй прислужницы царевны, такой мастерицы петь и играть на различных музыкальных инструментах, что ее прозвали Музой, то она действительно была послана Роберту Гискару, эрцгерцогу Апулии, дабы смягчить его нрав; но, будучи стар и глух, — а девочке в то время исполнилось всего десять лет, — он вернул этот ценный дар царственному жертвователю и с присущим этому лукавому норманну сластолюбием пожелал, чтобы вместо девчонки, которая гнусавит и визжит, ему прислали кого-то, кто по-настоящему смог бы ублажить его.

Внизу у помоста сидели или возлежали на полу придворные, допущенные на это собрание. Из всех почтенных гостей, посещавших литературные вечера царевны, — а именно так они назывались бы в наши дни, — только патриарху Зосиме и еще нескольким старикам было дозволено пользоваться низенькими скамеечками. Считалось, что для более молодых вельмож честь быть допущенным к беседе с членами императорской семьи куда важнее презренной потребности удобно сидеть. Их было человек пять-шесть, различного возраста и в различных одеяниях. Некоторые стояли, другие отдыхали, преклонив колена у разукрашенного фонтана, который разбрызгивал тончайшую водяную пыль; рассеиваясь почти незаметно для глаз, она освежала воздух, пропитанный ароматами цветов и растений, расставленных таким образом, что, с какой бы стороны ни дул ветерок, он всюду разносил их благоухание. Среди собравшихся выделялся рослый, дородный старик по имени Михаил Агеласт, одетый на манер древних философов-циников; впрочем, он отличался не только нарочитой небрежностью в одежде и грубостью манер, присущей этой секте, но и пунктуальнейшим соблюдением самых строгих правил этикета, установленного императорской семьей. Он не скрывал, что придерживается идей, изложенных циниками, был известен своими республиканскими взглядами и в то же время, странным образом противореча себе, откровенно пресмыкался перед сильными мира сего. Удивительно, с каким постоянством этот

старик, которому было уже за шестьдесят, пренебрегал обычной привилегией прислониться к чему-нибудь или опереться коленями и либо упрямо стоял на ногах, либо уже совсем опускался на колени; однако, как правило, он предпочитал стоять, из-за чего и заслужил у своих придворных друзей прозвище Элефаса, то есть Слона, поскольку древние считали, что это обладающее почти человеческим разумом животное наделено такими суставами, которые не позволяют ему становиться на колени.

— Однако в стране гимнософистов я видел, как слоны опускаются на колени, — заметил кто-то из приглашенных в тот вечер, когда главный телохранитель должен был привести Хирварда.

— Они опускались на колени, чтобы их хозяева могли взобраться к ним на спину? Наш Слон сделал бы то же самое, — сказал патриарх Зосима с насмешкой в голосе, которая настолько приближалась к сарказму, насколько это было дозволено этикетом греческого двора, где, в общем, царило убеждение, что менее преступно даже обнажить кинжалы в присутствии членов императорской семьи, чем обмениваться при них остротами. Даже невинный сарказм Зосимы был бы сочтен недопустимым при этом строгом дворе, не занимая патриарх столь высокого положения, которое давало ему право на некоторые вольности.

В тот момент, когда патриарх таким образом несколько нарушил приличия, в зал вошел Ахилл Татий со своим воином. Главный телохранитель больше чем когда-либо щеголял утонченностью манер, словно хотел оттенить ею грубоватую безыскусственность варяга: однако в глубине души он испытывал гордость, представляя императорской семье своего прямого и непосредственного подчиненного, человека, которого он привык считать одним из самых замечательных, как по внешности, так и по существу, воинов армий Алексея.

Неожиданное появление новых людей вызвало некоторый переполох. Ахилл вошел в зал тихо, с видом спокойной и непринужденной почтительности, свидетельствовавшей о том, что он привык бывать в таком

обществе. Хирвард же запнулся у самого порога, но, догадавшись, что попал в придворное общество, поспешил исправить свою неловкость. Его начальник чуть пожал плечами, как бы прося извинения у собравшихся, а Хирварду сделал тайком знак, призывая его вести себя разумно, то есть снять шлем и пасть ниц. Но англосакс, непривычный к невразумительным намекам, первым делом, разумеется, вспомнил о своем воинском долге и, подойдя к императору, отдал ему честь. Он преклонил колено, слегка прикоснулся рукой к шлему, затем выпрямился, вскинул алебарду на плечо и замер перед тронем, как часовой в карауле.

Легкая улыбка удивления появилась на лицах придворных при виде мужественной внешности северного воина и его бесстрашного, хотя и несколько нарушающего этикет поведения. Многие перевели взгляд на лицо императора, не зная, должны ли они отнестись к неловкому вторжению варяга как к неучтивости и выказать свой ужас по этому поводу или же им следует рассматривать его манеру держать себя как проявление грубоватого, но мужественного усердия и в таком случае выразить свое одобрение.

Прошло несколько минут, прежде чем император настолько овладел собой, чтобы, по заведенному обычаю, дать придворным почувствовать, как им нужно держаться. Алексей Комнин на какой-то момент не то задремал, не то задумался. Из этого-то состояния его и вывело неожиданное появление варяга; хотя он давно привык к тому, что внешняя охрана дворца поручена этой доверенной гвардии, но внутреннюю охрану, как правило, несли упомянутые нами изуродованные чернокожие, которые иногда поднимались до положения государственных министров и верховных военачальников. Поэтому вырванный из дремоты Алексей, в чьих ушах еще отдавались звонкие фразы его дочери, читавшей описание боя из большого исторического труда, где она подробно рассказывала о войнах, имевших место во время его царствования, был несколько неподготовлен к появлению и воин-

ственному приветствию одного из англосаксонских гвардейцев, которые всегда напоминали ему о кровавых схватках, опасности и смерти.

Окинув всех настороженным взглядом, император остановил глаза на Ахилле Татии.

— Что тебя привело сюда, мой верный аколит? — спросил он. — И почему этот воин находится здесь в столь поздний час?

Тут-то и настало время для придворных придать своим лицам выражение *regis ad exemplum*,¹ но, прежде чем патриарх успел каждой своей чертой изобразить глубочайшую озабоченность, Ахилл Татий сказал несколько слов, напомнивших Алексею, что он сам приказал привести сюда этого воина.

— Ах, да, совершенно верно, добрый мой аколит, — сказал император, и тревожные морщины исчезли с его лба. — Мы забыли об этом деле за другими государственными заботами.

После этого он обратился к варягу искренней и теплей, чем обычно говорил со своими придворными: ведь для деспота монарха надежный рядовой гвардеец — это человек, которому можно доверять, в то время как любой военачальник всегда вызывает у него некоторые подозрения.

— А, наш достойный англо-датчанин, как твои дела?

Столь нецеремонное приветствие удивило всех, кроме того, к кому оно было обращено. Хирвард ответил императору военным поклоном, скорее сердечным, нежели почтительным, и громким, неприглушенным голосом, поразившим присутствующих даже больше, чем англосаксонский язык, на котором иногда говорили эти чужеземцы, воскликнул:

— *Waes hael, Kaisar mirrig und machtigh!* — что означало: «Будь здоров, великий и могущественный император!»

Алексей тонко улыбнулся и, чтобы показать, что он может разговаривать со своими воинами на их родном языке, произнес обычный ответ:

¹ Такое же, как у царя (лат.).

— Drink haell!¹

В ту же минуту прислужник подал серебряный кубок с вином. Император слегка пригубил его, словно пробуя на вкус, и затем приказал передать вино Хирварду, чтобы тот выпил.

Сакс не заставил просить себя дважды и тут же осушил кубок до дна. Легкая улыбка, приличествующая такому обществу, пробежала по лицам собравшихся при виде подвига, отнюдь не удивительного для гиперборейца, но поразившего умеренных греков. Сам Алексей рассмеялся гораздо громче, чем это могли себе позволить придворные, и, с трудом подбирая варяжские слова и путая их с греческими, спросил у Хирварда:

— А ну-ка, скажи, мой храбрый британец, мой Эдуард, — помнится, тебя зовут Эдуардом, — знаком ли тебе вкус этого вина?

— Да, — ответил варяг, не моргнув глазом, — я пробовал его однажды под Лаодикоей...

Тут Ахилл Татий, понимая, что воин вступает на весьма зыбкую почву, сделал попытку привлечь его внимание и тайными знаками заставить замолчать или по крайней мере тщательно обдумывать слова в таком обществе. Но варяг, повинуясь военной дисциплине, смотрел только на императора как на своего повелителя, которому он обязан отвечать и служить, и не замечал знаков Ахилла, ставших настолько явными, что Зосима и протоспафарий обменялись выразительными взглядами, словно предлагая друг другу отметить в памяти поведение главного телохранителя.

Между тем разговор между императором и воином продолжался.

— Как же тебе понравился этот глоток по сравнению с тем? — спросил Алексей.

— Мой господин, — ответил Хирвард, обведя присутствующих взглядом и поклонившись с врожденной учтивостью, — общество здесь, конечно, гораздо приятнее, чем компания арабских лучников. Но я не почувствовал того вкуса, который придают глотку

¹ Пью за твое здоровье! (старонем.).

редкостного вина палящее солнце, пыль битвы и усталость после того, как поработаешь таким оружием, как это, — он поднял свою алебарду, — восемь часов подряд.

— Быть может, у этого вина есть другой недостаток, — сказал Агеласт-Слон, — если мне простят такой намек, — добавил он, взглянув в сторону трона. — Может, этот кубок слишком мал по сравнению с тем, который был при Лаодикее?

— Клянусь Таранисом, ты сказал правду, — ответил варяг, — при Лаодикее мне для этого послужил мой шлем.

— Давай-ка сравним эти сосуды, приятель, — продолжал издеваться Агеласт, — мы хотим увериться, что ты не проглотил сегодняшнего кубка вместе с его содержимым. Мне, во всяком случае, показалось, что проглотил.

— Есть вещи, которые я не проглатываю так легко, — спокойно и невозмутимо ответил варяг, — но они должны исходить от человека помоложе и посильнее, чем ты.

Присутствующие вновь обменялись улыбками, как бы говорившими о том, что философ, хотя и был взятым острословом, в данной схватке потерпел поражение.

В этот момент сказал свое слово император:

— Я посылаю за тобой, приятель, не для того, чтобы тебя здесь осыпали пустыми насмешками.

Агеласт немедленно спрятался за спины придворных, как охотничья собака, на которую хозяин прикрикнул за то, что она не вовремя тявкнула. Но тут наконец заговорила царица Анна Комнина, прекрасное лицо которой уже выражало нетерпение:

— Может быть, мой возлюбленный отец и повелитель, ты объяснишь счастливым, допущенным в этот храм муз, зачем ты приказал сегодня привести этого воина сюда, в святилище, столь недоступное обычно людям его звания? Позволь мне сказать, что мы не должны тратить на легкомысленные и глупые шутки время, столь священное и дорогое для блага империи, как и каждая минута твоего отдыха.

— Наша дочь говорит мудро, — заметила императрица Ирина, которая, как большинство матерей, не наделенных никакими талантами и не очень способных оценить их у прочих людей, горячо восхищалась совершенствами своей любимой дочери и всегда готова была выставить их напоказ. — Позволь мне заметить, что стоило в этом священном и избранном обиталище муз, посвященном занятиям нашей возлюбленной и высокоодаренной дочери, чье перо сохранит твою славу, наш августейший супруг, до того дня, когда погибнет все сущее, а ныне доставляет радость и счастье этому обществу, состоящему из лучших цветов мудрости нашего возвышенного двора, — так вот, позволь мне заметить, что стоило здесь появиться одному-единственному воину из охранной гвардии, как наша беседа приняла характер, свойственный казарме.

Император Алексей Комнин испытывал в эту минуту то же ощущение, что и любой мужчина, когда его жена произносит длинную речь, тем более что императрица Ирина далеко не всегда проявляла достаточное почтение к его верховной власти и грозному сану, хотя была чрезвычайно строга к другим, когда речь шла о соблюдении пиетета к ее царственному супругу. Поэтому, хотя император и испытывал некоторое удовольствие от краткого перерыва в монотонном чтении истории, сочиненной царевной, он решил, что лучше возобновить это чтение, чем выслушивать красноречивые тирады императрицы. И он со вздохом сказал:

— Я прошу у вас прощения, наша добрая августейшая супруга и наша порфирородная дочь. Я вспомнил, наша обожаемая и высокообразованная дочь, что вчера ты пожелала узнать некоторые подробности о битве при Лаодикее с отвергнутыми небом язычниками-арабами. Еще и по другим соображениям, которые побуждают нас дополнить кое-какими сведениями наши собственные воспоминания, поручили мы Ахиллу Татию, нашему доверенному главному телохранителю, привести сюда одного из находящихся под его началом воинов, чья храбрость

и присутствие духа должны были помочь ему наилучшим образом запомнить все, что происходило вокруг него в тот знаменательный и кровавый день. Я полагаю, что это и есть нужный нам человек.

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, — ответил Татий, — ваше императорское величество и божественные императрица и царевна, чьи имена для нас все равно что имена святых, перед вашими ясными очами сейчас находится лучший из моих англо-датчан, или как там еще их называют. Он, позволю себе сказать, варвар из варваров и, хотя по своему рождению и воспитанию не заслуживает того, чтобы ступать по ковру в этом обителище учености и красноречия, все же настолько храбр, верен, предан и усерден, что...

— Достаточно, мой добрый телохранитель, — прервал его император. — Нам довольно знать, что он хладнокровен и наблюдателен не теряет головы и присутствия духа в рукопашном бою, как это бывало, по нашим наблюдениям, с тобой и с некоторыми другими военачальниками, а порою, в случаях исключительных, признаться, — и с нашей императорской особой. Такое различие в поведении свидетельствует не о недостатке мужества, а что касается нас — оно говорит о глубоком сознании того, насколько важна наша безопасность для общего блага и сколь многочисленны обязанности, возложенные на нас. Однако, Татий, говори и не медли, ибо я вижу, что наша драгоценная супруга и наша трижды благословенная порфирородная дочь проявляют некоторое нетерпение.

— Хирвард так же спокоен и наблюдателен в бою, — ответил Татий, — как другие во время танцев. Ноздри его жадно вдыхают пыль сражений, и он может устоять один против любых четырех воинов (не считая, конечно, варягов), которые показали себя храбрейшими на службе твоего императорского величества.

— Главный телохранитель, — прервал его император, на лице и в голосе которого появилось выражение неудовольствия, — вместо того чтобы приучать этих бедных невежественных варваров к духу цивили-

зации и к законам нашей просвещенной империи, ты своими хвастливыми речами разжигаешь в их необузданных душах пустую гордыню, которая толкает их на драки с другими чужеземными воинами и даже на ссоры друг с другом.

— Если мне дозволено будет молвить слово, чтобы смиренно испросить себе прощение, — сказал главный телохранитель, — я хотел бы только объяснить, что не далее чем час назад говорил этому бедному и невежественному англо-датчанину о той отеческой заботе, с какой твое величество, император Греции, относится к сохранению доброго согласия между различными отрядами, собранными под твоими знаменами, как печешься ты о поддержании добрых отношений, особенно между воинами разных национальностей, которые имеют счастье служить твоему величеству, как стремишься оградить их от кровавых ссор, столь обычных среди франков и других северных народов, вечно раздираемых гражданскими войнами. Я думаю, что этот бедный малый подтвердит мои слова.

Он посмотрел в сторону Хирварда, который с серьезным видом склонил голову в знак согласия с тем, что сказал его начальник. Видя, что его извинения, таким образом, подтверждены, Ахилл продолжал оправдываться уже более уверенно:

— Произнесенные мною только что слова были необдуманны, ибо вместо того, чтобы утверждать, что Хирвард может выступить против четырех слуг твоего императорского величества, я должен был сказать, что он готов сразиться с шестерыми самыми заклятыми врагами святейшего императора Греции, предоставив им выбор времени оружия и места схватки.

— Вот это уже звучит лучше, — сказал император. — К сведению моей дорогой дочери, взявшей на себя благочестивый труд записать все деяния, которые, с господнего соизволения, были мной совершены для счастья империи, я искренне и горячо хочу внушить ей, что хотя меч Алексея не спал в своих ножнах, тем не менее я никогда не стремился умножить свою славу ценой пролития крови моих подданных.

— Я надеюсь, — сказала Анна Комнин, — что в моем скромном описании жизни царственного владыки, которому я обязана своим рождением, я не забыла отметить его любовь к миру, его заботу о жизни своих воинов, а также его отвращение к кровавым обычаям еретиков-франков как одну из самых замечательных черт, ему присущих.

С повелительным видом человека, требующего внимания у собравшихся, царица, слегка наклонив голову, обвела всех взглядом и, взяв у прелестной Астарты свиток пергамента, на котором отличным почерком рабыни были записаны мысли госпожи, приготовилась читать.

В эту минуту ее взгляд упал на варвара Хирварда, и она удостоила его следующим приветствием:

— Доблестный варвар, которого, мне кажется, я смутно, словно во сне, припоминаю, сейчас ты услышишь рассказ, который, если прибегнуть к сравнениям, может быть уподоблен портрету Александра, написанному плохим художником, укравшим кисть Апеллеса. Но пусть иные сочтут этот рассказ недостойным избранной темы, однако он не может не вызвать некоторой зависти у тех, кто непредубежденно ознакомится с его содержанием и оценит всю трудность описания подвигов великого человека, который является героем этого произведения. Все же я прошу тебя внимательно выслушать то, что я буду читать, потому что описание битвы при Лаодикее, возможно, окажется не совсем точным в подробностях, которые я узнала главным образом от его императорского величества, моего царственного родителя, а также от доблестного протоспафария, его непобедимого военачальника, и от Ахилла Татия, верного аколита. Дело в том, что высокие обязанности этих великих военачальников заставляют их держаться на некотором расстоянии от сечи, дабы они имели возможность спокойно и безошибочно оценивать общее положение и отдавать приказы, не беспокоясь за свою безопасность. Даже когда дело идет о вышивании, мой храбрый варяг (не удивляйся, что мы владеем этим искусством: ведь ему покровительствует Минерва, которой мы стремимся

подражать в наших занятиях), мы оставляем за собой лишь общий надзор за всем рисунком, поручая нашим прислужникам выполнение отдельных его частей. Таким образом, доблестный варяг, поскольку ты был в самой гуще сражения при Лаодикее, ты можешь поведать мне, недостойному историку столь знаменитой войны, о ходе событий там, где люди дрались врукопашную и где судьба войны решалась острием меча. Поэтому, храбрейший из вооруженных алебардами воинов, которым мы обязаны и этой победой и многими другими, не бойся исправлять любую ошибку или неточность, допущенную нами в описании подробностей этого славного боя.

— Госпожа моя, — сказал варяг, — я со вниманием буду слушать все, что твоему высочеству угодно будет прочитать, хотя с моей стороны было бы слишком самонадеянно пытаться оценить труд порфирородной царевны. Еще меньше пристало варвару-варягу судить о поведении в бою императора, который так щедро ему платит, или начальника, который хорошо к нему относится. Когда нашего совета спрашивают перед боем, этот совет всегда будет правдив и честен, но, насколько я могу понять своим неотесанным умом, если мы вздумаем разбирать сражение после того, как оно состоялось, это будет скорее оскорбительно, нежели полезно. А что касается протоспафария, то, если обязанности командующего — находиться в стороне от схватки, смело могу сказать и в случае нужды поклясться, что этого непобедимого начальника я никогда не видел ближе, чем на полет дротика, от места, представлявшего хоть малейшую опасность.

Прямые и смелые слова варяга произвели сильное впечатление на собравшихся. И сам император и Ахилл Татий выглядели так, словно им удалось выйти из опасного дела благополучнее, чем они ожидали. Протоспафарий постарался подавить свое негодование, Агеласт же шепнул стоявшему рядом патриарху:

— Эта северная алебарда умеет не только рубить, но и колоть.

— Тише, — ответил Зосима, — послушаем, чем это кончится: царевна собирается говорить.

Глава IV

Мы слышали «Такбир». Так называют
Арабы здесь воинственный свой клич,
Которым у небес победы просят,
Когда в разгаре битва и враги
Кричат: «Вперед! Нам уготован рай!»

«Осада Дамаска»

В голосе северного воина, хотя и приглушенном уважением к императору и желанием сделать приятное своему начальнику, прозвучало тем не менее больше грубоватой искренности, чем привыкло слышать эхо императорского дворца. Царевна Анна Комнин подумала, что ей придется выслушать мнение сурового судьи, но в то же время она почувствовала по его почтительной манере держаться, что уважение варяга более искренно, а его одобрение, если она сумеет заслужить таковое, более лестно, нежели позолоченные восторги всех придворных ее отца. С чувством некоторого удивления она внимательно смотрела на Хирварда, который, как мы уже описывали, был молод и красив, и испытывала при этом естественное желание понравиться, легко возникающее по отношению к привлекательному представителю другого пола. Он держался свободно и смело, но без тени шутовства или неучтивости. Звание варвара освобождало его и от принятых форм цивилизованной жизни и от правил неискренней вежливости. Однако его храбрость и благородная уверенность в себе вызывали к нему больший интерес, чем если бы он вел себя с обдуманной угодливостью или трепетным благоговением.

Короче говоря, Анна Комнин, несмотря на свое высокое положение и порфирородность (которую она ценила превыше всего), готовясь продолжить чтение своей истории, больше стремилась получить похвалу этого неотесанного воина, чем всех остальных своих слушателей. Их она достаточно хорошо знала и не жаждала услышать неумеренные восторги, в которых заранее была уверена дочь греческого императора, пожелавшая приобщить избранных придворных к своим литературным упражнениям. Но сейчас перед ней

стоял иной судья, чье одобрение, если она его получит, будет иметь подлинную цену, поскольку завоевать подобное одобрение можно было, только затронув разум или сердце этого судьи.

Быть может, именно под влиянием этих чувств царица несколько дольше, чем обычно, отыскивала в свитке тот отрывок, который она собиралась прочитать. Не осталось незамеченным и то, что начала она чтение неуверенно, даже смущенно, и это удивило вельможных слушателей, которые привыкли видеть ее невозмутимо спокойной перед более сведущей, как они считали, и даже более строгой аудиторией.

Все эти обстоятельства не оставили равнодушным и варяга. Анне Комнин в то время уже перевалило за двадцать пять, а как известно, в этом возрасте гречанки начинают терять красоту. Сколько лет прошло с тех пор, как она перешагнула эту роковую черту, не знал никто, кроме нескольких доверенных прислужниц ее порфирного покоя. Поговаривали, что года два, и эту молву подтверждало ее обращение к философии и литературе, ибо такие занятия, видимо, не очень привлекают молоденьких девушек. Ей могло быть лет двадцать семь.

Во всяком случае, Анна Комнин если не теперь, то совсем еще недавно была подлинной красавицей, и, надо полагать, у нее хватило бы обаяния, чтобы покорить северного варвара, забудь он вдруг о разумной осторожности и о непреодолимом расстоянии, разделявшем их. Впрочем, и это соображение вряд ли спасло бы Хирварда, смелого, бесстрашного и свободно-рожденного, от чар этой обворожительной женщины, ибо в те времена неожиданных переворотов было немало случаев, когда удачливые военачальники делили ложе с порфирородными царевнами, которым они, возможно, сами помогали стать вдовами, чтобы расчистить путь для собственных притязаний. Но не говоря уже о некоторых привязанностях, о которых читатель узнает позже, Хирвард, хотя и был польщен необычным вниманием, уделенным ему царевной, все же видел в ней только дочь своего императора и повелителя

и супругу знатного вельможи. Смотреть на нее иными глазами ему одинаково запрещали и долг и разум.

Только после одной или двух неудачных попыток Анна Комнин начала свое чтение; сначала ее голос звучал неуверенно, но сила и звучность возвращались к нему по мере того, как она читала нижеследующий отрывок из хорошо известного раздела своей истории царствования Алексея Комнина, не воспроизведенный, к несчастью, византийскими историками. Именно так и должен быть воспринят этот отрывок читателями — знатоками античной литературы: автор надеется заслужить благодарность ученого мира за восстановление столь любопытного фрагмента, который в противном случае, вероятно, все еще пребывал бы в полном забвении.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЛАОДИКЕИ

*Впервые публикуемый в переводе с греческого
отрывок из написанной царевной Анной Ком-
нин истории царствования ее отца*

«Солнце удалилось на свое ложе в океане, словно ему было стыдно смотреть на то, что бессмертная армия нашего божественного императора Алексея окружена дикими ордами нечестивых варваров, которые, как было описано в предыдущей главе, заняли ряд горных проходов на пути римлян и в тылу у них и коварно укрепились там накануне ночью. И хотя в нашем триумфальном марше мы уже далеко продвинулись, однако теперь возникло серьезное опасение — смогут ли наши победоносные отряды проникнуть в глубь вражеской страны или хотя бы благополучно отступить к собственным своим пределам.

Обширные познания императора в военном деле — они превосходят познания большинства ныне здравствующих государей — помогли ему накануне вечером с удивительной точностью и прозорливостью определить позицию врага. Для этого ответственного дела он выбрал отряд легко вооруженных варваров, родом из сирийской пустыни, сохранивших и в чужой стране

свои военные нравы и обычаи. Поскольку мой долг — писать под диктовку истины, ибо только ей должно подчиняться перо историка, я не могу не сказать, что эти варвары — такие же язычники, как и наши враги; однако они верны римскому знамени и, как мне кажется, являются преданными слугами императора, которому они и добыли нужные сведения о расположении войск его грозного противника Ездегерда. Но эти сведения они доставили значительно позже того часа, когда император обычно отправляется почивать.

Пренебрегая подобным нарушением своего священного отдыха, наш августейший отец, отложивший церемонию раздевания — настолько напряженным был момент, — держал совет со своими опытнейшими военачальниками, людьми столь мудрыми, что они могли бы спасти от гибели рушащуюся вселенную; до глубокой ночи обсуждали они, что следует предпринять в этих тяжелых обстоятельствах. Дело требовало столь срочного решения, что все обычные порядки, установленные при дворе, были отменены; например, я слышала от очевидцев, что императорская постель была устроена в том же помещении, где собрался совет, а священный светильник, именуемый светильником совета, который зажигают всякий раз, когда император сам возглавляет совещание своих приближенных, в эту ночь — событие неслыханное в нашей истории — был заправлен не благовонным, а простым маслом!»

Тут прекрасная чтица приняла изящную позу, изображающую трепетный ужас, а слушатели выразили свое сочувствие по поводу такого невероятного случая соответствующими жестами; не вдаваясь в подробности, скажем только, что возглас Ахилла Татия был как нельзя более патетическим, а стон Агеласта-Слона напоминал глухой рев дикого зверя. Хирварда все это мало трогало, разве только слегка удивило поведение присутствующих. Царевна, выждав достаточно времени, чтобы все могли выразить свои чувства, продолжала чтение:

«В этих печальных обстоятельствах, когда даже самые нерушимые и священные традиции император-

ского двора отступили перед необходимостью безотлагательно решить, что следует делать завтра, мнения советников разошлись соответственно характерам и привычкам последних — явление, кстати сказать, довольно обычное даже среди добродетельнейших и мудрейших мужей, если им приходится принимать столь трудное и важное решение.

Я не стану приводить здесь имена и мнения тех, чьи советы были выслушаны и отвергнуты, уважая тайну и свободу высказываний, которые так соблюдаются в совете императора. Достаточно сказать, что одни хотели без промедления атаковать врага, продолжая двигаться в том же направлении, что и раньше. Другие считали, что безопаснее и легче, пробившись назад, вернуться тем же путем, каким мы пришли сюда; не следует также скрывать, что были и такие люди — их преданность не подвергается сомнению, — которые предлагали третий выход, более безопасный, чем первые два, но совершенно неприемлемый для нашего благородного императора. Они советовали послать доверенного раба вместе с министром императорского двора в шатер Ездегерда, чтобы выяснить у него, на каких условиях этот варвар разрешит нашему победоносному отцу, не подвергаясь опасности, отступить во главе своей доблестной армии. Услышав такой совет, наш августейший отец воскликнул: «Святая София!» — а эти слова, как известно, обычно предшествуют проклятию, которое он иногда позволяет себе произнести — и уже готов был осудить бесчестность подобного совета и трусость того, кто его подал, но, вспомнив о превратностях человеческой судьбы и несчастьях, постигших некоторых из его славных предшественников, вынужденных сдаться неверным в том самом месте, где он сейчас находился, его императорское величество подавил благородные чувства и ограничился изложением своих мыслей по этому поводу. Он заявил военным советникам, что даже перед лицом смертельной опасности постарается не идти на столь постыдные переговоры. Таким образом, могущественный государь без колебаний отверг совет, позорный для его оружия и могущий поколебать боевой дух

войск, хотя в глубине души император решил, если другого выхода не будет, согласиться на такое вполне безопасное, хотя — в более благоприятных условиях — не очень почетное отступление.

В эту печальную минуту, когда, казалось, говорить было уже не о чем, явился прославленный Ахилл Татий с обнадеживающим сообщением — он во главе нескольких своих воинов обнаружил на левом фланге расположения наших войск горный проход, через который, сделав, конечно, значительный крюк, мы могли бы пробраться и, двигаясь ускоренным маршем, достичь города Лаодикеи, соединиться с нашими резервами и до известной степени оказаться в безопасности.

Как только этот проблеск надежды озарил встревоженный дух императора, наш милостивый родитель стал немедленно отдавать приказы, которые должны были обеспечить полный успех этому делу. Его императорское величество не пожелал, чтобы храбрая варяжская гвардия, которую он считал цветом своей армии, на этот раз первой встретила противника. Он не посчитался с любовью к сражениям, всегда отличавшей благородных чужеземцев, и приказал, чтобы сирийские отряды, уже упомянутые нами, по возможности без шума продвинулись к свободному от врага проходу и заняли его. Великий гений нашей империи указал, что поскольку сирийцы всем своим обликом, оружием и языком схожи с нашими врагами, их подвижные отряды смогут беспрепятственно занять упомянутое ущелье и, таким образом, обеспечат отступление всей армии, в авангарде которой пойдут варяги, охраняющие священную особу императора. За ними последуют прославленные отряды Бессмертных — то есть основная часть армии, — которые составят ее центр и арьергард. Ахилл Татий, верный аколит нашего царственного владыки, хотя и был глубоко опечален тем, что ему вместе с его гвардией не разрешили возглавить арьергард, где возможность столкновения с врагом казалась в то время наиболее вероятной, тем не менее охотно согласился с предложением императора, обеспечивающим наилучшим образом безопасность государя и всей армии.

Приказы императора были немедленно разосланы и самым точным образом выполнены, ибо они указывали путь к спасению, на которое не надеялись даже самые старые и опытные воины. В те ночные часы, когда, по выражению божественного Гомера, спят и боги и люди, стало ясно, что бдительность и предусмотрительность одного человека сохранят от гибели всю римскую армию. Первые лучи рассвета тронули вершины скал, образующих ущелье, и сразу засверкали на солнце стальные шлемы и копья сирийцев, которыми командовал Монастрас, вместе со всем своим племенем связавший свою судьбу с судьбами империи. Государь во главе верных варягов двигался по ущелью, стремясь выйти на дорогу к Лаодикие и избежать столкновения с варварами.

Великолепное это было зрелище — темная масса северных воинов, которые шли впереди, медленно и упорно, подобно могучей реке, пробираясь по горному ущелью, огибая скалы и пропасти или преодолевая невысокие подъемы, в то время как небольшие отряды лучников и копейщиков, вооруженных по-восточному, рассыпались по крутым склонам, словно легкая пена вдоль берегов потока. Окруженный воинами-гвардейцами, горделиво выступал боевой конь его императорского величества, гневно бьющий землю копытом, словно негодуя на то, что нет на нем его царственной пошн. Восемь сильных африканских рабов несли на носилках императора Алексея, который возлежал, сберегая силы на тот случай, если враги настигнут армию. Доблестный Ахилл Татий ехал рядом, дабы ни одна из тех блистательных идей, благодаря которым наш августейший повелитель не раз решал судьбу сражения, не пропала втуне и была бы немедленно передана тем, кто должен был претворять ее в жизнь. Следует добавить, что были там и носилки императрицы Ирины, которую мы можем сравнить с луной, озаряющей вселенную, и еще несколько носилок, а среди них — принадлежащие сочинительнице этого описания, недостойной упоминания, если бы она не была дочерью знаменитых и священных особ, которым посвящен сей рассказ. В таком порядке императорская армия пре-

одолевала опасные горные проходы, где она могла подвергнуться нападению варваров. Мы счастливо миновали их, не встретив сопротивления. Когда мы подошли к выходу из ущелья, откуда начинался спуск к городу Лаодикее, прозорливость императора подсказала ему, что пора остановить воинов авангарда, которые, несмотря на тяжелое вооружение, двигались очень быстро; эта остановка была необходима и для того, чтобы воины передохнули и освежили силы, и для того, чтобы подтянулся арьергард, так как в войсковых колоннах за время торопливого марша образовались разрывы.

Место, выбранное для стоянки, было восхитительно — цепь невысоких холмов постепенно переходила в долину, раскинувшуюся между ущельем, которое мы занимали, и Лаодикийей. Город был от нас примерно на расстоянии ста стадий, и наиболее пылкие воины даже утверждали, что уже различают башни и островерхие крыши, сверкающие под косыми лучами солнца, еще невысоко стоявшего над горизонтом. Горный поток, вытекавший из расселины в огромной скале, словно по ней ударил жезлом пророк Моисей, катил свои воды по отлогому склону, питая влагой травы и даже большие деревья, и лишь в милях четырех или пяти от этого места терялся — по крайней мере в засушливые месяцы — среди песчаных наносов и камней, чтобы в период дождей наброситься на них с особенной яростью и силой.

Было отрадно видеть, как заботится император об удобствах своих спутников и охраны. Трубы время от времени оповещали то один отряд варяжской гвардии, то другой, что воины могут положить оружие, дабы принять пищу, которую им приносили, утолить жажду чистой водой из потока, обильно струившегося с холма, или просто дать отдых своим могучим телам и растянуться на траве. Императору, его супруге, царевнам и придворным дамам завтрак был подан у источника, где брал начало ручеек, который воины, исполненные благоговейных чувств, не осквернили своими грубыми прикосновениями, чтобы им могло воспользоваться семейство, столь выразительно именуемое порфирородным.

Здесь присутствовал и наш возлюбленный супруг; он был среди тех, кто первым обнаружил одно из бедствий, постигших нас в этот день. Хотя вся трапеза благодаря усилиям слуг императорской кухни даже в таких страшных обстоятельствах мало чем отличалась от пищи, обычно подаваемой в императорском дворце, однако, когда государь потребовал вина, то — о ужас! — оказалось, что не только исчерпана или где-то оставлена священная влага, предназначенная для уст императора, но, говоря языком Горация, невозможно раздобыть худшее из сабинских вин. И его императорское величество с радостью принял предложение неотесанного варяга, протянувшего ему свою долю ячменного отвара, который эти варвары предпочитают соку виноградной лозы. Да, император не откасался от этой жалкой дани».

— Вставь сюда, — сказал вдруг император, не то очнувшийся от глубокой задумчивости, не то пробудившийся от легкого сна, — вставь сюда следующие слова: так знойно было это утро, так поспешно отступление от многочисленного врага, идущего по пятам, а императору так хотелось пить, что ни разу в жизни ни один напиток не казался ему столь восхитительным.

Повинуясь своему царственному отцу, Анна Комнин передала рукопись прекрасной рабыне-перепищице и, продиктовав ей это добавление, велела отметить, что оно сделано по высочайшему приказу самого императора. Затем она продолжала чтение:

«Я тут написала кое-что о любимом напитке верных императорскому величеству варягов, но, поскольку наш драгоценный родитель удостоил похвалы этот эль, как они называют его, — потому, очевидно, что он исцеляет все недуги, или, на их языке, эльменты, — эта тема становится слишком возвышенной, чтобы ее обсуждал кто-нибудь из простых смертных. Могу только добавить, что все мы прекрасно провели время; дамы и рабы старались усладить императорский слух пением; воины в самых живописных позах длинной линией расположились в лощине, некоторые бродили вдоль ручья, другие посменно сторожили ору-

жие своих товарищей, а тем временем отставшие войска, в частности Бессмертные¹ под командованием протоспафария подходили отряд за отрядом и присоединились к армии. Уставшим воинам разрешили отдохнуть, после чего их послали вперед по дороге на Лаодикею, а командиру было приказано, как только он установит связь с городом, потребовать подкреплений и продовольствия, не забыв о священном вине для императорских уст. Итак, римские отряды Бессмертных и другие двинулись вперед, ибо император пожелал, чтобы варяги, составлявшие до сих пор авангард, теперь прикрывали тыл армии, дабы легковооруженные сирийские войска могли, не подвергаясь опасности, уйти из все еще занимаемого ими ущелья, которое мы так благополучно миновали. И тут мы услышали ужасный вопль «Лля!» — так называют арабы свой военный клич, хотя что это значит, мне непонятно». Быть может, кто-нибудь из собравшихся здесь просветит мое невежество?

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, то я отвечу, — произнес Ахилл Татий, гордый своими познаниями в иноземных языках. — Эти слова звучат так: Алла иль алла Мухаммед расул алла,² или что-то в этом роде; это символ их веры, и с ним они всегда идут в бой. Я много раз слышал его.

— Я тоже слышал, — сказал император, — и мне — впрочем, ручаюсь, что и тебе — иной раз хотелось оказаться где угодно, только не там, где раздается этот клич.

Окружающие с живым интересом ждали, что ответит Ахилл Татий. Однако он был слишком искушенным царедворцем, чтобы тут же не найтись.

— Мой долг, — сказал он, — требует от меня, чтобы, как и подобает твоему верному телохранителю, я

¹ Бессмертные, принадлежавшие к константинопольской армии, были избранным отрядом, названным так в подражание древним персам. Согласно Дюканжу, они были сформированы впервые Михаилом Дукой. (*Прим. автора.*)

² Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его (*араб.*).

всегда был возле твоего императорского величества, где бы ты в эту минуту ни пожелал оказаться.

Агеласт и Зосима обменялись взглядами, а царица Анна Комнина продолжала чтение:

«Причину этих ужасающих воплей, доносившихся из ущелья, вскоре сообщили нам двенадцать всадников, на которых была возложена обязанность доставлять сведения.

Они доложили нам, что язычники, чье войско было разбросано вокруг позиции, которую мы занимали накануне, не могли объединить свои силы до тех пор, пока сирийские отряды, прикрывавшие отступление нашей армии, не оставили своего сторожевого поста. Когда, спустившись с холмов, сирийцы оказались в горном проходе, то, несмотря на скалистую местность, их яростно атаковал Ездегерд во главе большого отряда своих приверженцев, которых с немалыми усилиями ему все же удалось собрать и бросить на аррьергард армии императора. И хотя коннице было весьма неудобно действовать в ущелье, вождь неверных энергичными понуканиями заставил своих воинов двинуться вперед с решимостью, чуждой сирийцам, которые, увидев, какое расстояние отделяет их от товарищей по оружию, пришли к прискорбному выводу, что они принесены в жертву, и стали бросаться из стороны в сторону, вместо того чтобы оказать врагу дружное и решительное сопротивление. Таким образом, в дальнем конце ущелья положение оказалось гораздо хуже, чем нам хотелось бы, и те, кого любопытство толкало взглянуть на зрелище, которое можно было бы назвать разгромом нашего аррьергарда, видели, как толпы злодеев мусульман скатывались с холмов, бросались на бегущих сирийцев и либо убивали их, либо брали в плен.

Святейший император несколько минут смотрел на поле битвы и, будучи сильно взволнован этим зрелищем, отдал несколько поспешный приказ варягам построиться и быстрым маршем двинуться к Лаодикее, на что один из воинов-северян смело возразил, не убоившись оспорить приказ государя: «Если мы будем торопливо спускаться с холма, в аррьергарде начнется

беспорядок отчасти из-за спешки, а отчасти из-за этих негодяев сирийцев, которые обязательно врежутся на бегу в наши ряды и смешают их. Пусть две сотни варягов, которые живут и умирают во славу Англии, вместе со мной займут горловину ущелья, а остальные пусть сопровождают императора в эту самую Лаодикею, или как она там называется. Быть может, мы поляжем костями защищаясь, но умрем, выполняя свой долг, и, уж конечно, так угостим этих воюющих псов, что они будут сыты по горло — сегодня по крайней мере».

Мой августейший отец сразу по достоинству оценил совет, хотя и готов был заплакать, глядя, с каким непоколебимым мужеством несчастные варвары стремились попасть в число тех, кому надлежало пойти на столь ужасное дело, с какой любовью прощались они с товарищами и какими восторженными криками провожали своего повелителя, глядя, как он продолжает путь вниз по холму, предоставляя им грудью встретить натиск врага и погибнуть. Глаза императора были полны слез, и я не стыжусь сознаться, что в тот ужасный миг императрица и я сама забыли свое происхождение и точно так же отдали должное этим храбрым и преданным людям.

В последний раз мы видели их вожака, когда он тщательно расставлял своих товарищей для защиты ущелья, располагая их таким образом, чтобы центр обороны находился посередине прохода, а фланги нависали над флангами противника, если он будет наступать на тех, кто преграждал ему путь. Не успели мы преодолеть и половины расстояния, отделявшего нас от долины, как услышали страшный шум: то были вопли арабов и мощные отчетливые возгласы варягов, которые они обычно троекратно повторяют, приветствуя своих начальников и государей или вступая в бой. Многие обращали свои взоры туда, где шло сражение, и, будь там скульптор, он запечатлел бы этих людей в то мгновение, когда они замедляли шаги, не зная, слушать ли голос долга, который приказывал им продолжать путь вместе с императором, или же, откликнувшись на зов храбрости, броситься назад, к товарищам.

Привычка повиноваться, однако, взяла верх, и бо́льшая часть двинулась вперед.

Прошел час, в течение которого до нас то и дело доносился шум битвы, и вот у императорских носилок появился конный варяг. Его взмыленный скакун, судя по сбруе, благородству форм и тонким ногам, принадлежал, должно быть, какому-нибудь вождю пустыни и по воле случая попал во время сражения к северному воину. Мощная алебарда варяга была покрыта кровью, а по лицу его разлилась смертельная бледность. Он был отмечен печатью боя, из которого только что вырвался, поэтому ему простили недостаточную почтительность приветствия.

«Благородный государь! — воскликнул он. — Арабы разбиты, и вы можете продолжать свой путь уже не столь спешно».

«Где Ездегерд?» — спросил император, у которого было достаточно причин опасаться этого прославленного вождя.

«Ездегерд, — ответил варяг, — там, куда попадают храбрецы, павшие при исполнении долга...»

«Значит, он...» — прервал император, жаждавший узнать более точно судьбу своего грозного врага.

«...там, где скоро буду и я», — ответил верный воин и, упав с коня к ногам тех, кто нес императорские носилки, испустил дух.

Император поручил своим слугам присмотреть за тем, чтобы труп верного воина, которого он хотел похоронить с почетом, не достался шакалам или стервятникам, а земляки покойного, англосаксы, весьма его почитавшие, подняли бездыханное тело на плечи и двинулись дальше с этой новой ношей, готовые сразиться за драгоценные останки подобно тому, как некогда сражался доблестный Менелай за тело Патрокла».

Здесь Анна Комнин остановилась; дойдя до этого места, которое, очевидно, считала завершением отрывка, она хотела проверить, понравилось ли прочитанное слушателям. Надо сказать, что, не будь царица так увлечена своей рукописью, она гораздо раньше заме-

тила бы волнение чужеземного воина. Некоторое время он не менял позы, принятой вначале—стоял навтыжку, неподвижно, словно в карауле, не думая, по-видимому, ни о чем, кроме того, что находится при исполнении воинских обязанностей в присутствии императорского двора. Однако потом он стал проявлять больше интереса к тому, что читала царица. Рассказ о страхе, звучавшем в словах различных военачальников во время ночного военного совета, он слушал с выражением сдержанного презрения, когда же дело дошло до похвал в адрес Ахилла Татия, варяг чуть было не расхохотался. Даже упоминание об императоре он выслушал хотя и уважительно, но без того восторга, которого добивалась императорская дочь, прибегая к столь явным преувеличениям.

До сих пор на лице варяга почти не было признаков внутреннего волнения, но они не замедлили появиться, едва только царица начала описывать остановку после того, как почти вся армия выбралась из ущелья, неожиданное нападение арабов, отход колонны, сопровождавшей императора, шум схватки, доносившийся до отступающих. Он слушал рассказ об этих событиях, и с лица его сходило суровое, принужденное выражение; это уже не был воин, который внимает рассказу о своем императоре с тем же видом, с каким несет караульную службу во дворце. Щеки его то вспыхивали румянцем, то бледнели, глаза то начинали сверкать, то наполнялись слезами, руки и ноги помимо воли их владельца непрерывно двигались; он превратился в слушателя, горячо заинтересованного в том, что ему читают, безразличного к происходящему, не помнящего, где он находится.

Царица продолжала читать, и Хирвард уже не мог справиться с волнением; в тот момент, когда она обвела всех взглядом, варяг настолько потерял власть над собой, что, совершенно забывшись, уронил тяжелую алебарду на пол и, всплеснув руками, воскликнул:

— О мой несчастный брат!

Все вздрогнуло от стука упавшего оружия, и несколько человек тут же поспешили вмешаться, пытаясь объяснить столь необычайное происшествие. Ахилл

Татий бормотал что-то невнятное, просил простить Хирварду такое неделикатное выражение чувств, объяснял высокому собранию, что бедный необразованный варвар приходится младшим братом командирова-варягу, погибшему в том памятном ущелье. Царевна молчала, но было видно, что она поражена, тронута и вместе с тем довольна столь сильными чувствами, вызванными ее произведением. Остальные, каждый в меру своих возможностей, мямлили какие-то слова, которые следовало принять за выражение соболезнования, ибо подлинное горе вызывает сочувствие даже у самых равнодушных людей. Голос Алексея заставил умолкнуть непрошенных утешителей.

— Ну, мой храбрый воин Эдуард, — сказал император, — я, видимо, ослеп, раз не узнал тебя раньше; мне помнится, у нас есть заметка, согласно которой мы собирались выдать пятьсот золотых монет варягу Эдуарду; она имеется в наших секретных записях о наградах, полагающихся нашим подданным, и выплата не заставит себя ждать.

— С твоего позволения, государь, не мне получать эти монеты, — сказал англо-датчанин, поспешно придавая своему лицу прежнюю грубоватую суровость, — иначе они попадут к тому, кто не имеет права на щедрость твоего императорского величества. Меня зовут Хирвард, имя Эдуард носят трое моих товарищей, и все они не меньше, чем я, заслужили награду за верное исполнение своего долга.

Татий знаками старался предостеречь воина от такой глупости, как отказ от императорского подарка, Агеласт же высказался прямо.

— Юноша, — сказал он, — радуйся столь неожиданной чести и отзывайся впредь лишь на имя Эдуарда, ибо светоч мира озарил тебя лучом своего сияния; теперь ты отличен этим именем из числа прочих варваров. Что для тебя купель, в которой тебя крестили, или священник, совершавший этот обряд, если тогда ты получил не то имя, каким угодно было назвать тебя сейчас императору? Ты выделен из безликой толпы и, вознесенный столь великой милостью, обретаешь право на известность даже среди грядущих поколений.

— Хирвардом звали моего отца, — сказал воин, уже успевший овладеть собой. — Я не могу отказаться от своего имени, если чту его память. Эдуардом зовут моего товарища, и я не должен посягать на его интересы.

— Довольно! — прервал император. — Если мы и совершили ошибку, то достаточно богаты, чтобы исправить ее, и Хирвард не станет беднее, если какой-то Эдуард окажется достойным этой награды.

— Твое величество может поручить это своей преданной супруге, — сказала императрица Ирина.

— Его наисвятейшее величество, — заметила Анна Комнин, — столь ненасытен в своем стремлении быть добрым и великодушным, что не оставляет даже самым ближайшим своим родственникам возможности проявить благодарность или щедрость. Тем не менее и я со своей стороны выражу признательность этому храброму человеку и, упоминая в своей истории его деяния, всегда буду отмечать: «Этот подвиг был совершен Хирвардом, англо-датчанином, которого его императорскому величеству угодно было именовать Эдуардом». Возьми это, добрый юноша, — продолжала она, протягивая ему драгоценный перстень, — в знак того, что мы не забудем нашего обещания.

С низким поклоном принимая подарок, Хирвард не мог скрыть волнения, естественного в этих обстоятельствах. Для большинства присутствующих было очевидно, что прекрасная царица выразила свою благодарность в форме, более приятной для молодого телохранителя, чем Алексей Комнин. Варяг взял перстень с великой признательностью.

— О драгоценный дар! — сказал он, прижимая этот знак уважения царицы к губам. — Может быть, нам недолго придется быть вместе, но, клянусь, — добавил он, склонившись перед Анной, — разлучить нас сможет одна только смерть.

— Продолжай свое чтение, наша августейшая дочь, — сказала императрица Ирина. — Ты уже достаточно показала, что для той, которая может даровать славу, доблесть одинаково драгоценна, в ком бы она ни обитала — в римлянине или варваре.

Не без некоторого замешательства Анна Комнин возобновила чтение:

«Мы вновь начали продвигаться по направлению к Лаодикее; все, принимавшие участие в походе, были теперь полны добрых надежд. И все-таки мы невольно оглядывались назад, туда, откуда в течение столь долгого времени ожидали нападения. И вот, к нашему изумлению, на склоне холма, как раз на полдороге между нами и тем местом, где мы останавливались, появилось густое облако пыли. Кое-кто из воинов, составлявших наш отступающий отряд, особенно те, что находились в арьергарде, принялись кричать: «Арабы!», «Арабы!» и, будучи уверенными, что их преследует неприятель, ускорили свой марш. Однако варяги в один голос стали уверять, что эту пыль подняли их оставшиеся в живых товарищи, которым было поручено оборонять ущелье и которые, доблестно выполнив свой долг, тоже двинулись в путь. С полным знанием дела они говорили, что облако пыли более плотно, чем если бы оно было поднято арабской конницей, и даже решались утверждать, опираясь на свой немалый опыт, что число их товарищей сильно поубавилось после битвы. Несколько сирийских всадников, посланных на разведку, вернулись со сведениями, во всех подробностях подтверждавшими слова варягов. Оставленный нами отряд гвардейцев отбил арабов, а их доблестный предводитель поразил вождя Ездегерда и во время схватки с ним был смертельно ранен, о чем уже упоминалось выше. Оставшиеся в живых — число их уменьшилось наполовину — спешили теперь догнать императора, насколько им позволяли раненые, которых они хотели доставить в безопасное место.

Император Алексей, движимый одним из тех великодушных и милосердных побуждений, которые свидетельствуют о его отеческом отношении к воинам, приказал, чтобы все носилки, даже предназначенные для его собственной священной особы, были немедленно посланы назад, дабы освободить храбрых варягов от необходимости нести раненых товарищей. Легче представить, чем описать, восторженные крики варягов, когда они увидели, что сам император сошел с

носилок и, подобно рядовому всаднику, вскочил на боевого коня, в то время как святейшая императрица, равно как автор этих строк и другие порфирородные царевны продолжали свой путь на мулах, а их носилки немедленно были предоставлены раненым воинам. Император проявил тут не только доброту, но и военную проницательность, ибо помощь, оказанная тем, кто нес раненых, позволила оставшимся в живых защитникам ущелья присоединиться к нам скорее, чем это было бы возможно в ином случае.

С глубоким прискорбием смотрели мы на поредевшие ряды этих людей, которые совсем недавно покинули нас во всем блеске, придаваемом молодости и силе военными доспехами; теперь латы их были продавлены, в щитах застряли стрелы, оружие покрыто кровью и весь их облик свидетельствовал о том, что они только что вышли из жестокой битвы. Стоит рассказать о встрече варягов, принимавших участие в сражении, с товарищами, к которым они присоединились. Император по предложению своего верного аколита разрешил тем, кто видел битву лишь издали, на несколько минут выйти из строя и расспросить друзей о подробностях.

Эта встреча двух отрядов являла собой смешение горя и радости. Даже самые грубые из варваров, — я свидетельствую это, ибо видела все собственными глазами, — приветствовали крепким рукопожатием товарищей, которых уже считали погибшими, а их большие голубые глаза наполнялись слезами, когда они узнавали о смерти тех, кого надеялись встретить живыми. Бывалые воины рассматривали боевые знамена, радуясь, что, покрытые славой, они находятся теперь в безопасности, и подсчитывали, сколько новых следов от вонзившихся стрел появилось на их полотнищах. Все громко славил храброго молодого начальника, которого они потеряли в битве, и не менее согласно восхваляли того, кто взял на себя начальство над отрядом, кто привел назад воинов своего павшего брата и кого, — сказала царица, по всей видимости вставив эти слова ради данного случая, — автор настоящей истории, я хочу сказать — все члены императорского

дома, поистине высоко ценят и уважают за доблестную службу в столь трудных обстоятельствах».

Воздав своему другу-варягу этой краткой похвалой дань уважения, к которому примешивались чувства, неохотно обнаруживаемые перед многочисленными слушателями, Анна Комнин перешла к чтению следующей части своей истории, носившей менее личный характер:

«Мы недолго занимались наблюдениями за отважными воинами, ибо, когда прошли те несколько минут, что были отведены им для изъявления чувств, труба возвестила о продолжении похода на Лаодикею, и вскоре мы увидели город, расположенный в четырех милях от нас посреди равнины, почти целиком покрытой лесом. Очевидно, стража, охранявшая город, уже заметила наше приближение, так как из ворот выехали повозки и фуры с освежающими напитками, которые были необходимы нам после продолжительного похода по жаре среди столбов пыли и при недостатке воды. Воины с радостью прибавили шаг, чтобы скорее получить продовольствие, в котором они так нуждались. Но чаша не всегда доносит драгоценный напиток до уст, которым она предназначена, как бы ни жаждали влаги эти уста. Вот так же и нас постигло разочарование, ибо мы увидели, что из рощи, расположенной между римской армией и городом, появилась, словно туча, арабская конница и, галопом налетев на повозки, начала опрокидывать их и убивать возниц. Это был, как мы впоследствии узнали, вражеский отряд, возглавляемый Варанесом, не уступавшим по боевой славе среди неверных Ездегерду, своему убитому брату. Когда Варанес понял, что успех на стороне варягов, отчаянно защищавших ущелье, он возглавил большой отряд конницы и, поскольку неверные, когда они на лошадях, не уступают в скорости ветру, проделав огромный крюк, прошел через другое ущелье, расположенное севернее, а затем устроил засаду в роще, о которой я уже упоминала: он решил напасть на императора и его армию как раз в то время, когда они будут уверены, что спокойно завершили отступление. Атака действительно могла оказаться

неожиданной, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не внезапное появление вереницы повозок, пробудивших необузданную жадность в арабах, несмотря на осторожность их вождя, пытавшегося остановить своих воинов. Таким образом, засада оказалась обнаруженной.

Однако Варанес, не желая отказываться от преимуществ, полученных благодаря быстрому переходу, собрал тех всадников, которых ему удалось оторвать от грабежа, и бросил их навстречу римлянам, остановившимся при неожиданном появлении врага. Даже такой неопытный в военном деле судья, как я, не мог не заметить неуверенности и колебания в наших передних рядах. Варяги же, напротив, все как один принялись кричать: «Алебарды, — так они на своем языке называют боевые секиры, — вперед!», и, поскольку император милостиво уступил их доблестному желанию, бросились из арьергарда в голову колонны. Я затрудняюсь объяснить, как был проведен этот маневр, но, несомненно, он удался благодаря мудрым указаниям моего сиятельного отца, славящегося тем, что он никогда не теряется в тяжелых положениях. Разумеется, здесь сыграло роль и желание самих воинов, ибо, насколько я могла судить, римские отряды так называемых Бессмертных столь же ревностно стремились отступить в тыл, сколь варяжская гвардия — занять освобожденное ими место в авангарде. Весь маневр был выполнен так успешно, что когда Варанес со своими арабами бросился на наше войско, он был встречен непоколебимыми северными воинами. Все это произошло на моих глазах, и, казалось бы, на них можно положиться, как на надежных свидетелей происшедших событий. Но, признаюсь, глаза мои мало привычны к подобного рода зрелищам, и атакующие отряды Варанеса представились мне в виде огромного облака пыли, стремительно несущегося нам навстречу, сквозь которое поблескивали острия копий да смутно виднелись развевающиеся перья на тюрбанах всадников. Такбир — их военный клич — был так пронзителен, что в нем тонул сопровождающий его гром литавр и медных кимвалов. Однако этот дикий и жестокий

шквал встретил такое сопротивление, словно он налетел на скалу.

Варяги, не дрогнувшие под бешеным натиском арабов, обрушили на лошадей и всадников удары своих тяжелых алебард, которые обращали в бегство самых храбрых противников и повергали на землю самых сильных. Телохранители сплачивали свои ряды, а стоявшие сзади по примеру древних македонян напирали на передних таким образом, что легконогие, но некрупные скакуны идумейцев не могли пробиться сквозь ряды этой северной фаланги. В первых рядах пали самые храбрые воины и лучшие кони. Тяжелые, хотя и короткие дротики, которые отважные варяги сильной и меткой рукой бросали из задних рядов, посеяли смтение среди нападавших, и те в страхе повернули вспять и в полном беспорядке умчались с поля боя.

Отбив, таким образом, нападение врага, мы продолжали путь и остановились только тогда, когда увидели свои разграбленные повозки. Придворные, ведавшие хозяйством императорского двора, позволили себе кое-какие недоброжелательные замечания, хотя именно им надлежало защищать эти повозки, а они бросили их при нападении неверных и вернулись только после того, как атака была отбита. Эти люди, скорые на клевету, но медлительные, когда выполнение долга грозит опасностью, доложили, что варяги постыдно нарушили дисциплину и выпили часть священного вина, предназначенного только для императорских уст. Было бы преступно отрицать, что это серьезная и заслуживающая наказания провинность; тем не менее наш царственный герой счел ее простительной, шутиливо заметив, что поскольку он выпил так называемый эль своей доверенной гвардии, то варяги имеют право утолить жажду и подкрепить силы, потраченные ими в этот день для защиты его особы, хотя они и воспользовались для этой цели священным содержимым императорских подвалов.

Тем временем конница была отправлена в погоню за отступающими арабами; ей удалось отбросить их за цепь холмов, которые еще недавно отделяли арабов

от римлян, и, таким образом, можно считать, что императорская армия одержала полную и славную победу.

Нам остается упомянуть о встрече с жителями Лаодикеи, которые с крепостных стен наблюдали за изменчивым ходом битвы, переживая то страх, то надежду, и теперь спустились вниз, чтобы поздравить царственного победителя».

Но тут прекрасной царевне пришлось прервать свое чтение. Обе створки центральных дверей покоя распахнулись — бесшумно, разумеется, но так широко, что было ясно: сейчас в них появится не простой царедворец, который хочет произвести поменьше шума и никого не беспокоить, а человек, чей высокий сан позволяет ему не думать о том, что он привлечет к себе всеобщее внимание. Такую вольность мог позволить себе только член императорской семьи, кровно с ней связанный или породнившийся, поэтому гости, знавшие, кто бывает в этом храме муз, поняли, что в столь широко распахнутые двери войдет зять Алексея Комнина и муж прекрасной летописицы, Никифор Вриенний, носивший титул кесаря. Впрочем, в отличие от предшествующих веков, этот титул уже не означал, что Вриенний является вторым человеком в империи, ибо из политических соображений Алексей отодвинул его в тень, поставив нескольких важных сановников между собой и кесарем с его старинным правом считаться вторым после императора лицом в государстве.

Глава V

Стихии буйствуют. Не дождь веселый,
Рожденный в недрах влажного Апреля,
Не ливень из горячих губ Июля, —
Все створы неба шумно распахнулись,
И вот неисчислимые потоки
На землю с хриплым ревом устремились.
Что остановит их?

«Потоп», поэма

Вошедший вельможа оказался греком благородной внешности; одежда его была украшена всеми возможными знаками отличия, исключая те, которые Алексей

учредил только для своей собственной священной особы и для себастократора, считавшегося теперь вторым человеком в империи. Никифор Вриенний находился в расцвете молодости и мужественной красоты, сделавшей союз с ним приемлемым для Анны Комнин, тогда как император считал этот брак желательным по соображениям политическим, стремясь привлечь на свою сторону могущественный род Вриенниев и превратить их в друзей и приверженцев престола.

Мы уже намекали на то, что царственная супруга Вриенния имела перед ним некоторое — весьма сомнительное — превосходство в годах. О ее литературных талантах мы уже упоминали. Люди хорошо осведомленные отнюдь не считали, что эти почтенные преимущества помогли Анне Комнин безраздельно завладеть вниманием красавца мужа. Конечно, ее принадлежность к императорской семье препятствовала Никифору проявлять откровенное пренебрежение к ней, но, с другой стороны, род Вриенниев обладал слишком большой силой, чтобы Никифор позволил кому-либо, даже императору, оказывать на него давление. Он, видимо, отличался способностями, ценными как в военное, так и в мирное время. Поэтому к его советам прислушивались, в его помощи нуждались, а он взамен требовал полной свободы и права распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Порой он посещал храм муз гораздо реже, чем заслуживала, по ее собственному мнению, богиня этого храма или чем полагала императрица Ирина, защищавшая интересы своей дочери. Добродушный Алексей соблюдал в этом вопросе нейтралитет и старался по мере сил скрыть все разногласия от посторонних глаз, полагая, что удержать престол в столь беспокойной империи можно, лишь сохранив нерушимое единство в семье.

Он пожал Никифору руку, когда тот, проходя мимо его трона, преклонил перед ним в знак почтения колени. Императрица встретила зятя более натянуто и холодно, а сама прекрасная муза вообще почти не удостоила вниманием своего красавца мужа, занявшего подле нее ту свободную скамью, о которой мы уже упоминали.

Наступила неловкая пауза, во время которой зять императора, считавший, что ему обрадуются, а вместо этого встретивший столь холодный прием, попытался завести незначительный разговор с красивой рабыней Астартой, стоявшей на коленях рядом со своей госпожой. Однако этот разговор тут же был прерван царевной, приказавшей прислужнице спрятать манускрипт в предназначенный для этого ларец и собственноручно отнести его в зал Аполлона, где Анна Комнин обычно занималась, ибо храм муз был отведен только для устраиваемых ею чтений.

Император первый прервал тягостное молчание.

— Дорогой наш зять, — сказал он, — хотя время сейчас уже позднее, но ты многого лишишь себя, если позволишь нашей Анне отослать этот свиток, чтение которого столь усладило слух собравшихся; они могли бы сказать, что в пустыне цвели розы, а голые скалы источали молоко и мед — так приятно звучало описание тяжелого и опасного похода в изложении нашей дочери.

— Насколько нам дано судить, — заметила императрица, — у кесаря нет вкуса к тем утонченным занятиям, какими увлекается наша семья. В последнее время он стал редким гостем в храме муз: видимо, беседы в каком-то другом месте доставляют ему большее удовольствие.

— Я все же надеюсь, государыня, — ответил Никифор, — что мой вкус не заслуживает подобных обвинений. Но вполне естественно, что нашему августейшему отцу должны особенно нравиться молоко и мед, ибо расточают их только ради него.

Тут заговорила царевна, и в тоне ее прозвучала обида красивой женщины, которая уязвлена своим возлюбленным, помнит обиду, но тем не менее не отказывается от примирения.

— Если деяния Никифора Вриенния, — сказала она, — упоминаются в этом скромном свитке пергамента реже, чем подвиги моего прославленного отца, пусть он будет справедлив и вспомнит, что таково было его собственное желание, проистекавшее то ли от скромности, которая, как с полной правотой говорят

люди, лишь подчеркивает и украшает другие добродетели, то ли от справедливого неверия в способность своей жены воздать ему хвалу по достоинству.

— Тогда мы позовем обратно Астарту, — вмешалась императрица. — Она, вероятно, еще не успела отнести это прекрасное подношение в святилище Аполлона.

— С разрешения твоего императорского величества, — сказал Никифор, — пифийский бог может разгневаться, если у него потребуют обратно сокровище, оценить которое может он один. Я пришел сюда, чтобы поговорить с императором о не терпящих отлагательства делах государственных, а не для того, чтобы вести литературную беседу в обществе — отмечу, кстати, довольно смешанном, поскольку среди приближенных императора я вижу простого воина-телохранителя.

— Клянусь распятием, дорогой зять, — сказал Алексей, — ты несправедлив к этому храброму человеку. Его брат, не пощадив собственной жизни, своей доблестью завоевал нам победу под Лаодикеей, а сам он — тот англо-датчанин Эдмунд... или Эдуард... или Хирвард, которому мы навсегда обязаны успехом столь победоносного дня. Да будет тебе известно, что он предстал перед нами по нашему повелению для того, чтобы восстановить в памяти моего главного телохранителя Ахилла Татия, так же как и в моей, некоторые подробности боя, которые уже несколько стерлись в ней.

— Поистине, государь, — ответил Вриенний, — я весьма сожалею, что своим вторжением в какой-то степени помешал столь важным расследованиям и как бы украл частицу света, который должен озарить события этих дней, дабы о них узнали грядущие поколения. Впрочем, я полагаю, что в отношении битвы, которой руководили сам святейший император и его великие военачальники, свидетельство государя весит больше, чем слова такого человека, как этот. Хотел бы я знать — продолжал он, высокомерно обращаясь к варягу, — какие подробности можешь ты добавить к тем, которые были уже описаны царевной?

Варяг ответил незамедлительно:

— Я добавлю только одно: когда мы сделали остановку у родника, музыка, исполнявшаяся дамами императорского двора, и особенно теми двумя, в чьем присутствии я сейчас нахожусь, была лучшей музыкой, какую я когда-либо слышал.

— Как ты смеешь высказывать столь дерзкое суждение? — воскликнул Никифор. — Да разве музыка, которую угодно было исполнить супруге и дочери императора, предназначалась для того, чтобы каждый низкородившийся варвар, случайно услышавший ее, мог насладиться ею или подвергнуть ее критике? Убирайся вон из дворца! И не смей показываться мне на глаза, если только на то не будет воли нашего августейшего отца.

Варяг перевел взгляд на Ахилла Татия, ожидая, чтобы начальник приказал ему уйти или остаться. Но император с большим достоинством взял дело в свои руки.

— Сын наш, — сказал он, — мы не можем этого допустить. Из-за любовной ссоры с нашей дочерью ты странным образом позволяешь себе забыть, что находишься перед лицом императора, и гонишь прочь человека, которого мы пожелали видеть у себя. Тебе не пристало вести себя так. Запомни: нам не угодно, чтобы этот Хирвард, или Эдуард, или как там его имя, ушел сейчас отсюда, точно так же как не угодно, чтобы в будущем он подчинялся чьим-либо приказам, кроме наших или нашего аколита Ахилла Татия. А теперь, покончив с этим вздорным недоразумением, которое, несомненно, тут же развеется по ветру, мы жаждем узнать о важных государственных делах, побудивших тебя прийти сюда в столь поздний час. Ты опять смотришь на варяга. Прошу тебя, говори при нем прямо, ничего не утаивая, ибо он пользуется — и с достаточными основаниями для этого — столь же высоким нашим доверием, как и любой другой советник, присягнувший на верность нашему дому.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил зять императора, видя, что его повелитель недоволен, и зная, что в таких случаях доводить его до крайности

небезопасно и неразумно.— Тем более что новость, которую я собираюсь сообщить, вскоре станет общим достоянием, и поэтому неважно, кто ее сейчас услышит. Так вот, запад, где всегда происходят странные вещи, никогда еще не слал в нашу восточную половину мира таких тревожных вестей, как те, о которых я поведаю твоему императорскому величеству. Заимствуя выражение у этой дамы, которая оказывает мне честь, именуя меня своим мужем, Европа как бы сорвалась с места и вот-вот ринется на Азию...

— Я действительно сказала так, — прервала его Анна Комнин, — и, смею надеяться, выразила свою мысль с достаточной силой, ибо тогда мы впервые услышали, что дикий порыв взметнул беспокойных европейских варваров и тысячи племен ураганом налетели на наши западные границы с неслыханным намерением, о котором они во всеуслышанье заявляли, завоевать Сирию и те места, где покоятся пророки, где святые приняли мученический венец и где совершились великие события, изложенные в священном писании. Но, судя по всему, эта буря отшумела и утихла, и мы надеялись, что вместе с ней миновала и опасность. Мы будем глубоко опечалены, если окажется, что это не так.

— К сожалению, не так, — продолжал ее супруг. — Донесения нам не солгали: огромное скопище людей низкорощенных и невежественных, взявших оружие по наущению безумного отшельника, двинулись из Германии в Венгрию, ожидая, что ради них совершатся такие же благодетельные чудеса, как для народа Израиля, когда его вел через пустыню столп огненный. Но не сыпалась манна с небес, не слетались перепела, чтобы накормить их, и никто не объявил их избранным народом божьим. Вода не била из скалы, дабы напоить алчущих. Страдания ожесточили этих людей, и они принялись добывать себе пищу грабежом. Венгры и другие народы, проживающие на наших западных границах, такие же христиане, как они, не остановились перед тем, чтобы напасть на этот беспорядочный сброд, и только огромные груды костей в диких ущельях и безвестных пу-

стынях остались свидетельства безжалостного разгрома, которому подверглись эти нечестивые пилигримы.

— Но все это, — сказал император, — мы знали и раньше. Какое новое бедствие угрожает нам теперь, после того, как нас уже миновала сия страшная опасность?

— Знали раньше? — повторил кесарь Никифор. — Нет, о подлинной опасности мы ничего не знали: нам было известно лишь, что стада животных, жестоких и яростных как дикие быки, угрожали ринуться на пастбище, которое давно влекло их к себе, и что они наводнили Греческую империю и ближние с ней страны, надеясь, что Палестина с ее реками, полными молока и меда, вновь откроется им, как избранному богом народу. Но такое беспорядочное и дикое нашествие не страшно столь просвещенному народу, как римляне. Стадо тупых животных испугалось греческого огня; их заманивали в западни и уничтожали ливнем стрел дикие племена, которые хотя и считают себя независимыми от нас, но прикрывают нашу границу, подобно линии укреплений. Даже пища, которую раздобывал на своем пути этот гнусный сброд, и та оказывалась губительной: император с его прозорливой политикой и отеческой заботливостью предусмотрел и такие меры обороны. Эта мудрая политика достигла цели, и корабль, над которым гремел гром и сверкали молнии, спасся, невзирая на ярость грозы. Но не успела улечься одна буря, как поднялась другая: на нас движется новый вал западных народов, такой грозный, какого никогда не видели мы или наши предки. И теперь это не чернь, голодная, неосмотрительная, невежественная и фанатичная, нет, все, что есть на просторах Европы разумного и достойного, отважного и благородного, объединилось во имя той же цели, скрепив священным обетом свой союз.

— Что же это за цель? Говори прямо, — прервал его Алексей. — Уничтожение всей нашей Римской империи, с тем чтобы даже имя ее государя было вычеркнуто из списка коронованных особ мира, среди

которых оно так долго было первым, — только такая цель смогла бы объединить всех в подобный союз.

— Открыто о таком замысле никто не заявляет, — ответил Никифор. — Все эти владыки, мудрецы и прославленные вельможи ставят перед собой, по их утверждению, ту же неправдоподобную цель, что и полчища невежественной черни, которые первыми появились в наших местах. Вот у меня, милостивый император, свиток, в котором ты найдешь перечисление армий, по разным дорогам движущихся на нашу страну. Гуго де Вермандуа, за доблесть прозванный Великим, отплыл от берегов Италии. Уже прибыли двадцать рыцарей, закованных в стальные выложенные золотом латы, и передали от него следующее надменное приветствие: «Пусть император Греции и его военачальники знают, что Гуго, граф Вермандуа, приближается к его землям. Он брат короля королей — государя Франции,¹ и сопровождает его цвет французской знати. С ним благословенное знамя святого Петра, врученное его победоносному попечению самим наместником апостола, и он предупреждает тебя об этом, чтобы ты мог устроить ему прием, приличествующий его сану».

— Слова громкие, — сказал император, — но не всегда топят корабли тот ветер, который громче других завывает в снастях. Мы немного знакомы с французами и весьма наслышаны о них. Они скорее спесивы, чем доблестны, и мы будем льстить их тщеславию, пока не выиграем время и не найдем возможностей для более надежной обороны. Да, если бы словами можно было расплачиваться, наша казна никогда не оскудела бы... Что там написано дальше, Никифор? Имена людей, сопровождающих этого великого графа?

¹ Дюканж прибегает к свидетельству бесконечного числа авторитетов, дабы показать, что король Франции в те дни преимущественно именовался Rex. См. его заметки об «Алексиаде». Анна Комнин в своей истории заставляет Гуго Вермандуа присваивать себе титулы, на которые мог претендовать, по мнению восторженного француза, лишь его старший брат, царствующий император. (*Прим. автора.*)

— Нет, мой государь, — ответил Никифор Вриенний, — тут перечислены лишь имена владык, а не подчиненных, и сколько в списке этих имен, столько независимых друг от друга армий движутся по разным дорогам на восток, провозглашая общей своей целью завоевание Палестины у неверных.

— Перечень устрашающий, — промолвил император, внимательно изучив список. — Однако нас обнадеживает именно его длина, ибо столь необычный замысел не может объединить в прочный и нерушимый союз такое множество государей. Я вижу здесь хорошо знакомое имя нашего старого друга, а ныне врага — ибо таковы превратности войны и мира — Боэмунда Антиохийского. Разве он не сын знаменитого Роберта Апулийского, который, будучи простым рыцарем, возвысился до звания великого герцога, повелителя своих воинственных соотечественников в Сицилии и Италии? Разве знамена германского императора и папы римского, как, впрочем, и наши собственные, не отступали перед ним, пока этот изворотливый политик и храбрый рыцарь не стал наводить ужас на всю Европу, он, в чьем нормандском замке поместилось бы не больше шести лучников и стольких же копейщиков? Это страшная семья, в равной мере коварная и могущественная. Боэмунд, сын старого Роберта, будет следовать политике своего отца. Он может сколько угодно говорить о Палестине и об интересах христианства, но если я сумею сделать так, чтобы его интересы совпали с моими, вряд ли он станет преследовать какие-либо другие цели. Итак, поскольку мне уже известны его желания и замыслы, возможно, что небо под личиной врага посылает нам союзника... Кто там следующий? Готфрид,¹ герцог Бульонский, во главе мощного отряда с берегов огромной реки, называемой Рейном. Что это за человек?

¹ Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии — выдающийся полководец, командовавший Первым крестовым походом, впоследствии король Иерусалимский. См. у Гиббона или Миллса. (*Прим. автора.*)

— Насколько мы слышали, — ответил Никифор, — Готфрид — один из самых мудрых, самых благородных и самых храбрых вождей, принимающих участие в этом странном деле; и среди правителей, число которых не меньше числа тех, кто осаждал Трою, и в большинстве своем ведущих за собой в десять раз более многочисленные отряды, этот Готфрид может считаться Агамемноном. Государи и графы уважают его, потому что он — первый среди тех, кого они так странно именуют рыцарями, а также потому, что все его деяния отмечены печатью честности и благородства. Духовенство чтит его за твердую приверженность религии и за уважение к церкви и ее служителям. Справедливость, щедрость, прямодушие привлекают к нему и простых людей. Готфрид неколебим в том, что считает своим нравственным долгом, поэтому никто не сомневается в искренности его веры; будучи наделен такими превосходными качествами, он справедливо считается одним из предводителей этого крестового похода, хотя по званию, рождению и власти уступает многим его вождям.

— Жаль, — заметил император, — что такой человек, каким ты его описал, подвержен фанатизму, подобающему разве что Петру Пустыннику, или бессмысленной толпе, которую он вел за собой, или даже ослу, на котором он путешествовал! Впрочем, я готов думать, что этот осел был самым мудрым из всего скопища участников первого нашествия, поскольку он пустился вскачь в сторону Европы, как только ему стало не хватать воды и ячменя.

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, — вставил Агеласт, — я бы добавил, что сам патриарх сделал то же самое, как только стрел вокруг стало много, а еды мало.

— Это ты правильно заметил, Агеласт, — сказал император, — но сейчас надо решить, нельзя ли образовать сулящее выгоду и почет княжество из тех провинций Малой Азии, которые были разграблены за последнее время турками. Думается, что такое княжество с его неоспоримыми преимуществами — плодородной почвой, прекрасным климатом, трудо-

любимым населением и здоровым воздухом — стоит болот Булони. Если оно будет зависеть от Священной Римской империи и в то же время находиться под защитой Готфрида и его победоносных франков, оно может стать оплотом в том краю для нашей праведной и священной особы. Что об этом скажет святейший патриарх? Не считает ли он, что такое предложение охладит склонность самого преданного крепостноса к выжженным солнцем пескам Палестины?

— Особенно, — ответил патриарх, — если тот, кто получит такую богатую провинцию в феодальное владение, предварительно будет обращен в единственно истинную веру, о чем, несомненно, ты не забываешь, милостивый император.

— Разумеется, разумеется, — ответил Алексей с подобающим случаю пафосом, хотя про себя-то он знал, как часто во имя государственных интересов он вынужден был принимать в свое подданство не только латинских христиан, но и манихеев и других еретиков, не говоря уже о варварах-мусульманах, ни-когда при этом не встречая сопротивления со стороны щепетильного патриарха. — Судя по этому списку, — продолжал он, — столько отрядов во главе с влиятельными государями и вельможами движется к нашим границам, что они могут соперничать с армиями древних, которые, по преданию, выпивали на своем пути реки, опустошали страны, вытапывали леса.

При этих словах лицо императора тронула та же тень тревоги, которая уже омрачила лица его советников.

— Эта война народов, — сказал Никифор, — во многом отличается от любой другой войны, исключая разве ту, которую ты, мой государь, вел в прошлом с так называемыми франками. Нам предстоит помериться силами с людьми, для которых грохот битвы необходим как воздух. Ради того, чтобы воевать, они готовы сражаться с ближайшими своими соседями, кровавые поединки для них такая же забава, как для нас — состязание на колесницах. Они закованы в непроницаемую стальную броню, защищающую их от копий и мечей, а их могучие кони легко несут на себе

эту огромную тяжесть, которая для наших была бы так же непосильна, как гора Олимп. Их пехота вооружена не простыми луками, а неизвестными нам и другим народам арбалетами. Тетиву арбалета натягивают не правой рукой, а ногою, налегая на нее при этом всей тяжестью тела. Стрелы, вернее — дротики, для этого лука сделаны из прочного дерева, имеют металлические наконечники и пробивают на лету самые прочные нагрудники и даже каменные стены, если они не слишком толсты.

— Довольно, — прервал его император, — мы собственными глазами видели копыя франкских рыцарей и арбалеты их пеших воинов. Если небо наделило франков храбростью, которая другим народам кажется почти сверхъестественной, то грекам оно даровало мудрость, отказав в ней варварам. Мы добиваемся победы не грубой силой, а мудрым расчетом и ведем переговоры так искусно, что получаем большие преимущества, чем может дать даже военный успех. И если у нас нет того страшного оружия, которое наш зять назвал арбалетом, зато провидение в своем милосердии скрыло от западных варваров тайну состава и применения греческого огня, именуемого так потому, что только руки греков умеют его изготовлять и обращать его молнии против ошеломленного врага.

Сделав паузу, император окинул взглядом лица своих советников и, хотя они были по-прежнему бледны, бодро продолжал:

— Вернемся, однако, к этому мрачному свитку, содержащему перечень тех, кто продвигается к нашим границам; насколько нам подсказывает память, в нем немало знакомых имен, хотя воспоминания наши смутны и стерты временем. Нам важно узнать, кто они, чтобы мы могли извлечь выгоду из их междоусобиц и ссор, которые, будучи вызваны к жизни, отвлекут этих людей от того необычного замысла, ради которого они объединились. Здесь есть, например, некий Роберт, носящий титул герцога Нормандского, который ведет за собой немалый отряд графов — с этим титулом мы слишком хорошо знакомы — и эрлов — звание нам неизвестное, но, видимо,

почетное среди варваров и рыцарей, чьи имена говорят о том, что больше всего среди них франков, но есть представители и других племен, нам неизвестных. За разъяснениями по этому поводу всего разумнее нам обратиться к нашему высокочтимому и высокоученому патриарху.

— Обязанности, налагаемые моим саном, не позволяли мне в зрелые мои годы заниматься историей дальних государств — ответил патриарх Зосима, — но мудрый Агеласт, прочитавший столько книг, что, собранные вместе, они заняли бы все полки знаменитой Александрийской библиотеки, без сомнения сможет ответить на вопрос твоего императорского величества.

Агеласт выпрямился на своих неутомимых ногах, благодаря которым был прозван Слоном, и начал отвечать на вопрос императора, проявляя при этом больше доброй воли, нежели знаний.

— В том замечательном зеркале, — сказал он, — которое отражает дела и жизнь наших предков, в трудах высокоученого Прокопия, я прочитал, что народы, именуемые норманнами и англами, в действительности происходят от одного племени и что Нормандия, как ее иногда называют, является частью Галлии. Напротив нее, совсем близко, отделенный лишь морским проливом, расположен мрачный остров, царство туманов и бурь, куда, по утверждению жителей континента, отправляются души умерших. По эту сторону пролива живут немногочисленные рыбаки, которым дана какая-то странная хартия, а вместе с ней и единственная в своем роде привилегия: будучи живыми людьми, они, как некогда языческий Харон, перевозят души умерших на остров — обиталище теней. Под прикрытием ночного мрака рыбаки по очереди вершат то, ради чего им и дозволено жить на этом таинственном берегу. Чья-то бесплотная рука стучит в дверь того, кто должен нести в эту ночь небывалую службу. Шепот, подобный еле слышному вздоху ветра, призывает рыбака исполнить свой долг. Он спешит к лодке, но до тех пор не отплывает, пока не убеждается, что она осела, словно под тяжестью умерших, которые взошли на нее. Никого не видно,

слышны только голоса, но слов разобрать невозможно, точно кто-то бормочет во сне. Рыбак пересекает пролив, отделяющий материк от острова, испытывая непонятный ужас, всегда охватывающий живых, когда они ощущают присутствие мертвых. Он добирается до противоположного берега, где белые меловые скалы образуют поразительный контраст с вечным мраком, царящим там, причаливает всегда в одном и том же месте, но сам из лодки не вылезает, ибо на эту землю никогда не ступала нога живого человека. Тени умерших, сойдя на берег, отправляются в назначенный им путь, а лодочник медленно возвращается на свою сторону пролива, выполнив, таким образом, повинность, которая дает ему возможность ловить рыбу сетями и жить в этом удивительном месте.

Агеласт сделал паузу, и тут снова заговорил император:

— Если эта легенда действительно рассказана Прокопием, высокоученый Агеласт, то это означает только одно: в вопросе о загробной жизни знаменитый ученый оказался гораздо ближе к язычникам, чем к христианам. Ведь его рассказ мало чем отличается от древнего поверия о потустороннем Стиксе. Прокопий, как известно, жил тогда, когда язычество еще процветало, и равно как мы отказываемся верить многому из того, что он поведал нам о нашем предке и предшественнике Юстиниане, точно так же в дальнейшем мы всегда будем сомневаться в основательности его географических познаний. Кстати, что тебя так тревожит, Ахилл Татий, и о чем ты шепчешься с этим воином?

— Моя жизнь, — ответил Ахилл Татий, — принадлежит твоей императорской милости, и я готов отдать ее в уплату за непристойную болтливость моего языка. Я только спросил этого Хирварда, что он знает о норманнах, ибо слышал, как мои варяги неоднократно называли друг друга англо-датчанами, норманнами, британцами и всякими другими варварскими именами, и думаю, что одно из этих странных названий, а может, и все они, по-разному обозначают

родину изгнанников, которые должны быть счастливы, вырвавшись из мрака невежества и оказавшись в кругу сияния твоего императорского величества.

— Так говори же, варяг, во имя неба, — сказал император, — и открой нам, друзей или врагов увидим мы в лице этих людей из Нормандии, подступающих к нашим границам. Говори смело, тебе нечего опасаться, ибо ты служишь государю, который в силах защитить тебя.

— Раз уж мне позволили говорить, то я скажу, — ответил варяг. — Правда, я не очень хорошо знаю греческий язык, который вы называете римским, но все же моих знаний довольно, чтобы обратиться к его императорскому величеству с просьбой: вместо платы, подарков или наград, которые император соизволил обещать мне, пусть он поставит меня в первые ряды войска, которое сразится с этими норманнами и их герцогом Робертом, и если император разрешит мне взять с собой варягов, которые, любя ли меня, ненавидя ли своих прежних тиранов, захотят присоединиться ко мне, то не сомневаюсь: мы так сведем с ними счеты, что последнюю службу им уже сослужат греческие орлы и волки, отодрав их мясо от костей.

— Чем вызвана такая необузданная ненависть, мой воин, — спросил император, — которая после стольких лет будит в тебе ярость при одном лишь упоминании о Нормандии?

— Суди сам, милостивый император, — ответил варяг. — Мои предки и предки большинства из тех, кто служит сейчас вместе со мной в гвардии, происходят из доблестного племени, жившего на севере Германии и именовавшегося англосаксонским. Никто, за исключением разве что священников, умеющих читать древние хроники, не знает, как давно переселились наши праотцы на остров Британию, где шла тогда междоусобная война. Англы явились туда по просьбе исконных жителей острова, вернее — той их части, которая обитала на южном побережье. В вознаграждение за щедро оказанную помощь им даровали там земли, и постепенно большая часть острова

перешла в собственность к англосаксам, которые по началу образовали несколько владений, а позднее создали единое королевство, где население подчинялось единым законам и говорило на том языке, на каком говорит большинство варягов-изгнанников, составляющих теперь твою императорскую гвардию телохранителей. Прошло время — и вот в этих краях появились норманны, северные люди. Их стали называть так потому, что они приплыли с далеких берегов Балтийского моря, чьи необозримые просторы временами покрываются льдом, крепким, как скалы Кавказа. Они искали страну с более мягким климатом, чем тот, на который обрекла природа их родину. Климат во Франции оказался превосходным, а народ ее — не очень воинственным; пришельцы отняли у них большую провинцию, которая и была названа Нормандией, хотя я слышал, как мой отец говорил, что раньше она называлась иначе. Они обосновались там под властью герцога, который признал верховную власть короля Франции над собой, а означало это лишь то, что он подчинялся ему, когда подчиняться было выгодно и удобно.

С тех пор прошло много лет, и все это время оба народа, норманны и англосаксы, мирно уживались на разных берегах морского пролива, отделяющего Францию от Англии, как вдруг Вильгельм, герцог Нормандии, собрал сильную армию, высадился в Кенте, на противоположном берегу пролива, и в великой битве разбил Гарольда, бывшего в то время королем англосаксов. Тяжело рассказывать о том, что произошло после этого. И в старые времена бывали битвы, приносившие ужасные бедствия, которые тем не менее сглаживались с годами, но в битве при Гастингсе — о горе мне! — знамя моей родины рухнуло и никогда больше не воспряло. Угнетение своими колесами раздавило нас. Все, в ком билось доблестное сердце, покинули родной край, и в Англии остались лишь те англичане — ибо только так следует называть нас, — которые согласились стать рабами захватчиков. Нашу горестную участь разделили и те датчане, которые по разным причинам перебрались в

Англию. Победители опустошили страну. Дом моего отца лежит в развалинах, окруженный густым лесом, разросшимся там, где раньше были прекрасные поля и пастбища и где мужественный народ добывал себе средства к жизни, возделывая благодатную почву. Огонь уничтожил церковь, где покоится прах моих предков, и я, последний в своем роду, скитаюсь по чужим странам, сражаюсь в чужих битвах, служу хотя и доброму, но чужому хозяину, одним словом — я изгнанник, варяг.

— И более счастлив сейчас, — вмешался Ахилл Татий, — чем если бы жил в варварской простоте, которую так ценили твои предки, ибо теперь ты находишься под благодатным солнцем улыбки, дарующей миру жизнь.

— Не стоит об этом говорить, — холодно возразил варяг.

— Значит, норманны и есть тот народ, — спросил император, — который захватил и подчинил себе славный остров Британию?

— Увы, это так, — ответил варяг.

— Выходит, они воинственные и храбрые люди? — продолжал расспросы Алексей.

— С моей стороны, — сказал Хирвард, — было бы низко и лживо говорить о врагах иначе: Они причинили мне зло, и зло это никогда не будет забыто, но говорить о них неправду было бы женской местью. Они — мои смертельные враги, и имя их всегда будет связано для меня с тяжкими и ненавистными воспоминаниями, но если собрать войска всех стран Европы — а сейчас как будто именно так и произошло, — то ни один народ и ни одно племя по храбрости своей не сравнится с надменными норманнами.

— А герцог Роберт — кто он такой?

— На этот вопрос мне ответить труднее, — сказал варяг. — Он сын — старший сын — жестокого Вильгельма, который подчинил себе Англию, когда меня и на свете-то не было или я был еще в колыбели. Этот Вильгельм, победитель в битве при Гастингсе, уже умер — мы знаем об этом из достоверных источников; и в то время как его старший сын, герцог

Роберт, получил в наследство герцогство Нормандию, кто-то из других его сыновей оказался настолько счастливым, что взошел на английский трон, если, конечно, это замечательное королевство не было разделено между наследниками тирана, подобно маленькой ферме какого-нибудь неизвестного йомена.

— Насчет этого у нас тоже есть кое-какие сведения, и мы постараемся на досуге сопоставить их с рассказом нашего воина, к которому мы склонны отнестись с полным доверием, ибо говорил он только то, что было ему доподлинно известно. А теперь, мои мудрые и достойные советники, пора нам кончить сегодняшнее наше служение в храме муз: удручающие известия, которые принес нам наш дорогой зять, прославленный кесарь, заставили нас затянуть поклонение этим ученым богиням до глубокой ночи, а это не полезно для здоровья нашей возлюбленной жены и дочери; что же касается нас, то сообщение кесаря требует нашего серьезного размышления.

Придворные тут же стали расточать на редкость изобретательную, изощренную лесть, выражая надежду на то, что столь затянувшееся бодрствование не повлечет за собой дурных последствий.

Никифор и его прекрасная супруга разговаривали друг с другом, как обычно разговаривают муж и жена, когда оба хотят загладить мимолетную размовку.

— Мой кесарь, — сказала царица, — излагая эти ужасные события, ты нашел для иных подробностей столь изысканные выражения, словно все девять муз, которым посвящен этот храм, помогали тебе облекать в слова твои мысли.

— Мне не нужна их помощь, — ответил Никифор, — ибо у меня есть собственная муза, обладающая талантами, которые язычники тщетно пытались приписать девяти парнасским богиням.

— Это очень мило сказано, — заметила прелестная служительница муз, опираясь на руку мужа и выходя вместе с ним из зала, — но если ты будешь награждать твою жену похвалами, во много раз превышающими ее достоинства, тебе придется предло-

жить ей руку, чтобы помочь нести бремя, которое ты соблаговолил возложить на нее.

Как только царственные особы удалились, все придворные тоже разошлись, и большинство из них поспешило отправиться в общество менее достойное, но более непринужденное, чтобы вознаградить себя за чопорную благопристойность, которую им приходилось хранить в храме муз.

Глава VI

Вольно тебе, тщеславный человек,
Любимую свою похвалиться:
Пускай она в себе соединяет
Духовную с телесной красотой,
Но женщиной прекрасной из прекрасных
Ты все же не дерзнешь ее назвать,
Пока на свете существует та,
Которой я поклонник и певец.

Старинная пьеса

Ахилл Татий вместе со своим верным варягом, неотступно следовавшим за ним, ускользнули от расходящегося общества так тихо и неприметно, как исчезает снег со склонов альпийских гор при наступлении солнечных дней. Их уход не сопровождался ни гулом шагов, ни бряцанием оружия. Не полагалось подчеркивать существование охраны во дворце, более того — принято было считать, что греческий император, это божество среди земных владык, окружен ореолом недоступности и неуязвимости. Поэтому старейшие и наиболее опытные царедворцы, среди которых не последнее место занимал наш друг Агеласт, предпочитали утверждать, что хотя император и пользуется услугами варягов и иной стражи, делается это скорее ради соблюдения этикета, чем из страха перед таким чудовищным и даже, с точки зрения хорошего тона, невыносимым преступлением, как покушение на царя. Молва о необычайной редкости таких случаев переходила из уст в уста в тех самых покоях, где подобные преступления совершались довольно

часто, и порою повторяли ее именно те люди, которые только и думали, как бы им свергнуть правящего императора.

Наконец начальник телохранителей и его верный спутник выбрались из стен Влахернского дворца. Варяг, охранявший потайную дверь, через которую Ахилл вывел Хирварда, захлопнул ее за ними и закрыл на засовы, издавшие при этом зловещий скрежет. Оглянувшись на бесчисленные башни, зубчатые стены и шпили, Хирвард невольно испытал облегчение: над ним снова было темно-синее небо Греции, на котором необычайно ярко светились звезды. Он вздохнул полной грудью и с удовольствием потер руки, как человек, вновь обретший свободу. Вопреки своему правилу никогда не заговаривать первым, он на этот раз сам обратился к своему начальнику:

— Скажу тебе так, доблестный начальник, — конечно, воздух в этих покоях пропитан благовониями, и они, быть может, даже приятны, но уж до того удушливы, что подходят больше для усыпальницы, чем для человеческого жилья. Я счастлив, что не должен дышать этим воздухом.

— Ну что ж, — ответил Ахилл Татий, — твое счастье, что твоя низменная и грубая душа задыхается там, где освежающий ветерок не только не может быть причиной смерти, но, напротив того, возвращает мертвым жизнь. Однако должен тебе сказать, Хирвард, что хотя ты родился варваром и тебе знаком лишь узкий круг дикарских потребностей и удовольствий, а другая жизнь, отличная от этого грубого и жалкого существования, неизвестна, тем не менее природа уготовила тебе иной, лучший удел: сегодня ты прошел через такое испытание, какого, боюсь, не выдержал бы ни один воин даже нашей благородной гвардии, ибо все они погрязли в безысходном варварстве. А теперь скажи по правде: разве ты не был вознагражден?

— Этого я не стану отрицать, — сказал варяг. — Я на двадцать четыре часа раньше своих товарищей узнал, что норманны движутся сюда, и, таким образом, мы сможем сполна отомстить им за кровавый

день битвы при Гастингсе. Столь великая радость стоит того, чтобы несколько часов подряд слушать бесконечную болтовню дамы, которая пишет о том, чего она не знает, и льстивые замечания окружающих, которые рассказывают ей о том, чего они не видели.

— Хирвард, юный мой друг, — сказал Ахилл Татий, — ты бредишь, и, я думаю, мне следовало бы приставить к тебе для присмотра опытного человека. Слишком большая смелость, мой доблестный воин, у трезвого человека граничит с дерзостью. Вполне понятно, что происшествия сегодняшнего вечера наполнили тебя гордостью, но если к этой гордости примешается тщеславие, ты немедленно станешь подобен умалишенному. Посуди сам: ведь ты бесстрашно смотрел в лицо порфиородной царевне, тогда как мои собственные глаза, привыкшие к подобным зрелищам, никогда не поднимались выше складок ее покрывала.

— Да будет так! — ответил Хирвард. — Но ведь красивые женские лица для того и созданы, чтобы их созерцать, а глаза молодых мужчин — чтобы на них смотреть.

— Если они действительно созданы для этого, — сказал Ахилл, — то, должен признать, более чем оправдано твое дерзновенное желание смотреть на царевну.

— Мой добрый начальник, или, если так тебе больше нравится, главный телохранитель, — сказал англо-бритт, — не доводите до крайности простого человека, который хочет честно выполнять свой долг по отношению к императорской семье. Царевна — жена кесаря и рождена, как ты сам сказал, в порфире; тем не менее она очень красивая женщина, сочиняет историю, о которой я предпочел бы не говорить, поскольку такие вещи недоступны моему пониманию, и поет как ангел; наконец, могу сказать, следуя моде нынешних рыцарей, хотя обычно я не пользуюсь их выражениями, что готов сразиться с любым, кто посмеет вслух умалять красоту или ум царственной особы Анны Комнин. Таким образом,

мой благородный начальник, мы исчерпали все, о чем ты мог бы спросить меня и на что я захотел бы тебе ответить. Нет сомнения, что есть женщины более красивые, чем царевна, и я меньше чем кто-либо сомневаюсь в этом, ибо знаю особу, которая, как я считаю, далеко превосходит ее красотой. На этом закончим наш разговор.

— Твоя красотка, мой несравненный дурачок, — сказал Ахилл, — должно быть, дочка какого-нибудь здорового северного мужлана, живущего по соседству с фермой, на которой вырос такой осел, как ты, наделенный непотребным желанием высказывать свои суждения.

— Говори все, что тебе нравится, начальник, — ответил Хирвард, — потому что, к счастью для нас обоих, ты не в состоянии оскорбить меня, ибо я ценю твое суждение не выше, чем ты ценишь мое; не можешь ты также унижить особу, которую в глаза не видел, но если бы ты ее видел, вряд ли я так терпеливо выслушивал бы замечания на ее счет даже от своего начальника.

Ахилл Татий в достаточной мере обладал сообразительностью, необходимой для человека в его положении. Он никогда не доводил отчаянные головы, которыми командовал, до крайности и в своих вольностях с ними никогда не переходил границ их терпения. Хирвард был его любимцем, и уже хотя бы по этой причине аколит пользовался уважением и искренней приязнью своего подчиненного; поэтому, когда главный телохранитель, вместо того чтобы возмутиться дерзостью варяга, добродушно извинился за то, что затронул его чувства, минутное недоразумение между ними было тут же забыто. Главный телохранитель сразу напустил на себя начальственный вид, а воин с глубоким вздохом, относившимся к его далекому прошлому, снова стал сдержан и молчалив, как прежде. Дело заключалось еще и в том, что у главного телохранителя были особые, далеко идущие замыслы в отношении Хирварда, о которых он не хотел пока говорить иначе, как самыми отдаленными намеками.

После длительной паузы, в течение которой они успели дойти до казармы — мрачного укрепленного строения, предназначенного для варяжской гвардии, — начальник знаком приказал воину подойти поближе и доверительным тоном спросил его:

— Хирвард, друг мой, хотя и трудно предположить, что в присутствии императорской семьи ты обратил внимание на кого-либо, в чьих жилах не течет царская кровь или, как говорит Гомер, не струится божественная влага, заменяющая священным особам грубую жидкость, именуемую кровью, но, может быть, ты все-таки во время этой длительной аудиенции приметил человека необычной для придворных внешности и одетого иначе, чем остальные, человека, которого зовут Агеласт, а мы, царедворцы, кличем Слоном за его неукоснительное соблюдение правила, запрещающего кому бы то ни было садиться или отдыхать в присутствии императорской семьи?

— Я думаю, — ответил варяг, — что помню того, о ком ты говоришь. Лет ему семьдесят или даже больше, он высокого роста и толстый; большая лысина вполне возмещается длинной и кудрявой седой бородой, спадающей ему на грудь до самого полотенца, которым он подпоясан, тогда как остальные придворные носят шелковые пояса.

— Ты совершенно точно описал его, варяг, — сказал Ахилл. — А что еще в нем привлекло твое внимание?

— Его плащ сшит из грубой ткани, как у последнего простолюдина, но отличается безукоризненной чистотой, как будто этот человек хотел выставить на показ свою бедность или презрительное равнодушие к одежде, не вызвав в то же время отвращения своей неопрятностью.

— Клянусь святой Софией, — воскликнул главный телохранитель, — ты меня поражаешь! Даже пророк Валаам был меньше удивлен, когда его ослица повернула к нему голову и заговорила с ним. Что же еще ты можешь сказать об этом человеке? Я вижу, что люди, которые встречаются с тобой, должны

опасаться твоей наблюдательности не меньше, чем алебарды.

— Если угодно твоей доблести, — ответил воин, — у нас, у англичан, есть не только руки, но и глаза, но мы позволяем себе говорить о том, что замечаем, только когда этого требует наш долг. Я не вслушивался в разговоры этого старика, но кое-что долетело до меня, и я понял, что он не прочь разыгрывать из себя, как мы это называем, шута или дурачка, а в его возрасте и при его внешности такое поведение, смею сказать, малопрстойно и скорее всего говорит о том, что он преследует более далекие цели.

— Хирвард, ты сейчас говоришь, как ангел, спустившийся на землю, чтобы читать в сердцах смертных. На свете мало столь противоречивых людей, как этот Агеласт. Обладая разумом, который в былые времена равнял мудрецов этой страны с самими богами, Агеласт при этом еще и хитер, как старший Брут, скрывавший свои таланты под личиной бездельника и шута. Он как будто не ищет должностей, не стремится занять видное положение, ко двору является, только когда его туда требуют, но что сказать, мой воин, о влиянии, которого он достигает без всяких видимых усилий, словно воздействуя на мысли людей и заставляя их поступать так, как ему нужно, хотя сам он никогда ни о чем не просит? Ходят странные слухи о его общении с существами потусторонними, которым наши предки молились и приносили жертвы. Однако я решил выведать, что это за лестница, по которой он так быстро и легко поднимается к вершине — средоточию помыслов всех придворных. Одно из двух: либо он потеснится и даст мне местечко на ней, либо я выбью ее у него из-под ног. Тебя, Хирвард, я избрал себе в помощники, подобно тому как нечестивые рыцари-франки, отправляясь искать приключений, избирают сильного оруженосца или слугу и делят с ним опасности и награды. Я оставил свой выбор на тебе, потому что ты проявил сегодня редкую проницательность, а также из-за твоей храбрости, равной храбрости твоих товарищей или даже превосходящей ее.

— Я польщен и благодарен тебе, — ответил варяг, быть может несколько холоднее, чем того ожидал его начальник, — и буду, как велит мне долг, служить тебе в любом деле, угодном богу и не противоречащем моим обязанностям на службе императору. Я хочу только добавить, что как воин, приносивший присягу, я ни в чем не нарушу законов империи; что касается языческих богов, то как ревностный, хотя и невежественный христианин, я готов бросить им вызов именем безгрешных праведников, а других дел с ними иметь не желаю.

— Глупец! — воскликнул Ахилл Татий. — Неужели ты думаешь, что я, уже занимающий одно из первых мест в империи, могу задумать что-либо, противоречащее интересам Алексея Комнина? Или — что было бы даже еще ужаснее — неужели ты можешь заподозрить, что я, близкий друг и союзник достойного патриарха Зосимы, буду вмешиваться в какие-то дела, имеющие хотя бы самое отдаленное отношение к ереси или к идолопоклонничеству?

— По правде говоря, — ответил варяг, — никто не был бы так удивлен и огорчен этим, как я, но когда мы пробираемся по лабиринту, мы должны твердо знать и постоянно твердить себе, что у нас есть ясная цель впереди, — только тогда мы не собьемся с верного пути. Люди в этой стране выражают одно и то же столь разными словами, что в конце концов перестаешь понимать, о чем они говорят. Мы, англичане, напротив, можем выразить нашу мысль только одним способом, но зато самые изобретательные в мире люди не в силах извлечь другой смысл из наших слов.

— Ну хорошо, — сказал главный телохранитель, — завтра мы с тобой поговорим подробнее; для этого ты придешь ко мне вскоре после захода солнца. И помни, пока солнце не скроется, время принадлежит тебе, можешь развлекаться или отдыхать. Мой тебе совет — лучше отдыхай, поскольку вечером нам обоим, быть может, снова придется быть на страже.

С этими словами они вошли в казарму и расстались — начальник телохранителей прошептал в роскошные покои, которые он занимал, а англосакс направился в свое более скромное помещение, отведенное нижним чинам гвардии телохранителей.

Глава VII

Не больше было северных дружин
Во стане Агрикана в день, когда
Альбракку, град великий Галлафрона,
Он, по преданью, осадил, желая
Похитить Анжелику, о которой
Все доблестные рыцари мечтали,
Язычники и даже пэры Карла.

«Возвращенный рай»

Наутро после описанного нами дня собрался на заседание императорский совет; его многочисленные члены — сановники с пышными званиями — должны были прикрывать, подобно легкой вуали, очевидную всем слабость греческой империи. Военачальников было множество, различия в их чинах разработаны до тонкостей, но простых воинов было сравнительно очень мало.

Должности, некогда исполнявшиеся префектами, преторами и квесторами, занимали прислужники императора, которые, именно в силу своей близости к этому деспотическому двору, обладали особенно большой властью. Сейчас они длинной вереницей входили в просторную приемную Влахернского дворца и затем следовали до того места, которое соответствовало их чину. Таким образом, в каждом из смежных покоев задерживались те, чей ранг был недостаточно высок, чтобы идти дальше, и только пять человек, миновав десять залов, дошли до внутреннего приемного зала — этой святой святых империи, убранной с обычной для тех времен роскошью. Там их ждал сам император.

Император Алексей восседал на величественном троне, богато отделанном привозными самоцветами и

золотом; по обеим сторонам трона, вероятно в подражание великолепию царя Соломона, были расположены фигуры лежащих львов, сделанные из того же драгоценного металла. Не упоминая о других предметах роскоши, скажем только, что ствол дерева, простиравшего над троном свои ветви, также, видимо, был отлит из золота. На ветвях сидели диковинные птицы из финифти, а в листе сверкали плоды из драгоценных камней. Только пять высших сановников империи пользовались привилегией допуска в это святилище, когда император созывал совет. Это были — великий domestik, который по положению своему являлся чем-то вроде современного премьер-министра; логофет, или, другими словами, канцлер; уже упоминавшийся протоспафарий, или главнокомандующий; аколит, или главный телохранитель, начальник варяжской гвардии; патриарх.

Передняя и двери этого тайного покоя охранялись шестью искалеченными нубийскими рабами, чьи сморщенные, безобразные лица представляли ужасающий контраст с белоснежными одеждами и роскошным вооружением. Они были немые, эти несчастные, которым по обычаю, заимствованному у восточных деспотий, отрезали языки, чтобы они не могли рассказать о делах тирана, чьи веления безжалостно выполняли. На них взирали скорее с ужасом, нежели с жалостью, ибо считалось, что эти рабы испытывают злобное наслаждение, нанося другим непоправимые увечья, навеки отделившие их самих от всего человечества.

По сложившемуся обычаю — он, как и многие другие обыкновения греков, был бы сочтен в наши дни пустым ребячеством, — при появлении в этом покое постороннего человека в действие приводился несложный механизм, и тогда львы, издавая рык, приподнимались, легкий ветерок пробежал по листе деревьев, птицы начинали прыгать с ветки на ветку, клевать плоды и громко щебетать. Такое зрелище пугало многих простодушных чужеземных послов, и даже греки — советники императора, услышав рычание львов и вслед за ним чириканье птиц, должны

были неуклонно изображать испуг, а затем удивление, хотя уже неоднократно наблюдали все это. Но на этот раз — свидетельство чрезвычайности заседания — упомянутая церемония была отменена.

Речь императора поначалу напоминала львиный рык, но конец ее скорее был похож на птичий щебет.

Сперва он заклеил дерзость и неслыханную наглость миллионов франков, посмеявшихся под предлогом освобождения Палестины от неверных вторгнуться в священные пределы империи. Он угрожал им суровыми карами, которым, несомненно, их подвергнут его, Алексея, бесчисленные войска и военачальники. При этих словах собравшиеся, особенно военные, выразили свое полное согласие с императором.

Однако Алексей недолго настаивал на своих воинственных намерениях, о которых заявил вначале. Он стал рассуждать о том, что франки, в общем, тоже христиане. Быть может, они искренне верят в этот свой крестовый поход, а если так, то хотя они и ошибаются, к их побуждениям следует отнестись более снисходительно и даже с некоторым уважением. Численность участников крестового похода огромна, а что касается храбрости, люди, видевшие, как они сражались в Дураццо¹ и в других местах, не могут ее недооценивать. Кроме того, если на то будет воля провидения, франки в конце концов могут сослужить службу Священной империи, хотя они и нарушили столь бесцеремонно ее границы. Поэтому император, олицетворение благоразумия, человеколюбия и великодушия в сочетании с доблестью, которая всегда должна пылать в сердце истинного монарха, наметил план действий и предлагает обсудить его, чтобы затем претворить в жизнь. Но сперва пусть великий domestik доложит, какими силами он располагает на западном берегу Босфора.

¹ О кровопролитной битве при Дураццо в октябре 1081 года, в которой Алексей потерпел поражение от Роберта Гискара и спасся только благодаря быстроте своего коня, см. у Гиббона, гл. LVI. (*Прим. автора.*)

— Военные силы империи бессчетны, как звезды на небе и как песок на берегу морском, — таков был ответ великого domestika.

— Это был бы прекрасный ответ, — заметил император, — если бы здесь присутствовали посторонние; но поскольку у нас тайное совещание, я хочу получить точные сведения, на какое количество войск я могу рассчитывать. Прибереги свое красноречие для другого, более подходящего случая и ответь мне, что в настоящее время ты имеешь в виду под словом «бесчетные»?

Великий domestik немного помедлил с ответом, но, понимая, что сейчас неподходящий момент для уверток, ибо Алексей Комнин порой бывал опасен в гневе, ответил, хотя и не без колебания:

— Августейший повелитель лучше чем кто-либо другой знает, что ответ на этот вопрос нельзя дать наспех, иначе можно и ошибиться. Численность императорских войск, расположенных между этим городом и западными границами империи, не считая находящихся в отпуску, не превышает двадцати пяти, от силы тридцати тысяч человек.

Алексей ударил себя ладонью по лбу, а советники, увидев столь бурное проявление скорби, смешанной с недоумением, тут же вступили в спор, который в ином случае они не стали бы вести в этом месте и в эту минуту.

— Клянусь доверием, которым ты меня облек, святейший государь, — сказал логофет, — за последний год из казны твоего величества было взято золота достаточно, чтобы оплатить вдвое большее число воинов, чем то, которое назвал сейчас великий domestik.

— Мой государь, — взволнованно возразил задевший за живое министр, — соблаговоли вспомнить, что существуют еще постоянные гарнизоны, которые не входят в названное мною число.

— Замолчите вы оба! — прикрикнул Алексей, быстро овладев собой. — Войск у нас действительно оказалось гораздо меньше, чем мы рассчитывали, но не следует спорами увеличивать трудности, перед которыми мы стоим. Эти войска следует расположить

между городом и западными границами империи в долинах, горных проходах, за гребнями холмов и в труднопроходимых местах, где, при искусном использовании позиций, небольшие отряды производят впечатление многочисленной армии. А пока будут проводиться передвижения войск, мы продолжим переговоры с крестоносцами, как они себя называют, на счет условий, при соблюдении которых мы разрешим им пройти через наши земли. Мы не теряем надежды достигнуть с ними соглашения, которое принесет великую выгоду нашему государству. Мы будем настаивать, чтобы они шли через нашу страну армиями, не превышающими пятидесяти тысяч человек за раз, и эти армии нужно последовательно переправлять в Азию, чтобы они не скапливались у стен столицы мира, угрожая тем самым ее безопасности.

Если они будут следовать мирно и в строгом порядке, мы согласимся снабжать их на пути к берегам Босфора продовольствием; если же их войны начнут отделяться от своих отрядов и грабить население, мы надеемся, что наши храбрые крестьяне не замедлят дать им отпор и сделают это без прямых приказов с нашей стороны, дабы нас нельзя было упрекнуть в нарушении договора. Мы полагаем также, что скифы, арабы, сирийцы и прочие наемники, состоящие на нашей службе, не допустят, чтобы наши подданные терпели урон в то время, когда они защищают себя. Точно так же, поскольку вряд ли справедливо оставлять страну без продовольствия, снабжая им чужеземцев, мы не будем удивлены и тем более жестоко разгневаны, узнав, что из всего количества муки, несколько мешков окажутся наполненными мелом, известью или чем-нибудь в этом роде. Поистине удивительно, чего только не может переварить желудок франка! Проводники, которых вы тщательно отберете для этой цели, поведут крестоносцев труднопроходимыми и кружными дорогами. Это принесет пришельцам несомненную пользу, ибо приучит их к нелегким условиям нашей страны и нашего климата, а иначе им придется столкнуться с этими трудностями без всякой подготовки.

Между тем, встречаясь с их вождями, которых они величают графами и каждый из которых мнит, что он так же велик, как император, старайтесь не задевать их врожденной спесивости, но и не упускайте случая рассказать им о богатстве и щедрости вашего государя. Знатным персонам можно даже преподнести денежные дары, но тем, кто подчинен им, следует делать менее щедрые подношения. Ты, наш логофет, позаботишься об этом, а ты, великий domestik, проследишь за тем, чтобы воины, которые будут нападать на отбившиеся отряды франков, своим видом и одеждой по возможности напоминали язычников. Возлагая на вас исполнение этих поручений, я стремлюсь к тому, чтобы крестоносцы почувствовали цену нашей дружбы и в какой-то мере опасность вражды с нами и чтобы те, кого мы благополучно переправим в Азию, составили хоть и по-прежнему огромную, но все же меньшую числом армию, с которой мы могли бы потом обойтись со всем христианским благоразумием. Таким образом, улеживая одних и угрожая другим, даруя золото скупцам, власть — честолюбцам и обращаясь с доводами разума к тем, кто способен понимать их, мы, без сомнения, сможем внушить этим франкам, которые прибыли из тысячи различных мест и враждуют друг с другом, что они должны признать своим вождем нашу особу, а не кого-либо, избранного из их же числа. Мы докажем им, что каждая деревня в Палестине, от Дана до Вирсавии, является исконной собственностью Священной Римской империи и что любой христианин, отправляясь на завоевание этих мест, должен выступать как наш подданный, а добившись военного успеха, обязан помнить, что он — наш вассал. Порок и добродетель, здравый смысл и глупость, честолюбие и бескорыстная преданность — все должно подсказывать тем, кто выживет из числа этих простодушных людей, что для них же лучше стать ленниками нашей империи, а не врагами ее, считом, а не противником вашего отца-императора.

Царедворцы единодушно склонили головы в знак согласия и воскликнули по восточному обычаю:

— Многие лета императору!

Когда приветственные возгласы стихли, Алексей продолжал:

— Я еще раз напоминаю моему верному великому domestiку, что он и его подчиненные должны поручить исполнение той части этого приказа, которую можно назвать наступательной, воинам, чья внешность и чей язык свидетельствуют об их иноземном происхождении, а таких в нашей императорской армии, должен с грустью заметить, больше, чем исконных наших подданных-христиан.

Тут вставил свое слово патриарх:

— Есть утешение в том, что истинных римлян в императорской армии так мало, ибо столь кровавое занятие, как война, более пристало тем, чьи земные дела, равно как и вероисповедание, повергнут их в преисподнюю на том свете.

— Досточтимый патриарх, — сказал император, — мы отнюдь не полагаем наравне с варварами-неверными, что царство небесное можно завоевать мечом; тем не менее, думается нам, римлянин, умирающий на поле брани за свою веру и своего императора, вправе ожидать, что, отстрадав на смертном ложе, он попадет в рай, как и тот, кто умирает в мире, с руками, не обгавленными кровью.

— Я должен заметить, — возразил патриарх, — что учение церкви не столь терпимо к войне; церковь сама миролюбива и обещает блаженство тем, кто жил мирно. Однако не следует думать, что я закрываю врата рая воину, если он верует в догматы нашей церкви и выполняет все ее обряды. Тем менее собираюсь я осуждать мудрые распоряжения твоего императорского величества, должныствующие ослабить силы и уменьшить число этих еретиков-латинян, пришедших сюда, чтобы разорять нас и, возможно, грабить церкви и храмы под тем суетным предлогом, что небеса позволяют им, погрязшим в стольких ересях, отвоевать святую землю, которую истые христиане, священные предки твоего величества, не смогли отбить у неверных. Я также убежден, что наш император не позволит этим латинянам водружать в своих поселениях вместо креста с равными концами бесов-

ский и проклятый крест западной церкви, требующей, чтобы нижний конец этого священного символа был удлинён.

— Досточтимый патриарх, — ответил император, — не подумай, что мы легко относимся к твоим веским доводам, но речь сейчас идет не о том, какими путями мы можем обратить еретиков-латинян в истинную веру, а о том, как бы нам не оказаться раздавленными их полчищами, подобными полчищам саранчи, чье нашествие предшествовало и предвещало их появление.

— Святейший император, — сказал патриарх, — будет действовать с присущей ему мудростью; я же со своей стороны только высказал некоторые сомнения, ибо надеюсь спасти свою душу.

— Наш план никак не оскорбляет твоих чувств, досточтимый патриарх, — заметил император. — А вы, — обратился он к остальным советникам, — позаботьтесь об исполнении отдельных частей этого плана, изложенного нами в общих чертах. Наши распоряжения начертаны священными чернилами, а священная наша подпись должным образом запечатлена зеленой и пурпурной красками. Пусть же мои подданные строжайше следуют им. Мы лично примем командование над теми отрядами Бессмертных, которые остаются в городе, и присоединим к ним когорты наших верных варягов. Во главе этих войск мы станем ожидать у стен города подхода чужеземцев и, стараясь мудрой политикой по возможности отсрочить сражение, будем в то же время готовы в худшем случае встретить то, что ниспошлет нам всевышний.

На этом совет закончился, и многочисленные начальники отправились выполнять многочисленные поручения, касающиеся дел гражданских и военных, тайных и гласных, частью дружественные, а частью враждебные в отношении крестоносцев. И тут полностью проявился своеобразный характер греческого народа. Их шумные и хвастливые речи соответствовали тем представлениям о могуществе и богатстве империи, которые Алексею хотелось внушить кресто-

носцам. Не следует также скрывать, что большинство приближенных императора, движимые коварным своекорыстьем, тотчас начали отыскивать возможность исполнить приказание государя таким образом, чтобы добиться при этом и своих собственных выгод.

Тем временем по Константинополю распространилась весть о том, что к западным границам Греческой империи подошла огромная и разноплеменная армия, которая намеревается переправиться в Палестину. Бесчисленные слухи преувеличивали, если только это возможно, важность столь поразительного события. Одни утверждали, что крестоносцы решили завоевать Аравию, разрушить гробницу пророка, а его зеленое знамя вручить брату французского короля в качестве конской попоны. Другие предполагали, что действительной целью войны является разрушение и ограбление Константинополя. Третьи утверждали, что франки хотят заставить патриарха подчиниться папе, принять римский крест и положить конец расколу церкви.

Варяги добавили к этому необыкновенному известию подробности, отвечающие, как оно обычно бывает, их собственным предубеждениям. Первоисточником слухов оказался наш друг Хирвард, один из низших чинов варяжской гвардии, именуемых сержантами, или констеблями, который счел необходимым пересказать товарищам то, что он услышал накануне вечером. Полагая, что новость все равно вскоре станет широко известна, он, не колеблясь, сообщил следующее: к Константинополю подступает армия норманнов во главе с герцогом Робертом, сыном прославленного Вильгельма Завоевателя, и намерения у этой армии, заключил он, весьма враждебные, главным образом в отношении варягов. Как и все люди, находящиеся в особых обстоятельствах, варяги не усомнились в том, что это правда. Норманны, решили они, эти насильники, обесчестившие всех саксов, теперь преследуют скорбных изгнанников в чужеземной столице и хотят объявить войну великодушному государю, который не только дал убежище тем немногим, что еще остались в живых,

но и готов их защищать. Немало страшных клятв отомстить острыми алебардами за поражение при Гастингсе, вызванных этой уверенностью, было произнесено на норвежском и англосаксонском языках, немало кубков с вином и элем поднято за тех, кто сумеет доказать, что глубже других ненавидит и беспощаднее накажет захватчиков за обиды, нанесенные жителям Англии.

Хирвард, принесший эту весть, вскоре уже пожалел, что проговорился, — так приставали к нему товарищи с расспросами, откуда у него такие сведения, между тем как он считал, что должен молчать о приключениях прошлого вечера и о том, от кого ему стало известно о вторжении франков.

Около полудня, когда Хирвард порядком устал отвечать одно и то же на одни и те же вопросы или уклоняться от них, звуки труб возвестили о появлении главного телохранителя Ахилла Татия, который, как сообщали шепотом, прибыл прямо из императорского дворца с известием о немедленном начале войны.

Передавали, что варяги и римские отряды Бесмертных должны расположиться лагерем под городом с тем, чтобы по первому же приказу встать на его защиту. Это известие подняло всех на ноги; каждый воин принялся за необходимые приготовления к предстоящей кампании. Казармы гудели от оживленной суеты и веселых возгласов, и Хирвард, воспользовавшись своим правом поручить сборы оруженосцу, решил улизнуть от товарищей, чтобы в одиночестве поразмыслить о странных приключениях, в которые он оказался замешанным, и о своем знакомстве с императорской семьей.

Пройдя узкими улицами, пустынными в эти жаркие часы, он наконец добрался до одной из тех широких террас, которые, спускаясь уступами к Босфору, образуют одно из лучших в мире мест для прогулок; говорят, они по сей день служат туркам для той же цели, для которой некогда служили христианам. Эти ступенчатые террасы были густо обсажены деревьями, среди которых больше всего было кипарисов.

Хирвард увидел, что там толпятся люди; одни сновали взад и вперед с озабоченными и тревожными лицами, другие стояли небольшими группами, видимо обсуждая удивительные и грозные события; были, впрочем, и такие, которые с ленивой беспечностью, порождаемой климатом этой восточной страны, поедали в тени свой полуденный завтрак и вели себя так, словно единственной их целью было получить все, что можно, от сегодняшнего дня, а завтра будь что будет.

Пока варяг, боясь, что встреча с каким-нибудь знакомцем нарушит его уединение, ради которого он и пришел сюда, спускался и поднимался с одной террасы на другую, все вокруг следили за ним с пытливым любопытством, считая, что он благодаря своей службе и постоянной связи с императорским двором наверняка знает больше других о новости дня — неслыханном нашествии многочисленных армий из разных стран. Но хотя все взирали на него с острым интересом, ни единый человек не осмелился заговорить с воином императорской гвардии. Так он переходил с залитых солнцем террас на тенистые, с заросших деревьями — на более просторные, и никто не останавливал его; тем не менее все время у него было такое чувство, словно он не один.

Стремясь уйти от посторонних глаз, он то и дело оглядывался и тут внезапно обнаружил, что за ним по пятам идет чернокожий раб. Такие рабы были достаточно обычны на улицах Константинополя и не привлекали особого внимания, однако, поскольку Хирвард уже заметил его, ему захотелось отделаться от этого человека. Если раньше он нигде не останавливался, чтобы держаться подальше от людей вообще, то теперь стал переходить с места на место, чтобы избавиться от непрошеного соглядатая, который, хотя и издали, но со всей очевидностью следил за ним. Хирвард свернул в сторону, и негр, казалось, отстал от него, но через несколько минут варяг опять увидел его на расстоянии, слишком далеком для спутника, но достаточно близком для шпиона. Рассердившись, он круто повернулся и, выбрав место, где не было ни-

кого, кроме докучного раба, внезапно подошел к нему и потребовал, чтобы тот объяснил, зачем и по чьему приказу он преследует его. На столь же ломаном языке, на каком был задан вопрос, хотя и с другим акцентом, раб ответил, что «имеет приказ смотреть за тем, куда идет воин».

— Чей приказ? — спросил варяг.

— Моего и твоего повелителя, — смело заявил негр.

— Ах ты, гнусный язычник! — возмутился варяг. — С каких пор мы с тобой служим одному хозяину, и кто это такой, кого ты дерзаешь именовать моим повелителем?

— Тот, кто повелевает всем миром, — ответил раб, — так как властвует над своими собственными желаниями.

— Но я со своими едва ли совладаю, — сказал Хирвард, — если на мои настойчивые вопросы ты будешь отвечать дурацкими философскими увертками. Еще раз спрашиваю: что тебе нужно от меня? И как ты смеешь следить за мной?

— Я уже сказал тебе, — ответил раб, — что я выполняю приказ моего повелителя.

— Но в таком случае я должен знать, кто он, — настаивал Хирвард.

— На это он тебе ответит сам, — сказал негр. — Он не станет открывать такому жалкому рабу, как я, цели тех поручений, с какими он посылает меня.

— Однако он оставил тебе язык, — продолжал варяг, — которым, я думаю, многие из твоих соотечественников были бы рады обладать. Смотри, как бы я не укоротил его за то, что ты отказываешься отвечать мне на вопросы, которые я вправе тебе задавать.

Судя по ухмылке, чернокожий, видимо, придумал новую отговорку, но Хирвард, не дав ему заговорить, поднял алебарду.

— Кончится тем, что я опозорю себя, — воскликнул он, — проткнув тебя оружием, предназначенным для более благородных дел!

— Я не смею отвечать тебе, доблестный господин, — взмолился негр; в его голосе прозвучал страх,

и от прежней насмешливой наглости не осталось и следа. — Если даже ты забудешь до смерти бедного раба, все равно он не скажет тебе того, что хозяин запретил ему говорить. Согласись совершить короткую прогулку, и тебе не придется пятнать свою честь и утомлять руки расправой над тем, кто не может защищаться, а мне не придется покорно терпеть побои, не пытаясь ответить ударом на удар или хотя бы убежать.

— Тогда ведай, но помни, что тебе не удастся одурачить меня жалкими словами, — сказал варяг. — Я все равно выясню, кто этот дерзкий, который полагает, что он вправе следить за мной.

Чернокожий пошел впереди, и лицо его по-прежнему хранило лукавое выражение, которое в равной степени можно было приписать и злобности и веселости нрава. Варяг следовал за ним, испытывая некоторое беспокойство, вызванное тем, что он мало сталкивался с несчастными африканцами и не совсем еще преодолел то удивление, с каким глазел на них, когда приехал сюда с севера. Негр так часто оглядывался и смотрел на Хирварда так пристально и пронырливо, что тому невольно вспомнились английские поверья, наделявшие дьявола точно таким же черным цветом кожи и безобразным лицом, как у его проводника. Местность, по которой этот человек вел варяга, способствовала мыслям, довольно понятным у невежественного английского воина.

С роскошных террас, которые мы только что описали, негр спустился по тропинке к морскому берегу; здесь не было обычных удобных насыпей для прогулок, напротив того, кругом царил полное запустение, и лишь развалины старинных построек виднелись из-под буйной растительности, свойственной этому климату. Хотя руины на берегу маленькой бухты, укрытой с обеих сторон высокими склонами, входили в черту города, их ниоткуда не было видно, точно так же как церкви, дворцы, башни и укрепления, расположенные совсем близко, не были видны с берега. Это запущенное и на первый взгляд безлюдное место, где среди развалин теснились кипа-

рисы и другие деревья, производило на душу впечатление сильное и мрачное, особенно, быть может, потому, что находилось оно среди многолюдного города. Что касается руин, то они были древнего и, судя по стилю, не греческого происхождения. Остатки огромного портика, обломки гигантских статуй, изваянных в принужденных позах и изобличавших грубость вкуса — словом, прямая противоположность скульптуре греков, — наполовину стершиеся иероглифы, еще различимые кое-где на этих обломках, подтверждали народную молву об их происхождении, которую мы сейчас вкратце изложим.

По преданию, здесь стоял храм, посвященный египетской богине Кибеле и построенный еще в те времена, когда Римская империя была языческой, а Константинополь именовался Византией. Известно, что верования египтян, одинаково непристойные, понимать ли их буквально либо истолковывать мистически, в особенности же порожденные ими многочисленные, ни с чем не сообразные учения были отвергнуты Римом, невзирая на его веротерпимость и политеизм. Закон неоднократно отказывал им в своем покровительстве, хотя империя относилась с уважением к самым странным и нелепым верованиям. И тем не менее египетские обряды обладали большой притягательностью для людей любопытных и суеверных, и, как с ними ни боролись, они все-таки укрепились в империи.

Однако хотя египетских жрецов и терпели, но народ видел в них скорее чародеев, нежели священнослужителей, считая, что их обряды больше сродни магии, чем любому обычному богослужению.

Запятнанный подобными обвинениями даже среди самих язычников, египетский культ вызывал у христиан еще больший ужас и отвращение, чем другие, более рациональные языческие верования, если только их вообще можно рассматривать как верования. В жестоком культе Аписа и Кибелы усматривали не только предлог для постыдных и распутных наслаждений, но и прямой призыв к опасным сношениям со злыми духами, которые, по общему мнению, принимали у

этих исполненных скверны алтарей имена и обличья омерзительных божеств. Поэтому, когда Рим стал христианским, не только был разрушен храм Кибелы с его гигантским портиком, огромными, безвкусными статуями и диковинными иероглифами, но и само место, где он стоял, начало почитаться оскверненным и проклятым и, поскольку еще ни один император не построил здесь христианской церкви, оставалось, как мы уже описали, заброшенным и пустынным.

Варяг прекрасно знал о дурной славе развалин храма, и поэтому, когда негр как будто собрался войти в них, он, в нерешительности остановившись, обратился к своему проводнику:

— Послушай, чернокожий приятель, люди худо говорят об этих странных статуях с собачьими и коровыми головами, а то и вовсе без голов. Да и ты, друг, цветом кожи слишком уж похож на дьявола, чтобы бродить с тобой среди этих обломков, где, как утверждают, каждый день прогуливается нечистый. Говорят, обычно он появляется в полдень и в полночь. Я не сделаю ни шагу дальше, если ты не сможешь убедить меня в том, что это необходимо.

— Если ты будешь повторять эти глупые рассказы, — сказал негр, — ты отобьешь у меня всякое желание вести тебя к моему хозяину. А я-то думал, что имею дело с человеком не только несокрушимого мужества, но и здравого смысла, на котором должна основываться настоящая доблесть. У тебя же ее достаточно, чтобы прибить черного раба, у которого нет ни сил, ни права сопротивляться тебе, но слишком мало, чтобы без дрожи взглянуть на теневую сторону стены, даже если на небе сияет солнце.

— Ты обнаглел, — сказал Хирвард, замахиваясь алебардой.

— А ты лишился ума, — ответил негр, — если пытаешься доказать свою смелость и рассудительность таким способом, который дает основания сомневаться и в том и в другом. Я уже сказал: невелика храбрость избить такое жалкое существо, как я, и, уж на-

верное, ни один человек, который пытается отыскать дорогу, не начинает с того, что гонит прочь своего проводника.

— Я иду за тобой, — сказал Хирвард, уязвленный обвинением в трусости, — но если ты собираешься завлечь меня в ловушку, то вся твоя хитроумная болтовня не спасет тебя, даже если на твою защиту встанут тысячи таких, как ты, черномазых порождений земли или ада.

— Тебе не нравится цвет моей кожи, — сказал негр, — но откуда ты знаешь, что его следует рассматривать и оценивать как нечто существующее в действительности? Твои собственные глаза ежедневно стараются доказать тебе, что к ночи цвет неба из светлого становится темным, и все-таки ты знаешь, что это, бесспорно, не настоящий цвет небес. Точно так же меняет свой цвет и море на глубоких местах... Можешь ли ты утверждать, что разница между цветом моей кожи и твоей не является следствием столь же обманчивых перемен, разницей кажущейся, а не подлинной?

— Конечно, ты мог выкраситься, — подумав, ответил варяг, — и тогда твоя чернота только видимая, но я полагаю, что даже твой друг дьявол вряд ли изобрел бы эти вывернутые губы, белые зубы и приплюснутый нос, если бы нубийский тип лица, как его называют, не существовал в действительности. Ну, а чтобы ты зря не старался, мой чернокожий приятель, должен тебя предупредить, что хотя ты имеешь дело с необразованным варягом, все же я не совсем чужд греческому искусству хитроумными словами морочить голову собеседникам.

— Вот как? — недоуменно и с некоторым сомнением спросил негр. — А может ли раб Диоген — ибо именно так окрестил меня мой хозяин — поинтересоваться, каким образом ты приобрел столь редко встречающиеся знания?

— Очень просто, — сказал Хирвард. — Мой соотечественник Витикинд, имевший чин констебля в нашем отряде, уйдя с военной службы, провел остаток

своей долгой жизни здесь, в Константинополе. Покончив с трудами войны и, как говорится, обыденной жизни, а также с пышностью и тяготами смотров и учений, бедный старик, не зная, чем занять время, начал учиться у философов.

— И чему же он у них научился? — снова спросил негр. — Не думаю, чтобы варвар, поседевший под шлемом, оказался очень восприимчивым к греческой философии.

— Во всяком случае, не менее восприимчивым, чем раб на посылках, а ты, насколько я понимаю, именно в этой должности и состоишь, — ответил воин. — От Витикинда я узнал, что учителя этой бесполезной науки ставят себе целью подменять в своих доказательствах мысли словами, а так как каждый из них вкладывает в эти самые слова другое значение, то никакого окончательного и разумного вывода из их споров сделать нельзя, ибо они не могут договориться о языке, которым выражают свои идеи. Эти так называемые теории построены на песке, и ветер и прибой сильнее их.

— Скажи это моему хозяину, — серьезно заметил негр.

— И скажу, — заявил варяг. — Пусть убедится, что я невежественный воин, у которого убеждений не много, да и те касаются только религии и воинского долга, но уж с этих моих убеждений меня не собьют ни залпы софизмов, ни уловки или угрозы почитателей языческих богов ни в этом мире, ни в потустороннем.

— Что ж, значит, ты сам сможешь изложить ему свои взгляды, — сказал Диоген.

Он посторонился, уступая дорогу варягу, и сделал ему знак пройти вперед.

Хирвард пошел по заросшей тропинке, почти не приметной в высокой, густой траве, и, обогнув полуразрушенный алтарь, на котором валялись обломки статуи божественного быка Аписа, оказался перед философом Агеластом, отдыхавшим на траве посреди развалин.

Глава VIII

Не разгадают этих тайн софисты,
Но здравый смысл к ним ключ легко найдет;
Так, лишь сверкнет луч солнца золотистый,
Туман за гребни горные плывет.

Доктор Уотте

При появлении Хирварда старик с живостью поднялся с земли.

— Мой храбрый варяг, — обратился он к воину, — ты оцениваешь людей и вещи не по той суетной стоимости, которую приписывают им в этом мире, а по их истинному значению и подлинному достоинству, и я приветствую тебя, зачем бы ты ни пришел сюда. Да, я приветствую тебя в месте, где философия занимается важнейшим делом — срывает с человека заимствованные украшения и устанавливает настоящую цену тому, что только и следует принимать во внимание, — цену его физическим и умственным свойствам.

— Ты, господин, — важный вельможа, — ответил сакс, — ты приближен к его императорскому величеству и, уж конечно, знаешь, что правил этикета, предписывающих, как надо приветствовать людей различных званий, раз в двадцать больше, чем может запомнить такой человек, как я. Поэтому простых людей вроде меня следует прощать, если, попав в высокопоставленное общество, они ведут себя не так, как положено.

— Это верно, — согласился философ, — но человек, подобный тебе, благородный Хирвард, в глазах подлинного философа заслуживает большего внимания, чем тысячи этих насекомых, которых порождает улыбка, полученная при дворе, и уничтожает малейший знак неодобрения.

— Господин, ты ведь сам придворный, — заметил Хирвард.

— И к тому же примерный, — ответил Агеласт. — Думаю, во всей империи не найдется подданного, лучше меня знающего десять тысяч правил, согласно которым люди различного положения должны обращаться к различным представителям власти. Еще не

родился тот, кто мог бы утверждать, что я воспользовался случаем и сел в присутствии императорской семьи. Но хотя в обществе я придерживаюсь этих светских правил и, значит, как бы разделяю всеобщие предрассудки, истинное мое суждение о людях куда глубже и достойнее человека, который создан, как говорится, по образу и подобию божьему.

— У тебя было слишком мало возможностей, — сказал варяг, — составить суждение обо мне, да я и не хочу вовсе, чтобы кому-нибудь я представлялся иным, чем я есть на самом деле, — то есть бедным изгнанником, который старается укрепиться в своей вере в бога, а также выполнить свой долг по отношению к тем, среди кого он живет, и к государю, которому он служит. А теперь, господин, позволь мне спросить, действительно ли ты желал встречи со мной и если да, то с какой целью? Раб-африканец, которого я встретил на прогулке и который называет себя Диогеном, сказал мне, что ты хочешь поговорить со мной; он, видно, старый насмешник, и вполне возможно, что наврал мне. Если это так, я готов избавить его от той трепки, которую он заслуживает своей ложью, а тебя попросить не гневаться на меня за то, что я нарушил твое уединение, ибо не достоин делить его с тобой.

— Диоген не обманул тебя, — ответил Агеласт. — Он обладает юмором, как ты только что заметил, и, кроме того, еще рядом качеств, которые ставят его на одну доску с людьми более светлокожими и благообразными, чем он.

— А ради чего ты послал его с таким поручением? — спросил варяг. — Неужели твоя мудрость могла выразить желание беседовать со мной?

— Я исследую природу и людей, — ответил философ, — и разве так уж непонятно, что я устал от существ насквозь искусственных и жажду увидеть кого-то, кто совсем еще недавно вышел из рук природы?

— Во мне ты не увидишь такого человека, — возразил варяг, — суровость военной дисциплины... лагерь... центурион..., доспехи..., все это сковывает тело

и душу человека, как морского краба — его панцирь. Достаточно взглянуть на одного из нас, и ты будешь иметь представление обо всех остальных.

— Позволь мне усомниться в этом, — сказал Агеласт, — и предположить, что в лице Хирварда, сына Уолтеофа, я вижу человека необыкновенного, хотя сам он по своей скромности, возможно, и не представляет, насколько редки его достоинства.

— Сына Уолтеофа? — повторил несколько изумленный варяг. — Ты знаешь имя моего отца?

— Не удивляйся, — ответил философ. — Мне действительно известно то, что не так уж трудно узнать. Я получил эти сведения без больших усилий, но мне хотелось бы надеяться, что труд, затраченный мною на это, убедит тебя в моем искреннем желании стать твоим другом.

— Конечно, мне очень лестно, — сказал Хирвард, — что человек твоей учености и сана не поленился выяснить происхождение одного из низших чинов варяжской гвардии. Вряд ли даже мой начальник, сам главный телохранитель, считает, что такие сведения стоит собирать и хранить в памяти.

— Не говоря уже о людях более вельможных, — сказал Агеласт. — Одного такого человека, занимающего высокий пост, ты знаешь; он полагает, что имена его самых верных воинов недостойны запоминания, в отличие от кличек охотничьих собак или соколов, и рад был бы избавить себя от труда подзывать их иначе как свистом.

— Мне не пристало слушать такие слова, — прервал его варяг.

— Я не хотел задеть тебя, — сказал философ, — у меня и в мыслях не было поколебать твое уважение к тому, на кого я намекнул, и все-таки меня удивляет, что таких взглядов придерживаешься ты, человек столь выдающихся достоинств.

— Довольно об этом, господин, ибо слова эти не соответствуют ни твоему возрасту, ни положению, — ответил англосакс. — Я подобен скалам моей родины: меня не поколеблют дикие ветры, не размягчат теплые дожди, не тронут ни лесть, ни угрозы.

— Вот эта-то неколебимость духа, непреклонное презрение ко всему, кроме долга, и заставляют меня, словно какого-то нищего, добиваться дружбы с тобой, в которой ты, подобно скряге, отказываешь мне.

— Ты уж не прогневайся, — сказал Хирвард, — но я сомневаюсь в этом. Что бы ты ни узнал обо мне и как бы, по всей вероятности, эти истории ни были преувеличены — ибо привилегия хвастать принадлежит не одним только грекам, варяги тоже кое-что переняли от них, — все равно ты не мог услышать ничего такого, что позволило бы тебе вести подобные речи иначе, чем в насмешку.

— Ты ошибаешься, сын мой, — ответил Агеласт. — Поверь, не такой я человек, чтобы заниматься пустой болтовней о тебе с твоими приятелями за кружкой эля. Ведь я могу коснуться этого разбитого изображения Анубиса, — при этих словах он дотронулся до гигантского обломка статуи, рядом с которым стоял, — и дух, который долго вещал его устами, подчинившись моему приказу, еще раз вдохнет жизнь в трепещущий камень. Мы, посвященные, обладаем великой силой — стоит нам ударить по этим разрушенным сводам, и эхо, дремлющее в них, начинает отвечать на наши вопросы. Поверь, не для того я ищу твоей дружбы, чтобы выведать что-нибудь о тебе самом или о других.

— Ты говоришь поистине удивительные вещи, — сказал англосакс, — но я слышал, что немало душ было соvrащено с пути истинного такими многообещающими словами. Мой дед Кенельм любил повторять, что прекрасные речи языческих философов гораздо опаснее для христианской веры, чем угрозы языческих тиранов.

— Я знал его, — заметил Агеласт, — неважно, живого или бесплотного. Он поклонялся Вотану, но потом был обращен в христианство одним благородным монахом и закончил свою жизнь священником в обители святого Августина.

— Это правда, — ответил Хирвард, — все это действительно так, и тем более я должен помнить его наставления теперь, когда он мертв и его нет на этом

свете. Еще тогда, когда я плохо понимал смысл его слов, он наказывал мне остерегаться учения, которое ведет по пагубному пути, ибо его проповедуют лжепророки, пытающиеся доказать свою правоту небывалыми чудесами.

— Это чистейший предрассудок, — возразил Агеласт. — Твой дед был хороший и достойный человек, но ограниченный, как и другие священники. Слепо следуя их примеру, он довольствовался маленьким окошечком во вратах истины и видел мир только сквозь это узкое отверстие. Видишь ли, Хирвард, твой дед, как и большинство духовных лиц, был бы рад ограничить деятельность нашего разума созерцанием той области нематериального мира, которая важна лишь для нравственного совершенствования нашей души при этой жизни и спасения ее после смерти. Истина же заключается в том, что если человек мудр и смел, он имеет право вступить в сношения с таинственными существами, наделенными сверхъестественной властью, имеет право, раздвинув с их помощью назначенные ему пределы, преодолеть трудности, кажущиеся ужасными и непосильными людям ограниченным и невежественным.

— Ты говоришь о таких безрассудных вещах, — сказал Хирвард, — что, услышав тебя, несмышленное дитя вытаращит глаза, а зрелый муж рассмеется.

— Напротив, — ответил философ, — я говорю о неодолимом желании, которое в глубине сердца испытывает каждый человек, — о желании сообщаться с могущественными духами, которые недоступны восприятию наших органов чувств. Пойми, Хирвард, эта мечта не была бы столь страстной и всеобъемлющей, если бы мы не знали, что если будем стремиться к ней упорно и обдуманно, то обязательно ее достигнем. Она живет и в твоем собственном сердце; в подтверждение того, что это так, мне достаточно назвать одно-единственное имя. Мысли твои даже сейчас обращены к существу далекому и уже, быть может, умершему. Довольно сказать «Берта» — и чувства, которые ты в своем неведении считал навеки погребенными, начнут бушевать в твоей груди, подобно

призракам, восставшим из могил. Ты вздрогнул, изменился в лице... По этим признакам я с радостью вижу, что стойкость и неукротимое мужество, приписываемые тебе людьми, оставили твое средце открытым для добрых и благородных чувств, закрыв в него доступ страху, нерешительности, всему презренному племени низменных чувств. Я уже говорил, что уважаю тебя, и, не колеблясь, готов это доказать. Если ты пожелаешь, я расскажу тебе об участии той самой Берты, чей образ ты, вопреки самому себе, хранишь в душе среди дневных трудов и ночного отдыха, во время боев и в дни мира, когда занимаешься вместе с товарищами военными упражнениями или пытаешься проникнуть в греческую премудрость, которой, если пожелаешь, я могу обучить тебя куда быстрее.

Пока Агеласт произносил эту речь, варяг настолько овладел собой, что смог ответить ему, хотя голос его звучал нетвердо:

— Я не знаю, кто ты, не понимаю, чего от меня хочешь... не имею представления, откуда тебе удалось раздобыть сведения, столь важные для меня и столь незначительные для других... Но я твердо знаю одно — намеренно или случайно ты произнес имя, которое взволновало меня до самой глубины сердца; тем не менее я христианин и варяг и не поколеблюсь в верности ни моему богу, ни государю, которому служу. Поклоняясь лжебогам, сотворив себе кумиры, чтобы добиться чего-нибудь для себя, мы тем самым изменяем истинным святыням. Ясно мне также, что ты как бы невзначай пустил несколько стрел в особу императора, а для верноподданного это серьезный проступок. Поэтому я не желаю иметь с тобой никаких дел, что бы они ни несли мне — добро или зло. Я наемный воин императора, и хотя не хваюсь примерным исполнением многочисленных правил, требующих в разных случаях по-разному выражать почтительные чувства и покорность, все же я — его щит, а моя алебарда — его телохранительница.

— Никто не ставит этого под сомнение, — сказал философ. — Но скажи, разве ты также не являешься

прямым подчиненным великого аколита Ахилла Татия?

— Нет. Согласно уставу нашей службы, он мой командир, — ответил варяг, — и ко мне всегда проявлял доброту и благожелательность. Несмотря на свой чин, он, можно сказать, держался со мною скорее как друг, чем как начальник. Однако он такой же слуга моего господина, как и я; кроме того, я не придаю большого значения разнице в нашем положении, поскольку оно зависит от одного-единственного слова государя.

— Это сказано благородно, — заметил Агеласт, — и ты, бесспорно, имеешь право стоять с высоко поднятой головой перед тем, кого превосходишь в мужестве и в военном искусстве.

— Прости меня, — возразил бритт, — если я отклоню эту похвалу, на которую не имею права. Император избирает себе тех военачальников, которые умеют служить ему так, как он того желает. И здесь, вероятно, я не оправдал бы его доверия. Я уже сказал тебе, что для меня превыше всего долг, повиновение и служба императору, поэтому, думается мне, нам нет нужды продолжать наш разговор.

— Удивительный человек! — воскликнул Агеласт. — Неужели нет ничего, что могло бы затронуть тебя? Имена твоего императора и твоего начальника не повергают тебя в трепет, и даже имя той, которую ты любишь...

— Я обдумал твои слова, — прервал его варяг. — Ты нашел способ затронуть струны моего сердца, но не поколебал моих убеждений. Я не стану беседовать с тобой о вещах, которые не представляют для тебя интереса. Говорят, служители черной магии вызывают духов, произнося вслух имя господа бога; можно ли удивляться, что для осуществления своих греховных замыслов они поминают и чистейшее из его созданий? Я не пойду на такую уловку, ибо она позорит и умерших и живых. Не думай, что я пропустил мимо ушей твои странные речи, но какова бы ни была твоя цель, старый человек, знай, что мое сердце навеки укреплено против людских и дьявольских соблазнов.

С этими словами воин повернулся и, слегка кивнув философу, покинул разрушенный храм.

После его ухода Агеласт, оставшись в одиночестве, видимо погрузился в глубокое раздумье, которое неожиданно прервал появившийся среди развалин Ахилл Татий. Начальник варягов внимательно взгляделся в лицо философа и заговорил лишь после того, как сделал про себя какие-то выводы.

— Ну как, мудрый Агеласт, ты по-прежнему веришь в возможность того, о чем мы недавно беседовали?

— Да, — торжественно и твердо ответил Агеласт.

— Однако, — заметил Ахилл Татий, — тебе не удалось привлечь на нашу сторону этого прозелита, чье хладнокровие и мужество принесли бы нам в нужный час больше пользы, чем помощь тысячи бесчувственных рабов.

— Ты прав, мне это не удалось, — согласился Агеласт.

— И тебе не стыдно признаваться в этом? — сказал императорский военачальник. — Ты, мудрейший из тех, кто все еще притязает на обладание греческой премудростью, могущественнейший из тех, кто утверждает, что владеет искусством с помощью слов, знаков, имен, амулетов и заклинаний выходить за пределы, начертанные человеку, ты потерпел поражение, не сумев убедить его, подобно тому как ребенка не в силах переспорить домашний учитель! Чего же ты стоишь, если в споре не смог подтвердить те качества, которые так охотно присваиваешь себе?

— Успокойся! — сказал грек. — Действительно, я еще ничего не добился от этого упрямого и неколебимого человека, но пойми, Ахилл Татий, я ничего и не проиграл. Мы с ним оба в том же положении, в каком были вчера, но все-таки я получил преимущество, ибо упомянул нечто столь интересное для него, что теперь он не найдет себе покоя до тех пор, пока вновь не обратится ко мне за подробными сведениями. А теперь отложим разговоры об этом необыкновенном человеке, но поверь мне, что хотя лесть, жадность и тщеславие не смогли привлечь его на нашу

сторону, тем не менее у меня в руках такая приманка, которая сделает его не менее безоговорочно нашим, чем того, кто связан с нами таинственным и нерушимым договором. Расскажи мне лучше, как идут дела в империи? Все ли еще этот поток латинских воинов, неожиданно нахлынувший на нас, стремится к берегам Босфора? И все ли еще Алексей мнит, что ему удастся ослабить и разобщить армии, которые он не надеется побороть?

— Получены новые сведения, совсем свежие, — ответил Ахилл Татий. — Боэмунд под чужим именем и с шестью или восемью всадниками прибыл в город. Если вспомнить, как часто он сражался с императором, то надо признать, что предприятие это было довольно опасным. Но разве франки когда-нибудь отступали перед опасностью? Граф, как сразу же понял император, приехал разведать, что он сумеет выиграть, оказавшись первым, на кого изольется щедрость государя, и предложив ему свою помощь в качестве посредника между ним и Готфридом Бульонским, а также другими вельможами, участвующими в походе.

— Если Боэмунд будет и дальше вести такую политику, — заметил философ, — то получит полную поддержку императора.

Ахилл Татий продолжал:

— Императорский двор узнал о прибытии графа якобы совершенно случайно, и Боэмунду был оказан такой ласковый и пышный прием, какого еще не удостоивался ни один франк. Не было сказано ни слова о старинной вражде или о былых войнах, Боэмунду не напомнили, как он в прошлом захватил Антиохию и вторгся в пределы империи. Наоборот, все вокруг благословляли небо, пославшее на помощь императору верного союзника в минуту грозной опасности.

— А что сказал Боэмунд? — поинтересовался философ.

— Ничего или почти ничего, — ответил начальник варяжской гвардии, — до тех пор, пока, как я узнал от дворцового раба Нарсеса, ему не преподнесли большую сумму золотом. После этого ему пообещали

даровать обширные владения и другие привилегии при условии, что в нынешних обстоятельствах он будет верным другом империи и ее повелителя. Щедрость императора по отношению к этому жадному варвару простерлась так далеко, что ему как бы случайно дали заглянуть в комнату, полную шелковых тканей, самоцветов, золота, серебра и прочих драгоценностей. Когда алчный франк не смог скрыть свое восхищение, его заверили, что содержимое сокровищницы принадлежит ему, если он видит в нем свидетельство теплых и искренних чувств, которые питает император к своим друзьям, после чего все это добро было отнесено в палатку нормандского вождя. Надо думать, что теперь Боэмунд душой и телом принадлежит императору, ибо сами франки удивляются тому, что человек такой безграничной храбрости и непомерного честолюбия в то же время так подвластен жадности — пороку низменному и противоестественному, на их взгляд.

— Да, Боэмунд будет до смерти верен императору, вернее — до тех пор, пока чей-нибудь еще более богатый дар не сотрет воспоминания об императорской щедрости. Алексей, гордый тем, что ему удалось сладить с таким видным военачальником, надеется, без сомнения, с помощью его советов добиться от большинства крестоносцев и даже от самого Готфрида Бульонского присяги на верность. Но если бы не священные цели их войны, на это не согласился бы ничтожнейший из рыцарей, даже если бы ему посулили целую провинцию. Ну что ж, подождем. Ближайшие дни покажут, что мы должны предпринять. Раскрыть себя раньше времени — значит погибнуть.

— Значит, сегодня ночью встречи не будет? — спросил аколит.

— Нет, — ответил философ, — если только нас не вызовут на это дурацкое представление или чтение, и тогда мы встретимся — игрушки в руках глупой женщины, испорченной дочери слабоумного родителя.

Татий распрощался с философом, и они, словно опасаясь, что их могут увидеть вместе, покинули

уединенное место свидания разными путями. Вскоре после этого Хирвард был вызван к своему начальнику, который сказал ему, что, вопреки прежним его словам, сегодня вечером варяг ему не потребуется.

Ахилл помолчал и добавил:

— Я вижу, с губ твоих рвутся слова, но тем не менее ты их удерживаешь.

— Вот что я хочу сказать, — решился воин. — У меня была встреча с человеком по имени Агеласт, и он на самом деле настолько другой, чем казался, когда мы последний раз с ним говорили, что я не могу не рассказать тебе о том, что обнаружил. Он вовсе не жалкий шут, который, чтобы рассмешить общество, не пожалеет ни себя, ни других. Нет, он человек глубокого и дальновидного ума; по каким-то причинам ему нужно привлечь друзей и сплотить их вокруг себя. Твоя собственная мудрость подскажет тебе, как надо поступать, чтобы не дать ему в обман.

— Ты неискушенный простак, мой бедный Хирвард, — ответил Ахилл Татий с наигранной добродушной снисходительностью. — Такие люди, как Агеласт, часто облачают самые свои злые шутки в самую серьезную форму. Они будут уверять, что обладают неограниченной властью над стихиями и духами, и для этого раздобудут сведения об именах и событиях, известных только людям, над которыми они собираются подшутить; а потом на всякого, кто поверит им, низвергнется, говоря словами божественного Гомера, поток неудержимого смеха. Я не раз присутствовал при том, как Агеласт, избрав своей жертвой кого-нибудь из присутствующих — неопытного и необразованного человека, — для развлечения всех остальных делал вид, что может привести отсутствующих, приблизить далеких и даже вызвать мертвецов из могил. Остерегайся, Хирвард, как бы его искусство не повредило доброму имени одного из моих храбрейших варягов.

— Можешь не опасаться, — ответил Хирвард, — так как я вовсе не собираюсь часто встречаться с этим человеком. Если он шутит по поводу одной истории, которую упомянул при мне, я не постес-

няюсь и пушу в ход силу, чтобы научить его относиться к этому с должным уважением. А если он не шутя считает себя мастером всякой магии, то я, как и мой дед Кенельм, верю, что мы наносим величайшее оскорбление умершим, когда позволяем произносить их имена вещуну или нечестивому чародею. Поэтому я не собираюсь снова встречаться с этим Агеластом, кем бы он ни был — колдуном или мошенником.

— Ты не понял меня, — поспешно сказал главный телохранитель, — и неправильно истолковал мои слова. Если только он снизойдет до беседы с тобой, тебе будет чему поучиться у такого человека. Ты только держись подальше от всех тайных наук — ведь он говорит о них, только чтобы выставить тебя на посмеяние.

С этими словами, которые сам Ахилл Татий вряд ли сумел бы примирить между собой, начальник и подчиненный расстались.

Глава IX

Меж скал, где в пене рушится волна,
Искусный зодчий насыпь воздвигает,
Деля шальной поток на рукава,
С тем чтобы после в руслах

каменистых
Ослабить силу вод, их бег замедлить
И в направлении заданном пустить,
С которого их не собьет ничто.
Так зодчий достигает нужной цели.

«Зодчий»

Если бы во время этого беспорядочного нашествия европейских армий Алексей открыто проявил недоброжелательность или сделал любой другой неверный шаг, он, безусловно, раздул бы в пожар многочисленные очаги недовольства, тлевшие среди крестоносцев. Неминуема была бы катастрофа и в том случае, если бы он с самого начала оставил всякую мысль о сопротивлении и, спасая только себя, отдал

западным полчищам все, что они захотели бы взять. Император избрал нечто среднее: принимая во внимание слабость Греческой империи, это был единственный правильный путь, ибо он обеспечивал Алексею одновременно и безопасность и влияние как на франкских пришельцев, так и на его собственных подданных. Средства, которыми он пользовался, были очень разнообразны; нередко они были запятнаны лицемерием или низостью, но причину этого надо скорее искать в требованиях политики, чем в его личных свойствах. Таким образом, действия императора напоминали повадки змеи, которая ползет в траве и старается незаметно ужалить того, к кому она не смеет приблизиться гордо и благородно, как лев. Однако мы не собираемся писать историю крестовых походов, и того, что мы уже рассказали о мерах предосторожности, принятых императором при первой вести о приближении Готфрида Бульонского и его сподвижников, достаточно для пояснения нашего рассказа.

Прошло около четырех недель, отмеченных ссорами и примирениями между крестоносцами и подданными греческого императора. Как и требовала политика Алексея, кое-кого из пришельцев от случая к случаю принимали при дворе с большим почетом, а к их вождям выказывали уважение и милость, но в то же время на войска франков, пробиравшиеся далекими или кружными путями к столице, нападали, безжалостно истребляя их, легковооруженные отряды воинов, которых несведущие чужеземцы принимали за турок, скифов или других неверных; впрочем, так оно порой и было, но эти неверные состояли на службе греческого государя. Случалось, что, пока самые могущественные из вождей крестового похода пировали вместе с императором и его приближенными, угощаясь роскошнейшими блюдами и утоляя жажду ледяными винами, их воины, задержавшиеся в пути, получали намеренно испорченные продукты, муку с примесями, тухлую воду, после чего они начинали болеть и во множестве умирали, так и не ступив на святую землю, ради освобождения которой

отказались от мирной жизни, достатка и родины. Эти недружелюбные действия не оставались незамеченными. Многие вожди крестового похода твердили, что император не держит своих обещаний, и рассматривали потери, несомые их армиями, как следствие сознательной враждебности греков; не один раз союзники доходили до такой ненависти друг к другу, что война между ними казалась неизбежной.

Тем не менее Алексей, хотя ему и приходилось прибегать ко всевозможным уловкам, довольно твердо вел свою линию и любыми способами старался сохранить хорошие отношения с влиятельными вождями крестоносцев. Когда франков истребляли в стычках, он говорил, что они нападают первыми; когда их вели неверной дорогой, объяснял это случайностью или непослушанием; когда они гибли от порченных продуктов, возмущался их неумеренной склонностью к незрелым плодам и недобродившему вину. Короче говоря, какие бы несчастья ни обрушивались на незадачливых пилигримов, у императора всегда были наготове объяснения — он доказывал, что все это естественные последствия их жестокости, своевольного поведения или вредоносной опрометчивости.

Предводители крестоносцев, отлично понимавшие, как они сильны, не стали бы, пожалуй, покорно сносить обиды от такого слабого противника, если бы у них не создалось весьма преувеличенного представления о сокровищах Восточной империи, которые Алексей, казалось, готов был разделить с ними со щедростью, столь же непривычной для них, сколь удивительной была для их воинов щедрость природы Востока.

Когда возникали какие-нибудь трения, труднее всего было справиться с французской знатью, но тут императору помогло происшествие — Алексей вполне мог увидеть в нем руку провидения, — в результате которого высокомерный граф Вермандуа оказался в положении просителя там, где рассчитывал диктовать свою волю. Едва он отплыл из Италии, на его флот неожиданно обрушилась свирепая буря и прибила его к греческому побережью. Многие суда потерпели крушение, а отряды крестоносцев, достигшие

берега, были так потрепаны, что им пришлось сдать-ся в плен военачальникам Алексея. Таким образом, граф Вермандуа, державшийся столь надменно при отплытии, прибыл к константинопольскому двору не как владетельный государь, а как пленник. Император немедленно освободил всех воинов и оделил их подарками.

Благодарный за внимание, которое неустанно оказывал ему Алексей, движимый признательностью точно так же, как и корыстью, граф Гуго был склонен присоединиться к мнению тех, кто по другим причинам хотел сохранения мира между крестоносцами и Греческой империей. Прославленный Готфрид, Раймонд Тулузский и некоторые другие, у которых благочестие было не только вспышкой фанатизма, руководствовались более высокими соображениями. Эти государи представляли себе, каким позором будет покрыт крестовый поход, если первым их подвигом окажется война против Греческой империи, справедливо считающейся оплотом христианства. А так как империя эта слаба и в то же время богата, внушает алчное желание грабить и одновременно не в силах обороняться, то тем более они обязаны во имя своих интересов и своего долга христианских воинов встать на защиту христианского государства, чье существование столь важно для общего дела, даже если это государство не способно отстоять себя. В ответ на заявления императора о своих дружеских чувствах эти прямодушные люди старались проявить не меньшее дружелюбие, а за его доброту воздать с такой лихвой, чтобы он убедился в честности и благородстве их намерений и ради собственных интересов воздержался от враждебных действий, которые могли бы заставить их изменить свое отношение к нему.

Это благоприятное расположение большинства крестоносцев к Алексею, вызванное многими разнообразными и сложными причинами, привело к тому, что вожди крестового похода согласились на меру, которую в иных обстоятельствах, по всей вероятности, отвергли бы, как не заслуженную греками и позорную для них самих. Речь идет о знаменитом решении,

гласящем, что, прежде чем переправиться через Босфор и начать наступление на Палестину, которую все они поклялись отвоевать, каждый вождь крестового похода в отдельности признает греческого императора, исконного властелина этих земель, своим ленным владыкой и сюзереном.

Император Алексей с несказанной радостью узнал о таком намерении крестоносцев, к которому надеялся склонить их скорее путем подкупа, чем убеждениями, хотя можно было привести немало разумных доводов в пользу того, что провинции, отвоеванные у турок и сарацин, должны вновь стать частью Греческой империи, ибо они были отторгнуты от нее без всяких оснований, путем прямого насилия.

Хотя Алексей боялся и даже почти не надеялся, что ему удастся справиться с необузданным и разноголосым скопищем высокомерных вождей, совершенно независимых друг от друга, тем не менее он без проволочек и колебаний ухватился за решение Готфрида и его соратников признать императора сюзереном всех, кто отправляется воевать в Палестину, и верховным властителем земель, которые будут завоеваны во время этого похода. Он решил обставить эту церемонию так торжественно, чтобы своей пышностью и роскошью она произвела глубокое впечатление на всех присутствующих и надолго сохранилась у них в памяти.

Для совершения обряда была избрана одна из многочисленных широких террас, расположенных вдоль берега Пропонтиды. Здесь на возвышении был установлен величественный трон для императора. Других сидений на террасе не было: с помощью этой уловки греки надеялись сохранить самый дорогой для их тщеславия обычай — а именно запрет сидеть в присутствии императора. Вокруг трона Алексея Комнина в строго определенном порядке стояли савонники его великолепного двора, от протосебаста и кесаря до патриарха в роскошном священническом облачении и Агеласта, простая одежда которого тоже производила немалое впечатление. Блестящее собрание придворных охватывали полукольцом сзади и по

бокам темные ряды англосаксонских изгнанников. В этот торжественный день они испросили разрешения облачиться не в серебряные нагрудники, как было принято при изнеженном греческом дворе, а в стальные кольчуги. Они заявили, что воины должны видеть в них воинов. Их просьбу охотно удовлетворили, ибо все понимали, что достаточно пустячного повода — и в этой накаленной атмосфере может вспыхнуть нешуточная ссора.

Позади варягов, значительно превышая их численностью, расположились отряды греков или римлян, прозванные Бессмертными, — название это римляне некогда заимствовали у персов. Статные фигуры, высокие шлемы и сверкающее вооружение могли бы внушить чужеземным вельможам весьма лестное представление о мощи и силе этих воинов, если бы ряды их не находились в постоянном движении и отсюда не доносилась болтовня, что составляло резкий контраст с неподвижностью и гробовым молчанием хорошо обученных варягов, стоявших навытяжку, подобно железным статуям.

Пусть читатель представит себе этот трон во всем его восточном великолепии, окруженный чужеземными наемниками и римскими войсками. Вдали виднелись отряды легкой конницы, которые то и дело передвигались, дабы всем казалось, что их очень много, но никто не мог сосчитать, сколько именно. Сквозь пыль, поднимаемую конями, мелькали знамена и штандарты, среди которых можно было разглядеть и знаменитый Лабарум, залог военных успехов императора, чья магическая сила несколько повыдохлась к тому времени, о котором идет речь. Грубые воины запада, приглядевшись к греческим отрядам, утверждали, что знамен, выставленных ими, хватило бы на армию в десять раз более многочисленную.

Далеко справа, на морском берегу, стояла внушительная конница крестоносцев. Желание последовать примеру своих вождей — принцев, герцогов и графов, — готовых принести присягу, было столь велико, что когда для этой цели собрались все независимые рыцари и дворяне, число их оказалось огромным.

Каждый крестоносец, владевший замком и приведший с собой шесть копейщиков, считал бы себя униженным, если бы его не пригласили, наравне с Готфридом Бульонским или Гуго Великим, графом Вермандуа, принести ленную присягу греческому императору и отдать под его верховное владичество земли, которые этот крестоносец собирался завоевать. Но в силу каких-то странных и противоречивых чувств они, настаивая на том, чтобы дать присягу вместе со своими могущественными предводителями, в то же время стремились найти повод, чтобы показать, будто рассматривают ее как бессмысленное унижение, а всю церемонию — как дурацкий спектакль.

Порядок церемонии был установлен следующий: крестоносцы, или, как греки называли их, графы, поскольку этот титул чаще всего встречался среди них, должны были, двигаясь слева направо, поодиночке проезжать мимо императора и произносить как можно быстрее слова присяги, заранее установленные. Первыми совершили эту процедуру Готфрид Бульонский, его брат Болдуин, Боэмунд Антиохийский и еще несколько видных крестоносцев, после чего, спешившись, они стали у императорского трона, чтобы своим присутствием удержать бесчисленных соратников от преступно-дерзких или опрометчивых выходов. Увидев это, другие, менее знатные крестоносцы тоже стали останавливаться возле императора, отчасти из чистого любопытства, отчасти из желания показать, что имеют на это не меньшее право, чем их вожди.

Таким образом, на берегу Босфора лицом к лицу оказались две огромные армии — греческая и европейская, не похожие друг на друга ни языком, ни вооружением, ни внешним видом. Небольшие конные отряды, отделявшиеся порою от этих армий, напоминали вспышки молний, пробегающих от одной грозовой тучи к другой, чтобы передать друг другу избыток накопившейся в них энергии. Помешкав немного на берегу Босфора, франки, уже принесшие присягу, беспорядочными толпами направлялись затем к бухте, где покачивались на волнах бесчисленные гале-

ры и другие мелкие суда под парусами и с веслами в уключинах, готовые переправить воинственных пилигримов через пролив на тот самый азиатский берег, куда они так страстно стремились попасть и откуда лишь немногим из них суждено было вернуться. Нарядные корабли, ожидавшие крестоносцев, закуски, уже приготовленные для них, небольшая ширина пролива, не внушавшая опасений, предвкушение желанных подвигов, которые они поклялись свершить, — все это вселяло веселье и бодрость в сердца воинов, и звуки песен и музыки сливались с плеском весел отчаливавших судов.

Воспользовавшись таким расположением духа у крестоносцев, Алексей в течение всей церемонии из всех сил старался внушить чужеземной армии самое высокое представление о своем императорском величии и о значении события, которое свело их в этом месте. Вожди крестового похода с готовностью поддерживали императора, одни — потому, что тщеславие их было удовлетворено, другие — потому, что насытилась их алчность, третьи — потому, что распалилось их честолюбие, и лишь очень немногие — потому, что считали дружбу с Алексеем, быть может, лучшим средством для достижения целей их похода. Так вот и получилось, что вельможные франки, движимые столь разными побуждениями, выказывали смирение, которого, по всей вероятности, отнюдь не чувствовали, и тщательно воздерживались от поступков, которые можно было бы расценить как неуважение к торжественной церемонии греков.

Однако среди крестоносцев было множество людей, настроенных совершенно иначе. В числе всех этих графов, сеньоров и рыцарей, под чьими знаменами крестоносцы пришли к стенам Константинополя, было немало фигур столь незначительных, что никому в голову не пришло покупать их согласие на неприятную процедуру присяги. Эти люди хотя и покорились, опасаясь проявить открытое сопротивление, однако их насмешливые замечания, издевки и попытки нарушить порядок явно свидетельствовали о том, что к совершаемому шагу они относятся с презрением и

негодованием, ибо государь, вассалами которого они себя объявляли, исповедовал, по их мнению, еретическую веру, только хвалился своей силой, а на деле был слаб, при первой возможности нападал на крестоносцев и дружественно обходился только с теми, кто мог принудить его к этому; короче говоря, будучи подобоострастным союзником могучих предводителей, по отношению ко всем остальным он вел себя при всяком удобном случае как коварный и смертельный враг.

Особенно выделялись высокомерным пренебрежением ко всем остальным нациям, участвовавшим в крестовом походе, а также безудержной храбростью и презрительным отношением к могуществу и силе Греческой империи французские рыцари. У них в ходу была даже поговорка, что если обрушится небо, то французские крестоносцы без чьей-либо помощи сумеют поддержать его своими копьями. С такой же спесивой дерзостью вели они себя и во время нередких ссор со своими хозяевами поневоле и большей частью одолевали греков, несмотря на изворотливость последних. Поэтому Алексей твердо решил во что бы то ни стало избавиться от этих непокорных и заносчивых союзников и любыми способами поскорее переправить их через Босфор. А чтобы эта переправа прошла возможно спокойнее, он решил воспользоваться присутствием графа Вермандуа, Готфрида Бульонского и других влиятельных вождей крестоносцев, могущих поддержать порядок среди многочисленных французских рыцарей, не столько знатных, сколько буйных.

Обуздывая оскорбленную гордость благоразумной осторожностью, император заставлял себя благосклонно принимать присягу, приносимую с явной насмешкой. Но тут случилось происшествие, с необычайной наглядностью показавшее, как различны чувства и образ действия этих двух народов — греков и французов, сведенных вместе при столь необычных обстоятельствах. Уже несколько французских отрядов, прошествовав мимо императорского трона, не без некоторой торжественности совершили обряд.

Преклонив колено перед Алексеем, рыцари вкладывали свои руки в его и в этой позе произносили словенной присяги. Когда присягу принес уже упомянутый Боэмунд Антиохийский, император, желая уважить и ублажить этого лукавого человека, своего бывшего врага, а ныне, по всей видимости, союзника, сделал с ним несколько шагов по направлению к берегу, где стояли предназначенные для Боэмунда суда.

Император, как мы уже сказали, прошел совсем недалеко; этот жест был сделан лишь для того, чтобы почтить Боэмунда, однако он послужил поводом для оскорбительной выходки, которую гвардия и приближенные Алексея восприняли как намеренное унижение императора. С десятков всадников, составлявших свиту франкского графа, которому предстояло принести сейчас присягу, на полном галопе отделились во главе со своим господином от правого фланга французской конницы и, доскакав до все еще пустого трона, осадили коней. У графа, атлетически сложенного человека, было решительное, суровое и очень красивое лицо, обрамленное густыми черными кудрями. Он был в берете и в облегающей одежде из замши, поверх которой обычно носил тяжеловесные доспехи, как это было принято у него на родине. Однако на сей раз он для удобства не надел их, проявив тем самым полное пренебрежение к столь торжественной и важной церемонии. Не дожидаясь Алексея и нисколько не тревожась мыслью о том, что непристойно ему торопить императора, он соскочил с могучего коня и бросил поводья, которые тут же подхватил один из его пажей. Без минуты колебаний статный, небрежно одетый франк сел на свободный императорский трон и, развалясь на шитых золотом подушках, предназначенных для Алексея, принялся лениво поглаживать огромного свирепого волкодава, который следовал за ним по пятам и чувствовал себя так же вольно, как и его хозяин. Пес небрежно растянулся у подножия императорского трона на узорчатом дамасском ковре, не испытывая, видимо, уважения ни к кому, кроме сурового рыцаря, своего признанного хозяина.

Император, в виде особой чести немного проводив Боэмунда, повернулся и с изумлением увидел, что трон его занят дерзновенным франком. Отряд полудиких варягов, стоявших вокруг трона, не стал бы ждать и минуты, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное этим наглецом их владыке, если бы их не сдерживали Ахилл Татий и другие военачальники, которые, не зная, какова будет воля императора, боялись принять решение.

Тем временем бесцеремонный рыцарь громко сказал на своем провинциальном наречии, понятном, однако, и тем, кто знал французский язык, и тем, кто не знал, настолько недвусмысленны были его тон и все поведение:

— Что это за невежа, который сидит, словно деревянный турбан или бессловесный камень, в то время как столько благородных людей, цвет рыцарства и образец отваги, стоят с обнаженными головами перед трижды побежденными варягами?

В ответ раздался голос, такой низкий и отчетливый, словно он исходил из недр земли и принадлежал существу другого мира:

— Если норманны желают биться с варягами, они могут встретиться с ними в поединке, лицом к лицу, а оскорблять греческого императора постыдно, потому что всем известно, что сражается он только алебардами своей гвардии.

Эти слова поразили всех, даже рыцаря, который оскорбил императора и тем самым вызвал такой отпор. Напрасно старался Ахилл обуздать своих воинов и принудить их к молчанию — громкий ропот свидетельствовал, что они вот-вот выйдут из повиновения. Боэмунд протиснулся сквозь толпу с поспешностью, которая была бы не к лицу Алексею, взял крестоносца за руку и как бы дружественно, но до некоторой степени и насильно заставил его сойти с императорского трона, на котором тот столь дерзко расположился.

— Что я вижу? — сказал Боэмунд. — Благородный граф Парижский? Есть ли среди этого высокого собрания хоть один человек, который останется равнодушным к тому, что имя рыцаря, столь прослав-

ленного своей доблестью, отныне будет запятнано пустой ссорой с продажными воинами из императорской гвардии, заслуживающими лишь одного звания — звания наемников? Стыдись, стыдись, не позорь себя, ведь ты — норманский рыцарь!

— Я не любитель, — сказал крестоносец, неохотно вставая, — разбираться в звании моего противника, когда он проявляет охоту сразиться со мной. Я человек покладистый, граф Боэмунд, и готов скрестить оружие с кем угодно — с турком, с татаринном, со странствующим англосаксом, который спасся от цепей норманнов, чтобы стать рабом греков, — если он добивается высокой чести отточить свой клинок о мой панцирь.

Император слушал эти препирательства со смешанным чувством негодования и страха, ибо ему казалось, что весь его сложный замысел тут же пойдет прахом из-за нанесенного ему предумышленного оскорбления, которое к тому же может не ограничиться одними словами. Он уже готов был призвать своих воинов к оружию, но, взглянув на правый фланг армии крестоносцев, увидел, что после того, как франкский граф покинул их ряды, они не двинулись с места. Тогда Алексей решил не обращать внимания на оскорбление и отнестись к нему как к грубоватой шутке франка, поскольку вновь подходившие отряды не обнаруживали никаких враждебных намерений.

Молниеносно приняв такое решение, он неспешно прошествовал под свой балдахин и остановился рядом с тронном, не торопясь занять его, чтобы не дать повода наглому чужеземцу опять предъявить на него права.

— Кто этот отважный рыцарь, — спросил он у графа Болдуина, — которого я, судя по его гордому поведению, должен был встретить, сидя на троне, и который счел возможным таким образом отстаивать свое достоинство?

— Он считается одним из самых храбрых воинов в нашем войске, — ответил Болдуин, — хотя храбрецов у нас не меньше, чем песчинок на берегу моря. Он сам назовет тебе свое имя и звание,

Алексей посмотрел на рыцаря. В крупных красивых чертах лица, в живом, исполненном фанатического огня взоре он не увидел ничего, что говорило бы о желании намеренно оскорбить его; очевидно, хотя случившееся весьма противоречило порядкам и этикету греческого двора, оно отнюдь не было задумано как повод для ссоры. Успокоившись, император обратился к чужеземцу:

— Мы не знаем, какое благородное имя ты носишь, но уверены, судя по словам графа Болдуина, что имеем честь видеть одного из храбрейших среди тех рыцарей, которые, негодую на порабощение святой земли, проделали долгий путь, дабы освободить Палестину от владычества неверных.

— Если ты хочешь узнать мое имя, — ответил рыцарь, — любой из этих пилигримов удовлетворит твое желание с большей готовностью, чем я, ибо, как справедливо считают в нашей стране, многие поединки не на жизнь, а на смерть только потому были отложены, что люди раньше времени называли свои имена; сражаться следует, боясь одного лишь господ бога и не думая о том, в каком родстве, свойстве или близком знакомстве состоишь с противником. Сперва пусть рыцари померятся силами, а уж потом объявляют свои имена! Тогда по крайней мере каждый из них будет знать, что имеет дело с храбрым человеком, и проникнется уважением к нему.

— И все-таки, — сказал император, — я хотел бы знать, раз уж ты претендуешь на первенство среди такого множества рыцарей, полагаешь ли ты себя равным государю или владетельному князю?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил франк, и лицо его несколько омрачилось. — Ты считаешь, что я задел тебя, высказав мнение о твоих воинах?

Император поспешил ответить, что вовсе не собирался обвинять рыцаря в оскорблении или враждебном действии; кроме того, у него, отягченного управлением империей, да еще в столь сложных обстоятельствах, нет времени заниматься бесполезными и пустыми ссорами.

Франк выслушал императора и довольно сухо ответил:

— То, что ты сейчас мне сказал, очень удивительно, ибо, судя по твоему французскому выговору, тебе не раз приходилось иметь дело с моими соплеменниками. Я полагаю, что некоторые рыцарские доблести, свойственные нашей нации, поскольку ты не монах и не женщина, должны были бы вместе с нашим языком найти путь к твоему сердцу.

— Успокойся, граф, — сказал Боэмунд, который, боясь, что вот-вот вспыхнет ссора, все время стоял рядом с Алексеем. — Императору во всех случаях полагается отвечать учтиво. Ну, а кто стремится к сражениям, очень скоро утолит свою жажду в боях с неверными. Император хочет только узнать твое имя и происхождение, а у тебя меньше чем у кого бы то ни было оснований скрывать их.

— Не знаю, что именно интересует этого государя или императора, как ты его именуешь, — ответил франкский граф, — но рассказать о себе я могу только очень немного. В глубине одного из обширных лесов в сердце Франции, моей родной страны, стоит часовня, так глубоко ушедшая в землю, словно она согнулась под тяжестью долгих лет. Святая дева, чей алтарный образ известен под именем Владычицы сломанных копий, во всем королевстве считается покровительницей ратных дел. Четыре проезжих дороги с четырех сторон света сходятся у дверей этой часовни, и всякий раз, когда добрый рыцарь проезжает мимо, он спешивается и заходит в часовню помолиться, но перед этим трижды трубит в рог, пока ясень и дуб не ответят ему гулом. Коленопреклоненный, он выстаивает службу перед образом Владычицы сломанных копий и почти всегда, встав с колен, обнаруживает какого-нибудь странствующего рыцаря, готового удовлетворить его желание сразиться. Больше месяца провел я в этом месте и сражался со всеми, кто приезжал туда, и все они благодарили меня за рыцарское обхождение с ними, не считая того рыцаря, который имел несчастье свалиться с коня и сломать себе шею, и еще одного, которого я проткнул копьем так, что

окровавленный наконечник на целый ярд торчал у него из спины. Но такие случаи неизбежны в поединках, остальные же мои противники, расставаясь со мной, были признательны мне за милосердие.

— Я полагаю, благородный рыцарь, — сказал император, — что при твоём телосложении и храбрости тебе нелегко найти равных даже среди твоих соплеменников, искателей приключений, не говоря уже о людях, которым внушили, что рисковать своей жизнью в бессмысленных схватках друг с другом — значит, уподобившись несмысленному ребенку пренебрегать даром господним.

— Думай что тебе угодно, — довольно высокомерно ответил франк, — но уверяю тебя, ты более чем несправедлив, если полагаешь, что мы скрещаем оружие в раздражении или в гневе и что наши утренние рыцарские поединки перед входом в старую часовню даруют нам меньшую радость, чем вечерняя охота на оленя или кабана.

— С турками, — сказал Алексей, — тебе не удастся так приятно обмениваться любезностями. Я советую тебе во время боя с ними находиться не в авангарде и не в тылу, а держаться поближе к знамени, которое обычно стараются захватить самые храбрые из неверных и грудью отстоять — самые доблестные из рыцарей.

— Клянусь Владычицей сломанных копий, — ответил крестоносец, — я не жалею, что турки менее вежливы, чем христиане: ведь даже самый лучший из них не заслуживает других названий, кроме «неверный» и «пес-язычник», ибо они равно преступают и божеские и рыцарские законы. Я надеюсь встретиться с ними в первых рядах нашей армии, вблизи от нашего знамени или в любом другом месте на поле боя, и выполню свой долг, разделившись с ними за то, что они, будучи врагами пречистой девы и всех святых, к тому же еще привержены гнусным обычаям, то есть являются и моими личными врагами. А сейчас у тебя довольно времени, чтобы сесть и принять у меня присягу; я же буду весьма тебе обязан, если ты про-

делаешь эту дурацкую церемонию как можно быстрее.

Император поспешно занял свое место и взял в свои руки мускулистые руки крестоносца, который произнес слова присяги и отправился в сопровождении графа Болдуина к кораблям. С удовольствием убедившись, что рыцарь взшел на борт, Болдуин вернулся к императору.

— Как имя этого необыкновенного и самонадеянного человека? — спросил император.

— Его зовут Роберт, граф Парижский, — ответил Болдуин. — Он считается одним из самых храбрых пэров, окружающих французский трон.

После некоторого раздумья Алексей Комнин отдал приказ закончить на сегодняшний день церемонию, опасаясь, что грубые и легкомысленные шутки чужеземцев вызовут новую ссору. Крестоносцев, к их полному удовольствию, проводили обратно во дворцы, где их до этого так гостеприимно принимали, и они охотно вернулись к прерванному пиру, от которого им пришлось оторваться, чтобы принести присягу. Трубы предводителей крестового похода проиграли сигнал отбоя немногочисленным простым воинам, входившим в их отряды, а также всему скопищу рыцарей, и те, довольные отсрочкой, смутно понимая, быть может, что только после переправы через Босфор начнутся для них подлинные испытания, с радостью остались по эту сторону пролива.

Вероятно, это никак не было предусмотрено, но граф Роберт Парижский — так сказать, герой описанного тревожного дня, — услышав звучавшие вокруг призывы труб, тоже решил сойти на берег, хотя корабль его уже был готов к отплытию, и ни Боэмунд, ни Готфрид, ни все остальные, пытавшиеся объяснить ему смысл сигнала, не смогли поколебать его намерение вернуться в Константинополь. Он презрительно рассмеялся, когда ему сказали, что он может навлечь на себя гнев императора; более того — казалось, что графу доставит особенное удовольствие, сидя за столом Алексея, бросить ему вызов или хотя бы пока-

зять, насколько ему безразлично, нанес он оскорбление императору или нет.

Даже Готфрид Бульонский, к которому рыцарь выказывал известное уважение, не переубедил его; этот мудрый предводитель, исчерпав все аргументы, могущие поколебать решение графа вернуться в императорскую столицу, и почти поссорившись с ним, в конце концов предоставил ему действовать по собственному усмотрению. Указывая на проходившего мимо Роберта Парижского, Готфрид сказал графу Тулузскому, что этот неукротимый странствующий рыцарь способен повиноваться лишь своим прихотям.

— Он взял с собой в крестовый поход меньше пятисот воинов, — сказал Готфрид, — и я готов поклясться, что даже сейчас, когда мы накануне военных действий, он понятия не имеет, где его люди и есть ли у них еда и кров над головой. В его ушах вечно звучит трубный глас, призывающий к атаке, и у него нет ни желания, ни времени прислушаться к другим, менее воинственным или более разумным голосам. Поглядите, как он прогуливается там, — ни дать ни взять школяр, который вырвался на свободу и теперь сгорает от любопытства и жажды напроказить.

— При этом, — заметил Раймонд, граф Тулузский, — отваги у него столько, что он вынесет на своих плечах любую, самую безрассудную выходку целой армии благочестивых крестоносцев. Тем не менее он так горяч и спесив, что рискнет успехом всего похода, лишь бы не упустить случая схватиться в поединке с достойным противником или, как он выражается, послужить Владычице сломанных копий. Но с кем это он сейчас встретился и вместе идет, вернее — лениво бредет, обратно в Константинополь?

— Ты говоришь о вооруженном рыцаре в великолепных доспехах, более хрупкого телосложения, чем обычный воин? — спросил Готфрид. — Полагаю, что это та самая прославленная дама, которая завоевала сердце Роберта, проявив во время турнира не меньше доблести и бесстрашия, чем он сам. А паломница в длинном одеянии, вероятно, их дочь или племянница.

— Удивительные зрелища можно увидеть в наше время, достойный рыцарь, — заметил граф Тулузский. — Ничего подобного я не встречал с тех пор, как Гета, жена Роберта Гискара, решила стяжать известность делами, достойными мужчины, и начала соперничать со своим мужем на поле боя, на балах и на пирушках.

— Такова и эта чета, благородный рыцарь, — добавил третий крестоносец, в это время присоединившийся к ним, — да помилует небо беднягу, который не в состоянии поддерживать домашний мир сильной рукой!

— Что верно, то верно, — ответил Раймонд. — Хотя и обидно, что женщина, которую мы любим, давно утратила цветение юности, все же утешительно думать, что она слишком старомодна и не решится колотить нас, когда мы вернемся назад, оставив нашу молодость или зрелость в этом длительном походе. Однако давайте пойдем и мы в Константинополь вслед за этим бравым рыцарем.

Глава X

В те давние, глухие времена
Нередко женщины предпочитали
Не в зеркала смотреться, а в щиты,
И побеждать мужчин не взором
нежным,

А острием разящего меча.
И все же в их сердцах была природа
Унижена, но не побеждена.

«Феодалыные времена»

Бренгильда, графиня Парижская, была одной из тех доблестных дам, которые охотно принимали участие в битвах. Во время Первого крестового похода таких воительниц было немало — относительно, конечно, ибо явление это все же противозаконное; они-то и послужили реальными прообразами Марфиз и Брадамант, которых так любили воспевать сочини-

тели романов, награждавшие их порою непостижимыми доспехами, а иной раз — копьем, пробивающим любую броню, для того, чтобы как-то смягчить невероятный факт частых побед представительниц слабого пола над мужской половиной рода человеческого.

Но очарование Бренгильды было более простого свойства и заключалось главным образом в ее удивительной красоте.

С детских лет она презирала занятия, обычно милые женскому сердцу, и те, кто пытался добиться благосклонности юной госпожи Аспрамонтской, наследницы владений весьма воинственного семейства — это обстоятельство, по-видимому, и питало в ней ее причудливые склонности, — услышали в ответ, что они должны заслужить такую честь, проявив свою отвагу на турнире. Отец Бренгильды к этому времени умер, а мать была женщиной мягкой, и дочь легко подчинилась ее своему влиянию.

Многочисленные поклонники Бренгильды охотно согласились на ее условия, которые были слишком в духе того времени, чтобы кого-нибудь удивить. Турнир был устроен в замке Аспрамонта. Половина участников этого рыцарского сборища, выбитая из седла другой, более удачливой половиной, удалилась с арены подавленная и разочарованная. Победители не сомневались, что им предложат сразиться между собой. Каково же было их изумление, когда они узнали волю дамы их сердца! Она сама облачилась в доспехи, взяла копье, села на коня и попросила рыцарей, которые так высоко, по их словам, ценят ее, позволить ей принять участие в их рыцарских забавах. Молодые рыцари учтиво внесли молодую хозяйку в список участников турнира, посмеиваясь над ее желанием победить стольких доблестных представителей сильного пола. Вассалы же и старые слуги графа, ее отца, тоже посмеивались, предвидя исход поединка. Рыцари вступали в бой с прекрасной Бренгильдой, а затем, выбитые из седла, один за другим падали на песок; надо, впрочем, отдать им справедливость — положение у них было не из легких; шутка сказать,

им приходилось мериться силами с одной из красивейших женщин того времени! Они невольно сдерживали мощь ударов, поворачивали коней в сторону и старались не столько одержать верх над своей прекрасной противницей — а без такого стремления нет и победы, сколько уберечь ее от серьезных повреждений. Но молодая госпожа Аспрамонтская была не из тех дам, которых можно было победить, не приложив при этом всей силы и всего воинского искусства. Потерпевшие поражение поклонники покинули замок, тем более раздосадованные, что перед заходом солнца туда прибыл Роберт Парижский; узнав о турнире, он немедленно выразил желание принять в нем участие, заявив, что если ему удастся добиться победы, он заранее отказывается от обещанной награды, ибо приехал сюда не ради богатых поместий или красивых женщин. Задетая, уязвленная, Бренгильда выбрала новое копьё, вскочила на лучшего своего коня и выехала на арену с твердой решимостью отомстить обидчику, пренебрегшему ее красотой. Это ли раздражение лишило ее обычной силы и ловкости, или она, подобно всякой женщине, поддавалась тому мужчине, который как раз и не добивался ее, или, как оно нередко бывает, пришел назначенный ей час, только случилось так, что копьё графа Роберта сделало свое дело с обычным для него успехом; Бренгильда Аспрамонтская была выбита из седла, шлем слетел с ее головы, а сама она грохнулась на землю. Это прекрасное лицо, прежде румяное, а теперь мертвенно-бледное, произвело на рыцаря такое впечатление, что он еще выше оценил свою победу. Верный слову, он собирался покинуть замок, ибо тщеславная дама была достаточно наказана, но тут своевременно вмешалась ее мать. Убедившись, что ее молодая наследница не получила серьезных ран, она поблагодарила незнакомого рыцаря за преподанный ее дочери урок, который, надо полагать, та не скоро забудет. А так как предложение остаться соответствовало тайным желаниям графа Роберта, он уступил чувству, подсказывавшему ему, что с отъездом торопиться не следует.

В нем текла кровь Карла Великого, но еще большее значение в глазах юной дамы имело то обстоятельство, что он был одним из самых прославленных норманских рыцарей того времени. Проведя десять дней в замке Аспрамонте, жених и невеста с приличествующей случаю свитой отправились в часовню Владычицы сломанных копий, ибо только там граф Роберт пожелал венчаться. Два рыцаря, ожидавшие у часовни, в соответствии с обычаем, возможности вступить с кем-нибудь в поединок, были весьма разочарованы, увидев эту кавалькаду, явно нарушавшую их планы. Каково же было удивление рыцарей, когда они получили вызов от молодой четы, которая предложила им сразиться с ними обоими, радуясь возможности начать супружескую жизнь именно так, как они собирались ее вести и впредь. Граф и его жена, как всегда, победили; их учтивость дорого обошлась обоим рыцарям, так как у одного из них во время поединка была сломана рука, а у другого — вывихнута ключица.

Женитьба несколько не помешала графу Роберту по-прежнему вести жизнь странствующего рыцаря; напротив, когда он хотел новыми подвигами поддержать укрепившуюся за ним известность, его жена наравне с ним участвовала в сражениях и не уступала ему в жажде славы. Поддавшись безумию, охватившему всю Европу, они оба украсили свои доспехи знаком креста и отправились освобождать святую землю.

Графине Бренгильде было в ту пору двадцать шесть лет, и она была прекрасна, как только может быть прекрасна амазонка. Очень высокого для женщины роста, она отличалась благородством черт. Даже военные труды не уменьшили ее красоты, а легкий загар, покрывавший лицо графини, лишь оттенял белизну кожи там, где она была закрыта от солнечных лучей.

Император Алексей, отдав своей свите приказ возвращаться в Константинополь, имел тайный разговор с главным телохранителем Ахиллом Татием. Начальник гвардии молча склонил голову в знак повиновения и с несколькими своими воинами отделился

от императорской свиты. Главная дорога в город была забита войсками и толпами зрителей, страдавших от пыли и жары.

Граф Роберт Парижский погрузил на борт корабля своих лошадей и свиту, оставив при себе только старого оруженосца и прислужницу жены. Ему не нравилась вся эта толчея, тем более что с ним была жена, и он начал высматривать среди деревьев, окаймлявших берег и сбегавших к самой воде, какую-нибудь другую дорогу в Константинополь, пусть кружную, но приятную, где, быть может, они набредут на удивительные виды природы или рыцарские приключения — а этого главным образом они и искали на Востоке. Широкая утоптанная дорожка, казалось, обещала им все удовольствия, какие может предоставить тень в этом жарком климате. Местность, по которой они проходили, была необычайно красива; повсюду виднелись храмы, церкви, беседки, то там, то здесь источник предлагал им свои серебряные струи, подобно щедрому даятелю, который, отказывая себе во всем, ничего не жалеет для тех, кто в нужде. Никто не толкал их и не теснил, ибо воинственная музыка, долетавшая до них издали и ласкавшая слух, отвлекла весь народ на большую дорогу.

Радуюсь тенистой прохладе, они неспешно шли, дивясь непривычному ландшафту, зданиям, повадкам людей, попадавшихся им навстречу или обгонявших их. Один человек особенно обратил на себя внимание графини Бренгильды. Это был дородный старик, который держал в руке свиток пергамента и так внимательно читал его, что, казалось, ничего больше не видел. Высокий лоб его свидетельствовал о глубоком уме, а пронзительный взгляд, мнилось, умел проникать в тайный смысл человеческих суждений и, отбросив все суетное, извлекал из них самое существенное. С трудом оторвавшись от пергамента, Агеласт — ибо это был он — встретился глазами с графом Робертом и его дамой, ласково назвал их «дети мои» и спросил, не заблудились ли они и не может ли он чем-нибудь им помочь.

— Мы чужестранцы, отец, — услышал он в ответ. — Вместе со всей армией пилигримов мы приехали сюда из далекой страны, охваченные единым стремлением — вознести молитвы там, где, во искупление наших грехов, была принесена великая жертва, и освободить с помощью добрых мечей поработленную Палестину, захваченную и поруганную неверными. Такова высшая цель крестоносцев. Однако Роберт Парижский и его супруга, раз уж они оказались в этой стране, хотят огласить ее эхом своих шагов. Они не привыкли бесшумно ходить по земле и жаждут завоевать бессмертную славу хотя бы ценой земного существования.

— Значит, ты готов пожертвовать безопасностью ради славы, — сказал Агеласт, — хотя, быть может, на чашу весов вместе с победой ляжет и смерть?

— Конечно, — ответил граф Роберт. — Любой из нас, если он владеет мечом не хуже, чем я, рассуждает точно так же.

— И, насколько я понимаю, — спросил Агеласт, — твоя дама разделяет с тобой эти доблестные мысли? Неужели это действительно так?

— Ты волен, отец, не верить в мою женскую храбрость, — сказала графиня, — но, клянусь тебе, — и вот свидетель, который подтвердит мои слова, — если бы в ней усомнился мужчина раза в два моложе тебя, он не остался бы безнаказанным.

— Да защитит меня небо от молний, которые мечут твои глаза, будь то молнии гнева или презрения, — сказал Агеласт. — От других опасностей меня защищает мой *aegis*¹. Но возраст с его недугами тоже служит мне защитой. Возможно, вам нужен именно такой человек, как я; если это верно, я был бы счастлив оказать вам любую услугу, ибо считаю это своим долгом по отношению ко всем достойным рыцарям.

— Я уже говорил, — ответил ему граф Роберт, — что, не считая обета, который я должен выполнить, — тут он поднял глаза к небу и перекрестился, — больше

¹ Щит (лат.).

всего на свете я хочу прославить свое имя с оружием в руках, как подобает доблестному рыцарю. Когда люди умирают в безвестности, они умирают навсегда. Если бы мой предок Карл не покинул жалких берегов Заале, он был бы известен не более, чем любой виноградарь из тех мест, который только тем и занимается, что подрезает лозы. Но он прожил жизнь как храбрый человек, и имя его бессмертно в памяти достойных.

— Молодой человек, — сказал старый грек, — нашу страну не часто посещают такие люди, как ты, чьи редкие свойства я, твой преданный слуга, высоко ценю; знай же, что именно я могу помочь тебе в деле, столь дорогое твоему сердцу. Я так долго изучал природу и так глубоко проник в ее тайны, что она как бы перестала существовать для меня и передо мной открылся иной мир, совершенно от нее отличный. Удивительные знания, которыми я владею, недоступны другим людям, и их нельзя раскрыть тому, чьи ратные подвиги не выходят за пределы обыденного. Ни один выдумщик романтических небылиц в вашей романтической стране, жаждущий утолить пустое любопытство сидящих вокруг него слушателей, не способен извлечь из своего воображения такие необычайные истории, какие знаю я, черпающий их не из фантазии, а из подлинной жизни, не говоря уже о том, что мне известно, где рыцаря ждут увлекательные приключения и как завершить их подвигом.

— Если ты и вправду стремишься поделиться своими знаниями, — сказал французский граф, — то сейчас ты встретил одного из тех, кого ищешь. Ни моя графиня, ни я не сойдем с места, пока ты не укажешь, где нам найти такое приключение, о каком без устали мечтают все странствующие рыцари.

С этими словами он сел рядом со стариком; Бренгильда последовала его примеру с видом до того почтительным, что в этом было даже что-то забавное.

— Нам с тобой повезло, Бренгильда, — продолжал граф Роберт. — Наш ангел-хранитель хорошо заботится о нас. До сих пор нас окружали здесь только чопорные придворные, которые болтают на своем

бессмысленном языке и больше ценят мимолетный взгляд трусливого императора, чем разящий удар смелого рыцаря. Знаешь, я уже даже начал думать, правильно ли мы поступили, сделавшись крестоносцами, — бог да простит мне эти нечестивые мысли! И вот, почти отчаявшись найти путь к славе, мы вдруг встречаем одного из тех замечательных людей, которых рыцари былых времен обычно встречали у родников, возле придорожных крестов и часовен, людей, всегда готовых направить странствующего рыцаря туда, где можно совершить великие дела. Не перебивай его, Бренгильда, — добавил граф, — пусть он припомнит старинные предания, и ты увидишь, как он обогатит нас сокровищами своей памяти.

— Мне пришлось ждать дольше, чем позволяет большинству людей срок человеческой жизни, — сказал после некоторой паузы Агеласт, — но я с лихвой вознагражден за это тем, что на склоне дней могу послужить супругам, которые так преданы рыцарским идеалам. И мне сразу вспомнилась одна история, случившаяся здесь, в моей Греции, вообще богатой необыкновенными историями. Я вам коротко расскажу ее.

Далеко отсюда, в нашем прославленном греческом архипелаге, где на море свирепствуют бури и пенятся валы, среди скал, которые, постоянно меняя свой облик, словно бросаются друг на друга, лежит, омываемый беспокойными волнами, богатый остров Зюликий, где, несмотря на изобилие его природы, живет совсем немного людей, и те — только на морском берегу. Внутренняя часть острова представляет собой огромную гору, вернее — нагромождение гор; меня уверяли, что все, кто отваживался подойти достаточно близко к горе, видели старинные, поросшие мхом башни и остроконечные шпили величавого, но разрушенного замка, жилища повелительницы этого острова, заколдованной много-много лет назад.

Некий смелый рыцарь, совершивший паломничество в Иерусалим, поклялся освободить эту несчастную жертву жестокого колдовства, ибо он испытывал справедливое негодование при мысли, что силы тьмы

владевают так близко от святой земли, которую можно назвать истинным источником света. Двое старейших жителей острова согласились проводить его к главным воротам, но не осмелились подойти к ним ближе, чем на расстояние полета стрелы. Отсюда, предоставленный самому себе, храбрый франк двинулся к своей цели, полагаясь лишь на свое мужественное сердце и на помощь неба. Он приблизился к зданию, гигантские размеры и гармоничные очертания которого говорили о могуществе и богатстве того, кто построил его. Бронзовые ворота раскрылись сами собой, словно с надеждой и радостью, и среди шпиль и башенок прозвучали неземные голоса, как будто поздравлявшие духа, прикованного к этому месту, с приходом освободителя.

Рыцарь вошел в ворота, полный удивления, но не запятнанный страхом, ибо готическое великолепие, открывшееся ему, еще более возвысило его представление о красоте дамы, для которой была создана столь роскошная темница. На башнях и стенах замка етояли вооруженные стражи в восточных одеждах, готовые, казалось, выстрелить из луков; но они стояли молча и неподвижно, не обращая внимания на закованного в латы рыцаря, словно к их посту приближался монах или отшельник. Они были живые, но бесчувственные и бессильные, подобно мертвецам. Если верить старому преданию, четырехста раз сменялись времена года, летом их грело солнце, зимой поливал дождь, но они не замечали ни ласкающего тепла, ни холода. Как у израильтян в пустыне, обувь их не изнашивалась, одежда не истлевала. Время не коснулось этих людей, и рыцарь увидел их в точности такими, какими они были когда-то. Мудрец, который зачаровал этих людей, был одним из магов, исповедовавших учение Зороастра. Он явился ко двору юной царевны, которая встретила его со вниманием, какого только может пожелать самое придирчивое тщеславие; но очень скоро ее почтительный страх перед этим величавым старцем исчез, ибо она поняла, что он покорен ее красотой. Прекрасной женщине ничего не стоило — это ведь случается на

каждом шагу — привести мудреца в такое состояние, которое довольно метко называют «раем для дураков». Философ стал вести себя как мальчишка, а в его возрасте это выглядело смешным: он мог повелевать стихиями, но повернуть время вспять было вне его власти. Когда он произносил магические заклятия, склонялись горы и отступало море, но когда пытался увлечь царевну зюликийскую в стремительном танце, юноши и девушки отворачивались, чтобы он не заметил, как они потешаются над ним.

К несчастью, старики, даже самые умудренные, порой забывают о своих сединах, и тогда молодежь начинает подсматривать за ними, вышучивать и высмеивать их слабости. Царевна частенько обменивалась взглядами со своими придворными, давая им понять, что ее забавляют ухаживания грозного мага. С течением времени она позабыла об осторожности, и однажды старик перехватил взгляд, открывший ему, каким смешным казался он той, кого так страстно обожал. На земле не существует страсти более горькой, чем любовь, превратившаяся в ненависть; такой ненавистью и воспылал мудрец, раскаявшийся в безумном чувстве к легкомысленной царевне, сделавшей из него шута.

Однако он нашел в себе силы скрыть свой гнев. Ни словом, ни взглядом не выдал он горького разочарования. Только некая тень печальных, вернее — сумрачных дум, появившаяся на его челе, предвещала надвигающуюся бурю. Царевну это несколько беспокоило; к тому же сердце у нее было очень доброе, и если она и выставила старика на посмеяние, то винить за это надо скорее случай и обстоятельства, нежели ее дурные намерения. Видя, что старик страдает, и желая облегчить его боль, она подошла к нему, прежде чем удалиться в свои покои, и ласково пожелала доброй ночи:

«Ты говоришь мне „доброй ночи“, дочь моя, — заметил мудрец, — но кто из тех, кто слышит меня сейчас, сможет завтра сказать „доброе утро“?»

На эти слова мало кто обратил внимание; лишь два-три человека, хорошо знавшие мудреца, в ту же

ночь бежали с острова, и от них-то и стало известно, что навлекло на обитателей замка страшную кару. Магический сон, подобный смерти, сковал их, и они уже больше не просыпались. Остров обезлюдел, а те, кто не покинул его, остерегались приближаться к замку, дожидаясь, чтобы какой-нибудь отважный искатель приключений принес околдованным желанное избавление, на которое смутно намекнул волшебник.

Никогда, казалось, не была так велика надежда на пробуждение, как в ту минуту, когда заколдованный замок огласили гордые шаги Артавана де Олье. По левую руку он увидел дворец, увенчанный башней, по правую — изящное строение, где, видимо, обитали женщины. У боковой двери полулежали два гаремных стража с обнаженными мечами в руках; страшная гримаса не то сна, не то смерти искажала их лица и словно грозила гибелью каждому, кто осмелится войти сюда. Но Артаван де Олье не устрасился. Он приблизился к двери, и она, подобно воротам замка, распахнулась сама собой. Рыцарь переступил порог помещения для стражи, где находились такие же воины-евнухи, чьи взоры, столь неподвижные, что никто не мог бы сказать, остановила их длань смерти или сна, словно запрещали ему войти. Не обращая внимания на грозных стражей, Артаван вошел во внутренний покой и увидел прекрасных рабынь, застигнутых чарами в тот миг, когда они раздевались, чтобы отойти ко сну. Это соблазнительное зрелище, казалось, должно было бы остановить столь юного пилигрима, как Артаван де Олье, но сердце его было исполнено решимости вернуть свободу прекрасной царевне, и никакие низменные побуждения не могли отвлечь его от этой цели. Поэтому он двинулся дальше и подошел к маленькой двери из слоновой кости, которая открылась не сразу, словно застыдившись чего-то, но затем, подобно другим, распахнулась перед ним. И вот рыцарь вступил в спальню самой царевны. Мягкий свет, подобный свету вечерних сумерек, проникал в эту комнату, где все располагало к сладкому сну. На груде подушек величественного ложа,

едва касаясь их, возлежала пятнадцатилетняя красавица, прославленная царевна зюликийская.

— Не посетуй, что я прерываю тебя, достойный отец, — сказала графиня Бренгильда, — но, думается мне, все мы хорошо представляем себе спящую женщину, и не следует так подробно останавливаться на этом, тем более что подобная тема вряд ли подобает как нашему, так и твоему возрасту.

— Прости меня, благородная дама, — ответил Агеласт, — но наибольший интерес всегда вызывала именно эта часть моей истории, и если я сейчас, повинаясь твоему приказу, опущу ее, то прошу тебя иметь в виду, что таким образом я пожертвую лучшим местом моей повести.

— Бренгильда, — вмешался граф, — я удивлен, что ты решилась прервать историю, рассказываемую с таким пылом. Несколько слов, опущенных или добавленных, несомненно могут иметь большое значение для ее смысла, но вряд ли они повлияют на наши чувства.

— Как вам будет угодно, — сказала его супруга, снова усаживаясь, — но мне кажется, что почтенный отец затягивает свой рассказ, и он становится скорее легкомысленным, чем интересным.

— Бренгильда, — заметил граф, — я впервые обнаруживаю в тебе женскую слабость.

— А я могу, в свою очередь, сказать, граф Роберт, — ответила Бренгильда, — что ты впервые проявляешь при мне непостоянство, свойственное твоему полу.

— О боги и богини! — воскликнул философ. — Ведь эта ссора лишена всякого основания! Графиня ревнует супруга к женщине, которую он, по всей вероятности, никогда не увидит, ибо для нынешних поколений царевна зюликийская все равно что замурована в гробнице.

— Продолжай, — попросил граф Роберт Парижский. — Если сэра Артаван де Олье не снял чар с царевны, то я даю обет Владычице сломанных копий...

— Не забывай, — прервала его супруга, — что ты уже дал обет освободить гроб господень, и мне दुшается, что нет цели возвышеннее, чем эта.

— Ты права, госпожа моя, ты права, — сказал граф Роберт, не слишком довольный ее вмешательством. — Можешь быть уверена, что никакой подвиг не сможет отвлечь меня от нашего общего дела — освобождения гроба господня.

— Увы! — сказал Агеласт. — Замок Зюликий лежит так близко от кратчайшей дороги ко гробу господню, что...

— Достойный отец, — сказала графиня, — если тебе угодно, мы дослушаем твою историю до конца и затем решим, что нам предпринять. Мы, норманские женщины, потомки древних германцев, имеем право голоса наравне с нашими мужьями в совете перед битвой, и наша помощь в бою никогда не считалась бесполезной.

В голосе графини таилось нечто похожее на угрозу, и философ подумал, что направлять действия норманского рыцаря, пока рядом с ним его супруга, будет гораздо труднее, чем он предполагал. Поэтому рассказ его стал звучать более сдержанно, и в нем уже не было тех пламенных описаний, которые вызвали такое неудовольствие графини Бренгильды.

— Сэр Артаван де Олье, повествует предание, задумался над тем, как ему разбудить спящую девушку, и тут вдруг вспомнил о способе, перед которым не могут устоять никакие чары. Суди сама, прекрасная госпожа, прав ли он был, решив, что лучшим способом будет поцелуй в губы.

Бренгильда слегка покраснела, но не сочла нужным прерывать философа.

— Никогда еще, — продолжал Агеласт, — столь невинный поступок не вызывал таких страшных последствий. Уже не мягкий свет летнего вечера, а мрачное, таинственное мерцание озарило комнату. Воздух наполнился удушливым запахом серы. Роскошные занавеси, великолепное убранство комнаты, даже стены ее превратились в огромные камни, беспорядочно нагроможденные друг на друга, словно

в пещере дикого зверя. И в этой пещере был обитатель. Прекрасный и невинный рот, к которому прикоснулся Артаван де Олье, растянулся и стал отвратительной и чудовищной пастью огнедышащего дракона. Мгновение дракон парил на крыльях, и говорят, что если бы у сэра Артавана хватило мужества трижды повторить свое приветствие, он оказался бы владельцем всех этих богатств и освобожденной от чар царевны. Но возможность была упущена, дракон, или существо, напоминавшее его, громко и горестно стеная, взмахнул огромными крыльями и вылетел в окно.

На этом Агеласт закончил свою историю.

— Говорят, что принцесса, — сказал он, — до сих пор спит очарованным сном на своем острове; еще несколько рыцарей пошли навстречу этому приключению, но уж не знаю, что их остановило — боязнь поцеловать спящую девушку или коснуться дракона, в которого она превращалась, только заклятие остается в силе. Я знаю туда дорогу, и стоит вам приказать, как завтра вы уже будете на пути к заколдованному замку.

Графиня выслушала предложение старца с глубокой тревогой, понимая, что если она будет противиться, это еще больше укрепит желание ее супруга отправиться в заколдованный замок. Поэтому она стояла с робким и застенчивым видом, довольно необычным для столь отважной дамы, предоставляя графу Роберту самому, без постороннего влияния, принять такое решение, которое будет ему по душе.

— Бренгильда, — сказал он, беря ее за руку, — не было на свете рыцаря, носившего меч и латы, которому слава и честь были бы дороже, чем твоему мужу. Поверь, я знаю, что ты сделала ради меня то, чего я не мог ожидать от столь высокородной женщины, и поэтому тут твой голос должен быть решающим. Ради чего скитаешься ты в этой чужой, тлетворной стране, вместо того чтобы оставаться на берегах милой Сены? Ради чего носишь эту одежду, столь необычную для твоего пола? Ради чего рискуешь

жизнью, предпочитая смерть позору? Ради чего? Только ради того, чтобы у графа Роберта была супруга, достойная его. Неужели ты думаешь, что я могу пренебречь такой любовью? Нет, клянусь всеми святыми! Твой рыцарь воздаст тебе должное и готов поступиться любым своим желанием, если твоя любовь не одобрит его.

Бедная Бренгильда, раздираемая противоречивыми чувствами, тщетно пыталась сохранить стоическое спокойствие, подобающее, как она считала, ей в качестве новой амазонки. Она попробовала принять обычный свой гордый и величественный вид, но не выдержала, бросилась в объятия графа, обняла его и расплакалась, как деревенская девушка, провожающая своего любимого на войну. Ее супруг, немного сконфуженный столь несвойственным этой женщине бурным проявлением любви, был в то же время глубоко тронут, горд и счастлив тем, что мог пробудить такое искреннее и нежное чувство в этой смелой и несгибаемой душе.

— Не надо плакать, моя Бренгильда! — сказал он. — Ради меня и ради себя самой утри слезы, ибо мне нестерпимо их видеть. Пусть не думает этот мудрый старец, будто сердце твое сделано из того же податливого материала, что и у других женщин; поэтому попроси у него прощения за то, что ты пыталась воспрепятствовать подвигу, который, по его словам, я мог бы совершить на острове Зюликий.

Не легко было Бренгильде овладеть собой после того, как, не сдержавшись, она явственно показала, что природа, которую она так долго обуздывала и подавляла, все же взяла верх над ней. Бросив на супруга взгляд, полный невысказанной любви, она оторвалась от него и, все еще не выпуская его руку, застенчиво и ласково улыбнулась Агеласту, хотя слезы ее еще не высохли. Когда она заговорила, в ее тоне звучало уважение к нему и желание загладить нанесенную ему обиду.

— Отец, — почтительно сказала она, — не сердись на меня за то, что я попыталась помешать одному из лучших рыцарей, которые когда-либо пришпоривали

коня, отправиться в замок твоей заколдованной принцессы, но, по правде говоря, в нашей стране, где законы и рыцарства и религии гласят, что у благородного человека может быть только одна дама сердца и одна супруга, мы стараемся не подвергать наших мужей такого рода опасностям, особенно когда речь идет об освобождении одиноких дам, а выкупом... а выкупом служат поцелуи. Я верю в преданность моего Роберта, как только может верить дама в своего рыцаря, но все же...

— Прекрасная госпожа, — сказал Агеласт, который, несмотря на свое закоренелое лицемерие, все же был тронут простой и искренней любовью этой красивой молодой четы, — ты не сделала ничего дурного. Положение царевны не стало хуже, чем было до сих пор, и нет сомнения в том, что рыцарь, которому суждено освободить ее, появится в предназначенное время.

Графиня печально улыбнулась и покачала головой.

— Вы не знаете, — сказала она, — как могущественна помощь, которой я столь бессердечно лишила эту бедную даму из ревности — чувства, я это хорошо понимаю, низменного и недостойного; раскаяние мое так велико, что я готова дать согласие графу Роберту на совершение этого подвига.

При этих словах она посмотрела на своего супруга с некоторым беспокойством, как человек, который предложил сделать что-то, но втайне надеется, что его предложение не будет принято, и успокоилась только, когда он решительно сказал:

— Бренгильда, этого не будет.

— А почему бы тогда самой Бренгильде не свершить этого деяния, — сказала графиня, — раз она не страшится ни красоты принцессы, ни безобразия дракона?

— Госпожа, — ответил Агеласт, — царевну может освободить только поцелуй любви, а не дружбы.

— Разумеется, никакая дама не захочет отпустить своего супруга, если для свершения подвига нужно выполнить такие условия, — улыбаясь, сказала графиня.

— Благородный менестрель или герольд, уж не знаю, как тебя именуют в твоей стране, — сказал граф Роберт, — прими наше небольшое вознаграждение за то время, которое мы провели с таким удовольствием, хотя, к сожалению, без пользы. Прости меня за скромность моего подарка, но тебе, быть может, известно, что французские рыцари гораздо богаче славой, нежели деньгами.

— Благородный рыцарь, не по этой причине я отказываюсь от твоего дара, — сказал Агеласт, — ибо золотой, полученный из твоих доблестных рук или из рук твоей несравненной дамы, становится восток дороже благодаря высоким достоинствам тех, кто его дарит. Я носил бы его на жемчужной нити и, оказавшись в обществе рыцарей и дам, объявлял бы во всеуслышание, что сие добавление к моему гербу пожаловано мне знаменитым графом Робертом Парижским и его божественной супругой.

Рыцарь обменялся взглядом со своей женой, и графиня, сняв с пальца перстень из чистого золота, попросила старца принять его в знак высокого уважения с ее стороны и со стороны ее супруга.

— Я приму его, — ответил философ, — но при одном условии, которое, надеюсь, не покажется вам трудным. У меня есть уединенный загородный домик, и стоит он почти у самой дороги — кстати, очень живописной, — ведущей в город. Там я иногда принимаю друзей, которые, смею сказать, являются весьма уважаемыми людьми в империи. Двое или трое из них, вероятно, соблаговолят посетить меня сегодня и разделить со мной нехитрую трапезу. Если бы я имел честь присоединить к этому обществу благородных графа и графиню Парижских, мое скромное жилище было бы осчастливлено навеки.

— Что ты скажешь на это, моя благородная жена? — спросил граф. — Общество менестреля приличествует самым высокорожденным особам, подобает людям самого высокого положения и возвеличивает самые блестящие подвиги. Это приглашение слишком лестно для нас, чтобы отказаться от него.

— Время уже довольно позднее, — ответила графиня, — но мы приехали сюда не для того, чтобы остерегаться заходящего солнца или ночного неба; я почти не только долгом, но и удовольствием сделать, если только это в моих силах, приятное достойному отцу, поскольку я была причиной того, что ты не последовал его совету.

— Нам предстоит такой недолгий путь, что лучше всего пройти его пешком, если, конечно, дама не возражает, — сказал Агеласт.

— Нисколько. У моей прислужницы Агаты есть все необходимое для меня, а что касается моего супруга, то так налегке еще не путешествовал ни один рыцарь.

После этих слов графини Агеласт повел своих новых друзей через довольно густой лес, где их приятно освежал прохладный вечерний ветерок.

Глава XI

Руинами казался дом снаружи,
Но настоящим раем был внутри.
Там первенцы искусства, изваянья,
Восторженному взору представляя,
Безмолвно говорили: преклонись.

Неизвестный автор

Граф Роберт Парижский и его супруга следовали за старцем, чьи преклонные годы, отличное знание французского языка, на котором он говорил поистине безукоризненно, в особенности же мастерство, с каким он рассказывал на этом языке поэтические и романтические предания, — а в те времена оно было немаловажно для предметов, именуемых историей и *belles lettres*,¹ вызывали у его благородных слушателей бурное одобрение: даже сам Агеласт редко претендовал на такие похвалы — точно так же, впрочем,

¹ Изящными искусствами (*франц.*).

как редко удостаивали ими кого бы то ни было граф Роберт Парижский и его супруга.

Некоторое время они шли по тропинке, которая то вела их по рощам, сбегавшим к самой Пропонтиде, то вдруг снова выводила на берег, с каждым поворотом открывая удивительные и неожиданные красоты. Новизна и разнообразие ландшафта сообщали этой прогулке особую прелесть. На морском берегу плясали нимфы, а пастухи в такт их движениям наигрывали на дудочках или били в бубны — такие группы мы находим у античных скульпторов. Даже лица встречных хранили необычайное сходство с лицами древних. Старики своими длинными одеяниями, осанкой, гордой посадкой головы напоминали пророков и святых, а весь облик молодых невольно приводил на память выразительные черты античных героев и несравненную красоту женщин, вдохновлявших их на подвиги.

Однако греки, сохранившие характерные для них черты в первозданной чистоте, даже на своей родине встречались не часто: наши путники видели на своем пути людей, лица которых говорили о происхождении совсем не греческом.

Тропинка привела к просторной песчаной площадке, окруженной со всех сторон скалами. Здесь расположилось довольно много язычников-скифов, чьи безобразные физиономии напоминали демонов, которым, если верить молве, они поклонялись: приплюснутые носы с такими вывернутыми ноздрями, что, казалось, заглянув туда, можно было увидеть мозги их обладателей; широкие скулы и странные, широко расставленные глаза, в которых не было ни проблеска мысли; приземистые, низкорослые фигуры; руки и ноги необыкновенной силы, слишком длинные для этих тел. В то время когда наши друзья поравнялись с ними, у этих дикарей происходило нечто вроде турнира — так по крайней мере назвал это граф. Они занимались тем, что метали друг в друга специальные изготовленные для этой цели стрелы или дротики, причем делали это с такой силой и яростью, что часто выбивали друг друга из седла и причиняли серьезные

повреждения. Несколько скифов, не принимавших в эту минуту участия в состязаниях, уставились на прекрасную графиню столь жадными глазами, что она сказала графу Роберту:

— Супруг мой, я никогда не знала, что такое страх, не испытываю его и сейчас, но если отвращение — одна из его составных частей, то эти грубые животные вполне могут внушить его.

— Эй, рыцарь! — крикнул один из язычников. — Твоя жена или возлюбленная оскорбила скифов, состоящих на службе императора, и она понесет за это немалое наказание. Тебя мы не станем задерживать — убирайся, да побыстрее, с этой площадки, которая служит нам сейчас ипподромом, или майданом, — называй ее как хочешь по-гречески или на своем сарацинском языке, но твоя жена, если только церковь соединила вас, поверь мне, уйдет отсюда не так легко и просто.

— Гнусный язычник! — воскликнул граф. — Да как ты смеешь так разговаривать с пэром Франции?

Тут вмешался Агеласт и на изысканном и звонком языке греческого придворного напомнил скифам — видимо, наемным воинам императора, — что всякое насилие над европейскими пилигримами каралось, по приказу его величества, смертной казнью.

— Мне лучше знать! — дерзко ответил дикарь, потрясая в воздухе дротиком с широким стальным наконечником и орлиными перьями, на которых еще не засохла кровь. — Спроси у оперения моего дротика, чье сердце окропило его своей кровью. Оно ответит тебе, что Алексей Комнин только тогда друг европейских пилигримов, когда стоит лицом к лицу с ними, а мы — примерные воины и служим императору так, как он того желает.

— Замолчи, Токсартис! — сказал философ. — Ты клеветешь на своего императора!

— Сам ты молчи! — воскликнул Токсартис. — Иначе я совершу дело, неприличествующее воину, и освобожу мир от старого болтуна.

Говоря это, он протянул руку к покрывалу графини. С присущей ей ловкостью эта воинственная жен-

щина увернулась от предводителя скифов и острым мечом нанесла ему такой мощный удар, что он за-
мертво свалился на землю. Граф Роберт вскочил на
его коня и со своим боевым кличем: «Сын Карла Ве-
ликого, на помощь!» — бросился в гущу языческих
всадников; выдернув секиру, притороченную к седлу
убитого Токсартиса, и ловко нанося ею беспощадные
удары, он перебил, ранил или обратил в бегство всех
своих противников, даже не пытавшихся привести в
исполнение хвастливые угрозы.

— Презренные негодяи! — воскликнула графиня,
обращаясь к Агеласту. — У меня душа горит при мы-
сли, что хоть капля этой трусливой крови обогрела
руки благородного рыцаря! Они смеют называть свое
состязание турниром, а сами норовят нанести друг
другу удар в спину, и никто из них не решается мет-
нуть дротик в противника, если тот целится в него!

— Таков их обычай, — заметил Агеласт, — и дело
тут, пожалуй, не столько в трусости, сколько в при-
вычке, ибо, проделывая свои упражнения перед импе-
ратором, они всегда стоят к нему лицом. Я сам видел,
как Токсартис буквально повернулся спиной к цели,
на полном скаку натянул лук и с очень большого рас-
стояния всадил длинную стрелу в самый центр ми-
шени.

— Мне думается, — сказал граф Роберт, подъехав
к ним, — что такие воины не могут дать настоящий
отпор, если встретят противника, обладающего хоть
малой долей подлинного мужества.

— А теперь направим наш путь ко мне, — предло-
жил Агеласт. — Может случиться, что эти беглецы
встретят приятелей, которые начнут подбивать их
отомстить вам.

— По-моему, — сказал граф Роберт, — у этих наг-
лых язычников не должно было бы быть приятелей
ни в одной стране, называющей себя христианской.
Если я не сложу головы, отвоеывая гроб господень,
то первым делом потребую, чтобы ваш император от-
ветил мне, по какому праву он держит на свой служ-
бе шайку поганых язычников, занимающихся раз-
боем на большой дороге, по которой, во имя бога

и короля, должны спокойно и в полной безопасности шествовать благородные дамы и мирные пилигримы. Это только один из многих вопросов, какие я, выполнив свой обет, не забуду задать ему. И я потребую у него ответа, как говорится, прямого и точного.

«Ну, от меня тебе такого ответа не дожидаться, — подумал Агеласт. — Слишком прямы и требовательны твои вопросы, господин рыцарь, чтобы на них стал отвечать тот, кто может избежать этого».

Философ с привычной ловкостью переменял тему разговора; беседа, они вскоре дошли до места, нетронутая красота которого вызвала восхищение чужеземных спутников Агеласта. Довольно глубокий ручей, вытекавший из рощи, с шумом впадал в море; словно пренебрегая другим, более спокойным руслом, лежащим чуть правее, ручей бросался в море напрямик, низвергаясь с высокого голого обрыва, нависшего над морским берегом, и посылая свои немногочисленные струи в воды Геллеспонта с таким грохотом, словно был мощным потоком.

Сам обрыв, как мы уже сказали, был совершенно голый, не считая одеяния из пенистых брызг, но по обеим его сторонам росли платаны, орешник, кипарисы и другие могучие деревья Востока. Водопад всегда приятен в жарком климате; обычно его устраивают искусственно, но здесь он был создан рукой природы, и люди воздвигли над ним храм, подобно тому как они воздвигли храм Сивиллы в Тиволи для поклонения богине, которой суеверие язычников приписывало власть над всей округой. Храм был невелик, круглой формы, как множество других маленьких храмов в честь сельских божеств, и со всех сторон обнесен стеной. Он подвергся в свое время осквернению, а в дальнейшем был, по всей видимости, превращен Агеластом или каким-нибудь иным философом-эпикурейцем в роскошный летний дом. Светлое, воздушное, как бы нереальное здание смутно виднелось сквозь зелень деревьев на вершине утеса, да и дорожка к нему не сразу бросалась в глаза за водяной пылью водопада. Скрытая буйной растительностью, она полого шла вверх, а затем, по ориги-

нальному замыслу архитектора, завершалась широкими и тоже пологими мраморными ступенями, которые вели к прелестной, заросшей бархатистой травой полянке перед входом в башенку, или храм, уже опирающийся нами и нависавший задней стеной над водопадом.

Глава XII

Сошлись две стороны: грек-златоуст,
Коварный, хитроумный, осторожный,
И прямодушный, мужественный франк,
Следящий за весами и готовый
На них свой меч двуручный положить,
Как только перевесит чаша грека.

«Палестина».

Агеласт подал знак, и дверь этого романтического убежища открыл известный уже читателям невольник-негр Диоген, чья внешность и цвет кожи поразили графа и его супругу, ибо, вероятно, он был первым африканцем, которого они увидели так близко. Хитрый философ заметил это и не упустил возможности произвести на гостей впечатление, выказав перед ними свою ученость.

— Это жалкое создание, — сказал он, — принадлежит к потомкам Хама, непочтительного сына Ноя; он оскорбил своего отца и был изгнан в пески Африки, где, волею провидения, стал родоначальником расы, осужденной быть в рабстве у потомков его более почтительных братьев.

Рыцарь и его супруга смотрели во все глаза на эту диковинную фигуру, разумеется и не подумав усомниться в точности сведений, сообщенных им Агеластом, ибо эти сведения вполне соответствовали их предрассудкам. Старик, проявивший такую ученость, еще больше вырос в их мнении.

— Человеку утонченных нравов, — продолжал Агеласт, — достигшему преклонных лет или недужному приятно пользоваться чужими услугами, хотя в других случаях это вряд ли справедливо. Избирая

себе помощников из числа людей, умеющих только рубить лес и подносить воду и с рождения обреченных на рабство, мы не только не причиняем им обиды, обращая их в невольников, но, напротив того, в какой-то мере способствуем намерениям всевышнего, создавшего всех нас.

— И многочисленно это племя, которое ведет столь жалкое существование? — спросила графиня. — До сих пор я считала, что рассказы о черных людях — такие же пустые выдумки, как истории менестрелей о феях и привидениях.

— Ты ошибалась, — ответил философ. — Это племя не менее многочисленно, чем песчинки на морском берегу, и вовсе не все они так уж несчастны, подчиняясь своей судьбе. Те из них, у кого дурной нрав, наказаны за это при жизни, ибо становятся рабами жестоких, безжалостных людей, которые бьют их, морят голодом и калечат. Те, у кого нрав получше, попадают к лучшим хозяевам, делящим со своими невольниками, как с детьми, пищу, одежду и все остальное, чем они пользуются. Некоторым небо дарует благосклонность владык и завоевателей, и только немногих избранных счастливых оно поселяет в жилище философии, где, приобщившись к знаниям своих хозяев, они обретают надежду проникнуть в тот мир, где обитает подлинное счастье.

— Мне кажется, я поняла тебя, — сказала графиня, — и если так, то я должна скорее завидовать нашему чернокожему другу, чем жалеть его: ведь по воле судьбы ему достался такой хозяин, который, без сомнения, преподавал ему эти науки.

— Он, во всяком случае, знает многое из того, чему я могу научить, — скромно ответил Агеласт, — а учу я главным образом умению быть довольным своей участью. Диоген, сын мой, — обратился он к рабу, — ты видишь, у меня гости. Пойщи, нет ли в кладовой бедного отшельника чего-нибудь, чем он мог бы угостить своих дорогих друзей.

До сих пор они находились во внешнем покое — своего рода прихожей, убранной довольно скромно, как если бы хозяин хотел без особых затрат, но со

вкусом приспособить древнее строение для уединенного частного жилья. Кресла и диваны, покрытые восточными циновками, были самой простой формы. Но когда хозяин нажал пружину, открылся внутренний покой, отделанный уже с претензией на пышность и великолепиие.

Обивка мебели и драпировки в этом покое были из соломенно-желтого персидского шелка, затканного узорами, что производило впечатление роскоши и в то же время простоты. Потолок украшала затейливая резьба, а по углам в нишах стояли четыре статуи, изваянные в эпоху, более благоприятную для искусства, нежели та, о которой мы рассказываем. В одной из ниш укрылась статуя пастуха, который словно стыдился своего полуобнаженного тела и в то же время жаждал усладить собравшихся напевом свирели. В остальных нишах притаились три статуи, прекрасными пропорциями своих тел и легкостью одеяний напоминавшие граций; застыв в разных позах, они точно ожидали первых звуков музыки, чтобы сойтись в веселом танце. Статуи были прекрасны, но все же несколько легкомысленны для уединенного жилища такого мудреца, каким изображал себя Агеласт.

Он, видимо, понял, что это противоречие может привлечь к себе внимание, и поэтому сказал:

— Эти статуи изваяны в эпоху наивысшего расцвета греческого искусства; они изображают нимф, которые собрались для поклонения богине этих мест и лишь ожидают музыки, чтобы, закружившись в хороводе, прославить ее. Даже мудрейший из мудрых не может остаться равнодушным перед этими созданиями гения, который так приблизил бездушный мрамор к живой природе. Кажется, достаточно одного божественного дуновения, одного вдоха, чтобы повторилось чудо, содеянное Прометеем. Так, по крайней мере, должно казаться невежественному язычнику. Но мы, — добавил он, возводя очи к небу, — достаточно образованны и отличаем сделанное руками человека от сотворенного всевышним.

На стенах были нарисованы животные и растения, и философ обратил внимание своих гостей на изобра-

жение слона, об уме которого он тут же рассказал несколько занятных историй, вызвавших живой интерес у слушателей.

В это время слышалась приглушенная мелодия, словно где-то в лесу играла музыка; она пробивалась сквозь рокот водопада, который шумел прямо под окнами, наполняя зал глухим ревом.

— Видимо, — сказал Агеласт, — друзья, которых я ожидаю, приближаются и несут с собой возможность усладить другие наши чувства. Это хорошо, ибо мудрость учит, что, наслаждаясь дарами, которыми оделило нас божество, мы тем самым приносим ему нашу самую благоговейную молитву.

Эти слова заставили франкских гостей философа обратить внимание на стол, накрытый в этом изящном покое. Ложа вокруг стола говорили о том, что мужчины по образцу древних римлян примут участие в пиршестве полулежа, а сиденья, расставленные между ними, указывали, что ожидалось и женщины, которые, по греческому обычаю, будут есть сидя. Яств на столе было не очень много, но по своей изысканности они могли соперничать и с роскошными блюдами, которыми некогда славились легендарные пиры Тримальхиона, и с утонченными произведениями греческой кухни, и с излюбленными на Востоке пряными кушаньями. Агеласт не без тщеславия пригласил своих гостей разделить с ним скромную трапезу бедного пустытника.

— Мы равнодушны к лакомствам, — сказал граф, — а наша нынешняя жизнь пилигримов, связанных священным обетом, еще менее располагает к чревоугодию. Что едят простые воины, то годится и для нас с графиней, ибо мы дали клятву в любой час быть готовыми к бою, и чем меньше дорогих минут уйдет у нас на приготовление к нему, тем лучше. Однако раз этот добрый человек просит, сядь, Бренгильда, и не будем тратить слишком много времени на еду, поскольку мы можем употребить его на что-нибудь другое.

— Умоляю о прощении, — сказал Агеласт, — но повремените немного, пока не подойдут мои друзья,

которые, как вы можете судить по музыке, уже совсем близко и, если и отсрочат вашу трапезу, то ненадолго.

— Ради нас торопиться не нужно, — сказал граф, — и, поскольку ты считаешь это вопросом приличия, Бренгильда и я — мы вполне можем подождать с едой, но я бы предпочел, чтобы ты разрешил нам теперь же съесть по куску хлеба и запить его чашкой воды, дабы, подкрепившись таким образом, мы уступили место твоим более занимательным и близким тебе гостям.

— Да спасут меня от этого святые угодники! — воскликнул Агеласт. — Никогда еще более высокочтимые гости не садились и не сядут за мой стол, даже если бы самое святейшее семейство императора Алексея вошло сейчас в эти ворота.

Не успел он договорить, как раздался мощный зов трубы, куда более громкий, чем звучавшая до сих пор музыка. Эти трубные звуки гремели у самого входа в храм, заглушая рокот водопада, и проникали в дом, как дамаская сталь в броню, как меч в тело, облаченное в доспехи.

— Ты удивлен? Или встревожен? — спросил граф Роберт. — Может быть, близка опасность и ты не доверяешь нашей защите?

— Нет, — ответил Агеласт, — на вашу помощь я положился бы при любой опасности, но эти звуки вызывают во мне не страх, а благоговейный трепет. Они говорят о том, что меня собирается посетить кто-то из членов императорской семьи. Вам, мои благородные друзья, бояться нечего, ибо те, чей взгляд дарует жизнь, готовы щедро излить свою милость на столь достойных чужестранцев, каких они увидят здесь. Однако, чтобы приветствовать их подобающим образом, я должен коснуться лбом своего порога.

С этими словами он поспешил к выходу.

— В каждой стране свои обычаи, — сказал граф, следуя за философом и держа под руку супругу, — и они столь различны, Бренгильда, что неудивительно, если другим они кажутся недостойными. Однако из

уважения к нашему хозяину на этот раз я склоню свой шлем так, как того требует здешний обычай.

И он последовал за Агеластом в прихожую, где их ожидало новое для них зрелище.

Глава XIII

Агеласт оказался на пороге своего дома раньше графа Роберта Парижского и его супруги, и у него хватило времени на то, чтобы пасть ниц перед огромным животным, неведомым в те времена западному миру, а теперь известным всем под названием слона. На спине у него был паланкин, где восседали августейшие особы — императрица Ирина и ее дочь Анна. Их сопровождал Никифор Вриенний во главе блестящего отряда всадников, чье великолепное вооружение понравилось бы крестоносцу больше, если бы оно не отличалось столь утонченной и бесполезной роскошью. Но, невзирая на это, всадники производили ошеломляющее впечатление. Никифор взшел на площадку перед храмом; за ним последовали только командиры охранной стражи. Пока царственные дамы слезали со слона, воины лежали, распростершись ниц, но вскочили на ноги в облаке развевающихся плюмажей, сверкая саблями, как только супруга и дочь императора благополучно поднялись на площадку. В этом окружении несколько постаревшая, но величественная императрица и все еще молодая и прекрасная писательница весьма выигрывали. На скале перед строем копьеносцев, чьи султаны колыхались на ветру, стоял трубач со священной трубой, поражавший своим огромным ростом и богатым одеянием. Он подал сигнал отрядам вниз, означавший, что они должны остановиться, ожидая повелений императрицы и супруги кесаря.

Красота графини Бренгильды и ее удивительный, наполовину мужской наряд сразу же привлекли внимание дам из семейства Алексея, но вид ее был слишком необычен, чтобы вызвать их восхищение. Аге-

ласт почувствовал, что необходимо сразу же представить гостей друг другу, иначе могут возникнуть недоразумения.

— Дозволено ли мне будет говорить, не расставаясь с жизнью? — начал он. — Эти вооруженные чужестранцы, которых вы видите у меня, — достойные участники той бесчисленной армии, которую привело сюда с западных окраин Европы благочестивое желание облегчить участь страждущим жителям Палестины, а также насладиться лицезрением Алексея Комнина, получить его поддержку и, в свою очередь, помочь ему, если он того пожелает, то есть изгнать мусульман из пределов Священной империи, а потом охранять эти области в качестве вассалов его величества.

— Мы довольны, достойный Агеласт, — сказала императрица, — что ты добр к тем, кто так почтителен к императору. И мы тем более расположены побеседовать с ними, что наша дочь, получившая от Аполлона редкий дар описывать то, что она узрела, познакомится, таким образом, с одной из женщин-воительниц Запада, о которых мы много наслышаны, но ничего не знаем с достоверностью.

— Государыня, — сказал граф, — придется мне без церемоний объяснить тебе, в чем ошибся этот старец, когда он объяснял цель нашего прибытия сюда. Прежде всего мы не были вассалами Алексея и не собирались стать ими, когда дали обет, который привел нас в Азию. Мы пришли сюда потому, что святая земля была отторгнута у греческого императора мусульманами — сарацинами, турками и другими неверными, — и хотим отвоевать ее у них. Самые мудрые и предусмотрительные из нас сочли необходимым признать верховную власть императора, так как только клятва на верность ему откроет нам единственный безопасный путь в страну, где мы должны выполнить наш обет, а кроме того, она предотвратит ссору между христианскими государствами. И хотя мы независимы от любого земного владыки, все же мы не собираемся вознести себя над нашими вождями и

поэтому согласились принести вместе с ними присягу императору.

Императрица несколько раз покрывалась краской негодования во время этой речи, которая противоречила принятому при греческом дворе этикету, была исполнена высоким чувством собственного достоинства и всем своим тоном подчеркивала пренебрежение к власти императора. Но она получила наказ от своего царственного супруга не только не давать, но и всячески избегать повода, могущего привести к ссоре с крестоносцами, которые хотя формально и принесли ленную присягу, тем не менее были столь щекотливы в вопросах чести и исполнены готовности в любую минуту начать враждебные действия, что спорные вопросы следовало обсуждать с ними возможно осторожнее. Поэтому она милостиво кивнула головой, словно ничего не поняла из того, что так резко изложил граф Парижский.

К этому моменту главные участники описанной сцены уже вызвали друг у друга немалый интерес и желание познакомиться поближе, хотя все они явно не знали, как это желание выразить.

Агеласт — если начать с хозяина дома — уже поднялся с земли, но не осмеливался выпрямиться; он стоял, низко склонившись перед царственными дамами, и прикрывал лицо рукой, словно человек, защищающий глаза от лучей солнца, молча ожидая, чтобы те, кому он почитал за неуважение предлагать что-либо, сами отдали ему приказ, и в то же время всем видом выражая, что и он и все его рабы находятся в их полном и неограниченном распоряжении. Что касается графини Парижской и ее заносчивого супруга, то они возбудили живейшее любопытство в Ирине и в ее утонченной дочери; обе царственные дамы думали о том, что никогда еще они не видели столь совершенных образцов человеческой силы и красоты, однако, повинувшись инстинкту, заложенному природой, отдавали предпочтение воинственному графу: его супруга казалась им слишком высокомерной и мужеподобной и поэтому недостаточно привлекательной.

Граф Роберт и его жена тоже были очень заинтересованы неким существом среди вновь прибывших. Говоря по правде, это был впервые увиденный ими в качестве выючного животного огромный, удивительный зверь, на котором приехали прекрасная Ирина и ее дочь. Ни величавая осанка и благородство императрицы, ни изящество и живость Анны не произвели на Бренгильду никакого впечатления, так она была поглощена расспросами о том, откуда происходит слон и для чего ему служат хобот, бивни и такие огромные уши.

Был среди присутствовавших человек, который хотя и не столь откровенно, но тем не менее очень внимательно рассматривал самое Бренгильду. Это был кесарь Никифор. Если он и отрывал глаза от франкской графини, то лишь для того, чтобы не привлечь внимания и не возбудить подозрений своей супруги и ее матери. Он-то и постарался возобновить разговор, так как затянувшееся молчание становилось уже тягостным.

— Вероятно, прекрасная графиня, — сказал он, — это твое первое посещение Царицы мира, и ты до сих пор никогда не видела поразительное животное, имеющее слоном?

— Прости меня, — ответила графиня, — но наш ученый хозяин уже показывал мне изображение этого чудесного существа и кое-что рассказал о нем.

Все, услышавшие эти слова, решили, что Бренгильда язвительно намекает на самого философа, которого при императорском дворе обычно называли Слоном.

— Никто не может описать его точнее, чем Агеласт, — сказала принцесса с тонкой улыбкой, которая тут же отразилась на лицах ее приближенных.

— Да, мне известно, как он послушен, попути и предан, — смиренно заметил философ.

— Правильно, добрый Агеласт, — сказала принцесса, — мы не должны плохо говорить о животном, которое преклоняет колени, чтобы мы могли взобраться на его спину. Прошу вас, дама из дальней страны, и ты, ее доблестный супруг, — обратилась

она к франкскому графу и особенно к графине. — Когда вы вернетесь на свою родину, вы сможете рассказать, что видели, как вкушают пищу члены императорской семьи, признающие тем самым, что, подобно остальным смертным, они слеплены из простой глины, испытывают низменные желания и удовлетворяют их низменным способом.

— В этом, благородная дама, я не сомневаюсь, — сказал граф Роберт. — Мое любопытство было бы куда более удовлетворено, если бы я увидел, как ест это странное животное.

— Тебе будет гораздо проще посмотреть, как ест Слон в своем собственном доме, — ответила принцесса, глянув в сторону Агеласта.

— Госпожа, — обратилась к ней Бренгильда, — мне бы не хотелось отказываться от приглашения, сделанного столь любезно, но мы и не заметили, что солнце уже почти село; нам пора возвращаться в город.

— Пусть вас это не страшит, — сказала принцесса, — вам будет предоставлена возможность возвращаться под охраной нашей императорской гвардии, которая защитит вас на обратном пути.

— Страх? Охрана? Защита? Я не знаю таких слов. Да будет тебе известно, благородная дама, что мой муж, вельможный граф Парижский — лучшая охрана для меня, и даже не будь его со мной, все равно Бренгильда Аспрамонтская никого не боится и сумеет сама защитить себя.

— Прекрасная дочь моя, — вмешался Агеласт, — да будет позволено мне сказать, что ты неправильно поняла милостивые слова царевны, которая обратилась к тебе, как обратилась бы к знатной даме своей родной страны. Царевна хочет узнать у тебя о наиболее примечательных обычаях и привычках франков, прекрасной представительницей которых ты являешься. А она, в благодарность за твой рассказ, с радостью предоставит тебе возможность познакомиться с огромной коллекцией животных, привезенных по приказу нашего императора Алексея со всех уголков обитаемого мира, дабы удовлетворить любознатель-

ность ученых, которым известны все земные твари, начиная от лани, столь маленькой, что даже обыкновенная крыса больше ее, и кончая огромным и необыкновенным обитателем Африки, способным обгладывать верхушки деревьев высотой в сорок футов, хотя задние ноги не составляют и половины его неслыханного роста.

— Этого достаточно! — с некоторым нетерпением воскликнула графиня, но Агеласта уже невозможно было остановить.

— Кроме того, — продолжал он, — там есть огромная ящерица из Египта, видом своим напоминающая безвредных обитателей болот в других странах; в этом чудовище тридцать футов длины, оно одето в непробиваемую чешую и, поймав жертву, плачет, подражая человеческому голосу, чтобы подманить новую добычу.

— Не рассказывай ничего больше, отец! — снова воскликнула графиня. — Мой Роберт, мы ведь пойдем туда, посмотрим на этих удивительных животных?

— Есть там еще, — продолжал Агеласт, увидев, что ему удастся добиться своей цели, раззадорив любопытство чужестранцев, — громадное животное, у которого спина покрыта неуязвимой броней, а на носу растет рог, а то и два; складки его шкуры настолько толсты, что ни одному рыцарю еще не удавалось ранить его.

— Мы пойдем туда, Роберт, правда, пойдем? — повторила графиня.

— Да, — ответил граф, — пойдем, чтобы эти жители Востока по одному-единственному удару моего верного Траншфера научились правильно судить о рыцарском мече.

— И кто знает, — добавила Бренгильда, — раз уж мы находимся в стране чудес, быть может, этот добрый меч неожиданно освободит от чар какого-нибудь человека, томящегося в чуждом ему обличье.

— Не говори больше ничего, отец! — воскликнул граф. — Мы последуем за этой принцессой, даже если вся ее стража, не вняв приказу охранять нас, попытается преградить нам путь. Ибо знайте все, кто

слушает меня сейчас, что такова натура франков: если им рассказывают об опасностях и трудностях, в них пробуждается желание пойти именно по той дороге, где таятся эти опасности, подобно тому как другие люди, ищущие удовольствия или выгоды, скорее всего свернут на тропинку, где смогут найти предмет своих вожделений.

Говоря это, граф похлопывал рукой по Трансферу, словно показывая, как в случае надобности он будет прокладывать себе путь. Придворные были даже слегка испуганы лязгом стали и сверкающим взором доблестного графа Роберта. Императрица, чтобы скрыть тревогу, предпочла войти в дом.

С благоволением, которое редко кому даровалось, кроме самых близких к императорской семье лиц, Анна Комнин подала руку высокородному графу.

— Я вижу, — сказала она, — что наша августейшая мать уже оказала честь дому почтенного Агеласта и показала нам дорогу, поэтому на мою долю выпало преподать вам наши греческие обычаи.

И она повела графа во внутренние покои.

— Не беспокойся за твою жену, — сказала она, заметив, что франк оглядывается. — Графиню поведет к столу наш супруг, который, как и мы, с удовольствием оказывает внимание чужестранцам. У нас не принято, чтобы императорская семья вкушала за одним столом с иноземцами, но, благодарение небу, оно научило нас той учтивости, которая не видит унижения в отказе от принятых правил ради того, чтобы оказать честь столь достойным людям, как вы. Я знаю, моя мать, несомненно, пожелает, чтобы вы без всяких церемоний заняли место за столом рядом с нами, и уверена, что, хотя подобная милость даруется очень редко, ее одобрил бы и мой венценосный отец.

— Пусть будет так, как вам угодно, — сказал граф Роберт. — На свете мало людей, которым я уступил бы место за столом, если только они не одержали победу надо мной в битве. Однако даме, и такой прекрасной, я охотно уступаю место и преклоняю

перед ней колено, где бы мне ни выпало счастье встретить ее.

Царевна Анна отнюдь не чувствовала себя смущенной тем, что ей приходится играть необычную и, с ее точки зрения, даже унижительную роль — вести к столу варварского вождя; напротив, она была польщена, что ей удалось одержать верх над столь непреклонным сердцем, как сердце графа Роберта, и, видимо, испытывала чувство удовлетворенной гордости, оказавшись на какое-то время под его покровительством.

Императрица Ирина уже села во главе стола. Не без удивления услышала она, что ее дочь и зять, заняв места справа и слева от нее, предложили графу и графине Парижским сесть рядом с ними; но она получила строжайшее распоряжение от своего супруга быть во всех случаях любезной с крестоносцами, поэтому решила не настаивать на соблюдении правил этикета.

Графиня заняла предложенное ей место рядом с кесарем, а граф, отказавшись возлечь по греческому обычаю, уселся по-европейски рядом с царевной.

— Я только тогда возлягу, — смеясь, сказал он, — когда меня собьют увесистым ударом, да и то постараюсь встать и ответить на него.

Началась трапеза; надо сознаться, что большинство присутствовавших отнеслось к ней как к занятию чрезвычайной важности. Зал, где происходило пиршество, заполнили придворные слуги, которые украшали стол, подавали блюда, убирали их, пробовали и, казалось, соперничали друг с другом, требуя у Агеласта различных пряностей, приправ, вина разных сортов; их заказы были так разнообразны и многочисленны, как будто они *ex proposito*¹ задались целью вывести философа из терпения. Однако Агеласт ухитрился предусмотреть большую часть этих — порою самых неожиданных — просьб и полностью или, во всяком случае, почти полностью удовлетворил их с помощью расторопного раба Диогена, на кото-

¹ Намеренно (лат.).

рого он в то же время сваливал вину, если в доме все же чего-нибудь не оказывалось.

— Пусть эта трапеза скромна и недостойна, но, да будут моими свидетелями Гомер, несравненный Виргилий и бесподобный Гораций, я отдал приказ этому трижды несчастному рабу приготовить все необходимые приправы, которые придают каждому блюду нужный вкус. Ах ты мерзкая падаль, да как же ты умудрился поставить маринованные огурчики так далеко от кабаньей головы? И почему так мало укропа вокруг этих превосходных морских угрей? А за то, что ты разлучил устрицы с хиосским вином, да еще когда у меня такие высокие гости, ты заслуживаешь того, чтобы твое тело разлучили с душой или по крайней мере заставили тебя до конца твоих дней работать на *pistrinum*.¹

Пока философ извергал, таким образом, угрозы, проклятия и брань по адресу своего раба, чужеземцам представлялась полная возможность сравнить этот поток домашнего красноречия, который нравы того времени отнюдь не считали признаком дурного воспитания, с гораздо более широким и шумным потоком лести, изливавшимся на гостей. Они смешивались, подобно маслу и уксусу, которыми Диоген, приправляя соуса. Таким образом, граф и графиня имели случай оценить счастливую участь, уготованную тем рабам, которых всемогущий Юпитер в своем безграничном сочувствии к их положению и в награду за добропорядочность отдал в прислужники к философам.

Участие франкской четы в пиршестве было столь недолгим, что это удивило не только хозяина, но и его высокопоставленных гостей. Граф, не глядя, взял что-то с блюда, оказавшегося рядом с ним, запил глотком вина, не поинтересовавшись даже, тот ли сорт, которым, по мнению греков, следовало запивать именно это кушанье, и объявил, что он сыт; даже любезные просьбы его соседки, Анны Комнин, не принудили его отведать другие яства ради их изысканно-

¹ Мукомольне (лат.).

сти или хотя бы из любопытства. Его супруга ела еще более умеренно и самые простые кушанья из тех, что стояли поблизости от нее, а затем выпила кубок чистой воды, слегка подкрашенной вином, да и то по настоянию кесаря. После этого супруги уже не принимали больше никакого участия в трапезе и, откинувшись в своих креслах, только наблюдали, какую дань отдают угощению остальные гости.

Любой съезд современных гурманов вряд ли мог бы сравниться с семьей императора Греции на этом пиру у философа как по части теоретического знания гастрономической науки во всех ее тонкостях, так и в смысле практического усердия и терпения, с которыми они отдавались этому делу. Правда, дамы ели не много, зато отведывали почти каждое кушанье, а их было неисчислимое множество. Однако вскоре, как говорил Гомер, неистовая жажда и голод были утолены, или, что вероятнее, Анне Комнин надоело то невнимание, с каким относился к ней ее сосед по столу, ибо мало найдется женщин, которых не затронуло бы пренебрежение мужчины, сочетающего в себе воинственность с редкой красотой. Нет такой новой одежды, которая не напоминала бы старую, утверждал наш отец Чосер; вот и попытки Анны Комнин завязать разговор с франкским графом напоминали усилия современной светской дамы втянуть в беседу щеголя, который с отсутствующим видом сидит возле нее.

— Для тебя играла музыка, — укоряла его царица, — но ты не пожелал танцевать! Мы пели для тебя веселый хор «Эвоз, эвоз», но ты не почтил ни Кома, ни Вакха! Должны ли мы считать тебя поклонником муз и Феба, к чьим слугам мы дерзаем причислить и себя?

— Прекрасная госпожа, — ответил граф, — пусть не обидят тебя мои прямые и решительные слова: я христианин, поэтому плюю на Аполлона, Вакха, Кома и все прочие языческие божества и бросаю им вызов.

— О, как ужасно ты истолковал мои неосторожные слова! — воскликнула царица. — Я всего-навсего назвала богов музыки, поэзии и красноречия, почита-

емых нашими замечательными философами, богов, чьи имена до сих пор употребляются для обозначения искусств и наук, которым они покровительствуют, а граф понял это буквально и решил, что я нарушаю вторую заповедь! Да спасет меня мать божья, надо быть осторожной в словах, когда их так неверно истолковывают.

Граф рассмеялся.

— Я не хотел нанести тебе обиду, госпожа, — сказал он, — и, уж во всяком случае, не собирался истолковывать твои слова иначе, как в самом невинном и похвальном смысле. Я полагаю, все, что ты говорила, было и хорошо и справедливо. Как я уразумел, ты одна из тех, кто, подобно нашему достойному хозяину, описывает происшествия и ратные дела этого воинственного времени и тем самым осведомляет грядущие поколения о храбрых подвигах, совершенных ныне. Я уважаю дело, которому ты посвятила себя, и не знаю, каким более достойным путем может женщина оставить по себе память в веках; разве что она, подобно моей жене Бренгильде, пожелает сама стать участницей тех событий, о которых рассказывает в своих писаниях. Между прочим, она смотрит на своего соседа по столу так, словно собирается встать и уйти; она склонна вернуться в Константинополь, а я, с твоего разрешения, не могу позволить ей удалиться одной.

— Вам обоим не следует этого делать, — сказала Анна Комнин, — ибо мы все сейчас отправимся в столицу, чтобы вы могли увидеть там чудеса природы, собранные в таком количестве благодаря щедрости моего венценосного отца... Если тебе кажется, что мой супруг чем-нибудь обидел графиню, то не думай, что это было преднамеренно; напротив, когда вы поближе познакомитесь с ним, вы обнаружите, что он добрый человек, один из тех прямодушных людей, которые бывают так неловки в своих любезностях, что те, к кому эти любезности обращены, часто понимают их превратно.

Однако графиня Парижская не пожелала вновь сесть за стол, и Агеласт вместе со своими царствен-

ными гостями оказались перед необходимостью решать, позволить ли чужестранцам удалиться — а этого хозяину явно не хотелось, задержать ли их силой, что, по всей вероятности, было бы нелегко и небезопасно, или, наконец, махнуть рукой на этикет и уехать всем вместе, стараясь при этом не уронить достоинства и делая вид, что они сами, а не их упрямые гости первыми пожелали покинуть дом философа. Среди сопровождающей охраны поднялась суматоха, воины и командиры спорили, шумели и кричали, ибо их оторвали от еды по крайней мере на два часа раньше, чем они рассчитывали, а такого случая не помнили даже самые пожилые из них. По взаимному согласию изменен был и порядок царского шествия.

Никифор Вриенний занял место на спине слона рядом со своей августейшей тещей. Агеласт верхом на смирной лошадке, позволявшей ему продолжать в свое удовольствие философские разглагольствования, ехал бок о бок с графиней Бренгильдой, обращая поток своего красноречия главным образом на нее. Прекрасная писательница, обычно путешествовавшая в паланкине, на этот раз предпочла ехать верхом на горячем коне, ибо это давало ей возможность держаться рядом с графом Робертом Парижским, на воображение, если не на чувства которого она, по-видимому, рассчитывала произвести неизгладимое впечатление. Разговор императрицы с ее зятем не содержал ничего примечательного. Он сводился к множеству критических замечаний по поводу манер и поведения франков и к горячим пожеланиям как можно скорее выдворить их за пределы Греции, с тем чтобы они никогда больше не возвращались. Во всяком случае, таковы были речи императрицы, а кесарь считал неуместным проявлять более терпимое отношение к чужеземцам. Что касается Агеласта, то он начал весьма издали, прежде чем подобрался к занимавшей его теме. Сперва он заговорил об императорском зверинце, где так великолепно представлен весь животный мир, потом стал превозносить тех придворных, которые поддерживали интерес Алексея Комнина к этому полезному и поучительному занятию. Но под конец

Агеласт восхвалял уже одного только Никифора Вриенния, которому, по словам философа, константинопольский зверинец обязан главными своими сокровищами.

— Я рада этому, — ответила высокомерная графиня, не подумав понизить голос или хоть чуточку изменить свою обычную манеру говорить. — Я рада, что он способен не только нашептывать глупости на ухо чужеземным молодым женщинам, но и делать полезные вещи. Поверь, если он будет давать волю своему языку с моими соплеменницами, которых наше беспокойное время может сюда забросить, то какая-нибудь из них обязательно сбросит его в водопад, шумящий внизу.

— Прости меня, прекрасная госпожа, — ответил Агеласт, — но нет такой женщины, которая решилась бы совершить столь жестокий поступок по отношению к такому красавцу, как кесарь Никифор Вриенний.

— Не будем спорить об этом, отец, — сказала оскорбленная графиня, — ибо, клянусь моей святой покровительницей, Владычицей сломанных копий, если бы не мое уважение к тем двум дамам, которые проявили добрые чувства к моему мужу и ко мне, этот самый Никифор наверняка оказался бы первым из цезарей со времен великого Юлия, который получил бы титул владыки сломанных костей.

После столь решительного заявления философ, несколько обеспокоившись за собственную свою особу, поторопился с обычной для него ловкостью переменить тему разговора и стал рассказывать историю Геро и Леандра, чтобы только заставить безжалостную амазонку забыть о нанесенной ей обиде.

Между тем графом Робертом Парижским полностью, так сказать, завладела прекрасная Анна Комнин. Она болтала на любые темы, на одни — с большим успехом, на другие — с меньшим, но на все — с одинаковой самоуверенностью; а наш добрый граф тем временем в глубине души искренне сожалел, что его спутница не спит беспробудным сном рядом с заколдованной царевной зюликийской. Она принялась без меры восхвалять норманнов, пока в конце концов

граф, который устал слушать ее болтовню о том, в чем она мало что понимала, не прервал ее.

— Госпожа, — сказал он, — меня и моих соратников называют норманнами, но это неверно; норманны пришли сюда многочисленной и самостоятельной армией пилигримов под началом герцога Роберта, человека храброго, но с причудами, безрассудного и слабого. Я отнюдь не собираюсь умалять их славу. Во времена наших отцов они завоевали Англию, королевство гораздо более сильное, чем их собственное. Я вижу, что вы держите у себя на службе людей, родившихся в этой стране, и называете их варягами. Хотя они и потерпели, как я уже сказал, поражение от норманнов, тем не менее варяги — храбрый народ, и мы не сочли бы для себя бесчестием встретиться с ними на поле боя. Мы же — доблестные франки, обитающие на восточных берегах Рейна и Заале и обращенные в христианскую веру прославленным Хлодвигом; мы столь многочисленны и храбры, что даже если вся Европа будет стоять в стороне, у нас хватит сил, чтобы отвоевать святую землю без чьей-либо помощи.

Поймать такую тщеславную особу, какой была царица, на вопиющей ошибке — причем как раз тогда, когда она искренно верила, что располагает полными и точными знаниями, — значило нанести очень болезненный удар по ее самолюбию.

— Лживый раб, который, видно, болтал, сам не ведая что, — сказала Анна, — вселил в меня уверенность, что варяги — исконные враги норманнов. Вот он шагает рядом с Ахиллом Татием, начальником гвардии. Эй, вы, позвать его сюда! Вот того высокого воина с алебардой на плече.

Хирвард, шагавший, согласно своему положению, впереди отряда, подошел к царице и отдал ей честь, но его лицо было сурово, так как в надменном всаднике, ехавшем бок о бок с Анной Комнин, он сразу распознал француза.

— Насколько я помню, любезный, — сказала Анна, — ты с месяц назад говорил мне, что норманны и франки — это один и тот же народ, враждебный племени, из которого ты производишь?

— Госпожа, — ответил Хирвард, — норманны — наши смертельные враги, изгнавшие нас из нашей родной страны. Франки — подданные того же государя, что и норманны, поэтому они не любят варягов, а варяги не любят их.

— Ты, приятель, — возразил французский граф, — худо говоришь о франках, а варягам приписываешь, хотя это и естественно с твоей стороны, слишком большое значение; напрасно ты полагаешь, что народ, который перестал существовать уже больше поколения назад, может вызвать у таких, как мы, симпатию или ненависть.

— Мне понятны, — сказал варяг, — и твоя гордость и твое чувство превосходства по отношению к тем, кто оказался менее удачлив в бою, чем вы. Господь бог волен повергать или возвышать, но мы считали бы себя счастливыми, если бы сотня наших могла встретиться на поле боя либо с угнетателями-норманнами, либо с их нынешними соотечественниками, тщеславными французами, и пусть бы всевышний рассудил, кто заслуживает победы.

— Ты дерзко пользуешься случаем, — сказал граф Парижский, — который дает тебе непредвиденную возможность бросить вызов благородному рыцарю.

— В том-то моя беда и мой позор, — ответил варяг, — что возможность эта неполная, что на мне цепи, которые сковывают меня и воспрепятствуют сказать тебе: убей меня, или я убью тебя прежде, чем мы разойдемся в разные стороны!

— Ну и дурная у тебя голова! — воскликнул граф. — Да разве ты имеешь право на честь принять смерть от моего меча? Ты рехнулся или столько хватил своего эля, что теперь болтаешь языком и сам себя не понимаешь.

— Хотя у вас и считается, что лгать позорно, тем не менее ты лжешь, — сказал варяг.

С быстротой молнии француз схватился за меч, но тут же отдернул руку и с достоинством заметил:

— Такой, как ты, не может оскорбить меня.

— Но ты, — ответил изгнанник, — оскорбил меня так, что это оскорбление может быть заглажено только смертью.

— Где и когда? — спросил граф. — Впрочем, бессмысленно задавать тебе вопрос, на который ты не можешь разумно ответить.

— Сегодня, — ответил варяг, — ты нанес смертельную обиду великому государю, которого твой сюзерен называет своим союзником и который принял тебя по всем обычаям гостеприимства. Ты потешался над императором, как на пирушке один мужик потешается над другим, и сделал это перед лицом его сановников и вельмож, на глазах рыцарей, съехавшихся со всех королевских дворов Европы.

— Если твой государь счел мой поступок оскорбительным, — возразил француз, — пусть бы он сам и возмущался.

— Это не в обычаях его страны, — ответил Хирвард. — А кроме того, мы, варяги, присягнувшие императору на верность, считаем своим долгом защищать его, пока служим ему, защищать каждую крупицу его чести так же, как каждую пядь его владений. Поэтому я и говорю тебе, господин рыцарь, господин граф, или как ты там себя называешь, что между тобой и варяжской гвардией вражда не на жизнь, а на смерть, и она будет длиться до тех пор, пока ты не решишь ее в честном и справедливом бою, один на один с любым из императорских варягов, когда представится возможность и позволит нам наша служба. И да поможет бог правому!

Разговор этот происходил на французском языке, поэтому придворные, находившиеся поблизости, не поняли его; царевна, с некоторым удивлением ожидавшая, когда же крестоносец и варяг кончат беседу, не без любопытства спросила графа:

— Ты, насколько я понимаю, считаешь, что этот бедняга занимает слишком низкое положение, чтобы тебе снизойти до рыцарского поединка с ним?

— На этот вопрос, — сказал рыцарь, — я не могу ответить даме, если только она, подобно моей Брен-

гильде, не закована в латы, не носит меча и не обладает сердцем рыцаря.

— А если предположить, — настаивала царица, — что я имею все права на твоё доверие, как бы ты ответил мне?

— У меня нет особых причин отмалчиваться, — сказал граф. — Варяг — воин храбрый и сильный, отвергнуть его вызов — значило бы нарушить мой обет, поэтому я, вероятно, приму его, хотя и унижу этим свой сан; но во всем мире ты не найдешь никого, кто осмелился бы сказать, что Роберт Парижский отказался сразиться со смертным. Через одного из храбрых начальников императорской гвардии этот бедняга, обуреваемый столь странным честолюбием, узнает, что его желание будет удовлетворено.

— И тогда? — спросила Анна Комнин.

— Что ж, — ответил граф, — тогда, как сказал варяг, пусть господь поможет правому.

— Значит, если в гвардии моего отца найдется военачальник, достаточно высокородный для этого благочестивого и разумного дела, император должен потерять или союзника, в чью преданность он верит, или самого доверенного и преданного воина из своей личной охраны, который отличился во многих делах?

— Я счастлив услышать, — сказал граф, — что этот варяг обладает такими достоинствами. Должна же на чем-то основываться его самонадеянность! Чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к выводу, что не только не унижительно, но, напротив, великодушно даровать несчастному изгнаннику, человеку столь возвышенных и благородных помыслов, эту привилегию людей родовитых, среди которых, к несчастью, встречаются трусы, не желающие, несмотря на свое высокое положение, ею воспользоваться. Но ты не печалься, благородная принцесса, вызов еще не принят, а если и будет принят, то все в руках божьих. Что касается меня, человека, чье ремесло — война, то мысль о предстоящем и очень серьезном поединке с бесстрашным воином удержит меня от менее почетных стычек, в которые я могу ввязаться просто от безделья.

Царевна не стала больше говорить на эту тему, но про себя решила отдать тайное распоряжение Ахиллу Татию и, таким образом, предотвратить поединок, который мог оказаться роковым для одного из храбрцев.

Тем временем глазам путников открылась темная громада города; он был уже окутан мглой, пронизанной множеством огней, светящихся в домах жителей. Царский кортеж проследовал к Золотым воротам, где верный центурион выстроил всю стражу для торжественной встречи.

— Здесь мы покинем вас, прекрасные дамы, — сказал граф, когда все спешили у малых ворот Влахернского дворца, — и попытаемся найти помещение, где мы провели прошлую ночь.

— С вашего разрешения, нет, — возразила императрица. — Вы должны отужинать и отдохнуть в покоях, более соответствующих вашему положению; вам поможет устроиться на ночь кто-нибудь из ваших сегодняшних спутников — членов императорской семьи.

Граф выслушал это гостеприимное предложение и сразу склонился к тому, чтобы принять его. Он был глубоко предан Бренгильде, и ему в голову не приходила мысль предпочесть кого-нибудь своей красавице жене, однако он, естественно, был польщен вниманием столь прелестной и знатной женщины, как Анна Комнин; не пропали зря и похвалы, которыми она его осыпала. Ему уже не хотелось, как утром, обидеть императора и оскорбить его достоинство; смягченный искусной лестью, которой философ научился из книг, а прекрасной царевне и учиться не надо было, ибо умение льстить было у нее в крови, граф Роберт принял приглашение императрицы, тем более что наступившая темнота помешала ему разглядеть тень неудовольствия на лице Бренгильды. Какова бы ни была причина этого недовольства, она постаралась скрыть его, и супруги вступили в лабиринт покоев, где недавно блуждал Хирвард. Не успели они сделать несколько шагов, как прислужник и прислужница, оба богато одетые, склонили перед ними колени и предложили свою помощь и помещение, где супруги

могли бы привести себя в порядок, прежде чем предстать перед императором. Бренгильда посмотрела на свой наряд и оружие, забрызганное кровью дерзкого скифа, и хотя презирала женскую суетность, все же ей стало стыдно за то, что она так небрежно и неподобающе одета. Окровавленные доспехи графа тоже были в неподобающем виде.

— Скажи моей прислужнице Агате, что мне нужна ее помощь, — попросила графиня. — Она одна умеет снимать с меня доспехи и одевать меня.

«Слава богу, — подумала гречанка, — что не я должна заниматься этим туалетом, для которого самыми подходящими инструментами будут клещи и кузнечный молот».

— Скажи Марсиану, моему оруженосцу, — приказал граф, — чтобы он принес мне стальную с серебром кольчугу, которую я на пари выиграл у графа Тулузского.¹

— Могу ли я иметь честь привести в порядок твои доспехи? — обратился к нему богато одетый придворный слуга, судя по некоторым признакам — оружейный мастер. — Я это делаю даже для самого императора, да святится его имя.

— А сколько заклепок поставил ты в своей жизни вот этими руками, — спросил граф, схватив его руку, — которые выглядят так словно их моют только молоком и розовой водой? И чем ты работаешь? Вот этой детской игрушкой? — Он указал на серебряный молоток с рукояткой из слоновой кости, заткнутый за фартучек из молочно-белой козьей шкуры, который грек носил в качестве символа своего ремесла.

Оружейник в смнении отшатнулся.

— Он схватил мою руку — словно тисками сжал, — рассказывал он потом другому придворному слуге.

¹ Раймонд, граф Тулузский и Сен-Жиль, герцог Карбонский, маркиз Прованский, старый воин, отличившийся в боях с сарацинами в Испании, был главным вождем крестоносцев с юга Франции. Его титул Сен-Жиль искажен Анной Комнин и переделан ею в Санглес; под этим именем она постоянно упоминает его в «Алексиаде». (Прим. автора.)

Пока происходила эта маленькая сцена, императрица Ирина, ее дочь и зять удалились под тем предлогом, что им необходимо переодеться. Сразу после их ухода Агеласт потребовали к императору, а чужеземцев проводили в два роскошно убранных смежных покоя, предоставленных им и сопровождающим их людям. Покинем их здесь на некоторое время, пока они с помощью своих приближенных надевают наряды, подобающие, по их представлениям, столь важному случаю; служители греческого двора охотно уклонились от участия в этом деле, которое казалось им не менее опасным, чем, скажем, кормление королевского тигра и его подруги в их логове.

Агеласт застал императора в тот момент, когда он тщательно выбирал роскошное одеяние для этого вечера, ибо, как и при пекинском дворе, смена парадного туалета была в Константинополе одним из важнейших обрядов.

— Ты хорошо все устроил, мудрый Агеласт, — сказал Алексей философу, когда тот приблизился к нему после многочисленных поклонов и коленопреклонений, — ты хорошо все устроил, и мы тобой довольны. Без твоей хитрости и ловкости нам не удалось бы отбить от стада этого неприрученного быка и эту не знающую ярма телку, с помощью которых, если мы подчиним их своей воле, нам, без всякого сомнения, удастся оказывать влияние на тех, кто считает их храбрейшими среди всего войска.

— Моего скромного ума, — ответил Агеласт, — не хватило бы на то, чтобы воплотить в жизнь столь тонкий и хорошо задуманный план, если бы он не был намечен и предложен несравненной мудростью твоего святейшего императорского величества.

— Мы знаем, — сказал Алексей, — что мысль задержать этих людей с их согласия в качестве союзников или силой как заложников принадлежит нам. Их друзья заметят их отсутствие, только когда уже столкнутся с турками, а тогда они будут не в состоянии напасть на Священную империю, даже если

дьявол внушит им подобное намерение. Таким образом, Агеласт, у нас будут заложники не менее важные и ценные, чем этот граф Вермандуа, которого страшный Готфрид Бульонский вырвал у нас, угрожая тут же начать войну.

— Да простится мне, — сказал Агеласт, — если я осмелюсь присовокупить еще одно соображение к тем, которые столь счастливо подкрепляют твоё высокое решение. Вполне возможно, что, соблюдая величайшую осторожность и деликатность по отношению к этим чужеземцам, мы действительно сможем привлечь их на нашу сторону.

— Понимаю твою мысль, понимаю, — сказал император, — и сегодня же вечером предстану перед этим графом и его дамой в парадном покое, одетый в самые богатые наряды, какие только есть в нашем гардеробе. Львы царя Соломона будут рычать, золотое дерево Комнина покажет свои чудеса, и слабые глаза франков будут ослеплены великолепием империи. Это зрелище не может не запасть им в душу; более того — оно должно превратить их в союзников и слуг страны, которая настолько могущественнее, цивилизованнее и богаче их собственной... Ты хочешь что-то сказать, Агеласт? Годы и многолетние занятия философией умудрили тебя, и хотя мы уже высказали наше мнение, ты можешь высказать своё, не боясь расстаться с жизнью.

Трижды три раза коснулся Агеласт лбом края императорского одеяния; было видно, что он волнуется, стараясь найти слова, которые выразили бы его несогласие с мнением государя, и в то же время не звучали бы прямым и нарушающим этикет противоречием этому мнению.

— Святые слова, в которых твоё святейшее величество изволил изложить столь справедливое и правильное мнение, неоспоримы и не могут быть опровергнуты, даже если бы нашелся самонадеянный безумец, попытавшийся не согласиться с ними. И тем не менее да позволено будет мне сказать, самые разумные доводы не убедят того, кто лишен здравого смысла. Расточать их — это все равно, что показывать

слепому яркую картину или, как говорится в святом писании, метать бисер перед свиньями. Дело тут не в правильности твоих святейших рассуждений, а в тупости и упрямстве варваров, к которым ты обращаешься.

— Говори яснее, — приказал император. — Сколько раз нам повторять тебе, что в тех случаях, когда твой совет действительно нужен, мы умеем жертвовать церемониями?

— Ну что ж, говоря прямо, — ответил Агеласт, — эти европейские варвары несколько не похожи на другие народы и тогда, когда им страстно чего-нибудь хочется, и когда они к чему-нибудь равнодушны. Если сокровища этой великой империи покажутся им привлекательными, они тотчас же пожелают напасть на обладающую такими богатствами державу, самонадеянно считая, что она менее способна защищаться, чем они — нападать. К таким людям относится, например, Боэмунд Тарентский, да и многие другие крестоносцы, менее проникательные и умные, чем он, ибо, я думаю, мне нет нужды говорить твоему императорскому величеству, что в этой необыкновенной войне все его поведение продиктовано только личными интересами, и поэтому, если ты будешь знать, куда именно влекут Боэмунда жадность и себялюбие, ты сможешь определить, как он будет себя вести. Но среди франков есть люди совсем иного склада, и влиять на них надо совершенно другими способами, если мы хотим управлять их поступками. Да будет мне позволено вспомнить сейчас искусного фокусника при твоём дворе, который на глазах у зрителей мошенничает и плутует, но проделывает это так ловко, что никто ничего не замечает. Эти люди — я говорю о крестоносцах с возвышенным образом мыслей, которые живут согласно так называемой рыцарской чести, — так вот, они презируют и погоню за золотом, да и самое золото тоже, считая его бесполезным, презренным металлом, годным только на то, чтобы украшать им рукояти мечей или обменивать его на какие-нибудь товары. Человека, который гонится за наживой, они осуждают, смотрят на него сверху вниз, прирав-

нивают его к жалкому крепостному рабу, бредущему за плугом или копающему землю. А уж если им действительно понадобится золото, они без всяких церемоний возьмут его там, где найдут. Таким образом, их одинаково трудно укротить, и давая им золото и отказывая в том, в чем они сегодня нуждаются. В первом случае они не придадут никакой цены этой ничтожной желтой ржавчине, во втором — возьмут сами то, что им нужно.

— Желтая ржавчина! — прервал его Алексей. — Неужели они так оскорбительно называют этот благородный металл, в равной мере почитаемый римлянином и варваром, богачом и бедняком, вельможей и плебеем, священнослужителем и мирянином, металл, ради которого все человечество сражается, злоумышляет, интригует, устраивает заговоры, обрекает на проклятие душу и тело? Желтая ржавчина? Они безумцы, Агеласт, просто безумцы! И если эти люди не подвержены страсти, движущей всем человечеством, значит, на них нужно действовать только такими аргументами, как опасности, тяжкие испытания, кары.

— Нет, государь, — сказал Агеласт, — они так же не подвержены страху, как и корысти. Они с детства воспитаны в презрении к страстям, владеющим обычными людьми, будь то алчность, толкающая к наживе, или страх, удерживающий на месте. Соблазнительные для всех других приманки только тогда привлекают этих людей, когда они приправлены острым соусом смертельной опасности. Я, например, рассказал этому герою предание о прекрасной, как ангел, царевне зюликийской, которая спит заколдованным сном, ожидая предназначенного ей судьбою рыцаря, который разрушит чары и в награду получит царевну, королевство зюликийское и все ее несметные богатства. Так поверишь ли ты мне, государь, я с трудом заставил нашего доблестного воина выслушать мою легенду, и заинтересовался он ею только тогда, когда я убедил его, что ему предстоит сразиться в замке с крылатым драконом, по сравнению с которым самый большой дракон из франкских рыцарских романов — просто стрекоза.

— И это подействовало на храбреца? — спросил император.

— Настолько, — ответил философ, — что если бы я, к несчастью, убедительностью своего рассказа не разбудил ревность у его графини Пентесилеи, он забыл бы о крестовом походе и обо всем, что с ним связано, ради того, чтобы отправиться на поиски острова Зюликия и его спящей правительницы.

— Но ведь у нас в империи сказочников без счета, — сказал император, — и мы должны воспользоваться этим преимуществом: они отнюдь не обладают присущим франкам благородным презрением к золоту — за горсть монет они обведут вокруг пальца самого дьявола и одержат над ним победу, а мы, таким образом, сможем, как говорят моряки, обойти франков с наветренной стороны.

— Здесь требуется, — сказал Агеласт, — величайшая осмотрительность. Простая ложь — это не такая уж хитрая штука, это всего лишь легкое отклонение от истины, почти то же самое, что потеря цели при стрельбе из лука, когда весь горизонт, за исключением одной точки, прекрасно виден стрелку; а вот для того, чтобы управлять поступками франка, нужно отлично знать его характер и нрав, необходимы огромная осторожность, присутствие духа, умение вовремя и искусно менять тему разговора. Не будь я настороже, я поплатился бы за ложный шаг, служа твоему величеству, — эта сварливая дама обиделась на что-то и чуть было не утопила меня в моем собственном водопаде.

— Настоящая Фалестрис! — воскликнул император. — Придется быть с ней настороже.

— Если дозволено мне говорить, не расставаясь с жизнью, — сказал Агеласт, — кесарю Никифору Вриеннию тоже следует быть осторожнее.

— Это уж пусть Никифор решает вместе с нашей дочерью, — заметил император. — Я всегда говорил ей, что она просто закармливает его своим сочинением, а ей, чтобы развлечь его, следовало бы ограничиться двумя-тремя страницами. Тут мы судим по нашему собственному опыту: ведь даже святой вышел бы из терпенья, если бы его заставили слушать это

из вечера в вечер! Но забудь, добрый Агеласт, мои слова, а главное, не вздумай вспоминать о них в присутствии нашей августейшей супруги и дочери.

— Вольности, которые позволил себе кесарь, не выходили за рамки невинного ухаживания, — сказал Агеласт, — но, как я уже говорил, графиня — опасная женщина. Сегодня она убила скифа Токсартиса эдаким легким щелчком по голове.

— Ого! — воскликнул император. — Я знал этого Токсартиса; он был наглый и бессовестный грабитель и, надо полагать, заслужил такую смерть. Ты, однако, запиши, как это произошло, имена свидетелей и все прочее, чтобы мы могли, если понадобится, изобразить крестоносцам этот случай как пример насилию со стороны графа и графини Парижских.

— Я уверен, — сказал Агеласт, — что ты, государь, не упустишь драгоценной возможности привлечь под свои знамена людей, которые прославились рыцарскими доблестями. Тебе это обойдется совсем недорого — достаточно даровать им какой-нибудь греческий остров, который стоит в сто раз больше, чем их жалкие парижские владения; а если при этом ты объяснишь, что сперва они должны изгнать с острова неверных или мятежников, временно его захвативших, им такое предложение еще больше понравится. Мне нет надобности повторять, что все знания, мудрость и ловкость ничтожного Агеласта в распоряжении твоего императорского величества.

Император помолчал и затем произнес, словно придя к какому-то решению:

— Достойный Агеласт, я действительно доверяю тебе это трудное и даже опасное дело, но я все же собираюсь показать им львов Соломона и золотое дерево нашего императорского дворца.

— Против этого нечего возразить, — ответил философ, — только пусть будет поменьше стражи, ибо эти франки похожи на горячих коней: когда они спокойны, то слушаются и шелковой уздечки, но если им что-нибудь не нравится или кажется подозрительным — скажем, вокруг слишком много вооруженных людей — их не удержит и стальная узда.

— Я буду осторожен и в этом случае и во всех остальных, — сказал император. — А теперь позвони в серебряный колокольчик, пусть слуги оденут меня.

— Еще одно слово, пока мы здесь одни, — сказал Агеласт. — Не соблаговолит ли твое императорское величество поручить мне управление твоим зверинцем, этой коллекцией необычайных существ?

— Зачем, хотел бы я знать? — спросил император, доставая печать с изображением льва и надписью: «*Vicit Leo ex tribu Judae*». ¹ — Вот, возьми, это даст тебе право распоряжаться зверинцем. А теперь будь хоть раз откровенен со своим повелителем — ибо ты лжешь, даже когда говоришь со мной, — поведай мне, какими чарами собираешься ты подчинить себе этих необузданных дикарей?

— Силой обмана, — с глубоким поклоном ответил Агеласт.

— Да, в этом деле ты знаток, — сказал император. — На каких же слабостях этих людей ты собираешься играть?

— На их любви к славе, — ответил философ и, пятась, вышел из царского покоя в то время, как туда входили слуги, чтобы облачить императора в парадные одеяния.

Глава XIV

Уж лучше с меднолобыми глупцами,
С мальчишками мне говорить, чем
с теми,

Кто осторожно на меня глядит.
Стал боязлив надменный Бакингом.

«Ричард III»²

Расставшись, император и философ отдались беспокойным мыслям по поводу только что закончившегося разговора. Мысли свои они выражали отрывочными фразами и восклицаниями, но мы из-

¹ Победил Лев из колена Иуды (лат.).

² Перевод А. Радловой.

ложим их более связно, чтобы читателю стала ясна степень взаимного уважения этих двух людей.

— Так, так, — бормотал Алексей чуть слышно, чтобы его не поняли одевавшие его слуги, — так, так, этот книжный червь, этот осколок старой, языческой философии, который вряд ли верит — да простит мне бог! — в истину христианства, столь искусно играет свою роль, что сам император принужден лицемерить в его присутствии. Начал он при дворе как шут, а потом проник во все дворцовые тайны, стал во главе всех интриг, составил вместе с моим зятем заговор против меня, совратил мою гвардию и сплел такую паутину предательства, что моя жизнь в безопасности только до тех пор, пока он верит, будто на императорском троне и вправду сидит такой болван, каким я прикидываюсь, чтобы обмануть его; счастье еще, что мне удастся этим способом усыпить его подозрения насчет моего недовольства им и тем самым отсрочить прямое насилие с его стороны. Но когда пронесется мимо этот неожиданно налетевший шквал крестового похода, неблагодарный кесарь, хвастливый трус Ахилл Татий и пригретая на моей груди змея Агеласт узнают, был ли Алексей Комнин игрушкой в их руках. Если грек сталкивается с греком, здесь уже дело идет не только о том, кто сильнее, но и о том, кто хитрее.

С этими словами император отдал себя в руки слуг, которые принялись облачать его соответственно торжественности события.

— Я ему не доверяю, — говорил себе Агеласт, чьи жесты и восклицания мы также передаем связным языком. — Я не могу ему доверять и не доверяю — он в чем-то переигрывает. До сих пор он во всех своих поступках проявлял ум, свойственный семье Комнинов, а теперь рассчитывает на эффект, который могут произвести его игрушечные львы на таких проницательных людей, как франки и норманны, и притворяется, что доверяет моему суждению о людях, с которыми он, а не я в течение стольких лет и воевал и поддерживал мирные отношения. Он это делает только для того, чтобы завоевать мое доверие, ибо при

этом я подмечал косые взгляды и улавливал отрывистые восклицания, которые как бы говорили: «Агеласт, император тебя знает и не верит тебе». Однако заговор, насколько можно судить, развивается успешно и не раскрыт, и, если я попытаюсь отступить, я погибну. Еще некоторое время надо протянуть интригу с франком, а при первой возможности с помощью этого храбреца заставить Алексея сменить корону на монашескую келью или на еще более тесную обитель. И тогда, Агеласт, тогда пусть тебя вычеркнут из числа философов, если ты не сумеешь сбросить с трона этого самодовольного и расточительного кесаря и не станешь царствовать вместо него, подобно второму Марку Антонию, пока мудрость твоего правления, непривычная для империи, у кормила которого давно стоят тираны и сластолюбцы, не изгладит воспоминания о том, каким путем ты захватил власть. За работу, Агеласт, будь деятелен и осторожен. Время требует этого, и приз стоит того, чтобы за него бороться.

Размышляя таким образом, Агеласт с помощью Диогена облачился в чистую и простую одежду, в которой всегда появлялся при дворе, столь мало подобающую претенденту на престол и столь отличную от роскошного облачения Алексея.

Между тем граф Парижский и его супруга в ответвленных для них покаях надевали лучшие наряды, какие они на всякий случай захватили с собой в это путешествие. Даже во Франции Роберта редко видели в шляпе, украшенной длинными перьями, и широком плаще с развевающимися полами — обычном одеянии рыцарей в промежутках между войнами. Сейчас он был закован в великолепные доспехи, и только голова с волнистыми кудрями оставалась непокрытой. Латы были богато отделаны серебром, которое выгодно оттеняло отливавшую синим дамасскую сталь. На ногах были шпоры, сбоку меч, на груди висел треугольный щит с *fleurs-de-lys semées*,¹ прародительницами тех лилий, которые, уменьшившись потом в числе до трех,

¹ Разбросанными по нему цветами лилий (франц.).

заставляли трепетать всю Европу, пока в наше время на них не обрушилось столько превратностей судьбы.

Огромный рост графа Роберта как нельзя лучше соответствовал его одеянию, которое людей невысоких превращало в карликов и толстяков. Лицо графа, суровое и замкнутое, выражавшее благородное презрение ко всему, что могло поразить и потрясти обычного человека, прекрасно гармонировало с его сильной, безукоризненно сложенной фигурой. Графиня была одета менее воинственно, однако ее платье, недлинное и удобное, было рассчитано на то, чтобы в случае необходимости не стеснять движений. Верхняя часть ее одеяния состояла из нескольких облегающих туник; юбка, достигавшая лодыжек, богато и со вкусом расшитая, довершала наряд, который мог бы украсить современную даму. Ее локоны покрывал легкий стальной шлем, однако отдельные пряди выбивались из-под него и окаймляли лицо, смягчая красоту, которая иначе могла бы показаться слишком строгой. Поверх платья был накинут великолепный темно-зеленый бархатный плащ с капюшоном, щедро отделанный кружевом по краям и швам и такой длинный, что волочился по полу. С пояса, изящно затканного золотом, свешивался богато украшенный кинжал — единственное оружие, которое эта воинственная женщина на сей раз взяла с собой.

Графиня гораздо дольше занималась туалетом, как сказали бы мы сейчас, чем граф, который, подобно мужьям всех эпох, отпускал тем временем полухитрые-полуворчливые замечания по поводу медлительности женщин, попусту тратящих на одевание драгоценные часы. Но когда графиня Бренгильда появилась из внутреннего покоя, где она наряжалась, во всем блеске своего очарования, супруг, по-прежнему влюбленный в нее, прижал ее к груди и, пользуясь своими привилегиями, поцеловал красавицу жену. Бренгильда попрекнула его за легкомыслие, однако вернула ему поцелуй, после чего начала раздумывать, как они найдут дорогу в тот покой, где их ждал император.

Но ей недолго пришлось ломать себе голову над этим вопросом: раздался легкий стук в дверь, и на пороге появился Агеласт, которому император поручил провести церемонию представления благородных чужеземцев, ибо считалось, что он лучше других знает обычаи франков. Далекий звук, напоминавший рыканье льва или глухой удар современного гонга, возвестил о начале церемонии. Черные рабы, составлявшие немногочисленную, как уже упоминалось, стражу, стояли, одетые в парадные белые с золотом одежды, держа в одной руке обнаженные сабли, а в другой факелы из белого воска, освещавшие дорогу графу и графине по переходам, которые вели в тайный приемный зал.

Дверь в эту «*sanctum sanctorum*»¹ была ниже обычной — хитрость, изобретенная каким-то приверженным правилам царедворцем для того, чтобы заставить франка с его высоким шлемом наклониться, являясь перед очами императора. Когда она распахнулась и в глубине зала Роберт увидел императора, сидящего на троне и озаренного светом, который преломлялся в драгоценных камнях на его одеянии, сверкавших миллионами искр, он резко остановился и потребовал, чтобы ему объяснили, почему он должен проходить под столь низкими сводами. Агеласт только сделал жест в сторону императора, отводя тем самым вопрос, на который он не мог ответить, а немой слуга, словно прося прощения за свое молчание, открыл рот и показал, что у него нет языка.

— Святая дева! — воскликнула графиня. — Что же совершили эти несчастные сыны Африки, чтобы заслужить наказание, повлекшее за собой столь страшную судьбу?

— Сейчас, надо полагать, они будут отомщены, — произнес граф раздраженным тоном, в то время как Агеласт с поспешностью, приличествующей времени и месту, прошел в дверь с поклонами и коленопреклонениями, не сомневаясь, что франк последует за ним

¹ Святая святых (лат.).

и, таким образом, должен будет склониться перед императором. Однако граф, сильно рассерженный, ибо он догадывался, что эта история с дверью отнюдь не случайна, круто повернулся и вошел в зал спиной; лицом к императору он оборотился, лишь дойдя до середины зала, где к нему присоединилась графиня, вошедшая более пристойным образом. Алексей, приготовившийся самым любезным образом ответить на предполагаемое приветствие графа, оказался в еще более неудобном положении, чем днем, когда непреклонный франк уселся на императорский трон.

Вокруг стояли военачальники и вельможи, и, хотя здесь были только самые избранные, все же их собралось больше, чем обычно, ибо это был не совет, а прием. Все они изобразили на лицах смешанное чувство неудовольствия и смущения, которое должно было наилучшим образом соответствовать смятению Алексея. Хитрое же лицо полуитальянца-полунорманна Бозмунда Тарентского выражало неслыханное ликование и насмешку.

Несчастье тех, кто слаб или, быть может, робок, заключается в том, что в подобных случаях они вынуждены бывают изо всех сил жмуриться, словно не в состоянии глядеть на то, за что не могут отомстить. Алексей подал знак немедленно начать церемонию большого приема. В ту же секунду львы Соломона, которые были перед этим подновлены, подняли головы, стали трясти гривами и махать хвостами. И тут граф Роберт вышел из себя. Он с самого начала был рассержен обстановкой приема, а теперь счел рычание этих хитрых машин сигналом к нападению. Он не знал, да и не хотел знать, были ли эти львы, на которых он сейчас смотрел, действительно царями лесов, или людьми, превращенными в животных, механизмами, сделанными искусным фокусником, или чучелами — детищами премудрого натуралиста. У него была только одна мысль: эта опасность достойна его храбрости. Ни минуты не колеблясь, он подскочил к ближайшему льву, который словно приготовился к прыжку, и громовой его окрик прозвучал не менее грозно, чем рыкание зверя:

— Берегись, собака!

В ту же секунду он ударил кулаком в стальной перчатке по голове зверя с такой силой, что она разлетелась вдребезги, а на ступеньки трона и ковер посыпались колесики, пружины и другие части механизма, приводившие в действие это игрушечное страшилище.

Глядя на то, что вызвало в нем такую ярость, граф Роберт не мог не устыдиться своей вспышки. Еще более смутился он, когда Боэмунд, стоявший возле императора, подошел к нему и сказал на языке франков:

— Граф Роберт, ты совершил поистине храброе деяние, освободив византийский двор от чудовища, которым издавна пугали непослушных детей и непокорных варваров!

Ничего нет убийственнее для любого иступленного порыва, чем насмешка.

— Зачем же тогда, — сказал граф Роберт, густо покраснев, — они показали мне эти свои пугала? Я не ребенок и не варвар.

— В таком случае обратиться как положено разумному человеку к императору, — сказал Боэмунд. — Скажи ему что-нибудь в извинение своего поступка, пусть он увидит, что наше самообладание еще не окончательно улетучилось вместе со здравым смыслом. И послушай меня, пока я могу что-то сказать тебе: и ты и твоя супруга должны точно следовать моему примеру за ужином!

Эти слова, сказанные многозначительным тоном, сопровождались взглядом не менее многозначительным.

Боэмунд столько лет общался с греческим императором в мирное и в военное время, что мнение его пользовалось большим весом среди других крестоносцев; последовал его совету и граф Роберт. Он повернулся к императору и даже отвесил ему нечто вроде поклона.

— Прошу простить меня, — сказал он, — за то, что я сломал твою позолоченную игрушку; но поистине,

эта страна так изобилует всякими чудесами магии и устрашающими изделиями искусных фокусников, что трудно отличить правду от лжи и обыденное от сверхъестественного.

Император, несмотря на хладнокровие, всегда отличавшее его, и мужество, в котором не могли ему отказать его соотечественники, принял эти извинения несколько растерянно. Печальную вежливость, с которой он выслушал извинения графа, правильное всего было бы сравнить с вежливостью современной дамы, когда неловкий гость разбивает дорогую чашку из китайского фарфора. Он пробормотал что-то насчет этих механизмов, издавна хранившихся в императорской семье и сделанных по образцу львов, некогда стоявших на страже трона мудрого царя израильского. На это граф со свойственной ему грубоватой простотой сказал, что вряд ли мудрейший из правителей мира снизошел бы до того, чтобы пугать своих подданных или гостей поддельным рычанием деревянных львов.

— Впрочем, — добавил он, — я уже достаточно наказан за то, что слишком поспешно принял это пугало за живое существо, ибо повредил отличную стальную перчатку о его деревянный череп.

После недолгого разговора, главным образом на ту же тему, император предложил перейти в пиршественный зал. Предводительствуемые мажордомом, франкские гости в сопровождении всех, кто присутствовал на приеме, за исключением императора и членов его семьи, проследовали через лабиринт покоев, каждый из которых был заполнен чудесами природы и искусства — для того, видимо, чтобы окончательно убедить чужеземцев в богатстве и величии императора, собравшего столько удивительных вещей. Процессия двигалась с умышленной медлительностью, чтобы дать время Алексею переменить облачение, ибо этикет не разрешал ему появляться дважды перед зрителями в одних и тех же одеждах. Он воспользовался этим и вызвал к себе Агеласта, а для того, чтобы беседа их осталась тайной, приказал переодевать себя немым рабам.

Алексей Комнин сильно гневался, хотя монарший сан приучил его скрывать свои чувства от подданных и делать вид, что он выше тех человеческих страстей, которые в действительности были ему присущи. Поэтому он торжественно и даже недовольно спросил:

— По чьей недопустимой оплошности этот коварный полуитальянец-полунорманн Боэмунд был допущен на прием? Поистине, если есть в армии крестоносцев человек, способный открыть глаза молодому глупцу и его жене на то, что скрывается за пышной внешностью, которая, как мы надеялись, должна была произвести на них впечатление, то именно граф Тарентский, как он себя величает.

— Если мне дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, — сказал Агеласт, — на его присутствии особенно настаивал старый Михаил Кантакузин. Но граф Боэмунд сегодня же ночью возвращается в свой лагерь.

— Вот именно, — возразил Алексей, — возвращается, чтобы сообщить Готфриду и остальным крестоносцам, что один из самых храбрых и почитаемых рыцарей вместе со своей женой задержаны в качестве заложников в нашей императорской столице. После этого они могут поставить нас перед угрозой немедленной войны, если мы не освободим этих людей.

— Если ты так считаешь, государь, — сказал Агеласт, — ты можешь отпустить графа Роберта и его жену: пусть вернутся в лагерь вместе с италонорманном.

— Вот как? — воскликнул император. — И отказаться от всех выгод этой затеи, подготовка к которой потребовала от нас стольких затрат и, будь наше сердце подобно сердцу прочих смертных, стоила бы бесчисленных тревог и волнений? Нет, нет, надо немедленно сообщить крестоносцам, которые еще находятся на этом берегу, что принесение присяги отменяется и что завтра на рассвете они должны собраться на берегу Босфора. Пусть флотоводец, если ему дорога жизнь, к полудню переправит всех кресто-

носцев до единого на тот берег. И пусть устроит там роскошное угощение, пусть ничего не жалеет, чтобы им не терпелось перебраться туда. И тогда, Агеласт, мы, надо надеяться, справимся с этой новой опасностью, либо подкупив продажного Боэмунда, либо бросив вызов крестоносцам. Их силы разделены, и большая их часть вместе с предводителями находится на восточном берегу Босфора. А теперь пора на пир! Ибо переодевание наше завершено подобающим образом, согласно закону, установленному нашими предками и гласящему, что наше явление подданным должно быть подобно явлению иконы, несомой священниками.

— И клянусь жизнью, — сказал Агеласт, — установлено это не из прихоти, а для того, чтобы император, подчиняясь правилам, переходящим от отца к сыну, всегда выглядел как существо сверхъестественное: скорее образ святого, нежели обычный человек.

— Мы это знаем, добрый наш Агеласт, — с улыбкой ответил император. — Известно нам также, что для многих наших подданных, напоминающих поклонников Ваала в священном писании, мы до такой степени уподобились иконе, что они присваивают себе налоги, собираемые в провинциях империи от нашего имени и для нашего пользования. Но не будем больше говорить об этом, сейчас неподходящее время.

На этом тайное совещание окончилось, и Алексей ушел — правда, только после того, как приказ о переправе крестоносцев был должным образом составлен и подписан священными чернилами императорской канцелярии.

Тем временем гости императора были введены в зал, убранный, подобно всем дворцовым покоям, с большим вкусом и пышностью; исключение составлял лишь стол, за которым должно было происходить пиршество, ибо великолепные блюда из драгоценных металлов с изысканными яствами не стояли на нем, а передвигались вдоль него на специальных подставках, которые можно было опускать и поднимать,

чтобы одинаково удобно было и сидящим дамам и возлежащим мужчинам.

Вокруг стола застыли богато одетые чернокожие рабы. Главный мажордом Михаил Кантакузин золотым жезлом указал чужеземным гостям их места и знаками предупредил, что до особого сигнала садиться нельзя.

Верхний конец пиршественного стола уходил под арку, с которой спускался муслиновый, расшитый серебром занавес. Мажордом не спускал с него глаз и, как только занавес слегка заколыхался, поднял жезл; все замерли в ожидании.

Таинственный занавес словно сам собой поднялся, открыв трон, стоявший на восемь ступенек выше стола и украшенный с неслыханной роскошью; на этом троне за маленьким столиком из слоновой кости, отделанной серебром, сидел Алексей Комнин в облачении, совершенно отличном от его дневных одежд и до того великолепном, до того затмевавшем все прежние, что становилось понятным, почему его подданные падали ниц перед столь ослепительным зрелищем. Его супруга, дочь и зять, склонив головы, стояли позади него; с величайшим смирением по знаку императора они спустились со ступенек и присоединились к остальным гостям, а затем, несмотря на свое высокое положение, сели со всеми за пиршественный стол, как им указал мажордом. Таким образом, никто не мог сказать, что он разделяет трапезу с императором или сидит с ним за одним столом, хотя все ели в его присутствии и он время от времени приглашал их угощаться и веселиться. Блюда с нижнего стола на верхний стол не подавали, однако, вина и наиболее изысканные кушанья, появлявшиеся перед императором словно по волшебству и предназначенные, видимо, лично для него, то и дело по его приказанию подносили тому или иному гостю, которого Алексей хотел почтить своим вниманием; особенно выделял он франков.

Поведение Боэмунда во время пиршества было очень примечательно.

Граф Роберт, следивший за ним после недавних его слов и нескольких многозначительных взглядов, брошенных уже во время пира, заметил, что этот хитроумный вельможа не притронулся ни к вину, ни к яствам, даже если их приносили ему с императорского стола. Кусочек хлеба, наугад взятый из корзинки, и стакан чистой воды — вот все, чем он подкрепился. В качестве извинения он сослался на рождественский пост, который начинался как раз в ту ночь, а этот пост одинаково блюла и греческая и римская церковь.

— Я не ожидал от тебя, сиятельный Боэмунд, — сказал император, — что ты отвергнешь мое гостеприимство и не разделишь трапезу за моим столом именно тогда, когда ты дал мне ленную присягу в качестве вассального князя Антиохии.

— Антиохия еще не завоевана, — ответил Боэмунд, — а заветы церкви, мой государь и повелитель, следует чтить превыше всего, в какие бы временные соглашения мы ни вступали.

— Ну, а ты, благородный граф? — сказал император, явно догадываясь, что воздержанность Боэмунда вызвана не столько благочестивыми соображениями, сколько подозрительностью. — Это не в нашем обычае, тем не менее мы приглашаем наших детей, наших высокородных гостей и присутствующих здесь сановников выпить всем вместе. Пусть наполнят кубки, именуемые девятью музами! Пусть в них до краев заиграет вино, о котором говорят, что оно предназначено только для священных императорских уст!

По приказу императора кубки были наполнены; они были сделаны из чистого золота, и на каждом красовалось великолепно исполненное изображение одной из муз.

— Уж ты-то, во всяком случае, мой благородный граф Роберт, и ты, прекрасная дама, — сказал император, — надеюсь, вы без колебания присоединитесь к здравце в честь вашего хозяина?

— Если будет сочтено, что мой отказ вызван недоверием к яствам, которыми нас здесь угощают, то

должен заявить, что я такое недоверие считаю ниже своего достоинства, — сказал граф Роберт. — Ну, а если я совершаю грех, пробуя сегодня вино, то он нестрашен и не слишком увеличит бремя других моих грехов, которое я понесу на следующую исповедь.

— Неужели ты и теперь не последуешь примеру твоего друга, сиятельный Боэмунд? — спросил император.

— Пожалуй, — ответил итало-норманн, — мой друг поступил бы осмотрительнее, последовав моему примеру, но пусть он делает так, как подсказывает ему его разум. С меня достаточно одного аромата этого изысканного вина.

С этими словами он перелил вино в другой бокал и принялся с видимым восхищением рассматривать резьбу на кубке и вдыхать аромат, оставшийся после драгоценного напитка.

— Ты прав, сиятельный Боэмунд, — сказал император, — резьба на этом кубке великолепна, она сделана одним из древних греческих граверов. Прославленный кубок Нестора, память о котором сохранил для нас Гомер, был, вероятно, куда вместительней, но вряд ли он мог бы сравниться с этими по ценности материала и по необычайной красоте обработки. Пусть каждый из моих гостей-чужеземцев примет на память обо мне кубок, из которого он пил или мог бы пить, и пусть поход против неверных будет столь благоприятным, сколь того заслуживают смелость и отвага крестоносцев!

— Я принимаю твой дар, могущественный император, — сказал Боэмунд, — только для того, чтобы загладить кажущуюся неучтивость моего отказа выпить во здравие твоего величества, на которую меня толкнуло благочестие, и для того, чтобы показать, что мы расстаемся добрыми друзьями.

При этом он низко поклонился императору, который ответил ему улыбкой, в которой была немалая доля сарказма.

— А я, — сказал граф Парижский, — взяв на свою совесть грех и приняв тост твоего императорского величества, прошу разрешить мне не брать на себя

другой вины и не лишать твой стол этих редчайших кубков. Мы осушим их за твоё здоровье, ибо иначе воспользоваться ими мы не можем.

— Владетельный Боэмунд может, — сказал император. — Они будут отправлены ему после того, как вы великодушно осушите их. А для тебя и твоей прекрасной графини у нас есть другой прибор, количество кубков в котором равно числу граций, а не муз Парнаса. Но я слышу, что зазвонил колокол; он напоминает нам о том, что время отойти ко сну, дабы набраться сил для завтрашних трудов.

Гости разошлись. Боэмунд тут же покинул дворец, не забыв захватить с собой кубки с музами, хотя он и не был поклонником этих богинь. Коварный грек добился своего: ему удалось если не поспорить Боэмунда с графом Робертом, то, во всяком случае, вызвать некоторое их недовольство друг другом: Боэмунд понимал, что граф считает его поведение низким и скаредным, а граф был теперь еще менее склонен следовать его советам.

Глава XV

Граф Парижский и его супруга остались на эту ночь в императорском Влахернском дворце. Им отвели смежные покои, но общаться друг с другом они не могли, так как дверь между их спальнями была на ночь заперта на ключ и закрыта на засов. Их несколько удивила такая предосторожность. Однако им объяснили это странное обстоятельство необходимостью уважать рождественский пост. Само собой разумеется, ни у графа, ни у его супруги не было и тени опасения, что с ними может что-нибудь случиться. Их слуги Марсиан и Агата помогли своим хозяевам раздеться и ушли, чтобы отыскать и себе место для отдыха в специально отведенных помещениях.

Минувший день был полон интересных событий, волнений и суматохи; помимо того, предназначенное для императорских уст священное вино — правда,

граф Роберт отхлебнул только один глоток, но зато отнюдь не маленький — оказалось, быть может, более крепким, чем привычный для него нежный и ароматный сок гасконских лоз. Во всяком случае, ему показалось, когда он проснулся, что, судя по времени, которое он проспал, в комнате уже должно быть совсем светло, а между тем в ней царил непроглядный мрак. Несколько удивленный, он внимательно осмотрелся, но не смог различить ничего, кроме двух красных точек, сверкавших в темноте, подобно глазам дикого зверя, свирепо взирающего на свою добычу. Граф вскочил с ложа, чтобы схватиться за оружие — необходимая предосторожность на тот случай, если окажется, что это действительно дикий зверь, вырвавшийся на свободу. Но не успел он подняться, как раздался глухой рык, какого граф прежде никогда не слышал, словно исходящий из тысячи чудовищных глоток одновременно, и, как аккомпанемент к нему, послышался лязг железных цепей: страшный зверь прыгнул к кровати, однако цепь не дала ему допрыгнуть. Раскаты рева становились все громче, все оглушительней, они разносились, должно быть, по всему дворцу. Зверь был сейчас на много ярдов ближе, чем в ту минуту, когда граф впервые увидел его сверкающие глаза, но насколько ближе и какое расстояние разделяло их, рыцарь не мог определить. Граф Роберт слышал — более того, казалось, даже ощущал на своем лице дыхание зверя; ему чудилось, что его незащищенное тело находится не более чем в двух-трех ярдах от скрежещущих клыков, от когтей, вырывавших куски дерева из дубового пола. Граф Парижский был не только одним из храбрейших людей того времени, когда храбрость была достоинством каждого, у кого в жилах текла хотя капля благородной крови, но и потомком Карла Великого. И все-таки он был смертный человек и поэтому нельзя сказать, что без трепета встретил столь неожиданную и необычную опасность. Но он не потерял самообладания, не впал в панику — нет, он просто сознавал, что над ним нависла страшная угроза, и напряг все силы, чтобы спасти жизнь, если к тому будет малейшая

возможность. Он отодвинулся как можно дальше на своем ложе, уже переставшем быть ложем отдыха, и, таким образом, оказался на несколько футов дальше от горящих глаз, которые смотрели на него так пристально, что, несмотря на редкую отвагу, он уже видел в своем взбудораженном воображении ужасную картину того, как тело его рвут, кромсают, терзают окровавленные челюсти хищного зверя. Вдруг в голове у него мелькнула утешительная мысль: быть может, все это — опыт, проверка, устроенная философом Агеластом или его владыкой императором для того, чтобы испытать доблесть, которой так хвастались крестоносцы, и наказать за бессмысленное оскорбление, нанесенное накануне Алексею.

«Как это справедливо сказано: «Не трогай льва в его логове», — подумал он с тоской. — Быть может, в эту минуту какой-нибудь подлый раб раздумывает, достаточно ли я уже намучился и не пора ли ему отпустить цепь, сдерживающую зверя. Но пусть приходит смерть: никто никогда не сможет сказать, что граф Роберт встретил ее мольбой о пощаде или воплями боли и ужаса».

Он повернулся лицом к стене и стал мужественно ожидать смерти, которая, казалось ему, должна вот-вот наступить.

Все его мысли до сих пор вращались, естественно, вокруг него самого. Слишком близка и чудовищна была опасность, чтобы он мог думать о чем-либо другом, остальные соображения оказались отодвинутыми мыслью о надвигающейся гибели. Но стоило ему взять себя в руки, как им овладел страх за графиню. Что происходит с ней сейчас? Если такому страшному испытанию подвергли его, то что угрожает ей, женщине, существу более слабому телом и духом? По-прежнему ли она в нескольких ярдах от него, как вчера вечером, когда они ложились спать, или же варвары, придумавшие для него столь жестокое провуждение, воспользовались их доверчивостью и подвергли ее такой же злодейской пытке или обошлись с ней еще более вероломно? Спит она или бодрствует, и как она может спать, когда совсем рядом раздается

этот ужасный рев, сотрясающий все вокруг? Он решил окликнуть ее, предупредить, если это возможно, об опасности, чтобы она ответила, не входя в помещение, где находился его страшный гость.

Дрожащим голосом, словно боясь, что чудовище услышит, он позвал жену:

— Бренгильда! Бренгильда! Нам угрожает опасность! Проснись и ответь мне, но не вставай!

Ответа не было.

— Что со мной случилось? — пробормотал граф. — Я зову Бренгильду Аспрамонтскую, как младенец зовет заснувшую няньку, и все это только потому, что в одной комнате со мной находится дикая кошка! Стыдись, граф Парижский! Ты заслуживаешь того, чтобы у тебя отняли оружие и шпоры! Эй! — громко крикнул он, хотя голос его по-прежнему дрожал. — Бренгильда, мы в осаде, нас окружают враги! Ответь мне, но не двигайся с места.

Хриплое рычание его чудовищного стража было ему единственным ответом. Этот рев, казалось, говорил: «Оставь надежду!», и тогда истинное отчаяние охватило рыцаря.

— Быть может, я все еще недостаточно громко кричу, чтобы она узнала о моем несчастье. Эй! Бренгильда, любимая моя!

И тут до него донесся глухой и скорбный голос, словно исходивший из могилы:

— Кто этот несчастный, который надеется, что живые ответят ему в обители мертвых?

— Я христианин и благородный рыцарь из Французского королевства, — ответил граф. — Еще вчера под моим началом было пять сотен храбрейших среди французов, а значит, и среди всех смертных, а теперь я здесь, в крошечной тьме, и не могу даже разглядеть тот угол, где лежит дикий тигр, готовый прыгнуть и растерзать меня.

— Ты можешь служить примером, — прозвучал ответ, — и далеко не последним, превратностей судьбы. Я, страдающий здесь уже третий год, я тот самый могущественный Урсел, который соперничал с Алексеем Комнином за обладание короной Греции

и был предан своими союзниками. Лишенный зрения — высшей радости человека, — я живу в склепе, вблизи от диких животных, населяющих эти подвалы, и слышу их ликующий рев, когда они утоляют свой яростный голод несчастными жертвами, подобными тебе.

— А не слышал ли ты, — спросил граф, — как вчера сюда ввели гостей — рыцаря и его супругу, — под звуки музыки, напоминавшей свадебный марш? О Бренгильда! Неужели и ты, такая молодая и прекрасная, предательски обречена на столь чудовищную смерть?

— Не думай, — ответил тот, кто назвал себя Урселом, — что греки балуют диких зверей столь благородной добычей. Для врагов — а врагами они называют не только подлинных своих неприятелей, но и всех, кого боятся или ненавидят, — у них есть темницы, двери которых никогда уже не откроются; раскаленные прутья, которыми они выжигают глаза; львы и тигры, когда им хочется быстро покончить со своими пленниками, — но все это только для мужчин. А для женщин, если они молоды и прекрасны, правители этой страны находят место в своих спальнях и в постелях. Их не заставляют, как в стане Агамемнона, носить воду из аргивского колодца, их любят и им поклоняются те, в чьи руки они попали волею судьбы.

— Такая судьба никогда не постигнет Бренгильду! — воскликнул граф Роберт. — Ее муж еще жив, чтобы помочь ей, а если он умрет, она сумеет последовать за ним, не запятнав памяти обоих.

Узник промолчал; наступила короткая пауза, потом он спросил:

— Чужеземец, что это за шум?

— Я ничего не слышу, — ответил граф Роберт.

— А я слышу, — сказал Урсел. — Меня жестоко-сердно лишили зрения, зато другие мои чувства обострились.

— Пусть тебя не тревожит этот шум, мой товарищ по несчастью, — ответил граф. — Молчи и жди, что произойдет.

Неожиданно в темнице вспыхнул тусклый, дымный, красноватый свет. Дело в том, что рыцарь вспомнил о кремне и труте, которые он обычно носил с собой; стараясь как можно меньше шуметь, он зажег факел и быстро поднес его к тонкому муслиновому занавесу у кровати, мгновенно вспыхнувшему. В ту же минуту рыцарь вскочил с ложа. Тигр, — а зверь оказался тигром, — испугавшись пламени, отпрянул назад, насколько ему позволяла цепь, забыв обо всем, кроме этого огня, наводившего на него ужас. В ту же секунду граф Роберт схватил тяжелую дубовую скамью — другого наступательного оружия у него не было — и, целясь в сверкающие, еще недавно казавшиеся столь жуткими глаза, в которых сейчас отражалось пламя, метнул ее в них с такой нечеловеческой силой, с какой мечет камни бездушная машина. Он так точно и своевременно прицелился, что снаряд попал прямо в зверя. Череп тигра — вероятно, было бы преувеличением сказать, что этот зверь был крупнейшим представителем своей породы, — раскололся от удара, и с помощью кинжала, на счастье оставшегося с ним, французский граф прикончил чудовище, удовлетворенно глядя, как оно скалит пасть и в смертельной агонии вращает глазами, только что внушавшими трепет.

Оглядевшись вокруг при свете разожженного им огня, граф убедился, что находится совсем не в том помещении, в котором отошел ко сну накануне; трудно было представить себе более разительный контраст между обстановкой вчерашней его спальни и этим полуобгоревшим муслиновым занавесом над кроватью, массивными голыми стенами, похожими на тюремные, и деревянной скамьей, которая сослужила ему полезную службу.

Однако у нашего рыцаря не было времени раздумывать обо всем этом. Он поспешно затушил огонь, который, впрочем, пожрал уже почти все, что мог, и, при свете факела, принялся осматривать помещение в поисках выхода. Вряд ли нужно упоминать о том, что он не увидел двери в комнату Бренгильды; это еще раз утвердило его в мысли, что люди, разлучившие

их вчера вечером под предлогом благочестивых соображений, на самом деле задумали учинить страшное насилие над одним из них или над обоими. С ночными приключениями, выпавшими на долю графа Роберта, мы уже познакомились; победа над ужасным врагом внушила ему робкую надежду, что Бренгильда, столь добродетельная и доблестная, не поддается ни проискам коварства, ни грубой силе до тех пор, пока он не найдет путь к ее спасению.

«Я должен был с большим вниманием прислушаться вчера к предостережениям Боэмунда, — подумал граф. — Ведь он прямо дал мне понять, что вино в кубке отравлено. Но да падет позор на голову этого скупого негодяя! Как мог я подумать, что он подозревает такое злодейство? Ведь вместо прямых, подобающих мужчине слов, он по равнодушию своему или из корысти допустил, чтобы коварный деспот подсыпал мне в вино сонное зелье».

— Эй, чужеземец! — донесся до него голос. — Ты жив, или тебя убили? Что означает этот удушливый запах гари? Бога ради, ответь человеку, глаза которого, увы, уже никогда ничего не увидят!

— Я свободен, — отозвался граф, — а чудовище, которое должно было пожрать меня, испустило дух. Как мне жаль, друг мой Урсел — ты ведь так назвал свое имя? — что ты не был свидетелем этой битвы; она доставила бы тебе удовольствие, даже если бы через минуту ты вновь потерял зрение, и дала бы бесценный материал любому, кто взял бы на себя задачу написать историю моих подвигов.

Отдав, таким образом, дань тщеславию, всегда отличавшему его, граф, не теряя времени, принялся отыскивать выход из темницы, ибо только таким путем он мог вызволить свою графиню. В конце концов он нашел в стене дверь, но она была заперта.

— Я нашел выход, — крикнул граф. — Он как раз в той стене, откуда доносится твой голос. Но как мне отпереть эту дверь?

— Я доверю тебе свою тайну, — ответил Урсел. — Хотел бы я, чтобы так же легко отпирались все замки, которые держат нас в неволе. Подтяни изо всех

сил дверь кверху и толкни ее от себя, тогда задвижки придутся против желобков в стене и дверь откроется. Мне так хотелось бы увидеть тебя, и не только потому, что ты храбрый человек и, значит, на тебя приятно смотреть, но и потому, что тогда я убедился бы, что не обречен на вечный мрак!

Пока Урсел говорил, граф собрал свои доспехи — они все были в сохранности, исчез только его меч Траншфер — и попытался, следуя указаниям слепца, открыть дверь. Пока он просто налегал на нее, у него ничего не получалось, но когда, поднатужившись, он приподнял ее, то с удовлетворением убедился, что она, хотя и с трудом, но поддается. Желобки в стене были выдолблены так, что задвижки вышли из своих гнезд, и теперь можно было без ключа, сильным толчком, открыть узкую дверь. Рыцарь переступил порог, держа в руках доспехи.

— Я слышу тебя, о чужестранец, — сказал Урсел, — и знаю, что ты вошел в мою темницу. Три года втайне от тюремщиков я трудился, выдалбливая эти желобки, соответствующие гнездам, которые держат засовы. Быть может, мне придется перепилить двадцать таких засовов, прежде чем я выберусь на волю. Но что ждет меня, даже если у меня хватит сил завершить эту работу? И все же, поверь мне, благородный чужестранец, я рад, что помог таким образом тебе выйти из твоей одиночной темницы, ибо, если небо не поможет нам в нашем стремлении к свободе, мы сможем утешать друг друга, пока тиран не отнимет у нас жизнь.

Граф Роберт бросил взгляд кругом и содрогнулся при мысли, что человек способен еще говорить об утешении, находясь в этом склепе. В нем было не более двенадцати квадратных футов, низкий свод опирался на толстые стены из камней, тщательно пригнанных друг к другу. Кровать, грубая скамья, похожая на ту, которую Роберт только что запустил в голову тигра, такой же грубо сколоченный стол — вот и вся обстановка этой кельи. На большом камне над кроватью высечены скупые, но страшные слова: «Зедекия Урсел. Заключен здесь в мартовские иды в год

от рождества Христова... Умер и похоронен здесь...» Для даты смерти было оставлено свободное место. Сам узник казался бесформенной грудой грязного тряпья. Волосы, давно не стриженные и не чесанные, лохматыми прядями падали ему на лицо, переплетаясь с огромной бородой.

— Взгляни на меня, — сказал узник, — и радуйся, что глаза твои еще видят, до какого жалкого состояния может довести бессердечный тиран своего ближнего, лишив его надежды и в этой жизни и в будущей.

— Неужели, — спросил граф Роберт, у которого от ужаса кровь застыла в жилах, — у тебя хватило мужества на то, чтобы столько времени долбить каменные плиты, в которые закреплены эти задвижки?

— Увы, — ответил Урсел, — а что еще мог делать слепец? Я должен был чем-нибудь занять себя, чтобы сохранить разум. Это немалый труд, на него у меня ушло три года; не удивляйся, что я посвятил этому все свое время, у меня ведь не было других занятий. Вероятно, в моей темнице все равно не отличить дня от ночи, но отдаленный соборный колокол говорил мне об уходящих часах, и я тратил эти часы, перетирая камень о камень. Но когда дверь открылась, я убедился, что она ведет в еще более глухую келью, чем моя. И тем не менее я рад, потому что это соединило нас, дало тебе возможность войти в мою темницу, а мне подарило товарища по несчастью.

— Думай о чем-нибудь более радостном, — прервал его граф Роберт, — думай о свободе, думай о мести! Я не могу поверить, что такое предательство останется безнаказанным, иначе мне придется признать, что небо не столь справедливо, как об этом говорят священники. Кто приносит еду в твою темницу?

— Приходит страж, — ответил Урсел, — который, по-моему, не знает греческого языка; во всяком случае, он никогда не заговаривает со мной и не отвечает на мои вопросы. Он приносит мне кусок хлеба и кувшин воды — этого достаточно, чтобы поддержать мою жалкую жизнь в течение двух дней. Поэтому умоляю

тебя, вернись к себе: страж не должен догадываться, что мы сообщаемся друг с другом.

— Мне непонятно, — сказал граф Роберт, — каким образом варвар — если только это варвар — проникает в мою темницу, не проходя через твою. Но все равно, я уйду во внутреннюю или внешнюю келью, не знаю, как уж ее назвать, однако ты можешь быть уверен, что стражу придется кое с кем схватиться, прежде чем он выполнит свои обязанности. Тем временем считай, что ты не только слеп, но и нем, и помни, что даже если мне предложат свободу, я не забуду того, кто делил со мной горести.

— Увы, — отозвался старик, — я слушаю твои обещания, как если бы это был шелест утреннего ветерка, говорящий мне, что солнце вот-вот встанет, хотя я и знаю, что мне никогда его не увидеть. Ты один из тех необузданных и неунывающих рыцарей, которых Западная Европа вот уже сколько лет шлет к нам для свершения невозможного, и поэтому твои слова о том, что ты освободишь меня, внушают мне не больше надежды, чем мыльные пузыри, пускаемые детьми.

— Думай о нас лучше, старик, — сказал граф Роберт. — Верь, я умру, но не покорюсь и не потеряю веры в то, что еще соединюсь с моей любимой Бренгильдой.

С этими словами он направился в свою келью и поставил дверь на место таким образом, чтобы дело рук Урсела, которое поистине можно было совершить только за три года заключения, не заметил страж.

— Не повезло мне, — сказал он, вновь входя в свою темницу, ибо стал уже так называть про себя помещение, где был прикован тигр, который должен был его растерзать, — не повезло мне, что моим товарищем по тюрьме оказался не мужчина, молодой и сильный, а дряхлый, слепой и раздавленный несчастьем старик. Но да будет воля божья! Я не брошу беднягу, который томится здесь, хотя он и не способен помочь мне в бегстве, а скорее может мне помешать. Однако прежде чем я погашу факел, надо проверить, нет ли в стене другой двери, кроме той,

которая ведет к слепцу. Если нет, то следует предположить, что меня спустили сюда сверху, через отверстие в потолке. Этот кубок с вином, эта муза, как они ее называют, больше пахла лекарственным снадобьем, чем вином, которое пьют за здоровье веселого собутыльника.

Он тщетно осмотрел стены, после чего потушил факел, чтобы захватить того, кто войдет к нему, в темноте и врасплох. По этим же соображениям он оттащил в дальний угол труп тигра и прикрыл его обгорелым тряпьем, на котором спал, поклявшись себе, что если ему повезет и он благополучно выберется из этой западни — а его отважное сердце не допускало сомнений в этом, — то изображение тигра будет красоваться у него на шлеме.

«А что, если эти колдуны и слуги ада напустят на меня дьявола, что я тогда буду делать? — подумал граф. — Это вполне возможно; пожалуй, я напрасно потушил факел. Впрочем, что за пустое ребячество со стороны рыцаря, посвященного в часовне Владычицы сломанных копий, — делать различие между темным и светлым помещениями! Пусть они приходят, пусть чертей будет столько, сколько может вместить эта келья, и тогда посмотрим, сумею ли я встретить их так, как подобает христианскому рыцарю. Я всегда почитал пресвятую деву, и, уж конечно, она сочтет, что я принес достаточную жертву, согласившись хотя бы на короткое время расстаться с моей Бренгильдой из уважения к рождественскому посту, — а ведь это и привело к роковой разлуке. Нет, я не боюсь тебя, нечистая сила, и сохраню этот полуобгоревший факел до случая, когда он понадобится».

Он отшвырнул факел к стене и спокойно уселся в углу, ожидая новых событий.

В голове у него теснились мысли. Он не сомневался, что Бренгильда сохранит ему верность, знал, что она сильная и смелая женщина, — в этом граф и черпал главное свое утешение; какую бы страшную опасность ни рисовало ему воображение, он тут же обретал спокойствие, говоря себе: «Она чиста, как небесная роса, и небо не покинет свое творение».

Глава XVI

О шимпанзе, ты нам живой упрек
И злое издевательство над нами!
Как можем мы смеяться над тобою,
Когда в тебе, как в зеркале кривом,
Себя мы видим, нашу спесь и злобу?

Неизвестный автор

Граф Роберт Парижский, спрятавшись за полу-обгоревшей кроватью так, что его можно было обнаружить, лишь внезапно и сильно осветив это укрытие, тревожно ждал, не зная, откуда и каким образом появится тюремный страж, приносивший узникам пищу. Впрочем, ждать пришлось недолго: вскоре граф увидел и услышал сигналы, с несомненностью говорившие о приближении стража.

Сначала показалась полоска света — очевидно, наверху открылась опускаемая дверь, — затем кто-то крикнул по англосаксонски:

— А ну, прыгай, не задерживайся! Прыгай, друг Сильвен! Покажи свою ловкость, почтеннейший!

В ответ раздался странный голос, хриплый и клочущий; кто-то на непонятном графу Роберту языке как бы протестовал против полученного приказания.

— Ах так, сударь! — произнес первый голос. — Тебе угодно препираться со мной? Ну, коли твоя милость так обленилась, придется дать тебе лестницу, да еще и пинка в придачу, чтобы ты соизволил потопиться!

Вслед за тем огромное существо, напоминавшее по очертаниям человека, соскочило через опускаемую дверь вниз, несмотря на то, что стены темницы были не менее четырнадцати футов в высоту. Эта исполинская фигура, футов семи ростом, держала в левой руке факел, а в правой — клубок тонкого шелка, который при спуске разматался, не порвавшись, хотя ясно было, что он никак не мог выдержать тяжесть такого громадного тела. Таинственное существо весьма ловко встало на ноги и, как бы отскочив от земли, подпрыгнуло вверх чуть ли не до самого

потолка. При этом прыжке факел погас; однако обыкновенный страж начал вертеть им над головой с такой неимоверной быстротой, что факел опять воспламенился. Его обладатель, видимо, на это и рассчитывал, но, желая проверить, добился ли он своего, осторожно поднес левую руку к пламени. Последствия этого поступка оказались неожиданными для странного существа — оно взвыло от боли и, помахивая обожженной рукой, что-то жалобно забормотало.

— Осторожней, Сильвен! — пожурил его по англосаксонски тот же голос. — Ну что ты там, Сильвен? Делай свое дело. Отнеси слепому еду, да не балуйся, не то я перестану посылать тебя одного.

Таинственное существо — назвать его человеком было бы, пожалуй, опрометчиво — вместо ответа страшно оскалило зубы и погрозило кулаком, но тем не менее принялось разворачивать какой-то сверток и шарить по карманам своей одежды — подобия куртки и панталон — в поисках, очевидно, связки ключей. Вытащив ее наконец, оно извлекло вслед за нею из кармана ломоть хлеба. Подогрев один из камней в стене, оно с помощью кусочка воска прилепило к нему факел, осторожно отыскивало дверь в темницу старика и, выбрав нужный ключ, открыло ее. Затем оно нащупало в проходе ручку насоса и наполнило водой кувшин, который держало в руке. Вернувшись с огрызками позавчерашнего хлеба и остатком воды в другом кувшине, оно, как бы забавы ради, сунуло корку в рот, но тут же, скорчив ужасную гримасу, швырнуло ее на пол. Тем временем граф Парижский с немалой тревогой следил за неведомым животным. Сначала он принял это существо, которое по своим размерам превосходило человека, так страшно гримасничало и с такой сверхъестественной ловкостью прыгало, за самого сатану или по меньшей мере за одного из подвластных ему чертей, чьи обязанности и должность в этом мрачном месте разумелись сами собой. Но голос стража наводил скорее на мысль о человеке, отдающем приказание дикому животному, которое он приручил и подчинил своей власти, нежели о колдуне, заклинающем злого духа.

«Стыд и позор мне, — подумал граф, — если я допущу, чтобы обыкновенная обезьяна помешала мне выбраться на свет и свободу, — а это похожее на дьявола животное, видимо, просто обезьяна, хотя она и вдвое крупнее тех, которых мне доводилось встречать. Надо последить за ней; может быть, мохнатый рыцарь вызовет меня из подземелья».

Между тем животное, обшаривая темницу, обнаружилось в конце концов мертвого тигра, дотронулось до него и со странными ужимками начало тормозить труп; оно как бы жалело тигра и удивлялось его гибели. И вдруг его, по-видимому, осенила мысль, что зверя кто-то убил; граф Роберт с ужасом увидел, как оно снова разыскало в связке ключ и бросилось ко входу в темницу Урсела так стремительно, что, вздумай оно задушить старика, это мстительное намерение было бы исполнено раньше, чем франку удалось бы вмешаться. Но тут животное как будто сообщило, что злосчастный Урсел не мог убить тигра и что виновный укрывается где-то по соседству.

Продолжая тихо ворчать и что-то бормотать себе под нос, это устрашающее существо, чей облик был так похож на человеческий и вместе с тем так несхож с ним, стало красться вдоль стен, сдвигая с места все, что могло, по его мнению, скрыть от него человека. Широко расставив руки и ноги, оно зорко вглядывалось в каждый угол, освещая его факелом и стараясь найти убийцу.

Теперь, думается мне, вспомнив о находившемся поблизости зверинце Алексея, читатель уже понял, что удивительное существо, своим видом так смутившее графа, принадлежало к той гигантской разновидности обезьян, — а может быть, к каким-то животным, еще ближе стоящим к людям, — которых, насколько мне известно, натуралисты именуют орангутангами. Это создание отличается от прочих своих собратьев сравнительно большей понятливостью и послушанием; обладая присущим всему его племени даром подражания, оно пользуется им не только для передразнивания, но и для того, чтобы в чем-то усовершенствоваться и чему-то научиться — желание,

совершенно не свойственное его родичам. Его способность перенимать знания поистине удивительна, и, возможно, его удалось бы совсем приручить, поместив в благоприятные условия, если бы чья-нибудь научная любознательность дошла до того, чтобы создать ему таковые.

В последний раз орангутанга видели, если мы не ошибаемся, на острове Суматра — это было очень большое и сильное животное, семи футов роста. Оно погибло, отчаянно защищая свою ни в чем не повинную жизнь от охотничьего отряда европейцев, которые могли бы, как нам кажется, лучше использовать свое умственное превосходство над бедным уроженцем лесов. Возможно, что именно это существо, встречавшееся редко, но запоминавшееся навсегда, и породило древнее верование в бога Пана, в сатиров и фавнов. Если бы не отсутствие дара речи — а вряд ли какой-нибудь представитель этого семейства обладал им, — можно было бы предположить, что сатир, виденный святым Антонием в пустыне, принадлежал именно к этому племени.

Вот почему у нас есть все основания доверять летописям, свидетельствующим о том, что в зверинце Алексея Комнина был орангутанг, совершенно ручной и проявлявший такую степень разумности, какой, пожалуй, еще никогда не приходилось встречать у обезьян. Предпослав эти объяснения, мы можем продолжать теперь наше повествование.

Орангутанг большими шагами бесшумно продвигался вперед; когда он поднимал факел повыше, Франк видел на стене тень, повторявшую сатанинские очертания огромной фигуры и страшных конечностей. Граф Роберт не спешил покинуть свое укрытие и вступить в схватку, исход которой трудно было предугадать. Меж тем обитатель лесов все приближался. При мысли о столь необычной, удивительной опасности, возраставшей с каждым шагом обезьяны, сердце графа забило так сильно, что, казалось, это биение эхом отдалось по всей темнице. Наконец орангутанг подошел к кровати и уставился на графа своими свирепыми глазами. Пораженный встречей не

меньше самого Роберта, он одним прыжком отскочил назад шагов на пятнадцать, непроизвольно вскрикнув от страха, а затем на цыпочках снова двинулся вперед, изо всех сил вытягивая руку, в которой держал факел, словно желая защитить себя и наиболее безопасным образом разглядеть то, что его так напугало. Граф Роберт схватил обломок кровати, достаточно большой, чтобы заменить дубинку, и угрожающе замахнулся на лесного жителя.

Воспитание этого бедного существа — как и большинства существ в нашем мире — не обошлось, очевидно, без побоев, память о которых была не менее свежа, чем память об уроках, заученных с их помощью. Граф Роберт сразу же понял это и, видя, что получил некоторое, неожиданное для себя преимущество над врагом, не замедлил им воспользоваться. Он воинственно выпрямился и с победоносным видом двинулся на него, угрожая ему дубинкой так же, как стал бы угрожать противнику на турнире своим страшным Трансфером. Орангутанг, видимо, испугался и начал отступать не менее осторожно, чем прежде наступал. Впрочем, он не совсем отказался от сопротивления: сердито и враждебно пробормотав что-то, он стал размахивать факелом, как бы намереваясь ударить крестоносца. Однако граф Роберт твердо решил, что, пока противник находится во власти страха, надо захватить его врасплох и, если можно, лишить того естественного превосходства над человеком в силе и ловкости, которое давала ему его необычайная величина. Мастерски владея своим оружием, граф занес дубинку над головой животного с правой стороны, но потом, внезапно изменив направление удара, изо всех сил хватил его по левому виску и сбил с ног; в ту же секунду он уперся коленом в грудь обезьяны и обнажил кинжал, собираясь ее убить.

Орангутанг, до сих пор никогда не видевший оружия, которым ему угрожали, ухватился за кинжал и одновременно попытался вскочить и опрокинуть противника. Эта попытка чуть было ему не удалась: он уже встал на колени и, вероятно, одержал бы верх

в борьбе, но тут граф, стремительно выхватив у животного кинжал, тяжело поранил ему лапу. Когда обезьяна увидела это острое оружие у своего горла, она поняла, что жизнь ее в руках врага. Перестав сопротивляться, она позволила снова опрокинуть себя на спину, жалобно и горестно вскрикнув; в этом грудном звуке было нечто человеческое, взывавшее к состраданию. Здоровой лапой она прикрыла глаза, как бы не желая видеть приближающуюся смерть.

Несмотря на свою страсть к бранным подвигам, граф Роберт в обычных условиях был человеком спокойным и мягким; особенную доброту проявлял он ко всем бессловесным тварям. У него мелькнула мысль: «Зачем отнимать у несчастного чудовища жизнь? Ведь ему не познать иного существования... А может быть, это какой-нибудь принц или рыцарь, которого силой волшебства заставили принять столь уродливое обличье, чтобы он помогал сторожить подземелье и хранить тайну связанных с ним удивительных приключений? Не преступно ли будет убить его после того, как он сдался на милость победителя так безоговорочно, как только мог это сделать в своем новом обличье? Если же это и в самом деле дикое животное, то, быть может, оно способно чувствовать какую-то признательность? Я ведь слышал балладу менестрелей об Андрокле и льве. Мне надо быть с ним настороже — вот и все».

И граф встал, позволив подняться и орангутангу. Животное, по-видимому, поняло это проявление милосердия — оно начало бормотать, тихо и просительно, как бы умоляя пощадить его и выражая благодарность за великодушие. Увидев кровь, капающую из лапы, оно заплакало и с испуганной физиономией, в которой теперь благодаря ее печальному, страдальческому выражению было еще больше сходства с человеческим лицом, стало ожидать решения своей участи от этого могущественного существа.

Сумка, которую рыцарь носил под доспехами, была не очень вместительна, тем не менее в ней хранились склянка с целительным бальзамом, к которому ее обладателю приходилось нередко прибегать,

немного корпии и сверточек холста. Вынув все это, рыцарь сделал знак животному, чтобы оно протянуло ему раненую лапу. Обитатель лесов повиновался, хотя робко и не слишком охотно; смачивая рану бальзамом и накладывая повязку, граф Роберт в то же время сурово объяснял пациенту, что поступает, возможно, очень дурно, используя для животного бальзам, предназначенный для высокородных рыцарей, и что, если оно вздумает отплатить неблагодарностью за оказанную помощь, он, граф Парижский, вонзит в него по рукоять тот самый кинжал, остроту которого оно уже испытало на себе.

Сильвен внимательно смотрел на графа Роберта, словно понимая обращенные к нему слова; затем, что-то бормоча на своем обезьяньем языке, он склонился до земли, поцеловал ноги рыцаря и обнял его колени, как бы давая клятву в вечной благодарности и преданности. Когда граф подошел к кровати и в ожидании, пока снова откроется опускаемая дверь, стал надевать доспехи, животное уселось рядом с ним, тоже глядя на дверь и как бы терпеливо ожидая, чтобы она открылась.

Прошло около часа, затем наверху послышался легкий шум; орангутанг тотчас дернул франка за плащ, словно привлекая его внимание к тому, что должно произойти. Кто-то свистнул несколько раз, потом послышался уже знакомый графу голос:

— Сильвен! Сильвен! Где ты там запропастился? Сейчас же иди сюда, не то, клянусь распятием, я проучу тебя, ленивое животное!

Бедное чудище, как назвал бы его Тринкуло, казалось, прекрасно поняло смысл угрозы — оно еще теснее прижалось к графу и жалобно заскулило, точно моля о заступничестве. Хотя граф Роберт почти не сомневался в том, что животному непонятна человеческая речь, тем не менее он воскликнул:

— Я вижу, приятель, ты научился не хуже всех здешних царедворцев просить о дозволении сказать слово и не лишиться при этом жизни! Не бойся, бедняга, я заступлюсь за тебя.

— Эй, Сильвен! — снова раздался голос. — С кем это ты там болтаешь? Уж не с дьяволом ли или с призраком какого-нибудь убитого узника? Говорят, их много в здешних темницах. Или ты беседуешь со слепым стариком, с этим мятежником греком? А может, и в самом деле, правда то, что о тебе болтают — будто ты способен разумно говорить, когда захочешь, а бормочешь да бубнишь бог весть что только из страха, как бы тебя не послали работать? Ах ты, ленивый мошенник! Так и быть, спущу тебе лестницу, чтобы ты мог взобраться наверх, хотя она нужна тебе не больше, чем галке, которая собирается взлететь на колокольню собора святой Софии.¹ Ну ладно, лезь наверх, — с этими словами страж опустил лестницу в дверь, — я не собираюсь утруждать себя и спускаться за тобой, но, если ты принудишь меня это сделать, клянусь святым Суизином, плохо тебе придется! Влезаешь, будь умником, и обойдемся на сей раз без плети.

Его красноречие, видимо, произвело впечатление на орангутанга: освещенный тусклым светом гаснущего факела, он печально поглядел на графа; как бы прощаясь с ним, и побрел к лестнице — с такой же охотой, с какой осужденный преступник идет на казнь. Однако стоило графу бросить на него гневный взгляд и погрозить страшным кинжалом, как понятливое животное сразу же отказалось от своего намерения и, крепко стиснув руки, подобно человеку, принявшему твердое решение, вернулось обратно и встало позади графа — правда, напоминая при этом дезертира, которому не очень-то приятно встретиться на поле боя со своим прежним командиром.

Терпение стража вскоре истощилось и, утратив надежду на добровольное возвращение Сильвена, он решил отправиться за ним в подземелье. Он спустился, сжимая в одной руке связку ключей, а другой держась за перекладины лестницы; на голове у него было нечто вроде потайного фонаря такой формы, что его можно было надевать наподобие шляпы. Не

¹ Ныне — крупнейшая мечеть в столице Османской империи. (Прим. автора.)

успел страж ступить на пол, как его обхватили могучие руки графа Парижского. В первый момент тюремщик подумал, что на него напал взбунтовавшийся Сильвен.

— Ты что это, бездельник! — крикнул он. — Отпусти меня, не то придет твой смертный час.

— Это настал твой смертный час! — воскликнул граф, сознавая свое превосходство над противником, менее ловким, чем он, и к тому же застигнутым врасплох.

— Измена! Измена! — завопил страж, услышав незнакомый голос и поняв, что на него напал кто-то чужой. — Эй, ты там, наверху! На помощь! На помощь! Хирвард! Варяг! Англосакс, или как ты еще зовешься, дьявол тебя возьми!

Но тут железная рука графа Роберта сдавила ему горло и заглушила крики. Противники рухнули на пол, тюремщик оказался внизу, и Роберт Парижский, силой обстоятельств вынужденный действовать без промедления, вонзил кинжал в горло несчастного. В ту же секунду раздалось бряцание оружия, и по приставной лестнице спустился старый наш знакомец Хирвард. Фонарь, скатившийся на землю, освещал залитого кровью стража и чужеземца, охватившего его в смертельном объятии. Хирвард поспешил на помощь товарищу и, напав на графа врасплох точно так же, как за минуту до этого последний напал на стража, прижал франка к земле лицом вниз.

Граф Роберт слыл одним из сильнейших людей того воинственного времени, но и варяг был не слабее; если бы Хирвард не получил несомненного преимущества, подмяв противника под себя, трудно было бы предсказать исход этой схватки.

— Сдавайся, как у вас принято говорить, на милость победителя, — воскликнул варяг, — иначе умрешь от моего кинжала!

— Французские графы не сдаются, да еще бродячим рабам вроде тебя, — ответил Роберт, догадавшись, кто его противник.

И он отбросил варяга так неожиданно, так резко, так стремительно, что почти вырвался из его рук;

однако Хирвард, ценой огромного напряжения сил, сохранил свое преимущество и уже занес над графом кинжал, чтобы навсегда положить конец этому единоборству. Но тут раздался громкий, отрывистый, какой-то нечеловечески-жуткий хохот. Кто-то, крепко схватив поднятую руку варяга, одновременно стиснул ему шею и повалил его на спину, дав французскому графу возможность вскочить на ноги.

— Умри, негодяй! — крикнул варяг, сам не зная, кому угрожает.

Орангутанг, который, очевидно, сохранил самые ужасные воспоминания о человеческой доблести, тут же обратился в бегство и, взлетев вверх по лестнице, предоставил своему покровителю и Хирварду самим решать, на чьей стороне останется победа.

Обстоятельства, казалось, вынуждали их к отчаянной борьбе: оба были высоки ростом, сильны и храбры, оба закованы в броню и вооружены только кинжалами — роковым, убийственным орудием нападения. Они стояли друг против друга, и каждый мысленно примерялся к другому, прежде чем решиться нанести удар, на который в случае промаха мог последовать гибельный ответ. Пока длилась эта страшная пауза, в опускной двери показался свет, и на противников глянула дикая, испуганная физиономия орангутанга: он низко опустил в люк вновь зажженный факел, стараясь осветить им темницу.

— Дерись храбро, приятель, — сказал граф, — мы теперь не одни: этот почтенный муж решил произвести себя в судьи нашего поединка.

Несмотря на грозившую ему опасность, варяг поднял голову; его так поразила странная, перепуганная физиономия обезьяны, на которой был написан страх, смешанный с любопытством, что он не удержался от смеха.

— Наш Сильвен из тех, кто готов освещать факелом бурную пляску, но ни за что не согласится принять в ней участие.

— А есть ли вообще необходимость исполнять нам эту пляску?

— Никакой, если мы оба этого не хотим. Думается мне, что у нас нет оснований для того, чтобы драться в таком месте и при таком свидетеле. Ведь ты, если не ошибаюсь, тот самый франк, которого бросили вчера вечером в помещение, где почти рядом с кроватью был прикован тигр?

— Да, тот самый, — ответил граф.

— А где же зверь, с которым ты должен был сразиться?

— Лежит вон там, только теперь он уже не страшнее лани, на которую когда-то охотился. — И граф указал на мертвого тигра.

Осветив зверя уже описанным потайным фонарем, Хирвард стал рассматривать его.

— И это дело твоих рук? — удивленно спросил он графа.

— Да, моих, — равнодушно ответил тот.

— И ты убил стражника? Моего товарища?

— Во всяком случае, смертельно ранил.

— Не согласишься ли ты ненадолго заключить перемирие, чтобы я мог осмотреть его раны?

— Разумеется; будь проклята та рука, что нанесет удар из-за угла честному противнику.

Не требуя дальнейших ручательств и проникшись полным доверием к графу, варяг осветил фонарем и принялся исследовать рану стража, первым явившегося на поле боя; судя по одеянию умирающего тюремщика, он состоял в одном из тех отрядов, которые назывались отрядами Бессмертных. Тюремщик был в агонии, но еще мог говорить.

— Значит, ты все-таки пришел, варяг... И я погибаю теперь лишь из-за твоей медлительности или из-за предательства... Молчи, не возражай! Чужеземец нанес мне удар повыше ключицы... Если бы я еще пожил на свете или чаще встречал тебя, я сделал бы то же самое, чтобы навсегда стереть воспоминание о некоем происшествии у Золотых ворот... Я слишком хорошо владею кинжалом, чтобы не знать, к чему приводит такой удар, нанесенный вдобавок сильной рукой... Да, мой конец близок, я это чувствую... Воин отряда Бессмертных станет теперь, если только

священники не лгут, действительно бессмертным. Лук Себаста из Митилен сломался раньше, чем опустел его колчан!

Алчный грек откинулся на руки Хирварда. Застонав в последний раз, он расстался с жизнью. Варяг опустил тело наземь.

— Не знаю, что и делать, — сказал он. — Я, конечно, не обязан лишать жизни храброго человека — даже если он враг моего народа — только за то, что он прикончил безбожного злодея, втайне замышлявшего убить меня самого. Да и не приличествует представителям двух народов драться в таком месте и при таком освещении. Прекратим этот спор, благородный рыцарь, и отложим нашу встречу до того времени, когда нам удастся освободить тебя из влахернской темницы и вернуть друзьям и сподвижникам. Если я, безвестный варяг, окажу тебе в этом содействие, надеюсь, ты согласишься потом встретиться со мною в честном бою и скрестить оружие, по моему ли выбору или по твоему — мне это безразлично.

— Если как друг или как враг ты окажешь помощь также и моей жене — она тоже заточена где-то в этом негостеприимном дворце, — будь уверен, что каковы бы ни были твое звание, твоя родина и твое положение, Роберт Парижский протянет тебе правую руку в знак дружбы, если ты захочешь, или поднимет ее против тебя в честном, открытом бою; и это будет бой, свидетельствующий не о ненависти, а об истинном уважении. Клянусь тебе в этом душой Карла Великого, моего предка, и храмом моей покровительницы, пресвятой Владычицы сломанных копий...

— Довольно, — ответил Хирвард. — Я всего лишь бедный изгнанник, но обязан помочь твоей супруге так же, как если бы был высокорожденным рыцарем. Честное и доблестное деяние для нас еще более священо, когда оно связано с участью беззащитной и страдающей женщины.

— Мне, разумеется, следовало бы молчать и не обременять твоего великодушия новыми просьбами,

но если судьба и была к тебе сурова, не дав появиться на свет в благородной рыцарской семье, зато провидение наградило тебя доблестным сердцем, которое — увы! — не так уж часто встречается у тех, кто составляет цвет рыцарства. В этой темнице прозябает — я не смею сказать «живет» — слепой старик; вот уже три года все, что происходит за стенами тюрьмы, покрыто для него завесой мрака. Он питается хлебом и водой, ему не с кем перемолвиться словом, разве лишь с угрюмым стражем, и если смерть может явиться в образе избавительницы, то именно в этом образе она явится к незрячему старцу. Что ты ответишь мне? согласишься ли помочь этому бесконечно несчастному человеку, дабы он воспользовался, быть может, единственным случаем обрести свободу?

— Клянусь святым Дунстаном, ты слишком уж верен своему обету защищать несправедливо обиженных! Тебе самому угрожает смертельная опасность, а ты хочешь еще увеличить ее, вступаясь за всех обездоленных, с которыми судьба сталкивает тебя на твоём пути.

— Чем горячее мы будем заступаться за несчастных, — сказал Роберт Парижский, — тем большего благоволения мы заслужим от наших милосердных святых и от доброй Владычицы сломанных копий — ведь она с такой скорбью взирает на все страдания и невзгоды людей, кроме тех, что приключились с ними на поле брани. Прошу тебя, отважный англосакс, не томи меня, согласишься исполнить мою просьбу. На твоём лице написаны и чистосердечие и ум, и я с полным доверием отправляюсь с тобой на розыски моей возлюбленной супруги; а как только мы освободим ее, она станет нашим бесстрашным помощником при освобождении других.

— Будь по-твоему. Идем искать графиню Бренгильду. Если же, вызволив ее, мы окажемся столь сильными, что сможем вернуть свободу слепому старцу, то не такой я трусливый и жестокосердный человек, чтобы этому воспрепятствовать.

Глава XVII

Не странно ль, что во мраке серных копей,
Где честолюбие, таясь, хранит
Запасы грозных молний, вдруг любовь
Взрыв производит факелом в тот миг,
Когда влюбленный сам того не ждет.

Неизвестный автор

Около двенадцати часов того же дня Агеласт встретился с начальником варяжской стражи Ахиллом Татием среди тех самых развалин египетского храма, где, как мы уже рассказывали, беседовал с философом Хирвард. Сошлись они в совершенно разном расположении духа: Татий был мрачен, задумчив, уныл, а философ хранил равнодушное спокойствие, снискавшее ему — заслуженно, пожалуй, — прозвище Слона.

— Ты заколебался, Ахилл Татий, — сказал философ, — заколебался после того, как принял мужественное решение преодолеть все преграды на пути к величию! Ты напоминаешь мне беспечного мальчишку, который сначала пустил воду на мельничное колесо, а потом, когда оно завертелось, так испугался, что уже не посмел воспользоваться мельницей.

— Ты несправедлив ко мне, Агеласт, очень несправедлив, — ответил аколит. — Если уж на то пошло, я больше похож на моряка, который, отправляясь в плавание и, быть может, навсегда покидая берег, невольно бросает на него горестный взгляд.

— Возможно, ты прав, доблестный Татий, но, ты уж меня прости, об этом надо было думать раньше. Внук гунна Альгурика должен был взвесить все «за» и «против», прежде чем протянуть руку к короне своего господина.

— Тише, бога ради, тише, — озираясь, сказал Татий, — не забывай, что тайна эта известна только нам двоим. Если о ней узнает кесарь Никифор, что станется тогда с нами и с нашим разговором?

— Тела наши, видимо, попадут на виселицу, — ответил Агеласт, — а души расстанутся с ними, дабы

постичь тайну, разгадку которой ты до сих пор принимал на веру.

— Но если мы знаем, какая нам грозит опасность, разве нам не следует быть особенно осторожными?

— Осторожными мужами — согласен, но не трусливыми детьми!

— И у каменных стен есть уши, — понизив голос, возразил главный телохранитель. — Я читал, что у тирана Дионисия было такое ухо, с помощью которого можно было подслушивать все тайные разговоры в сиракузской темнице.

— Это ухо и посейчас в Сиракузах. Или ты боишься, о мой простодушный друг, что оно за одну ночь перенеслось сюда, как по верованию латинян, перенесся в Лорето дом пресвятой девы?

— Нет, но в таком важном деле любая предосторожность уместна.

— Знай же, о самый осторожный из соискателей престола и самый осмотрительный из военачальников, что кесарь, не допускающий, очевидно, даже мысли о существовании других претендентов, кроме него самого, считает свое избрание чем-то само собой разумеющимся — вопрос только в сроках. Поскольку же все само собой разумеющееся не требует особого внимания, он предоставил защиту своих интересов в этом предприятии тебе и мне, а сам отдался во власть безрассудному сластолюбию. Знаешь, в кого он так влюбился? В нечто среднее между мужчиной и женщиной: по чертам лица, стану и отчасти по одежде это существо женского пола, но если судить по остальным подробностям одеяния, по всем повадкам и обычаям, оно — клянусь в этом святым Георгием! — полное подобие мужчины.

— Ты, верно, говоришь об амазонке, жене того сурового франка с железными ручищами, который вчера вдребезги разбил кулаком золотого Соломона льва? Да, в лучшем случае эта любовная история кончится сломанными костями!

— Это более правдоподобно, чем перелет Дионисиева уха из Сиракуз сюда в одну ночь! — сказал Агеласт. — Однако кесарь полагает, будто его вооб-

ражаемая красота сводит с ума всех гречанок, отсюда и его самонадеянность.

— Он настолько самонадеян, что ведет себя отнюдь не так, как подобает кесарю, который к тому же рассчитывает стать императором.

— А тем временем я обещал ему устроить встречу с его Брадамантой. Как бы только она не вознаградила кесаря за нежное прозвище *Zoe kai psuche*,¹ разлучив его любвеобильную душу с его несравненной особой!

— И за это, насколько я понимаю, ты получишь от него все полномочия, какие необходимы нам для удачного завершения заговора? — спросил Ахилл Татий.

— Такого благоприятного случая, конечно, упустить нельзя, — ответил Агеласт. — Этот приступ любви или безумия ослепил его; поэтому мы можем, не привлекая внимания к заговору и не вызывая недоброжелательных толков, повести дело так, как нужно нам. Правда, подобный поступок не совсем сообразуется с моими годами и доброй славой, но, поскольку он будет способствовать превращению достойного телохранителя в главу государства, я не считаю зазорным для себя устроить нашему так называемому кесарю свидание с прекрасной дамой, которого он так жаждет. Ну, а как у тебя подвигаются дела с варягами, — ведь они должны стать исполнителями нашего плана?

— Далеко не так хорошо, как хотелось бы, но все же кое-кого я смог убедить, и десятков шесть воинов держат мою сторону. Я не сомневаюсь, что, как только кесарь будет устранен, они потребуют избрания Ахилла Татия!

— А тот храбрец, который присутствовал при чтении, твой Эдуард, как окрестил его Алексей?

— Его согласиен мне не удалось заручиться, и я очень об этом сожалею, ибо соратники его высоко ценят и охотно пошли бы за ним. Сейчас я отправил его дополнительным стражем к этому меднолобому графу Парижскому, которого он, вероятно, убьет, — ведь

¹ Жизнь и душа (греч.). (Прим. автора.)

они оба питают непреодолимую страсть к поединкам. А если потом крестоносцы вздумают объявить нам из-за этого войну, достаточно будет выдать им нашего варяга, объяснив, что он — единственный виновник преступления, на которое его толкнула ненависть к графу... Скажи мне, после того, как все будет подготовлено, как и когда мы расправимся с императором?

— Об этом придется посоветоваться с кесарем, — ответил Агеласт. — Хотя блаженство, на которое он надеется сегодня, не более вероятно, чем повышение в сане, которого он ожидает завтра, и хотя думает он лишь о том, как бы добиться успеха у графини, а не о том, чтобы воссесть на престол, все же нам, для ускорения нашего предприятия, следует обращаться с ним как с главою заговора. Мое же мнение, доблестный Татий, таково: завтра Алексей будет в последний раз держать бразды правления.

— Дай мне знать обо всем как можно скорее, чтобы я вовремя предупредил наших сообщников: они приведут к дворцу восставших горожан и Бессмертных, которые заодно с нами... И, главное, мне нужно отослать на дальние сторожевые посты тех варягов, которым я не доверяю.

— Можешь положиться на меня: как только я поговорю с Никифором Вриением, ты сразу получишь самые точные сведения и указания. Позволь задать тебе один лишь вопрос: что мы будем делать с женой кесаря?

— Отправим ее в такое место, где мне уже никогда не придется слушать ее исторические сочинения. Если бы не эти ежевечерние муки с ее проклятыми чтениями; я был бы настолько великодушен, что сам занялся бы ее судьбой и научил отличать настоящего императора от этого Вриения, который так много мнит о себе.

На этом они расстались, причем и взгляд главного телохранителя и его осанка стали куда более величественными, чем в начале беседы.

Агеласт посмотрел ему вслед с презрительной усмешкой.

— Этот жалкий глупец не видит пылающего факела, который не преминет его испепелить. Ничтожный человек, он не научился ни действовать, ни думать, ни дерзать; даже нищие его мысли — если можно назвать их мыслями, настолько они нищи, — плод чужого ума! И он надеется провести пылкого, надменного, гордого Никифора Вриенния! Если это ему и удастся, то лишь с помощью чужой изворотливости и, уж конечно, чужой отваги. И Анна Комнин, это воплощение остроумия и таланта, не соединит свою судьбу с таким тупым чурбаном, как этот полуварвар. Нет, она получит в супруги истинного грека, овладевшего всеми науками, которые процветали во времена величия Рима и славы Греции. Монарший престол становится особенно приятательным, если его можно разделить с женщиной, чьи знания позволят ей надлежащим образом уважать и ценить ученость императора.

Горделиво выпрямившись, он сделал несколько шагов, но затем, словно ощутив угрызения совести, добавил вполголоса:

— Но если Анне суждено стать императрицей, тогда Алексей должен умереть — надеяться на его согласие нельзя... Ну что ж... Какое значение имеет смерть обыкновенного человека, если она возводит на престол философа и летописца? И разве властители империи интересовались когда-нибудь, при каких обстоятельствах и от чьей руки пали их предшественники?.. Диоген! Эй, Диоген!

Раб явился не сразу, и Агеласт, замороженный видениями своего будущего величия, успел прибавить еще несколько слов:

— Пустяки! Раз уж мне все равно придется, как утверждают священники, держать ответ перед богом за многие мои деяния, добавим к их числу и это... Можно расправиться с императором самыми различными способами, а самому остаться при этом в тени. Даже если внимательный взор и разглядит на наших руках пролитую нами кровь, все равно чела нашего она не запятнает!

Тут вошел Диоген.

— Перевезли французскую графиню? — спросил философ.

Раб кивнул головой.

— Как она отнеслась к переезду?

— Довольно благосклонно, когда узнала, что это было сделано по твоему распоряжению, господин. Сперва она пришла в ярость из-за того, что ее разлучили с мужем и задержали во дворце, и учинила расправу над дворцовыми рабами — говорят, будто нескольких она даже зарубила. Но надо полагать, что они просто насмерть перепугались. Она тотчас узнала меня, а когда я передал ей предложение укрыться в твоём жилище и жить там, пока тебе не удастся освободить ее супруга, она тут же согласилась, и я перевез ее в потайной домик в садах Венеры.

— Превосходно, мой верный Диоген! — воскликнул философ. — Ты подобен тем восточным духам, которые покорны словам заклания: стоит мне только выразить желание, как оно уже исполнено!

Низко поклонившись, раб удалился.

«Но понимаешь ли ты, раб, — подумал Агеласт, — что слишком много знать — опасно? Если меня в чем-нибудь заподозрят, я окажусь во власти Диогена, ибо ему известны почти все мои тайны...»

Его размышления прервал троекратный стук по одной из стоявших снаружи статуй; статуи эти были прозваны поющими, потому что стоило к ним прикоснуться, как они начинали звенеть.

— Это стучит кто-то из наших друзей; кому же, однако, вздумалось прийти так поздно?

Он коснулся посохом статуи Изиды, и в храм вошел кесарь Никифор Вриенний в греческой одежде, красиво уложенные складки которой говорили о желании ее владельца выгодно подчеркнуть свою внешность.

Лицо Агеласта приняло выражение суровой сдержанности.

— Надеюсь, государь, — обратился он к кесарю, — ты пришел известить меня о том, что, поразмыслив, решил не встречаться сейчас с французской

графиней и отложить беседу с ней до той поры, когда наш заговор будет успешно завершен хотя бы в главной своей части?

— Нет, философ, — ответил кесарь, — мое решение, однажды принятое, уже не зависит от воли обстоятельств. Я благополучно завершил немало трудных дел и, поверь мне, готов к новым деяниям. Благогосклонность Венеры — награда за подвиги Марса; и я лишь тогда поклонюсь богу войны, служение которому сопряжено с такими трудами и опасностями, когда заранее буду уверен, что меня увенчают веткой мирта — символом расположения его прекрасной возлюбленной.

— Прости меня за дерзость, государь, — возразил Агеласт, — но подумал ли ты о том, что самым опрометчивым образом подвергаешь опасности не только империю, но и свою жизнь, а вместе с ней и мою и жизнь всех тех, кто присоединился к нашему смелому замыслу? И ради чего ты идешь на такой риск? Ради весьма непрочной благогосклонности полуженщины-полудьяволицы, которая в обоих своих обликах может погубить наш план: примет она твое поклонение или, оскорбясь, отвергнет, для нас то и другое одинаково губительно. Если она пойдет навстречу твоим желаниям, то потом захочет удержать своего возлюбленного подле себя, дабы избавить его от участия в опасном заговоре; а если она, как полагают, любит своего мужа и верна обету, данному перед алтарем, нетрудно представить себе, какую ненависть ты вызовешь в ней домогательствами, которые она уже сурово отвергла однажды.

— Оставь, старик! Ты впадаешь в детство; при всех твоих познаниях ты забыл изучить то, что наиболее достойно изучения — прекрасную половину рода человеческого. Подумай, какое впечатление должен произвести на женщину влюбленный, если звание у него не простое, наружность не отталкивающая и к тому же он может жестоко отомстить ей за отказ! Полно, Агеласт, перестань каркать и предвещать беду, точно ворон на горелом дубе. Произнеси лучше пышную речь — а ты это умеешь — на тему о том, что

робкому влюбленному никогда не удавалось завладеть прекрасной дамой и что престола достоин лишь тот, кто умеет вплетать мирты Венеры в лавровый венок Марса. Открой-ка мне потайной ход, который соединяет эти удивительные развалины с теми рощами, что подобны рощам Кипра или Наксоса.

— Пусть будет так, как тебе угодно! — с подчеркнuto глубоким вздохом сказал философ.

— Эй, Диоген! Поди сюда! — громко позвал кесарь. — Уж если тебя призывают на помощь, значит богиня коварства где-то близко... Ступай, открой потайной ход. Да, мой верный негр, богиня коварства недалеко, и стоит стукнуть камнем, как она ответит на зов.

Негр вопросительно посмотрел на своего господина, и тот взглядом подтвердил приказ кесаря. Подойдя к полуразрушенной стене, покрытой вьющимися растениями, Диоген осторожно отвел в сторону зеленые побеги. Открылась потайная дверца, неровно заложенная сверху донизу большими квадратными камнями. Раб вынул их и аккуратно сложил рядом с дверью, как бы намереваясь установить их потом обратно.

— Оставайся здесь и охраняй дверь, — приказал ему Агеласт, — не впускай никого, кроме тех, что подадут тебе условный знак, иначе заплатишься жизнью. Оставлять эту дверь незаложенной в такое время дня опасно.

Диоген подобострастно приложил руку сначала к мечу, затем к голове, словно давая клятву в верности до гроба — так рабы изъявляли обычно свою покорность велениям господина. Затем он зажег небольшой светильник, вынул ключ и, открыв внутреннюю деревянную дверь, собрался было войти в нее.

— Постой, друг Диоген, — остановил его кесарь. — Тебе не нужен светильник — ты ведь не собираешься искать здесь честного человека, а если и собираешься, то поиски твои будут тщетны. Прикрой дверь растениями и, как тебе уже приказал твой господин, не отходи от нее до нашего возвращения, чтобы

прохожие не любопытствовали, куда эта дверь ведет.

Отступив, раб вручил светильник кесарю, и Агеласт, ведомый лучом света, двинулся вслед за Никифором Вриеннием по длинному, узкому, сводчатому проходу, щедро снабженному отдушинами и далеко не столь запущенному, как это можно было предположить, глядя на него снаружи.

— Я не войду с тобой ни в сады, ни в домик Венеры, — сказал Агеласт, — потому что слишком стар, чтобы поклоняться ей. Ты и без меня отлично знаешь дорогу, августейший кесарь, ибо ходил по ней уже много раз и, если не ошибаюсь, прогулки эти были тебе весьма приятны.

— Тем более я буду признателен верному Агеласту, — возразил кесарь, — который готов пренебречь бременем преклонных лет, чтобы услужить юному пылу своих друзей!

Глава XVIII

Вернемся теперь во влахернскую темницу, где волей случая был заключен временный союз между храбрым варягом и графом Робертом Парижским, обладавшими большим сходством характеров, чем каждый из них согласился бы признать. Варяг отличался теми естественными, непритворными добродетелями, какими сама природа одаривает отважных людей, не знающих страха и всю жизнь стремящихся навстречу опасности. Что касается графа, то наряду с храбростью, великодушием и страстью к приключениям — качествами, присущими настоящему воину, — он еще обладал добродетелями, отчасти существующими в действительности, отчасти вымышленными, которыми дух рыцарства наделял в его стране людей высокого звания. Одного можно было уподобить алмазу в том виде, в каком его добыли в россыпях, еще не отшлифованному и не оправленному; другой напоминал отделанный ювелиром драгоценный

камень; искусно отгранный и вставленный в богатую оправу, камень этот, может быть, и утратил частицу своей первоначальной прелести, но зато стал, с точки зрения знатока, более ярким и блистательным, чем в то время, когда он, выражаясь языком гранильщиков, находился en brut.¹ В одном случае ценность была искусственно увеличенной, в другом — более естественной и подлинной. Таким образом, обстоятельства породили временное содружество двух людей, чьи натуры были так близки по самой своей сути, что их разделяло лишь воспитание, привившее, однако, обоим стойкие предубеждения, которые легко могли породить между ними вражду. Варяг повел разговор с графом в тоне столь бесцеремонном, что он смахивал на грубость, и хотя Хирвард говорил так в простоте душевной, его новоиспеченный соратник вполне мог бы почувствовать себя задетым. Особенно оскорбительным в манерах варяга представлялось унаследованное им от предков-саксов дерзкое пренебрежение титулами тех, к кому он обращался, весьма неприятное франкам и норманнам, которые уже обзавелись феодальными привилегиями и упорно цеплялись за них, за всю мишуру геральдики и за рыцарские права, почитая их исключительной принадлежностью своего сословия.

Надо сказать, что хотя Хирвард не слишком высоко ценил эти отличия, он в то же время склонен был восхищаться как могуществом и богатством Греческой империи, которой служил, так и величием императорской власти, воплощенной для него в Алексее Комнине; это величие варяг приписывал заодно и греческим военачальникам, поставленным Алексеем над варягами, особенно же Ахиллу Татию. Хирвард знал, что Татий трус, и догадывался, что он негодяй. Но император жаловал наградами варягов вообще, и Хирварда в частности, именно через главного телохранителя, а тот умел представить эти милости как некий более или менее прямой результат своего посредничества. Он слыл энергичным заступником варягов,

¹ В сыром, необработанном виде (франц.).

когда им случалось повздорить с воинами из других отрядов, был снисходителен и щедр, каждому воздавал должное, и если пренебречь такой малостью, как храбрость, которая никак не являлась его сильной стороной, то лучшего начальника нельзя было и пожелать. Помимо того, наш друг Хирвард был особо отмечен главным телохранителем, принимал участие в его тайных вылазках и посему разделял ту — выражаясь хоть и грубовато, но образно — собачью привязанность, которую питала к этому новому Ахиллу большая часть его приспешников.

Их отношение к начальнику можно, пожалуй, определить как приязнь настолько сильную, насколько это бывает возможным при полнейшем отсутствии уважения. Поэтому в составленный Хирвардом план освобождения графа Парижского входила такая доля верности императору и его аколиту, или главному телохранителю, которая не помешала бы оказанию помощи несправедливо пострадавшему франку.

В соответствии с этим планом варяг вывел графа из-под сводов влахернского подземелья, все запутанные ходы которого он отлично знал, ибо в последнее время Татий неоднократно назначал его туда на стражу, считая, что такая осведомленность может в дальнейшем сослужить службу заговорщикам. Когда они выбрались наружу и отошли на значительное расстояние от мрачных дворцовых башен, Хирвард без обиняков спросил графа Парижского, знает ли он философа Агеласта. Граф ответил отрицательно.

— Послушай, рыцарь, ты же сам себе вредишь, играя со мной в прятки, — сказал Хирвард. — Ты не можешь его не знать. Я сам видел вчера, что ты у него обедал.

— Ах, у этого ученого старца? Я не знаю о нем ничего такого, что стоило бы скрывать или в чем стоило бы признаваться. Непонятный он человек — полугерольд-полушут...

— Полусводник и полный мошенник, — дополнил варяг. — Он прикидывается добряком, чтобы потворствовать чужим порокам; болтает о философии, чтобы оправдать свое безбожие и развращенность; разы-

грызает необыкновенную преданность императору, чтобы лишить этого слишком доверчивого государя жизни и престола или, если его замыслу помешают, чтобы предать своих простодушных сообщников и довести их до гибели.

— И, зная все это, ты не выводишь его на чистую воду? — спросил граф Роберт.

— Будь спокоен: пока еще Агеласт достаточно силен, чтобы расстроить любой мой замысел, направленный против него, но придет время — а оно уже не за горами, — когда император увидит, что это за человек, и тогда держись, философ, не то варвар собьет тебя с ног, клянусь святым Дунстаном! Мне только хотелось бы вырвать из его когтей безрассудного друга, который верит его лживым речам!

— Но какое отношение к этому человеку и его заговорам имею я? — спросил граф.

— Немалое, хотя сам ты ничего об этом не знаешь. Заговор Агеласта поддерживает не кто иной, как кесарь, которому больше всех надлежало бы хранить верность императору; но с тех пор как Алексей создал должность себастократора — лица, по сану своему стоящего ближе к престолу, чем даже кесарь, Никифор Вриенний стал проявлять недовольство и раздражение. Трудно сказать, однако, когда он присоединился к затее двуличного Агеласта. Я знаю только, что тот давно уже сорит деньгами, потакая таким путем всем порокам и расточительности кесаря: ведь философ настолько богат, что может это себе позволить. Он подстрекает кесаря пренебречь женой, хотя она и дочь императора, сеет разлад между ним и царской семьей. И если Никифор утратил былую славу разумного человека и хорошего военачальника, то произошло это потому, что он следовал советам лукавого царедворца.

— Но что мне до всего этого? — сказал франк. — Пусть Агеласт будет кем угодно, верным слугой или угодливым корыстолюбцем, я и мои близкие не настолько связаны с его государем, Алексеем Комнином, чтобы вмешиваться в дворцовые интриги.

— Вот тут ты как раз ошибаешься, — со свойственной ему прямою сказал варяг. — Если эти интриги затрагивают счастье и добродетель...

— Клянусь смертью тысячи великомучеников! — воскликнул франк. — Гнусные интриги и происки рабов не могут бросить даже тень подозрения на благородную графиню Парижскую! Да пусть выступят свидетелями все твои сородичи, все равно я не поверю, что хоть одна грешная мысль коснулась моей жены!

— Прекрасно сказано, доблестный рыцарь! — заметил англосакс. — Такой супруг, как ты, придется по вкусу константинопольцам — они любят доверчивых слепцов. При нашем дворе у тебя найдется немало последователей и подражателей...

— Слушай, приятель, — прервал его франк, — оставим пустые разговоры и пойдем поищем уединенное местечко в этом бестолковом городе, где можно было бы закончить дело, которое нам пришлось прервать.

— Будь ты хоть герцогом, а не графом, все равно я в любую минуту готов продолжить наш поединок. Подумай однако, какой это будет неравный бой! Если я паду, никто обо мне не заплачет, но принесет ли моя смерть свободу твоей жене, если графиня находится в заточении, обелит ли она ее честь, если эта честь запятнана? Не станет единственного человека, который, пренебрегая опасностью, хочет тебе помочь, хочет соединить тебя с женой и снова поставить во главе твоего войска, — вот и все, чего ты добьешься.

— Я был неправ, признаюсь, — сказал граф Парижский, — глубоко не прав; но будь осторожен, друг мой, сочетая имя Бренгильды Аспрамонтской со словом «бесчестие». Вместо того чтобы вести этот ненужный разговор, скажи мне лучше, куда мы направимся?

— В Агеластовы сады Венеры; они уже недалеко, но я уверен, что туда существует какой-то более короткий путь, чем тот, которым мы идем; иначе как объяснить, что Агеласт, едва успев покинуть свои чудесные сады, уже оказывается в мрачных развалинах храма Изиды или во Влахернском дворце?

— А почему ты решил, что мою жену насильно удерживают в этих садах, и давно ли она там?

— Со вчерашнего дня, — ответил Хирвард. — Я сам и, по моей просьбе, кое-кто из моих товарищей внимательно наблюдали за кесарем и твоей супругой, и мы отлично видели и его пылкие домогательства и ее гневное сопротивление, которому Агеласт из дружеских чувств к Никифору решил, видимо, положить предел, разлучив вас обоих с крестоносцами. По замыслу этого достопочтенного мудреца, жена твоя, подобно многим женщинам до нее, будет иметь счастье жить в его садах, меж тем как ты навеки поселишься во влахернской темнице.

— Негодяй! Почему ты не сказал мне об этом вчера?

— А ты полагаешь, что я мог так просто покинуть свой пост, чтобы сообщить это все человеку, которого считал тогда злейшим своим врагом? Тебе следовало бы возблагодарить небо за стечение обстоятельств, которое пробудило во мне желание стать твоим другом и помочь тебе, а ты вместо этого говоришь со мной столь неподобающим тоном!

Граф Роберт понимал, насколько справедливы слова варяга, но ему трудно было совладать со своей неистовой натурой, неизменно побуждавшей его вымещать гнев на том, кто оказывался у него под рукой.

Но тут они подошли к месту, которое жители Константинополя называли Садами философа. Хирвард надеялся, что сможет в них проникнуть, ибо знал какую-то часть условных знаков Ахилла Татия и Агеласта с тех самых пор, как встретился со старцем среди развалин храма Изиды. Разумеется, заговорщики не полностью посвятили Хирварда в свою тайну, тем не менее, полагаясь на его привязанность к главному телохранителю, спокойно доверили ему некоторые сведения, вполне достаточные для того, чтобы человек, наделенный такой острой проницательностью, как англосакс, со временем догадался и обо всем остальном. Граф Роберт со своим спутником остановились перед сводчатой дверью в высокой глухой стене,

и англосакс уже собрался было постучать, как вдруг его осенила новая мысль:

— А что, если нам откроет дверь этот негодяй Диоген? Нам придется убить его, не то он убежит и выдаст нас. Ничего не поделаешь, иначе нельзя, тем более что он получит по заслугам, — у этого мерзавца на совести немало кровавых преступлений.

— Но убить его должен ты, — заявил граф Роберт. — Он ближе по положению к тебе, чем ко мне, и я не намерен осквернять имя Карла Великого кровью черного раба.

— И не нужно, избави бог; но если к нему придут на выручку, придется и тебе вступить в это дело, не то меня одолеют в неравном бою.

— Неравный бой быстро превратится в *mêlée* — в общую схватку, и уж тогда, поверь мне, я не стану медлить, ибо смогу сражаться, не роняя чести.

— В этом я не сомневаюсь, — ответил варяг, — однако мне кажется странным такое понимание чести, которое запрещает человеку защищаться или нападать на противника, пока он не узнает всей его родословной.

— Пусть тебя это не смущает, — сказал граф Роберт. — Правда, законы рыцарства очень строги, но если вопрос стоит так: сражаться или не сражаться, — ответ обычно бывает утвердительным.

— Тогда попробуем постучать, посмотрим, какой злой дух явится на это заклятие.

Варяг постучал особым образом, и дверь отворилась внутрь. На пороге стояла карлица-негритянка; седина ее волос странно противоречила темной коже и широкой усмешке, свойственной этому племени. Внимательный наблюдатель, присмотревшись к ее лицу, понял бы, что это существо исполнено злобы и способно радоваться чужим горестям.

— Скажи мне, Агеласт сейчас... — начал было варяг, но она прервала его, указав на тропинку, исчезающую в зеленом сумраке.

Англосакс и франк сделали уже несколько шагов, когда негритянка буркнула им вслед:

— Ты принадлежишь к посвященным, варяг, но подумай, прежде чем брать кого-нибудь с собой; может статься, тебя и самого плохо примут.

Хирвард подтвердил кивком, что понял ее, и они тут же скрылись из виду. Дорожка плавно вилась по тенистому саду, разбитому на восточный манер; даже в полуденный зной здесь было прохладно и легко дышалось благодаря пышным цветочным клумбам, зарослям цветущих кустов и густым кронам высоких деревьев.

— Сейчас нам надо быть особенно осторожными, — понизив голос до шепота, сказал Хирвард, — потому что лань, за которой мы охотимся, скорее всего укрылась тут. Дай-ка лучше я пойду первым: ты слишком встревожен, чтобы сохранять хладнокровие, а оно всегда необходимо тому, кто отправляется в разведку. Спрячься за тем дубом и, как только услышишь шаги, забудь о всех причудах своей чести и лезь под кусты, под землю, куда хочешь. Если голубки пришли к согласию, Агеласт, надо думать, ходит дозором, чтобы им никто не помешал.

— Дьявольщина! — вскричал взбешенный франк. — Этого быть не может! Владычица сломанных копий, отними лучше жизнь у твоего слуги, но не подвергай его такой пытке!

Тем не менее он понимал, что необходимо держать себя в руках, поэтому безропотно пропустил варяга вперед, но ни на минуту не спускал с него глаз.

Сделав несколько шагов, граф увидел, что Хирвард проскользнул к домику, стоявшему неподалеку от того места, где они расстались. Подойдя вплотную к одному из окон, почти полностью затененных разросшимися цветущими кустами, варяг сперва заглянул в него, а потом прижался к нему ухом. Графу показалось, что лицо его друга выразило сосредоточенный интерес, и ему страстно захотелось поскорее узнать то, что, несомненно, уже стало известно варягу.

Поэтому он стал красться вперед, вдоль того же навеса из переплетенной листвы, который скрывал от

посторонних глаз Хирварда; граф двигался так неслышно, что дотронулся до руки англосакса прежде, чем тот его заметил.

Почувствовав прикосновение и думая, что это кто-то чужой, Хирвард круто повернулся, вне себя от гнева. Однако, увидев франка, он только пожал плечами, как бы выражая снисходительную жалость к столь необузданному нетерпению, и отступил в сторону, предоставив графу возможность самому заглянуть в щель в оконной раме, такую маленькую, что ее не заметил бы изнутри самый острый глаз. Слабый свет, проникавший в эту обитель наслаждений, должен был поощрять те чувства, в честь которых и воздвигались храмы Венеры. Сквозь стекло видны были картины и скульптурные группы, подобные тем, что украшали дом у водопада, но наводившие на более игривые мысли, чем в этом первом их приюте. Спустя немного времени дверь отворилась, и в комнату вошла графиня, в сопровождении своей прислужницы Агаты. Благородная дама опустилась на ложе, а прислужница, молодая и очень красивая девушка, скромно остановилась поодаль, в тени, наполовину скрывавшей ее лицо.

— Что ты думаешь о столь подозрительном друге, как Агеласт, и о столь любезном враге, как человек, которого здесь называют кесарем? — спросила графиня.

— Я полагаю, что под личиной дружбы старик таит ненависть, а кесарь выдает за любовь к отечеству, не позволяющую ему отпустить врагов на свободу, слишком пылкое чувство к своей прекрасной пленнице.

— За это чувство кесарь будет наказан так же сурово, как если бы он на деле, а не только на словах был моим лютым врагом. О мой верный, мой благородный супруг! Когда б ты знал, каким тяжким испытаниям они подвергли меня, ты преодолел бы все преграды, чтобы поспешить мне на помощь!

— Если ты мужчина, как можешь ты мне советовать слушать все это и оставаться в бездействии? — шепнул граф Роберт своему спутнику.

— Я мужчина, — возразил англосакс, — и ты мужчина, но сколько ни складывай, нас всего лишь двое; а стоит, вероятно, кесарю свистнуть или Агеласту закричать, как сюда сбежится не меньше тысячи головорезов, с которыми нам не справиться, даже если бы мы не уступали в смелости Бевису из Гемптона... Молчи и не шевелись. Советую тебе это не потому, что опасаюсь за свою жизнь, — ты видишь, я не очень-то ее ценю, раз я согласился принять участие в такой диковинной затее, да еще с таким сумасбродным товарищем, как ты, — а потому, что хочу спасти тебя и твою жену, которая, судя по всему, столь же добродетельна, сколь прекрасна.

— Сначала коварный старик ввел меня в заблуждение, — продолжала меж тем графиня Бренгильда, обращаясь к прислужнице. — Он прикинулся таким высоконравственным, таким ученым, таким честным и правдолюбивым, что я отчасти поверила ему; но стоило мне открыть его сговор с презренным кесарем, глянец сразу стерся и отвратительная сущность этого старика предстала передо мной во всей своей неприглядности. Но все же, если я смогу с помощью хитрости или притворства провести этого первейшего из обманщиков — ибо других средств защиты он меня лишил, — я не побрезгую этим оружием, и еще неизвестно, кто из нас окажется хитрее!

— Слышишь? — сказал графу Парижскому варяг. — Твоя благоразумная супруга соткет отменную паутину, не вздумай только порвать ее своим нетерпением. В делах такого рода я всегда предпочту мужской доблести женскую хитрость! Не будем вмешиваться до тех пор, пока не увидим, что наша помощь необходима и для спасения графини и для удачного завершения нашего предприятия!

— Аминь, — произнес граф Парижский. — Но не надейся, мой благоразумный сакс, что я соглашусь уйти отсюда, не отомстив гнусному кесарю и мнимому философу, если тот действительно носит личину... — Граф невольно повысил голос, и варяг без всяких церемоний зажал ему рот рукой. — Ты поз-

воляешь себе слишком много! — сказал граф, но все же эти слова он произнес шепотом.

— Еще бы! — ответил Хирвард. — Когда горит дом, я не задумываюсь над тем, какой водой я тушу пожар — простой или ароматичной!

Тут франк вспомнил, в каком положении он находится, и хотя манера сакса просить извинения не совсем удовлетворила его, он тем не менее замолчал. В это время раздался какой-то шум, графиня прислушалась и изменилась в лице.

— Агата! — воскликнула она. — Мы с тобой — словно рыцари на поле брани, и, как видишь, наш противник приближается. Уйдем в соседнюю комнату: эта встреча несет мало радости, постараемся хоть немного ее оттянуть.

И, открыв дверь позади ложа, на котором раньше сидела Бренгильда, обе женщины вышли в комнату, служившую чем-то вроде прихожей.

Не успели они скрыться, как с другой стороны тотчас же, словно в театральном представлении, появились кесарь и Агеласт. Они по всей видимости слышали последние слова Бренгильды, ибо кесарь вполголоса произнес:

— *Militat omnis amans, habet et sua castra Cupido.*¹ Итак, наша прекрасная противница отвела свои войска. Ну что ж, стало быть она начала готовиться к бою, когда врага еще не было видно. На сей раз, Агеласт, тебе не придется упрекать меня в том, что я поторопился с любовной атакой и лишил себя удовольствия, которое получаешь от преследования. Клянусь, я буду вести наступление так осторожно, словно плечи мои отягощены бременем лет, разделяющих нас с тобой, ибо я сильно подозреваю, что этот злобный завистник, зовущийся Временем, выщипал все перья из крыльев, подаренных тебе Купидоном.

— Ты ошибаешься, могущественный кесарь, — ответил старик, — не Время, а Благоразумие вырывает

¹ Всякий влюбленный — солдат, и есть у Амура свой лагерь (лат.). (Перевод Г. Шамова.).

из крыльев Купидона лишние перья, оставляя ему ровно столько, сколько надобно для плавного и устойчивого полета.

— Ты, однако, летал более стремительно, когда накапливал эти доспехи, этот арсенал Купидона, из коего ты великодушно позволил мне подобрать оружие или, вернее, пополнить личное снаряжение.

И кесарь окинул взглядом драгоценные камни, золотую цепь, браслеты и другие украшения, сверкавшие на его новом великолепном одеянии, надевом после прихода в сады и выгодно оттенявшем его весьма красивую внешность.

— Я счастлив, — ответил Агеласт, — что среди безделок, которые я уже не ношу теперь, да и в молодые лета носил очень редко, ты нашел какую-то малость, могущую подчеркнуть твою природную красоту. Помни только о нашем условии: все мелочи, составившие часть твоего одеяния в этот знаменательный день, уже не могут быть возвращены их ничтожному владельцу — они должны остаться собственностью той высокой особы, которую однажды украсили.

— На это я не могу согласиться, мой достойный друг, — сказал кесарь. — Я знаю, что ты относишься к этим вещам как истый философ, то есть ценишь в них лишь связанные с ними воспоминания. Вот, например, этот большой перстень с печатью — по твоим словам, он принадлежал Сократу; стало быть, при взгляде на него, ты сразу начинаешь благодарить небо за то, что твоей философии никогда не докучала какая-нибудь Ксантиппа. А вот эти застежки в былые времена, расстегиваясь, открывали взорам прелестную грудь Фрины; теперь же они принадлежат тому, кто не больше способен отдать дань ревниво охраняемым ими красотам, чем циник Диоген. А эти пряжки...

— Не расточай передо мной своего остроумия, любезный юноша или, вернее, благородный кесарь, — сказал несколько уязвленный Агеласт. — Прибереги свое красноречие, оно тебе еще весьма понадобится.

— Не беспокойся за меня. Но пора уже нам, с твоего соизволения, блеснуть тем, чем нас одарила природа и что предоставил нам наш дорогой, достойный друг... О-о! — воскликнул кесарь, когда дверь внезапно распахнулась и перед ним появилась графиня, — наши желания предупреждены...

Никифор с глубоким почтением склонился перед Бренгильдой, которая внесла кое-какие изменения в свой наряд, чтобы придать ему еще больше великолепия, и вышла из той комнаты, куда недавно удалилась.

— Приветствую тебя, благородная госпожа, — сказал кесарь. — Я пришел принести извинения за то, что задержал тебя, отчасти против твоей воли, в этом удивительном уголке, где ты очутилась весьма неожиданно для себя.

— Не отчасти, — возразила графиня, — а полностью против моего желания, ибо я не хочу расставаться с моим супругом, графом Парижским, и его соратниками, крестоносцами, вставшими под его знамена.

— Не сомневаюсь, что таковы были твои чувства, когда ты покидала Запад, — вмешался Агеласт, — но неужели, прекрасная графиня, эти чувства не изменились теперь? Ты оставила берега, обогранные людской кровью, которая льется там по любому поводу, и приехала в такие края, где прежде всего думают о людском благоденствии и неустанно о нем пекутся. Там, на Западе, особенно почитают представителей и представительниц рода человеческого, которые умеют жестоко тиранить других людей, и делать их несчастными, а в нашем мирном государстве мы венчаем цветами остроумных юношей и прелестных женщин, которые умеют составить счастье любящего их человека.

— Однако же, достопочтенный философ, столь искусно восхваляющий ярмо наслаждений, ты противоречишь всему, что мне было внушено с детства, — сказала графиня. — В стране, где меня вскормили, не следуют твоему учению, и браки у нас заключаются, как у льва со львицей, — то есть только тогда, когда женщина признает превосходство и силу муж-

чины. Наши правила таковы, что любая девушка, даже простого происхождения, сочтет для себя унижительным выйти замуж за человека, еще не прославившегося бранными подвигами.

— И все же, благородная графиня, даже умирающий вправе питать хотя бы слабую надежду, — ответил кесарь. — О, если б можно было уповать на то, что боевые подвиги завоюют привязанность, которая скорее была украдена, чем честно завоевана, сколько нашлось бы охотников принять участие в соревновании, где победителю обещана столь прекрасная награда! Нет подвига, который показался бы слишком трудным во имя достижения такой цели! Нет человека, который, обнажив меч ради этой награды, не дал бы тем самым клятву вложить его в ножны лишь тогда, когда сможет гордо воскликнуть: «Я уже заслужил то, чего еще не обрел!»

Надеясь, что последние слова кесаря произвели впечатление на Бренгильду, Агеласт поспешил усилить их действие, добавив:

— Вот видишь, графиня, огонь рыцарской доблести пылает в груди у греков не менее жарко, чем у жителей Запада.

— О, еще бы! — ответила Бренгильда. — Я ведь слышала о прославленной осаде Трои: малодушный негодай, похитив жену у благородного человека и испугавшись встречи с оскорбленным мужем, стал под конец виновником не только гибели своих многочисленных сограждан, но и разрушения родного города со всеми его богатствами, после чего умер как жалкий трус, оплаканный лишь своей недостойной любовницей. Вот видите, как толковали законы рыцарства ваши предки!

— Ты не права, прекрасная дама, — сказал кесарь. — Только развращенный азиат мог совершить то, что совершил Парис, а отомстили за его преступление мужественные греки.

— Ты преисполнен учености, но я поверю твоим словам, лишь если ты сможешь мне показать такого греческого рыцаря и храбреца, который при взгляде на герб и девиз моего мужа не задрожит от страха!

— Я полагаю, это не так уж трудно сделать, — ответил кесарь. — Быть может, меня испортили лестию, но все же до сих пор я считал, что могу скрепить оружие с противником куда более опасным, чем тот, кто по прихоти судьбы добился брака с Бренгильдой Аспрамонтской.

— Это легко проверить, — сказала графиня. — Вряд ли ты будешь отрицать, что мой муж, разлученный со мной с помощью какой-то бесчестной уловки, все еще находится в твоей власти, и по первому твоему знаку может предстать перед тобой. Я не прошу для него никаких доспехов, кроме тех, в которые он облачен, никакого оружия, кроме его доброго меча Траншфера; сразись с ним тут или на какой-нибудь другой, столь же тесной арене, и ежели он отступит, или запросит пощады, или падет мертвым к твоим ногам — Бренгильда станет наградой победителю! Господи! — воскликнула она, опускаясь на ложе. — Прости меня за то, что я преступно позволила себе даже помыслить о таком конце: ведь это все равно что усомниться в непогрешимости твоего правосудия!

— Позволь мне, однако, подхватить эти драгоценные слова, прежде чем их унесет ветер! — воскликнул кесарь. — Позволь мне надеяться, что тот, кому небо ниспошлет силу для победы над высокородным графом Парижским, унаследует любовь Бренгильды; само солнце, поверь, не опускается к месту своего отдохновения с такой быстротой, с какой я поспешу на этот поединок!

— Клянусь небом, — взволнованно шепнул Хирварду граф, — как можешь ты требовать от меня, чтобы я стоял здесь и терпеливо слушал этого презренного грека, который удрал бы с арены, едва слышав звенящее прощание Траншфера с ножами, а тут смеет бросать мне вызов в мое отсутствие и пытается объясняться в любви даме *par amours*!¹ Да и Бренгильда, сдается мне, позволяет, вопреки своему обыкновению, чересчур много вольностей этому болтливому щеголю! Клянусь распятием, я ворвусь

¹ Здесь — моего сердца (франц.).

туда, предстану перед ними и так отвечу хвастуну, что он надолго запомнит!

— Придется тебе подчиниться голосу рассудка, пока я с тобой, — ответил варяг, единственный слушатель этой пламенной речи. — Вот когда мы расстанемся, тогда уж пусть бес странствующего рыцарства, который имеет над тобой такую власть, сажает тебя к себе на плечи и мчит куда ему заблагорассудится.

— Ты груб и жесток, — сказал граф, сопровождая свои слова презрительным взглядом. — Ты не только бесчеловечен, но у тебя даже нет врожденного чувства чести или стыда. Самое жалкое животное не станет покорно подпускать другого к своей подруге. Бык всаживает в соперника рога, пес пускает в ход зубы, и даже робкий олень свирепеет и бодается.

— На то они и животные, — возразил варяг, — и самки их тоже лишены стыда и рассудка и не знают святости сердечного выбора. Но неужели ты не видишь, граф, что твоя бедная, всеми покинутая супруга стремится сохранить тебе верность и избежать сетей, которыми ее опутали коварные люди? Клянусь душами праотцев, она так тронула меня своим хитроумием, сквозь которое проглядывают истинная чистота души и преданность, что если не найдется у нее лучшего рыцаря, я сам охотно подниму алебарду в ее защиту!

— Благодарю тебя, мой добрый друг, — сказал граф, — благодарю так сердечно, словно ты действительно оказался единственным заступником прекрасной дамы, предмета поклонения многих благородных вельмож и госпожи многих могущественных вассалов. И не просто благодарю, а более того — прошу у тебя прощения за то, что нанес тебе такую обиду.

— Мне нечего тебе прощать, ибо нельзя обижаться на то, что сказано в запальчивости. Тсс, они снова заговорили.

— Как ни странно, — заметил, расхаживая по комнате, кесарь, — но мне сейчас почудилось — нет, я почти уверен, Агеласт, — что слышал голоса где-то совсем близко от дома!

— Быть этого не может, — сказал Агеласт, — но все же пойду посмотрю.

Увидев, что Агеласт направляется к выходу, варяг подал франку знак, и они припали к земле под кущей вечнозеленого кустарника, где их невозможно было разглядеть. У философа была старческая поступь, но зоркие глаза, и, пока он не вернулся в дом, закончив свой безрезультатный обход, друзья лежали, соблюдая полное молчание и боясь пошевелиться.

— Знаешь, мой славный варяг, — сказал граф, — прежде чем снова занять наш наблюдательный пост, я должен тихонько признаться тебе, что никогда не устоял бы против огромного искушения разmozжить голову старому лицемеру, если б только этому не препятствовала моя честь. И как мне хочется, чтобы ты, человек, свободный от ее запретов, не только возымел подобное желание, но и осуществил его!

— Было у меня такое желание, но я подавил его, чтобы не подвергать опасности нас и особенно графиню.

— Благодарю тебя еще раз за доброе к ней отношение, — сказал граф Роберт. — Если уж нам придется в конце концов помериться силами, что весьма вероятно, я отнесусь к тебе как к достойному противнику и честно пощажу тебя, ежели дело обернется не в твою пользу.

— Я тебе весьма признателен, — последовал ответ, — но только, ради бога, помолчи теперь, а уж потом поступай как знаешь.

Прежде чем граф и варяг вернулись к окну, собеседники в доме, полагая, что никто их не подслушивает, заговорили снова с еще большим жаром, чем прежде, хоть и вполголоса.

— Не пытайся меня уверить, что ты не знаешь, где сейчас мой супруг, и что ты не властен над его судьбой, — сказала графиня. — В чьих же еще интересах изгнать или убить мужа, как не того, кто делает вид, будто восхищается женой?

— Ты несправедлива ко мне, прекрасная Бренгильда, — ответил ей кесарь, — и забываешь, что отнюдь не я держу бразды правления этого государ-

ства, что император — мой тесть Алексей, а женщина, называющая себя моей супругой, дьявольски ревниво следит за каждым моим шагом. Как же мог бы я повелеть, чтобы твоего мужа и тебя лишили свободы? Граф Парижский при всех нанес императору оскорбление, вот за это ему и решили отомстить, то ли хитро обманув его, то ли открыто применив к нему силу. Я же виновен только в том, что пал жертвой твоих чар. Лишь благодаря уму и искусству мудрого Агеласта мне удалось извлечь тебя из бездны, в которой ты, несомненно, погибла бы. Не плачь, прекрасная Бренгильда, — участь графа Роберта нам еще не известна, но все же, поверь мне, ты поступишь мудро, если перестанешь надеяться на возвращение графа и избереешь себе более надежного покровителя.

— Более надежного покровителя мне никогда не найти, даже если бы я могла выбирать среди рыцарей всего света!

— Моя рука, — сказал, приняв воинственную позу, кесарь, — решила бы этот вопрос, когда бы человек, которого ты столь высоко ценишь, был на свободе и ходил по земле.

— Ты... — пристально глядя на него, воскликнула Бренгильда, и лицо ее запылало от негодования, — ты... нет, бесполезно называть тебя твоим настоящим именем... однако, придет день, и мир узнает, что ты такое и чего ты стоишь... Слушай меня внимательно: Роберт Парижский погиб или томится в заточении. Он не может вступить с тобою в поединок, о котором ты якобы мечтаешь, но тут стоит Бренгильда из рода Аспрамонте, законная супруга славного графа Роберта Парижского. Еще ни один смертный не одолел ее в бою, за исключением доблестного графа, и если ты так горюешь, что не можешь вызвать ее мужа, то, конечно, не станешь возражать, если вместо него биться с тобой будет она!

— Как, благородная графиня, ты сама собираешься сразиться со мной? — спросил удивленный кесарь.

— Да, сражусь с тобой, со всей Греческой империей, с каждым, кто посмеет утверждать, что с

Робертом Парижским поступили по закону и бросили в темницу справедливо.

— А условия те же, как если бы граф сам вышел на поле боя? — спросил кесарь. — Победенный сдается душой и телом на милость победителя?

— Пусть будет так, — ответила графиня, — я иду на это. Но если не я, а мой противник будет повержен во прах, благородному графу Роберту должны вернуть свободу и отпустить с надлежащими почестями.

— Согласен, — сказал кесарь, — если только это будет в моей власти.

Но тут низкий, рокочущий звук, похожий на удар современного гонга, прервал их разговор.

Глава XIX

Хотя варяга и графа Роберта в любую минуту могли заметить, они продолжали стоять так близко от окна, что, если и недослышали каких-то слов, однако ничего существенного из разговора не упустили.

— Он принял ее вызов? — спросил граф Парижский.

— Принял, и очень охотно, — ответил Хирвард.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал крестоносец, — ибо он не знает, как искусно может владеть оружием женщина; для меня исход поединка решает очень многое, но, видит бог, я согласился бы, чтобы он решал еще больше, настолько я уверен в Бренгильде! Клянусь Владычицей сломанных копий, я хотел бы, чтобы каждая борозда на моих землях, каждое мое отличие, начиная с титула графа Парижского и кончая ремешком этих шпор, зависели от исхода честного боя между вашим кесарем, как он у вас зовется, и Бренгильдой Аспрамонтской!

— Твоя уверенность великодушна и отнюдь не опрометчива; но не следует забывать, что кесарь — сильный и к тому же красивый мужчина, что он прекрасно владеет оружием и, главное, не так строго,

как ты, относится к законам чести. Есть много способов увеличить свои преимущества и ослабить противника; по мнению кесаря, эти способы не нарушают равенства в поединке, хотя, быть может, благородный граф Парижский или даже безвестный варяг мыслят иначе. Но прежде всего дозволю увести тебя в какое-нибудь безопасное место: ведь твое бегство скоро обнаружат, если уже не обнаружили. Шум, который мы слышали, говорит о том, что в сад прибыл кто-то из заговорщиков, и на этот раз не по любовным делам. Я выведу тебя другой дорогой, не той, которой мы шли сюда. Есть у меня один план, более благоразумный, чем твой, но ты на него, вероятно, не согласишься...

— Какой же? Говори.

— Отдать свой кошелек, даже если он составляет все твое имущество, какому-нибудь бедному лодочнику, чтобы он перевез тебя через Геллеспонт, немедленно принести жалобу Готфриду Бульонскому, а заодно тем друзьям, которые у тебя есть среди крестоносцев, и уговорить их, что будет тебе совсем нетрудно, вернуться с многочисленным отрядом в Константинополь: пусть они пригрозят, что сейчас же начнут военные действия, если император откажется вернуть свободу твоей супруге, обманом ее лишенной, и своей властью предотвратят этот нелепый, противоземный поединок.

— И ты хочешь, чтобы я попросил крестоносцев воспрепятствовать честному поединку? Ты думаешь, Готфрид Бульонский отложит священный поход из-за столь недостойного повода, а графиня Парижская согласится принять помощь, которая спасет ей жизнь, но навеки запятнает честь, ибо эта помощь предполагает отказ от вызова, во всеуслышание и при свидетелях сделанного самой же графиней? Никогда!

— Стало быть, я неправ; видимо, мне не придумать ничего такого, что не противоречило бы твоим сумасбродным убеждениям. Вы только поглядите на этого человека — противник завлек его в ловушку, чтобы он не мог помешать коварным козням, которые направлены против его жены и угрожают ее жизни

и чести, а он считает необходимым вести себя с этими убийцами из-за угла так, будто они — честные люди!

— Все это горькая правда, но слово мое свято; дать его недостойному или вероломному врагу, быть может, очень неосторожно, но нарушить его потом — значит совершить бесчестное дело, и такого позора мне уже никогда не смыть со своего щита.

— Значит, ты ставишь честь своей жены в зависимость от исхода столь неравного боя?

— Да простят тебя всевышний и все святые угодники за подобную мысль! — воскликнул граф Парижский. — Я пойду смотреть на этот бой с такой же твердой верой, хоть и не с такой легкой душой, с какой всегда смотрел, как ломаются копья. Если же несчастье или предательство — потому что в честном бою такой противник не может победить Бренгильду Аспрамонтскую! — вынудят меня выйти на арену, я назову кесаря негодяем, ибо другого имени он не заслуживает, обнародую его коварство, обращусь ко всем благородным сердцам, и тогда... Бог всегда на стороне правого!

Хирвард покачал головой.

— Все это было бы еще возможным, — помолчав, сказал он, — если бы поединок происходил в присутствии твоих соотечественников или, на худой конец, если бы поле боя охраняли варяги. Но предательство так привычно для греков, что, право же, они сочтут поведение своего кесаря вполне простительной и естественной военной хитростью, внушенной владыкой Купидоном и заслуживающей улыбки, а не порицания или кары!

— Если эти люди способны смеяться над подобными шутками, пусть небо откажет им в поддержке даже в минуту их самой тяжелой нужды, когда мечи сломаются у них в руках, а их жены и дочери, схваченные безжалостными варварами, будут тщетно звать о помощи!

Хирвард поглядел на своего спутника, чьи горящие щеки и сверкающие глаза свидетельствовали о большом волнении,

— Я вижу, что ты принял решение, — сказал он. — Что ж, пусть его по праву можно назвать героическим безрассудством, но жизнь уже давно стала горька изгнаннику-варягу. Утро поднимает его с безрадостного ложа, на которое он лег вечером, исполненный отвращения к себе, наемнику, проливающему кровь в чуждых ему битвах. Он мечтал отдать жизнь за благородное дело, и вот оно представилось ему — вершина благородства и чести. Вяжется оно и с моим замыслом спасти императора; падение его неблагодарного зятя только облегчит мою задачу. — Он посмотрел на Роберта. — Ты, граф, заинтересован в этом деле больше всех, и потому я согласен подчиниться тебе, но позволь мне все-таки время от времени помогать тебе советами, быть может не очень возвышенными, но зато здравыми. Взять, к примеру, твое бегство из влахернской темницы — ведь оно скоро станет известным. Осторожность требует, чтобы я первый сообщил об этом, иначе подозрение падет на меня. Где ты собираешься укрыться? Помни, искать тебя будут всюду и весьма старательно.

— Что ж, ты очень обяжешь меня такими советами, — ответил граф, — и я буду признателен тебе за каждую ложь, которую тебе придется измыслить и произнести ради моего спасения. Прошу тебя лишь об одном: пусть этих выдумок будет поменьше — ведь я сам никогда такой монеты не чеканил.

— Позволь мне, граф, прежде всего сказать тебе, что ни один рыцарь, когда-либо носивший меч, не почитал правду так, как почитает ее вот этот бедный воин, если, конечно, он имеет дело с честными людьми; но если игру ведут нечисто, если обманом убаюкивают бдительность и сонным зельем одурманивают чувства, то поверь мне: тот, кто ничем не брезгует, лишь бы надуть меня, напрасно будет ждать, что я, которому платят такой негодной монетой, дам взамен лишь неподдельное, имеющее законное хождение золото. Пока что тебе нужно укрыться в моем бедном жилище, в варяжских казармах, — никому и в голову не придет искать тебя там. Возьми мой плащ и иди за мной; сейчас мы выберемся из садов Агеласта,

и ты сможешь спокойно следовать за мной, как подчиненный за начальником, — никакие подозрения на тебя не падут; да будет тебе известно, благородный граф, что на нас, варягов, греки не решаются смотреть слишком долго и пристально!

Они дошли до калитки, в которую впустила их негритянка; Хирвард достал ключ, открывавший дверь со стороны сада, — ему, видимо, разрешалось выходить самому из владений философа, хотя войти туда без содействия привратницы он не мог. Выбравшись на свободу, они прошли через город кружным путем; граф молча, не пытаясь возражать, следовал за Хирвардом до самых варяжских казарм.

— Поторапливайтесь, — сказал им часовой, — все уже обедают.

Хирвард был очень доволен этим сообщением: он боялся, что его спутника, чего доброго, остановят и начнут допрашивать. Он прошел боковым коридором к своему жилищу и ввел графа в маленькую комнату, спальню своего оруженосца, после чего, попросив у графа Роберта прощения за то, что ему придется ненадолго отлучиться, ушел, заперев дверь снаружи, — по его словам, он сделал это для того, чтобы туда никто не заглянул.

Демону подозрений было нелегко завладеть таким прямодушным человеком, как граф Роберт, но все же запертая дверь навела франка на мрачные мысли.

«Так ли уж честен этот человек, — подумал граф, — на которого я полностью положился, несмотря на то, что в его положении мало кто из наемников оказался бы достойным такого доверия? Ничто не мешает ему доложить начальнику стражи, что пленный франк, граф Роберт Парижский, чья жена вызвала кесаря сразиться с ней не на жизнь, а на смерть, убежал из влахернской темницы сегодня утром, но в полдень снова попался и сидит в заточении, на сей раз — в казармах варяжской стражи. Каким оружием буду я защищаться, если меня найдут здесь эти наемники? Все, что может сделать человек, я сделал, милостью нашей Владычицы сломанных копий. Я вступил в

единоборство с тигром и прикончил его, я убил тюремного стража и укротил его помощника — это гигантское свирепое существо. Мне удалось, видимо, привлечь на свою сторону варяга; но все это еще не дает мне оснований надеяться, что я смогу долго выстоять против десятка этих откормленных наемников, да еще когда во главе их стоит такой здоровенный молодчик, как мой недавний спутник. Нет, Роберт, стыдись! Подобные мысли недостойны потомка Карла Великого. С каких это пор ты снисходишь до того, что подсчитываешь своих противников? И давно ли ты сделался таким подозрительным? Человек, который справедливо гордится тем, что неспособен на обман, не имеет права относиться с недоверием к другим людям. У варяга открытый взгляд, он отменно хладнокровен в минуты опасности, а говорит так прямо и откровенно, как не станет говорить предатель. Если уж он обманщик, стало быть, лицемерна сама природа, ибо на его лице начертаны правдивость, искренность и смелость».

Размышляя о странности своего положения и стараясь побороть растущие недоверие и сомнения, граф Роберт вдруг почувствовал, что давно уже ничего не ел; в его сердце, и без того охваченное тревогой и страхами, начало закрадываться еще одно — куда более прозаическое — подозрение: не намереваются ли они сперва подорвать его силы голодом, а уже потом нагрянуть сюда и расправиться с ним?

Имели под собой почву эти подозрения или они были несправедливы, мы узнаем, если последуем за Хирвардом после того, как он вышел из своего жилища. Пообедав наспех, но с таким видом, будто очень проголодался и целиком поглощен едой, и избавившись с помощью этой уловки от неприятных расспросов и вообще от праздной болтовни, он сослался на свои обязанности и, покинув товарищей, быстро зашагал к Ахиллу Татию, жившему в тех же казармах. Ему открыл дверь раб-сириец; зная, что Хирвард — любимец главного телохранителя, он низко ему поклонился и сказал, что господин ушел, но, если Хирвард хочет его видеть, он найдет его в Садах

философа, принадлежащих мудрецу Агеласту и поэтому так прозванных.

Хирвард тут же повернул обратно и, избрав благодаря своему знанию Константинополя кратчайший путь, подошел, на сей раз в одиночестве, к двери в садовой ограде, в которую утром проник с графом Робертом. В ответ на тот же условный сигнал появилась та же негритянка и, когда Хирвард спросил, здесь ли Ахилл Татий, сердито ответила:

— Ты же был тут утром, удивительно, как ты его не встретил; надо было дожидаться его, если у тебя к нему дело. Я знаю, что главный телохранитель справлялся о тебе вскоре после твоего прихода.

— Тебя это не касается, старуха, — сказал ваярь. — В своих поступках я отчитываюсь перед начальником, а не перед тобой.

И он вошел в сад. Миновав тенистую дорожку, которая вела к домику Венеры — так назывался домик, где происходил подслушанный им разговор между кесарем и графиней Парижской, — он подошел к простому строению, которое всем своим скромным и непритязательным видом как бы говорило о том, что здесь нашли себе приют ученость и философия. Ваярь прошел под окнами, тяжело топая ногами — он рассчитывал привлечь, таким образом, внимание либо Ахилла Татия, либо его сообщника Агеласта, в зависимости от того, кто окажется поблизости. Услышал его шаги и отозвался на них Татий. Дверь открылась, в проеме показался высокий плюмаж, сильно наклоненный вперед, дабы его обладатель мог переступить порог, и осанистая фигура главного телохранителя появилась в саду.

— Что случилось, наш верный страж? — спросил он. — С какой вестью явился ты к нам в такое время дня? Ты наш добрый друг, мы высоко ценим тебя как воина, — очевидно, ты должен сообщить нам нечто очень важное, раз ты пришел сам и в такой неурочный час!

— Дай бог, чтобы вести, принесенные мною, заслуживали благосклонного приема!

— Так скорее сообщи мне их, — воскликнул главный телохранитель, — независимо от того, хороши они или плохи! Перед тобой человек, которому неведом страх.

Тем не менее встревоженный взгляд, устремленный на воина, то и дело меняющийся цвет лица, дрожь в руках, поправлявших перевязь меча, — все говорило о таком состоянии духа, которое совсем не вязалось с вызывающим тоном грека.

— Смелее, мой верный воин, — продолжал он. — Я жду твоих вестей и готов к худшему.

— Я буду краток: сегодня утром ты назначил меня начальником дозора во влахернскую темницу, куда вечером посадили буйного графа Парижского...

— Помню, помню. Дальше.

— Когда я отдыхал в одном из помещений над темницей, мое внимание привлекли странные крики, доносившиеся снизу. Я поспешил туда, чтобы узнать, в чем дело, и был очень удивлен, когда заглянул вниз: хотя разглядеть, что там происходит, было трудно, все же я понял, что это хнычет и жалуется на какое-то увечье лесной человек, то есть животное, прозванное Сильвенем и обученное нашими воинами англосаксонскому языку, чтобы оно помогало им нести сторожевую службу. Я спустился с факелом в темницу и увидел, что кровать, на которой спал узник, обгорела, у тигра, привязанного на расстоянии прыжка от нее, разможжена голова, Сильвен распростерт на земле и корчится от боли и страха, а узник исчез. Судя по всему, запоры открыл несший со мной стражу митиленский воин, когда он в обычное время собрался спуститься в темницу; я был очень встревожен и, продолжая поиски, нашел его наконец, но уже мертвого: у него было перерезано горло. Очевидно, в то время когда я обыскивал темницу, этот самый граф Роберт, по своему дерзкому нраву вполне способный на такое дело, удрал по той же лестнице и через ту же дверь, которыми я воспользовался при спуске.

— Почему же ты, обнаружив измену, не поднял сразу тревогу? — спросил главный телохранитель.

— Я побоялся сделать это без твоего приказанья. Если бы я поднял тревогу, пошли бы толки, и все это привело бы к такому тщательному расследованию, что открылись бы дела, способные бросить тень даже на самого главного телохранителя.

— Ты прав, — еле слышно произнес Ахилл Татий, — и все же мы не можем дольше скрывать побег столь важного узника, иначе нас сочтут его сообщниками. Где же, по-твоему, мог укрыться этот злосчастный беглец?

— Я надеялся, что твоя мудрость подскажет мне это.

— А не переправился ли он через Геллеспонт, чтобы добраться до своих соотечественников и сподвижников?

— К сожалению, это вполне возможно. Если граф обратился за помощью к кому-нибудь, хорошо знающему страну, тот, несомненно, посоветовал бы ему именно это.

— Ну, тогда нечего мне бояться, что он сразу же возвратится сюда во главе отряда мстительных франков, эта опасность пока что нам не грозит: ведь император строго повелел вчера, чтобы те корабли и галеры, которые перевезли крестоносцев через Геллеспонт, вернулись обратно, оставив на берегах Азии всех паломников, дабы они продолжали следовать к назначенной цели. К тому же все они, вернее — их вожди, дали перед отплытием обет, что, вступив на путь, ведущий в Палестину, не сделают ни шага назад.

— В таком случае, мы не ошибемся, если предположим одно из двух: либо граф Роберт находится на восточной стороне пролива, лишенный возможности вернуться сюда со своими соратниками и отомстить за дурное обращение с ним, и, следовательно, о нем можно больше не думать; либо он скрывается где-нибудь в Константинополе, без друзей и соратников, которые могли бы, став на его сторону, подстрекать его к открытому заявлению о якобы нанесенной ему обиде; мне кажется, что в любом случае будет не очень разумно приносить во дворец известие о побеге — оно

только встревожит двор и даст императору повод ко всякого рода подозрениям. Впрочем, невежественному варвару не подобает рассуждать о том, как должен вести себя доблестный и просвещенный Ахилл Татий; мудрый Агеласт, сдается мне, будет тебе более подходящим советчиком.

— Нет, нет, нет, — горячо, но вполголоса запротестовал главный телохранитель, — хоть мы с философом и друзья, да еще связанные взаимными клятвами, но если дойдет до того, что кому-то из нас придется бросить к ногам императора голову другого, не посоветуешь же ты мне принести в жертву свою, когда у меня нет еще ни одного седого волоса! Лучше я умолчу об этой беде и дам тебе взамен все полномочия и строжайшее предписание разыскать графа Роберта Парижского, живого или мертвого, посадить его в ту особую темницу, которую охраняют одни лишь варяги, и, как только это будет сделано, известить меня. У меня есть немало способов приобрести дружбу франка, избавив с помощью варяжских алебард его жену от опасности. Кто может справиться у нас в столице с моими варягами?

— Когда речь идет о правом деле — никто! — ответил Хирвард.

— Ты так считаешь? А что ты, собственно, хочешь этим сказать? А-а, понимаю: тебе хочется получить законное и по всей форме составленное разрешение твоего начальника на все, что тебе понадобится предпринять; так должен думать каждый преданный долгу воин, а я, как твой начальник, обязан удовлетворить твою щепетильность. Ты получишь письменный приказ, дающий тебе право разыскать и взять под стражу чужеземного графа, о котором мы говорили. И знаешь что, любезный друг, — нерешительно добавил Ахилл Татий, — хорошо было бы, если бы ты сразу начал или, вернее, продолжил эти поиски. Посвящать нашего друга Агеласта в то, что произошло, не стоит, покуда у нас не явится большая необходимость в его советах. А теперь иди к себе в казармы! Я постараюсь что-нибудь придумать, если Агеласт полюбопытствует, зачем ты приходил, —

а полюбопытствует он обязательно, ведь он стар и подозрителен... Иди в казармы и действуй так, как если б уже имел все письменные полномочия. Ты их незамедлительно получишь, когда я вернусь к себе...

Варяг поспешно отправился в казармы.

«Странное дело, — думал он, — посмотришь, как дьявол помогает тем, кто вступил на путь лжи, и сам станешь навеки плутом. Я солгал — или по крайней мере отошел от правды, — так, как не лгал еще ни разу в жизни, и что же? Мой начальник чуть ли не навязывает мне приказ, который снимает с меня ответственность и поощряет во всем, что я сделал и собираюсь сделать. Если бы нечистый дух всегда так покровительствовал своим подданным, им не пришлось бы на него жаловаться, а честным людям нечего было бы удивляться многочисленности его поклонников. Но говорят, он рано или поздно покидает их! А посему—сгинь, сатана! Если я и притворился, будто ненадолго стал твоим слугой, то намерения мои были при этом вполне честные и христианские».

Погруженный в такие мысли, варяг случайно обернулся и вздрогнул от изумления, увидев какое-то существо, более крупное, чем человек, и иначе сложенное, к тому же сплошь, не считая лица, заросшее красновато-коричневой шерстью; его безобразная физиономия выражала печаль и тоску; одна лапа была обвязана тряпкой, и весь его страдальческий, измученный вид говорил о том, какую боль причиняла ему рана. Хирвард был настолько поглощен своими размышлениями, что ему вначале почудилось, будто перед ним появился дьявол, им самим же и вызванный, но когда он оправился от испуга, то узнал своего знакомого Сильвена.

— А-а, старый друг! — воскликнул варяг. — Очень хорошо, что ты убежал в такое место, где сможешь вволю подкрепиться плодами. Только знаешь что — постарайся никому не попадаться на глаза, послушайся дружеского совета!

В ответ на это лесной житель что-то пролопотал.

— Понимаю, — сказал Хирвард, — ты будешь держать язык за зубами, и в этом я скорее поверю тебе,

чем большинству моих двуногих собратьев, которые вечно обманывают или убивают друг друга.

Не успела обезьяна скрыться из виду, как Хирвард услышал пронзительный вопль; затем женский голос стал звать на помощь. Звуки этого голоса, видимо, крайне поразили варяга, ибо он забыл о грозившей ему самому опасности и бросился на помощь кричавшей женщине.

Глава XX

Идет, идет, стройна и молода!
И верность и любовь идут сюда.

Хирварду недолго пришлось искать на тенистых дорожках ту, что звала на помощь, — почти сразу какая-то женщина кинулась прямо к нему в объятия, по-видимому напуганная Сильвенем, который гнался за ней по пятам. Увидев замахнувшегося секирой Хирварда, орангутанг сразу остановился; издав вопль ужаса, он скрылся в густой листве деревьев.

Избавившись от обезьяны, Хирвард окинул пристальным взглядом спасенную им женщину. В ее красочном одеянии преобладал бледно-желтый цвет; туника того же тона плотно, наподобие современного платья, облекала высокую и очень стройную фигуру. Сверху был накинут плащ из тонкого сукна; прикрепленный к нему капюшон во время стремительного бега откинулся назад, открыв свободно и красиво уложенные косы. Этот природный головной убор обрамлял лицо, искаженное страхом перед воображаемой опасностью, смертельно бледное, но даже и в эту минуту необыкновенно прекрасное.

Хирварда словно громом поразило. Так не одевались ни гречанки, ни итальянки, ни франкские женщины; наряд был подлинно англосакский, а с ним у Хирварда было связано бесчисленное множество нежных воспоминаний детства и юности. Это происшествие показалось варягу чудом. В Констан-

тинополе, правда, жили женщины их племени, соединившие свою судьбу с варягами; отправляясь в город, они часто надевали национальный наряд, потому что звание и нравы их мужей обеспечивали им уважение, которым не всегда пользовались гречанки или чужеземки того же сословия. Но почти всех их Хирвард знал в лицо. Впрочем, раздумывать было некогда: он сам находился в опасности, да и женщине она могла грозить. Во всяком случае, благоразумие требовало покинуть эту довольно людную часть садов; поэтому, не теряя ни минуты, варяг понес находившуюся в полуобморочном состоянии саксонку в более укромный уголок; по счастью, Хирвард знал, где его можно было найти. Дорожка под тенистым зеленым сводом, петляя, вела к искусственному гроту, выстланному ракушками, мхом и обломками шпата; в глубине его виднелась гигантская статуя полулежащего бога рек с его обычными атрибутами: чело увенчивали водяные лилии и осока, а огромная рука покоилась на пустой урне. Позе статуи соответствовала и надпись: «Я сплю — не буди меня».

— Проклятый идол! — воскликнул Хирвард, который в меру своей цивилизованности был ревностным христианином. — Будь ты хоть из дерева, хоть из камня, но я разбуджу тебя, глупый чурбан, не постесняюсь!

С этими словами он ударил секирой по голове спящего божества и так сдвинул кран фонтана, что вода полилась в сосуд.

— И все же ты не такой уж плохой идол, если посылаешь эту освежающую влагу, столь необходимую моей бедной соотечественнице! — заметил варяг. — Придется тебе, с твоего позволения, уступить ей и часть твоего ложа!

И Хирвард опустил свою прекрасную, все еще не пришедшую в сознание соплеменницу на пьедестал статуи речного бога. Ее лицо снова привлекло внимание варяга; в сердце его возродилась надежда, но такая трепетная и робкая, как слабо мерцающий свет факела, который может и разгореться и мгновенно угаснуть. В то же время он машинально пытался все-

ми известными ему способами вернуть сознание прелестному существу, лежавшему перед ним. Чувства его при этом можно было уподобить чувствам мудрого астронома: неторопливый восход луны сулит ему возможность вновь созерцать небеса, для него, христианина, — обитель блаженства и для него, философа, — источник знаний. Кровь прилила к щекам девушки, она ожила, и память возвратилась к ней даже раньше, чем к изумленному варягу.

— Пресвятая дева! — воскликнула она. — Неужто я действительно испила последнюю каплю страданий и ты соединяешь здесь после смерти своих верных почитателей? Отвечай, Хирвард, если ты не пустой плод моего воображения, отвечай! Скажи мне, быть может, мне только во сне приснилось это огромное чудовище?

Звуки ее голоса вывели англосакса из оцепенения.

— Приди в себя, Берта, моя дорогая, — сказал он, — и приготовься выдержать все, что тебе еще предстоит увидеть и что скажет твой Хирвард, который еще жив. Это отвратительное животное и вправду существует — не надо, не пугайся, не ищи, куда бы спрятаться: даже твоя нежная ручка может усмирить его одним взмахом хлыста. И не забудь, что я здесь, Берта! Или тебе нужен другой телохранитель?

— Нет, нет! — воскликнула она, схватив руку вновь обретенного возлюбленного. — Теперь я тебя узнаю!

— Разве ты узнала меня лишь теперь?

— Раньше я только надеялась, что это ты, — потупив глаза, призналась девушка, — но сейчас уверилась — я вижу этот след, оставленный кабаньим клыком!

Хирвард хотел дать Берте время прийти в себя от неожиданного потрясения и лишь после этого посвятить ее в события, которые могли вызвать у нее новые тревоги и страхи. Он не прерывал ее, когда она припоминала все обстоятельства охоты на ужасного зверя, в которой участвовали оба их клана. Запинаясь, Берта рассказывала о том, как молодежь и старики, мужчины и женщины разили дикого кабана тучами стрел, как ее собственная, меткая, но пущенная слабей

рукой стрела тяжело ранила его; не забыла она и того, как обезумевший от боли зверь ринулся на нее, причинившую ему такие муки, как он уложил на месте ее лошадь и убил бы ее самое, если бы Хирвард, который никак не мог принудить своего коня приблизиться к чудовищу, не соскочил на землю и не бросился между кабаном и Бертой. В яростной схватке кабан был в конце концов убит, но Хирвард получил глубокую рану в лоб; рубец от этой раны и рассеял туман, окутывавший память спасенной им девушки.

— Ах, чем стали мы друг для друга с того дня? И чем будем теперь, в чужой стране? — воскликнула она.

— На этот вопрос только ты и в состоянии ответить, моя Берта; и если ты можешь честно сказать, что осталась той же Бертой, которая поклялась в любви Хирварду, тогда, поверь, грешно было бы думать, что небо опять свело нас лишь для того, чтобы снова разлучить.

— Не знаю, Хирвард, хранил ли ты верность так же свято, как я; дома и на чужбине, в неволе и на свободе, в горе и в радости, в довольстве и в нужде я никогда не забывала, что обручилась с Хирвардом у камня Одина.

— Не вспоминай больше об этом нечестивом обряде: он не мог принести нам добра.

— Такой ли уж он был нечестивый? — спросила Берта, и непрошенные слезы навернулись на ее большие голубые глаза. — Ах, как сладостно было мне думать, что после этого торжественного обета Хирвард стал моим!

— Выслушай меня, Берта, дорогая, — взяв ее за руку, сказал Хирвард. — Мы были тогда почти детьми, и наш обет, сам по себе невинный, был ложным потому, что мы дали его перед немым истуканом, избравшим того, кто при жизни был кровожадным и жестоким волшебником. Но как только представится возможность, мы повторим свои клятвы перед подлинно святым алтарем и наложим на себя должную епитимью за наше невежественное поклонение Одину,

дабы снискать милость истинного бога; он, и только он, поможет нам преодолеть все бури и невзгоды, которые еще ожидают нас.

Пусть же они беседуют о своей любви, чисто, бескусно и увлекательно, а мы ненадолго покинем их и расскажем читателю в нескольких словах о том, как сложилась судьба каждого из них в годы, протекавшие между охотой на кабана и встречей в садах Агеласта.

Уолтеоф, отец Хирварда, и Ингельред, родитель Берты, объявленные вне закона, вынуждены были собирать свои все еще непокоренные кланы то в плодородном Девоншире, то в темных, дремучих лесах Хэмпшира, но всегда в таких местах, где можно было услышать призывные звуки рога прославленного Эдрика Лесовика, давнишнего предводителя восставших саксов. Эти вожди были последними из храбрецов, защищавших независимость англосаксов; подобно своему предводителю Эдрику, они звались лесовиками, ибо, когда их набеги встречали сильное сопротивление, они уходили в леса и жили охотой. Таким образом, они сделали шаг назад по пути прогресса и стали больше похожи на своих дальних предков германцев, чем на непосредственных, более просвещенных предшественников, достигших до битвы при Гастингсе довольно высокого уровня образования и цивилизации.

В народе снова начали оживать старинные поверья; так, среди юношей и девушек возродился обычай обручаться перед каменными кругами, посвященными, как предполагалось, Одину, в которого они, впрочем, уже давно перестали искренне верить, в противоположность своим предкам-язычникам.

И еще в одном отношении эти поставленные вне закона люди быстро вернулись к характерному укладу жизни древних германцев. Условия их существования были таковы, что молодежь обоих полов волей-неволей проводила много времени вместе, ранние же браки или другие, менее постоянные связи могли привести к слишком быстрому росту клана, а это, в свою очередь, затруднило бы не только добывание пищи, но и оборону. Поэтому законы лесовиков строго запрещали заключать брак, если жениху еще не испол-

нилось двадцати одного года. В результате помолвки стали частым явлением среди молодежи, и родители не препятствовали им, при условии, что влюбленные женятся только тогда, когда жених достигнет совершеннолетия. Юношей, нарушивших этот закон, награждали позорным эпитетом «подлый» — это было такое оскорбительное клеймо, что нередко люди предпочитали покончить с собой, чем жить в подобном бесчестии. Однако среди этого приученного к воздержанию и самоотречению народа такие нарушители закона встречались очень редко, и когда женщина, которой в течение стольких лет поклонялись как святыне, становилась главой семьи и попадала в объятия так долго ожидавшего ее любящего супруга, ее почитали как нечто более возвышенное, чем просто предмет временного увлечения; понимая, как высоко ее ценят, она старалась всеми своими поступками доказать, что достойна такого отношения.

Не только родители, но и все члены обоих кланов сочли после охоты на кабана, что само небо благословляет союз между Хирвардом и Бертой, и встречи их поощрялись в той же степени, в какой их самих влекло друг к другу. Юноши избегали приглашать БERTY на пляски, и, если она присутствовала на празднестве, девушки отказывались от своих обычных женских ухищрений и не старались удержать подле себя Хирварда. Влюбленные протянули друг другу руки через отверстие в камне, именовавшемся в те времена алтарем Одина, хотя в последующие века ученые стали относить его к эпохе друидов, и вознесли молитву о том, чтобы, в случае, если кто-нибудь из них нарушит обет, судьба пронзила изменника двенадцатью мечами, которые во время обряда сверкали в руках двенадцати юношей, и чтобы она навлекла на него столько несчастий, сколько не смогли бы перечесать ни в прозе, ни в стихах двенадцать девушек с распущенными волосами, стоявших вместе с юношами вокруг обрученных.

Факел англосакского Купидона в течение нескольких лет горел так же ярко, как и в то время, когда был зажжен впервые. И тем не менее наступила пора,

когда нашим влюбленным пришлось пройти сквозь испытание бедой, хоть и не накликанной вероломством кого-либо из них. Прошли годы, и Хирвард начал с волнением подсчитывать месяцы и недели, отдающие его от союза с нареченной, которая тоже стала менее робка и не так упорно уклонялась от излияний чувств и нежных ласк того, кто вскоре должен был назвать ее своею. В это время у Вильгельма Рыжего созрел план полного истребления лесовиков, известных своей неукротимой ненавистью и беспокойным свободолюбием, слишком часто нарушавших спокойствие его королевства и пренебрегавших его законами о лесах. Он собрал своих норманских воинов и присоединил к ним отряд подчинившихся ему саксов. С этими превосходящими силами он и обрушился на отряды Уолтеофа и Ингельреда, которым не оставалось ничего иного, как отправить женщин и тех, кто не мог носить оружие, в монастырь ордена святого Августина, где настоятелем был их родич Кенельм, а затем вступить в бой и оправдать свою древнюю славу, сражаясь до последнего дыхания. Оба злосчастных вождя пали смертью храбрых, и Хирвард с братом едва не разделили их участь; однако случилось так, что некоторые из обитавших по соседству саксов пробрались на поле боя, где победители оставили только добычу для коршунов и воронов, и нашли там обоих юношей, еще подававших слабые признаки жизни. Хирварда и его брата знали и любили многие, поэтому за ними ухаживали до тех пор, пока их раны не зажили и к ним не вернулись силы. Только тогда услышал Хирвард скорбные вести о гибели отца и Ингельреда. Следующий его вопрос был о невесте и ее матери. Бедные поселяне могли сообщить ему очень немного. Кое-кого из женщин, укрывшихся в монастыре, норманские рыцари и знатные вельможи захватили в рабство, остальных же, вместе с приютившими их монахами, выгнали вон, а обитель разграбили и сожгли дотла.

Еле оправившись от такого удара, Хирвард, рискуя жизнью — ибо саксы-лесовики были вне закона, — отправился собирать сведения о дорогах ему

существах. Он хотел узнать о судьбе Берты и ее матери от тех несчастных, что еще бродили возле монастыря, словно опаленные пчелы, кружащие у разрушенного улья. Но они были так удручены собственными бессчетными несчастьями, что им ни до кого не было дела; они сообщили ему лишь о несомненной гибели жены и дочери Ингельреда; их воображение подсказало им столько душераздирающих подробностей кончины обеих женщин, что Хирвард отказался от всякой мысли продолжать поиски, явно безнадежные и бесцельные.

Всю жизнь молодому саксу внушали неприязнь к норманнам, как к врагам его племени; естественно, что в качестве победителей они не стали ему милее. Вначале он мечтал пересечь пролив и сразиться с ненавистным врагом на его собственной земле, но быстро оставил эти безрассудные мысли. Судьбу его решила встреча с немолодым паломником, который знал — или делал вид, что знал, — его отца и был уроженцем Англии. Этот человек был переодетым варягом, хитрым и ловким вербовщиком, щедро снабженным деньгами. Ему не стоило большого труда уговорить до предела отчаявшегося Хирварда вступить в варяжскую гвардию Алексея Комнина, сражавшуюся в то время с норманнами — таким именем вербовщик, понимавший состояние духа Хирварда, назвал отряды Роберта Гискара, его сына Бозмунда и других искателей приключений, с которыми император вел войну в Италии, Греции и Сицилии. Помимо того, путешествие на Восток предоставляло несчастному Хирварду возможность совершить паломничество к святым местам, дабы искупить свои грехи. Вербовщик заполучил и его старшего брата, поклявшегося не разлучаться с Хирвардом.

Братья слыли такими храбрецами, что хитрый вербовщик счел их весьма удачным приобретением; из его памятной записки, где были перечислены свойства обоих воинов и рассказана их история — результат безрассудной словоохотливости старшего брата, — и почерпнул Агеласт те сведения о семье Хирварда и обстоятельствах его жизни, которыми он воспользо-

вался при первой тайной встрече с варягом, чтобы доказать ему свою удивительную осведомленность. Этим маневром он привлек на свою сторону многих из собратьев Хирварда по оружию; читателю нетрудно догадаться, что хранение памятных записок было доверено Ахиллу Татию, а тот, во имя общих целей, сообщал их содержание Агеласту, который и прослыл, таким образом, среди этих невежественных людей мудрецом, обладающим необыкновенными познаниями. Однако простодушная вера и честность Хирварда помогли ему избежать ловушки.

Так сложилась судьба Хирварда; а что касается судьбы Берты, то она послужила предметом беседы влюбленных, страстной и переменчивой, как апрельский день, беседы, которая перемежалась теми нежными ласками, какими позволяют себе обмениваться чистые душой влюбленные при неожиданной встрече после разлуки, грозившей затянуться навеки. Эту историю можно передать в нескольких словах. Когда шел грабеж монастыря, один старый норманский рыцарь захватил в качестве добычи Бертю. Пораженный ее красотой, он определил ее в прислужницы к своей дочери, едва вышедшей из детского возраста: то был свет его очей, единственное дитя от любимой жены, дарованное их супружескому ложу уже в преклонные годы. Графиня Аспрамонтская, будучи значительно моложе рыцаря, естественно, управляла своим супругом, а их дочь, Бренгильда, управляла ими обоими.

Следует заметить, что графу Аспрамонтскому хотелось бы внушить своей юной наследнице склонность к более женственным забавам, чем те, которые зачастую подвергали ее жизнь опасности. О прямом запрете нечего было и думать, это добрый старик знал по опыту. Влияние и пример подруги немного постарше возрастом могли бы принести некоторую пользу; с этой целью рыцарь и захватил юную Бертю среди царившей во время грабежа всеобщей сумятицы. До смерти перепуганная девушка цеплялась за мать; граф, в чьем сердце было больше человечности, чем обычно кроется под стальными панцирями, тронутый

горем матери и дочери, решил, что первая может оказаться полезной прислужницей его супруге, и взял под свое покровительство обеих; расквитавшись с воинами, которые стали оспаривать у него добычу, с одними — мелкой монетой, с другими — ударами своего копья, — он спас обеих женщин.

Вскоре после этого добрый рыцарь возвратился в свой замок, и так как он был человеком строгих правил и примерных нравов, чарующая красота пленницы и более зрелые прелести ее матери не помешали им в полной безопасности добраться до его фамильной крепости — замка Аспрамонте — и при этом сохранить честь. Все наставники, каких он сумел раздобыть, были собраны в замке и начали обучать юную Берту всему, что положено знать женщине; делалось это в надежде, что ее госпожа Бренгильда также возымеет желание приобрести эти познания. Пленница действительно стала необыкновенной искусницей по части музыки, рукоделия и прочих женских занятий, известных в те времена, однако ее молодая госпожа продолжала хранить любовь к воинским забавам, что несказанно огорчало ее отца, но поощрялось матерью, ибо та сама была склонна в юности к таким развлечениям.

Обращались с пленницами хорошо. Бренгильда очень привязалась к юной англосаксонке; она ценила ее не так за умелые руки, как за ловкость в охоте и военных играх, к которым Берта была приучена со времен своей вольной юности.

Госпожа Аспрамонтская тоже была добра к обоим пленницам, но в одном отношении она проявила мелочное тиранство. Она вбила себе в голову, получив при этом поддержку старого, уже впадающего в детство, отца духовника, что саксы — язычники или по меньшей мере еретики, и потребовала от супруга, чтобы невольницы, которые должны были прислуживать ей и ее дочери, заслужили это право, вторично приняв крещение.

Хотя мать Берты понимала всю ложность и несправедливость обвинения в язычестве, она была достаточно умна, чтобы подчиниться необходимости, и

получила по всем правилам, у алтаря, имя Марты, на которое и отзывалась потом до конца своих дней.

Но Берта проявила в этом случае твердость характера, не соответствовавшую ее, в общем, послушному и кроткому нраву. Она смело отказалась как заново вступить в лоно церкви, к которой по своему внутреннему убеждению уже принадлежала, так и переменить имя, данное ей в купели. Тщетно приказывал ей старый рыцарь, тщетно угрожала госпожа, тщетно советовала и молила мать. Когда последняя, беседуя с ней наедине, настойчиво потребовала от нее ответа, Берта открыла ей причину, о которой та до сих пор и не подозревала.

— Я знаю, — заливаясь слезами, сказала Берта, — что отец скорее умер бы, чем допустил, чтоб меня подвергли такому оскорблению; и кто убедит меня в том, что обеты, данные англосаксонке Берте, будут соблюдены, если ее заменит француженка Агата? Они могут выгнать меня, могут убить, но если сын Уолтеофа встретится опять с дочерью Ингельреда, он найдет ту Берту, которую знал в хэмпширских лесах.

Все уговоры были напрасны; молодая девушка стояла на своем, и, чтобы сломить ее упорство, госпожа Аспрамонтская заявила под конец, что больше не позволит ей прислуживать юной госпоже и выгонит из замка. Заранее готовая к этому, Берта почтительно, но твердо сказала, что ей будет очень тяжело и горько расстаться с молодой госпожой, но она скорее станет просить милостыню, называясь своим собственным именем, чем малодушно отречется от веры своих отцов и назовет ее ересью, приняв веру франков. Но в ту минуту, когда госпожа Аспрамонтская собиралась отдать приказ об изгнании Берты, в комнату вошла ее дочь.

— Пусть тебя не останавливает мое появление, госпожа, — сказала эта неустрашимая молодая особа, — ведь твой приказ распространяется не только на Берту, но и на меня. Если она перейдет через подземный мост замка Аспрамонта в качестве изгнанницы, перейду его вместе с нею и я, лишь бы она перестала

плакать — даже все мои капризы не могли исторгнуть до сих пор ни единой слезы из ее глаз. Она станет моей оруженосицей и телохранительницей, а бард Ланселот будет следовать за нами с моим копьем и щитом.

— Солнце еще не успеет скрыться за горизонтом, как ты вернешься из этого нелепого похода, — сказала мать.

— С помощью всемогущего ни закат солнца, ни его восход не увидят нашего возвращения в замок, — возразила ей наследница имени графов Аспрамонте, — пока рог славы не донесет до самых далеких краев имена Берты и ее госпожи Бренгильды! Приободрись, Берта, моя милочка, — продолжала она, взяв за руку свою прислужницу. — Если небо и оторвало тебя от родины и нареченного, оно дало тебе друга и сестру, с которой навеки будет связана твоя добрая слава.

Госпожа Аспрамонтская пришла в замешательство. Она знала, что ее дочь способна совершить безумный поступок, о котором только что объявила, и что ни она, ни ее супруг не смогут этому помешать. Поэтому она безучастно слушала все, что говорила своей дочери почтенная англосаксонка, бывшая Урика, ныне Марта.

— Дитя мое, — говорила та, — если ты знаешь цену чести, добродетели, безопасности и признательности, ты не станешь так упорно сопротивляться воле твоего господина и твоей госпожи; последуй совету матери, которая и старше тебя и опытнее. А ты, моя дорогая юная госпожа, не давай повода своей матушке думать, что страсть к военным игрищам, в которых ты отличаешься, убила в твоем сердце дочернюю любовь и заставила забыть о присущей твоему полу скромности. — Она остановилась, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел ее совет на обеих девушек, и затем продолжала: — Поскольку они обе упрямы, госпожа, дозвожь мне предложить выход, который, мне кажется, удовлетворит твоим желаниям, придется по вкусу моей своевольной, упрямой дочери

и будет соответствовать добрым намерениям ее великодушной повелительницы.

Госпожа Аспрамонтская кивком разрешила ей продолжать.

— Нынешние англосаксы, моя дорогая госпожа, не язычники и не еретики; в отношении дней празднования пасхи, как и в других спорных вопросах, они смиренно повинуются папе римскому; это хорошо известно нашему доброму епископу, ибо он не раз укорял тех слуг, которые называли меня старой язычницей. Но наши имена непривычны для франков, и, быть может, в их звучании есть что-то языческое. Если от моей дочери не станут требовать, чтобы она заново подвергалась обряду крещения, она даст согласие отказать от своего англосаксонского имени, куда она находится в твоём почтенном доме. Так будет положен конец спору, который — да простят мне эти слова! — слишком незначителен для того, чтобы нарушить спокойствие в замке. Я могу поручиться, что моя дочь, в благодарность за снисхождение к ее неуместной щепетильности, станет вдвое усерднее прислуживать молодой госпоже.

Госпожа Аспрамонтская была очень рада этому предложению, которое позволяло ей уступить в споре, почти не унизив своего достоинства.

— Если наш высокочтимый епископ одобрит такое решение, я чинить препятствий не буду, — сказала она.

Прелат дал свое одобрение тем охотнее, что ему сообщили, как искренне желает этого юная наследница. Мир в замке был восстановлен, и Берта обещала отзываться на имя Агаты, хотя и не признала его своим настоящим именем.

Этот спор имел несомненным следствием одно обстоятельство — любовь Берты к молодой госпоже достигла высшего предела. Проявляя слабость, свойственную верным слугам и почтительным друзьям, она старалась во всем угодить Бренгильде и тем самым поощряла ее воинственные наклонности, которые отличали молодую графиню от других женщин даже в те времена, а в наш век прославили бы ее, как Дон-

Кихота в женском обличье. Берта не заразилась от нее этой страстью, но, обладая силой, ловкостью и твердой волей, с готовностью брала на себя иной раз роль оруженосицы при госпоже — искательнице приключений; поскольку же она с детства привыкла видеть, как наносят удары, льется кровь и умирают люди, то спокойно относилась к опасностям, которым подвергалась ее госпожа, и очень редко надоедала ей нравоучениями, разве уж когда эти опасности были чрезмерно велики. Благодаря такой уступчивости Берта обрела право давать советы в тех случаях, когда в них возникала надобность, и так как преподносились они с самыми лучшими намерениями и всегда своевременно, то влияние ее на госпожу все усиливалось, чего, вероятно, не произошло бы, если б она вела себя иначе.

Берта так же коротко сообщила варягу о кончине рыцаря Аспрамонтского, о романтическом браке ее молодой госпожи с графом Парижским, об участии их обоих в крестовом походе и о последующих происшествиях, с которыми читатель уже знаком.

Хирвард не все уловил из ее рассказа о последних событиях, ибо между ним и его невестой возникло небольшое недоразумение. Когда Берта призналась, что она в своем девичьем простодушии упорно отказывалась изменить имя, боясь, что это повлияет на их взаимные обеты, Хирвард не мог не оценить такой любви и прижал девушку к груди, запечатлев на ее губах благодарный поцелуй. Однако Берта сразу же вырвалась из его объятий, и лицо ее залила краска — впрочем, не столько гнева, сколько стыда.

— Довольно, довольно, Хирвард, — строго произнесла она. — Это я могу еще простить — ведь наша встреча была столь неожиданной; но в будущем нам нельзя забывать, что каждый из нас, вероятно, последний в своем роду; я не хочу, чтобы люди говорили, будто Хирвард и Берта пренебрегли обычаями своих предков. Хотя мы и одни здесь, но помни: тени наших отцов витают над нами, они следят за тем, как мы себя ведем во время встречи, которую, быть может, они же и устроили!

— Ты плохо обо мне думаешь, Берта, если считаешь, что я способен забыть наш общий долг, нарушить заповеди всевышнего и веления наших отцов как раз в ту минуту, когда мы должны так горячо благодарить небо. Сейчас нам надо подумать о том, каким образом мы сможем встретиться снова, если расстанемся... А расставание, видимо, неизбежно.

— Не говори так! — воскликнула несчастная Берта.

— Так велит судьба, — ответил Хирвард, — но разлука будет недолгой; клянусь тебе своим мечом и алебардой, что острее не так верно рукояти, как я буду верен тебе!

— Но почему же ты тогда покидаешь меня, Хирвард? Почему не поможешь мне освободить мою госпожу?

— Твою госпожу! Стыдись! Как можешь ты называть так простую смертную!

— Но она действительно моя госпожа, и мы связаны тысячью нежных уз, которые так же нельзя расторгнуть, как нельзя не ответить признательностью на доброту.

— А какая ей грозит опасность? — спросил Хирвард. — Чего хочет эта несравненная графиня, которую ты называешь своей госпожой?

— В опасности и ее честь и ее жизнь. Она обязалась помериться силами с кесарем, а этот недостойный злодей постарается, конечно, воспользоваться своими преимуществами во время поединка, который, как ни грустно мне это говорить, видимо, окажется роковым для моей госпожи.

— Почему ты так думаешь? Если верить людям, эта графиня выходила победительницей из многих единоборств с более грозными противниками, чем кесарь.

— Люди не лгут, — сказала молодая девушка, — но ты забываешь, что это происходило в краю, где верность слову и честь не пустой звук, как — увы! — в Греции. Поверь мне, я отнюдь не из девичьего страха снова надела наш национальный наряд, а потому, что, говорят, он вызывает уважение у жителей

Константинополя, Я направляюсь сейчас к предводителям крестоносцев, чтобы известить их об опасности, грозящей благородной даме, и воззвать к их человеколюбию, к их вере, к почитанию чести и ненависти к бесчестию, дабы они оказали ей помощь в столь трудную минуту; но теперь, когда мне была ниспослана радость встречи с тобой, все уладится, все будет хорошо — я вернусь к своей госпоже и скажу, кого я видела.

— Погоди еще минутку, мое вновь обретенное сокровище, дай мне все хорошенько обдумать. Эта франкская графиня считает саксов пылью, которую ты сметаешь с подола ее платья. Саксы для нее язычники и еретики. Она посмела превратить в рабыню тебя, свободнорожденную англосаксонку! Меч ее отца по самую рукоять обогрен кровью англосаксов, быть может — кровью Уолтеофа и Ингельреда! К тому же она проявила самонадеянную глупость, присвоив себе и воинственный характер и трофей, которые по праву должны принадлежать другому полу. И нам нелегко будет найти кого-нибудь, кто стал бы биться вместо нее; ведь все крестоносцы переправились в Азию, туда, где собираются сражаться, и, по приказу императора, никому из них не будет дозволено вернуться на наш берег.

— О боже! — воскликнула Берта. — Как нас меняет время! Сын Уолтеофа, которого я знавала храбрецом, готовым помочь человеку в беде, смелым и великодушным... Таким я представляла его себе во время разлуки! Но вот я снова встретила его, и он оказался расчетливым, холодным и себялюбивым!

— Молчи, девушка! — сказал варяг. — Прежде чем судить о человеке, надо его узнать. Графиня Парижская такова, как я сказал, и тем не менее пусть она смело выходит на арену: когда трижды прозвучит зов трубы, ей ответит другая труба, возвещающая о том, что благородный супруг графини пришел сразиться с кесарем вместо нее; если же он не сможет прибыть — я сам выйду на арену в благодарность за доброту к тебе графини.

— Это правда? Правда? — воскликнула девушка. — Вот слова, достойные сына Уолтеофа, достойные истинного сакса! Пойду скорее домой и утешу свою госпожу; и если действительно воля божья предопределяет победу правого в поединке, то уж на этот раз справедливость обязательно восторжествует! Но ты дал мне понять, что граф здесь, что он на свободе; она начнет меня расспрашивать...

— Достаточно будет, если ты скажешь, что у ее мужа есть друг, который постарается защитить его от его же собственного сумасбродства и неразумия, то есть не друг, но человек, который никогда не был и не будет на стороне его врагов. А теперь прощай, давно утраченная, давно любимая!..

Больше он не успел ничего сказать — молодая девушка, тщечно пытавшаяся несколько раз выразить свою благодарность, бросилась в объятия возлюбленного и, несмотря на проявленную незадолго до этого стыдливость, запечатлела на его губах поцелуй как выражение признательности, для которой не смогла найти слов.

Они расстались. Берта вернулась к своей госпоже в домик, откуда недавно вышла с таким волнением и страхом, а Хирвард направился к калитке, где его задержала негритянка-привратница; она поздравила красавца варяга с успехом у прекрасного пола, намекнув, что была в некотором роде свидетельницей его встречи с молодой англосаксонкой. Золотая монета, оставшаяся у него от недавних щедрот, заставила ее придержать язык, и, выйдя наконец из Садов философа, наш воин побежал обратно в казармы, чувствуя, что давно уже пришло время накормить графа Роберта, который целый день ничего не ел.

Всем известно, что, поскольку голод не связан с какими-либо приятными или возвышенными ощущениями, ему обычно сопутствует крайнее раздражение и угнетенность. Поэтому неудивительно, что граф Роберт, так долго просидевший в одиночестве и с пустым желудком, встретил Хирварда весьма нелюбезными словами, безусловно неуместными в данном

случае и оскорбительными для честного варяга, который неоднократно рисковал в этот день жизнью ради графини и самого графа.

— Однако, приятель, — сказал граф подчеркнуто сдержанным и надменно-холодным тоном, как это всегда делают люди высшего сословия, недовольные теми, кого считают ниже себя, — радушный же ты хозяин, нечего сказать! Конечно, это не столь уж важно; однако, сдается мне, не каждый день случается, чтобы граф христианнейшего королевства обедал за одним столом с наемником, поэтому можно было бы оказать ему если не широкое, то хотя бы должное гостеприимство!

— А мне сдается, — возразил варяг, — о христианнейший граф, что когда люди твоего высокого звания волею судьбы становятся гостями мне подобных, они должны быть всем довольны и, не осуждая хозяев за скупость, понимать, что если обед появляется на столе не чаще одного раза в сутки, винить следует только обстоятельства!

Хирвард хлопнул в ладоши, и в комнату вошел его слуга Эдрик. Гость Хирварда удивленно взглянул на это новое лицо, нарушившее их уединение.

— За него я ручаюсь, — пояснил Хирвард и обратился к слуге с вопросом: — Какое угощение ты можешь предложить благородному графу, Эдрик?

— Всего лишь холодный паштет, изрядно пострадавший при встрече с тобой за завтраком, господин.

Оруженосец принес большой паштет, который подвергся утром столь свирепой атаке, что граф Роберт Парижский, привыкший, как и все знатные норманны, к более утонченной и изысканной сервировке, заколебался, не уверенный, что голод одержит в нем верх над брезгливостью; однако при ближайшем рассмотрении вид паштета, его запах и к тому же двадцатичасовой пост убедили графа, что паштет превосходит и что на поданном ему блюде сохранились еще непотчатые куски. Поборов наконец свои сомнения, граф предпринял смелый набег на эти остатки, а затем,

сделав передышку, отхлебнул из стоявшей перед ним заманчивой бутылки доброго красного вина; этот крепкий напиток заметно усилил его расположение к Хирварду, пришедшее на смену выраженному ранее недовольтву.

— Клянусь небом, мне следует стыдиться, что у меня так мало той самой учтивости, которой я учу других! — сказал граф. — Я, словно мужлан-фламанец, пожираю припасы своего щедрого хозяина, даже не попросив его сесть за его собственный стол и ответить его собственное отличное угощение!

— В таком случае не стану тягаться с тобой в учтивости, — ответил Хирвард и, запустив руку в паштет, принялся весьма проворно уничтожать разнообразное содержимое, зажатое у него в ладони. Граф в это время встал из-за стола, отчасти потому, что ему претили дурные манеры Хирварда, хотя тот, только теперь пригласив Эдрика принять участие в атаке на паштет, показал тем самым, что, сообразно своим понятиям, он все-таки проявил в какой-то мере уважение к гостю. С помощью оруженосца он начисто опустошил блюдо. Между тем граф Роберт собрался наконец с духом и задал вопрос, который рвался у него с губ с той самой минуты, как Хирвард возвратился домой:

— Скажи мне, любезный друг, сумел ли ты узнать что-нибудь новое о моей несчастной жене, о моей верной Бренгильде?

— Новости у меня есть, но будут ли они тебе приятны, суди сам. Узнал я вот что: как тебе известно, она должна сразиться с кесарем, но условия этого поединка могут показаться тебе странными; и все же она, не колеблясь, приняла их.

— Каковы же эти условия? Думаю, что мне они покажутся менее странными, чем тебе.

Но хотя граф старался говорить спокойно, глаза его засверкали и пылающее лицо выдало все, что происходило в его душе.

— Ты сам слышал, что твоя супруга и кесарь померятся силами на арене; если графиня победит, она,

конечно, останется женой благородного графа Парижского; если она будет побеждена, она станет наложницей кесаря Никифора Вриенния.

— Да оградят ее от этого ангелы небесные и пресвятые угодники! — воскликнул граф Роберт. — Если они допустят, чтобы восторжествовало такое вероломство, никто не сможет обвинить нас, если мы усомнимся в их святости!

— Думается мне, что мы ничем себя не опозорим — ты, и я, и наши друзья, окажись они у нас, если из предосторожности явимся в то утро на место поединка во всеоружии. Победу или поражение предопределяет судьба, но мы должны убедиться, насколько честно будет вестись бой с таким благородным противником, как прекрасная графиня: ты сам теперь знаешь, что в Греческой империи эти правила иногда нарушаются самым подлым образом.

— При этом условии и заранее объявив, что я не вмешуюсь в бой — разумеется, честный, — даже если моей супруге будет грозить смертельная опасность, я согласен отправиться туда, коль скоро ты сумеешь мне в этом помочь, мой храбрый сакс. — Помолчав, граф добавил: — Но только ты должен обещать мне, что не известишь ее о присутствии супруга и тем более не укажешь ей на него в толпе воинов. О, ты не знаешь, как легко при виде любимого человека мы утрачиваем мужество как раз в ту минуту, когда оно нам особенно необходимо!

— Мы постараемся устроить все так, как хочется тебе, чтобы ты не смог больше ссылаться на всякие нелепые сложности; уверяю тебя, дело само по себе настолько сложно, что нечего запутывать его причудами рыцарской гордости. Сегодня вечером надо еще многое успеть; пока я буду заниматься делами, тебе лучше сидеть здесь, в той одежде и с той едою, какую тебе сможет раздобыть Эдрик. И не бойся, что сюда заглянут соседи: мы, варяги, умеем уважать чужие тайны, каковы бы они ни были.

Глава XXI

Но за милейшим зятем, за аббатом,
За этой всей достопочтенной шайкой,
Как гончий пес, сейчас помчится смерть.
Погоню, дядя, отряди немедля,
Пускай их ищут в Оксфорде и всюду.
Ах, только бы их разыскать смогли —
Изменников сотру с лица земли.

«Ричард II»¹

С этими словами Хирвард оставил графа у себя в комнате и отправился во Влахернский дворец. После первого, описанного нами, появления Хирварда при дворе его часто вызывали туда не только по распоряжению царицы Анны, любившей расспрашивать варяга про обычаи его родины, а затем записывать своим напыщенным слогом его ответы, но и по прямому приказу самого императора, который, как и многие правители, предпочитал получать всевозможные сведения от лиц, занимавших при дворе самое неприметное положение. Подаренный царицей перстень не раз заменял варягу пропуск; он уже так примелькался дворцовым рабам, что стоило ему показать это кольцо старшему из них, как варяга тотчас же провели в небольшой покой, расположенный неподалеку от уже упоминавшегося нами храма муз. В этой комнате сидели император, его супруга Ирина и их ученая дочь Анна Комнина; все они были одеты очень просто, да и сама комната напоминала по убранству обычное жилище почтенных горожан, за исключением того, что на дверях в качестве занавесей висели пуховые одеяла, дабы никто не мог подслушивать у замочных скважин.

— А вот и наш верный варяг! — сказала императрица.

— Мой руководитель и наставник во всем, что касается нравов этих закованных в сталь людей; мне ведь необходимо иметь о них правильное представление, — сказала царица Анна.

¹ Перевод М. Донского,

— Надеюсь, государь, ни твоя супруга, ни твоя вдохновенная музами дочь не лишние здесь и могут выслушать вместе с тобой то, что сообщит этот храбрый и преданный нам человек? — спросила императрица.

— Моя дражайшая жена и моя возлюбленная дочь, до сих пор я не хотел обременять вас тягостной тайной; я скрывал ее в глубине души, ни с кем не разделяя своей глубокой печали и тревоги. Особенно ты, моя благородная дочь, будешь потрясена прискорбным известием, ибо в твоем сердце должно теперь поселиться презрение к тому, кого до сих пор ты обязана была уважать, — ответил император.

— Пресвятая дева! — воскликнула царица.

— Собирайся с духом, — сказал император, — и помни, что ты порфирородная царица и явилась на свет не для того, чтобы оплакивать нанесенные твоему отцу обиды, а для того, чтобы мстить за них; не забывай, что священная особа императора, чье величие бросает отблеск и на твое чело, должна быть стократ важнее для тебя, чем даже тот, кто делит теперь с тобой ложе.

— К чему ты клонишь, государь? — с трудом сдерживая волнение, спросила Анна Комнин.

— У меня есть основания полагать, что кесарь платит неблагодарностью за все мои милости, в том числе и за ту, что сделала его членом моего семейства и возвела в мои нареченные сыновья. Он действует заодно с кучкой изменников; достаточно назвать их имена, чтобы вызвать из преисподней самого сатану, — столь желанной добычей будут для него эти люди.

— Неужели Никифор оказался способен на это? — спросила изумленная и растерянная Анна. — Никифор, который так часто называл мои глаза своими путеводными звездами! Неужели он мог так поступить — ведь он час за часом слушал историю подвигов моего отца и уверял меня, будто не знает, что его поражает больше — красота слога или героизм этих деяний! У нас были с ним одни мысли, одни взгляды, одно

любящее сердце! Ах, отец, не может он быть таким лживым! Вспомни о храме муз!

«Ну, что касается храма, — подумал Алексей, — я счел бы его единственным оправданием этому предательству. Приятно отведать меда, но если объесться им, он вызывает только отвращение...»

— Дочь моя, — сказал он вслух, — будь мужественной: нам самим не хотелось верить постыдной правде, но изменники переманили на свою сторону нашу стражу; ее начальника, неблагодарного Ахилла Татия, вкупе с таким же предателем Агеластом тоже вовлекли в заговор, для того чтобы они помогли заточить нас в темницу или убить. Несчастливая Греция! В тот самый момент, когда ей так нужны отеческие заботы и покровительство, неожиданный жестокий удар должен был лишить ее отца!

Тут император пролил слезу — потому ли, что ему жалко было своих подданных, потому ли, что жалко было себя, — этого мы не знаем.

— Государь, — сказала Ирина, — не слишком ли ты мешкаешь? Мне думается, нужно немедленно принять меры против такой грозной опасности.

— А я бы сказала, с твоего дозволения, матушка, что отец слишком поторопился в нее поверить, — возразила царевна. — При всей отваге и смелости нашего варяга, его свидетельства, сдается мне, недостаточно, чтобы усомниться в чести твоего зятя, в неоднократно доказанной верности храброго начальника твоей стражи, в глубоком уме, добродетели и мудрости величайшего из твоих философов...

— Но достаточно, чтобы убедиться в самонадеянности нашей слишком ученой дочери, — прервал ее император, — которая полагает, что ее отец не способен сам судить о таком важном для него деле. Скажу тебе одно, Анна: я знаю каждого из них и знаю, насколько им можно доверять; честь твоего Никифора, верность и храбрость главного телохранителя, добродетель и мудрость Агеласта — все это покупал мой кошелек. И останься он столь же полным, а рука — столь же сильной, как раньше, ничто не изменилось бы. Но подул холодный ветер, бабочки улетели, и я

должен встретить бурю один, без всякой поддержки. Ты говоришь, мало доказательств? Их вполне достаточно, раз я вижу опасность; то, что сообщил мне этот честный воин, совпадает с моими собственными наблюдениями. Отныне он станет во главе варягов, он будет именоваться главным телохранителем вместо изменника Татия, а за этим еще многое может последовать...

— Позволь мне сказать, государь, — произнес молчавший до сих пор варяг. — В твоей империи многие достигли высокого звания благодаря падению своих начальников, но моя совесть не позволит мне идти таким путем к могуществу, тем более что я снова обрел друга, с которым был давно разлучен, и мне вскоре понадобится твое высочайшее разрешение покинуть эти края, где у меня останутся тысячи врагов, и провести свою жизнь, как проводят ее многие мои соотечественники, под знаменами короля Вильгельма Шотландского...

— Расстаться с тобой, неоценимый воин! — воскликнул с жаром император. — Где еще я найду такого верного бойца, сторонника и друга?

— Я высоко ценю твою доброту и щедрость, мой благородный повелитель, но дозволю обратиться к тебе со смиренной просьбой — называй меня моим собственным именем и обещаю лишь одно: не гневаться за то, что из-за меня ты перестал доверять твоим слугам. Я очень опечален тем, что мои донесения несут угрозу и благодетелю моему Ахиллу Татию, и кесарю, который, думается, желал мне добра, и даже Агеласту; но дело не только в этом: я достаточно хорошо знаю, государь, что нередко те, кого ты сегодня осыпаешь самыми драгоценными выражениями твоей милости, завтра оказываются пищей воронов и галок. А мне, признаться, совсем не хотелось бы, чтобы люди рассказывали потом, будто я, англосакс, только для этого вступил на греческую землю!

— Мы, конечно, будем называть тебя твоим собственным именем, любезный Эдуард, — сказал император, пробормотав про себя: «О небо! Опять я забыл, как зовут этого варвара!» — но только до тех пор,

пока не найдем другого звания, такого, которое будет достойно нашего доверия к тебе. И загляни тем временем в сей свиток, — в нем, я думаю, найдутся все подробности заговора, которые нам удалось узнать, а потом передай его этим женщинам — они, видно, будут сомневаться в опасности, угрожающей императору, до тех пор, пока заговорщики не вонзят ему в грудь кинжалы!

Выполняя приказ императора, Хирвард пробежал глазами свиток, подтвердил кивком головы правильность того, что было в нем написано, и передал его Ирине. Прочитав несколько строк, императрица пришла в такое смятение, что даже не смогла ничего объяснить дочери и только взволнованно сказала ей:

— Читай! Читай! и суди сама о признательности и любви твоего кесаря!

Царевна Анна очнулась от глубокой, все поглощающей скорби и посмотрела на указанные строки в свитке с вялым любопытством, быстро перешедшим, однако, в напряженный интерес. Она вцепилась в свиток, как сокол в добычу, глаза ее засверкали от негодования; затем раздался возглас, подобный крику разъяренной птицы:

— О предатель, кровожадный, двуличный предатель! Так вот чего ты хочешь! Да, да, отец! — вскочив, гневно воскликнула она. — Обманутая царевна не поднимет своего голоса в защиту Никифора, не ответит от изменника заслуженной кары! И он думал, что ему будет дозволено развестись с порфирородной царевной и, быть может, убить ее, едва он произнесет пренебрежительную фразу римлян: «Верни ключи, отныне ты не хозяйка в моем доме!»¹ Разве женщину, в жилах которой течет кровь Комнинов, можно подвергнуть такому же унижению, как домоправительницу ничтожнейшего из римских граждан?

При этих словах она досадливо смахнула слезы, хлынувшие у нее из глаз; ее обычно столь прекрасное, кроткое лицо исказилось от бешенства. Хирвард смотрел на нее с неприязнью, к которой примешивались

¹ Лаконичная формула развода у римлян, (Прим. автора.)

и страх и сочувствие. Она же снова начала бушевать: природа, одарив ее немалыми способностями, наделила ее в то же время бурными страстями, недомыслием холодно-честолюбивой Ирине и коварному, двуличному, увертливому императору.

— Он за это поплатится! — кричала царица. — Жестоко поплатится! Лицемерный, хитрый, вкрадчивый изменник! И ради кого? Ради мужеподобной дикарки! Кое-что я уже заметила на пиру у того старого глупца! И все же если кесарь, этот недостойный человек, рискнет вступить с ней в поединок, значит он более опрометчив, чем я думала. Ты полагаешь, отец, он настолько безумен, что решится опозорить нас явным пренебрежением? И неужели ты не отомстишь ему?

«Так! — подумал император. — Эту трудность мы преодолели; теперь наша дочь понесется вскачь с горы к своей мести, и ей скорее понадобятся узды и мундштук, чем хлыст! Если бы все ревнивые женщины в Константинополе так неукротимо предавались своей ярости, наши законы, подобно Драконовым, были бы написаны не чернилами, а кровью!»

— Слушайте меня! — сказал он громко. — Ты, жена, и ты, дочь, и ты, любезный Эдуард, вы узнаете сейчас — только вы трое и узнаете, — каким образом я намерен провести государственный корабль через эти мели. Прежде всего постараясь представить себе, что намерены предпринять изменники, и тогда нам станет ясно, как надобно им противодействовать. Вероломный начальник варяжской стражи — увы! — совратил кое-кого из своих подчиненных, раздувая в них гнев на якобы нанесенные им обиды. Часть варягов, по обдуманному заранее плану, будет расставлена на постах вблизи нашей особы; предатель Урсел, как предполагает кое-кто из них, умер, но если б это и было верно, одного его имени достаточно, чтобы собрать его старых соратников, участвовавших вместе с ним в мятеже; у меня есть возможность умиротворить их, но о ней я пока умолчу. Значительная часть Бессмертных, также поддавшись совратителям, должна поддержать горсточку вероломных варягов,

которые, согласно замыслу заговорщиков, нападут на нашу особу. Но небольшие изменения в расстановке сторожевых постов, на которые ты, мой верный Эдуард, или... э... э... как там тебя зовут... на которые ты, повторяю, будешь иметь полномочия, нарушат планы заговорщиков и окружают их преданными нам людьми с таким расчетом, чтобы можно было без труда уничтожить этих негодяев.

— А поединок, государь? — спросил сакс.

— Ты не был бы истинным варягом, если б не задал этого вопроса, — благосклонно кивнув ему, сказал император. — Что касается поединка, его затеял кесарь, и я постараюсь, чтобы эта опасность не миновала Никифора. Он обесчестит себя, если откажется сразиться с этой женщиной, как ни странно само по себе такое сражение; однако, чем бы оно ни кончилось, заговорщики неизбежно попытаются поднять на нас руку, но так же неизбежно и то, что они встретят готовых к бою, хорошо вооруженных противников и потонут в собственной крови.

— Моя месть не нуждается в этом, — заявила царевна, — да и тебе, государь, не помешает, если графине будет оказана защита.

— Меня это не касается, — ответил император. — Она явилась сюда со своим мужем незваная. Он дерзко вел себя в моем присутствии, и каков бы ни был конец его безрассудного предприятия, он заслуживает его наравне со своей женой. По правде говоря, я хотел только припугнуть его этими зверьми, которых сии невежественные люди считают исчадиями ада, а его жену — немного встревожить необузданной пылкостью влюбленного грека, — этим и ограничилась бы моя маленькая месть. Но теперь, когда цель достигнута, можно, пожалуй, взять его супругу под наше покровительство.

— Что за жалкая месть! — сказала императрица. — Ты уже не так молод, у тебя есть жена, которая имеет право рассчитывать на некоторое внимание, и тем не менее ты думал испугать такого красавца, как граф Роберт, тем, что собирался соблазнить его супругу-амазонку!

— Прошу прощения, возлюбленная Ирина, эту роль в комедии я предоставил моему зятю, кесарю!

Но бедный император, закрыв в какой-то степени один шлюз, тем самым открыл другой, откуда хлынул еще более бурный поток.

— Как ты позоришь свою мудрость, государь! — воскликнула Анна Комнин. — Какой стыд! При таком уме и такой бороде заниматься столь неприличными затеями! Ведь ты расстраиваешь чужое счастье, и к тому же счастье твоей собственной дочери! Никто не посмел бы раньше сказать, что кесарь Никифор Вриенний заглядывается не только на свою супругу, но и на других женщин! А теперь сам император научил его этому и вовлек в такую сеть интриг и предательств, что Никифор стал злоумышлять против жизни своего тестя!

— Дочь моя! Дочь моя! Надо родиться от волчицы, чтобы поносить своего отца в столь трудную минуту, когда весь его досуг должен быть посвящен мыслям о защите своей жизни! — вскричала императрица.

— Тихо, женщины, прекратите эти бессмысленные вопли! — остановил их Алексей. — Дайте мне возможность доплыть до спокойной гавани и не мешайте глупыми речами. Видит бог, не такой я человек, чтобы поощрять не только подлинно дурные дела, но даже слабый намек на них!

Произнеся эти слова, он набожно перекрестился и вздохнул. Однако императрица Ирина, выпрямившись во весь рост, встала перед ним и сказала с такой горечью в голосе и взгляде, какую может породить лишь долго скрываемая и внезапно прорвавшаяся наружу супружеская ненависть:

— Как бы ты ни закончил это дело, Алексей, но лицемером ты прожил жизнь, лицемером и умрешь!

Изобразив на своем лице благородное негодование, она выплыла из комнаты, знаком приказав дочери сопровождать ее.

Император в замешательстве поглядел ей вслед, но быстро овладел собой и обратился к Хирварду тоном оскорбленного величия;

— Ах, мой милый Эдуард (это имя так прочно укоренилось в его памяти, что вытеснило менее благозвучное — Хирвард), видишь как оно бывает даже у сильных мира сего: в трудные для него минуты император точно так же встречает непонимание, как самый последний горожанин; мне хотелось бы убедить тебя — настолько я тебе доверяю! — что моя дочь Анна Комнин пошла характером больше в меня, нежели в мать. Ты видишь, с какой благочестивой верностью она чтит недостойные узы, но я надеюсь вскоре разорвать их и с помощью Купидона заменить другими, не столь тягостными. Я надеюсь на тебя, Эдуард. Случай предоставляет нам счастливую возможность, которой мы должны воспользоваться, — ведь на поле боя соберутся сразу все изменники. Подумай тогда, что на тебя, как говорят на своих турнирах франки, обращены глаза прекрасной дамы. Проси какой угодно награды, и я с радостью дам ее тебе, если только это будет в моей власти.

— Награда мне не нужна, — довольно холодно сказал варяг. — Больше всего я хочу заслужить надпись на надгробном камне: «Хирвард был верен до конца». Но я все же попрошу у тебя такое доказательство твоего высочайшего доверия, которое, быть может, поразит тебя.

— В самом деле? Скажи нам в двух словах, чего же ты просишь?

— Дозволения отправиться в лагерь герцога Бульонского и просить его быть свидетелем этого необычайного поединка.

— Иными словами, чтобы он вернулся со своими неистовыми крестоносцами и разграбил Константинополь под предлогом свершения правосудия? Ты по крайней мере откровенен, варяг!

— Нет, клянусь небом! — воскликнул Хирвард. — Герцог Бульонский прибудет лишь с таким отрядом рыцарей, какой может понадобиться для защиты графини Парижской, если с ней обойдутся нечестно.

— Я готов согласиться даже на это; но если ты, Эдуард, не оправдаешь моего доверия, ты утратишь право на все, что я по-дружески обещал тебе, и, кроме

того, навлечешь на себя вечное проклятие, которого заслуживает изменник, с лобзанием предающий ближнего.

— Что касается твоей награды, государь, я отказываюсь от всяких притязаний на нее. Когда корона снова укрепитя на твоем челе, а скипетр — в руке, тогда, если я буду жив и ты сочтешь мои скромные заслуги достойными благодарности, я буду молить тебя о дозволении покинуть твой двор и вернуться на свой далекий родной остров. И не считай, что если у меня будет возможность совершить предательство, то я неизбежно его совершу. Ты знаешь, государь, что Хирвард так же верен тебе, как твоя правая рука верна левой.

И с глубоким поклоном он удалился.

Император посмотрел ему вслед; взгляд его выражал недоверие, смешанное с восхищением.

«Я согласился на то, о чем он просил, — думал Алексей, — дал ему возможность погубить меня, если он к этому стремится. Стоит ему шепнуть одно только слово, и все неистовое полчище крестоносцев, которое я укротил ценой такого количества лжи и еще большего количества золота, вернется, чтобы предать Константинополь огню и мечу и засыпать солью пепелище. Я сделал то, чего дал зарок никогда не делать, — поставил на карту царство и жизнь, доверившись человеку, рожденному женщиной. Как часто я говорил себе — да что там, клялся! — что никогда не соглашусь на такой риск, и все же, шаг за шагом, шел на него. Странно, но во взгляде и в речах этого человека я вижу такое прямотушие, которое меня покоряет, а главное, что уж совсем непостижимо, — мое доверие к нему растет по мере того, как он становится все более независимым. Я, как искусный рыболов, закидывал ему удочки со всевозможными приманками, даже такими, которыми не пренебрег бы и монарх, и он не попался ни на одну из них, а теперь вдруг проглотил, можно сказать, голый крючок и берется служить мне без всякой пользы для себя. Неужели это сверхутонченное предательство? Или то, что люди называют бескорыстием? Если счесть этого человека

изменником... еще не поздно, он еще не перешел моста, не миновал дворцовой стражи, которая не знает ни колебаний, ни ослушания. Но нет... Тогда я останусь совсем один, без друга, без наперсника... А-а, я слышу... наружные ворота открылись, опасность, несомненно, обострила мой слух... они закрываются... Жребий брошен. Он на свободе, и судьба Алексея Комнина целиком зависит теперь от ненадежной верности наемника-варяга!»

Император хлопнул в ладоши; появился раб; Алексей приказал подать вина. Он выпил, и на душе у него стало легче.

— Я принял решение, — сказал он, — и теперь спокойно дождусь того, что принесет мне рок: спасения или гибели.

Сказав это, император удалился в свои покои, и больше в эту ночь его никто не видел.

Глава XXII

Но чу! Труба трубит, зовет
на смертный бой.

Кэмбел

Взволнованный возложенными на него важными делами, варяг шел по озаренным луною улицам, время от времени останавливаясь, чтобы как-то удержать проносившиеся в голове мысли и хорошенько в них разобраться. Мысли эти наполняли его то радостью, то тревогой; каждой сопутствовал смутный рой видений, который, в свою очередь, прогоняли совсем другие думы. Это был один из тех случаев, когда человек заурядный оказывается неспособным нести неожиданно обрушившееся на него бремя, а в том, кто обладает недюжинной силой духа и лучшим из небесных даров — здравым смыслом, основанном на самообладании, пробуждаются дремавшие в нем таланты, которые он заставляет служить своей цели, подобно смелому и опытному всаднику, управляющему добрым скакуном.

Когда Хирвард, уже не первый раз за этот вечер остановился, погружившись в раздумье, и отзвук его по-военному четких шагов умолк, ему послышалось, будто где-то вдали заиграла труба. Варяг удивился: эти звуки на улицах Константинополя в такой поздний час возвещали о каком-то необычном событии, так как все передвижения войск производились по особому приказу и ночной распорядок вряд ли мог быть нарушен без важной причины. Вопрос был только в том, какова эта причина.

Неужели восстание началось неожиданно и совсем не так, как рассчитывали заговорщики? Если эта догадка верна, значит, его встреча с нареченной после стольких лет разлуки была лишь обманчивым вступлением к новой, на сей раз вечной разлуке. Или же крестоносцы, люди, чьи поступки трудно предугадать, внезапно взялись за оружие и возвратились с того берега, чтобы напасть на город врасплох? Такое предположение казалось наиболее вероятным: у крестоносцев скопилось так много поводов для недовольства, что теперь, когда они впервые собрались все вместе и получили возможность рассказать друг другу о вероломстве греков, у них родилась мысль об отмщении, — это было вполне правдоподобно, естественно и, может быть, даже справедливо.

Однако услышанные варягом звуки больше подходили на обычный военный сигнал к сбору, чем на нестройный рев рогов и труб, непрерывно возвещающий о взятии города, где ужасы штурма еще не уступили места суровой тишине, подаренной наконец несчастным горожанам победителями, уставшими от резни и грабежа. А так как Хирварду в любом случае надобно было знать, что все это означает, он свернул на широкую улицу, проходившую вблизи казарм, откуда, казалось, шли эти звуки; впрочем, Хирвард все равно направлялся туда, только по другому поводу.

Военный сигнал, видимо, не очень поразил жителей этой части города. В лунном свете спокойно спала улица, пересеченная гигантскими тенями башен собора святой Софии, превращенного неверными, после того

как они завладели Константинополем, в свое главное святилище. Вокруг не было ни души, а те обитатели, которые выглядывали на секунду из дверей или решетчатых окон, быстро удовлетворив свое любопытство, снова исчезали в доме, закрывшись на все засовы и задвижки.

Хирварду невольно вспомнились предания, которые рассказывали старейшины его клана в дремучих лесах Хэмпшира; в них говорилось об охотниках-невидимках, с шумом мчавшихся на незримых лошадях с незримыми собаками по лесным чащам Германии в погоне за неведомой добычей. Вот такие же звуки, вероятно, и разносились во время этой дикой скачки по населенным призраками лесам, внушая ужас тем, кто их слышал.

— Стыдись! — подавляя в себе суеверный страх, сказал Хирвард. — Ты мужчина, тебе так много доверено, на тебя возлагают столько надежд, а ты предаешься ребяческим фантазиям!

И он пошел дальше, вскинув алебарду на плечо; подойдя к первому же человеку, отважившемуся выглянуть из дверей, он осведомился у него о причине, заставившей военные трубы зазвучать в столь необычный час.

— Не обессудь, господин, право, я ничего не знаю, — сказал горожанин; ему, видно, не очень-то хотелось оставаться на улице и, вступив в разговор, отвечать на дальнейшие расспросы. Это был тот самый склонный к рассуждениям о политике житель Константинополя, с которым мы познакомились в начале нашего повествования; поспешив войти в дом, он покончил тем самым с беседой.

Следующим, кого увидел Хирвард, был борец Стефан, вышедший из дверей, украшенных листьями дуба и плюща в честь недавно одержанной им победы. Он стоял не двигаясь, отчасти потому, что был уверен в своей физической силе, отчасти повинувшись своему грубому, мрачному нраву, который у людей подобного рода часто принимают за подлинную храбрость. Его льстивый почитатель Лисимах прятался за широкими плечами борца.

Проходя мимо Стефана, Хирвард задал ему тот же вопрос:

— Ты не знаешь, почему сегодня так поздно трубят?

— Тебе это лучше знать, — угрюмо ответил борец, — судя по твоей алебарде и шлему: ведь это ваши трубы, а не наши нарушают первый сон честных людей.

— Негодяй! — бросил ему варяг таким тоном, что борец вздрогнул от неожиданности. — Но когда звучит эта труба, воину некогда наказывать дерзость по заслугам.

Грек так стремительно бросился обратно в дом и начал запирать двери, что в своем отступлении едва не сбил с ног художника Лисимаха, внимательно прислушивавшегося к разговору.

Когда Хирвард подошел к казармам, доносившиеся оттуда звуки труб умолкли, но не успел он войти в ворота обширного двора, как эта музыка снова обрушилась на него с ужасающей силой, почти оглушив своей пронзительностью, несмотря на то, что он давно к ней привык.

— Что это все означает, Ингельбрехт? — спросил он у варяга-дозорного, который расхаживал у входа с алебардой в руках.

— Объявление о вызове и поединке. Странные дела происходят у нас, приятель. Неистовые крестовосцы покусали греков и заразили их своим пристрастием к турнирам, словно собаки, которые, как я слышал, заражают друг друга бешенством!

Хирвард ничего ему не ответил и поспешил пойти к толпе своих соратников, собравшихся во дворе и кое-как вооруженных, а то и вовсе безоружных, ибо они выскочили прямо из постелей и теперь теснились вокруг своих трубачей, явившихся в полном параде. Тот, кто возвещал своим гигантским инструментом особые указы императора, тоже был на месте; музыкантов сопровождал небольшой отряд вооруженных варягов во главе с самим Ахиллом Татием. Товарищи Хирварда расступились, давая ему дорогу; подойдя ближе, он увидел, что в казармы явилось шестеро

императорских глашатаев; четверо из них (по два одновременно) уже оповестили всех о воле императора; теперь последние двое должны были сделать это в третий раз, как было заведено в Константинополе при объявлении указов государственной важности. Завидя своего наперсника, Ахилл Татий тотчас же подал ему знак — по-видимому, начальник хотел поговорить с варягом после оповещения. Трубы отгремели, и глашатай начал:

— Именем светлейшего, божественного монарха Алексея Комнина, императора Священной Римской империи! Выслушайте волю августейшего государя, которую он доводит до сведения своих подданных, всех вместе и каждого в отдельности, какого бы рода и племени они ни были, какую бы веру ни исповедовали. Да будет всем известно, что на второй день от сего числа наш возлюбленный зять, высокочтимый кесарь, намерен сразиться с нашим заклятым врагом Робертом, графом Парижским, по случаю дерзости, учиненной названным графом, посмевающим на глазах у всех сесть на императорский трон, а также сломать в нашем высочайшем присутствии редкостные образцы искусства, украшающие наш трон и называемые издревле львами царя Соломона. И дабы ни один человек в Европе не осмелился сказать, что греки отстали от жителей других стран в каком-либо из воинственных упражнений, принятых христианскими народами, упомянутые благородные противники, отказавшись прибегать к помощи обмана, волшебства или магических чар, вступят в поединок, трижды сразятся друг с другом острыми копьями и трижды — отточенными мечами; судьей будет августейший император, который и решит спор по своей милостивой и непогрешимой воле. И да покажет бог, на чьей стороне правда!

Трубы снова оглушительно заревели, возвещая конец церемонии. Затем, отпустив своих воинов, глашатаев и музыкантов, Ахилл подозвал к себе Хирварда и негромко осведомился, не слышал ли тот чего-нибудь нового о пленнике, графе Роберте Парижском?

— Ничего, кроме того, что сказано в вашем оповещении, — ответил варяг.

— Значит, ты думаешь, что оно сделано с ведома графа?

— Видимо, так. Только он сам и может дать согласие на поединок.

— Увы, мой любезный Хирвард, ты очень простодушен, — сказал главный телохранитель. — Наш кесарь возымел дикую мысль помериться своим слабым умом с умом Ахилла Татия. Этот неслыханный глупец тревожится за свою честь и не желает, чтобы люди подумали, будто он вызвал на поединок женщину или получил вызов от нее. Поэтому вместо ее имени он поставил имя ее супруга. Если тот не явится на место поединка, кесарь, якобы бросивший вызов графу, купит себе победу дешевой ценой, поскольку некому будет помериться с ним силами, и потребует графиню в качестве пленницы, добытой его грозным оружием. Это послужит сигналом к всеобщей свалке; император будет либо убит, либо схвачен и отправлен в темницу при его собственном Влахернском дворце, где его ждет участь, которую в своем жестокосердии он уготовил стольким людям...

— Но... — начал было варяг.

— Но... но... но... — прервал его военачальник. — Но ты дурак, вот что! Разве ты не понимаешь, что сей доблестный кесарь хочет избежать рискованного сражения с графиней, надеясь, в то же время, что все вообразят, будто он жаждет схватиться на арене с ее мужем? Наше дело устроить так, чтобы во время поединка участники восстания были во всеоружии и могли сыграть предназначенную им роль. Проследи только за тем, чтобы наши верные сторонники оказались рядом с императором, отделив его от тех услужливых вояк, которые всюду суют свой нос и могут прийти ему на помощь. Тогда, с кем бы ни сражался кесарь, с мужем или с женой, и независимо от того, состоится ли вообще поединок, переворот увенчается успехом, и вместо Комнинов на константинопольский престол воссядут Татии. Ступай, мой верный Хирвард. И не забудь, что пароль повстанцев — «Урсел», чье имя любовно хранит память людей, хотя сам он, как говорят, уже давно погребен во влахернском подземелье.

— А кто был этот Урсел, о котором я слышал такие противоречивые толки? — спросил варяг.

— Соискатель престола наравне с Алексеем Комнином, добрый, смелый и честный; его соперник одержал над ним победу не столько благодаря ратному искусству или отваге, сколько благодаря хитрости. Думаю, что он умер во влахернской темнице, но когда и как, вряд ли кто-нибудь знает. Однако пора тебе идти и заняться делом, любезный Хирвард! Поговори с варягами, подбодри их. Постарайся привлечь на нашу сторону кого сможешь. Среди так называемых Бессмертных и недовольных горожан многие готовы примкнуть к восстанию и пойти за теми, кому мы поручим открыть действия. С помощью всевозможных уловок Алексей всегда избегал народных сборищ; но теперь это ему не удастся: он не может без урона для своей чести уклониться от присутствия на поединке, на котором должен выступать судьей. Возблагодарим же Меркурия за красноречие, которое убедило императора оповестить всех о поединке, хоть он и не сразу на это решился!

— Значит, ты видел его сегодня вечером? — спросил варяг.

— Видел ли я его? Разумеется, видел. Если б эти трубы заиграли по моему велению, но без его ведома, звуки их сдули бы мне голову с плеч.

— Я, видно, разминулся с тобой во дворце, — сказал Хирвард, и сердце его при этом забилося так сильно, как если бы эта опасная встреча состоялась на самом деле.

— Я слышал, что ты был там: ты приходил за последними приказами того, кто пока еще мнит себя властителем. Конечно, если бы я увидел, как ты смотришь в глаза коварному греку прямым, открытым, якобы честным взглядом, обманывая его именно этим своим простодушием, я не удержался бы от смеха, зная, как непохоже то, что написано на твоём лице, на то, что затаено в сердце.

— То, что мы таим в сердце, известно одному богу, и я призываю его в свидетели моей верности

данному обещанию — я исполню то, что на меня возложено.

— Вот это славно, мой честный англосакс! — сказал Ахилл. — Прошу тебя, позови моих рабов, пусть снимут с меня доспехи; сбрось и ты с себя свое простое снаряжение, да помни при этом, что теперь оно пригодится не более двух раз, — судьба уготовила для тебя более подходящее одеяние!

Опасаясь, что голос выдаст его, Хирвард оставил без ответа эту льстивую речь; он отвесил глубокий поклон и ушел к себе.

Не успел он переступить порог, как граф Роберт обратился к нему с веселым и громким приветствием, не боясь, что его могут услышать, хотя, казалось бы, ему не следовало забывать об осторожности.

— Ты слышал, друг Хирвард? — спросил граф. — Слышал их оповещение? Этот греческий барашек вызывает меня трижды скрестить с ним острое копье и отточенный меч. Странно только, что он не считал более безопасным для себя помериться силами с моей супругой. Может быть, он думает, что крестоносцы не допустят такого поединка? Но — клянусь Владычицей сломанных копий! — он, вероятно, не знает, что людям Запада слава о доблести их жен не менее дорога, чем их собственная. Всю ночь я думал о том, какие мне надеть доспехи, как мне раздобыть коня, и не будет ли для этого кесаря довольно чести, если я изберу один лишь Траншфер против любого его оружия, наступательного и оборонительного!

— Я, во всяком случае, позабочусь, чтобы у тебя было все, что может понадобиться, — ответил Хирвард. — Ты не знаешь греков!

Глава XXIII

Варяг расстался с графом Парижским лишь после того, как тот передал ему свой перстень с печатью, усеянной «расщепленными копьями» (как гласит геральдика), и гордым девизом «Мое еще не сломлено».

Запасшись этим символом доверия, Хирвард должен был теперь сообщить вождю крестоносцев о предстоящем важном событии и попросить у него от имени Роберта Парижского и графини Бренгильды такой отряд западных рыцарей, какой мог бы обеспечить строгое и честное соблюдение турнирных правил как при устройстве арены, так и в ходе поединка. Обязанности Хирварда не позволяли ему самому отправиться в лагерь Готфрида; и, хотя доверия заслуживали многие из варягов, среди непосредственных подчиненных Хирварда не было никого, на чей ум и сообразительность можно было бы полностью положиться в столь непривычном для них деле. Не зная, как выйти из затруднительного положения, Хирвард погрузился в раздумье и скорее бессознательно, чем с определенным намерением, забрел в сады Агеласта, где судьба снова уготовила ему встречу с Бертой.

Не успел Хирвард поделиться с ней своими заботами, как преданная прислужница Бренгильды уже приняла решение.

— Видно, придется мне взять на себя это опасное дело, — сказала она. — Впрочем, так оно и должно быть! Моя госпожа в самые свои беззаботные дни предложила покинуть ради меня отчий дом; ну, а теперь я ради нее пойду в лагерь франкского вельможи. Он человек почтенный и богобоязненный христианин, а его воины — благочестивые паломники. Женщине, которая идет к таким людям и с таким поручением, бояться нечего.

Однако варягу были слишком хорошо известны нравы, царящие в военных лагерях, чтобы отпустить туда красавицу Берту одну. Поэтому он дал ей в провожатые старого воина, вполне надежного, ибо он очень был привязан к Хирварду за многолетнюю доброту к нему и доверие; подробно рассказав девушке о просьбе, которую ей надлежало передать, и попросив ждать его на рассвете за оградой, он опять вернулся в казарму.

Едва забрезжила заря, как Хирвард уже был на том месте, где накануне расстался с Бертой; его сопровождал достойный воин, попечению которого он

намеревался поручить девушку. Варяг быстро и благополучно довел их обоих до гавани и посадил на паром; на их пропуске в Скутари стояла подделанная подпись негодяя заговорщика Ахилла Татия, якобы разрешившего им проезд, причем указанные там приметы совпадали с приметами Осмунда и его юной подопечной; рассмотрев пропуск, перевозчик охотно принял обоих на борт.

Утро было чудесное; вскоре глазам путешественников открылся город Скутари, блиставший, как и ныне, архитектурой самых различных стилей, которой, при всем ее фантастическом своеобразии, нельзя было отказать в красоте. Здания горделиво вздымались среди густых рощ, где кипарисы перемежались с другими деревьями-великанами, сохранившимися, вероятно, потому, что они росли на кладбищах и чтились как стражи мертвых.

В описываемое нами время еще одно разительное обстоятельство придавало особую красоту этому зрелищу. Большая часть смешанного войска, которое пришло отвоевать у неверных святыне места в Палестине и сам гроб господень, раскинула лагерь примерно в миле от Скутари. Палаток у крестоносцев почти не было (только самые могущественные из их предводителей жили в шатрах), и воины построили себе шалаши, украшенные листьями и цветами, что придавало им приятный для глаза вид; развевавшиеся высоко над ними флаги и знамена с различными девизами говорили о том, что здесь собрался цвет европейского рыцарства. Невнятный многоголосый гул, напоминавший жужжание потревоженного пчелиного роя, доносился из лагеря крестоносцев до самого Скутари; время от времени в это гудение вплетался резкий звук какого-то музыкального инструмента или пронзительный визг не то испуганных, не то веселящихся детей и женщин.

Наконец путники благополучно сошли на берег; когда они приблизились к одним из ворот лагеря, откуда вылетела стремительная кавалькада пажей и оруженосцев, объезжавших рыцарских и своих собственных лошадей, Всадники подняли такой шум,

громко переговариваясь, поднимая коней в галоп, заставляя их делать курбеты и вставать на дыбы, что, казалось, они приступили к своим обязанностям задолго до того, как окончательно протрезвились после ночной попойки. Завидя Берту и ее спутников, они подскакали к ним с криками: «Al'erta! Al'erta! Roba de guadagno, cameradi!»,¹ выдававшими их итальянское происхождение.

Собравшись вокруг юной англосаксонки и ее провожатого, они продолжали кричать с такими интонациями, что Берта затрепетала от страха. Все они спрашивали, что ей нужно в их лагере.

— У меня дело к вашему предводителю, господи мои, — ответила Берта. — Я должна передать ему тайное известие.

— Кому это? — спросил начальник отряда, красивый юноша лет восемнадцати, чей рассудок был, по видимому, более здравым, чем у остальных, или не так затемнен винными парами. — Кто из наших вождей тебе нужен?

— Готфрид Бульонский.

— В самом деле? — сказал тот же паж. — А кто-нибудь менее высокопоставленный тебе не подойдет? Посмотри на нас: все мы молоды и довольно богаты. Герцог Бульонский стар, и если у него водится золото, он не станет проматывать его подобным образом.

— Но у меня есть некий залог, который удостоверяет, что я послана к Готфриду Бульонскому, — ответила Берта. — Не думаю, чтобы герцог поблагодарил тех, кто помешает мне пройти к нему. — Показав маленькую коробочку, в которой хранился перстень с печатью графа Парижского, она продолжала: — Я доверю ее тебе, если ты пообещаешь не открывать ее и поможешь мне пройти к благородному вождю крестоносцев.

— Обещаю, — сказал юноша, — и, если герцог пожелает, ты будешь допущена к нему.

¹ Что означает: «Внимание! Внимание! Эй, друзья, тут есть чем поживиться!» (*Прим., автора.*)

— Твой утонченный итальянский ум не помешал тебе попасться в ловушку, о Эрнест Апулийский! — сказал один из всадников.

— Глупый ты горец, Полидор! — ответил Эрнест. — В этом деле, возможно, кроется нечто такое, что недоступно ни твоему разуму, ни моему. И девушка и один из ее провожатых одеты как варяги из императорской стражи. Может статься, у них поручение от императора, а на Алексея это как раз похоже — доверить его таким посланцам. Поэтому проводим их с честью к шатру военачальника.

— С удовольствием, — сказал Полидор. — Голубоглазые девчонки хороши, но мне не нравится, как потчует и наряжает наш предводитель тех, кто не устоял перед искушением.¹ И все-таки, чтобы не оказаться таким же глупцом, как мой приятель, я сперва хочу узнать, кто эта красotka, которая явилась напомнить благородным принцам и благочестивым паломникам, что и они когда-то не были чужды людским слабостям?

Берта подошла к Эрнесту и шепнула ему на ухо несколько слов. Тем временем Полидор и другие веселые юнцы не переставали отпускать вслух непристойные замечания и остроты; хотя эти шуточки как нельзя лучше рисуют грубость молодых людей, мы все же не будем их приводить здесь. Однако они в некоторой степени поколебали мужество юной англосаксонки; ей пришлось набраться решимости, прежде чем обратиться к этим юношам:

— Если у вас есть матери, господа мои, если у вас есть милые сестры, которых вы готовы защитить от бесчестия своей кровью, если вы любите и почитаете те святые места, которые поклялись освободить от неверных, сжальтесь надо мной, и небо пошлет вам удачу во всех ваших замыслах!

— Не бойся, девушка, — сказал Эрнест, — я беру тебя под свою защиту, а вы, друзья, повинуйтесь мне.

¹ Если кто-либо из крестоносцев оказывался виновным в проступках против нравственности, его обмазывали смолой и вываливали в перьях. Это наказание ошибочно считается изобретением более поздних времен. (*Прим. автора.*)

Пока вы тут горланили, я, каюсь, нарушил свое обещание и взглянул на врученный мне девушкой предмет; если ту, которой он доверен, кто-нибудь обидит или оскорбит, Готфрид Бульонский строго накажет виновного, уверяю вас!

— Ну, раз ты ручаешься за это, приятель, я сам берусь довести сию молодую особу со всем почетом и в неприкосновенности до шатра герцога Готфрида, — сказал Полидор.

— Принцы скоро соберутся там на совет, — добавил Эрнест. — А что касается того, что я сказал, то за каждое свое слово я готов поручиться головой. Я теперь о многом догадываюсь, но мне кажется, эта рассудительная девица сама сумеет все сказать.

— Да благословит тебя небо, доблестный рыцарь! — воскликнула Берта. — Да ниспошлет оно тебе храбрость и удачу! Не утруждай себя больше ничем, только помоги мне благополучно добраться до вашего вожда Готфрида.

— Мы тратим попусту время, — соскочив с коня, сказал Эрнест. — Ты не изнеженная восточная красавица и справишься, вероятно, со смирной лошадкой.

— Конечно, справлюсь, — ответила Берта; завернувшись в свой воинский плащ, она без всякой поддержки вскочила на норовистого коня с такой же легкостью, с какой коноплянка взлетает на розовый куст. — А теперь, господин, так как мое дело и вправду не терпит отлагательств, я буду тебе очень благодарна, если ты незамедлительно проводишь меня к шатру Готфрида Бульонского.

Приняв любезное предложение молодого апулийца, Берта имела неосторожность расстаться со стариком варягом; однако намерения юноши были вполне честные, и, указывая ей путь среди палаток и шалашей, он довел ее до самого шатра прославленного вождя крестоносцев.

— Придется тебе здесь немного обождать под охраной моих друзей, — сказал апулиец (несколько любопытных пажей отправились вместе с ними, желая знать, чем кончится дело), — а я пойду к герцогу Бульонскому за дальнейшими приказаниями.

Возразить на это было нечего, и Берте только и оставалось, что восхищенно разглядывать шатер, подаренный в приступе щедрости и великодушия греческим императором вождю франков. На высокие позолоченные шесты в виде копий была натянута тяжелая ткань из шелковых, бумажных и золотых нитей. Стража, окружавшая шатер, состояла из суровых старых воинов, в большинстве своем оруженосцев и телохранителей знатных военачальников, возглавлявших крестовый поход; им можно было доверить охрану высокого собрания, не боясь, что они разболтают то, что случайно услышат. Их лица хранили строгое и серьезное выражение, как бы говорившее о том, что они отменили себя знаком креста не из пустой любви к военным приключениям, а во имя важной и возвышенной цели. Один из них остановил итальянца и спросил, какое дело привело его на совет крестоносцев, уже начавшийся в шатре. Паж в ответ назвал себя: «Эрнест Отрантский, паж принца Танкреда», и заявил, что ему надо оповестить герцога Бульонского о девушке, которая хочет передать лично ему одно известие.

Тем временем Берта скинула верхний плащ и оправила свою одежду на англосакский манер. Не успела она это сделать, как вернулся паж принца Танкреда, чтобы проводить ее в совет. По данному Эрнестом знаку она последовала за ним, а остальные юноши, удивленные видимой легкостью, с какой она получила доступ к герцогу, отошли от шатра на почтительное расстояние и принялись обсуждать удивительное утреннее приключение.

Меж тем посланница вступила в шатер, являя приятную смесь стыдливости, сдержанности и отважной решимости во что бы то ни стало исполнить свой долг. На совет собралось около пятнадцати предводителей крестоносцев во главе с Готфридом. Герцог Бульонский был высок и крепко сложен; он достиг того возраста, когда люди, нисколько не утратив твердости и настойчивости, обычно приобретают вместе с тем мудрость и осмотрительность, незнакомые им в юношеские годы. Во всем его облике сочетались благоразу-

ние и смелость, подобно тому как в его кудрях соседствовали черные пряди и серебристые нити.

Танкред, благороднейший из христианских рыцарей, сидел неподалеку от него вместе с Гуго, графом Вермандуа, звавшимся обычно Великим Графом, себлюбивым и коварным Боэмундом, могущественным Раймондом Прованским и другими предводителями крестоносцев; все они были закованы в броню.

Берта, стараясь сохранить присутствие духа, с робкой грацией подошла к Готфриду, вручила ему возвращенный молодым пажом перстень и, низко поклонившись, проговорила:

— Готфрид, герцог Бульонский, властитель Нижней Лотарингии, глава святого дела, именуемого крестовым походом, и вы, равные ему, его доблестные соратники и спутники, почитаемые под разными титулами, к вам обращаюсь я, скромная английская девушка, дочь Ингельреда, хэмпширского землевладельца, который стал вождем Лесовиков, или свободных англосаксов, подчинявшихся прославленному Эдрику. Я прошу о доверии как предъявительница врученного вам подлинного перстня, посланного графом Робертом Парижским, который занимает среди вас не последнее место...

— И является нашим достойнейшим союзником, — глядя на перстень, сказал Готфрид. — Большинству из вас, благородные рыцари, знакома, вероятно, эта печать — поле, усеянное обломками расколотых копий.

Перстень пошел по рукам, и почти все присутствующие его признали.

После слов Готфрида девушка продолжила свою речь:

— Я обращаюсь от его имени ко всем истинным крестоносцам, соратникам Готфрида Бульонского, и особенно к самому герцогу, — ко всем, повторяю, кроме Боэмунда Тарентского, которого он считает недостойным своего внимания...

— Что? Это я недостойн его внимания? — воскликнул Боэмунд. — Что ты хочешь этим сказать, девушка? Впрочем, граф Парижский сам даст мне ответ!

— С вашего дозволения, рыцарь Боэмунд, не даст, — возразил Готфрид. — Наши правила запрещают нам вызывать на поединки друг друга, и если дело не будет улажено самими противниками, оно должно быть разрешено на этом высоком совете.

— Кажется, я догадываюсь теперь, в чем тут дело, — заявил Боэмунд. — Граф Парижский зол на меня, он в ярости оттого, что я дал ему накануне нашего ухода из Константинополя добрый совет, а он пренебрег им и не пожелал последовать ему...

— Все это станет ясным после того, как мы выслушаем его послание, — прервал Боэмунда герцог Бульонский. — Скажи нам, девушка, что просил сообщить граф Роберт Парижский, и тогда мы попробуем разобраться в этом пока еще непонятном нам деле.

Вкратце изложив предшествовавшие события, Берта заключила свою речь следующими словами:

— Поединок должен состояться завтра, часа через два после восхода солнца, и граф просит благородного герцога Бульонского позволить пятидесяти французским копьеносцам быть свидетелями этой встречи, дабы она прошла честно и достойно, согласно всем правилам, которые, как полагает граф, вряд ли будет соблюдать его противник. Если же какой-нибудь молодой и доблестный рыцарь пожелает по собственной воле присутствовать на означенном поединке, граф сочтет это присутствие за честь, но тем не менее просит, чтобы имя этого рыцаря непременно было названо в числе тех вооруженных крестоносцев, которые придут на поединок; это число, проверенное самим герцогом Готфридом, не должно превышать пятидесяти копий, достаточных для требуемой защиты; большее же число их может навести греков на мысль о подготовке к нападению, и тогда снова возобновятся распри, сейчас, по счастью, утихшие.

Не успела Берта закончить свое сообщение и с большим изяществом поклониться собранию, как крестоносцы начали перешептываться; этот шепот перешел затем в оживленный разговор.

Несколько пожилых рыцарей и высокопоставленных духовных лиц, вошедших к этому времени в ша-

тер, чтобы принять участие в совете, решительно настаивали на соблюдении данного им торжественного обета не делать ни шага назад на пути к Палестине, особенно теперь, когда они уже приблизились к своей святой цели. Молодые же рыцари, напротив, воспылали негодованием, услышав, в какую ловушку попал их соратник, и лишь немногим из них казалось возможным пропустить турнир, который должен был состояться неподалеку, да еще в стране, где подобные зрелища крайне редки.

Готфрид сидел, подперев голову рукой; видно было, что он находится в большом затруднении. Он уже стерпел столько обид, лишь бы сохранить мирные отношения с греками, что порвать с ними теперь считал весьма неблагоприятным; при этом пришлось бы пожертвовать всем, чего он добился путем множества тягостных уступок Алексею Комнину. С другой стороны, как человек чести, он должен был отплатить за оскорбление, нанесенное графу Роберту Парижскому, который благодаря жившему в нем истинно рыцарскому духу стал любимцем всего войска. Кроме того, дело касалось и прекрасной дамы, к тому же очень храброй, — любой из рыцарей-крестоносцев чувствовал себя обязанным в силу своего обета поспешить к ней на помощь. И когда Готфрид заговорил, он прежде всего посетовал на то, как трудно в этом случае принять решение и как мало у них времени, чтобы все обдумать.

— Да позволит мне герцог Бульонский сказать, что я был рыцарем до того, как стал крестоносцем, и дал обет рыцарства раньше, чем отметил свое плечо этим священным символом, — возвысил голос Танкред, — а обет, произнесенный первым, должен быть первым и выполнен. Поэтому я наложу на себя епитимью за то, что отсрочу исполнение второго обета, дабы соблюсти главный долг рыцаря и прийти на помощь прекрасной даме, попавшей в беду и оказавшейся в руках людей, которые ведут себя столь постыдно и по отношению к ней и по отношению к нашему войску, что их с полным правом можно назвать вероломными негодьями!

— Если мой родич Таикред умерит свой пыл, — сказал Боэмунд, — а вы, благородные рыцари, соблаговолите, как это порою уже случилось, прислушаться к моим словам, я, кажется, подскажу вам, каким образом можно, не нарушив обета, помочь нашим сподвижникам, попавшим в беду. Я вижу, кое-кто по-сматривает на меня с подозрением, — может быть, это вызвано той грубостью, с какой сей неистовый, а в этих обстоятельствах попросту безумный молодой воин отказался от моей помощи. Вся моя вина заключается в том, что словом и примером я предостерег его против замышляемого предательства и призвал к умеренности и терпению. Но он пренебрег моим предостережением, не захотел последовать моему примеру и попал в западню, расставленную, можно сказать, перед самым его носом. И все же я думаю, что граф Парижский, опрометчиво оказав мне неуважение, действовал лишь под влиянием своего нрава, ставшего из-за всех этих невзгод и злоключений безрассудным, вернее — просто бешеным. Однако я не сержусь на него и даже готов, с дозволения герцога и всего совета, поспешить с пятьюдесятью копьеносцами к месту поединка; и так как каждому копьеносцу положена свита в десять воинов, наша численность возрастает до пятисот человек; с таким отрядом я, несомненно, смогу освободить графа и его супругу.

— Твое предложение благородно, и к тому же ты подаешь пример милосердного забвения обид, которое подобает всякому, кто входит в наше христианское воинство, — сказал герцог Бульонский. — Но ты позабыл о главной трудности, брат Боэмунд, — о том, что мы поклялись ни разу не обращать наших шагов вспять на этом священном пути!

— Если сию клятву можно обойти, наш долг велит нам сделать это, — возразил Боэмунд. — Разве мы такие неопытные наездники и наши кони так плохо объезжены, что мы не сможем заставить их пятиться до самой пристани в Скутари? Таким же образом они взойдут и на суда; а в Европе, где наша клятва уже не будет нас связывать, мы спасем графа и графиню

Парижских, и наш обет перед лицом небес останется ненарушенным.

Шатер огласился дружными кликами:

— Многая лета благородному Боэмунду! Да падет позор на наши головы, если мы не поспешим на помощь столь доблестному рыцарю и столь прекрасной даме, когда мы можем это сделать, не нарушив обета!

— Мне кажется, мы скорее обходим, чем решаем вопрос, — сказал Готфрид, — но такие обходы допускались самыми учеными и самыми строгими служителями церкви; и я, не колеблясь, принимаю предложение Боэмунда — ведь если бы враг напал на нас с тыла, мы были бы вынуждены обратиться вспять.

Кое-кто из числа членов совета, особенно духовные лица, склонны были думать, что торжественную клятву, связывающую крестоносцев, надо соблюдать буквально. Однако, по мнению Петра Пустынника — он тоже заседал в совете и пользовался там большим влиянием, — «точное следование обету повело бы к ослаблению военной мощи крестоносцев, потому оно недопустимо, и незачем придерживаться буквального толкования клятвы, если ее можно искусно обойти».

Он даже предложил сам поехать, птясь на своем осле, и хотя Готфрид Бульонский отговорил его от этого, не желая, чтобы Петр стал посмешищем в глазах язычников, тот произвел своими доводами такое впечатление на рыцарей, что они, уже перестав сомневаться в возможности подобной езды, стали бурно спорить о том, кому достанется честь принадлежать к отряду, который доберется до Константинополя, станет свидетелем поединка и вернет крестоносцам целыми и невредимыми храброго графа Парижского, в чьей победе никто не сомневался, и его супругу-амазонку.

Этим спорам Готфрид тоже положил конец, самолично избрав пятьдесят рыцарей, составивших отряд. В него вошли представители разных стран; командование отрядом было возложено на молодого Танкреда Отрантского. Хотя Боэмунд настойчиво хотел принять участие в освобождении графа Роберта, Готфрид

отказал ему, под предлогом, что его знание этих краев и их жителей крайне необходимо совету для составления плана похода на Сирию. На самом же деле Готфрид опасался, что корыстолюбивый Боэмунд, искусный в военном деле и очень ловкий человек, очутившись во главе отдельного отряда, при первом удобном случае попытается укрепить собственное могущество и владения, позабыв о священных целях крестового похода. Входявшие в отряд молодые рыцари были главным образом озабочены тем, как достать хорошо обьезженных коней, которые легко и послушно совершат маневр, избавляющий всадников от нарушения обета. Наконец отряд был полностью составлен и получил приказание собраться в тылу, иными словами — на восточной границе лагеря. Тем временем Готфрид передал Берте послание к графу Парижскому, в котором, слегка пожурив его за недостаточную осторожность в общении с греками, извещал, что посылает ему на помощь отряд в пятьдесят копьеносцев с соответствующим числом оруженосцев, пажей, вооруженных всадников и лучников, всего пятьсот человек, под командованием храброго Танкреда. Готфрид также сообщал графу, что посылает ему латы из лучшей миланской стали и надежного боевого коня, которыми просит воспользоваться на поединке, — Берта не преминула рассказать герцогу о том, что граф нуждается в рыцарском снаряжении. К шатру тут же привели коня в полном боевом уборе, закованного в сталь и нагруженного доспехами для графа. Готфрид сам вложил повод в руку Берты.

— Не бойся, можешь смело довериться этому коню, он смирный и послушный, но вместе с тем быстроногий и неустрашимый. Садись на него и старайся держаться поближе к благородному Танкреду Отрантскому — он будет верным защитником девушки, которая проявила сегодня столько сметливости, мужества и верности.

Берта низко поклонилась; ее щеки запылали от похвал человека, чьи таланты и достоинства пользовались всеобщим признанием и снискали ему высокое положение предводителя войска, в которое входили

самые отважные и самые прославленные военачальники христианских стран.

— А это что за люди? — спросил Готфрид, завидя стоявших поодаль спутников Берты.

— Один из них паромщик, который перевез меня сюда, а другой — старик варяг, данный мне в телохранители.

— Вряд ли будет благоразумно позволить им сопровождать тебя — ведь они могут воспользоваться здесь своими глазами, а затем на том берегу развязать языки, — сказал вождь крестоносцев. — Пусть они ненадолго останутся тут. Жители Скутари не сразу поймут наши намерения, а мне хотелось бы, чтобы принц Танкред и его спутники сами объявили о своем прибытии.

Берта передала своим провожатым повеление военачальника крестоносцев, умолчав о том, что побудило его к этому; паромщик начал возмущаться жестокостью людей, лишаящих его заработка, а Осмунд стал жаловаться, что ему не позволяют вернуться к его обязанностям. Но Берта, по приказу Готфрида, все же рассталась с ними, заверив их, что они вскоре будут на свободе. Оставшись одни, они начали развлекаться, каждый по-своему. Паромщик пошел разглядывать все, что было ему в диковинку, а Осмунд, приняв тем временем от одного из слуг предложение позавтракать, занялся бутылкой такого славного красного вина, что оно примирило бы его и с худшей долей.

Пятьдесят копьеносцев с вооруженной свитой, всего пятьсот человек, входивших в отряд Танкреда, подкрепившись, успели облачиться в доспехи и сесть на коней еще до наступления знойной полуденной поры. После ряда маневров, совершенно непонятных skutарийским грекам, которые с любопытством смотрели на приготовления отряда, всадники выстроились по четверо в ряд в одну колонну, а затем все одновременно начали осаживать своих коней назад. Это движение было привычным и для всадников и для коней, и зрителей вначале оно не так уж удивило; но когда отряд крестоносцев все тем же способом вошел в Скутари, жители города начали догадываться,

в чем тут дело. Когда же Танкред и еще несколько человек, чьи лошади были особенно хорошо обучены, достигли гавани, захватили галеру, на которую ввели своих коней, и, несмотря на сопротивление портовой стражи, отчалили от берега, в городе поднялось невообразимое волнение.

Другим всадникам пришлось гораздо труднее, ибо они не привыкли долго двигаться столь необычным аллюром; поэтому многие рыцари, проехав, пытаясь, несколько сот ярдов, решили, что этого вполне достаточно для соблюдения обета и, поскакав в город уже обычным образом, без дальнейших церемоний овладели несколькими судами, которые, несмотря на приказ греческого императора, остались на азиатском берегу пролива. С менее искусными наездниками произошли несчастные случаи; хотя в ту эпоху и существовала поговорка, что нет ничего смелее слепой лошади, но вследствие такого способа передвижения, когда ни всадник, ни конь не видели, куда они едут, несколько лошадей упало, другие налетели на опасные препятствия, в результате чего всадники пострадали гораздо больше, чем при обычном походе.

Упавшим грозила также опасность нападения со стороны греков; по счастью, Готфрид, поборов свои религиозные сомнения, послал к ним на выручку отряд крестоносцев, который быстро справился со своей задачей. Большой части спутников Танкреда удалось, как они и рассчитывали, сесть на суда, и в конце концов отстало не более сорока человек. Однако, чтобы завершить путешествие, даже принцу Отрантскому, не говоря уже о его спутниках, пришлось заняться отнюдь не рыцарским делом, а именно взяться за весла. Это оказалось для них тяжким испытанием — мешали и ветер, и сильное течение, и собственная неопытность. Сам Готфрид с тревогой следил с соседнего холма за их продвижением вперед и был весьма опечален, видя, с каким трудом они плыли; все это еще осложнялось необходимостью держаться всем вместе, поэтому даже те суда, которые могли бы двигаться сравнительно быстро, замедляли ход, поджидая менее поворотливые и с нелов-

ким экипажем. Но все же они продвигались вперед, и глава крестоносцев не сомневался, что отряд благополучно достигнет другого берега до захода солнца.

Наконец он удалился со своего наблюдательного поста, а вместо него остался бдительный страж, которому велено было немедленно сообщить, как только суда причалят к противоположному берегу. Если это произойдет еще засветло, воин разглядит их невооруженным глазом, а если уже стемнеет, принц Отрантский зажжет сигнальные огни; в случае, если отряд встретит сопротивление греков, огни следовало расположить в особом порядке, для обозначения грозящей отряду опасности.

Затем Готфрид вызвал к себе греческие власти Скутари и объяснил им, что ему необходимо иметь наготове столько судов, сколько они сумеют предоставить; на этих судах он намеревался в случае надобности переправить через пролив мощное войско для поддержки тех, кто ранее отплыл в Константинополь. Только после этого он поскакал обратно в лагерь; шедший оттуда гул, более громкий, чем обычно, потому что множество людей вело там шумные споры о событиях минувшего дня, смешивался с глухим рокотом бурливого Геллеспонта.

Глава XXIV

Все подготовлено. Отсеки мины
Полны горючим. Как песок, безвредно
Оно по виду, но одна лишь искра
Так может изменить его природу,
Что тот, кто должен мину подвести,
Страшится разбудить ее не меньше
Того, чью крепость взрыв сметет с земли.

Неизвестный автор

Когда небеса внезапно темнеют и дышать становится тяжело, все бессловесные твари чувствуют, что надвигается буря, которая сулит им беду. Птицы улетают в лесную чащу, дикие звери, движимые инстинктом,

прячутся в самые глухие дебри, а домашние животные проявляют свой страх перед близкой грозой необычным поведением, говорящим об их тревоге и ужасе.

И человек, если поощрять и развивать в нем врожденные способности, может, по-видимому, в таких случаях, наподобие низших тварей, предчувствовать близость бури. Возможно, мы слишком усердно развиваем наш разум — так усердно, что он полностью глушит и подавляет те естественные инстинкты, которыми наделила нас сама природа, дабы предостеречь от грозящей опасности.

Однако кое-что от этой восприимчивости в нас сохранилось и по сей день; смутные чувства, возмущающие нас, подобно вещим сестрам, всяческие горести и невзгоды, омрачают нас, как внезапное облако.

В тот роковой день, который предшествовал поединку кесаря с графом Парижским, по Константинополю ходили самые противоречивые и в то же время зловещие слухи. Кое-кто говорил, что вот-вот вспыхнет тайно готовящийся мятеж; другие утверждали, будто над обреченным городом будут развеяться знамена войны; что касается повода к ней и предполагаемого неприятеля, тут мнения расходились. По словам одних, варвары из пограничной Фракии — венгры, как их называли, — и куманы двинулись внутрь страны, намереваясь захватить город врасплох; по другим сведениям, турки, которые обосновались в те времена в Азии, решили предупредить нападение крестоносцев на Палестину, предприняв со свойственной им быстротой один из своих бесчисленных набегов не только на западных паломников, но и на христиан Востока.

Были и другие, более близкие к правде слухи, будто сами крестоносцы, по многим причинам недовольные Алексеем Комнином, решили обрушиться на столицу и свергнуть императора или покарать его; гнев этих свирепых людей, обладавших такими странными повадками, мог привести к последствиям, которые заранее приводили в ужас встревоженных горожан. Короче говоря, все были убеждены, что на столицу надвигается страшная опасность, хоть и не сходились

во мнениях относительно подлинных причин, породивших ее; эта уверенность до некоторой степени подтверждалась передвижениями войск. Варяги, равно как и Бессмертные, постепенно скапливаясь, занимали ключевые позиции в городе; под конец обитатели Константинополя увидели целую флотилию галер, гребных и транспортных судов Танкреда и его спутников; суда эти вышли из Скутари и попытались занять такое положение в узком проливе, чтобы течение отнесло их прямо к константинопольской гавани.

Сам Алексей Комнин был поражен неожиданным появлением крестоносцев. Но, поговорив с Хирвардом, на которого решил полностью положиться, зайдя при этом так далеко, что отступление стало уже невозможным, император успокоился; к тому же отряд западных рыцарей был слишком мал и не мог замыслить такую дерзость, как нападение на его столицу. Как он небрежно объяснил своим приближенным, вряд ли можно было предполагать, что возвестившая о поединке труба, прозвучав столь близко от лагеря крестоносцев, не вызвала хотя бы у некоторых рыцарей естественного стремления выяснить причину этого события и поглядеть на исход боя.

У заговорщиков тоже возникли затаенные страхи при виде маленькой эскадры Танкреда. Агеласт верхом на муле отправился к берегу моря, на то место, которое теперь зовется Галатой. Там он встретил старика, перевозившего Берту в Скутари, — Готфрид отпустил его на свободу, движимый как презрением, так и желанием отвлечь его рассказами внимание константинопольских заговорщиков. Понукаемый настойчивыми расспросами Агеласта, паромщик сообщил, что, насколько он понимает, этот отряд отправлен по настоянию Боэмунда и находится под начальством его родича Танкреда, чье прославленное знамя развевалось на головном судне. Это ободрило Агеласта — плетя свои интриги, он вошел в тайные сношения с коварным и весьма алчным князем Антиохийским. Философ задался целью получить от Боэмунда отряд крестоносцев, который принял бы участие в заговоре и послужил мятежникам подкреплением. Правда,

Бозмунд ему не ответил, но, судя по рассказу паромщика и по тому, что в проливе появилось судно, украшенное знаменем Танкреда, родича Бозмунда, философ решил, что его предложения, подарки и обещания соблазнили корыстолюбивого итальянца и что Бозмунд направил сюда этот отряд, дабы оказать ему, Агеласту, содействие.

Собравшись уезжать и повернув мула, Агеласт чуть было не столкнулся с человеком, который был так же старательно закутан и, по-видимому, так же стремился остаться неузнанным, как сам философ. Однако Алексей Комнин — ибо это был император — узнал Агеласта — если не по чертам лица, то по фигуре и движениям; не удержавшись, Алексей мимоходом прошептал на ухо философу известные строки, которые метко определяли разнообразные познания мнимого мудреца:

Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
Augur, schœnobates, medicus, magus; omnia novit.
Græculus esuriens in cœlum, jusseris, ibit.¹

Услыхав голос императора, Агеласт вздрогнул от неожиданности, но сразу же овладел собой, хоть у него и возникло подозрение, что его предали; не обращая внимания на сан собеседника, он ответил цитатой, которая, в свою очередь, должна была возбудить в Алексее не меньшую тревогу. Ему пришли на ум те самые слова, с какими якобы Клеоники обратилась к убившему ее тирану:

Tu cole justitiam; teque atque alios manet ultor.²

¹ Он и философ и врач, математик он и ваятель, Канатоходец, авгур, чародей и все, что угодно. Жадному греку позволь, так он и на небо ползет (лат.).

Строки из Ювенала, которым подражал Джонсон в своем «Лондоне»:

Француз, освоив курс земных наук,
Пойдет хоть в ад — расширить знаний круг. (Прим. автора.)

² Будь справедлив; над тобой и над всеми бодрствует мститель (лат.).

Эти слова и вызванные ими воспоминания заставили императора внутренне содрогнуться; однако он пошел дальше, ничего не ответив, словно и не слышал их.

«Наверно, гнусный заговорщик окружен своими сообщниками, иначе он не рискнул бы обратиться ко мне с такой угрозой, — подумал Алексей. — А может быть, тут кроется нечто более страшное: ведь Агеласт уже стоит одной ногой в могиле — не обрел ли он удивительный дар пророчества? Быть может, он говорит теперь не столько по собственному разумению, сколько повинаясь странному наитию, которое и продиктовало ему этот ответ? Неужели и впрямь, исполняя свой императорский долг, я стал таким грешником, что предостережение злосчастной Клеоники, обращенное к тому, кто совершил над ней насилие, а потом убил ее, приложимо ко мне? Нет, не думаю. Без справедливой строгости я не мог бы сохранить за собой престол, куда небу было угодно возвести меня и где я должен держать себя как подобает монарху и правителю страны. Мне кажется, что людей, к которым я проявил милосердие, ничуть не меньше, чем тех, кто понес за свою вину заслуженную кару. Но каким бы заслуженным ни было это наказание, осуществлялось ли оно всегда законным и справедливым образом? Вряд ли моя совесть в состоянии ответить на столь прямой вопрос; да и есть ли на свете человек, даже если в добродетели он не уступает самому Антонину, который, будучи облечен властью и занимая такое высокое положение, тем не менее бестрепетно выслушал бы намек, таившийся в словах предателя? *Tu cole justitiam* — «Будь справедлив...» *Teque atque alios manet ultor* — «И тебе и другим угрожает мститель». Поеду к патриарху! Сейчас же поеду к нему... Покаюсь перед ним в грехах, он мне их отпустит, и я получу право провести последний день своего царствования, зная, что я невинен или по крайней мере прощен... А ведь это редко выпадает на долю тех, кого судьба так вознесла».

И он направился ко дворцу патриарха Зосимы, которому мог спокойно открыться, ибо тот уже давно

считал Агеласта тайным врагом церкви и приверженцем древних языческих учений. На государственных советах они всегда выступали друг против друга, и Алексей не сомневался, что, посвятив патриарха в тайну заговора, приобретет в его лице верного и надежного помощника в борьбе с изменниками. Он тихо свистнул, и в ответ на этот сигнал к нему тотчас подъехал доверенный слуга, незаметно сопровождавший его на некотором расстоянии.

Алексей Комнин поехал к патриарху — быстро, однако не настолько, чтобы привлечь на улицах чье-либо внимание. По дороге ему не раз приходила на ум угроза Агеласта, и совесть напоминала о слишком многих событиях его царствования; хотя их можно было оправдать необходимостью — обычной отговоркой всех тиранов, но они вполне заслуживали жестокого возмездия, которое так долго откладывалось.

Когда показались величественные башни, украшавшие фасад патриаршего дворца, Алексей свернул в сторону от высоких ворот, въехал в небольшой двор, спешил и, передав мула своему прислужнику, остановился перед какой-то дверью с низким сводом и скромным архитравом, которая, судя по ее неказистому виду, не могла вести во дворец. Однако когда Алексей постучал, ему открыл священник, хотя и невысокого чина; как только император назвал себя, он, низко склонившись, впустил его и провел во внутренние покои. Там Алексей потребовал тайного свидания с патриархом, и его проводили в библиотеку Зосимы, где престарелый патриарх принял императора с глубоким почтением; впрочем, после того, что поведал ему Алексей, все другие чувства сменились у него изумлением и ужасом.

Многие приближенные и особенно некоторые члены семьи считали религиозность Алексея просто ханжеством, но эти строгие судьи несправедливо приписывали ему это отвратительное свойство. Разумеется, он понимал, какую поддержку оказывает ему доброе отношение духовенства, и всегда был готов идти на жертвы ради церкви или отдельных священнослужителей, хранящих верность престолу; хотя обычно Алек-

сей приносил эти жертвы, имея в виду какие-нибудь политические выгоды, сам он все же считал их проявлениями благочестивых чувств и приписывал своей набожности те поблажки и уступки, которые по сути дела являлись плодами вполне мирской политики. Он смотрел на эти меры, словно человек, страдающий косоглазием и видящий вещи по-разному, в зависимости от того, каким глазом ему случается на них взглянуть.

Исповедуясь перед патриархом, император признался в прегрешениях, совершенных им за время своего царствования, должным образом оценивая свои проступки против нравственности, обнажая их суть и отбрасывая те внешние обстоятельства, которые в свое время ему самому казались смягчающими. Патриарх был весьма удивлен, узнав истинную подоплеку многих придворных интриг, которые представлялись ему совсем в другом свете до той минуты, когда признания императора либо вполне оправдывали его поведение, либо лишали его всяческого оправдания. В целом чаша весов, несомненно, больше склонялась в сторону Алексея, чем это казалось патриарху прежде, когда он глядел на дворцовые интриги издали, — ведь обычно министры и царедворцы, шумно одоббив на совете самые недостойные действия самодержца, затем распускают слухи о таких преступных его замыслах, какие ему и не снились. Многие люди, павшие, по общему мнению, жертвой личной ненависти или подозрительности императора, на самом деле были убиты или лишены свободы лишь потому, что, останься они в живых или на воле, и монарху и самому государству постоянно грозила бы опасность.

Зосима также узнал — может быть, он подозревал об этом и раньше, — что Греческую империю, безгласную как всякая деспотия, часто сотрясают глухие подземные толчки, говорящие о том, что в недрах ее кроется вулкан. И в то время как мелкие провинности или проявления открытого недовольства императором были редки и строго наказывались, тайные и самые коварные заговоры против жизни и власти Алексея

замышляли люди, которые ближе всех стояли к его особе; хотя он зачастую знал об этих заговорах, воспользоваться своей осведомленностью он решался лишь тогда, когда дело близилось к развязке.

Патриарх с изумлением выслушал подробный рассказ об измене кесаря и его сообщников — Агеласта и Ахилла Татия; особенно поразила его ловкость, с какой императору, знавшему о существовании такого опасного заговора у себя в стране, удалось в то же время отразить другую опасность, грозившую ему со стороны крестоносцев.

— На сей раз мне очень не посчастливилось, — сказал император, когда патриарх намекнул ему на то, как он удивлен. — Если бы я был уверен в собственных войсках, я мог бы занять любую из двух вполне мужественных и честных позиций в отношении этих неистовых западных воителей: я мог бы, святейший отец, использовать золото, уплаченное Бозмунду и другим его корыстным соратникам, на открытую поддержку западного христианского воинства и благополучно переправить крестоносцев в Палестину, избавив их от потерь, которые и так предстоят им в борьбе с неверными; их успех был бы, по существу, моим успехом, а латинское королевство в Палестине, охраняемое воинами, закованными в сталь, обратилось бы в надежную и непреодолимую преграду между империей и сарацинами. Или же, если б это было сочтено более приличествующим достоинству империи и святой церкви, над которой ты властвуешь, мы могли бы сразу с оружием в руках встать на защиту наших границ от полчищ, управляемых таким множеством вождей, да еще несогласных между собою и идущих на нас с такими двусмысленными намерениями. Если первый рой этой саранчи, под началом Вальтера Голяка, как они его звали, пострадал от венгров и был полностью уничтожен турками — ведь об этом все еще напоминают груды костей на наших рубежах, — то, уж конечно, всем объединенным войскам Греческой империи было бы нетрудно во второй раз рассеять саранчу, хоть ею и предводительствуют все эти Готфриды, Бозмунды и Танкреды.

Патриарх молчал; не любя, вернее — ненавидя крестоносцев за их принадлежность к латинской церкви, он все же сомневался, чтобы греческие войска могли победить их в сражении.

— Во всяком случае, — правильно истолковав его молчание, продолжал Алексей, — если б я оказался побежденным, я пал бы на поле боя, как подобает греческому императору, и не был бы вынужден прибегать к таким низким уловкам, как нападение из-за угла и ссылки на то, что это, дескать, были неверные; а преданные защитники Греции, погибшие в никому не известных стычках, достойно пали бы в борьбе за своего императора и свою страну, что было бы лучше и для них и для меня. При нынешних обстоятельствах, я сохраняю в памяти потомков как коварный тиран, который вовлекал своих подданных в роковые междоусобицы ради сохранения своей ничтожной жизни. Но эти преступления, патриарх, лежат не на моей совести, а на совести мятежников, вынудивших меня своими кознями прибегнуть к таким средствам... Что же ожидает меня в будущей жизни, святой отец? И каким предстану я перед потомством, я, виновник стольких бедствий?

— О твоей будущей жизни, государь, печется святая церковь, — ответил патриарх, — а ей дана власть вязать и разрешать. Средства, коими ты можешь ее умиловить, весьма многочисленны; я уже разъясняя, чего она может по справедливости ожидать от тебя после твоего покаяния и отпущения тебе грехов.

— Я полностью пойду навстречу святой церкви и не оскорблю тебя сомнениями в могуществе ее заступничества перед небесами, — сказал император. — Но и в этом мире благосклонность церкви может очень помочь мне в столь трудное для меня время. Если мы правильно понимаем друг друга, добрейший Зосима, проповедники и святые отцы должны громогласно вступить за меня, и пользу из прощения церкви я должен извлечь до того, как надо мной ляжет надгробный камень.

— Разумеется, но для этого тебе надобно строго соблюдать поставленные мною условия,

— А память обо мне в истории? — спросил Алексей. — Как сохранить ее незапятнанной?

— В этом, государь, ты должен положиться на любовь и склонность к словесному творчеству твоей высокоученой дочери, царевны Анны.

Император покачал головой.

— Этот злосчастный кесарь, вероятно, рассорит нас, — сказал он. — Не могу же я простить такого неблагодарного мятежника только потому, что моя дочь пылает к нему страстью как истая женщина. И кроме того, добрейший Зосима, я сомневаюсь, чтобы потомство приняло на веру творение такого историка, как моя дочь. Какой-нибудь Прокопий, какой-нибудь философствующий раб, подыхающий с голоду на чердаке, дерзнет описать жизнь императора, к которому он не смеет приблизиться; и хотя главное достоинство его труда заключено в том, что он содержит такие подробности, какие никто не отважится обнародовать при жизни монарха, стоит тому умереть — и все поверят в их подлинность.

— Тут, государь, я не могу ни облегчить твою участь, ни защитить тебя. Но если твою память несправедливо очернят в земной юдоли, тебе это будет безразлично, ибо ты, надеюсь, будешь в это время наслаждаться высшим блаженством, которое не сможет омрачить ни один праздный клеветник. Единственный же путь избежать подобной клеветы в нашем мире — это самому написать историю своих деяний, пока ты пребываешь в живых. Я уверен, что ты сумеешь найти законные оправдания поступкам, которые иначе могут показаться достойными осуждения.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал император, — и, поскольку нам сейчас грозит такая опасность, позаботимся о настоящем и предоставим грядущим поколениям самим судить обо всем. Какие же, по-твоему, обстоятельства, святой отец, позволяют заговорщикам так смело взывать к греческому народу и воинам?

— Из всех событий, которые произошли при твоём правлении, государь, особенное негодование народа вызвало заключение во влахернскую темницу Урсела,

сдавшегося, как говорят, лишь после твоего обещания сохранить ему жизнь и свободу. По слухам, он умер там голодной смертью. Его отвага, щедрость и другие любезные народу качества до сих пор любовно хранятся в памяти жителей столицы и воинов из отрядов Бессмертных.

— И это, святой отец, ты считаешь главным поводом для народного возмущения? — пристально глядя на своего духовника, спросил император.

— Я убежден, что одно его имя, смело произнесенное и вовремя повторенное, послужит призывом к страшному и кровавому бунту, на что и рассчитывают заговорщики.

— Хвала всевышнему! Против этого я могу принять меры. Доброй ночи, святой отец! Верь мне: все, начертанное на свитке и подписанное моей рукой, будет свято выполнено. Только с этим не надо торопиться — такой дождь благодетелей, сразу пролившийся на церковь, заставит людей заподозрить, что поведение священнослужителей вызвано сделкой между патриархом и императором, а не искупительной жертвой грешника, замаливающего свои преступления. Это повредит и мне и тебе, святой отец!

— Мы предоставим тебе отсрочку по твоему усмотрению, государь. Надеюсь, ты не забудешь, что сделка — если можно ее так назвать — была заключена по твоей просьбе и что щедроты в отношении церкви означают для тебя ее поддержку и отпущение грехов.

— Справедливо, совершенно справедливо, — сказал император, — и я этого не забуду. Еще раз прощай и помни о том, что я тебе сказал. Сегодня ночью, Зосима, император должен трудиться как раб, если он не хочет снова стать безвестным Алексеем Комнином, которому к тому же негде будет приклонить голову.

С этими словами он простился с патриархом, весьма довольным выгодами, которые выговорил для церкви и которых тщетно добивались его предшественники. Поэтому он и решил поддержать шатающийся трон Алексея.

Глава XXV

У звезд свои пути. Стрела и пуля
Летят в определенном направлении.
Все — каждый кустик, каждая букашка —
Начертанному следует уделу.

Старинная пьеса

После описанной выше встречи с императором Агеласт, принявший все меры, которые, по его мнению, должны были обеспечить успех заговора, вернулся в садовый домик, где все еще томилаcь супруга графа Парижского; при ней была лишь старуха Векселия, жена того воина, что провожал Берту в лагерь крестоносцев, — добросердечная девушка потребовала, чтобы во время ее отсутствия графине прислуживала какая-нибудь женщина, дочь или жена варяжского воина. Весь день Агеласту приходилось играть роль честолюбивого политика, своекорыстного соглашателя, скрытного, искусного заговорщика; как бы для того, чтобы исчерпать список своих разнообразных ролей в человеческой драме, он решил изобразить лукавого софиста и тем самым оправдать, хотя бы для видимости, пути, которыми он пришел к богатству и высокому положению, а теперь надеялся достичь высот императорского престола.

— Прекрасная графиня, — обратился он к Бренгильде, — по какому поводу ты окутала покрывалом скорби свое прелестное лицо?

— Что же, по-твоему, я чурбан, камень, бесчувственное создание, которое мирится с унижениями, с пленом, опасностями и горем, не выказывая при этом самых естественных человеческих чувств? Ты воображаешь, что свободную, как дикий сокол, женщину можно держать в оскорбительной неволе и она останется равнодушной к бесчестью, благосклонной к его виновникам! И ты думаешь, что я приму утешения — и от кого! — от тебя, одного из тех, кто так искусно и так вероломно опутал меня гнусной паутиной предательства.

— Если тебя и опутали, то, во всяком случае, без моего участия! — воскликнул Агеласт. — Хлопни в

ладоши, призови раба, дабы он исполнил любое твое желание, и если он откажется повиноваться тебе, лучше бы ему совсем не родиться на свет! Если бы я, забывая о твоей безопасности и чести, не согласился стать ненадолго твоим стражем, это звание присвоил бы себе кесарь, а его намерения тебе известны, и ты, вероятно, догадываешься, какими способами он стал бы их осуществлять. Так зачем же ты плачешь, как ребенок, из-за того только, что тебя временно держат в почетном заключении, — ведь прославленное оружие твоего супруга положит ему конец не позднее завтрашнего полудня!

— Как ты не понимаешь, ты, человек, у которого так много красивых слов и так мало честных мыслей, — сказала графиня, — что я привыкла полагаться на собственную силу и мужество, и мне нестерпимо стыдно быть обязанной освобождением не своему мечу, а чужому, пусть даже это будет меч моего супруга.

— Тебя вводит в заблуждение гордыня — этот главный порок женщин, — ответил философ. — Подумай, какую кичливую заносчивость ты проявляешь, отказываясь от своего долга жены и матери и подражая тем безумным сумасбродкам, которые, подобно задиристым мужчинам, жертвуют всем, что есть достойного или полезного, ради неистового, безрассудного желания показать свою храбрость? Поверь мне, прекрасная графиня, подлинная суть добродетели в том, чтобы занимать свое место в обществе, украшать его, воспитывать детей и доставлять радость мужчинам; все остальное не только ничего не прибавит к твоим приятным качествам, но, напротив, превратит тебя в ненавистное пугало.

— Ты выдаешь себя за философа, — сказала графиня, — и, мне кажется, тебе следовало бы знать, что слава, возлагающая венок на могилу героя или героини, куда прекрасней всех суетных удовольствий, за которыми гонятся заурядные люди. Один час жизни, отданный рыцарским подвигам и исполненный благородного риска, стоит многих лет благопристойного и жалкого прозябания, в котором нет места ни почету,

ни известности и которое во всем подобно струйке сонных болотных вод.

— Дочь моя, — подойдя ближе к графине, сказал Агеласт, — мне обидно видеть тебя во власти заблуждений, которые легко рассеять, если немного вдуматься в них. Мы тешим себя мыслью — люди ведь так тщеславны, — что некие существа, более могущественные, чем простые смертные, днем и ночью только тем и заняты, что оценивают совершенные в нашем мире добрые и злые дела, решают исход сражений и судьбы государств согласно своим понятиям о праведном и неправедном, или, вернее, согласно тому, что мы считаем их понятиями. Язычники Греции, известные своей мудростью и прославленные своими деяниями, рассказывали людям недалеким о том, что якобы существуют Юпитер и его пантеон, где разные боги ведают разными добродетелями и пороками, управляя земной судьбой и будущим блаженством тех, кто отмечен либо этими добродетелями, либо этими пороками. Но истинно ученые и мудрые мужи древности отвергали такое упрощенное толкование и хотя поведением своим старались не оскорблять народных верований, однако, будучи разумными людьми, с глазу на глаз со своими учениками доказывали нелепость выдумок о Тартаре и Олимпе, пустоту учения о самих богах и бессмысленность упований простолудинов на бессмертие, которым будто бы обладают существа, смертные по самой своей сути — и по телесному своему строению и по духовному складу. Некоторые из этих мудрых и добродетельных мужей, не отрицая возможного бытия богов, в то же время считали, что они заботятся о людях не больше, чем о бессловесных животных. Веселая, радостная, беспечная жизнь, подобная той, какую избрали бы себе последователи Эпикура, — вот и все, что они оставляли на долю богам, в которых тем не менее верили. Другие, более смелые или последовательные, полностью отрицали существование этих, по-видимому, совершенно бесцельных божеств, утверждая, что если никакие сверхъестественные явления не открывают нам их бытия и

атрибутов, стало быть никаких богов нет и быть не может.

— Замолчи, нечестивец! — воскликнула графиня. — Перед тобой не слепая ревнительница гнусной языческой веры, которую ты мне сейчас так подробно излагал. Да будет тебе известно, что хоть я и заблуждалась иногда, но все же я — верная дочь церкви, и этот крест на моем плече — неопровержимое свидетельство тех обетов, которые я дала во имя святой цели! Советую тебе быть столь же осторожным, сколь ты хитер, ибо если ты вздумаешь поднять на смех или осудить мою веру, то, не найдя для ответа достойных слов, я, не колеблясь, отвечу тебе острием кинжала.

— Я не собираюсь настолько злоупотреблять твоим терпением, чтобы тебе пришлось прибегнуть к таким доводам, прекрасная графиня, — отступив подальше от Бренгильды, сказал Агеласт. — Однако, не дерзая что-либо говорить о высших и всеблагих силах, управляющих, по твоему разумению, нашим миром, я, наверно, не обижу тебя, если упомяну о трусливых, суеверных толкованиях того, что маги называют Началом Зла. Разве в какой-нибудь религии встречалось еще такое низменное, почти смехотворное существо, как сатана христиан? Туловище и ноги козла, уродливые черты, выражающие самые гнусные страсти; могуществом он почти равен богу, а в то же время умом не превышает самую бессмысленную из низших тварей. Кто же он такой, этот второй после господина бога властитель рода человеческого, этот бессмертный дух, мелочно злобный и завистливый, как мстительный старик или старуха...

Тут Агеласт внезапно оборвал свою речь. В комнате висело большое зеркало; он мог видеть в нем Бренгильду и всю смену выражений на ее лице, хоть она и отвернулась от него, возмущенная учением, которое он ей проповедовал. Философ, разумеется, не отрывал глаз от зеркала; каково же было его удивление, когда он внезапно увидел в нем физиономию, которая вынырнула из-за занавеси и сверкающими глазами уставилась на него; эта физиономия, казалось, могла

принадлежать только сатане, измышленном воображением монахов, или языческому сатиру.

Удивительное существо привлекло внимание и Бренгильды, решившей, что перед нею сам дьявол.

— Послушай, старик! — воскликнула она. — Неужели твои нечестивые слова и еще более нечестивые мысли вызвали сюда дьявола? Если так, прогони его немедленно, или, клянусь нашей Владычицей сломанных копий, тебе придется сполна узнать, на что способна франкская женщина в присутствии самого сатаны и тех, кто уверяет, будто умеет его вызывать! Без нужды я драться не хочу, но, если мне придется вступить в бой с таким устрашающим противником, никто не посмеет сказать, что Бренгильда его испугалась!

Удивленный и испуганный, Агеласт обернулся, чтобы разглядеть того, чье диковинное отражение он увидел в зеркале. Однако существо, кем бы оно ни было, сразу же исчезло за занавесом, где, видимо, скрывалось, и только через несколько минут в зеркале на том же месте вновь появилась его насмешливая и в то же время мрачная физиономия.

— Клянусь богами!.. — воскликнул Агеласт.

— В которых ты до сих пор не верил, — вставила графиня.

— Клянусь богами, это же Сильвен! — повторил оправившийся от испуга философ. — Сильвен, удивительное подобие человека — его, говорят, привезли к нам из Тапробаны. Ручаюсь, он тоже верит в веселого бога Пана или в отжившего свой век Сильвана! Непосвященным он внушает ужас, но перед философом отступает, как невежество перед знанием!

С этими словами он одной рукой отдернул занавес, за которым животное спряталось, когда залезло в окно из сада, а другой угрожающе замахнулся посохом, говоря:

— Это что еще такое, Сильвен? Что ты себе позволяешь? Вон отсюда!

И он ударил обезьяну; к несчастью, удар пришелся по раненой лапе и вызвал в ней острую боль. Дикая ярость обуяла орангутанга, и на мгновение он

забыл свой страх перед человеком: с бешеным глухим ревом набросился он на философа и свирепо сжал ему горло мускулистыми лапами. Извиваясь и корчась, старик пытался вырваться, но тщетно. Сильвен не выпускал добычу, все крепче сжимая горло философа и не намереваясь освободить его, пока тот не расстанется с жизнью. Еще несколько злобных воплей и диких гримас, еще одно усилие могучих лап, и страшная схватка, которая не длилась и пяти минут, закончилась.

Агеласт лежал мертвый на полу, а его убийца Сильвен, отскочив от тела, спасся бегством через окно, как бы в ужасе от содеянного. Потрясенная графиня замерла на месте, не зная, что и подумать: при ней свершился божий суд, но кто покарал грешника — потусторонний ли мститель или обыкновенное земное существо? Ее новая прислужница Векселия удивилась не меньше графини, хоть орангутанг был ей хорошо известен.

— Это очень сильное животное, госпожа, — объяснила она, — оно похоже на человека, но только больше и сильнее; зная об этом, оно иногда проявляет враждебность к людям. Я слышала от варягов, будто оно из императорского зверинца. Лучше нам убрать отсюда тело этого несчастного и спрятать его где-нибудь в саду, в кустах. Сегодня вечером его, наверно, не хватятся, а завтра произойдут другие события, и заниматься Агеластом уже никто не станет...

Графиня Бренгильда согласилась; она была не из тех пугливых женщин, что бояться одного вида мертвецов.

Агеласт, доверяя слову графини, позволял ей и ее прислужнице свободно ходить по саду, во всяком случае в той части его, которая прилегалa к дому. Поэтому они спокойно вынесли вдвоем мертвое тело и без особого труда спрятали его в самых густых зарослях росшего в саду кустарника.

Когда они вернулись к своему жилищу, вернее — к месту заточения, графиня, обращаясь то ли к самой себе, то ли к Векселии, сказала:

— Меня это очень опечалило, и не потому, что низкий нечестивец не заслужил небесной кары как раз в ту минуту, когда кощунствовал и богохульствовал, а потому, что люди могут усомниться в мужестве и чести несчастной Бренгильды, — ведь его убили, когда он был наедине с нею и ее прислужницей, и никто не был свидетелем удивительного конца старого богохульника. О благословенная Владычица сломанных копий, покровительница Бренгильды и ее супруга! — взмолилась она. — Ты знаешь, что, каковы бы ни были мои грехи, душа моя не запятнана вероломством; тебе я вверяю свою судьбу и надеюсь на твое мудрое и всеблагое заступничество!

Обе женщины вернулись в дом незамеченными, и графиня закончила этот богатый событиями вечер благочестивыми и смиренными молитвами.

Глава XXVI

Я спую вам, как пленилась
Англичанином испанка.
Был наряд ее богатый
Жемчугами изукрашен.

Она, благочестива и мила,
Происхожденья знатного была.

Старинная баллада

Мы оставили Алексея Комнина в ту минуту, когда он очистил свою совесть, покайсявшись патриарху, и тот твердо обещал ему отпущение грехов и покровительство греческой церкви. Он простился с Зосимой, издав несколько радостных восклицаний, столь невнятных, однако, что трудно было уловить их смысл. Вернувшись во Влахернский дворец, император тотчас же спросил, где его дочь; ему сказали, что она в той комнате, отделанной мрамором дивной резьбы, которая дала Анне и другим представительницам ее рода право горделиво именоваться *Porphyrogenita*, что значит «порфирородная». Лицо царевны было зату-

манено тревогой; при виде отца Анна открыто предалась безутешной скорби.

— Дочь моя, — с не свойственной ему резкостью и суровостью обратился к ней император, не проявляя ни малейшего сочувствия к ее горю, — если ты не хочешь, чтобы глупый сумасброд, с которым ты связана брачными узами, предстал перед народом как чудовищный, неблагодарный предатель, уговори его покориться и смиренно просить о помиловании, полностью признав все свои преступления, иначе, клянусь венцом и скипетром, он расстанется с жизнью! Я не стану щадить тех, кто, подобно моему вероломному зятю, стремится к своей гибели, дерзко бросаая мне вызов и поднимая знамя бунта!

— Чего же ты хочешь от меня, отец? Неужели ты ждешь, что я обагрю руки кровью этого несчастного? Или ты жаждешь отомстить еще более кроваво, чем мстили древние боги, каравшие всех, кто восставал против их божественной власти?

— Ты ошибаешься, дочь моя, — сказал император. — Подумай лучше о том, что я, твой любящий отец, даю тебе последнюю возможность спасти своего безумного супруга от вполне заслуженной смерти!

— Всевышний знает, отец, что я не стану спасать жизнь Никифора за счет твоей жизни; но ведь он был отцом моих детей, хоть их и нет больше на свете; женщины не забывают таких уз, даже если судьба их разорвала. Позволь мне только надеяться, что злосчастный преступник получит возможность искупить свои заблуждения; поверь, не я буду виной, если он опять станет вынашивать чудовищные предательские замыслы, которые сейчас обратились против него самого.

— Тогда иди за мной, дочь моя, — сказал император, — и да будет тебе известно, что тебе одной я открываю свою тайну, от которой в ближайшее время будут зависеть и моя жизнь, и мой престол, и помилование твоего мужа.

И он быстро надел на себя одежду дворцового раба, приказав дочери подобрать подол платья, и взять в руки зажженный светильник.

— Куда мы пойдем, отец? — спросила Анна Комнин.

— Не задавай пустых вопросов. Меня зовет туда мой рок, а тебе предначертано освещать мне путь. Знай только — и напиши потом, если дерзнешь, в своей книге, — что даже если его намерения не таят в себе ничего дурного, Алексей Комнин не без тревоги спускается в эту страшную темницу, построенную его предками. Храни молчание и, если мы встретим кого-нибудь из обитателей подземелья, не говори ни слова и не обращай внимания на его облик.

Пройдя через лабиринт дворцовых покоев, они вышли в большой зал, через который Хирвард проходил в тот первый вечер, когда его допустили в так называемый храм муз. На стены зала, выложенные, как мы уже говорили, черным мрамором, падал тусклый свет. В одном конце стоял небольшой алтарь, где курился фимиам; в его дыму смутно виднелось как бы выступавшее из стены изваяние двух человеческих рук.

В другом конце зала маленькая железная дверь вела к узкой винтовой лестнице, по форме напоминавшей глубокий колодец; она была очень крута. Император торжественно подал дочери знак следовать за ним и начал спускаться вниз по неровным и слабо освещенным узким ступенькам; тот, кто сходил по ним в дворцовое подземелье, обычно прощался с дневным светом. Император и его дочь миновали ряд дверей, которые, очевидно, вели в различные ярусы подземелья; оттуда доносились приглушенные крики и стоны, привлечшие в свое время внимание Хирварда. Император как бы не замечал этих проявлений людских страданий; отец с дочерью прошли три этажа, или яруса, темницы, прежде чем добрались до самого низа строения; основанием ему служила грубо обтесанная скала; на ней покоились стены и своды из прочного неотполированного мрамора.

— Здесь, как только задвинутся засовы и повернутся ключи в замках, навсегда гибнут все людские надежды и ожидания, — сказал Алексей Комнин. — Но пусть не вечно так будет; пусть мертвые воскрес-

нут и обретут свои права, а обездоленные узники снова будут притязать на жизнь под солнцем. Если я не смогу умолить небо прийти мне на помощь, можешь быть уверена, что я не останусь тем жалким животным, каким я позволял себя считать и, более того, запечатлеть в твоём историческом труде; нет, я лучше бесстрашно выйду навстречу толпам, стоящим на пути к моему спасению. Ничего ещё не ясно, кроме того, что я буду жить и умру императором; а ты, Анна, должна знать: если твои хваленые дарования и красота имеют какую-либо силу, сегодня они должны прийти на помощь твоему отцу, от которого ты их получила.

— Что ты хочешь этим сказать, государь? Пресвятая дева! Таково твоё обещание сохранить жизнь злосчастному Никифору!

— Я своё обещание выполню, — ответил Алексей. — Именно этим благодеянием я и занят сейчас. Но не думай, что я ещё раз пригрею у себя на груди змею, которая едва не ужалила меня, и притом смертельно. Нет, дочь моя, я уготовил тебе более достойного супруга, способного поддержать и защитить права твоего августейшего отца, и не вздумай противодействовать мне. Погляди на эти стены — они из мрамора, хоть и неотполированного, и не забывай, что можно не только родиться в мраморных стенах, но и умереть!

Никогда прежде Анна не видела своего отца в столь грозном расположении духа. Ей стало страшно, хотя она сама не знала отчего.

— О, почему здесь нет моей матери! — воскликнула она.

— Напрасно ты пугаешься, Анна, и напрасно кричишь, — сказал император. — Я принадлежу к людям, которые в обычных условиях почти не имеют собственных желаний и считают себя в долгу перед теми, кто, подобно моей жене и дочери, освобождает их от необходимости судить обо всем самим. Но когда мощные валы угрожают судну, тогда к кормилу становится кормчий, и, уверяю тебя, он не дозволит ничьей менее опытной руке прикоснуться к рулю и

не допустит, чтобы его жена и дочь, к которым он был снисходителен в лучшие времена, противились его воле, пока он еще может ее проявлять. Ты понимаешь, надеюсь, что я готов был в доказательство своего расположения к безвестному варягу отдать тебя ему, не спрашивая, ни откуда он родом, ни чья кровь течет в его жилах. Тебе, возможно, придется услышать, как я буду сулить тебя в жены человеку, который провел под этими сводами три года и который станет кесарем вместо Никифора, если мне удастся убедить его жениться на моей дочери и унаследовать вместе с ней корону, взамен того чтобы погибать от голода в темнице.

— Я трепещу, слушая твои слова, отец; неужели ты станешь доверять человеку, испытавшему на себе твою жестокость? Неужели ты допускаешь, что тот, кого ты лишил зрения, способен искренне примириться с тобой?

— Не беспокойся, — сказал Алексей, — он будет моим или никогда не узнает, что значит снова быть самим собой. А ты, дочь моя, помни: если я пожелаю, ты завтра же либо станешь женой этого узника, либо удалишься в монастырь с самым суровым уставом и навсегда расстанешься с миром. Поэтому молчи, жди своей участи и не надейся, что твои мольбы изменят ее, как бы горячи они ни были.

Закончив этот странный разговор, который император вел в совершенно необычном и устрашающем для его дочери тоне, он зашагал дальше; по дороге он открывал одну за другой накрепко запертые двери, а царица, следуя за ним неверной поступью, освещала ему путь, терявшийся во мраке. Наконец они дошли до входа в темницу, где был заточен Урсел; несчастный лежал на полу в беспредельном отчаянии — все его надежды, оживленные было неукротимой доблестью графа Парижского, снова рухнули. Он обратил свои незрячие глаза в ту сторону, откуда до него донесся лязг засовов, а затем стук шагов.

— Вот это что-то новое в моей темнице, — сказал он. — Сюда идет мужчина, поступь у него тяжелая и решительная, а с ним женщина или ребенок, едва

касающийся земли. Ты принес мне смерть? Я слишком долго пробыл здесь, чтобы не обрадоваться ей, поверь!

— Нет, не смерть я несу тебе, благородный Урсел, — слегка изменив голос, произнес император. — Жизнь, свободу, все дары этого мира кладет император Алексей к ногам своего доблестного противника; он надеется, что долгие годы счастья и могущества, а также владычества над немалой частью империи быстро сотрут воспоминания о влахернской темнице.

— Это невозможно, — со вздохом ответил Урсел. — Человеку, глазам которого не светит солнце даже в полуденный час, нечего ждать от самой счастливой перемены обстоятельств!

— Ты сам не очень в это веришь, — сказал император. — Мы постараемся доказать, что к тебе питают чувства поистине добрые и великодушные, и ты будешь вознагражден за свои страдания, когда поймешь, что изменить твой удел куда легче, чем тебе кажется. Сделай над собой усилие, попытайся проверить, не видят ли твои глаза горящего светильника...

— Делай со мной все, что тебе заблагорассудится, — сказал Урсел. — У меня нет сил возражать тебе, нет и твердости духа, дабы мужественно встретить твою жестокость. Нечто вроде слабого света я различаю, но что это — действительность или воображение — сказать не могу. Если ты пришел вывести меня из этой могилы, укрывающей похороненных заживо, пусть вознаградит тебя бог, а если ты, прикрываясь низким обманом, хочешь лишить меня жизни, мне остается вручить свою душу всевышнему и просить отмщения только у него, ибо он узрит злодеяние, даже если оно прячется в самых темных закоулках!

Волнение почти лишило Урсела чувств; он упал на свое жалкое ложе и не произносил ни слова, пока Алексей снимал с него цепи, которые сковывали его так долго, что, казалось, срослись с ним.

— В этом деле, Анна, одной твоей помощи недостаточно, — сказал император. — Конечно, хорошо было бы нам самим, совместными усилиями, вынести его на воздух — не очень-то разумно открывать тайны

этой темницы непосвященным. И все же тебе придется пойти наверх, дитя мое; неподалеку от лестницы ты найдешь Эдуарда, нашего храброго и достойного доверия варяга, — скажи, что я велел ему прийти сюда и помочь нам. Пришли также нашего опытного лекаря Дубана.

Он говорил теперь с дочерью куда мягче, чем прежде, и дрожащая, полузадохшаяся, еле живая от ужаса царица немного успокоилась. Спотыкаясь на ходу, но уже ободренная тоном, каким были отданы приказания, она поднялась по лестнице, которая вилась внутри этого адского колодца. Когда Анна была уже у самого выхода, между светильником и дверью в зал возникла тень чьей-то высокой и сильной фигуры. Чуть ли не до смерти напуганная грозившей ей судьбой — стать супругой такого жалкого страшилища, как Урсел, царица поддалась минутной слабости; вспомнив об ужасном выборе, перед которым поставил ее Алексей, она подумала, что, если уж на то пошло, красивый и храбрый варяг, спасший царскую семью от неминуемой опасности, гораздо больше подходит ей в мужья, чем странное, отвратительное существо, извлеченное со дна влахернской темницы хитроумной политикой ее отца.

Мы отнюдь не утверждаем, что бедная Анна Комнин, робкая, но не бесчувственная женщина, согласилась бы на требование отца, если б жизнь ее теперешнего мужа, Никифора Вриенния, не была в смертельной опасности; но император, несомненно, намеревался пощадить кесаря лишь при одном условии: брак его с Анной должен быть расторгнут, чтобы можно было соединить ее с более верным и искренне привязанным к своему тестю человеком. Царица вовсе не была расположена взять во вторые мужья варяга, однако в эту минуту ей грозила опасность, и спастись можно было только с помощью каких-то решительных действий, — может статься, потому она сможет избавиться и от Урсела и от варяга, не лишая их помощи ни отца, ни самое себя. Во всяком случае, безопаснее всего было бы привлечь на свою сторону молодого воина, чья внешность делала

эту задачу приятной для красивой женщины. Строить планы завоеваний так естественно для представительницы прекрасного пола, что мысль, промелькнувшая у Анны при виде тени варяга, сразу и полностью овладела ее воображением в ту минуту, когда, удивленный внезапным появлением царевны на Ахероновой лестнице, Хирвард с глубоким поклоном подошел к ней и, преклонив колено, подал руку, чтобы помочь благородной даме выбраться из мрачного колодца.

— Дорогой Хирвард, — с необычным для нее оттенком задушевности воскликнула царевна, — как я рада, что могу прибегнуть к твоей защите в эту ужасную ночь! У меня такое чувство, что места, где я сейчас побывала, созданы для людей самым властителем ада!

Владевшая царевной тревога и обычная для красивых женщин непринужденность, с какой они, словно перепуганные голубки, ищут укрытия от опасности на груди сильных и храбрых, могут послужить оправданием нежному обращению Анны к Хирварду; сказать по правде, если б он ответил ей в том же тоне, что при всей его верности, вполне могло случиться, не встретить он перед этим Берту, дочь Алексея была бы не так уж оскорблена. Обессиленная всем пережитым, она позволила себе склонить голову на широкую грудь англосакса и даже не пыталась взять себя в руки, хотя этого требовали ее пол и сан. Хирварду пришлось, бесстрастно и почтительно, как и надлежит простому воину, говорящему с царской дочерью, спросить ее, не надо ли позвать прислужницу; на это царевна слабым голосом сказала: «Нет».

— Нет, нет, — повторила она, — я должна выполнить наказ отца, и притом без свидетелей; он знает, что может быть спокоен за меня, пока я с тобой, Хирвард. Я совсем ослабела, и если тебе это в тягость, посади меня на мраморные ступени, и я скоро приду в себя.

— Избави бог, разве я могу подвергать опасности твое драгоценное здоровье, госпожа! Я вижу, тебя ищут твои прислужницы — Астарта и Виоланта... Дозволь мне позвать их, а я буду охранять тебя,

если ты не можешь вернуться в свои покои, хотя, мне кажется, там тебе будет легче привести в порядок твои расстроенные чувства.

— Делай то, что находишь нужным, варвар, — уже менее томно сказала царица: она была слегка уязвлена, быть может потому, что считала присутствие на сцене двух *dramatis personae*¹ вполне достаточным и не желала видеть на ней никого другого; затем, как бы вспомнив внезапно о данном ей поручении, она приказала варягу немедленно отправиться к ее отцу.

В таких случаях даже мелочи не проходят незамеченными для заинтересованных лиц. Англосакс почувствовал, что царица сердится, но чем это было вызвано — тем ли, что она, можно сказать, очутилась в его объятиях, или тем, что молодые прислужницы едва не увидели столь странное зрелище, — он не знал и не пытался угадать; перекинув через плечо сверкающую алебарду, никогда ему не изменявшую и погубившую не одного турка, он отправился в мрачное подземелье к Алексею.

Астарта и ее спутница были посланы на розыски Анны императрицей Ириной; они обошли все дворцовые покои, где царица имела обыкновение проводить время. Императрица сказала девушкам, что царица нужна ей безотлагательно, но они так и не нашли дочь Алексея. Однако во дворцах ничто не остается незамеченным, и посланницам Ирины в конце концов сообщили, что их госпожа проследовала вместе с императором в темницу по той мрачной лестнице, которую прозвали колодцем Ахерона из-за ее сходства с пропастью, ведущей, по верованиям древних, в подземное царство. Прислужницы направились туда; об остальном мы уже вам поведали. Хирвард счел необходимым сказать им, что их августейшей госпоже стало дурно после того, как она, выйдя наверх, внезапно очутилась на свежем воздухе. Царица постаралась побыстрее отделаться от девушек, заявив, что сейчас же отправится к императрице. На прощание

¹ Действующих лиц (лат.).

она свысока кивнула Хирварду, умерив, впрочем, свою надменность ласковым и дружеским взглядом. В одном из покоев, через которые она проходила, несколько дворцовых рабов дожидались распоряжений императора; Анна обратилась к одному из них, почтенному, искусному во врачевании старику, и вполголоса торопливо приказала ему направиться на помощь к ее отцу в глубь Ахеронова колодца, прихватив с собой саблю. Услышать — значило, разумеется, повиноваться, и Дубан — так звали старика — ответил лишь жестом, выразившим готовность немедленно исполнить распоряжение. Анна Комнин тем временем поспешила в материнские покои; она застала императрицу одну со своими служанками.

— Выйдите отсюда, девушки, — приказала Ирина, — и не впускайте ко мне никого, даже если придут от самого императора. А ты, Анна Комнин, закрой дверь; раз ревнивые мужчины не позволяют нам прибегать к помощи засовов и замков, чтобы запереться у себя в комнате, считая это своей привилегией, воспользуемся хотя бы теми возможностями, которые у нас есть. И помни: твой долг по отношению к отцу священен, но еще более священен он по отношению ко мне, женщине, как и ты; к тому же я действительно могу, даже в буквальном смысле, назвать тебя плотью от плоти и кровью от крови своей. Верь мне, отцу твоему не понять чувства женщины. Ни он, ни какой-либо другой мужчина в целом мире не способен представить себе, как больно может сжиматься сердце, бьющееся в женской груди. Да, Анна, мужчинам ничего не стоит разорвать нежнейшие узы любви, разрушить здание семейного благополучия, в котором заключены все помыслы женщины, ее радость, ее горе, ее любовь и отчаяние. Поэтому доверься мне, дочь моя! Я спасу одновременно и корону твоего отца и твое счастье. Твой супруг вел себя дурно, недостойно, но он мужчина, Анна, и, называя его так, я одновременно называю все его врожденные слабости: способность к бессмысленному вероломству, постыдной супружеской неверности, сумасбродству и непоследовательности. Эти пороки присущи всему его полу.

А потому ты должна обращать внимание на его проступки лишь для того, чтобы прощать их.

— Прости меня, госпожа, — возразила Анна, — но ты советуешь порфирородной царевне вести себя так, словно она — женщина, которая ходит по воду к деревенскому колодцу, да и той это вряд ли пристало. Всех, кто меня окружает, учили должным образом почитать мое царственное происхождение; когда Никифор Вриенний ползал на коленях, вымаливая руку твоей дочери, а потом получил ее от тебя, он не столько заключил со мной брачный союз, сколько наложил на себя ярмо моего господства. Он сам навлек на себя свой жребий, и никакое искушение не может оправдать его, как оно оправдало бы преступника, стоящего не столь высоко; если отцу угодно, чтобы за совершенное кесарем преступное деяние его лишили жизни, изгнали или заточили в темницу, Анна Комнин не сочтет нужным вступить за него, ибо она оскорблена больше всех членов царской семьи, хотя и остальные имеют много веских оснований жаловаться на вероломство кесаря.

— Я согласна с тобой, дочь моя, — ответила императрица, — что твоим родителям очень трудно простить измену Никифора и ничто, кроме великодушия, не может быть у них основанием для того, чтобы его пощадить. Но ты совсем в другом положении, ты была его нежной, любящей женой; сравни же вашу прежнюю близость с предстоящей кровавой переменой — следствием и завершением всех его преступных дел. У него такой облик, такое лицо, что, жив он или мертв, женщине трудно его забыть. Как тяжело тебе будет думать, что его прощальные слова услышал лишь грубый палач, что его стройная шея покоилась на плахе, что его речи, которые были для тебя слаще музыки, уже никогда больше не прозвучат!

Этот настойчивый призыв к милосердию оказал немалое действие на Анну, отнюдь не равнодушную к обаянию своего супруга.

— Зачем ты мучишь меня, матушка? — жалобно сказала она, — Напрасно ты думаешь, что нужно бе-

редить мою память, — ведь если бы я хоть что-нибудь забыла, мне было бы легче пережить эти ужасные минуты. Но я должна думать не о внешности Никифора, а о его душевных свойствах, которые гораздо важнее; тогда я смогу примириться со жребием, вполне им заслуженным, и беспрекословно подчинюсь воле отца...

— Который прикажет тебе связать свою судьбу с безвестным проходимцем; — подхватила императрица, — чье умение интриговать и наущничать дало ему возможность по несчастному стечению обстоятельств оказать услугу императору, обещавшему ему в награду руку Анны Комнин!

— Почему ты такого плохого мнения обо мне, госпожа? — спросила царица. — Как и всякая гречанка, я знаю способ избавиться от бесчестья; ты можешь быть спокойна — тебе никогда не придется краснеть за свою дочь.

— Ты ошибаешься, — прервала ее императрица, — я буду краснеть за тебя, и если ты, проявив неумолимую жестокость, осудишь некогда любимого мужа на постыдную смерть, и если, обнаружив его ослепление, которому я даже не нахожу имени, ты заменишь кесаря низкородившим варваром-северянином либо жалким существом, вырвавшимся из влахернской темницы!

Царица с изумлением увидела, что ее мать проникла во все самые сокровенные замыслы императора, который любыми средствами старался отстоять свою власть в эти трудные дни. Она не знала, что Алексею и его августейшей супруге, жившим в примерном для людей их сана согласии, случалось все же по некоторым щекотливым поводам спорить между собой; подзадоренный мнимым недоверием Ирины, император проговаривался о многих своих намерениях, о которых он умолчал бы, если бы не был выведен из себя.

Нарисованная матерью картина близкой гибели кесаря взволновала царицу, да оно и не могло быть иначе; но еще больше задело и оскорбило ее то, что императрица приписывала ей желание сразу же найти кесарю преемника — пусть даже человека сомнительной репутации и даже недостойного. Какими бы

соображениями она ни руководствовалась, остановив свой выбор на Хирварде, они утратили смысл после того, как этот союз был представлен ей в таком неприглядном и унижительном виде; кроме того, не следует забывать, что женщины почти инстинктивно отрицают зарождающееся расположение к какому-нибудь почитателю и редко признаются в нем добровольно, если только этому не благоприятствуют время и обстоятельства. Поэтому Анна, пылко взывая к небу, клялась, что обвинения Ирины несправедливы.

— Беру тебя в свидетели, пресвятая дева, владицица небесная! — восклицала она. — Беру вас в свидетели, святые угодники и великомученики, пуще нас самих охраняющие чистоту наших помыслов, что нет у меня страстей, в которых я не посмела бы признаться. Если бы спасение Никифора зависело от моих молитв, направленных к богу, и просьб, обращенных к людям, я презрела бы все обиды, которые он мне нанес, и жизнь его длилась бы вечно, как вечно живут те, кого небо вознесло к себе, избавив от смертных мучений на земле!

— Ты даешь смелую клятву, Анна Комнин, — сказала императрица. — Постарайся же сдержать свое слово, ибо честность его подвергнется испытанию!

— Испытанию? — повторила принцесса. — Разве судьбу кесаря решаю я? Он мне не подвластен...

— Сейчас ты все поймешь, — внушительно сказала императрица; подведя Анну к занавесу, который скрывал стенную нишу, служившую чем-то вроде шкафа для хранения платья, она отдернула его, и перед царевной предстал злосчастный Никифор Вриенний, полуодетый и сжимающий в руке обнаженный меч. Анна считала его своим врагом; вспомнив некоторые свои планы, направленные против него, которые родились у нее в это смутное время, и увидя его теперь так близко, да еще с оружием в руках, она тихо вскрикнула.

— Возьми себя в руки, — сказала императрица. — Если этого несчастного найдут здесь, он падет жертвой не только твоей губительной мести, но и твоих пустых страхов.

Эти слова, видимо, подсказали Никифору, как ему следует себя вести: опустив меч и упав перед царевной на колени, он протянул к ней руки, моля о пощаде.

— Чего ты просишь у меня? — сказала Анна, поняв по его смиренной позе, что сила на ее стороне. — Чего ты просишь, ты, который проявил черную неблагодарность, предал любовь, нарушил торжественные клятвы, разорвал, как паутину, нежнейшие природные узы? Что ты можешь сказать мне, не покраснев от стыда?

— Не думай, Анна, что сейчас, в эту роковую минуту я стану лицемерить, спасая свою жалкую, обесчещенную жизнь, — ответил ей муж. — Я только хочу расстаться с тобой без вражды и умиловить небо; хоть я и отягощен многими проступками, но все же надеюсь быть допущенным в горнюю обитель, ибо только там я найду красоту и достоинства если не превосходящие твои, то хотя бы равные им...

— Ты слышишь, дочь моя? — спросила Ирина. — Он молит лишь о прощении; ты можешь сейчас уподобиться божеству; в твоей власти сохранить ему жизнь и простить нанесенные тебе обиды.

— Ты ошибаешься, госпожа, — возразила Анна. — Не мне надлежит прощать его и тем паче освободить от наказания. Ты учила меня стараться быть такой, какой я должна предстать грядущим поколениям; что же скажут они обо мне, эти грядущие поколения, если им изобразят меня как бесчувственную дочь, которая простила человека, замышлявшего убить ее отца, простила только потому, что он был ее неверным мужем?

— Вот видишь, августейшая государыня! — воскликнул кесарь. — Как же мне не отчаиваться! Нет, напрасно я не пролил свою кровь, чтобы смыть пятно отцеубийства и неблагодарности! Я ведь объяснил, что невиновен в самом непростительном из деяний, которые мне приписывают, в намерении отнять жизнь у богоподобного императора! Я поклялся всем самым святым для человека, что хотел лишь ненадолго устранить Алексея от утомительного управления

государством и поместить его в такое место, где он мирно наслаждался бы довольством и покоем, в то же время продолжая править страной и передавая через меня свою священную волю... Ведь так уже бывало и прежде, бывало не раз!

— Как ты слеп! — возразила Анна. — Ты был так близок к престолу — и все же составил себе такое ложное представление об Алексее Комнине... Как мог ты подумать, что он согласился бы стать куклой, с помощью которой ты властвовал бы над империей? Ты забываешь, какая кровь течет в жилах Комнинов! Мой отец встретил бы измену с оружием в руках, и только смерть твоего благодетеля позволила бы насчититься твоему преступному честолюбию!

— Ты вольна так думать, Анна, — ответил кесарь. — Я не желаю более защищать свою жизнь — она не имеет и не должна иметь для меня цены! Призови стражу и вели умертвить злосчастного Вриенния, раз он стал ненавистен некогда любившей его Анне Комнин. Не бойся, я не стану сопротивляться, когда меня возьмут под стражу, твои глаза не увидят ни стычки, ни убийства... Никифор Вриенний не кесарь больше: он кладет к стопам своей повелительницы и супруги единственное жалкое оружие борьбы с той заслуженной участью, какую она пожелает ему уготовить.

Он бросил к ногам царевны меч; Ирина же, рыдая или притворяясь, будто рыдает, с горечью воскликнула:

— Мне случалось читать описание подобных сцен, но я никогда не думала, что моя родная дочь сыграет главную роль в одной из них; неужели в ее душе, которую все восторженно считали обителью Аполлона и муз, не найдется места для скромных, но столь приятных женских добродетелей — милосердия и сострадания, которые гнездятся в сердцах даже самых бедных поселянок? Неужели твои таланты и знания не только придали тебе блеск, но и сделали тебя твердой, как сталь? Если так, в тысячу раз лучше отречься от них и сохранить взамен кротость — лучшее украшение женского сердца и домашнего очага.

Беспощадная женщина более чудовищна, чем та, которую сделали бесполой другие страсти!

— Чего же ты хочешь от меня? — спросила Анна. — Ты прекрасно знаешь: пока существует этот дерзкий и жестокий человек, жизнь моего отца в опасности. Я уверена, что он до сих пор питает свои предательские замыслы. Если он способен так обманывать женщину, как обманул меня, он и впредь может вынашивать вероломные планы и замышлять убийство своего благодетеля!

— Анна, ты ко мне несправедлива! — Вриенний вскочил и, прежде чем она успела опомниться, запечатлел на ее губах поцелуй. — Клянусь этим последним нашим поцелуем, если я и бывал подвержен безумию, в душе я никогда не изменял той, что превосходит всех талантами, знаниями и красотой!

Царевна покачала головой, хотя сердце ее уже значительно смягчилось.

— Ах, Никифор! Так говорил ты некогда и, быть может, так думал! Но кто или что будет мне теперь порукой в правдивости твоих слов?

— Твои таланты и твоя красота, — ответил Никифор.

— А если тебе этого мало — твоя мать поручится за него, — добавила Ирина. — И не думай, что ее ручательства ничего не стоят в этом деле. Она — твоя мать и жена Алексея Комнина и как никто на свете жаждет, чтобы могущество и слава ее супруга и дочери возрастали; она видит сейчас возможность проявить великодушие, снова спаять воедино императорскую семью и построить правление государством на такой основе, которая будет незыблемой, если только на свете существуют честность и признательность!

— Значит, мы должны безоговорочно доверять этой честности и признательности, раз таково твое желание, госпожа, — сказала Анна, — хотя я настолько хорошо изучила науки и знаю свет, что прекрасно понимаю, сколь опрометчиво такое доверие! Но если даже мы обе и отпустим Никифору его прегрешения, последнее слово все же останется за императором — только он может простить и помиловать кесаря.

— Не бойся Алексея, — возразила ее мать, — он говорит твердо и уверенно, но если ему не удастся тотчас же исполнить задуманное, на неизменность его решения можно полагаться не больше, чем на льдинку во время оттепели!

— Значит, я должна выдать тайну, которую мне доверил отец? — спросила Анна. — Выдать тому, кто еще так недавно был его заклятым врагом?

— Не называй это предательством, — сказала Ирина, — ибо в писании сказано: не предай ближнего своего, тем паче родного отца и отца империи. Но в евангелии от святого Луки сказано также, что преданы будете и родителями, и братьями, и свойственниками, и друзьями, а посему, конечно, и дочерьми; этим я хочу сказать, что ты должна открыть нам ровно столько из тайн твоего отца, сколько нужно для спасения жизни твоего супруга. Важность этого дела оправдывает то, что в другое время можно было бы назвать проступком.

— Пусть будет так, госпожа. Хоть я, возможно, и слишком быстро дала согласие избавить этого злодея от справедливого суда моего отца, но раз уж я на это пошла, надо, очевидно, сделать все, мне доступное, чтобы спасти ему жизнь. Я оставила отца внизу, у лестницы, прозванной колодцем Ахерона, в темнице, где заключен слепец по имени Урсел.

— Пресвятая дева! — воскликнула императрица. — Ты назвала имя, которое уже давно никто не смеет произносить вслух!

— Неужели император, опасаясь живых, решил воззвать к мертвым? — спросил кесарь. — Ведь Урсел уже три года как умер.

— И тем не менее я говорю правду, — сказала Анна. — Отец только что беседовал с каким-то несчастным узником, которого он называл именно этим именем.

— Тем хуже для меня, — сказал кесарь. — Урсел, разумеется, не забыл, с каким рвением я ратовал против него и за государя; едва он выйдет на свободу, как тотчас же начнет вынашивать планы мести. Против этого надобно принять меры, даже если они ум-

ножат предстоящие трудности. Сядьте же, моя добрая, милосердная мать, и ты, моя жена, у которой любовь к недостойному мужу оказалась сильнее ревности и опрометчивой жажды мщения; сядьте и обсудим сообща, что мы можем сделать, дабы, не нарушив долга по отношению к императору, беспрепятственно привести в гавань наше разбитое судно!

Усадив со свойственной ему учтивостью обеих женщин, Никифор примостился между ними; вскоре они уже с живостью обсуждали, какие меры следовало им принять назавтра, в первую очередь заботясь о том, чтобы сохранить жизнь кесарю и в то же время спасти Грецию от мятежа, который он же и замыслил. Вриенний отважился намекнуть, что не худо было бы дать пока заговору развиваться по намеченному плану, заверая, будто он не позволит посягнуть на права Алексея во время открытых схваток; но его влияние на императрицу и ее дочь не было так велико, чтобы они полностью доверились кесарю. Они просто запретили ему покидать дворец или принимать какое-либо участие в столкновении, которое должно было произойти на следующий день.

— Вы забываете, благородные дамы, что честь обязывает меня выйти завтра на поединок с графом Парижским, — напомнил им кесарь.

— Право, не стоит тебе говорить о своей чести в моем присутствии, Вриенний, — сказала Анна Комнин. — Хотя для западных рыцарей честь и является своего рода Молохом, всепожирающим, кровожадным демоном, однако воины Востока, весьма громогласно и шумно поклоняясь этой богине, куда менее неукоснительно соблюдают ее правила на поле боя — это мне хорошо известно! Не думай, что я, простив тебе такие оскорбления и обиды, соглашусь принять в уплату за них столь фальшивую монету, как честь! Твой ум можно будет по праву назвать неизобретательным, если тебе не удастся найти предлог, который удовлетворил бы греков; нет, Вриенний, хорошо это для тебя или плохо, на этот поединок ты не пойдешь: я не соглашусь на твою встречу с графом или с графиней, будь то для боя или для любовной беседы. Одним

словом, считай, что ты пленник здесь до тех пор, пока не минует час, назначенный для этой нелепой стычки.

Вполне возможно, что кесарь в глубине души не так уж огорчился столь прямо выраженным решением своей жены по поводу поединка.

— Если ты вознамерилась взять мою честь в свои руки, — сказал он, — я остаюсь у тебя в плену, тем более что не имею возможности противодействовать твоей воле. Когда же я опять обрету свободу, я буду сам распоряжаться своей доблестью и своим копьем.

— Пусть будет так, мой храбрый паладин, — спокойно ответила царица. — Надеюсь, что ни доблесть, ни копье не вовлекут тебя в схватку с кем-либо из этих буйных парижан, будь то мужчина или женщина, и что мы сможем соразмерить высоты, к которым стремится твоя отвага, с учением греческой философии и требованиями нашей милосердной богородицы, а не их Владычицы сломанных копий.

В эту минуту властный стук в дверь прервал это совещание, напугав его участников.

Глава XXVII

В р а ч

Утештесь, госпожа. Припадки буйства,
Как видите, прошли. Но наводить
Его на мысль о виденном опасно.
Уйдите с ним и более ничем
Сегодня не тревожьте.

«Король Лир»¹

С Алексеем Комнином мы расстались, когда он уходил в глубине подземелья; угасал его светильник, а узник, оставшийся на его попечении, был подобен этому светильнику. Сперва Алексей прислушивался к удаляющимся шагам дочери. Затем он начал проявлять нетерпение, мечтая, чтобы Анна поскорее вернулась, хотя за это время она вряд ли успела подняться до верха мрачной лестницы. Вначале импе-

¹ Перевод Б. Пастернака,

ратор спокойно ждал помощи, за которой послал царевну, но вскоре его стали одолевать смутные подозрения. Может ли это быть? Неужели его жестокие слова заставили Анну изменить свои намерения? Неужели она покинет отца на произвол судьбы в такое трудное для него время и ему уже нечего рассчитывать на помощь, которую он просил прислать?

Несколько минут, потраченных царевной на любезничание с варягом Хирвардом, показались императору часами; он вообразил, будто она пошла за сообщниками кесаря, чтобы, воспользовавшись беззащитностью монарха, они напали на него и привели в исполнение уже наполовину расстроенный замысел.

Это состояние мучительной неуверенности длилось у Алексея довольно долго, но потом он все же немного успокоился, подумав, как, в сущности, мало вероятно, чтобы его дочь, забыв о собственной выгоде, взяла сторону мужа, чье недостойное поведение так глубоко ее оскорбило, и обрекла на гибель того, кто всегда был снисходительным и любящим отцом. Его расположение духа заметно улучшилось; в это время он услышал, что кто-то медленно и с остановками спускается по лестнице; наконец перед ним предстал облаченный в тяжелые доспехи, невозмутимый Хирвард; за ним, задыхаясь и дрожа от холода и страха, шел искусный лекарь, раб Дубан.

— Добро пожаловать, мой славный Эдуард! Добро пожаловать, Дубан! Даже бремя лет бессильно перед твоим врачебным искусством! — воскликнул император.

— Ты слишком добр, государь, — начал было Дубан, однако сильный приступ кашля прервал его речь; то было следствие преклонного возраста, слабого сложения, пронизывающей сырости темницы и трудного спуска по длинной и крутой лестнице.

— Ты не привык посещать больных в таких неприветливых местах, — сказал Алексей. — И все же государственная необходимость вынуждает нас держать в этих мрачных, сырых подземельях многих людей, которые не только по имени, но и на деле являются нашими любезными подданными.

Лекарь продолжал кашлять, быть может для того, чтобы как-нибудь уклониться от утвердительного ответа, и, таким образом, не покривить душой; хотя эти слова были сказаны человеком, который, несомненно, знал, что говорит, все же они мало походили на правду.

— Да, друг Дубан, — продолжал император, — сюда, в этот ящик из прочной, непроницаемой стали, мы сочли нужным заключить грозного Урсела, прославившегося на весь мир военным искусством, политической мудростью, личной храбростью и другими благородными качествами; нам пришлось временно скрыть их во мраке неизвестности, чтобы в подходящий момент — а он как раз сейчас наступил — вернуть их миру в полном блеске. Проверь же его пульс, Дубан, и отнесись к нему как к человеку, который долго жил в суровом заточении, лишенный всех земных благ, а теперь внезапно обретает возможность наслаждаться жизнью и всем, что делает ее для нас столь драгоценной.

— Я приложу все усилия, государь, — отвечал Дубан, — но ты должен принять во внимание, что мы имеем дело со слабым, истощенным существом. Здоровье этого человека совсем подорвано, и он может в любую минуту угаснуть, как бледное, трепещущее пламя твоего светильника; жизнь в нашем несчастном больном едва теплится вроде этого ненадежного огонька.

▲ — Надо позвать сюда кого-нибудь из немых дворцовых рабов, мой славный Дубан, ведь они часто помогали тебе в подобных случаях... Или нет, постой! Эдуард, ты попроворнее, чем он; сходи за рабами, пусть захватят носилки, чтобы перенести больного, а ты, Дубан, присмотришь за ним. Вы отнесете его тотчас же в удобное помещение — только чтобы все это делалось в строжайшей тайне; пусть он насладится ванной, словом — прими все меры, чтобы восстановить его утраченные силы; если только это возможно, он должен присутствовать завтра на поединке.

— Вряд ли у него хватит на это сил после всего, что с ним было, — сказал Дубан. — Судя по его неровному пульсу, с ним очень дурно обращались.

— Тому виной тюремщик, бесчеловечный негодяй, — возразил император. — Он понес бы заслуженное наказание, если бы небо уже не покарало его, да еще столь необычным образом: Сильвен, лесной человек, задушил вчера стража, когда тот хотел расправиться с узником. Да, милый Дубан, один из воинов отряда так называемых Бессмертных чуть не уничтожил этот цвет нашей надежды, который мы вынуждены были на время скрыть от посторонних глаз. Грубый молот разбил бы на куски несравненный бриллиант, если б судьба не предупредила это страшное несчастье!

Пришли вызванные на помощь рабы, и врач, казалось, больше привыкший действовать, чем говорить, распорядился приготовить ванну с целебными травами, объяснив, что больного нельзя тревожить до завтрашнего утра, пока солнце не поднимется высоко над горизонтом. Урсела посадили в приготовленную по указанию Дубана ванну, однако он так и не пришел в себя. Затем его перенесли в уютную спальню; огромное окно ее выходило на одну из дворцовых террас, откуда открывался вид на расстилавшийся внизу город. Но все эти манипуляции производились над человеком, который совершенно отупел от страданий и утратил способность к обычным ощущениям, присутствием живому существу; лишь после того, как растирание одеревенелых конечностей вернуло больному чувствительность, лекарь возымел надежду, что туман, окутавший мозг несчастного, рассеется.

Дубан охотно исполнил приказания императора и просидел около Урсела до рассвета, всеми средствами врачебного искусства оказывая поддержку природе.

Из помогавших ему немых рабов, которые привыкли исполнять приказы, порожденные не столько милосердием императора, сколько его гневом, Дубан выбрал одного, менее сурового на вид, чем остальные, и, по велению Алексея, объяснил ему, что дело, которым ему придется заняться, следует хранить в строжайшей тайне; давно ожесточившегося раба очень удивило, что заботы о больном надлежит скрывать еще усерднее, чем пытки и кровавые убийства.

Больной безучастно относился к этим молчаливым проявлениям внимания; нельзя сказать, чтобы он совсем не замечал их, но цель их была ему непонятна. После успокаивающей ванны и необыкновенно приятной замены той охапки жесткой, заплесневелой соломы, на которой он валялся годами, ложем из мягчайшего пуха, Урселу дали выпить болеутоляющее средство с небольшой примесью опия. Тем самым был вызван целительный сон, естественно восстанавливающий наши силы, и узник погрузился в давно неизвестное им сладостное забытие; оно охватило и мозг его и тело, напряженные черты разгладились, судороги и боли перестали терзать его, и он принял покойное и удобное положение.

Заря уже окрасила горизонт, и утренний ветерок наполнил свежестью и прохладой просторные покои Влахернского дворца, когда легкий стук в дверь разбудил Дубана — его больной спокойно спал, и лекарь позволил себе немного отдохнуть. Дверь открылась, на пороге появился человек в одежде дворцового прислужника; накладная борода, длинная и седая, скрывала лицо императора.

— Как твой больной, Дубан? — спросил Алексей. — Для Греческой империи очень важно, чтобы он чувствовал себя не очень слабым сегодня.

— Все идет хорошо, государь, отменно хорошо; если его сейчас не беспокоить, ручаюсь всем своим ничтожным искусством, что, с помощью средств врачевания, природа восторжествует над сыростью и затхлостью зловонной темницы. Только будь осторожен, государь, не торопись, не заставляй Урсела присутствовать на поединке до того, как он приведет в порядок свои расстроенные мысли и вернет силу рассудку и мышцам.

— Постараюсь обуздать свое нетерпение, — ответил император, — или, вернее, ты будешь обуздывать меня, Дубан. Как ты думаешь, он проснулся?

— Вероятно; но он не открывает глаз и, как мне кажется, противится естественному побуждению встать и оглядеться вокруг.

— Заговори с ним, — приказал император, — и скажи нам, о чем он думает.

— Это, конечно, опасно, но я не смею противиться твоей воле. Урсел! — произнес лекарь, подходя к постели слепого. — Урсел! Урсел! — громче повторил он.

— Т-сс! Т-сс! — пробормотал больной. — Не нарушай блаженных видений, не напоминай несчастнейшему из смертных, что он должен испытать до дна чашу горестей, которую судьба заставила его пригубить.

— Еще, еще, — шепнул Дубану император, — попробуй еще раз; мне важно знать, в какой мере он владеет разумом или в какой степени его утратил!

— Но мне не хотелось бы проявлять неуместную и пагубную поспешность, государь: ведь он может по моей вине полностью потерять рассудок и либо опять впасть в безумие, либо оцепенеть, и на сей раз надолго.

— Этого, я, конечно, не требую, — сказал император. — Я обращаюсь к тебе как христианин к христианину и хочу, чтобы мне повиновались лишь в соответствии с божескими и человеческими законами!

Сделав столь торжественное заявление, он умолк, но уже через несколько минут снова стал требовать от Дубана, чтобы тот продолжил свои расспросы.

— Если ты считаешь, государь, что я не в состоянии сам решать, как надобно лечить больного, — сказал Дубан, возгордившись доверием, которое ему вынуждены были оказать, — бери всю ответственность и все хлопоты на себя.

— И возьму, конечно! — ответил император. — Можно ли считать с опасениями лекарей, когда на чашу весов положены судьба государства и жизнь монарха! Встань, благородный Урсел! Прислушайся к голосу, который был тебе некогда хорошо знаком; этот голос снова призывает тебя к славе и власти! Оглянись вокруг, посмотри, с какой радостной улыбкой приветствует мир твое возвращение из темницы к кормилу государства!

— О коварный дьявол! — воскликнул Урсел. — На какие низкие уловки ты идешь, чтобы умножить горести несчастного! Знай, искуситель, что тебе не удалось обмануть меня утешительными видениями минувшей ночи — ванной, ложем, всей твоей райской обителью. Нет, скорее тебе удастся рассмешить святого

Антония-пустынника, чем заставить мои уста растянуться в улыбке, подобающей лишь тому, кто предан земным утехам!

— И все-таки встань, глупец, — настаивал император. — Твои чувства сами подтверждают существование окружающих тебя благ; а если ты будешь упорствовать в своем неверии, подожди немного, и я приведу с собой существо несравненной прелести, — стоит вернуть тебе зрение хотя бы для того, чтобы ты мог бросить на эту женщину один-единственный взгляд!

С этими словами он вышел из комнаты.

— Предатель, закоренелый обманщик, не веди сюда никого! — взмолился Урсел. — Не пытайся с помощью призрачной, неземной красоты продлить иллюзию, которая на время позолотила стены моей темницы — для того, вероятно, чтобы погасить во мне последнюю искру рассудка, а затем сменить земной ад на заточение в самом пекле!

«Он, конечно, в какой-то степени повредился в рассудке, — подумал лекарь. — Это часто случается после длительного одиночного заключения. Неужели императору удастся добиться какой-то разумной услуги от человека, так долго прожившего в этой ужасной темнице?» — Стало быть, ты считаешь, — продолжал он вслух, обращаясь к больному, — что твое вчерашнее освобождение, ванна, все освежающие средства были лишь обманчивым сновидением, а не действительностью?

— Как же может быть иначе? — ответил Урсел.

— Ты боишься, что если, вняв нашим просьбам, ты поднимешься с ложа, то тем самым уступишь напрасному искушению и проснешься потом еще более несчастным, чем прежде?

— Разумеется, — подтвердил больной.

— Что же ты тогда думаешь об императоре, по чьему приказу ты перенес такие тяжкие лишения?

Дубан, возможно, пожалел об этом вопросе, ибо в ту минуту, как он его задал, дверь открылась и в комнату вошел император, ведя под руку свою дочь, одетую просто, но с надлежащим великолепием. Она успела за это время переодеться в белое одеяние, на-

подобие траурного; главным украшением его была цепь, усеянная бесценными алмазами, которой были перевиты и связаны ее длинные черные косы, дохнуввшие до пояса. Отец застал ее, насмерть испуганную, в обществе кесаря и матери; громовым голосом он одновременно приказал варягам взять под стражу Вриенния, как подозреваемого в измене преступника, а царевне — сопровождать его в спальню Урсела, где она теперь и стояла, полная решимости до последней возможности оказывать поддержку гибнущему мужу, не пытаясь, однако, просить или протестовать до тех пор, пока ей не станет ясно, насколько тверда и неколебима позиция, которую занял ее отец. Впрочем, как бы поспешно ни были составлены планы Алексея, которые так же быстро могли быть расстроены каким-нибудь неожиданным событием, трудно было надеяться, что он согласится сделать то, о чем мечтали обе женщины, то есть простить виновного Никифора Вриенния.

К своему удивлению, а может быть, и неудовольствию, император обнаружил, что больной вместе с лекарем занят обсуждением его собственной особы.

— Не думай, что, хоть я и заточен в этой темнице и со мной обращаются хуже, чем с последним отщепенцем, — отвечал лекарю Урсел, — хоть я к тому же лишен зрения, этого драгоценного дара небес, и терплю все страдания по воле жестокосердого Алексея, не думай, повторяю, что я считаю его своим врагом; напротив, благодаря ему бедный ослепленный узник научился искать свободы, куда менее ограниченной, чем та, которая существует в нашем жалком мире, и обнимать взором большие горизонты, чем те, что виднеются с высочайших гор по эту сторону могилы. Так неужели я буду причислять императора к своим врагам? Того, кто открыл мне тщету всего земного, ничтожество земных наслаждений и подарил чистую надежду на лучший мир взамен всех бедствий сей юдоли? Нет, конечно!

Когда Урсел начал свою речь, император несколько смутился, но, услышав, что она неожиданно закончилась благоприятно для него — так по крайней мере

ему было удобно считать, — он принял позу скромного человека, выслушивающего похвалы и вместе с тем изумленного этими похвалами, которыми его щедро награждает великодушный противник.

— Друг мой, — громко сказал император, — как верно ты понял мои намерения; действительно, те познания, которые такие люди, как ты, могут извлекать из своих несчастий, и были целью, когда нам пришлось заточить тебя в темницу и, вследствие неблагоприятных обстоятельств, продержат там гораздо дольше, чем хотелось... Позволь мне обнять великодушного человека, который так справедливо толкует побуждения не во всем правого, но верного друга.

Больной приподнялся на ложе.

— Постой! Я, кажется, начинаю что-то понимать. Да, — пробормотал он, — это тот самый предательский голос, который сначала приветствовал меня как друга, а затем свирепо приказал лишить меня зрения! Удвой свою жестокость, Комнин, усугуби, если можешь, муки моего заточения, но раз уж я не вижу твоего фальшивого, бесчеловечного лица, избавь меня, молю, и от звука твоего голоса; более ненавистного мне, чем жабы и змеи, чем все, что есть в природе гнусного и отвратительного!

Он говорил так страстно, что все усилия императора прервать его были напрасны; и сам Алексей, и Дубан, и царица слышали в его речи гораздо больше неприкрытого, неподдельного негодования, чем они ожидали.

— Подними голову, безрассудный человек, — приказал император, — и обуздай свой язык, не то это дорого тебе обойдется. Посмотри, какую награду я тебе приготовил: она искупит все зло, которое твое безумие приписывает мне!

До сего времени узник упорно не открывал глаз, считая неясное воспоминание о мелькнувших вчера перед ним бликах света плодом расстроенного воображения, если только они не были созданы чарами какого-то духа-искусителя. Но теперь, когда он ясно увидел осанистую фигуру императора и тонкий стан

его прелестной дочери в мягком блеске утренней зари, он воскликнул слабым голосом:

— Я вижу, вижу!

И, снова упав на подушки, лишился чувств, чем сразу заставил Дубана пустить в ход все его укрепляющие снадобья.

— Какое удивительное исцеление! — восклицал лекарь. — Как мне хотелось бы обладать таким чудодейственным средством!

— Глупец! — сказал император. — Неужели ты не понимаешь, сколь просто вернуть человеку то, чего он никогда не лишался! — И, понизив голос, продолжал: — Ему сделали болезненную операцию, и он вообразил, будто его ослепили; свет не проникал к нему в темницу, а если и проникал, то лишь в виде смутных и почти неразличимых отблесков, поэтому духовный и физический мрак, окружавший узника, мешал ему понять, что у него полностью сохранилась та драгоценная способность, которую он якобы потерял. Возможно, ты спросишь, зачем я ввел его в столь необычное заблуждение? Всего лишь затем, чтобы из-за этого его сочли непригодным для управления государством и быстро забыли о нем; в то же время я сохранил ему зрение, оставив себе возможность в случае надобности освободить Урсела и направить его мужество и таланты на службу империи, противопоставив их ловкости других заговорщиков. Этим я и намереваюсь теперь заняться.

— И ты надеешься, государь, на его верность и преданность, несмотря на такое обращение с ним? — спросил Дубан.

— Это мне неизвестно; будущее покажет, насколько я прав, — ответил император. — Я знаю одно: не я буду виновен, если Урсел откажется сменить жалкое существование во мраке на свободу, на долгие годы власти — узаконенной, возможно, союзом с моей дочерью, — и на вечное пользование драгоценным даром зрения, который менее совестливый человек отнял бы у него!

— Если таковы твое убеждение и желание, государь, я должен помочь этому, а не противодейство-

вать, — сказал Дубан. — Позволь тогда просить тебя и царевну удалиться — мне надо применить средства, которые укрепят столь сильно пошатнувшийся рассудок и полностью вернут больному исчезнувшее было зрение.

— Дозволяю тебе это, Дубан, но помни: Урсел не может пользоваться полной свободой, пока не согласится отдать себя в мое распоряжение. Да будет вам обоим известно, что хоть я и не намерен ввергнуть его во влахернскую темницу, но если он или кто-то другой от его имени попытается в столь смутные времена возглавить заговор против меня, — клянусь честью рыцаря, как говорят франки, алебарды моих варягов достанут его, где бы он ни был! Передай ему эти мои слова — они относятся не только к нему, но и к тем, кто заинтересован в его судьбе! Пойдем, дочь моя, оставим лекаря с его подопечным. И не забудь, Дубан: как только твой больной будет в состоянии беседовать со мной разумно, ты должен немедленно сообщить мне об этом.

И Алексей вместе со своей прекрасной и ученой дочерью удалился из комнаты.

Глава XXVIII

Есть сладостная польза и в несчастье:
Оно подобно ядовитой жабе,
Что ценный камень в голове таит.

«Как вам это понравится»¹

С плоской крыши-террасы Влахернского дворца, куда выходила из спальни Урсела раздвижная стеклянная дверь, открывался один из самых необыкновенных и восхитительных видов на живописные окрестности Константинополя.

Дав растревоженному больному прийти в себя и отдохнуть, лекарь отвел его на эту террасу. Немного успокоившись, Урсел сам попросил позволения снова

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

взглянуть на величественный лик природы и проверить, действительно ли зрение вернулось к нему.

Картина, открывшаяся ему по одну сторону террасы, была мастерским произведением человеческого искусства. Надменный город, украшенный, как подобает мировой столице, пышными зданиями, являл взору ряд сверкающих шпилей и архитектурных ордеров, порою строгих и простых, как, например, те, капители которых уподоблялись корзинам с листьями аканта, или те, где выемки на колоннах были заимствованы у опор, к которым древние греки прислоняли свои копья, — эти формы изящнее в своей простоте, чем все, что позднее сумело изобрести искусство человека. Наряду с несравненными образцами истинно классического древнего зодчества, встречались и здания позднего периода; более современный вкус, пытаясь усовершенствовать старину, соединил в них различные ордера и создал нечто или слишком сложное, или вовсе не подходившее ни под какие каноны. Тем не менее размеры этих зданий сообщали им внушительность; грандиозность их пропорций и внешнего вида произвела бы впечатление на самого взыскательного ценителя архитектуры, хотя его и возмутила бы их безвкусьность. Неисчислимые триумфальные арки, башни, обелиски и шпили — памятники самых разнообразных событий — возносились над городом в причудливом беспорядке; внизу расстилались длинные, узкие улицы столицы, образованные домами горожан; дома эти были различной высоты, но их увенчивали плоские крыши-террасы, сплошь покрытые вьющимися растениями, цветами и фонтанами, и поэтому они казались, если смотреть на них сверху, благороднее и привлекательнее, чем однообразные покатые крыши зданий в северных столицах Европы.

Нам понадобилось некоторое время, чтобы описать зрелище, которое внезапно явилось Урселу и поначалу причинило ему сильную боль. Глазам его давно стало чудно ежедневное упражнение, прививающее нам привычку выправлять видимые нами картины сообразно знаниям, сообщенным другими чувствами.

Представление больного о расстоянии стало таким смутным, что ему показалось, будто все шпили, башенки и минареты, на которые он смотрел, теснясь, надвигаются на него, чуть ли не касаясь его глаз. Вскрикнув от ужаса, Урсел обернулся к другой стороне террасы, где ландшафт был совсем иной. Здесь тоже виднелись башни, колокольни и башенки, только принадлежали они храмам и дворцам, расположенным далеко внизу и отражавшимся на ослепительной водяной глади константинопольской бухты, откуда в город поступало такое обилие товаров, что ее по праву называли Золотым Рогом. Часть этого великолепного залива была окаймлена набережными, на которые большие, горделивые корабли и торговые суда выгружали свои богатства, в то время как поодаль у незамощенного берега гавани галеры, фелюги и другие мелкие суда лениво покачивали парусами, похожими на белоснежные причудливые крылья. Кое-где Золотой Рог был окутан зеленеющим плащом деревьев; это сбегали вниз, останавливаясь лишь у зеркальных вод, сады богатых вельмож и городские парки.

Посреди видневшегося вдаль Босфора стояла маленькая флотилия Танкреда, на том самом месте, где она ночью встала на якорь и откуда можно было наблюдать за находившейся напротив пристанью; принц Отрантский предпочел воздержаться от полночной высадки в Константинополе, не зная, как их примут — как друзей или как врагов. Эта отсрочка, однако, дала грекам возможность — то ли по приказу Алексея, то ли по имеющему не меньшую власть распоряжению кого-то из заговорщиков, — подтянуть к гавани шесть военных судов с вооруженным экипажем, снабженных применявшимися греками в ту эпоху боевыми морскими орудиями, и пришвартовать их так, чтобы можно было держать под обстрелом ту часть берега, где предстояло высадиться войску принца.

Приготовления греков несколько удивили доблестного Танкреда, не знавшего, что эти суда предыдущей ночью прибыли в бухту из Лемноса. Впрочем,

неожиданная опасность ничуть не поколебала его стойкого мужества.

Этот изумительный вид, от описания которого мы немного отвлеклись, открылся Урселу и лекарю содной из самых высоких террас Влахернского дворца. Со стороны города ее окаймляла толстая и высокая стена, на которую опиралась покатая крыша более низкого соседнего здания, выступавшая далеко вперед и скрадывавшая высоту; с другой стороны терраса была огорожена только высокой, массивной бронзовой балюстрадой, и взор беспрепятственно устремлялся вниз, к водам бухты, словно в пропасть.

Не успел Урсел перевести взгляд в этом направлении, как сразу вскрикнул, хоть и стоял далеко от края террасы:

— Спаси меня, спаси, если только тебе не поручено исполнить волю императора!

— Да, мне поручено, — сказал лекарь, — но поручено именно спасти тебя и, если можно, полностью исцелить, а не нанести тебе вред или допустить, чтобы повредили другие.

— Тогда спаси меня от самого себя, — взмолился Урсел, — и убереги от головокружительного, безумного желания ринуться в пропасть, к которой ты меня подвел.

— Это опасное ощущение неустойчивости всегда свойственно тем, кто давно не смотрел вниз с большой высоты и к тому же наверху очутился неожиданно. Как бы щедра ни была природа, она не предусмотрела возможности долголетнего перерыва в пользовании органами наших чувств, а затем его внезапного и полного возобновления. Тут необходим какой-то постепенный переход. Неужели ты не веришь, что терраса совершенно безопасна? И ведь мы с этим верным слугой оба тебя поддерживаем, — убеждал его лекарь.

— Верю, конечно, но позволь мне обернуться к той каменной стене. Я не в состоянии смотреть на это непрочное кружево из проволоки — единственную преграду между мной и пропастью.

Так говорил Урсел о бронзовой балюстраде, шести футов в высоту и очень прочной. Весь дрожа, он

крепко ухватил за руку лекаря, несмотря на то, что был моложе его и более ловок; он шел, так медленно передвигая ноги, словно они были налиты свинцом, и, дойдя наконец до раздвижной двери, сел на стоявшую возле нее садовую скамью.

— Здесь я и останусь, — сказал он.

— И здесь я передам тебе поручение императора, который ждет твоего ответа, — сказал Дубан. — Как ты увидишь, тебе предстоит самому решить свою судьбу — остаться ли в заточении или обрести свободу, — последнее, однако, при условии, что ты откажешься от лакомого, но греховного кусочка, зовущегося местью, который, не скрою, по воле случая сам идет тебе в руки. Ты знаешь, насколько опасным соперником считал тебя император и сколько ты от него претерпел. Так вот — можешь ли ты простить ему прошлое?

— Дай мне закрыть мою бедную голову плащом, — сказал Урсел, — чтобы она наконец перестала кружиться, и как только ко мне вернется память, ты узнаешь, какие чувства я испытываю.

Он съежился на скамье, закутав голову, как ему хотелось, и, просидев несколько минут в раздумье, заговорил; в его голосе все еще чувствовалась нервная дрожь, вызванная отвращением и ужасом.

— Когда человек впервые испытывает на себе несправедливость и жестокость, они, конечно, вызывают в пострадавшем чувство бурного негодования; ни одна страсть не гнездится в его душе так долго, как естественная жажда мести. И если бы в первый месяц, проведенный мною на ложе горя и мук, мне посулили возможность отомстить жестокому угнетателю, я охотно потратил бы на это весь жалкий остаток своих дней. Но разве можно сравнить страдания, длящиеся неделями или даже месяцами, со страданиями, которые длятся годы! Вначале тело и дух еще сохраняют ту силу, что связывает узника с жизнью и заставляет его трепетать, вспоминая давно ушедшие, но волновавшие когда-то надежды, желания, разочарования и унижения. Но по мере того как раны зарубцовываются, они постепенно начинают забываться, а в душе появляются новые, лучшие чувства. Мирские

радости и наслаждения становятся чуждыми тому, кого навсегда окутал мрак отчаяния. Должен тебе признаться, мой добрый лекарь, что, как безумный, стремясь к свободе, я в первые месяцы выдолбил довольно большое углубление в толще скалы. Но небо исцелило меня от этих безрассудных помыслов; если я и не дошел до того, чтобы полюбить Алексея Комнина — это невозможно, пока я в здравом уме и памяти, — все же, чем больше я вспоминал собственные проступки, грехи и безумства, тем больше убеждался, что Алексей — всего лишь орудие, с помощью которого небо, чье терпение я истощил, наказало меня за многочисленные прегрешения, и что поэтому злоба моя не должна быть обращена на императора. И я могу тебе сказать теперь, что если только человек, перенесший такое страшное испытание, способен понимать, чего он хочет, у меня нет никакого желания ни вступить с Алексеем в борьбу за трон, ни воспользоваться ценой отказа от своих притязаний каким-либо из его предложений. Пусть за ним остается корона, за которую, как я нахожу, он заплатил больше, чем она стоит.

— Твоя стойкость воистину удивительна, благородный Урсел, — ответил лекарь Дубан. — Если я правильно тебя понял, ты отказываешься от щедрых предложений Алексея и вместо всего, чем он хочет — нет, жаждет тебя одарить, — желаешь вернуться в беспросветный мрак влахернской темницы, чтобы без помехи предаваться там благочестивым раздумьям, которые уже привели тебя к такому необычному решению?

— Слушай, лекарь, — испуганный этим предложением Дубана, Урсел судорожно передернулся, — кажется, человек с твоими познаниями должен был бы понимать, что ни один смертный — если только судьба не предназначила ему стать святым мучеником — не может предпочесть мрак дневному свету, слепоту — счастью обладать зрением, медленное умирание от голода — насыщению или затхлую темницу — дарованному богом свежему воздуху. Возможно, это и есть подлинная добродетель, но до таких высот мне не

подняться. Все, что мне нужно от императора за ту поддержку, какую мое имя принесет ему в трудное для него время, — это разрешение принять постриг в какой-нибудь из прекрасных, богатых обителей благочестия, основанных им из набожности или из страха. Я не хочу оставаться предметом его подозрений, ибо это еще страшнее, чем быть предметом его ненависти. Пусть я буду забыт властью, как я сам позабыл власть имущих, и дойду до могилы незаметным, ничем не стесненным, свободным, хотя бы отчасти зрячим и прежде всего с миром в душе.

— Если ты действительно и от всей души хочешь этого, великодушный Урсел, я сам, не колеблясь, поручусь за полное исполнение твоих благочестивых и скромных желаний, — сказал лекарь. — Но все же подумай — ведь ты снова при дворе, где сегодня можешь добиться того, к чему стремишься, а завтра, если ты пожалеешь об этом отказе и захочешь хоть немного улучшить свое положение, все твои мольбы могут оказаться бесплодными.

— Если так, я выговорю еще одно условие, которое, впрочем, относится только к сегодняшнему дню. Я смиренно попрошу государя избавить меня от мучительных переговоров с ним самим; пусть он удовлетворится моим торжественным обещанием охотно сделать для него все, что ему будет угодно приказывать; я же молю только исполнить мои скромные желания относительно дальнейшей жизни, которые я уже сообщил тебе, — сказал Урсел.

— Но почему ты опасаешься объявить императору свое согласие, если со своей стороны ты выставляешь такие неслыханно скромные требования? — спросил лекарь. — Боюсь, что император все же будет настаивать на встрече.

— Я не постыжусь открыть тебе правду. Это верно, что я отрекся, или думаю, что отрекся, от того, что священное писание называет житейской гордыней; но древний Адам по-прежнему живет в нас и ведет нескончаемую войну с нашими лучшими душевными свойствами; заключить перемирие с ним трудно, нарушить — очень легко. Вчера вечером я еще не совсем

сознавал, что мой враг находится рядом, я с трудом припоминал лживые, ненавистные звуки его голоса, и, тем не менее, сердце мое трепетало в груди, как пойманная птица; так неужели я снова должен беседовать с человеком, который независимо от того, хорош он или плох во всем остальном, был постоянной и ничем не оправданной причиной моих беспримерных бедствий? Нет, Дубан! Опять услышать его голос — значит вызвать к жизни все бурные, мстительные страсти, таящиеся в моем сердце, и хотя, видит бог, помыслы мои вполне чисты, я не могу поручиться за его и свою безопасность, если мне придется выслушивать его словоизлияния!

— Раз уж таково твое расположение духа, я только передам ему твои условия, а ты должен поклясться ему, что будешь строго соблюдать их. Без этого трудно, вернее — невозможно, прийти к соглашению, которого вы оба хотите, — сказал Дубан.

— Аминь! — воскликнул Урсел. — А так как мои намерения честны и я полон решимости не отступаться от них, то да сохранит меня небо от всяких помышлений об опрометчивой мести, старых обидах или новых распрях.

Тут раздался властный стук в дверь спальни; Урсел, избавившийся от головокружения под влиянием более сильных чувств, твердыми шагами вошел в спальню и сел; отведя взгляд в сторону, он ждал человека, который возвестил о своем желании войти, — этот человек оказался самим Алексеем Комнином.

Император появился на пороге; он был в военном снаряжении, как и подобает монарху, собирающемуся присутствовать на турнире.

— Скажи мне, мудрый Дубан, — обратился он к лекарю, — сделал ли наш досточтимый узник выбор между миром и враждой?

— Сделал, государь, — ответил лекарь. — Он решил разделить судьбу той счастливой части человечества, которая посвятила служению императору и сердце и жизнь свою,

— Стало быть, он сегодня окажет мне услугу, — продолжал император, — и усмирит всех, кто попытается подстрекать людей к бунту от его имени и под предлогом нанесенных ему обид?

— Он исполнит все, чего ты от него требуешь, государь, — заверил его Дубан.

— А какую же награду наш верный Урсел ждет от императора за подобные услуги, оказанные в столь трудную минуту? — придав своему голосу самые чарующие интонации, спросил Алексей.

— Только не говорить с ним об этом, — вот и все, — ответил Дубан. — Он хочет лишь, чтобы ваша вражда была забыта и чтобы его приняли в один из учрежденных тобой монастырей, дабы он мог посвящать остаток своей жизни поклонению всевышнему и святым угодникам.

— А он не обманывает тебя, Дубан? — понизив голос, тревожно спросил император. — Клянусь небом, когда я подумаю, из какого мрака его вывели и как он жил в этой темнице, я не могу поверить в такую незлобливость. Он должен повторить мне это сам, чтобы превращение грозного Урсела в существо, столь неспособное к естественным человеческим чувствам, показалось мне более правдоподобным.

— Слушай меня, Алексей Комнин, — сказал узник, — и да будут твои молитвы так же услышаны и приняты небом, как примешь ты с верою мои слова, идущие от самого сердца. Будь твоя империя из чеканного золота, она и то не соблазнила бы меня; а все беды, которые я через тебя претерпел, как бы они ни были велики и жестоки, не вызывают во мне, благодарение богу, ни малейшего желания ответить предательством на предательство! Думай обо мне что хочешь, только никогда больше не вступай со мной в беседу; если ты поместишь меня в самый суровый из твоих монастырей, поверь, строгий устав его, пост и бдения будут куда легче, чем удел тех подданных государя, коих он осыпает милостями и кои обязаны бежать к нему по первому его зову.

— Хоть мне и не положено вмешиваться в столь важные дела, — прервал его лекарь, — но поскольку

и благородный Урсел и сам государь оказали мне доверие, должен признаться, что я позволил себе коротко записать те скромные условия, которые должны соблюсти высокие договаривающиеся стороны *sub crimine falsi*.¹

Император ушел лишь после того, как подробно объяснил Урселу, какие понадобятся от него в этот день услуги. При расставании Алексей обнял бывшего узника с изъявлениями величайшей признательности; Урселу же понадобилась вся его стойкость и самообладание, чтобы удержаться и не сказать в самых прямых выражениях, какое отвращение вызывает у него столь пылко обнимающий его человек.

Глава XXIX

О заговор,
Стыдишься ты показываться ночью,
Когда привольно злу. Так где же днем
Столь темную пещеру ты отыщешь,
Чтоб скрыть свой страшный лик?

Такой и нет.
Уж лучше ты его прикрой улыбкой:
Ведь если ты его не приукрасишь,
То сам Эреб и весь подземный мрак
Не помешают разгадать тебя.

«Юлий Цезарь»²

Наконец наступило то знаменательное утро, когда должен был состояться объявленный императором поединок между кесарем и Робертом, графом Парижским. Поединки были совершенно чужды складу ума греков, толковавших этот обычай по-иному, чем западные народы, которые считали их торжественным свершением «суда божьего», как говорили латиняне; поэтому горожан сильно волновало событие, свидетелями которого они должны были стать; по Константинополю ходили туманные слухи, связывавшие это

¹ Под страхом обвинения в клятвопреступлении (лат.).

² Перевод М. Зенкевича.

необычайное сражение с самыми различными поводами к какому-то всеобщему устрашающему бунту.

По приказу императора для поединка приготовили арену с расположенными друг против друга входами, откуда полагалось выпускать на поле боя участников турнира; обе стороны должны были при этом воззвать к богу, соблюдая тот обряд, который предписывало вероисповедание каждого из противников. Арену устроили на западном берегу пролива. Невдалеке виднелись городские стены, возведенные из камня и известняка в разнообразных архитектурных стилях; в этих стенах было ни более, ни менее как две дюжины ворот: пять выходило в сторону материка, а девятнадцать вело к морю. Зрелище было, да и остается по сей день весьма живописным. Город имеет около девятнадцати миль в окружности; его обступают со всех сторон высокие кипарисы, и кажется, что он вырос прямо в этом величественном лесу; стройные деревья частично загораживают башенки и обелиски, которые в те времена отмечали местоположение многих замечательных христианских храмов, превращенных потом в мусульманские мечети, о чем свидетельствуют пристроенные к ним минареты.

Для удобства зрителей арену окружили длинными рядами сидений, полого спускавшимися к ней. Между ними, против центра арены, стоял высокий трон, предназначенный для самого императора и обнесенный отделявшим его от общих галерей деревянным барьером, который, как это сразу было видно опытному глазу, в случае надобности мог быть использован для обороны.

Длина арены была около шестнадцати ярдов, ширина — ярдов сорок; она была достаточно вместительна, чтобы на ней могли встретиться как конные, так и пешие противники. С самого рассвета из городских ворот потекли толпы греков — жителей Константинополя, спешивших осмотреть арену, подивиться на ее устройство, неодобрительно высказаться об удобствах сооружения и заранее занять себе места. Вскоре явился туда и большой отряд воинов, так называемых Бессмертных. Они без всякого стеснения разместились

по обеим сторонам деревянного барьера, который ограждал императорский трон. Некоторые воины позволили себе еще большую вольность — притворяясь, будто их теснит толпа, они подошли вплотную к загородке, как бы намереваясь перелезть через нее и усесться возле трона. Затем показалось несколько старых дворцовых рабов, словно бы для охраны заветного места, отведенного императору и его двору; по мере того как Бессмертные становились все более дерзкими и беспокойными, силы защитников запретного пространства постепенно возрастали.

Кроме главного входа, на императорскую галерею вела еще одна дверь, тщательно замаскированная и очень прочная; в нее вошли какие-то люди, вставшие за местами для приближенных императора. Судя по длинным ногам, широким плечам, плащам, отороченным мехом, и особенно по грозным алебардам, с которыми они не расставались, это, очевидно, были варяги; они не блистали праздничным одеянием, положенным в таких случаях, не было на них и грозных боевых доспехов, но внимательный наблюдатель увидел бы, что и на сей раз они взяли с собой свое обычное оружие. Входя отдельными, разрозненными группами, они присоединялись к дворцовым рабам, помогая им пресекать попытки Бессмертных пробраться к императорскому трону и окружающим его скамьям. Несколько дерзких воинов из отряда Бессмертных, которым удалось перелезть через барьер, были весьма бесцеремонно выброшены оттуда мускулистыми силами варварами.

Сидевшие на соседних галереях люди, на вид — празднично одетые горожане, оживленно обсуждали эти стычки; их симпатии явно были на стороне Бессмертных.

— Как не стыдно императору поощрять варваров-британцев и позволять им насильно становиться между ним и когортами Бессмертных, можно сказать — его собственных детей! — говорили они.

Выделявшийся своим гигантским ростом и крепким телосложением гимнаст Стефан заявил не задумываясь:

— Если здесь найдутся еще хоть два человека, которые громко заявят, что Бессмертных несправедливо лишили права охранять особу императора, вот эта рука освободит воинам место возле трона государя.

— Нет, — сказал центурион из отряда Бессмертных, которого мы уже представили читателям под именем Гарпакса, — нет, Стефан, это счастливое время когда-нибудь настанет для нас — о украшение нашего цирка! — но пока оно еще не пришло. Ты знаешь, что в поединке будет участвовать один из этих графов, западных франков; варяги же считают их своими врагами, а посему имеют основание претендовать на охрану арены, и оспаривать у них сейчас это право не совсем удобно. Ох, если б ты был хоть вполонину так умен, как высок, ты понял бы, что плох тот охотник, который вспугнет дичь, прежде чем окружит ее сетями!

Пока атлет недоуменно пялил большие серые глаза, пытаясь понять, что означает этот намек, его дружок, художник Лисимах, встав на цыпочки, с трудом дотянулся до уха Гарпакса и, стараясь придать своему лицу умное выражение, шепнул:

— Можешь мне поверить, доблестный центурион, что этот могучий силач не побежит по ложному следу, как собака, которая потеряла нюх, но и не будет сидеть молча на месте, когда подадут сигнал. Скажи мне, однако, — забравшись на скамью, чтобы оказаться вровень с ухом Гарпакса, и еще понизив голос, добавил он, — не лучше ли было бы поместить отряд храбрых Бессмертных внутри этого деревянного укрепления, чтобы обеспечить успех сегодняшнему предприятию?

— Так оно и было задумано, — сказал центурион, — но эти варяжские бродяги самовольно заняли не положенные им места.

— Но вас же куда больше, чем варваров, — продолжал Лисимах, — почему бы вам не схватиться с ними до того, как эти чужаки получают подкрепление?

— Успокойся, приятель, — холодно ответил центурион, — мы сами знаем, как нам поступать. Перейти в наступление слишком рано еще хуже, чем совсем от него отказаться, и если мы преждевременно подадим

сигнал, то не сможем осуществить наш замысел в минуту, действительно подходящую для атаки.

И он отошел к своим воинам, чтобы его беседа с кем-то из замешанных в заговоре горожан не вызвала излишних подозрений.

День разгорался, солнце поднималось выше над горизонтом, а из различных частей города к месту поединка шли все новые и новые люди, движимые не то любопытством, не то другими, более серьезными побуждениями; они торопились занять оставшиеся свободными места вокруг арены. По пути им приходилось подниматься на холм, наподобие мыса вдававшийся в Геллеспонт; широкой своей стороной он примыкал к берегу и возвышался над ним; с этого холма пролив, соединяющий Европу с Азией, был виден гораздо лучше, чем из самого города или с низменности, где находилась арена. Любители зрелищ, спешившие прийти к месту поединка спозаранок, останавливались на холме ненадолго, а то и совсем не останавливались, но люди, которые шли вслед за ними, увидев, что те, кто так спешил поскорее добраться до арены, бесцельно и лениво бродят вокруг нее, начали задерживаться, подстрекаемые естественным любопытством, любовались ландшафтом, отдавая дань его красотам, а потом переводили взгляд на море, пытаясь увидеть там что-нибудь, имеющее отношение к предстоящим событиям. Какие-то шагавшие вразброд моряки первыми заметили флотилию маленьких греческих судов, возглавляемую Танкредом, которая, отплыв от берегов Азии, казалось угрожала пристать в Константинополе.

— Странно, — сказал один из моряков, капитан галеры, — ведь этим судам было приказано вернуться в Константинополь сразу после того, как латиняне высадутся на берег, а они так долго пробыли в Скутари и возвращаются в столицу только теперь, на второй день после отплытия...

— Дай бог, чтобы на них были только наши моряки! — сказал второй моряк. — Мне кажется, что на флагштоках, бушпритах и стенах те же или почти те же флаги, которые были развернуты латинянами,

когда их, по указу императора, перевозили в Палестину. Эти суда похожи на торговые корабли, которые возвращаются обратно, потому что им не дали разгрузиться в месте назначения!

— Привозить ли такие товары или вывозить — все равно с ними не столь уж приятно иметь дело, — заметил один из ранее упомянутых нами охотников толковать о политике. — Вон тот большой стяг, который развевается над галерой, идущей впереди других, означает, что на ней находится какой-то вождь, и, видимо, не из последних среди этих графов либо по доблести, либо по знатному происхождению.

А капитан, как бы намекая на тревожные вести, добавил возмущенным голосом:

— Они поднялись так высоко вверх по течению, чтобы прилив отнес их к берегу, минуя этот мыс, где мы стоим; но с какой целью они хотят высадиться так близко от стен города, пусть скажет кто-нибудь поумнее меня!

— Намерения у них, конечно, не из добрых, — ответил его товарищ. — Богатство нашего города прельщает тех, кто беден: железо, которым они владеют, ценится ими лишь потому, что оно дает им возможность приобрести золото, о котором они мечтают.

— Ты прав, братец, — сказал политикан Деметрий. — Но разве ты не видишь, что в заливе у этого мыса, на том самом месте, куда течение несет еретики, бросили якорь шесть больших кораблей? Они могут не только осыпать врага градом дротиков и стрел, но и метнуть в него со своих глубоких палуб греческий огонь! Если франкская знать будет двигаться к нашей столице, а ведь

...sed et illa propago
Contemptrix Superûm, sævæque avidissima cædis,
Et violenta fuit,¹

1

...это отродье
Презирало богов и, стремясь к жестоким убийствам,
Было буйно (лат.).

(Перевод А. Фета.)

мы очень скоро станем свидетелями куда более волнующего боя, чем тот, о котором возвестила большая труба варягов. Будь другом, присядем-ка здесь на минутку и посмотрим, чем это кончится.

— Прекрасная мысль, ты очень догадлив, приятель, — ответил Ласкарис (так звали другого горожанина). — Но не опасно ли это будет? Сюда могут долететь метательные снаряды, которыми дерзкие латиняне непременно ответят на греческий огонь, если ты прав и наши корабли действительно обрушат его на них.

— Разумеется, опасно, мой друг, — ответил Деметрий, — но не забудь, что ты говоришь с человеком, уже побывавшим в таких переделках; если сюда полетят снаряды с моря, советую отойти вглубь ярдов на пятьдесят, — тогда верхушка мыса прикроет нас; там обстрел не испугал бы даже ребенка.

— Ты мудрый человек, сосед, — сказал Ласкарис. — В тебе храбрость сочетается со знаниями, и ты не станешь зря рисковать чужой жизнью. Другие, например, ради пустяка подвергнут тебя смертельной опасности; а ты, досточтимый друг Деметрий, так хорошо знаком с военным искусством и так заботливо относишься к друзьям, что с тобою может без малейшего риска смотреть на все интересное человек, который хочет — и это неудивительно — остаться целым и невредимым. Однако что же это, пресвятая дева? Что означает этот красный флаг, поднятый сейчас греческим головным кораблем?

— Ты же видишь, сосед, — ответил Деметрий, — сей западный еретик продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что наш флагман все время подавал ему знаки остановиться; поэтому он и поднял знамя цвета крови, словно человек, который сжал кулак и грозит: если будешь упорствовать в своих варварских намерениях, плохо тебе придется!

— Правильное предупреждение, клянусь святой Софией! — сказал Ласкарис. — Но что собирается делать наш головной корабль?

— Беги, беги, друг Ласкарис, — воскликнул Деметрий, — не то ты увидишь такое, что вряд ли тебе понравится!

И Деметрий, подавая пример, первый показал пятки и с весьма поучительной быстротой скрылся за гребнем холма; следуя его совету, обратилась в бегство и большая часть зевак, замешкавшаяся, чтобы поглядеть на обещанное болтуном сражение. Испугал Деметрия своим видом и ревом выпущенный имперской эскадрой большой заряд греческого огня; этот огонь, пожалуй, можно скорее всего сравнить с нынешней Конгривовой ракетой, которая несет на себе небольшой крюк или якорек и с ревом рассекает воздух, словно нечистый дух, спешащий выполнить наказ жестокого колдуна; действие зажигательной смеси, употреблявшейся в греческом огне, было столь ужасно, что экипажи атакуемых судов часто отказывались от всякой защиты и поспешно выбирались на берег. Одной из основных частей этой смеси была, по-видимому, нефть или минеральная смола, которую собирают на отмелях Мертвого моря; если она воспламенялась, потушить ее можно было только особым составом, которого, конечно, никогда не было под рукой. Взрыв греческого огня сопровождался густым дымом и страшным грохотом; по словам Гиббона, все вокруг воспламенялось как при полете заряда, так и при падении.¹ При осадах его бросали вниз с крепостных валов или металы, наподобие наших бомб, в докрасна накаливаемых каменных или железных шарах либо в кудели, обмотанной вокруг стрел и дротиков. Состав греческого огня считался государственной тайной чрезвычайной важности, и около четырех столетий мусульмане тщетно пытались его выведать. Но в конце концов сарацины открыли его и с его помощью заставили крестоносцев отступить, а также одержали победу над греками, у которых он некогда был самым грозным орудием защиты. Конечно, в эти варварские времена люди были склонны к преувеличению, но опи-

¹ Полное описание греческого огня см. у Гиббона, глава LIII. (Прим. автора.)

сание греческого огня крестоносцем Жуанвилем можно считать достоверным. «Он летел по воздуху, — говорит этот славный рыцарь, — будто крылатый дракон величиной с бочку, гремя, как гром, с быстротою молнии рассеивая ночную тьму своим страшным сверканием».

Не только храбрый Деметрий и послушный ему Ласкарис, но и все внимавшие им обратились, как и подобало мужчинам, в бегство, когда греческий флагман дал первый залп; так как другие корабли эскадры последовали его примеру, воздух наполнился чудовищным, наводящим ужас грохотом, а густой дым заволок все небо. Когда бежавшие перевалили через верхушку холма, они увидели моряка, ранее упомянутого нами любителя зрелищ, который удобно расположился в пересохшей канаве, обезопасив себя таким образом от всяких случайностей. Тем не менее он не мог удержаться, чтобы не поддразнить политиканов.

— Почему же, друзья, вы не остались на месте, дабы закончить многообещающую беседу о морских и сухопутных сражениях, ведь вам представился для нее такой удачный повод! — воскликнул он, не высываясь, однако, из канавы. — Право, этот грохот устрашает, но для жизни он неопасен: снаряды направлены в сторону моря, а если какой-либо из этих огнедышащих змиев и залетит случайно на сушу, виной тому будет только оплошность юнги, который проявил в обращении с запальником больше усердия, нежели ловкости!

Из всей речи героя-моряка Деметрий и Ласкарис уловили лишь то, что любая ошибка в направлении огня грозила бы им новой опасностью; они помчались к арене, сопровождаемые обезумевшей от страха толпой, и поспешили распространить весть о том, что вооруженные латиняне возвращаются из Азии, собираясь высадиться на берег и, разграбив город, спалить его.

Тем временем этот неожиданный грохот стал таким оглушительным, что все поверили в правдивость принесенного известия, каким бы преувеличенным оно

ни показалось вначале. Греческий огонь гремел, не переставая, и после каждого залпа окрестность заволакивалась черными клубами дыма, которые постепенно сгустились в сплошную завесу, застилавшую весь горизонт, как застилает его непрерывный огонь нынешней артиллерии.

Извергавшийся греческими снарядами густой дым совсем скрыл из вида маленькую флотилию Танкреда; судя по багровому свету, который пробивался сквозь эту плотную пелену, одно из ее судов загорелось. Однако латиняне не сдавались, проявляя упорство, достойное их собственной храбрости и славы их знаменитого вождя. Некоторое преимущество у них было — небольшие суда франков имели глубокую осадку, и, кроме того, их окутывал дым, отчего грекам трудно было в них целиться.

Танкред решил воспользоваться этим преимуществом: с помощью лодок и применявшихся в ту пору несложных сигналов, он разослал по своей флотилии приказ всем судам самостоятельно двигаться вперед, невзирая на судьбу остальных; команды должны были высадиться на берег где придется и любым способом. Танкред сам подал своим подчиненным благородный пример; он был на борту надежного судна, в какой-то степени защищенного от греческого огня, ибо оно было почти целиком обито невыделанными шкурами, незадолго до этого вымоченными в воде. На судне находилась сотня храбрых воинов; многие из них принадлежали к рыцарскому сословию, тем не менее они всю ночь занимались низменным трудом — греблей, а теперь взялись за арбалеты и луки — оружие, применявшееся по большей части простолюдинами. Вооружив, таким образом, свой экипаж. Танкред направил судно к берегу со всей быстротой, какую могли придать ему ветер, течение и гребцы: применив свое немалое мореходное искусство, он повернул корабль так, чтобы использовать эту скорость, и пролетел, как молния, между лемносскими кораблями, посылая в обе стороны стрелы, дротики и другие метательные снаряды. Обстрел был тем более успешным, что греки, понадеявшись на свой искусственный огонь,

не догадались вооружиться еще чем-нибудь; поэтому, когда отважный крестоносец в отплату за их ужасный огонь яростно обрушил на них тучи не менее устрашающих дротиков и стрел, они почувствовали, что превосходство их не так уж велико, как им казалось, и что, подобно многим другим опасным вещам, их огонь, встреченный безбоязненно, становится куда менее страшным. Да и сами греческие моряки, видя, что неприятельские суда с закованными в сталь латинями приближаются к ним, убоялись рукопашного боя с таким грозным врагом.

В это время с большого греческого судна повалил дым, и воины услышали голос Танкреда, объявившего, что греческий флагман загорелся из-за неосторожного пользования собственными разрушительными средствами и что единственная их забота теперь — это держаться на почтительном расстоянии от него, чтобы не разделить его участь. Вскоре в самых различных местах горящего судна появились снопы искр и вспышки пламени, как будто огонь намеренно усиливал ужас и смятение, чтобы лишить мужества тех немногих членов экипажа, которые еще выполняли приказы флотоводца и пытались потушить пожар. Зная, какими свойствами обладает их воспламеняющийся груз, греки все больше поддавались панике; было видно, как отовсюду — с бушприта, со снастей, с рей, с бортов — бросался вниз злосчастный экипаж корабля, большей частью меняя смерть от огня на менее ужасную смерть в воде. По распоряжению великодушного Танкреда, его воины перестали уничтожать неприятеля, и так уже подвергавшегося двойной опасности, и вывели свое судно в спокойную часть бухты. Место тут было неглубокое, и они без всякого труда вышли на берег; усилиями всадников большая часть привыкших к повиновению коней была переправлена на берег одновременно с ними. Не теряя ни минуты, предводитель отряда свел в одну фалангу ряды копьеносцев, вначале немногочисленные, но постепенно возраславшие в числе по мере того, как одно судно за другим садилось на мель или, более осмотрительно пришвартовавшись, давало экипажу возможность

высадиться прямо на берег и тут же присоединиться к своим.

Меж тем переменявший направление ветер рассеял клубы дыма, открыв взорам пролив и все, что осталось на нем после сражения; кое-где на волнах качались обломки нескольких латинских судов, сожженных в начале боя; их экипаж с помощью других крестоносцев был почти целиком спасен. Ниже по течению виднелось пять судов лемноской эскадры; они неловко, в беспорядке отступали, пытаясь добраться до константинопольской гавани. На том месте, где недавно разыгралось сражение, болтался на якоре греческий флагман, сгоревший до ватерлинии; от его обшивки и искалеченных бимсов все еще поднимался черный дым. С разбросанных по бухте судов Танкреда высаживались воины; они добирались до берега, как могли, и присоединялись к тем, кто уже стоял под знаменем своего предводителя. На поверхности воды, у самого берега или поодаль от него, плавали какие-то темные предметы: то были обломки судов или обломки, еще более зловещие — бездыханные тела погибших в бою моряков.

Любимец Танкреда, паж Эрнест Апулийский, отнес знамя на берег, как только киль их галеры коснулся песка. Оно было водружено на верхушке того самого холмистого мыса между Константинополем и ареной, где Ласкарис, Деметрий и другие болтуны собрались в начале сражения и откуда они потом сбежали, смертельно напуганные и греческим огнем, и метательными снарядами латинян-крестоносцев.

Глава XXX

Закованный в доспехи Танкред стоял, поддерживая правой рукой знамя своих предков; окруженный горсточкой соратников, неподвижных, как стальные изваяния, он ждал, готовый отразить нападение греков, собравшихся на арене; могли на него напасть и те в большинстве своем вооруженные воины и горо-

жане, которые непрерывным потоком текли из городских ворот. Эти люди, встревоженные множеством слухов об участниках боя и об исходе сражения, намеревались ринуться на Танкреда, выбить знамя из его рук и разогнать охранявшую его почетную стражу. Но если читателю случалось когда-нибудь проезжать верхом по сельской местности в сопровождении породистой собаки, он, вероятно, замечал, какое почтение оказывает благородному животному дворняжка пастуха, считающая себя властителем и стражем уединенной долины; примерно таким же образом повели себя и разъяренные греки, когда они приблизились к небольшому отряду франков. Почуввав появление чужака, дремавшая дворняга сразу просыпается и несетя к горделивому пришельцу, шумно объявляя ему войну. Но, подбежав поближе и увидев, как велик и силен противник, она становится похожей на пиратский корабль, который погнался за добычей и вдруг, к своему удивлению и испугу, обнаружил, что на него обращены две батареи пушек вместо одной. Дворняга останавливается, перестает громко таякать и наконец бесславно возвращается к хозяину, всем своим понурым видом подтверждая полный отказ от схватки.

Точно так же отряды горластых греков, без конца перекликающихся и издающих хвастливые возгласы, спешили из города и бежали с арены, собираясь уничтожить немногочисленных спутников Танкреда. Однако, подойдя ближе к этим воинам, которые сошли на берег и спокойно выстроились под знаменем своего благородного вождя, увидя их недвижные ряды, греки отказались от своего решения тотчас вступить с ними в бой; они шли теперь медленно, неуверенно и чаще оборачивались назад, чем смотрели в лицо противнику; когда же обнаружилось, что тот не выказывает ни малейшего беспокойства, их воинственный пыл окончательно угас.

Твердо и невозмутимо стоя на месте, латиняне время от времени получали небольшое подкрепление, ибо к ним то и дело присоединялись их соратники, которые высаживались вдоль всего побережья; меньше чем через час крестоносцы, конные и пешие, собрались,

за малыми исключениями, почти в том же составе, в каком вышли из Скутари.

Другой причиной, оберегавшей латинян от нападения, было прямое нежелание обеих враждующих частей греческого войска затевать ссору с крестоносцами. Верные императору отряды всех родов оружия, особенно варяги, соблюдали строгий приказ оставаться на своем посту — на арене и в Константинополе, в местах, где обычно собирались горожане; присутствие там варягов было необходимо, чтобы предотвратить готовящееся против Алексея восстание, о котором он был хорошо осведомлен. Поэтому варяги, выполняя волю императора, не позволяли себе недружелюбных выходов против латинян.

Что касается большей части Бессмертных и тех горожан, которые должны были принять участие в задуманном мятеже, наслушавшись приспешников покойного Агеласта, они решили, будто Боэмунд послал этот отряд под командой своего родича Танкреда им на подмогу. Поэтому они тоже воздерживались от нападения и не собирались поощрять или направлять тех, кому хотелось бы напасть на неожиданных гостей; впрочем, лишь немногие проявляли столь воинственное намерение, большинство же было радо любому предлогу, чтобы уклониться от стычки.

Меж тем император наблюдал из Влахернского дворца за всем, что происходило на проливе, и был свидетелем полного провала попытки лемноской эскадры преградить с помощью греческого огня дорогу Танкреду и его воинам. Как только Алексей увидел, что головное судно эскадры запылало, озаряя окрестности наподобие маяка, он решил избавиться от злополучного флотоводца и помириться с латинянами, даже если бы для этого пришлось послать им его голову. Когда же, вслед за появлением этих огненных языков, остальные суда эскадры стали сниматься с якоря и отходить, участь бедного Фраорта (так звали флотоводца) была бесповоротно решена.

В эту минуту Ахилл Татий, который поставил себе целью все время следить за императором, прибежал во дворец, прикидываясь сильно встревоженным.

— Государь! Августейший государь! — восклицал он. — Я должен с горестью сообщить тебе печальную весть — множеству латинян удалось выйти из Скутари и переправиться через пролив. Как было решено вчера вечером на имперском военном совете, лемносская эскадра попыталась их остановить. Несколько франкских судов было уничтожено мощными зарядами греческого огня, но большинству удалось прорваться; они продолжали двигаться вперед и сожгли головное судно несчастного Фраорта. У меня есть достоверные сведения, что погиб и он и почти весь его экипаж. Остальные суда снялись с якоря и ушли, отказавшись от защиты Геллеспонта.

— Объясни мне, Ахилл Татий, почему ты принес мне эту тяжкую весть так поздно? Не потому ли, что теперь я уже не могу предотвратить несчастье? — спросил император.

— Прости, августейший государь, это получилось неумышленно, — краснея и запинаясь, пробормотал заговорщик. — Я осмеливаюсь предложить тебе план, с помощью которого можно было бы легко исправить эту маленькую неудачу.

— Каков же твой план? — сухо спросил император.

— С твоего высочайшего соизволения, государь, я сразу же обратил бы против Танкреда и его итальянцев алебарды наших верных варягов, — ответил главный телохранитель. — Им так же просто разделаться с горсточкой добравшихся до берега франков, как земледельцу — со стаей крыс, или мышей, или прочих злокозненных тварей, которые завелись в его амбаре.

— А пока англосаксы будут сражаться за меня, что, по-твоему, должен делать я? — поинтересовался император.

Сухой и насмешливый тон, с каким обращался к нему Алексей Комнин, встревожил Ахилла Татия.

— Ты, государь, возглавишь константинопольские когорты Бессмертных, — ответил он. — Готов поручиться, что ты завершишь победу над латинянами; ну, а если исход боя покажется тебе сомнительным, ты станешь во главе этих отборных греческих войск

и предотвратишь возможность поражения, впрочем, весьма маловероятного.

— Ты же сам, Ахилл Татий, неоднократно уверял нас, будто эти Бессмертные хранят преступную привязанность к мятежнику Урселу. Как же ты хочешь, чтобы мы доверили нашу защиту их отрядам, в то время как доблестные варяги будут, по твоему плану, сражаться с цветом западного рыцарства? — возразил император. — Ты не подумал о том, как это опасно, мой почтенный аколит?

Ахилл Татий, сильно обеспокоенный этим намеком, который показывал, что император догадывается о его намерениях, согласился, что поспешил предложить план, подвергающий опасности его собственную жизнь, когда надо было думать о том, как обеспечить безопасность августейшего повелителя...

— Благодарю тебя за это, — сказал император, — ты предупредил мои желания, хоть я и не властен сейчас последовать твоему совету. Несомненно, я был бы рад, если бы латиняне снова переправились на другую сторону пролива, о чем вчера говорилось на совете; но раз уж они выстроились в боевом порядке на наших берегах, лучше откупиться от них золотом и лестью, чем жизнями наших доблестных подданных. Мы все-таки думаем, что пролив они переплыли не потому, что намерения их враждебны, а потому, что не в силах были подавить безумное желание насладиться зрелищем поединка, — им ведь это нужно как воздух. Поэтому я обязываю тебя вместе с протоспафарием отправиться туда, где стоит их знаменосец, и если вождь отряда, именуемый Танкредом, окажется там, узнать у него, зачем он вернулся и по какой причине вступил в бой с Фраортом и лемносской эскадрой? Если он найдет какие-то разумные оправдания своим действиям, мы благосклонно примем их; не для того мы принесли столько жертв во имя сохранения мира, чтобы теперь, когда можно в конце концов избежать такого страшного зла, развязать войну. Изволь поэтому спокойно и учтиво принять те извинения, какие они пожелают принести. Можешь не беспокоиться; одного зрелища этой куколь-

ной комедии, называемой поединком, будет достаточно, чтобы отвлечь сумасбродных рыцарей от всяких других помыслов.

В этот момент в дверь постучали, и в ответ на дозволение войти на пороге появился протоспафарий. Он был облачен в великолепные доспехи, какие носили древние римляне. Выражение его бледного, взволнованного лица, не скрытого забралом, плохо вязалось с воинственным шлемом, гребень которого украшали развевающиеся перья. Протоспафарий выслушал императора без особого воодушевления, поскольку ему дали в спутники главного телохранителя, — как читатель, возможно, помнит, оба военачальника имели в войске своих приверженцев и недолюбливали друг друга. Что касается Ахилла Татия, то в этом объединении его с протоспафарием он усматривал признаки недоверия к себе со стороны императора, отнюдь не сулящие ему безопасности. Но он твердо помнил, что находится во Влахернском дворце, где послушные рабы, не колеблясь, выполнили бы приказ о казни любого придворного. Поэтому обоим военачальникам не оставалось ничего другого, как повиноваться, подобно двум гончим, против воли взятым на одну сворку. Ахилл Татий надеялся только, что успеет благополучно добраться до Танкреда, а к этому времени вспыхнет и успешно завершится восстание: латиняне либо охотно примут в нем участие и окажут ему поддержку, либо равнодушно останутся в стороне.

Отпуская военачальников, Алексей приказал им сесть на коней, как только прозвучит большая труба варягов, возглавить собранный во дворе казармы отряд англосакской стражи и дожидаться дальнейших приказаний.

В этом приказе тоже крылось нечто, напугавшее Ахилла Татия, хотя он сам не мог объяснить себе своих страхов — разве что сознанием собственной вины. Все же он чувствовал, что ему дали это почетное поручение и поставили его во главе варягов с тайной целью лишить возможности располагать собой; теперь он уже не мог поддерживать связь ни с кесарем, ни с Хирвардом, которых считал своими деятельными

соучастниками, не зная, что первый в этот момент находится в плену во Влахернском дворце, где Алексей оставил его под стражей в покоях императрицы, а второй был самой надежной опорой Комнина в течение всего этого дня, столь богатого событиями.

Когда мощный рев гигантской трубы варягов разнесся по городу, протоспафарий поспешно повел за собой Ахилла Татия к месту сбора варяжской стражи; по пути он небрежно, как бы между прочим, сказал ему:

— Сегодня император сам командует войсками, так что ты, его представитель, или аколит, не будешь, конечно, давать никаких распоряжений своей страже, кроме исходящих непосредственно от самого государя; на сегодня ты как бы отрешен от должности.

— Очень жаль, что вы решили, будто есть какой-то повод к подобным предосторожностям, — сказал Ахилл. — Я надеялся, что моя честность и верность... но... воля императора для меня священна.

— Таков его приказ, — ответил протоспафарий, — и ты знаешь, чем грозит ослушание.

— Если б я не знал, состав нашего отряда напомнил бы мне об этом, — сказал Ахилл. — Я вижу, что в него входит не только большая часть тех варягов, которые непосредственно охраняют престол, но и дворцовые рабы, исполняющие приговоры императора.

На это протоспафарий ничего не ответил. Чем больше присматривался главный телохранитель к своему необычному по численности отряду — почти в три тысячи человек, — тем больше убеждался, что сможет почитать себя счастливым, если ему удастся, с помощью кесаря, Агеласта или Хирварда передать заговорщикам, чтобы они отложили задуманный переворот, против которого император, видимо, принял меры, да еще с такой необыкновенной предусмотрительностью. Ахилл Татий готов был пожертвовать всеми своими мечтами о престоле, которыми он так недолго убаюкивал себя, лишь бы хоть на мгновение увидеть лазоревый плюмаж Никифора, белый плащ философа или блестящую алебарду Хирварда. Но их нигде не было видно; еще больше не нрави-

лось вероломному аколиту то обстоятельство, что куда бы он ни обратил свои взоры, глаза протоспафария и верных дворцовых прислужников немедленно устремлялись в ту же сторону.

Среди окружавших его многочисленных воинов он не находил никого, с кем мог бы обменяться дружеским или понимающим взглядом; его обуял неописуемый ужас, тем более мучительный, что, подобно всякому предателю, он отлично сознавал, как легко могут выдать человека его собственные страхи, когда он окружен врагами. Ахиллу казалось, что с каждой минутой опасность возрастает, и его встревоженное воображение находило все новые и новые подтверждения этому. Он не сомневался уже, что их кто-то выдал — либо один из трех главных заговорщиков, либо кто-нибудь из их подчиненных. Главный телохранитель уже стал подумывать, не стоит ли ему облегчить свою участь, бросившись к ногам императора и во всем признавшись. Однако он боялся слишком рано прибегнуть к такому низменному средству спасения своей особы; к тому же император пока отсутствовал, и главный телохранитель оставил при себе тайну, от которой зависела не только его дальнейшая судьба, но и сама жизнь. Он все глубже погружался в пучину тревог и колебаний, меж тем как берега, сулившие ему прибежище, были еще далеки, окутаны туманом, почти недостижимы.

Глава XXXI

Как? Завтра? О, как скоро! Пощадите!
О, пощадите! Не готов он к смерти.

*Шекспир*¹

В тот момент, когда, терзаемый тревогой, Ахилл Татий гадал о том, как будет разматываться дальше запутанный клубок государственной политики, в так называемом храме муз — зале, где неоднократно про-

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

исходили вечерние чтения Анны Комнин для тех, кто устаивался чести слушать ее исторический труд, собрались на тайный совет члены царской семьи. Совет состоял из императрицы Ирины, царевны Анны, императора и патриарха, который как бы играл роль посредника между чрезмерной суровостью и опасной снисходительностью.

— Не говори мне, Ирина, громких слов о милосердии, — сказал император. — Я отказался от справедливой мести своему сопернику Урселу, а какую пользу мне это принесло? Вместо того чтобы проявить покорность в ответ на великодушие, благодаря которому глаза его продолжают видеть, а грудь — дышать, этот старый упрямец с трудом поддается уговорам, не желая помочь своему властителю, которому он стольким обязан. Я всегда считал, что зрение и жизнь стоят любых жертв, но теперь мне пришлось убедиться, что для людей они не более чем игрушка. Поэтому не говори мне о признательности, которую будет питать ко мне ваш кесарь, этот неблагодарный щенок. Поверь мне, дочь моя, — обратился он к Анне, — если я последую вашему совету, не только все мои подданные станут смеяться над тем, что я пощадил человека, который так упорно стремился погубить меня, но даже ты сама попрекнешь меня глупой добротой, хотя и требуешь, чтобы я проявил ее сейчас.

— Значит, тебе угодно, государь, предать казни своего злосчастного зятя за то, что он принял участие в заговоре, в который его обманым образом вовлекли гнусный язычник Агеласт и предатель Ахилл Татий? — спросил патриарх.

— Да, таковы мои намерения, — ответил император. — А в доказательство того, что на этот раз я собираюсь не только для виду, как это было с Урселом, но и на самом деле привести в исполнение свой приговор, неблагодарного изменника Никифора проведут с Ахероновой лестницы в большой зал, именуемый Палатой правосудия; там уже все приготовлено для казни, и кланусь, что...

— Не кланись! — прервал его патриарх. — Я заступаю тебе это именем всевышнего, говорящего

моими (хотя и недостойными) устами! Не гаси тлеющего факела, не уничтожай последнего проблеска надежды на то, что ты в конце концов смягчишь приговор заблудшему кесарю, — ибо еще не истекло время, предоставленное ему для просьбы о помиловании. Прошу тебя, вспомни, как совесть терзала Константина!

— Что ты имеешь в виду, святой отец? — спросила Ирина.

— Пустую выдумку, — ответил за него император. — Право, о ней не стоит вспоминать, да еще патриарху, — это ведь не более чем языческая сказка.

— Но что вы все-таки имеете в виду? — взволнованно настаивали обе женщины, надеясь найти в словах патриарха подкрепление своим доводам; вдобавок их подстрекало любопытство, неизменно бодрствующее в женской душе, даже если ее в это время волнуют чувства куда более бурные.

— Раз уж вы непременно хотите знать, патриарх все вам расскажет, — сдался Алексей. — Но не рассчитывайте, что это глупое предание чем-нибудь поможет вам.

— И все же выслушайте его, — сказал патриарх. — Хотя это предание очень древнее и его относят иногда ко временам язычества, тем не менее оно правдиво повествует о том обете, который дал перед алтарем истинного бога греческий император. То, что я вам сейчас поведаю, — продолжал он, — будет сказанием не только об императоре-христианине, но и об императоре, обратившем в христианскую веру все свое государство, — о том самом Константине, который впервые провозгласил Константинополь столицей. Этому герою, равно отличавшемуся и религиозным рвением и воинской доблестью, небо даровало многократные победы и всевозможные блага; не дало оно ему лишь мира в его семье, к коему люди, наделенные мудростью, стремятся прежде всего. Не только в согласии между братьями было отказано победоносному императору: его взрослый сын, наделенный многими достоинствами и, как утверждала молва, рассчитывавший разделить престол с отцом, внезапно среди ночи

был призван к ответу по обвинению в государственной измене. Дозвольте мне не перечислять всех ухищрений, с помощью которых отца заставили поверить в виновность сына. Скажу лишь, что несчастный юноша пал жертвой своей преступной мачехи Фаусты и что он не снизошел до защиты, когда ему предъявили столь грубое и лживое обвинение. Говорят, что гнев императора еще больше разожгли наушники, сообщившие Константину, что преступник не желает просить о помиловании или доказывать свою непричастность к столь гнусному преступлению.

Но едва невинный юноша был сражен ударом палача, как императору пришлось убедиться в губительной опрометчивости своих действий. В то время он занимался строительством подземной части Влахернского дворца. Дабы потомки знали о его отцовском горе и раскаянии, Константин приказал у верхней площадки лестницы, прозванной колодцем Ахерона, возвести большой зал для свершения казней, и поныне именуемый Палатой правосудия. Сводчатый проход ведет из этого зала в ту обитель скорби, где хранятся топор и другие орудия, предназначенные для казни важных государственных преступников. Со стороны зала портал увенчан мраморным алтарем, на котором прежде высилось отлитое из золота изображение несчастного Криспа с памятной надписью: «Моему сыну, которого я опрометчиво осудил и слишком поспешно казнил». Воздвигая этот памятник, Константин дал обет, что он сам и, когда он умрет, его царственные потомки будут стоять у изваяния Криспа всякий раз, как придется вести на казнь кого-либо из членов императорской семьи и, лишь убедившись в справедливости предъявленного преступнику обвинения, допустят, чтобы он шагнул из Палаты правосудия в обитель смерти.

Время шло, люди чтили память Константина так, словно он был святой, и, благоговей перед ней, окутали покровом забвения историю смерти его сына. Государство не могло позволить себе, чтобы столько звонкой монеты, заключенной в золотом изваянии, пропадало втуне; к тому же это изваяние напоминало о тяжкой оплошности такого великого человека.

Твои предшественники, государь, употребили металл, из которого оно было отлито, на ведение войны с турками, и лишь туманные церковные и дворцовые предания говорят о скорби и угрызениях совести Константина. Тем не менее, если только у тебя нет важных причин, кои могли бы этому воспрепятствовать, я позволю себе сказать, государь: ты не проявишь должного почтения к памяти величайшего из твоих предков, если откажешь этому злосчастному преступнику, такому близкому твоему родичу, в праве сказать слово в свою защиту, прежде чем он пройдет мимо алтаря спасения, как обычно называют памятник несчастному сыну Константина, хотя там уже нет ни сделанной золотыми буквами надписи, ни золотого изваяния царственного страдальца.

В это время с лестницы, так часто упоминавшейся нами, донеслось скорбное песнопение.

— Если я должен выслушать кесаря Никифора Вриенния до того, как он минует алтарь спасения, надобно поторопиться, — сказал император. — Эти печальные звуки возвещают, что он приблизился к Палате правосудия.

Обе женщины — и супруга и дочь Алексея — тотчас же начали горячо молить его, чтобы он отменил приговор и, ради сохранения мира в семье и вечной благодарности жены и дочери, внял их заступничеству за несчастного человека, обманом вовлеченного в преступление и неповинного в нем душой.

— Что ж, я согласен хотя бы выслушать его, — сказал император, — и тем самым ни в чем не погрешить против святого обета Константина. Однако помните вы, глупые женщины, что Крисп и нынешний кесарь отличаются друг от друга, как вина отличается от невинности, и поэтому судьбы их могут быть столь же несходны, сколь несходны основания для вынесения им приговора. Но я, так и быть, явлюсь преступнику, а ты, патриарх, можешь при этом присутствовать, дабы помочь приговоренному к смерти всем, что ты властен для него сделать; вам же обоим, жене и матери изменника, лучше пойти в церковь

и помолиться за душу усопшего, чем омрачать его последние минуты бесплодными причитаниями.

— Алексей, — обратилась к нему императрица Ирина, — заклиная тебя, умерь свой гнев; мы не можем оставить тебя, когда ты так упорно стремишься пролить кровь, — ведь иначе твои деяния история сочтет достойными времен Нерона, а не Константина.

Император ничего не ответил и направился в Палату правосудия, озаренную ярче, чем обычно, светом, лившимся с лестницы Ахерона, откуда доносилось прерывистое, мрачное пение псалмов, которые греческая церковь предписывает исполнять при казнях. Двадцать немых рабов, чьи белые тюрбаны сообщали какую-то призрачность их изможденным лицам и сверкающим белкам, по двое поднимались по лестнице, как бы выходя из самых недр земли; каждый держал в одной руке обнаженную саблю, в другой — горящий факел. За ними шел злосчастный Никифор, полумертвый от страха перед близкой кончиной; все свое внимание он пытался сосредоточить на двух монахах в черном облачении; они усердно повторяли ему отрывки то из священного писания, то из молитвенного обряда, принятого при константинопольском дворе. Одежда кесаря соответствовала его печальной участи — руки и ноги были обнажены, а простая белая туника, расстегнутая у шеи, говорила о том, что в ней он встретит свой смертный час. Высокий, мускулистый раб-нубиец, считавший себя, по-видимому, главным действующим лицом в этой процессии, нес на плече большой, тяжелый топор палача и, словно дьявол, прислуживающий чародею, шествовал по пятам за своей жертвой. Процессию замыкали четверо священников, время от времени громко и нараспев произносивших положенные для такого случая благочестивые псалмы, и вооруженные луками, стрелами и копьями рабы, которые должны были пресекать всякие попытки спасти преступника, если бы кто-нибудь вздумал их предпринять.

Надо было быть куда более жестокосердой, чем бедная царевна, чтобы не содрогнуться при виде этих зловещих и устрашающих орудий смерти, окружав-

ших любимого человека за несколько минут до завершения его жизненного пути и готовых поразить возлюбленного ее юных лет, избранника ее сердца.

Когда скорбное шествие приблизилось к алтарю спасения, который как бы охватывали, выступая из стены, большие протянутые вперед руки, император, стоявший посреди прохода, бросил в пламя на алтаре несколько кусочков ароматического дерева, пропитанных винным спиртом; они мгновенно вспыхнули и озарили горестную процессию, лицо преступника и фигуры рабов, большинство которых потушило свои факелы, как только миновала надобность освещать ими лестницу.

Отблески огня выхватили из тьмы и открыли взорам приближавшихся участников печального шествия Алексея Комнина, императрицу и царевну. Все остановились; все смолкли. Как потом написала в своем сочинении царевна, эту встречу можно было уподобить встрече Одиссея с обитателями иного мира, которые, вкусив крови принесенных им в жертву животных, узнали его, но смогли это выразить лишь тщетными жалобами и слабыми, призрачными движениями. Перестали звучать покаянные гимны; во всей группе четко выделялась только одна фигура — то был исполин палач; его высокий нахмуренный лоб и сверкающая сталь топора ловили и отражали струившийся с алтаря яркий свет. Алексей понял, что надо прервать молчание, иначе заступники кесаря воспользуются им и возобновят свои мольбы.

— Никифор Вриенний, — начал император; обычно он немного запинаясь, отчего враги прозвали его Заикой, но в особо важных случаях столь искусно управлял своей речью и говорил так четко и размеренно, что этот недостаток становился совсем незаметным, — Никифор Вриенний, бывший кесарь, тебе вынесен справедливый приговор, ибо ты злоумышлял против своего законного властителя и любящего отца Алексея Комнина, за что и примешь должную кару — отсекование головы на плахе. Соблюдая обет бессмертного Константина, я спрашиваю тебя здесь, у алтаря спасения, можешь ли ты привести какое-ни-

будь доказательство своей невиновности, дабы приговор не был приведен в исполнение? Приближается смертный час, и ты волен говорить обо всем, что касается твоей жизни. Все готово для тебя и в этом мире и в будущем. Посмотри вперед — там поставлена плаха. Оглянись назад — и ты увидишь уже отточенный топор. Что тебя ждет — вечное блаженство или вечные муки, уже определено, время летит, вечность близится. Если тебе есть что сказать — говори смело, если нечего — признай справедливость вынесенного тебе приговора и иди навстречу смерти.

Император говорил, и его пронзительный взгляд, по описанию царевны, сверкал, как молния, а слова если и не текли, как кипящая лава, то, во всяком случае, звучали так властно, что произвели сильное впечатление не только на преступника, но и на самого оратора: глаза его увлажнились, а голос стал прерываться, свидетельствуя о том, что Алексей понимал всю важность этой роковой минуты.

Сделав над собой усилие, дабы закончить речь, император снова спросил, не имеет ли узник что-либо сказать в свою защиту.

Никифор не принадлежал к тем закоренелым преступникам, редкостным в истории человечества, которые оставались невозмутимыми и когда их самих постигала кара и когда другие становились несчастными жертвами их злодеяний.

— Меня искушали, — сказал он, упав на колени, — и я не устоял. Мне нечего сказать в оправдание своего безумства и неблагодарности, и я готов умереть, дабы искупить свою вину.

Тут за спиной императора послышался тяжелый вздох, почти что вопль, и сразу же вслед за ним — возглас императрицы Ирины:

— Государь, государь, твоя дочь умирает!

И в самом деле, Анна Комнин упала на руки матери, бесчувственная и недвижимая. Вниманию отца тотчас же обратилось к потерявшей сознание дочери, а ее злосчастный супруг вступил в борьбу со стражей, не позволявшей ему прийти на помощь жене.

— Подари мне еще несколько минут времени, отнятого у меня законом! — молил он императора. — Дозволь мне помочь привести ее в чувство, и пусть она живет еще много лет, как того заслуживают ее добродетели и таланты, а потом дай мне остаться возле нее и принять смерть у ее ног!

По сути дела, император больше удивлялся смелости и безрассудству Никифора, чем страшился его соперничества, и Никифор казался ему скорее человеком обманутым, чем вводившим в обман других; именно поэтому так сильно подействовала на него эта сцена. К тому же по натуре своей он не был настолько бесчеловечен, чтобы оставаться равнодушным к жестокостям, если ему приходилось при них присутствовать.

— Я уверен, что божественный и бессмертный Константин подверг своих потомков столь суровому испытанию не только для того, чтобы они могли установить невиновность осужденных, — сказал император. — Он еще хотел предоставить своим преемникам возможность великодушно прощать преступников, которых могла спасти от наказания лишь милость — особая милость монарха. Я рад, что небо создало меня из гибкой лозы, а не из дуба, и признаюсь в этой слабости своей натуры: опасность, угрожавшая моей жизни, и негодование, вызванное во мне предательскими замыслами несчастного кесаря, волнуют меня меньше, нежели вид моей рыдающей супруги и лишившейся чувств дочери. Встань, Никифор Вриенний, ты прощен; я даже возвращаю тебе звание кесаря. Мы поручим нашему великому логофету составить грамоту о твоём помиловании и скрепим ее золотой печатью. Ты еще пробудешь под стражей двадцать четыре часа, пока мы не примем все меры, необходимые для сохранения общественного спокойствия. Эти сутки ты проведешь под надзором патриарха; если ты скроешься, ответит за это он. А вы, моя дочь и супруга, идите к себе; у вас еще будет время на слезы и объятия, на печаль и на радость. Вы так меня умоляли, что я принес в жертву слепой супружеской любви и отцовской нежности разумную политику и

справедливость; молитесь же бога, чтобы мне никогда не пришлось горько раскаиваться в том, что я сыграл в этой запутанной драме такую роль.

Помилowanному кесарю, пытавшемуся привести в порядок мысли после столь неожиданной перемены в своей судьбе, было не менее трудно поверить в ее достоверность, чем Урселу — свыкнуться с ликом природы после того, как он много лет был лишен возможности наслаждаться ею, — настолько схожи между собой по своему воздействию на наш рассудок головокружение и смятение мыслей, вызванные духовными, равно как и физическими причинами, например изумлением и страхом.

Наконец Никифор, запинаясь, пробормотал, что ему хотелось бы отправиться вместе с императором на место поединка, дабы прикрыть монарха своим телом и отвести предательский удар, если какой-нибудь безумец вздумает нанести его в этот день, чреватый опасностями и кровопролитием...

— Довольно! — сказал Алексей Комнин. — Едва успев возратить тебе жизнь, мы не хотим снова сомневаться в твоей верности, однако не забывай, что ты все еще и по имени и на деле глава тех, кто собирается принять участие в сегодняшнем мятеже; поэтому будет надежнее, если его подавлением займется кто-то другой. Иди, поведай все патриарху, докажи, что ты был достоин помилования, открыв ему те коварные замыслы гнусных заговорщиков, которые, возможно, нам еще неизвестны. Прощай, дочь моя, прощай, Ирина! Мне пора отправляться к месту поединка; я должен там поговорить с изменником Ахиллом Татием и вероломным язычником Агеластом, — если, впрочем, он жив, а это весьма сомнительно, ибо у меня есть достоверные сведения о том, что провидение уже покарало его смертью.

— Не ходи туда, милый отец! — воскликнула Анна. — Позволь мне заменить тебя и самой ободрить тех подданных, которые остались тебе верны! Ты проявил такую необыкновенную доброту к моему провинившемуся мужу, что я увидела всю силу твоей любви к недостойной дочери и все величие жертвы, которую

ты принес ее ребяческой привязанности к неблагодарному, посягавшему на твою жизнь!

— Ты хочешь сказать, дочь моя, что помилование твоего мужа утратило цену после того, как было ему даровано? — улыбаясь, спросил император. — Послушайся моего совета, Анна, переломи себя: жены и мужья должны благоразумно забывать взаимные обиды со всей быстротой, какую позволяет им человеческая натура. Жизнь слишком коротка, и семейный покой слишком ненадежен, чтобы долго хранить в душе столь неприятные воспоминания. Ступайте же в свои покои, женщины, приготовьте пурпурные котурны и те отличительные знаки высокого сана, которые украшают ворот и рукава одежды кесаря. Пусть завтра все увидят их на нем. А тебе, святой отец, еще раз напоминаю, что в течение суток, считая с этой минуты, кесарь находится под твоим личным присмотром.

Они расстались; император отправился принимать командование своей варяжской стражей, а кесарь, под надзором патриарха, удалился во внутренние покои Влахернского дворца, где ему, чтобы «из тесного игольного ушка своей крамолы выскользнуть»,¹ пришлось открыть все, что он знал о заговоре.

— Агеласт, Ахилл Татий и варяг Хирвард — вот главные действующие лица, — сказал он. — Но я не могу утверждать, что все они остались верны своим обязательствам.

Тем временем в женских покоях шел яростный спор между Анной Комнин и ее матерью. В течение дня мысли и чувства царевны претерпели многократные изменения и хотя под конец слились в одно желание — спасти Никифора, однако воспоминание о его неблагодарности ожило в Анне, едва она перестала бояться за его жизнь. Помимо того, Анна поняла, что она, такая необычайно одаренная женщина — ибо всеобщие похвалы внушили ей весьма высокое мнение о себе, — выглядела довольно жалко, когда, сама того не ведая, стала средоточием многих козней и судьба ее попала в зависимость от расположения духа кучки

¹ Перевод Н. Рыковой.

каких-то жалких заговорщиков, которым даже в голову не приходило считаться с тем, что царевна может чего-то хотеть, на что-то соглашаться либо от чего-то отказываться. Власть отца и его право распоряжаться ею были менее сомнительными, но все же и тут достоинство порфирородной царевны, к тому же сочинительницы, дарующей бессмертие, было глубоко унижено, ибо ее, не спросив, предлагали то одному, то другому возможному претенденту на ее руку, сколь бы он ни был низкороден или противен, в расчете на пользу, которую в данное время принесет империи подобный брак. Следствием этих мрачных размышлений явилось то, что Анна Комнин стала усиленно обдумывать способы восстановить свое поправное достоинство и нашла их в немалом количестве.

Глава XXXII

Рука судьбы на занавес легла —
И сцена озарилась.

«Дон Себастьян»

Гигантская труба варягов подала громкий сигнал к выступлению, и облаченные в стальные кольчуги ряды верных воинов, окружив ехавшего посредине императора, двинулись по улицам Константинополя. Алексей в великолепных, сверкающих доспехах действительно как бы олицетворял собой мощь империи. Позади императора и его эскорта теснились горожане, причем в глаза так и бросалась разница между теми, что шли с заранее обдуманном намерением вызвать волнения, и большей частью толпы, готовой толкаться и восторженно кричать по любому поводу, как это бывает со всякой толпой в больших городах. Заговорщики надеялись главным образом на Бессмертных, в чьи обязанности входила защита Константинополя; эти войска разделяли предубеждения горожан и привязанность к Урселу, командовавшему ими до своего заключения в темницу. Поэтому было решено, что те

воины из числа Бессмертных, которые больше других роптали на существующие порядки, рано утром займут на арене самые удобные для нападения на императора места. Но их постигло разочарование: открыто пустить в ход силу было еще рано, а все попытки иным способом осуществить задуманное кончились неудачей, ибо варяжская стража была расставлена хоть и с видимой небрежностью, но на деле очень искусно и в любую минуту могла дать отпор заговорщикам. Увидев, что их замыслы — как они предполагали, никому не известные, — встречают повсюду сопротивление и разбиваются о препятствия, растерявшиеся заговорщики принялись искать своих главарей, чтобы спросить у них, как им вести себя в этих чрезвычайных обстоятельствах; однако они нигде не нашли ни кесаря, ни Агеласта — их не было ни на арене, ни во главе двигавшихся из Константинополя войск; правда, наконец появился Ахилл Татий вместе с отрядом варягов, но было ясно, что он скорее сопровождает протоспафария, чем действует в качестве независимого военачальника, каким любил себя изображать.

Когда император со своими воинами, чьи доспехи сверкали на солнце, уже приближался к Танкреду и его спутникам, которые выстроились в боевом порядке на верхушке мыса, между городом и ареной, главная часть императорского войска свернула в сторону с целью обойти крестоносцев, а протоспафарий вместе с главным телохранителем под прикрытием варягов направился к Танкреду, чтобы выполнить поручение императора и узнать, почему крестоносцы оказались на этом берегу. Короткий переход был быстро завершен, трубач, сопровождавший обоих военачальников, подал сигнал о желании вступить в переговоры, и навстречу грекам сделал несколько шагов сам Танкред; он отличался удивительной красотой, превосходя ею, по мнению Тассо, всех крестоносцев, за исключением Ринальдо д'Эсте — плода его поэтического воображения. Протоспафарий обратился к Танкреду со следующими словами:

— Император Греции просит принца Отрантского сообщить через двух высокопоставленных военачаль-

ников, кои прочтут это послание, с какой целью принц нарушил свой обет и возвратился на правый берег пролива; при сем император заверяет принца Отрантского, что ему будет весьма приятно, если ответ не разойдется с договором, заключенным его императорским величеством с герцогом Бульонским, и клятвой, данной рыцарями-крестоносцами и их воинами; в этом случае ничто не помешает императору, как он того и хочет, благожелательно принять принца Танкреда и его спутников, показав тем самым, сколь высоко он чтит благородного принца и всех его доблестных воинов. Мы ожидаем ответа.

В тоне этого послания не было ничего, что могло бы вызвать беспокойство, и принц Танкред немедленно ответил на него:

— Причиной появления здесь принца Отрантского с пятьюдесятью копьеносцами является поединок, на который Никифор Вриенний, носящий титул кесаря, высокопоставленное лицо в этой империи, вызвал славного и отважного рыцаря, наравне с другими паломниками носящего крест и давшего торжественную клятву избавить Палестину от неверных. Имя этого грозного рыцаря — Роберт Парижский. Таким образом, долг участников священного крестового похода — послать для присутствия на поединке одного из своих вождей с таким отрядом вооруженных воинов, который необходим для надзора за соблюдением всех правил честного боя. Других намерений у них нет; это видно из того, что сюда прибыло всего лишь пятьдесят копьеносцев с обычным снаряжением и свитой. Если бы крестоносцы хотели силой воспрепятствовать предстоящему честному бою или вмешаться в него, они могли бы послать в десять раз больше рыцарей. Поэтому принц Отрантский и его спутники отдают себя в распоряжение императора и выражают желание присутствовать на поединке с твердой уверенностью, что правила честного боя будут точно соблюдены.

Греческие военачальники передали ответ Танкреда императору, который выслушал его с удовлетворением и, придерживаясь своего правила по возможно-

сти не нарушать мир с крестоносцами, сразу же назначил принца Танкреда, совместно с протоспафарием, судьями поединка, уполномочив их установить по своему усмотрению условия боя и, в случае каких-либо разногласий, обратиться к нему самому. Вслед за тем назначенные для этого случая воины встретили на арене греческого военачальника и итальянского принца, закованных в доспехи, в то время как глашатаи сообщили зрителям о торжественном назначении судий. Те же глашатаи передали приказ освободить с одной стороны арены места для спутников принца Танкреда.

Внимательно наблюдавший за этими приготовлениями Ахилл Татий очень обеспокоился, увидев, что в результате новых распоряжений вооруженные латиняне разместились между отрядом Бессмертных и мятежными горожанами; это могло означать только одно: что заговор раскрыт и Алексей имеет основания рассчитывать на помощь Танкреда и его воинов в подавлении мятежа. Все эти обстоятельства, вместе с холодным и язвительным тоном, каким император отдавал ему приказания, убедили главного телохранителя в том, что он сможет избежать грозящей ему опасности, лишь если мятеж сорвется и за весь день не произойдет ни единой попытки пошатнуть трон Алексея Комнина. И даже тогда нельзя будет сказать, удовлетворится ли такой хитрый и недоверчивый деспот, как император Алексей, своей тайной осведомленностью о заговоре и его провале, или заставит немых дворцовых рабов задушить Ахилла Татия либо выжечь ему каленым железом глаза. Убегать или сопротивляться было почти невозможно. Всякая попытка избавиться от соседства верных прислужников императора, личных врагов Ахилла, все теснее его окружавших, с каждой минутой становилась все опаснее, ибо могла вызвать вспышку, которую в интересах слабой стороны следовало задерживать любой ценой. Несмотря на то, что подчиненные Ахиллу воины по-прежнему обращались за приказаниями к нему, как к своему начальнику, он все яснее видел, что если хоть что-нибудь в его поведении

покажется сейчас подозрительным, он будет немедленно взят под стражу. Сердце главного телохранителя затрепетало, глаза затуманила всепоглощающая мысль о близкой разлуке с дневным светом и всем, что он озаряет; теперь Ахилл Татий был обречен лишь наблюдать за ходом событий, нисколько на него не влияя, и довольствоваться ожиданием развязки той драмы, от которой зависела его жизнь, но которую разыгрывали другие. И в самом деле, казалось, будто все собравшиеся ждут какого-то знака, но пока никто не может его подать.

Мятежные жители Константинополя и воины тщетно высматривали Агеласта и кесаря, а когда взгляды их останавливались на лице главного телохранителя, они видели лишь неуверенность и тревогу, никак не подкреплявшие их надежд. Тем не менее многие горожане низшего сословия, столь неприметные и безвестные, что им не приходилось опасаться за свою жизнь, жаждали пробудить в других мятежный дух, совсем уже, казалось, усыпленный.

В толпе внезапно поднялся глухой ропот, перешедший в крики: «Правосудия! Правосудия! Урсел! Урсел! Да здравствуют отряды Бессмертных!» и тому подобное. Тогда заговорила труба варягов; ее грозные звуки разнеслись над собравшимися подобно гласу высшего судии. Воцарилась мертвая тишина, и глашатай объявил от имени Алексея Комнина его августейшую волю:

— Граждане Римской империи, ваши жалобы, вызванные подстрекательством бунтовщиков, дошли до слуха монарха; вы сами увидите сейчас, что в его власти исполнить желания своего народа. По вашей просьбе и на ваших глазах угасшее было зрение будет возвращено; разум, многие годы поглощенный лишь заботами о насущных нуждах существования, теперь, если того пожелает его обладатель, снова преисполнится помыслами о том, как лучше управлять целой областью нашей империи. Политическая зависть, победить которую труднее, чем вернуть зрение слепому, признает себя покоренной отеческой заботой императора о своем народе и стремлением

облагодетельствовать его. Урсел, ваш любимец, которого вы считали давно умершим или живущим в заточении, во мраке слепоты, возвращается к вам здоровым, зрячим, обладающим всеми качествами, кои нужны, чтобы снискать благоволение императора и заслужить признательность народа.

При этих словах какой-то человек, до сего времени стоявший позади дворцовых слуг, выступил вперед и, сбросив темное покрывало, в которое был закутан, явился перед толпою в ослепительном пурпурном одеянии; нашитые на рукавах отличительные знаки, а также котурны указывали на высокий сан, близкий к императорскому. Человек держал в руках серебряный жезл, вручавшийся тому, кто командовал рядами Бессмертных; преклонив колена перед императором, он передал ему жезл в знак отказа от своей должности. Вид этого человека, столько лет считавшегося мертвым или безжалостно лишенным возможности трудиться на благо своих сограждан, глубоко взволновал всех присутствующих. Нашлись люди, которые узнали его, ибо его черты и облик трудно было забыть, и стали поздравлять с возвращением на службу отечеству. Другие застыли от изумления, не веря глазам своим, в то время как некоторые заядлые бунтовщики принялись усердно распускать слухи, что человек, представленный им как Урсел, на самом деле самозванец и что все это — ловкая проделка императора.

— Скажи им несколько слов, благородный Урсел, — приказал император. — Объясни, что я погрешил перед тобой лишь потому, что был обманут, и что мое желание загладить свою вину не менее велико, чем бывшее намерение причинить тебе зло.

— Друзья и соотечественники, — обратился к собравшемуся народу Урсел, — августейший император позволяет мне заверить вас, что если в прошлом я и пострадал от его руки, этот радостный миг стирает память о прежних обидах; отныне я хочу только одного — посвятить свою, теперь уже недолгую, жизнь служению самому великодушному и доброму из монархов или, с его дозволения, провести остаток своих

дней в благочестивых трудах, дабы бессмертная душа моя вознеслась туда, где пребывают ангелы и святые угодники. Какую бы участь я ни избрал, я надеюсь, что вы, любезные соотечественники, хранившие память обо мне, пока я был во мраке, не откажетесь поддержать меня своими молитвами.

Внезапное появление давно исчезнувшего Урсела было слишком поразительным и волнующим событием, чтобы не привести народ в неистовый, бурный восторг; люди скрепили свое примирение с прошлым тремя столь громогласными приветственными кликами, что, по свидетельству очевидцев, птицы попадали наземь, не в силах удержаться в родной стихии.

Глава XXXIII

«Уйти без битвы?» — рыцарь говорит.
«Но так повелевает Стагирит.
Размер арены сковывает тоже». —
«Ну хорошо. А поле для чего же?»

Поп

Ликующие возгласы толпы, отразившись от гор и лесов, эхом отозвались на берегах Босфора и замерли наконец в бесконечной дали; наступило молчание, точно люди обращались друг к другу с немим вопросом — что же следует за столь многозначительной паузой и столь величественной сценой? Безмолвие, наверно, сменилось бы вскоре новыми возгласами, ибо толпа редко умолкает надолго, по какой бы причине она ни собралась, но в это время труба варягов опять привлекла к себе всеобщее внимание. Зов ее был тревожен и вместе с тем тосклив, одновременно воинственен и заунывен; он словно бы извещал о казни особо важного преступника. Высокие, протяжные звуки разносились далеко вокруг; они долго трепетали в воздухе, как будто источником этого медноголосого призыва было нечто более могучее, нежели человеческие легкие.

Народ, по-видимому, узнал грозный зов, который обычно предшествовал императорским указам, оповещавшим жителей Константинополя о бунтах, о свершении приговоров над изменниками и других, не менее значительных, волнующих и печальных событиях. Когда же труба наконец перестала будоражить присутствующих пронзительными и жалобными звуками, глашатай снова обратился к народу.

— Случается порою так, что люди изменяют своему долгу по отношению к государю, их покровителю и отцу, — объявил он серьезным и проникновенным голосом. — Тогда он с глубокой скорбью в сердце бывает вынужден сменить карающей лозой оливковую ветвь милосердия. К счастью, — продолжал глашатай, — всемогущий господь, охраняя от злоумышленников престол, по благим деяниям и справедливости подобный его собственному, сам карает тех, кто, по его непогрешимому суждению, всех виновнее, освобождая от этого тягостного бремени своего наместника на земле и предоставляя монарху другую, куда более привлекательную задачу — прощать тех, кто был хитро введен в заблуждение и опутан сетями измены. Ныне мы являемся свидетелями праведного суда. Да будет известно всей Греции и подвластным ей фемам, что некий негодяй по имени Агеласт, который втерся в доверие к монарху, притворившись обладателем глубоких познаний и строгой добродетели, замыслил предательское убийство императора Алексея Комнина и государственный переворот. Этот человек, скрывавший под показною ученостью приверженность к язычеству и порочную склонность к сластолюбию, нашел себе последователей даже в царской семье и среди приближенных императора, а также среди низшего сословия; чтобы подстрекнуть народ к мятежу, он распространил множество слухов, им же выдуманных, подобно слуху о смерти и слепоте Урсела; в лживости этого утверждения вы сами сейчас убедились.

До сих пор люди слушали молча, но при этих словах они стали выражать бурное одобрение. Едва шум утих, как снова загремел голос глашатая:

— Никого, даже Кору, Дафана и Авирана, не наказал разгневанный господь столь справедливо и поучительно, как злодея Агеласта, — продолжал он. — Твердь земная разверзлась, чтобы поглотить вероотступных сынов Израиля, а этот низкий человек, как нам теперь стало известно, был лишен жизни не кем иным, как нечистым духом, которого преступник сам же и вызвал из ада. Сей дух, как о том свидетельствуют благородная дама и другие женщины, при коих умер Агеласт, задушил гнусного негодяя — участь, вполне им заслуженная. Однако подобная смерть, пусть даже тяжкого грешника, омрачила нашего исполненного благих чувств императора, ибо она означает вечные муки и в загробном мире. И все же это страшное происшествие утешительно тем, что избавляет государя от необходимости дальнейшего мщения, поскольку небо пожелало его ограничить, само примерно наказав главу заговорщиков. Хотя некоторые перемещения должностных лиц и будут произведены, дабы обеспечить всеобщую безопасность и порядок, тем не менее имена тех, кто был — или не был — замешан в этом злодеянии, останутся в тайне, хранимые в сердцах самих виновных, ибо император решил забыть о нанесенной ему обиде, считая ее плодом преходящих заблуждений. Пусть поэтому все, кто сейчас внимает мне, каково бы ни было их участие в замышлявшихся на сегодняшний день действиях, вернутся в свои дома, зная, что наказанием им послужат только их собственные мысли. Да возрадуются они, что милость всевышнего спасла их от пагубных намерений, и, как сказано в священном писании, «да раскаятся они и не грешат более, дабы их не постигло худшее».

Глашатай умолк, и в ответ на его слова снова раздалась клики, выражавшие единодушное одобрение, ибо обстоятельства убедили мятежников в том, что они находятся во власти императора, что, как это следовало из указа, ему все известно и что в любую минуту он мог бы направить против них алебарды варягов, причем, судя по условиям, на которых он принял

Танкреда, войска апулийца тоже были бы в его распоряжении.

Поэтому гигант Стефан, центурион Гарпакс и другие мятежники из числа горожан и воинов первыми громко изъявили свою благодарность за милосердие императора и воззвали к богу о продлении его жизни.

Тем временем народ, быстро свыкнувшись с мыслью о раскрытии и провале заговора, вспомнил, по своему обыкновению, о том, для чего он — с виду по крайней мере — пришел сюда; перешептывания перешли в общий ропот: горожане были недовольны, что их слишком долго держат в неведении относительно зрелища, которое им было обещано.

Расположение духа толпы не ускользнуло от внимания Алексея; по данному им знаку трубы сыграли военный сигнал — куда более бодрый, нежели тот, который прозвучал перед императорским указом.

— Роберт, граф Парижский, — провозгласил глашатай, — присутствуешь ли ты здесь сам или кто-нибудь из рыцарей уполномочен тобой принять вызов августейшего Никифора Вриенния, кесаря империи?

Полагая, что благодаря принятым им мерам обе названные стороны не явились на поле боя, император подготовил взамен другое зрелище — клетки с дикими зверями, которых должны были выпустить и натравить друг на друга для развлечения толпы. Какова же была его тревога и досада, когда он увидел облаченного в полные боевые доспехи графа Роберта Парижского, появившегося после призыва глашатая в одном из входов на арену; за ним вывели из-за занавеса коня в боевой кольчуге, на которого граф, очевидно, готов был вскочить по первому знаку распорядителя поединка.

Когда же люди увидели, что кесарь так и не вышел навстречу грозному франку, всех, кто окружал императора, да и его самого, охватили смутение и стыд, но, к счастью, ненадолго. Не успели глашатай должным образом провозгласить имена и титулы графа Парижского и вторично вызвать его противника, как на арену выбежал человек в одежде варяжского

воина и объявил, что готов сразиться за честь империи от имени и взамен Никифора Вриенния.

Алексей с великой радостью принял эту неожиданную помощь и охотно дозволил смелому воину, появившемуся в столь трудную минуту, взять на себя это опасное дело — вступить в бой с графом Парижским. Он так быстро согласился еще и потому, что сразу узнал воина по его росту и облику, а также доблестному поведению и полностью доверился его отваге. Но тут вмешался принц Танкред.

— Мериться силами на арене могут лишь рыцари и знатные люди, — сказал он, — или же в крайнем случае те, кто равен друг другу по происхождению и благородству крови, поэтому я не могу оставаться молчаливым свидетелем такого нарушения всех законов рыцарства.

— Пусть граф Роберт Парижский посмотрит мне в лицо и вспомнит свое обещание сразиться со мной, невзирая на неравенство нашего положения! — воскликнул варяг. — Пусть скажет во всеуслышание, что, дав согласие на этот поединок, он тем самым только выполнит обязательство, которым уже давно себя связал.

Тут граф Роберт выступил вперед и заявил, что несмотря на разницу в их происхождении, он не отказывается от своего торжественного обещания сойтись с этим доблестным воином на поле брани. Он высоко ценит выдающиеся добродетели храбреца варяга и большие услуги, которые тот ему оказал, и сожалеет, что тем не менее им предстоит кровавая схватка; но так как воинская судьба часто заставляет друзей биться друг с другом насмерть, он не станет уклоняться от взятого на себя обязательства; достоинство же его ни в коей степени не умалится и не померкнет от того, что он вступит в единоборство с человеком столь известным и с такой доброй славой, как доблестный Хирвард. Граф сказал также, что готов драться пешим и на алебардах — обычном оружии варяжской стражи.

Пока он говорил, Хирвард стоял неподвижно, словно изваяние; когда же Роберт Парижский умолк,

он, почтительно поклонившись ему, выразил признательность за оказанную честь и за то благородное мужество, с каким граф намерен выполнить данное им слово.

— Что ж, нам остается только поскорее приступить к делу, — со вздохом сказал граф: даже страсть к поединкам не могла заглушить в нем сожаление. — Пусть душа страдает, но рука должна исполнить свой долг.

Хирвард согласился с этим, добавив:

— Не будем терять времени; оно и так летит слишком быстро.

И, схватив свою алебарду, он стал ждать начала боя.

— Я готов, — ответил граф Роберт Парижский, тоже взяв алебарду у одного из стоявших возле самой арены варягов.

Противники тотчас же заняли исходное положение, и теперь уж ничто не могло помешать им сразиться.

Первые удары были нанесены и отражены с большой осторожностью. Принц Танкред и его спутники даже подумали, что у графа она намного превышает обычную; но в бою, как и в еде, аппетит со временем разыгрывается. Как обычно, звон оружия и ощущение боли пробудили страсти; обе стороны свирепо наносили удары, отражая встречные выпады с трудом и не настолько успешно, чтобы избежать кровопролития. Греки с удивлением взирали на редкое для них зрелище поединка; затаив дыхание, они следили за тем, с какой яростью противники нападают друг на друга, уверенные, что следующий удар окажется для кого-нибудь из сражающихся смертельным. Хотя их сила и ловкость многим казались равными, более опытные зрители считали, что граф Роберт не хочет в полной мере пустить в ход свое прославленное воинское искусство; все также заметили и признали, что граф, бесспорно, пошел на большую уступку, не стояв на своем праве сражаться верхом. С другой стороны, по общему мнению, великодушный варяг тоже неоднократно отказывался от тех возможностей, которые

предоставляла ему горячность графа Роберта, раззадоренного длительной борьбой.

Наконец случай решил исход встречи этих равносильных противников. Граф Роберт, сделав ложный выпад, нанес Хирварду с другой, неприкрытой стороны удар острием своей алебарды с такой силой, что варяг зашатался и чуть не упал. По рядам собравшихся пронесся глубокий вздох — обычное в таких случаях выражение сочувствия и тревоги; в этот момент какая-то женщина громко и взволнованно вскричала:

— Граф Роберт Парижский! Не забывай, что ты обязан жизнью небу и мне!

Граф уже собрался повторить удар, последствия которого трудно было предугадать, когда услышал этот возглас, сразу отбивший у него охоту продолжать поединок.

— Я признаю свой долг, — сказал он, опуская алебарду, и отступил на два шага от противника; удивленный варяг, еще не совсем пришедший в себя после оглушительного удара, который чуть было не уложил его на месте, тоже опустил алебарду и напряженно ждал дальнейших событий. — Я признаю свой долг, — повторил доблестный граф Парижский, — перед Бертой из Британии и господом богом, не дозволившим мне пролить кровь вместо того, чтобы выразить благодарность. Вы видели наш поединок, — обратился он к Танкреду и его рыцарям, — и можете засвидетельствовать, что он велся обеими сторонами честно, на равных основаниях. Мой досточтимый противник, полагаю, удовлетворил уже свое желание сразиться со мной, тем более что оно не было вызвано ни ссорой, ни тайной обидой. Я же сам перед ним настолько в долгу, что продолжать бой, когда мне нет надобности защищаться, было бы с моей стороны постыдно и грешно.

Алексей с радостью согласился на примирение противников, которого он совсем не ожидал, и бросил наземь свой жезл в знак окончания поединка. Танкред был несколько удивлен и даже, быть может, возмущен тем, что простому воину императорской стражи

удалось так долго противостоять самым искусным выпадам всеми почитаемого рыцаря, но был вынужден признать, что бой велся по всем правилам, с равными силами и что обе стороны вышли из него с честью. Крестоносцы уже давно и хорошо изучили натуру графа Парижского и поэтому не сомневались, что причина, по которой он, вопреки своему обыкновению, предложил закончить поединок до того, как чья-нибудь смерть или поражение решило его исход, была весьма уважительной. Таким образом, все приняли решение императора, присутствовавшие военачальники признали его, а народ подкрепил одобрительными возгласами.

Пожалуй, самым примечательным лицом среди собравшихся был в эту минуту наш храбрый варяг, так неожиданно заслуживший воинскую славу, о которой он и не помышлял, — настолько ему было трудно сопротивляться графу Роберту; впрочем, эта скромность ничуть не помешала ему отважно сражаться с грозным соперником. Он стоял посреди арены; его лицо пылало как от боевых трудов, так и от смущения, вполне понятного у прямого и простого человека, внезапно ставшего предметом всеобщего внимания.

— Скажи мне, храбрый воин, — обратился к нему Алексей, в самом деле преисполненный признательности к Хирварду за удивительный оборот, который приняли события, — скажи своему императору, как человеку, стоящему ниже тебя — ибо в эту минуту ты поистине его превосходишь, — чем он может вознаградить тебя за то, что ты спас его жизнь и, более того, защитил и сберег честь его страны? Я готов отдать тебе половину своего государства.

— Ты слишком высоко ценишь мои скромные услуги, государь, — ответил Хирвард. — Твои похвалы относятся скорее к доблестному графу Парижскому — во-первых, потому, что он снизошел до поединка со столь ничтожным противником, как я, а во-вторых, потому, что он великодушно отказался от победы, когда мог утвердить ее еще одним, последним ударом. Я должен признаться и тебе, государь, и моим

соратникам, и собравшимся здесь гражданам Греции, что когда граф так благородно прервал бой, я все равно уже был не в состоянии продолжать его.

— Зачем ты так несправедлив к себе, храбрый воин! — воскликнул граф Роберт. — Я готов поклясться нашей Владычицей сломанных копий, что исход поединка еще не был решен провидением, когда мои собственные чувства воспрепятствовали мне ранить — и, быть может, смертельно — того, чьей доброте я стольким обязан. Избери поэтому награду, которую справедливо предлагает тебе твой признательный и щедрый император, и не бойся, что кто-нибудь дерзнет назвать ее незаслуженной: я, Роберт Парижский, докажу своим мечом, что, сражаясь со мной, ты ее доблестно завоевал.

— Ты слишком знатен и благороден, граф, чтобы такой простой воин, как я, посмел тебе противоречить, — ответил англосакс, — и мне не следует сеять новые раздоры между нами пререканиями о причинах, которые привели к такому неожиданному завершению нашего поединка; да, я поступлю неумно и неблагоразумно, если стану возражать тебе. Мой августейший государь великодушно дает мне право самому избрать то, что он именует наградой, но я молю его не оскорбиться, если не у него, а у тебя я попрошу милости, которая для меня так важна, что я едва смею ее назвать.

— И она, видимо, связана с Бертой, верной прислужницей моей жены? — спросил граф.

— Ты не ошибся; я хотел бы, чтобы мне позволили покинуть варяжскую стражу и принять участие в вашем благочестивом и почетном подвиге, сражаясь под твоим славным знаменем за освобождение Палестины и время от времени напоминая о своей любви Берте, прислужнице графини Парижской; надеюсь, что ее высокородные господа отнесутся к этому благосклонно. И еще я надеюсь, что потом я все-таки вернусь в ту страну, которую никогда не переставал любить превыше всего на свете.

— Если ты примкнешь к моему войску, благородный варяг, мне это будет не менее приятно, чем если

бы в него вступил знатный рыцарь, — сказал граф. — Любую возможность заслужить почести с великой радостью первому предоставляю тебе. Не буду хвастать расположением ко мне английского короля, но все же, должен сказать, некоторый вес при его дворе я имею и приложу все старания, чтобы ты мог вернуться на любимую родину и поселиться там.

Тут заговорил император.

— Призываю в свидетели небеса и землю, вас, мои верноподданные, вас, мои доблестные союзники, и прежде всего вас, мои смелые и честные телохранители-варяги, — сказал он, — что я предпочел бы лишиться самого драгоценного украшения моей короны, нежели отказаться от услуг этого честного и верного англосакса. Но если уж он хочет и должен покинуть нас, милости, коими я его осыплю, до конца его жизни должны напоминать людям о том, что император Алексей Комнин перед ним в таком долгу, какой не смогут оплатить все сокровища его империи. Прошу тебя, благородный Танкред, и всех твоих военачальников отужинать сегодня с нами, а завтра вы продолжите свой достойный, благочестивый поход. Надеюсь, оба участника поединка почтят нас своим присутствием. Трубачи, трубите отбой!

Звуки труб разнеслись над ареной, и все зрители, вооруженные и невооруженные, построившись в ряды или разбившись на отдельные группы, двинулись по направлению к городу.

Но тут раздались испуганные крики женщин, и все остановились; оглянувшись назад, люди увидели огромного орангутанга Сильвена, который, к их удивлению и ужасу, неожиданно появился на арене. Женщины, да и большинство находившихся там мужчин впервые видели жуткую фигуру и свирепую физиономию этого необыкновенного существа; они завопили от страха так громко, что перепугали того, кто был виновником переполоха. Сильвен перелез ночью через ограду и убежал из садов Агеласта; затем он перелез через городскую стену и без труда нашел себе пристанище на воздвигаемой арене, где спрятался в каком-то темном углу, под скамьями для зрителей.

Когда люди стали расходиться, шум, очевидно, испугнул Сильвена; он вылез из своего укрытия и, совсем того не желая, возник перед людьми, наподобие знаменитого Пульчинеллы, когда тот в конце представления вступает в смертельный бой с самим дьяволом; но даже эта сцена никогда не наводила на детей такого ужаса, какой вызвало у покидавших арену зрителей неожиданное появление Сильвена. Воины похрабрее сразу же натянули тетивы и нацелились дротиками в удивительное животное; оно было таких исполинских размеров и покрыто такой странной красновато-серой шерстью, что внезапно увидевшие его люди вообразили, будто перед ними или сам сатана, или один из тех жестоких богов, которым в древности поклонялись язычники. Сильвену уже не раз представлялся случай убедиться, как опасны для него воины, вставшие в боевую позицию; поэтому, увидя Хирварда, к которому он в известной степени привык, орангутанг поспешно бросился к варягу, как бы умоляя его о защите. Его уродливую, нелепую физиономию исказила гримаса страха; схватив варяга за плащ и что-то невнятно бормоча, обезьяна как бы пыталась сказать, что боится и просит покровительства. Хирвард понял, чего хочет дрожащее от ужаса животное, и, обернувшись к императорскому трону, громко произнес:

— Бедное, перепуганное существо, принеси свои мольбы и покажи, как ты боишься, тому, кто помиловал сегодня стольких коварных злоумышленников; я уверен, что он великодушно простит существу, лишь наполовину разумному, все его проступки.

Орангутанг, со свойственной его племени переимчивостью, очень выразительно повторял жесты Хирварда, которыми тот подкреплял свою просьбу; несмотря на всю серьезность предшествовавших событий, император не мог удержаться от смеха, глядя на эту заключительную сцену, внесшую в них комическую ноту.

— Мой верный Хирвард, — обратился он к варягу (мысленно прибавив: «Постараюсь никогда больше не называть его Эдуардом»), — все, кому гро-

зит опасность, будь то люди или звери, находят у тебя прибежище, и, пока ты еще служишь нам, мы удостоим внимания всякого, кто действует через твое посредничество. Возьми, добрый Хирвард, — теперь это имя прочно засело в памяти императора, — тех своих товарищей, кто знаком с повадками этого животного, и отведите его во Влахерн, туда, где он раньше обитал. И не забудь, что мы ждем тебя и твою верную подругу к ужину, чтобы ты разделил его с нами, с нашей супругой и дочерью, а также с теми из наших приближенных и союзников, кои удостоены такого же приглашения. Да будет тебе известно, что, пока ты не покинул нас, мы будем охотно оказывать тебе всевозможные почести. Ты же, Ахилл Татий, приблизься ко мне — твой государь возвращает тебе свое расположение, которого ты чуть было не лишился сегодня. Все обвинительные речи, которые нам нашептывали против тебя, будут забыты благодаря нашему дружественному отношению, если только — от чего да избавит нас бог! — новые проступки не освежат их в нашей памяти.

Ахилл Татий так низко склонил голову, что перья его шлема смешались с гривой норовистого коня; однако он счел благоразумным промолчать, чтобы и его вина и прощение Алексея Комнина оставались названными лишь в тех общих словах, какие пожелал употребить сам император.

Толпы зрителей снова отправились в обратный путь, и больше их уже ничто не останавливало. Сильвена же в сопровождении нескольких варягов повели как бы под стражей во влахернское подземелье, где ему и надлежало находиться.

По дороге в город уже известный нам центурион Бессмертных Гарпакс завел разговор с некоторыми из своих воинов и горожан, которые принимали участие в неудавшемся заговоре.

— Да, хороши мы были, что позволили тупоголовому варягу опередить и предать нас, — сказал гимнаст Стефан. — Все обернулось против нас, как обернулось бы против башмачника Коридона, решишь он помериться силами со мною в цирке. Смерть Урсела

всех взбаламутила, а оказывается, он и не думал умирать; но от того, что он жив, толку нам очень мало. Вчера этот молодчик Хирвард был ничуть не лучше меня, да что я говорю — лучше! — куда хуже, полное ничтожество! — а сегодня его так завалили почестями, похвалами, дарами, что он уже нос от них воротит. Наши же сообщники, кесарь и главный телохранитель, потеряли любовь и доверие императора. Если им и дозволили остаться в живых, то лишь наподобие какой-то домашней птицы: сегодня их откармливают, а завтра свернут шею, чтобы отправить на вертел или в кастрюлю!

— Для палестры ты сложен как нельзя лучше, Стефан, — ответил ему центурион, — а вот ум у тебя мало отточен для того, чтобы отличать действительное от вероятного в политике, хоть ты сейчас и берешься судить о ней. Когда человек вступает в сообщничество с заговорщиками, он многим рискует и должен почитать за счастье для себя, если ему удастся остаться в живых и не потерять своего звания. Так оно получилось с Ахиллом Татием и с кесарем. У них не отняли высокого положения, они по-прежнему облечены доверием и властью, и в будущем император вряд ли посмеет их тронуть, раз он даже теперь, зная их вину, не решился на это. По сути дела сохранившееся ими могущество — наше; не думаю, чтобы обстоятельства принудили их выдать государю своих сообщников. Куда вероятнее, что они будут помнить о нас и возобновят прерванные связи, когда настанет подходящее время. Поэтому не теряй своей благородной решимости, о властитель цирка, и не забывай, что ты отнюдь не утратил влияния, которым пользуются на жителей Константинополя любимцы амфитеатра.

— Возможно, ты и прав, — сказал Стефан, — но мне все время словно червь гложет сердце оттого, что этот нищий чужеземец предал благороднейших людей империи, не говоря уже о лучшем атлете палестры, и не только не был наказан за измену, но, напротив, получил и похвалы, и почести, и высокие отличия.

— Совершенно верно, но не забудь, любезный друг, что он намерен убраться отсюда, — возразил Гарпакс. — Он покидает Грецию и уходит из войска, где мог надеяться на повышение и всякие пустые знаки отличия, которые мало чего стоят. Через несколько дней Хирвард станет всего лишь отставным воином и будет жить на тех жалких хлебах, какие имеют телохранители этого нищего графа, или, вернее, какие им удастся добыть в борьбе с неверными, — а в этой борьбе ему придется скрестить свою алебарду с турецкими саблями. Когда он изведает и бедствия, и резню, и голод в Палестине, какой ему будет толк от того, что его некогда допустили на ужин к императору? Мы знаем Алексея Комнина — он охотно и щедро расплачивается с такими людьми, как Хирвард; но поверь мне, я уже вижу, как этот коварный деспот насмешливо пожмет плечами, когда в один прекрасный день ему сообщат, что крестоносцы проиграли битву за Палестину и его старый знакомец сложил там свои кости. Я не стану оскорблять твоего слуха рассказом о том, как легко можно приобрести благосклонность прислужницы знатной дамы; не считаю я также, что некоему борцу, пожелай он того, было бы трудно раздобыть гигантского павиана вроде Сильвена; впрочем, любой франк был бы, несомненно, низведен до положения шута, вздумай он столь постыдным способом зарабатывать себе на пропитание у подыхающих с голоду европейских рыцарей. И тот, кто способен унизиться до зависти к судьбе подобного человека, не имеет права оставаться первым любимцем амфитеатра, хоть он и заслужил это звание своими редкостными достоинствами.

В этом софистическом рассуждении крылось нечто не совсем понятное тупоумному борцу, к которому оно было обращено. Поэтому он отважился лишь на следующий ответ:

— Однако ты забываешь, благородный центурион, что, помимо пустых почестей, этому варягу Хирварду, или Эдуарду, или как он там зовется, обещано в дар немало золота.

— Ловкий выпад! — воскликнул центурион. — Да, если ты скажешь мне, что обещание выполнено, я охотно соглашусь, что англосаксу можно позавидовать; но пока это всего лишь обещание, и ты уж прости меня, досточтимый Стефан, но оно стоит не больше тех посулов, которыми нас с варягами все время кормят: будут у вас золотые горы... когда рак свистнет! Поэтому держись, славный Стефан, не думай, что твои дела стали хуже из-за сегодняшней неудачи; собери все свое мужество, помни, для чего оно тебе понадобится, и верь: твоя цель по-прежнему достижима, хотя волею судьбы день нашего торжества еще не наступил.

Так, в расчете на будущее, опытный и непреклонный заговорщик Гарпакс подбадривал павшего духом Стефана.

После описанных событий те, кто был приглашен императором, отправились к нему на ужин; Алексей и все его разнообразные гости были так приветливы и ласковы друг с другом, что трудно было поверить, будто несколько часов тому назад могли свершиться опасные изменнические замыслы.

Отсутствие графини Бренгильды в течение всего этого дня, богатого происшествиями, немало удивило императора и его приближенных, знавших, как она предприимчива и как ее должен интересовать исход поединка. Берта заранее известила графа, что волнения последних дней так **подействовали** на его супругу, что она **вынуждена** **остаться** в своих покоях. Сообщив своей верной **жене**, **что** он цел и невредим, доблестный рыцарь **появился** затем к участникам пиршества во дворце и **вел** себя так, словно ничто и не напоминало ему о вероломном поступке императора на предыдущем пире. К тому же он знал, что сопровождавшие Танкреда рыцари не только внимательно следили за домом, где жила Бренгильда, но и поставили надежную стражу вблизи Влахерна, которая должна была охранять как их отважного вождя, так и графа Роберта, всеми почитаемого участника крестового похода.

Европейские рыцари, как правило, не позволяли недоверию смущать их после окончания распри — то,

что однажды прощено, следует забыть, ибо оно уже не может повториться, но в результате событий этого дня в Константинополе скопилось слишком много войска, и крестоносцам надлежало соблюдать особую осторожность.

Само собой разумеется, что вечер прошел без всяких попыток повторить в зале для совещаний церемониал с Соломоновыми львами, который закончился в прошлый раз таким недоразумением. Было бы, несомненно, гораздо лучше, если бы могущественный властитель Греции и доблестный граф Парижский объяснились друг с другом с самого начала, ибо, по вранью размышлении, император пришел к выводу, что франки не из тех людей, на кого могут произвести впечатления какие-то механизмы и тому подобные безделицы: то, чего они не понимают, вызывает у них не трепет ужаса и не восторг, а, напротив, гнев и возмущение. Граф же, со своей стороны, заметил, что нравы восточных народов отнюдь не соответствуют тем жизненным правилам, к которым он привык: греки были куда меньше проникнуты духом рыцарства и, как он сам говорил, недостаточно разделяли его поклонение Владычице сломанных копий. Несмотря на это, граф Роберт понимал, что Алексей Комнин — мудрый властитель и тонкий политик; возможно, в его мудрости была слишком большая доля хитрости, но без нее он не смог бы так искусно сохранять власть над умами своих подданных, необходимую и для их блага и для него самого. Посему граф решил спокойно выслушивать все любезности, равно как и шуточки императора, чтобы новой ссорой, вызванной неверным толкованием слов Алексея или какого-нибудь придворного обычая, не нарушить согласия, сулившего христианскому воинству большую пользу. Граф Парижский придерживался этого благоразумного решения весь вечер, хотя далось оно ему нелегко, ибо не вязалось с его вспыльчивым и пытливым нравом; он всегда доискивался точного значения каждого слова, с которым к нему обращались, и тотчас же вспыскивал, если ему казалось, будто оно содержит умышленное или даже неумышленное оскорбление.

Глава XXXIV

Граф Роберт Парижский вернулся в Константинополь только после взятия Иерусалима; отсюда он, вместе с женой и теми из своих соратников, которых пощадили в этой кровопролитной войне меч и чума, пустился в обратный путь на родину. По прибытии в Италию граф и графиня прежде всего пышно отпраздновали свадьбу Хирварда с его верной Бертой, несомненные права которых на привязанность доблестной четы теперь еще умножились благодаря преданной службе Хирварда в Палестине и заботливому уходу Берты за графиней в Константинополе.

Что касается судьбы Алексея Комнина, мы можем узнать о ней из пространного труда его дочери Анны, которая представила его там героем, одержавшим, по словам порфирородной сочинительницы, множество побед с помощью не только оружия, но и расчета: «Иные битвы он выиграл благодаря одной лишь смелости, но случалось, что он был обязан своим успехом военным хитростям. Он снискал себе величайшую славу тем, что не отступал перед опасностью, сражаясь рядом с простыми воинами и бросаясь с непокрытой головой в самую гущу вражеского войска. Бывали, однако, и такие случаи, — продолжает высокоученая царица, — когда он завоевывал победу, делая вид, что охвачен паникой, и даже прикидываясь, будто спасается бегством. Короче говоря, он умел добиваться удачи, и отступая перед неприятелем и преследуя его; а когда враги, казалось, уже сбивали его с ног, снова вставал перед ними во весь рост, напоминая военное орудие, называемое «подметные каракули», которое, каким бы образом его ни бросить наземь, всегда падает острием вверх».

Справедливости ради мы должны показать здесь, как защищается царица от обвинений в пристрастности.

«Я должна еще раз опровергнуть многочисленные упреки в том, что описать жизнь моего отца меня побудила естественная любовь к родителям, навеки запечатленная в сердцах детей. Нет, не привязанность

к тому, кто даровал мне жизнь, а сами события заставили меня рассказать о них так, как я это сделала. Разве человек не может чтить память своего отца и в то же время любить правду? Я никогда не стремилась в своем труде к какой-либо иной цели, кроме описания того, что было на самом деле. Имея это в виду, я и избрала своим предметом жизнеописание замечательного человека. Неужели то обстоятельство, что он был моим родителем, должно пойти мне во вред и лишить меня доверия читателя? Справедливо ли это? Были случаи, когда я дала немало веских доказательств того, сколь горячо я принимала к сердцу интересы отца, и тот, кто знает меня, никогда в этом не усомнится; но здесь я ограничила себя нерушимой верностью истине, и совесть никогда не позволила бы мне отступить от нее во имя того, чтобы возвеличить деяния моего отца» («Алексиада», глава III, книга XV).

Мы сочли себя обязанными привести эти строки, чтобы отдать должное прекрасной бытописательнице; мы хотим также привести отрывки из описания смерти Алексея Комнина, охотно при этом признавая, что, говоря о свойствах, которые были присущи царевне, наш Гиббон почти всегда проницателен и справедлив.

Анна Комнин неоднократно утверждала, что истина без прикрас и оговорок ей дороже, чем память покойного отца. Тем не менее, Гиббон совершенно прав, когда пишет следующее:

«Вместо простоты слога в повествовании, естественно вызывающей доверие, мы находим на каждой странице искусную и напыщенную риторику, а также стремление показать свою ученость, которые выдают женское тщеславие автора. Подлинную натуру Алексея заслоняет туманное созвездие его добродетелей, а обилие чрезмерных восхвалений и оправданий заставляет нас усомниться в правдивости историка и достоинствах героя. Однако мы не можем отказать в справедливости и глубине замечанию Анны Комнин, что и своими неудачами и своей славой император был обязан господствовавшей в те времена смуте и

что небесное правосудие, вкуче с пороками предшественников Алексея, именно в период его царствования обрушило на империю все бедствия, какие только могут постигнуть приходящее в упадок государство» (Гиббон, «Римская империя», т. IX, стр. 83, сноска).

Отсюда проистекает уверенность царевны в том, что некие знамения, небесные и земные, были правильно истолкованы прорицателями и действительно возвещали смерть императора. Таким образом, Анна Комнин отнесла на счет своего отца те явления, которые, по мнению древних историков, показывали, что сама природа дает нам знать об уходе какого-то великого человека из мира сего; впрочем, царевна не преминула сообщить своим читателям-христианам, что отец ее не верил во все эти предсказания и даже при описанном ниже необыкновенном происшествии не изменил своим убеждениям. Оставшаяся со времен язычества великолепная статуя на порфировом цоколе, которая держала в руке золотой скипетр, была опрокинута бурей. Все сочли это предзнаменованием смерти императора, но сам он, однако, решительно отверг эту мысль.

— Фидий и другие великие ваятели древности умели удивительно верно воспроизводить человеческое тело, — сказал он, — но предполагать, что эти произведения искусства обладают способностью предсказывать будущее, значит приписывать их создателям могущество, присущее одному лишь всевышнему, который недаром изрек: «Ниспосылаю смерть и дарую жизнь я».

В последние свои дни император тяжело страдал от подагры, происхождение которой занимало умы многих ученых, в том числе и Анны Комнин. Несчастный больной был так ею изнурен, что когда императрица заговорила с ним о том, чтобы привлечь к составлению его жизнеописания авторов, прославленных своим красноречием, он сказал с естественным презрением к подобной суетности:

— События моей горестной жизни должны скорее вызывать слезы и сетования, нежели похвалы, о которых ты говоришь,

Когда к подагре прибавилось удушье, все средства врачевания оказались такими же тщетными, как молитвы, возносившиеся монахами и духовенством, равно как и щедрая милостыня, раздаваемая всем без разбора. Император несколько раз подряд лишался чувств, что явилось зловещим предзнаменованием близкого удара; вслед за тем пришли к концу царствование и жизнь Алексея Комнина, монарха, чьи намерения были столь возвышенны, что, невзирая на все приписываемые ему недостатки, его по праву можно считать одним из лучших властителей Восточной империи.

Перестав на время кичиться своей ученостью, царица Анна как простая смертная начала рыдать и вопить, рвать на себе волосы и царапать лицо; тем временем императрица Ирина сбросила царский наряд, обрезала волосы, сменила пурпурные сандалии на черные траурные башмаки, а ее дочь Мария, тоже вдовствующая, подала матери одно из своих черных одеяний.

«В ту самую минуту, как она его надела, — говорит Анна Комнин, — император испустил дух, и солнце моей жизни закатилось».

Мы не станем приводить далее ее сетования. Она укоряет себя в том, что пережила не только отца, этот светоч всей земли, но и Ирину, отраду Востока и Запада, а также собственного супруга.

«Меня охватывает негодование при мысли о том, что моя душа, страдавшаяся от такого потока несчастий, все еще благоволит оживлять мое тело, — говорит царица. — Разве я не холодней, не бесчувственней, чем сами скалы? И разве не права судьба, подвергая столь тяжким испытаниям ту, что смогла пережить таких родителей и такого мужа? Однако закончим сие жизнеописание и не станем более утомлять читателей бесплодными и горькими жалобами».

Заключив, таким образом, свой труд, она добавляет следующие строки:

Лишь пробил Алексея смертный час,
Дочь об отце прервала свой рассказ.

Приведенные отрывки, надо полагать, дадут читателям достаточное представление о подлинной натуре августейшей бытописательницы. Нам остается сказать еще несколько слов о других лицах, упомянутых в ее труде и избранных нами в качестве героев описанных выше драматических событий.

Почти нет сомнений в том, что граф Роберт Парижский, — человек весьма примечательный, о чем говорит та смелость, с какой он уселся на трон императора, — действительно занимал высокое положение; по мнению ученого историка Дюканжа, именно он был родоначальником династии Бурбонов, так долго правившей Францией. Видимо, он вел свой род от графов Парижских, которые доблестно защищали этот город от норманнов, и был предком известного всем Гуго Капета. Касательно последнего существует немало противоречивых мнений; одни считают, что он потомок некоей саксонской фамилии, другие — святого Арнульфа, епископа Альтекского, третьи — Нибелунгов, четвертые — герцога Баварского, пятые — побочного сына императора Карла Великого. Во всех этих соперничающих между собой родословных присутствует, занимая различные положения, упомянутый Роберт, прозванный Сильным, владетель графства, носившего странное название Иль-де-Франс, главным городом которого был Париж. Анна Комнин, описавшая, как этот надменный военачальник дерзостно сел на трон императора, поведала нам и о том, как тяжело, почти смертельно, он был ранен в битве при Дорилее из-за того, что пренебрег советами ее отца, имевшего опыт в войнах с турками. Если какой-либо исследователь старины пожелает досконально изучить этот предмет, мы рекомендуем ему обратиться к подробной «Родословной царствующего дома Франции», составленной покойным лордом Эшбернем, а также к примечанию Дюканжа об историческом труде царицы, стр. 362, где он доказывает, что ее «Роберт Парижский, высокомерный варвар» и «Роберт, по прозванию Сильный», считающийся предком Гуго Капета, — одно лицо. Следует справиться также у Гиббона — том XI, стр. 52. И французский

ученый и английский историк равным образом склонны видеть ту церковь, которую мы называли храмом Владычицы сломанных копий, в церкви, посвященной святому Друзу, или Дрозену, Суассонскому; считалось, что этот святой имел особое влияние на исход сражений и решал его в пользу того из противников, кто проводил ночь перед боем у его алтаря.

Из уважения к полу одной из героинь нашего повествования автор предпочел святому Друзу Владычицу сломанных копий, считая, что она больше подходит в качестве покровительницы амазонкам, которых было немало в те времена. Например, Гета, жена грозного воителя Роберта Гискара, подарившая миру целое поколение сыновей-героев, сама была амазонкой и сражалась в первых рядах норманнов; о ней неоднократно упоминает и наша августейшая писательница Анна Комнин.

Читатель, конечно, не сомневается, что Роберт Парижский выделялся среди своих соратников крестоносцев. Он стяжал себе славу у стен Антиохии, но в битве при Дорилее был так тяжело ранен, что не смог принять участие в самом величественном событии похода. Зато его героической супруге выпало великое счастье подняться на стены Иерусалима и, таким образом, исполнить и свой и мужнин обет. Произошло это более чем своевременно, ибо, по мнению лекарей, граф был ранен отравленным оружием и лишь воздух родины мог полностью его исцелить. Прождав некоторое время в тщетной надежде, что терпение поможет ему избежать этой неприятной необходимости — или того, что ему представили как необходимость, — граф Роберт покорился ей и вместе с женой, верным Хирвардом и другими спутниками, подобно ему утратившими способность участвовать в боях, отбыл морем в Европу.

На легкой галере, приобретенной за немалые деньги, они благополучно перебрались в Венецию, а из этого прославленного города — в родные края, затратив при этом ту скромную долю военной добычи, которая досталась графу при завоевании Палестины.

Граф Парижский оказался счастливее большинства участников похода — за время его отсутствия соседи не захватили его земель. Все же слух о том, что он лишился здоровья и больше не может служить Владычице сломанных копий, побудил некоторых честолюбцев или завистников из числа этих соседей напасть на его владения, но мужество графини и решимость Хирварда преодолели их алчность. Менее чем через год здоровье полностью вернулось к графу; он снова стал надежным покровителем своих вассалов и несокрушимой опорой властителей французского престола. Последнее обстоятельство позволило ему оплатить свой долг Хирварду щедрее, чем тот ожидал или надеялся. Теперь графа почитали за ум и прозорливость не менее, чем за неустрашимость и доблесть, проявленные им в крестовом походе; поэтому французские монархи неоднократно поручали ему улаживать запутанные и спорные дела, связанные с владениями английского престола в Нормандии. Вильгельм Рыжий, высоко ценивший достоинства Роберта Парижского, понимал, насколько важно приобрести его расположение; узнав, что он хотел бы помочь Хирварду вернуться в отчизну, Вильгельм воспользовался случаем — или сам создал таковой — и, отобрав у какого-то мятежного рыцаря обширные владения, пожаловал их затем нашему варягу; эти владения прилегали к Нью-Форесту, где некогда скрывался отец Хирварда. Там, как утверждает молва, потомки храброго воина и его Берты жили из поколения в поколение, стойко выдерживая превратности времени, которые столь часто оказываются роковыми для более знатных семей.

**СТАТЬИ
И ДНЕВНИКИ**

НАСЛЕДИЕ РОБЕРТА БЕРНСА,

**СОСТОЯЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ПИСЕМ, СТИХОТВОРЕНИЙ
И КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК О ШОТЛАНДСКИХ ПЕСНЯХ.**

Собрано и издано Р. Х. Кроеком, Лондон, изд-во Кэделл
и Девис, 1808.

С немалыми опасениями раскрыли мы книгу, носящую столь интересное заглавие. Литературные наследия разнятся между собою по роду своему и ценности едва ли не так же, как церковные мощи и всякого рода древности. Одни уже по внутренне присущему им высокому достоинству заслуживают золотой усыпальницы; другие ценятся за приятные воспоминания и раздумья; третьи же извлекаются корыстными издателями из вполне заслуженного мрака забвения, оказывая тем самым мало чести злосчастному сочинителю.

Особенности личности Бернса, о которых мы, возможно, и возьмем на себя смелость делать некоторые замечания по ходу статьи, были, словно нарочно, такими, что лишь усилили наши опасения. Сумасбродство этого удивительного, гениально одаренного человека, не стремившегося в последние — и самые черные — дни своей жизни к какой-либо определенной цели или же цели вообще, проявлялось, бывало, из-за скверного состояния здоровья и при дурном расположении духа в резких вспышках и язвительных, незаслуженно безжалостных выпадах, в которых сам

бард часто раскаивался и которые справедливость по отношению к живым и к покойным не позволяет предавать гласности. Опасения эти отнюдь не уменьшились, когда мы вспомнили, с какой ревностной тщательностью и с каким усердием покойный доктор Карри, этот достойный человек, выполнил свою задачу, издав сочинения Бернса. Произведенный им отбор определялся его уважением к репутации как живых, так и мертвых. Он не стал извлекать на свет божий ничего из сатирических словоизвержений, которые оказались бы, верно, столь же недолговечны, как и вызывавшие их преходящие обиды. Он исключил все, что было сколько-нибудь вольнодумного касательно нравственности или религии, и от этого его издание стало таким, на какое бы и сам Бернс в часы, когда судил здраво, несомненно с охотой дал согласие.

Однако, одобряя основы — а мы их весьма и весьма одобряем, — на которых произвел отбор для своего издания доктор Карри, мы не упускаем из виду, что они приводили его порою к тому, что из чрезмерной щепетильности и разборчивости он отвергал наиболее удачные и вдохновенные творения поэта. Тоненький томик ин-октаво, изданный в 1801 году в Глазго под заглавием: «Стихотворения, приписываемые эйрширскому барду Роберту Бернсу», дает нам достаточно оснований утверждать это. Там, среди изрядной кучи хлама, отыщутся и несколько блистательных перлов поэзии Бернса. В частности говоря, кантата, озаглавленная «Веселые нищие», по юмористическому описанию характеров и тонкому проникновению в них стоит отнюдь не ниже любого английского стихотворения тех же самых размеров. Действие и впрямь перенесено на самое дно жизни простонародья. Действующие лица — ватага гулящих бродяг — сошлись на пирушку и расплачиваются своими лохмотьями да краденым за хмельное в третьеразрядном трактиришке. Однако даже в описании поведения этакой братии врожденный вкус поэта ни разу не позволил перу соскользнуть на путь грубости

или безвкусия. Неистовая веселость и бесшабашные выходки нищих бродяг забавно контрастируют с их увечьями, лохмотьями и костылями, а низменные и грязные обстоятельства их прихода в трактир справедливо уведены в тень. И в описании отдельных фигур искусность поэта бросается в глаза отнюдь не меньше, нежели в описании толпы. Весельчаки забулдыги отличаются друг от друга совершенно так же, как и порядочные люди в любой случайно собравшейся компании.

Надобно подчеркнуть, что публика эта шотландского склада, и наши северные братья, разумеется, осведомленнее в его разновидностях, нежели мы. Однако различия слишком приметны, чтобы ускользнуть даже от британцев. Самые выпуклые фигуры — это увечный солдат со своей подружкой, поистаскавшейся в армейских лагерях, и бой-баба, в недавнем прошлом сожительница разбойного горца или дюжего бродяги — «но плакала по нем веревка». Будучи теперь без кавалера, она становится предметом соперничества между «пискливым карлой-скрипачом» и бродячим медником. Сей последний, отчаянный головорез, как и большинство людей одного с ним ремесла, гонит перепуганного насмерть музыканта с поля битвы, а девица, само собой разумеется, оказывает ему предпочтение. Под конец на сцену выводится бродячий певец с целой сворой нищих потаскух. Каждый из этих попрошаек поет соответствующую песню; и такой подбор юмористических стишков и песенок, да вдобавок сочетающийся с ярким поэтическим живописанием, пожалуй и сопоставить-то в английской поэзии не с чем.

Поскольку стихотворение, как и весь сборник, очень мало известно в Англии и поскольку оно, безусловно, принадлежит *наследию Роберта Бернса*, мы и сочли уместным выписать здесь заключительную песенку, пропетую бродячим певцом по просьбе честной компании, чьи «шутки и веселье пошли гулять вовсю» и вознесли их превыше страха перед темницами, колодками, позорными столбами и плетью.

Песенка эта, разумеется, куда выше любого места в «Опере нищих», где мы лишь и могли бы ожидать ей подобную.

Давным-давно хмельным-хмельны,
Всем сборищем пропойным
К певцу пристали крикуны:
«Получше песню спой нам!»

Не парочкой с сударочкой —
С двумя певец сидел,
Веселую и голую
Ораву оглядел.

ПЕСНЯ

(Мелодия: «Веселись за чаркой, смертный!»)

I

Круговая ходит чаша,
Веселися, вольный люд!
Зачинайся, песня наша!
Пусть со мною все поют!

Пусть закон с богатым дружен,
Вольность — вот что любо нам!
Суд одним лишь трусам нужен,
Церкви милы лишь попам,

II

На кой ляд искать нам чина?
Да и деньги нам — пустяк.
Коль живем мы без кручины,
Все едино — где и как.

Пусть закон и т. д.

III

Днем — в дороге озоруем,
Колобродим без конца,
По ночам — зазноб милуем,
Подстеливши им сенца.

Пусть закон и т. д.

IV

Длинным цугом нам негоже
По дорогам колесить,
А на чинном брачном ложе
Непривольно нам любить.

Пусть закон и т. д.

V

Жизнь набита всякой смесью.
Ну и пусть себе бежит!
Чинно тот живи, кто лестью
Иль местечком дорожит.

Пусть закон и т. д.

VI

В путь котомочки готовы.
Грош, коль есть, на стойку кинь!
На дорожку клюкнем снова,
Палки в руки — и амины!

Пусть закон и т. д.

Мы никак не можем взять в толк, почему же доктор Карри не включил эту своеобразнейшую и забавную кантату в свое издание. Правда, в одном или

двух местах муза, пожалуй, чуть-чуть преступила границы благопристойности, когда она, если говорить языком шотландской песни,

Задрала подол,
Как шла через дол.

Но как бы то ни было, следует все-таки полагать кое-что дозволенным по природе самого сюжета, а кое-что отнести за счет воспитания поэта. И если из почтения к именам Свифта и Драйдена мы миримся с грубостью одного и с нескромностью другого, то должное уважение к имени Бернса, уж конечно, вправе потребовать снисхождения к отдельным легкомысленным выходкам в духе раздольного юмора. В том же самом издании имеется «Молитва святоши Уилли» — сатирическая пьеса, не в пример более острая и резкая, нежели любая из написанных Бернсом впоследствии, но, к несчастью, облеченная в чересчур вызывающе-богохульную форму, чтобы попасть в издание доктора Карри.

Зная, что эти (а надо надеяться, и другие) сочинения подобного же духа и толка можно было бы все-таки опубликовать для читателей, мы склонялись к мысли, что по меньшей мере некоторые из них нашли свое место в издании, которое нынче преподнес читателям мистер Кромек. Но он ни на осуждение не отважился, ни притязаний на одобрение не предъявил, каковое, казалось бы, могло снискать ему такого рода предприятие. Содержание тома, лежащего перед нами, скорее назовешь собранием обрывков черновых записей, нежели наследием; это по большей части мусор, отбросы ремесла, а не товары, которые можно было бы счесть за контрабанду. Однако даже в этих остатках да оскребках содержатся любопытные, стоящие внимания предметы, способные пролить свет на личность одного из необычайнейших людей, чьим появлением отличён наш век.

Первая часть тома содержит в себе около двухсот страниц писем, адресованных Бернсом разным лицам и написанных в различном состоянии чувств и расположении духа; в одних случаях письма эти по-

казывают всю мощь дарований писателя, в других же — они только тем и дороги, что на них имеется его подпись. Жадность, с какою читатель всегда поглощает издания этого рода, обычно объясняется желанием узнать взгляды и суждения знаменитых людей в часы, когда они бывали откровенны и говорили без прикрас, и стремлением вчитаться и оценить их мысли, покуда золото — еще лишь грубая руда, покуда оно не очищено, покуда не превращено в отшлифованные изречения и звонкие строфы. Но, вопреки этим благовидным отговоркам, мы сомневаемся, чтобы оный интерес можно было приписать более достойному источнику, нежели любовь к сплетням, пересудам и подробностям частной жизни. И на самом деле, в письмах, по крайней мере в письмах обычного и смешанного жанра, весьма редко содержатся подлинные суждения сочинителя. Если автор, садясь за стол, ставит себе задачу по всем правилам писать сочинение, предназначенное для читателей, то он уже вагоню обдумает его тему и решит, какие суждения он выскажет и каким способом их обоснует. Но тот же самый человек пишет письмо обычно лишь затем, что письмо нужно написать, и тут он, пожалуй, обычно и не ведает, о чем будет писать, а найдя тему, обойдется с нею скорее так, чтобы удовлетворить своего корреспондента, нежели сообщить о собственных переживаниях.

Письма Бернса, хоть и блещут в отдельных местах отменным красноречием, хоть и выражают пылкий нрав и пламенную натуру поэта, все же не являются собою исключения из общего правила. Временами в них видны явные отпечатки искусственности, да еще с оттенком педантичности, в общем-то чуждой характеру и воспитанию барда. Нижеследующие цитаты показывают и мастерство и промахи в его эпистолярном творчестве. Невозможно вообразить себе более юмористическое олицетворение, чем глубоко-мысленная чета Мудрости и Оглядки в первой цитате, между тем как искусственность во второй доходит до полнейшей велеречивости:

Передайте леди Мак-Кензи, чтобы воздала мне должное за малую мою мудрость. «Я — Мудрость и живу с Оглядкой». Ну, и блаженненький же домашний уют, нечего сказать! Сколь счастлив был бы я провести зимний вечерок под их досточтимой кровлей, выкурить трубочку или распить с ними овсяного отварцу. Экая у них торжественная, вечно натянутая, смежавательная серьезность физиономий! Экие премудрые изречения о сынках-шалопаях да о дочках, дурехах бесстыжих! А какие уроки бережливости, когда мы сживали, бывало, у камелька вплотную друг к дружке на предмет пользования кочергой и щипцами!

Мисс N. в добром здравии и, как всегда, просит вам кланяться. Я пустил в ход все свое красноречие, все наубедительнейшие размахивания руками и сердцещипательные риторические модуляции, какие были в моей власти, чтобы выпроводить ее в Хервистон, но тщетно! Риторика моя, сдается, перестала действовать на прекрасную половину рода человеческого. Знал и я красные деньки, но это уж «повесть давних лет». По совести говоря, я уверен, что сердце мое воспламенялось до того часто, что вовсе остекленело. На дамский пол поглядываю с восхищением, в чем-то похожим на то, с какимзираю на звездное небо в студеную декабрьскую ночь; восхищаюсь красотой творений создателя, очарован буйной, но грациозной странностью их движений и... желаю им доброй ночи. Говорю это касательно известной страсти, *dont j'ai eu l'honneur d'être un miserable esclave*.¹ Что же до дружбы, то от вас с Шарлоттой я видел только приятство, постоянное приятство, которого, надо надеяться, «сей мир ни дать, ни отобрать не может» и которое переживает небеса и землю.

Проявляя столь же ложный вкус, Бернс разражается вот какими тирадами:

Смогу ли ремеслом моим быть вам, достопочтенный доктор,² полезен, — это, боюсь, весьма сомнительно. Аяксов щит, помнится, был сделан из семи бычьих кож и бронзовой доски, каковые всецело могли пренебречь непомерною мощью Гектора. Увы! Я не Гектор, а недруги ваши, досточтимый доктор, столь же благонадежно снаряжены, сколь и Аякс. Невежество, суеверие, ханжество, тупоумие, злобность, самомнение, зависть — и все это крепко сидит в солидной раме бесстыжей наглости. Боже ты мой праведный! Да ведь по такому счету, сударь, юмор — все равно что воробей клюнул, а сатира — будто мальчишка из пушки-хлопушки пальнул. Таких позорящих мироздание *scelerats*,³ как эти, одному господу богу под

¹ Жалким рабом которой я имел честь быть (*франц.*).

² Доктор Мак-Гилл из Эйра. Поэт дает наилучшее пояснение к данному письму в другом, адресованном Грэму, — см. издание доктора Карри, № 86. (*Прим. автора.*)

³ Негодяев (*франц.*).

силу исправить и лишь дьяволу — покарать. Хочется мне, как в оны дни Калигуле, чтобы у всех у них была одна-единственная шея. Чувствую себя беспомощным, как дитя, противу ярости моих желаний! О, когда бы насылающим порчу заклятием задушить в зародыше их нечистые козни! О, когда бы ядовитым смерчем, воскрылившим из знойных краев Тартара, смести в самую преисподнюю изобильный посев их богомерзких затей!

И все же такие места, где сочинитель, кажется, взял верх над человеком, где смертная охота блистать, и сверкать, и греметь вытесняет естественные выражения чувств и страсти, попадаютсся в письмах Бернса, пожалуй, менее часто, нежели у любого его собрата по ремеслу. Бернс и впрямь был подлинным воплощением порыва и чувств. Он был не просто крепостинин, вознесшийся до признания и известности благодаря необычайным литературным дарованиям, нет, натура его носила на себе печать, долженствующую отличать его в жизни как при самом большом возвышении, так и при наибольшем унижении. Выяснить, каковы были его природный нрав и склонности и насколько они изменились или видоизменились под влиянием обстоятельств — происхождения, воспитания, фортуны, — мыслимо лишь в длинном очерке, а здесь от нас только и можно ждать, что мы отметим несколько отличительных черт — и не более того.

Мы уже сказали, что Роберт Бернс был воплощением порыва и чувств. Твердой основы, которая прилепляется ко всему доброму, он был, к сожалению, начисто лишен неистовостью страстей, которые в конце концов и сокрушили его. Добавим с грустью, что, плывя, барахтаясь, борясь и, наконец, отдаваясь течению, он, хотя и не упускал из виду маяка, который, пожалуй, помог бы ему добраться до суши, однако ни разу не пользовался его светом.

Мы узнаем его мнение о собственном темпераменте из нижеследующего красочного взрыва страсти:

Помилуй мя боже! Экий проклятуший, беспечный, околпаченный, бесталаный болван и простофиля! Посмешище всесветное, жалкая жертва бунтующей гордыни, ипохондрического воображения, донельзя мучительной чувствительности и умалишенных страстей!

«Придите же, гордость непокорная и решимость неустрашимая, и будьте спутниками моими в сем суровом для меня мире!» — таким языком этот могучий, но неукротенный дух выражал гнев, порожденный длительным ожиданием и обманутыми чаяниями, которые, если поразмыслить, — общий удел смертных. Но не признавал Бернс ни злополучия как «смирителя души человеческой», ни златой узды не знавал, которую умеренность налагает на страсти. Он, кажется, испытывал даже некую мрачную радость, отважно бросаясь навстречу дурным соблазнам, которые благоразумие, пожалуй, обошло бы стороной, и полагал, что только две крайности сулят отраду в жизни — бешеное распутство и еле живое прозябание чувств. «Есть лишь две твари, которым я позавидовал бы, — дикий конь, скачущий по лесам Азии, да устрица на каком-нибудь пустынном побережье Европы. У одного нет иных желаний, кроме наслаждения, у другой — ни желаний, ни страха».

Когда подобные чувства обуевают такого человека, как Бернс, вывод получается ужасающий; и будь у гордости и честолюбия способность поучаться, они уразумели бы тогда, что благонастроенный ум и сдерживаемые страсти должно ценить превыше всяческого пыла фантазии и блистательности гения.

Мы обнаруживаем эту же самую упрямую решимость — уж лучше терпеливо сносить последствия ошибки, нежели признать ее и избегать в будущем, — в странном выборе поэтом образца душевной стойкости.

Я купил карманное издание Мильтона, которое постоянно ношу при себе, чтобы размышлять над чувствами сего великого героя — Сатаны, над его беззаветным великодушием, неустрашимой и упорной независимостью, отчаюго отчаяния и благородным вызовом бедствиям и лишениям.

Не было то ни поспешным выбором, ни опрометчивостью, ибо Бернс в еще более восхвалительной мере выражает то же суждение о том же герое:

Наилюбезнейшее мне свойство в Мильтоновом Сатане — это его мужественная способность сносить все, чего уже не испра-

вить, иначе говоря, дико нагромодившиеся обломки благородного, возвышенного духа в развалинах. Лишь это я и разумел, сказав, что он мой любимый герой.

С этим горделивым и непокорным духом сочетались в Бернсе любовь к независимости и ненависть к подчинению, доходившая чуть ли не до напыщенной декламации Альманзора:

Как тот дикарь, что по лесам бродил,
Доколь рабов закон не породил, —
Вот так и сам он чист и волен был.

В малознакомой компании Бернс, исполненный решимости защищать свое личное достоинство, часто и поспешно позволял себе совершенно несправедливо негодовать на легкое, порою лишь воображаемое, пренебрежение к нему. Он вечно беспокоился, как бы не утратить положения в обществе, и домогался уважения, которое сами по себе ему охотно оказывали все те, от кого стоило этого требовать. Это безрассудно ревнивое стремление первенствовать часто заставляло его противопоставлять свои притязания на главенство притязаниям людей, чьи права, по его разумению, были основаны только на знатном происхождении и богатстве. В таких случаях нелегко было иметь дело с Бернсом. Мощь языка его, сила сатиры, резкость наглядных доводов, которые во мгновение ока подсказывала ему фантазия, разбивали в прах самое остроумное возражение. И нельзя было обуздать поэта никакими соображениями касательно возможности неприятных последствий личного характера. Чувство собственного достоинства, образ мыслей, да и само негодование Бернса были плебейские, правда такие, какие бывают у плебея с гордой душой, у афинского или римского гражданина, но все-таки как у плебея, лишенного и малейшего намека на дух рыцарства, который с феодальных времен распространился и пронизал вышние классы европейского общества. Приписывать это трусости нельзя, ибо Бернс трусом не был. Но при низком его происхождении и обычаях, установившихся в обществе, нечего было и

ждать, чтобы воспитание могло научить его правилам щепетильнейшей обходительности. Не видел он и ничего настолько разумного в дуэлях, чтобы усвоить или притворяться, что усвоил, воззрения высших кругов на сей предмет. В письме к мистеру Кларку, написанном после ссоры из-за политических вопросов, содержатся такие примечательные и, добавим, мужественные слова:

Из-за выражений, которые капитан * позволил себе по отношению ко мне, не будь у меня заботы о других, а лишь о себе самом, мы, разумеется, пришли бы, следуя светским обычаям, к необходимости умертвить друг друга по этому поводу. Уж такие это были слова, какие заведено, убежден в том, кончать парой пистолетов. Но мне все-таки отраднее сознавать, что в пьяной перебранке я не нарушил мира и благополучия матери семейства, мира и благополучия детей.

В этом смысле гордость и возвышенная душа Бернса были, следовательно, иными, чем у окружающих его людей. Но если ему и не доставало рыцарской чувствительности к чести, у которой доводы на острие меча, то была у него деликатность другого свойства, которой люди, превыше всего кичащиеся первой, не всегда обладают в той же высокой степени. Будучи беден, как бывают бедны, находясь на самом краю полнейшего разорения, и видя пред собой в будущем то долю пехотинца, то даже участь нищего, каковая не явилась бы неестественным завершением его судьбы, Бернс, невзирая на все это, бывал в денежных делах горд и независим, словно имел княжеские доходы. Несмотря на то что он был воспитан по-мужицки и поставлен на унижительную должность заурядного акцизного чиновника, ни влияние низменного настроенного люда, который окружал его, ни потакание собственным слабостям, ни небрежение будущностью, свойственное столь многим его братьям-пиитам, никогда не заставляли его сгибаться под бременем денежных обязательств. Один закадычный друг поэта, у которого Бернс одалживался на одну-две недели небольшими суммами, решился раз намекнуть, что точно так, с какой заем всегда возвращался в назначенный срок, является излишней и даже неучливой. От этого

дружба их прервалась на несколько недель, ибо поэт презирал самую мысль — быть должным людям хотя бы полушку медную, если мог уплатить неуклонно и точно в срок. Малоутешительным следствием столь возвышенного умонастроения оказывалось то, что Бернс бывал глух к любому дружескому совету. Указать ему на ошибки или подчеркнуть их последствия означало затронуть такую струнку, что в нем корбились все чувства. В таких случаях в нем, как в Черчиле, жил

Дух, что с рожденья плачет и скорбит
И собственный же ненавидит вид.

Убийственная правда, но правда, что Бернс, издерганный и замученный доброжелательными и ласковыми укорами одного своего близкого друга, впал наконец в бешенство и, выхватив складную шпагу, которую по обыкновению носил при себе, пытался прыгнуть ею непрошеного советчика, а в следующее мгновение его еле удержали от самоубийства.

Однако этот человек с пылким и гневливым нравом бывал порою не просто спокоен, но в высшей степени кроток и мил. В среде людей со вкусом, которым беседа с ним приходилась по душе и бывала понятна, или людей, чье положение в свете было не настолько выше его собственного, чтобы поэту требовалось, по его мнению, оборонять собственное достоинство, Бернс бывал красноречивым, занимательным собеседником и просвещенным человеком, и у него было чему поучиться. А в женской компании его дар красноречия становился особенно привлекателен. В такой компании, где почтение, положенное оказывать чинам и званиям, с готовностью оказывали как должное красоте или заслугам, где он мог не возмущаться, не чувствовать себя в чем-либо оскорбленным и не предъявлять притязаний на превосходство, его речь теряла всю свою резкость и часто делалась столь энергической и трогательной, что все общество разражалось слезами. Нотки чувствительности, которые у другого производили бы впечатление отъявленного жеманства, были душе этого необычайного человека

так свойственны от природы и вырывались у него так произвольно, что встречали не только полное доверие, как искренние излияния его собственного сердца, но и заставляли до глубины души растрогаться всех, бывавших тому очевидцами. В такое настроение он приходил по самому случайному и пустяковому поводу: какой-нибудь гравюры, буйного лада простой шотландской песни, строчки из старинной баллады, вроде «норки мышки полевой» и «вырванной маргаритки», бывало довольно, чтобы возбудить чувство сострадания в Бернсе. И было удивительно видеть, как те, кто, будучи предоставлен сам себе, не задумался бы и на миг единый над такими обыденными явлениями, рыдали над картиной, которую озарило волшебное красноречие поэта.

Политические пристрастия — ибо их вряд ли можно назвать принципами — определялись у Бернса всецело его чувствами. С самого начала казалось, что он был — или притворялся — приверженцем якобитов. И впрямь, юноша, наделенный столь пылким воображением, и пламенный патриот, тем более воспитанный в Шотландии тридцать лет назад, вряд ли ускользнул бы от этого влияния. Сторонники Карла Эдуарда отличались, разумеется, не столько здравым смыслом и трезвым рассудком, сколько романтической отвагой и стремлением к подвигам. Несообразие средств, которыми этот принц пытался добыть престол, утраченный предками; удивительные, порою почти поэтические приключения, которые он претерпевал; шотландский бранный дух, возвеличенный его победами и униженный и сокрушенный его поражением; рассказы ветеранов, ходивших под его выдавшим виды стягом, — все это, словно на подбор, наполняло ум поэта живым интересом к делу дома Стюартов. Однако увлечение это было не из глубоких, ибо Бернс сам признается в одном из писем: «Говоря по сути, кроме тех случаев, когда мои страсти вскипали от какой-либо случайной причины, якобитство мое было просто-напросто своего рода „Vive la bagatelle!“».¹ Та же самая, доходящая

¹ Да здравствует безделица! (франц.).

до неистовства, пылкость характера оказывала влияние на выбор Бернсом политических догматов впоследствии, когда страна взволновалась от революционных идей. Что поэт будет держать сторону той партии, где великие таланты могли бы вернее всего приобрести известность, что он, для кого искусственно созданные различия в обществе всегда были предметом ненависти, спокойно прислушается к голосу французской философии, которая объявила их узурпацией прав человека, — этого как раз и надо было ожидать. Однако мы не можем отказаться от мысли, что если бы начальство в акцизной палате старалось не раздражать, а смягчать его чувства, оно не довело бы до отчаяния обладателя столь необычайных дарований и тем самым уберегло бы себя от позора. Ибо слишком очевидно, что с той поры, когда его надежды на повышение в чине развеялись в прах, склонность к беспутству стремительно вовлекла его в крайности, которые укоротили ему жизнь. Не сомневаемся, что в ту страшную, грозную пору национальной распри он сказал и сделал довольно, чтобы в обычных обстоятельствах удержать правительственных чиновников от потока отъявленному приверженцу мятежной клики. Но этим приверженцем был сам Бернс! Опыт со снисходительностью мог бы, разумеется, быть проделан и, может быть, успешно. Поведение мистера Грэма оф Финтри, единственного человека, который защищал нашего поэта от увольнения со службы и, следовательно, от разорения, выставляет этого джентльмена в самом лучшем свете. Закончим же наши размышления о личности Бернса его собственными прекрасными строками:

Кипела кровь в игре страстей,
И ты невольно шел за ней
По бездорожьям.
Но свет, сбивающий с путей,
Был светом божьим,

Вторая часть тома содержит некое количество памяток Бернса касательно шотландских песен и музыки, изданных Джонстоном в шести томах ин-октаво.

Многие из них представляются нам совсем пустячными. Во втором издании упомянутого сборника или в каком-нибудь ином собрании шотландских песен они и впрямь могли бы стать вполне уместным дополнением. Но, будучи оторванными от стихов, с которыми они связаны, кого же они заинтересуют разъяснениями, что «Вниз по Берн Дэви» является сочинением Дэвида Мейфа, выжлятника у лэрда Риддела, что «Погоди-ка свататься» была, на взгляд Бернса, «очень славной песенкой», или даже что автором «Полуарта на лужайке» был капитан Джон Драммонд Мак-Григор из рода Бохалди? Будь в том прок, мы могли бы в одном-двух местах внести поправки в сведения, сообщенные на такой манер, и дополнить их во многих других. Но, вероятно, будет важнее отметить то участие, которое сам поэт принимал в составлении или украшении этого сборника старинной народной поэзии, особенно потому, что ни у доктора Карри, ни у мистера Кромека об этом ничего ясного не сказано. Вообще-то говоря, устная традиция — нечто вроде алхимии навыворот, превращающей золото в свинец. Все отвлеченно поэтическое, все, превосходящее разумение заурядного селянина, исчезает от повторных исполнений, а образовавшиеся пробелы заполняются или строками из других песен, или же доморощенной находчивостью чтеца либо певца. В обоих случаях ущерб очевиден и невосместим. Но и при всех своих недостатках шотландские мелодии и песни сохраняли для Бернса ту же невыразимую прелесть, какой они всегда обладали для его соотечественников. Ему полюбилась мысль собирать отрывки из них со всем усердием ревнителя, и лишь немногие, будь то серьезные или юмористические, прошли через его руки, не испытав тех волшебных штрихов, которые, не изменяя песни, значительно возрождали ее подлинный дух или обогащали ее. И так ловко эти штрихи сочетались со старинным ладом песни, что *rifacimento*¹ во многих местах вряд ли можно было бы обнаружить, не признайся в том сам бард, так же

¹ Подделку (итал.).

как и не легко было бы отличить его строки в отдельных песенках. Одни, видимо, он переделал полностью заново, к другим написал добавочные строфы; в некоторых он сохранил лишь основные строки и припев, другие же просто упорядочил и принарядил. На пользу будущих любителей старины мы можем отметить, что многие из песен, которые упомянутый издатель объявляет сочинениями одного Бернса, были на самом деле в ходу задолго до того, как он родился.

Возьмем один из лучших примеров его умения искусно подражать старинной балладе. «Плач Макферсона» был хорошо известной песней задолго до того, как эйрширский бард написал дополнительные стихи, которые составляют ее главное достоинство. Макферсона, сего славного пирата, казнили в Инвернесе в начале минувшего столетия. Подходя к роковому столбу, он сыграл на любимой скрипке мотив, унаследовавший его имя, и, протянув инструмент, предлагал его в дар любому из своего клана, кто взялся бы сыграть этот мотив над его гробом на тризне, а поскольку никто не вызвался, он вдребезги расколотил скрипку о голову палача и сам тут же бросился с лестницы. Ниже следуют яростные строфы, в основе которых лежат остатки народной песни,¹ вложенные Бернсом в уста этого головореза.

МАКФЕРСОН
ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.

¹ Мы слышали, как распевались некоторые из них, в частности одна, начинающаяся так:

Прощай, друзья, прощай, семья,
Жена моя и чада!
Со скрипкой не расстался я, —
Чего еще мне надо?

(Прим. автора.)

В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

— Привет вам, тюрьмы короля,
Где жизнь влачат рабы!
Меня сегодня ждет петля
И гладкие столбы.

В полях войны среди мечей
Встречал я смерть не раз,
Но не дрожал я перед ней —
Не дрогну и сейчас!

Разбейте сталь моих оков,
Верните мой доспех,
Пусть выйдет десять смельчаков, —
Я одолею всех.

Я жизнь свою провел в бою,
Умру не от меча,
Изменник предал жизнь мою
Веревке палача.

И перед смертью об одном
Душа моя грустит —
Что за меня в краю родном
Никто не отомстит.

Прости, мой край! Весь мир, прощай!
Меня поймали в сеть.
Но жалок тот, кто смерти ждет,
Не смея умереть.

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он,
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.¹

¹ Перевод С. Маршака.

Как радовался Бернс, взяв на себя труд восполнить недостающее в старинных напевах, видно из निжеследующего трогательного места в письме, написанном поэтом мистеру Джонстону незадолго до кончины:

Славный вы, право, человек, добрый, честный, жить вам и жить на сем свете, ибо вы того заслужили. Немало веселых встреч было у нас с вами из-за этой книжицы и авось будет еще больше, да только — увы! — боюсь, что нет. Затянувшаяся, медлительная, гибельная хворь, одолевающая меня, вечно милый мне друг мой, угасит звезду мою прежде, чем она минет и половину пути, и, сильно того опасаясь, обратит поэта к делам иным и поважнее, нежели усердствовать в блестящем остроумии или чувствительном пафосе. Но что ни говори, а *надежда* — целительное лекарство сердцу человеческому, и я всячески стараюсь лелеять ее и растить.

Несмотря на искрометность некоторых лирических стихотворений Бернса и пленительную нежность и простоту других, мы можем лишь глубоко сожалеть, что так много времени и дарования было истрачено им на составление и сочинение музыкальных сборников. Как издание доктора Карри, так и данный дополнительный том с достаточной очевидностью свидетельствуют, что даже гений Бернса бессилен был помочь ему в этой урочной работе — сочинении амурных стишков о воздымающихся персях и о сверкающих очах и втискивании их в такие ритмические формы, какие пристали капризным ходам шотландских рилов, портов и стратспеев. Кроме того, постоянное расточение фантазии и стихотворческого мастерства на мелкие и незначительные произведения должно было с неизбежностью изрядно влиять на поэта, мешая ему поставить перед собою какую-нибудь серьезную, важную задачу. Но пусть не подумают, что мы принижаем песни Бернса. Когда сердцем его овладало желание положить на любимый напев слова, будь они забавные, будь они нежные, то ни один поэт, сочиняющий на нашем языке, не обнаруживал большего умения бракосочетать мелодии с бессмертными стихами. Но сочинение целой уймы песен для толстых музыкальных сборников выродилось в рабский труд, который любому дарованию был бы не под силу,

приводил к небрежению и, самое главное, отвлекал поэта от величественного замысла драматического творения.

Создать произведение в таком жанре, может быть не по всем правилам написанную трагедию или комедию, а нечто, где имелось бы что-то от природы обеих, было у Бернса, сдается, издавним заветным желанием. Он даже избрал сюжет — была из жизни простонародья, приключившуюся, как говорят, с Робертом Брюсом, который был побежден англичанами и, подвергаясь опасностям, скитался под чужим именем. Шотландское наречие сделало бы такую драму совершенно непригодной для сцены. Но те, кому памятен мужественный и возвышенный ратный дух, пылающий в стихотворении о Бэннокберне, вздохнут, подумав: каким же мог бы стать характер отважного Брюса под пером Бернса! Ей, несомненно, не достало бы того оттенка рыцарственности, которого властно требовали обычаи века и нрав этого монарха. Но сей недостаток был бы с избытком возмещен бардом, который изобразил бы, основываясь на своих личных переживаниях, неколебимую стойкость героя, претерпевающего бегство друзей, неумолимую злобу врагов и крайне коварную и бедственную судьбу. Да и действие, протекающее отчасти в условиях жизни простолюдинов, позволяло развернуться грубоватому юмору и изысканному пафосу, которыми Бернс попеременно и вволю уснащал свои сельские сцены. И такой подбор издавна близких, обыденных мыслей и чувств не был бы несовместим с мыслями и чувствами высочайшего благородства. В неподражаемой повести о Тэме О'Шентере Бернс оставил нам ясное свидетельство своего искусства сочетать забавно-нелепое с грозным и даже ужасным. Ни один поэт, исключая Шекспира, не умел с такой силой возбуждать разнообразнейшие и противоречивейшие движения души и переживания, мгновенно переходящие одно в другое. Юмористическое описание появления Смерти (в стихотворении о докторе Хорнбуке) прямо-таки устрашаительно, а пляска ведьм в аллоуэйской церкви одновременно и уморительно нелепа и ужасна.

Тем прискорбнее нам, что помянутые мелочные дела отвлекали фантазию столь разностороннюю и могучую, одаренную языком, выразительным в любых случаях, от воздвижения памятника личной славе Бернса и чести его родины.

Следующий раздел — это собрание случайных заметок и общих мест, частью извлеченных из записной книжки поэта, а частью, мы уверены в том, из писем, которые не могли быть опубликованы полностью. Некоторые из них, видимо, взяты из томика, озаглавленного «Письма Роберта Бернса к Кларинде», отпечатанного в Глазго, но впоследствии уничтоженного. Замечания, которые мы высказали касательно писем нашего барда вообще, относятся к этим в еще большей мере, ибо такой отбор блистательных клочков, эффектных, риторических и метафорических излиний сентиментального и жеманного свойства, происходит обычно по усмотрению издателя. Уважение к памяти великого поэта удерживает нас от цитации мест, в которых Бернс низводит свое врожденное красноречие до высокопарного словоблудия. И впрямь, слог его порою оказывается таким вымученным и неестественным, что приводит нас к убеждению: он знал, кому пишет, знал, что притворный пафос платонической любви и преданности придутся красоте Кларинде по вкусу больше, нежели истинный язык сердечного влечения. Нижеследующее место, написанное небрежно и тяжеловесно, показывает, что в страсти Сильвандера (одного имени довольно, чтобы обесславить всю эту пачку любовных писем!) было больше от тщеславия, нежели от подлинного чувства:

И какая же мелкая глупость — эта ребяческая нежность заурядных людишек мира сего, эта бессмысленная забава чад лугов и лесов!!! Но там, где чувство и воображение соединяют свои чары, где вкус и изящество изощряются, где остроумие добавляет приятного привкусу, а здравый смысл придает всему строгость и одухотворенность, какую же сладостною притягательностью обладает там час кроткой ласки! Красота и благосклонность в объятиях истины и чести, во всем роскошестве взаимной любви!

Последняя часть сборника содержит несколько оригинальных стихотворений. Мы несколько удивились, найдя в авангарде прекрасную песню, озаглавленную «Эвенские берега». Мистеру Кромеку надлежало бы знать, что она была опубликована доктором Карри в его первом издании сочинений Бернса и опущена во всех последовавших, ибо было установлено, что она сочинена Элен Мэрайей Уильямс, которая написала ее по просьбе доктора Вуда. То, что она была написана почерком Бернса, явилось причиной первой ошибки, но она была исправлена, и, стало быть, второй нет никакого оправдания.

Остальное состоит из мелких стихотворений, посланий, прологов и песен, благодаря которым репутация автора, не установившись она прежде, никогда бы, смеем это сказать, не поднялась над обычным уровнем. Но как бы то ни было, во всех этих сочинениях по тщательном исследовании можно обнаружить признаки того, что они писаны самим Бернсом, хотя и не в лучшей его манере. В нижеследующей изысканно трогательной строфе содержится суть целой тысячи любовных историй:

Если бы мы не встречались,
Если бы не разлучались,
Если б слепо не любили,
То сердец бы не разбили,

Есть тут одна-две политические песни, в которых видны некоторое остроумие и юмор, но которые можно было бы и не печатать. Сатирические выпады Бернса, когда они относились до особ или сюжетов, находившихся за пределами его личного наблюдения, бывали слишком расплывчаты и грубы, чтобы быть колкими. Встретили мы, правда, несколько весьма острых строф в двух политических балладах, упомянутых выше, но мистер Кромек, видимо, счел их слишком личными для публикации. Есть тут и несколько опытов в английском стихе, где Бернс, как обычно, оказывается ниже самого себя. Это тем примечательнее, что вдохновеннейшие строки в его «Суб-

ботней ночи», «Видении» и других прославленных стихотворениях всегда восходят к языку классической английской поэзии. Но хотя он на это время и усваивал себе естественно и неизбежно Мильтонов или Шекспиров слог, все-таки ему, кажется, всегда бывало не по себе, если почему-либо у него не доставало силы спуститься вольным шагом к тому, что было сродни его слуху и привычкам. Иногда Бернс переходил на английский, но ненадолго и по вдохновению. Когда же этот язык становился главным и непреложным условием творчества, сравнительная бедность рифм и отсутствие множества выразительных слов, которыми щедро оделяло Бернса шотландское наречие, ограничивали и затрудняли поэта. Не было человека, который владел бы лучше Бернса этим стариннейшим местным наречием. Он оставил любопытное свидетельство мастерского владения им в письме к мистеру Николу — попытку прочесть фразу, о которую обломали бы зубы большинство современных шотландцев.

Три-четыре письма от Уильяма Бернса, брата поэта, помещены с целью, которой мы не в силах разгадать, разве лишь с той, чтобы показать, что писал он и мыслил как заурядный шорник-поденщик. Но мы и без всякого доказательства поверили бы, что блестящими способностями нашего поэта остальные члены его семьи одарены не были.

В общем мы не знаем, в каких выражениях нам распроститься с мистером Кромеком. Если взять во внимание одну только репутацию барда, то этот том не может ничего добавить к славе Бернса, да и установилась она за ним слишком прочно, чтобы кто-нибудь мог ее умалить.

Из числа его произведений, не опубликованных доктором Карри, лишь выше помянутая кантата есть и впрямь то единственное, которое мы рассматриваем как не только просто оправдывающее, но и умножающее славу Бернса. О лучших же из ныне опубликованных достаточно будет сказать, что они ничего у нее не отнимают. Что может выиграть публика, когда

ей преподносят дополнительные возможности познакомиться с личностью этого удивительного гения-самоучки, мы уже постарались установить. Не знаем, извлечет ли семья поэта какую-нибудь выгоду из публикации его посмертных произведений. Если так, то это будет наилучшим оправданием того, что их выдали в свет; если же это не так, то не сомневаемся, что издатель, будучи поклонником Чосера, читал о некоем торговце индульгенциями,

Который поселянина сыскал,
Святых мошей ему напродавал
И за день боле выручил, чем тот
Доходу обретет за целый год.

«СТРАНСТВОВАНИЯ ЧАЙЛД-ГАРОЛЬДА»

(ПЕСНЬ III),

«ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК», «СОН»

И ДРУГИЕ ПОЭМЫ ЛОРДА БАЙРОНА

Читая эти поэмы, мы испытывали глубочайшее волнение и, надо полагать, были в этом не одиноки.

Нам случалось подвергать критическому разбору произведения других поэтов, но на их трудах не лежала печать живой личности сочинителя, его, так сказать, обыденных привычек и чувствований; все или почти все эти поэты могли бы применить к своим творениям, хотя и в несколько ином смысле, l'envoi¹ Овидия:

Sine me, Liber, ibis in urbem.²

Конечно, их труды открыты публике, но характер и привычки авторов, обстоятельства их жизни и мотивы, побудившие написать то или иное произведение, известны лишь узкому кругу литературных сплетников, для любопытства которых не существует пищи слишком пресной. И действительно, те, кто предположительно находился в дружеских отношениях с

¹ Напутствие (франц.).

² Книга, пойдешь без меня ты в мой город (лат.).

(Перевод А. Фета.)

каким-либо поэтом, подвергались иной раз такому допросу, что как тут было не вспомнить сумасбродную Арабеллу из романа «Женщина Дон-Кихот», которая считала, что каждая дама, встреченная ею в свете, обязательно должна рассказать ей подробную и интересную историю своей жизни и приключений? На это можно ответить только словами из «Усталого точильщика»:

Историю? Нет у меня историй!¹

Короче говоря, прошли, как видно, времена, когда считалось, что приобщение к греху стихоплетства уже отрешает поэта от обычных жизненных дел и привычек, выделяя его из стада, будто клейменого оленя — отличную мишень для охотников, от которых ему теперь уже не скрыться. Мы не беремся решать, потому ли поэты стали меньше выделяться из толпы в наше время, что теперь они не столь экзальтированы, потому ли, что такова особенность склада нынешних выдающихся сочинителей, потому ли, наконец, что они смолоду старались с помощью разума обуздать, ввести в русло чрезмерный пыл своей натуры. Несомненно одно: в течение многих лет (хотя число преуспевающих поэтов и не меньше, чем в любую другую пору нашей литературной истории) мы сравнительно мало слыхали об их эксцентричных выходках, приключениях или горестях. Несчастный Державин не заслуживает упоминания, ибо он представляет собою исключение, а неудачи Бернса произошли от обстоятельств, не слишком связанных с его могучим поэтическим гением.

И все же именно в наше время мир узрел замечательный пример того, как муза осенила барда с раненной душой и передала ему свою лиру, чтобы он мог излить и, мы надеемся, утишить тоску необычного свойства — тоску, возникшую, вероятно, из удивительного сочетания чувств, прозванного поэтическим темпераментом и так часто омрачавшего дни его обладателей. Да, лорд Байрон больше чем кто-либо иной на

¹ Перевод Э. Линецкой.

свете имеет право претендовать на такой темперамент во всей его силе и со всеми его слабостями, с его безграничной жаждой наслаждения, с его изощренной чувствительностью к радости и к скорби. И не требуется длительного времени или глубокого знакомства с человеческой природой, чтобы понять, почему эти необыкновенные и могучие качества зачастую приносят тому, кто отличается ими, больше страданий, чем счастья.

«Сгусток воображения», в котором величайший из всех когда-либо живших поэтов видел отличительный признак своих собратьев, — это дар, опасный во всех отношениях. Он, разумеется, подстегивает наши ожидания и часто сулит надежду там, где разум ее отвергает; обманчивая радость, порожденная видениями фантазии, подобна радости ребенка, чье внимание привлечено осколком стекла, которому солнечный луч придал мгновенный блеск. Нетерпеливо, затаив дыхание, устремляется дитя к стекляшке — и обнаруживает, что предмет, так его заинтересовавший и восхитивший, ничего собою не представляет и не имеет никакой цены. То же бывает и с человеком, наделенным живым, не знающим усталости воображением, — фантазия переоценивает предмет его устремлений. Попеременно он жаждет наслаждений, славы, отличий, стремится к ним, но проникается презрением, едва они оказываются в его власти. Подобно заколдованному плоду во дворце волшебника, предметы его вождлений утрачивают свою привлекательность, как только их коснется рука искателя приключений, и остается лишь сожалеть о времени, потраченном на погоню, да еще удивляться галлюцинации, которая и послужила толчком к этой погоне.

Так несоответствие между предвкушением и обладанием — чувство, знакомое всем людям, — непомерно вырастает для тех, кого природа наделила способностью золотить отдаленную перспективу лучами собственного воображения. Такие размышления, пусть избитые и самоочевидные, с неизбежностью вызывает у нас поэзия лорда Байрона, потому что она, с одной стороны, исполнена усталости от жизни, равно как и

праждебности к окружающему миру, а с другой — дает повод для проведения удивительной аналогии между этими чувствами и событиями из жизни поэта, столь недавними и столь хорошо всем известными. Произведения, лежащие перед нами, содержат так много прямых намеков на личные переживания и частную жизнь автора, что становится невозможным отделить лорда Байрона от его поэзии или дать критический отзыв на продолжение «Чайлд-Гарольда», не обращаясь к обстоятельствам, при которых впервые появилось начало этого необыкновенного и оригинального произведения.

Титулованный отпрыск знатного рода, лорд Байрон уже в самые юные годы показал, что к этому преимуществу природа добавила еще и богатейшие дары таланта и воображения. Его судьба отчасти рассказана в двух строчках из «Лары»:

Став сиротой, узнав свободу с детства,
Скорбь получил он от отца в наследство.¹

Судьба его первого литературного выступления памятна всем. В поэмах, опубликованных им в отрочестве, были, конечно, ошибки в замысле и стиле, неизбежно сопутствующие юношеским опытам; эти творения следует рассматривать скорее как подражание тому, что поразило слух и фантазию юного автора, нежели как воплощение оригинального замысла, отмеченное яркой выразительностью. Их можно уподобить первому щебету певчей птицы, которая подхватывает трели своих родителей и подражает им, пока привычка и время не принесут ей полноты тона, уверенности и владения собой, а вместе с ними и самостоятельности. Но хотя нашлось немало читателей — в том числе не последних знатоков, — которые разглядели в этих юношеских произведениях и глубину мысли и счастливую выразительность, обещающую многое в возрасте более зрелом, все же поэмы не избежали критической плетки из-за обилия ошибок. Не-

¹ Перевод О. Чюминой.

которые из наших видных собратьев обрадовались случаю вцепиться в титулованного автора; к этому еще прибавилось искушение, на которое особенно податлива наша братия (мы сами не всегда могли устоять против него), а именно — искушение выказать свое остроумие и развлечь читателя живой статьей без особенного уважения к чувствам критикуемого автора и даже без должного указания достоинств, заключающихся в его труде. Критическое обозрение было прочитано и возбудило веселье; поэмы остались без внимания, автор был рассержен и отомстил, осмеяв в язвительных ямбах не только критика-обидчика, но и многих других, в поведении или в писаниях которых юный бард нашел — либо вообразил, будто нашел — нечто для себя обидное. Сатира эта, впоследствии запрещенная, как содержащая запальчиво выраженные мнения, была, во всяком случае, достаточно колкой по тону, чтобы дать повод для репрессий. И хотя стихи эти во многих отношениях могут считаться порождением слишком буйного и необоснованного негодования, они явно свидетельствовали о созревающем таланте автора. Дав, таким образом, волю своему гневу, обрушившись на критиков и на их читателей и перетянув многих, если не всех, насмешников на свою сторону, лорд Байрон уехал за границу, и на несколько лет спор был забыт.

«Странствования Чайлд-Гарольда» вышли впервые в 1812 году, когда лорд Байрон вернулся в Англию, и не было сочинения в этом или прошлом столетии, которое произвело бы на публику большее впечатление. Чтение книг стало явлением столь обычным среди людей всех званий и классов, что новость такого рода немедленно распространяется в различных слоях общества, кроме самых низших, а не передается исподволь от одной группы читателей к другой, как это бывало во времена наших отцов.

Воздействуя на столь широкую среду, «Странствования» по самому своему замыслу должны были в необычайной степени возбудить и приковать к себе всеобщее внимание. Вымышленный герой, чьи чувства, однако, трудно было не отождествлять с чувствами

самого автора, предстал перед публикой, исполненный презрения к тем благам, к которым как будто стремится большинство людей. Чайлд-Гарольд изображен человеком, пресыщенным слишком доступными ему наслаждениями; в перемене мест и обстановки он ищет исцеления от скуки жизни, проходящей без цели. То, что свои стихи и чувства автор захотел вложить в уста именно такого персонажа, говорило об его отношении к публике, чью благосклонность он если и не презирал, то, во всяком случае, не собирался выпрашивать. Однако дерзость этого отрицательного героя, взятого поэтом под самую энергичную защиту, а также блестящие смелого, могучего и оригинального ума, сверкающего в каждой строчке поэмы, — все это наэлектризовало читательскую массу и сразу увенчало лорда Байрона венком славы, ради которого другие талантливые люди трудились так долго, чтобы получить его так поздно. Всеобщее признание выдвинуло автора на главенствующее место среди литераторов его родины. Те, кто, быть может, «соперника страшась», столь строго осуждали его юношеские опыты, первыми проявили теплое, искреннее внимание к его зрелому творению, в то время как другие, находившие, что взгляды Чайлд-Гарольда заслуживают сожаления и порицания, не скрывали своего восторга перед глубиной мысли, могучей выразительностью, красотой описаний и горячностью чувств, одушевляющих «Странствования».

Если читатель на минуту и откладывал книгу с грустным и неприятным ощущением, что написана она, по-видимому, с целью отнять у человека надежду и омрачить его упования на эту и на будущую жизнь, то затем он сразу же невольно вновь принимался за нее, настолько сила этого поэтического гения перевешивала нежелание созерцать мрачные стороны человеческой природы, которые он пожелал раскрыть перед нами. Кое-что публика объясняла его озлобленными воспоминаниями о первой неудаче, которая могла побудить столь высокий ум относиться с презрением к мнению света, кое-что — недавними семейными утратами, — на них глухо намекалось в поэме, да и напи-

сана она, видимо, была отчасти под их воздействием. И большинству читателей казалось, что по временам сквозь облако мизантропии, которым автор окутал своего героя, проглядывают черты более мягкие и добрые...

Итак, все восхищались «Странствованиями Чайлда-Гарольда», все готовы были принести автору дань славы, которая является лучшей наградой поэту и которую по всей справедливости заслужил тот, кто в наше измельчавшее время сумел создать нечто совершенно новое и оригинальное.

Вот так, окруженный столь бурным восхищением, и взошел лорд Байрон впервые, если можно так выразиться, на подмостки общественной жизни, где вот уже четыре года он играет выдающуюся роль. Все в его манерах, личности, разговоре поддерживало очарование, которое излучал его поэтический гений. Те, кому доводилось с ним беседовать, чувствовали, как далек вдохновенный поэт от обыденности, и испытывали к нему привязанность не только благодаря многим его возвышенным свойствам, но и в силу таинственного, неясного, почти мучительного любопытства.

Хорошо известно, как широко распахнуты двери лондонского общества для литературных талантов, даже значительно уступающих таланту лорда Байрона; довольно удостоиться хвалебного отзыва публики, чтобы получить гражданство в самых высоких кругах. Впрочем, лорду Байрону, обладателю наследственных прав и титула, такого рода паспорт не был нужен. Однако его личность, каждое его слово, отмеченное печатью гения, вызывали интерес, намного превышавший все то, что могли бы дать одни наследственные притязания; прием, ему оказанный, отличался энтузиазмом, какого мы никогда не видели и о каком даже не слыхивали.

Мы уже отмечали, что лорд Байрон не принадлежит к литераторам, о которых можно по справедливости сказать: «*Minuit praesentia famam*». ¹ Интерес-

¹ Присутствие уменьшает славу (лат.).

нейший объект для искусства физиономиста представляло его изумительно вылепленное и словно созданное для проявления чувства и страсти лицо; очень темные волосы и брови вступали в резкий контраст со светлыми и выразительными глазами. Преобладало на нем выражение глубокой, неустанной мысли, которое сменялось оживленной игрой всех черт, как только Байрон затевал увлекательный спор, что дало повод одному из поэтов сравнить это лицо с рельефным изображением на прекрасной алебастровой вазе, проступающим в своем совершенстве лишь тогда, когда ваза освещена изнутри. Во время вечерней беседы лицо Байрона оживляли попеременно то смех, то веселье, то негодование, то издевка, то отвращение, и человеку постороннему каждое из этих выражений могло показаться главенствующим — так легко и полно отражалось оно в каждой черте. Но те, кто имел случай изучать эти черты в течение более длительного срока и при различных обстоятельствах — в покое и в волнении, — согласятся с нами, что чаще всего они были отмечены печатью меланхолии. Порой тень печали омрачала даже самые беспечные, самые счастливые минуты поэта, и говорят, что следующие стихи вырвались из-под его пера как просьба о прощении за набегавшее темное облако, затуманившее общее веселье:

Когда из глубины сердечной
Скорбь ускользает на простор
И, омрачив мой лик беспечный,
Слезами увлажняет взор,
Не бойся этой тучи черной:
Она в глубь сердца вновь уйдет
И там, рабой моей покорной,
Безмолвно кровью истечет.¹

Стоило взглянуть на это необыкновенное лицо, которое отражало глубокое уныние, столь противоречившее высокому званию, возрасту и успехам молодого дворянина, как в вас немедленно пробуждалось стран-

¹ Перевод Э. Линецкой.

ное любопытство, желание понять, не вызвано ли оно причиной более глубокой, чем привычка или темперамент. Очевидно, такого рода расположение духа было безмерно серьезнее, чем то, о котором говорил принц Артур:

Во Франции у молодых дворян,
Я помню, как-то прихоть появилась
Ходить угрюмыми, как ночь.¹

Но как бы там ни было, уныние это в соединении с манерой лорда Байрона принимать участие в развлечениях и спортивных играх с таким видом, словно он презирает их и чувствует, что предназначен для дел, недоступных окружающей его легкомысленной толпе, придавало яркий колорит личности и без того романтической.

Знатного и старинного происхождения, изысканно воспитанный, с умом, обогащенным знанием античности, много путешествовавший по отдаленным и диким странам, поэт, прославленный как один из лучших, рожденных Британией, человек, сумевший, помимо всего прочего, окружить себя загадочным очарованием благодаря сумрачному тону своей поэзии, а иногда — и своим меланхолическим манерам, лорд Байрон привлекал все взоры и возбуждал всеобщий интерес. Люди восторженные преклонялись перед ним, люди серьезные стремились наставить его на путь истинный, а добрые жаждали утешить. Даже литературная зависть, низменное чувство, от которого наша эпоха, быть может, свободнее, чем все предыдущие, — даже она щадила человека, чей блеск затмил славу его соперников.

Великодушный нрав лорда Байрона, его готовность помогать достойным людям, попавшим в беду, и, если они были неизвестны, выдвигать их, заслужили и обрели общее уважение у тех, кто сам обладал этими качествами. Что касается его творчества, то этот поток, стремившийся с неиссякаемой мощью, свидетельствовал о смелой уверенности автора в своем даровании

¹ Перевод Н. Рыковой.

и твердой воле удержать с помощью постоянных усилий то высокое место, какое он занял в британской литературе.

Правда, нам приходилось слышать, как осуждали Байрона за быстроту, с которой он сочинял и публиковал свои творения; кое-кто утверждал, что эта быстрота якобы угрожает славе поэта, хотя и доказывает его талант. Мы склонны оспаривать подобные утверждения, по крайней мере в данном случае.

Иной раз хочется упрекнуть тех слишком робких авторов, которые, имея все права на внимание публики, все же настолько боятся критики, что избегают частых выступлений и, таким образом, себя лишают признания, а публику — удовольствия, какое они могли бы ей доставить. Когда успех приходит нежданно и, быть может, незаслуженно — лишь потому, что таков каприз моды, — тогда не мешает смельчаку поскорее забрать свой выигрыш и выйти из игры, ибо каждая последующая ставка все уменьшает его шансы на успех. Но если поэт наделен истинным талантом, то плохо заботятся о публике и об этом стихотворце те, кто не побуждает его трудиться, пока еще хранит свежесть лавровый венок на его челе. Наброски лорда Байрона драгоценнее, чем законченные картины многих других, и мы отнюдь не уверены, что шлифовка, которой он мог бы заняться, не стерла бы, вместо того чтобы сделать более четкими, штрихи, пусть еще не довольно завершенные, но поражающие своей могучей оригинальностью. Ведь никто не пожелал бы обречь Микеланджело на обработку одной-единственной глыбы мрамора вплоть до тех пор, пока он полностью не удовлетворил бы глупых требований того римского папы, который, не замечая величественной осанки и всего изумительного облика Моисея, принялся осуждать какую-то морщинку на складке его одежды.

Тем, кто будет настаивать, что, побуждая талант к творческой расточительности, мы поощряем в молодых соискателях литературных отличий небрежность и поспешность, мы ответим, что замечание наше не относится к ученикам. Оно адресовано только тому,

для кого поэзия, искусство столь же трудное, сколь пленительное, — родная стихия, кто благодаря усердным занятиям овладел всеми тайнами ремесла и кто, думается нам, неустанной работой над новыми произведениями лишь подстегивает и развивает свой талант, который был бы укрощен и парализован длительными мелочными потугами довести до предельной завершенности то или иное творение.

Если мы бросим взгляд на наше поэтическое хранилище, то обнаружим, что, в общем, самые выдающиеся поэты были и наиболее плодовитыми и что те, кто, как Грей, ограничивались немногими поэмами, начинали потом править их слишком старательно и усидчиво и в конце концов придавали им черты принужденности и искусственности. А это, отнюдь не обезоруживая критику, скорее обостряло ее ярость, ибо аристарх, подобно Ахиллу, преследующему Гектора, старается нанести смертельную рану, пользуясь для этого любой трещинкой в якобы непроницаемых доспехах, которыми тщетно прикрывает себя осторожный бард.

Мы должны, однако, сделать оговорку: человеческая изобретательность не может быть до бесконечности плодотворной, и даже гений рискует, говоря языком земледельца, стать «неурожайным» и бесплодным. А так как любой автор всегда обладает своим особым стилем, который дается ему лучше всех других, и, следовательно, привержен к какой-то определенной манере, он повел бы себя неразумно, если бы продолжал упорно навязывать себя публике и в тех случаях, когда воображение у него уже иссякло или особенности его стиля стали слишком избитыми и привычными; он уподобился бы тогда старому актеру, который «ненужный, тащится по сцене», известному статисту в тех самых пьесах, где некогда он играл главного героя.

Тщеславие нередко обрекает гениального человека на подобное унижение; несомненно, этому весьма способствует и многословие, а также вошедшая в привычку небрежность композиции. Поэтому мы советуем авторам выступать на общественной арене, пока

публика благосклонна к ним, а их тщательно развитый талант находится в полном расцвете, и, не покладая рук, энергично трудиться, пока надежда в зените, дух бодр, а читатели настроены доброжелательно, — но с тем, чтобы, едва ослабеют нервы или неостанет дыхания, уступить дорогу другим кандидатам на первенство, достойно и с почетом выйти из соревнования и заняться предметами, более подходящими для слабеющей фантазии, нежели пылкое искусство поэзии.

Но это уже дело самих авторов; если они не пожелают следовать таким осмотрительным курсом, на стол читателя ляжет, конечно, больше ненужных книг, чем в ином случае; а так как свет всегда готов воспользоваться первой возможностью, чтобы отречься от бывших своих увлечений, то прежние лавры на время потеряют свой глянец из-за совершенной этими писателями ошибки. Но, с точки зрения интересов публики, беда эта куда менее страшна, чем та, которая является следствием робкой осмотрительности, побуждающей гения подавлять свои порывы, пока последний его труд не будет отшлифован до недостижимого совершенства; и мы можем только повторить наше утверждение, что поэзия, которая в самых совершенных своих творениях отличается возвышенностью и безыскусной красотой, более, чем всякое другое искусство, рискует пострадать от кропотливой полировки, от излишней изысканности и вычурности стиля, от чередования подчеркнутой простоты и затейливости, характерных для произведений даже лучших поэтов, если они чрезмерно беспокоятся о том, чтобы обеспечить себе благосклонность публики путем повторных и мелочных исправлений. При этом надлежит помнить, что речь идет лишь о высших областях творчества; есть и другие области — прикладного характера, — где избыток стараний и труда отнюдь не вредит. Но мы никак не согласны с тем, что чересчур усердная шлифовка пошла бы на пользу поэмам лорда Байрона, цель которых воздействовать на воображение и будить страсти.

Возвращаясь к предмету, от которого мы несколько уклонились, скажем, что быстрота, с какой на про-

тяжении четырех лет следовали одна за другой поэмы лорда Байрона, разумеется, захватила, потрясла и привела в восторг публику; и не было оснований обращаться к нему, находившемуся на вершине славы и во цвете лет, с теми предостережениями, какие мы могли бы шепнуть другим всенародно известным бардам. «Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Осада Коринфа» выходили в свет с поспешностью, с которой мог соперничать только их успех. И если порой казалось, что автор приостанавливает поэтический разбег, как бы грозя временно застыть на месте, то, хотя публика и терпела при этом известный урон, она ничуть не гневалась на виновника своего разочарования.

Несравненно прекрасные сами по себе, поэмы эти, сверх того, были еще окружены особым ореолом, связанным с романтическими странами, где протекает их действие, с их восточным нарядом, столь живописным и столь строго выдержанным. Греция, колыбель поэзии, с которой мы сроднились еще на школьной скамье, предстает перед нами в обаянии своих руин и несчастий. В поэмах лорда Байрона раскрываются перед нами ее чудесные пейзажи, некогда посвященные божествам, которые, и утратив свой трон на Олимпе, продолжают сохранять поэтическую власть; сюда надо добавить моральное воздействие, связанное с раздумьями о настоящем и прошлом Греции, с невольными сопоставлениями философов и героев, прежде населявших эту романтическую страну, с их потомками, которые либо гнут шею перед скифскими завоевателями, либо, найдя прибежище в своих овеянных древностью горах, хранят независимость столь же дикую, сколь и ненадежную.

Особенности восточного стиля, настолько своеобразные и живописно-эффектные, что они придают очарование даже нелепостям восточной сказки, здесь особенно уместны, ибо они украшают то, что и само по себе прекрасно, добавляют прелесть новизны к тому, что захватило бы даже без их содействия. Могучее впечатление, производимое этим оригинальным видом поэзии, лишний раз подтверждает истину, которую

вряд ли станут оспаривать, когда она преподнесена в качестве аксиомы, но которой очень редко следуют на практике. Заключается она в том, что каждому автору надлежит, подобно лорду Байрону, воссоздать в своем уме точно, определенно и ясно тот пейзаж, те чувства или те действия, которые он намерен описать. Тогда их живо воспримет и читатель. Этим простым положением пренебрегали так часто, что мы считаем себя вправе уделить ему несколько больше внимания и привести больше примеров, чем это покажется с первого взгляда нужным неискушенным людям.

Иной автор забывает порою, что его дело — скорее возбудить, нежели насытить воображение, скорее дать читателю ясный и четкий набросок, который тот мог бы восполнить силой своей фантазии, нежели пытаться исчерпать все, что можно сказать о предмете, и тем самым притупить восприятие и рассеять внимание. В поэтическом описании, точно так же как в родственном искусстве живописи, необходимы соразмерность частей и перспектива; лишь с их помощью то, о чем мы читаем или на что смотрим, становится четким, разумным и понятным. Правда, художник имеет известное преимущество перед поэтом, ибо перспектива — подлинная основа его искусства. Самый жалкий мазилка, когда-либо бравшийся за кисть, знает, что изображаемые предметы должны уменьшаться по мере их удаления от глаза, что ему не следует, к примеру, слишком четко писать утесы на заднем плане и вырисовывать лишайники и кусты, растущие на их поверхности и в расщелинах ибо, хотя и те и другие существуют в действительности, но на таком расстоянии наш глаз не различает столь мелких предметов. Вообразите, однако, такого же новичка, но на этот раз служителя поэтической музыки: не колеблясь ни минуты, он нарушит это спасительное правило. С кропотливостью какого-нибудь китайского художника он постарается ввести в свое повествование все известные ему подробности и, перемешав важное для замысла с тем, что имеет лишь второстепенное значение, даст множество зарисовок, более или менее мастерских — в зависимости от живости его вообра-

жения, — но при этом путаных, несовместных и сбивающих с толку читателя, который напрасно будет пытаться свести их в уме в единую ясную картину с верной пропорцией между частями. Возможно, что этот поэт и собрал отличный материал для своего сочинения, но он не сумел разумно обработать его, а следовательно, и создать в уме читателя должный образ — потому, вероятно, что ему самому он никогда не представлялся с достаточной отчетливостью.

Так, в особенности, обстоит дело с сочинителями, которые, не обладая эрудицией Саути, воображением Мура или личным опытом лорда Байрона, пытаются повествовать о странах или эпохах, чьи обычаи и нравы им не слишком знакомы. Эти смельчаки вынуждены непрерывно облагать тяжелой данью свой скудный запас сведений и, худо ли, хорошо ли, выставлять напоказ ту малость, что заимствована ими из книг.

Они уподобляются Чаттертону — не в его гениальности, конечно, а только в заблуждениях, — который, не приняв во внимание, что даже у древнейших наших писателей устарело едва лишь одно слово из десяти, и полагая, что он им подражает, сочинил цикл поэм, где каждое второе слово взято из словаря и, следовательно, без словаря остается непонятным. Так вот и получается, что, если поэт орудует материалом, которым не вполне владеет, он вынужден, рискуя оскорбить и вкус и здравый смысл, как можно чаще показывать читателям и возможно дольше держать перед глазами некие опознавательные знаки, пытаясь с их помощью создать впечатление достоверности рассказа. Но это покушение с негодными средствами, ибо для изображения восточного пейзажа недостаточно, чтобы передний план был загроможден тюрбанами и саблями или киосками и мечетями фантастической архитектуры, если даль не отмечена тонкими, но хорошо различимыми штрихами, подчеркивающими реальность всей сцены, — легко обозначенной пальмой над виднеющимся вдали фонтаном, или темными, неясными очертаниями длинной колонны уходящего каравана, или стражем, который отдыхает, опершись

на копье, покуда вокруг дремлют его соплеменники, как в этой пленительной картине, взятой из лежащей перед нами поэмы:

Стал взрослым юноша и средь пустынь
На юге пламенном нашел приют.
Он впитывал душой свет яркий солнца,
Вокруг все было странно, и он сам
Другим стал, не таким, как был когда-то.
Скитался он по странам и морям,
И множество видений, словно волны,
Вдруг на меня нахлынули, но он
Был частью их; и вот он, отдыхая
От духоты полуденной, лежал
Средь рухнувших колонн, в тени развалин,
Надолго переживших имена
Строителей; паслись вблизи верблюды,
И лошади стояли у фонтана
На привязи, а смуглый проводник
Сидел на страже в пышном одеянье,
В то время как другие мирно спали.
Сиял над ними голубой шатер
Так ясно, и безоблачно, и чисто,
Что только бог один был виден в небе.¹

(«Сон»)

Вот она, настоящая соразмерность: восточная картина, где прекрасен и передний план, и даль, и небо, где нет ни одной подробности, слишком разросшейся или слишком разработанной и затемняющей главную фигуру. Как часто именно в легких, почти неуловимых мазках и сказывается рука мастера, как часто одна-единственная искра, высеченная его фантазией, словно долгой вспышкой фейерверка озаряет воображение читателя!

Есть еще одна замечательная особенность в поэзии лорда Байрона: хотя его манера часто меняется, хотя он как будто перенимает у некоторых своих современников строфику и самый стиль, поэзия его не только всегда отмечена сильнейшей оригинальностью,

¹ Перевод М. Зенкевича,

но основными чертами и особенно характерами героев каждая поэма так похожа на другую, что писатель не столь могучий показался бы нам неприятно монотонным. Все или почти все его герои наделены в какой-то степени свойствами Чайлд-Гарольда: все или почти все находятся в разладе с судьбой, все таят в душе чувства высокие и горькие, идет ли речь о страдании или наслаждении, все, невзирая на обличье стоицизма или презрения к роду людскому, умеют остро воспринимать благородные и честные поступки, равно как и несправедливость или обиду. У всех сила ранних страстей и пыл юношеского чувства охлаждены и подавлены вереницей проступков или даже преступлений, а радость жизни омрачена слишком близким знакомством с тщетой человеческих желаний. Такими общими свойствами отмечены суровые герои лорда Байрона — и те, кого осеняет причудливая шляпа прославленного Пилигрима, и те, кто скрывается под тюрбаном Альпа Отступника.

Читатели, всегда жаждущие в своем любопытстве или недоброжелательности отыскать живые прототипы вымышленных персонажей, упорно заявляли, что эти общие всем своим героям черты Байрон скопировал с того лица, которое отражалось в его собственном зеркале. По этому поводу высокородный автор заявил однажды формальный протест, хотя, заметим, не поколебал оснований, на которых было построено такое предположение:

Что касается этой моей поэмы и поэм вообще, я был бы рад сделать моих героев по возможности лучше и приятнее, тем более что иногда меня критиковали и считали не менее ответственным за их поступки и качества, чем за мои собственные. Если это так, если я склонен к угрюмому тщеславию — «рисованию самого себя», портреты, вероятно, схожи с оригиналом, поскольку они неслестные; если же это неверно, те, кто меня знает, не ввадутся в обман, а что до тех, кто меня не знает, то я не слишком интересуюсь, будут они обмануты или нет. У меня нет особого желания, чтобы кто-либо, кроме моих личных знакомых, думал об авторе лучше, нежели о созданиях его фантазии, но все же мне показалось несколько странным и даже забавным то обстоятельство, что критики почему-то делают исключение для некоторых бардов (согласен, гораздо более достойных, чем я), которые пользуются весьма почтенной

репутацией и считаются совершенно непричастными к проступкам своих героев, не слишком, однако, превосходящих нравственностью Гяура и, может быть... Но нет, должен признать, что Чайлд-Гарольд — весьма отталкивающий персонаж... А что касается установления его личности, то пусть любители такого рода занятий дают ему сколько угодно *aliases*.¹

Трудно сказать, следует ли принять этот отрывок за подтверждение или, напротив, за опровержение домыслов, о которых в нем говорится, но, конечно, лорд Байрон был несправедлив к публике, если предполагал, что ему вменяют в вину преступные деяния, питающие многих его героев. Люди так же мало ожидали встретить в лице лорда Байрона второго Корсара (который «сам знал, что он злодей»), как на берегах Деруэнт-Уотер — жестокого Кехаму или на берегах Твида — распутного Мармиона, однако те, кто видел лорда Байрона, найдут известное сходство даже между его внешним обликом и обликом Конрада:

Лишь темный взор его горит огнем.
Он крепок и силен, а стройный стан
Его высок, хоть он не великан,
Но посмотревший на него смущен
Сознанием, что от всех отличен он,
И видят все они, что это так,
Но отчего — им не понять никак.
Лицо обветрено, на белый лоб
Густых кудрей спадает черный сноп,
Усмешка, тронув горделивый рот,
Надменные мечтанья выдает.
Хоть ровен голос и спокоен вид,
Но что-то есть, что он в себе таит;
Изменчивость подвижного лица
Порой влечет, смущает без конца...²

(«Корсар»)

А тот аскетический режим, который соблюдал высокогородный автор, также весьма четко обозначен в описании еды Корсара:

¹ Иначе. *Здесь*: вымышленных имен (лат.).

² Перевод А. Оношкович-Яцыны.

Его не радует стаканов звон,
Ни разу кубка не пригубил он,
Но и простой еды его зато
Не захотел отведать бы никто.
Коренья, черный хлеб, глоток воды,
А летом овощи или плоды.
Такой суровый и убогий стол
Отшельнику скорей бы подошел.¹

(«Корсар»)

Следующее описание Лары, внезапно и негаданно возвратившегося из дальних странствий на родину и вновь занявшего подобающее ему место в обществе, тоже вполне может быть отнесено к автору и к той роли, которую он порой играл в кругах, где знатность соседствует с красотой:

Его года заметно изменили,
Чем бы ни стал, но он не то, что был,
Морщины на челе следы хранили
Былых страстей. Надменность, но не пыл
Дней юности; с осанкой благородной
Небрежность обхождения, вид холодный
И острый взор, что проникает вмиг
В чужую мысль; насмешливый язык —
Орудье тех, кто был ужален светом,
И жалить сам, как бы шутя, привык
До боли он, хотя сознаться в этом
Те не хотят, кого укол постиг, —
Все было в нем и с примесью иного,
Чего не передаст ни взор, ни слово.
Любовь, и честолюбье, и успех
Желанны всем, доступны не для всех;
Угасли в нем, смирились их порывы,
Хотя они недавно были живы,
Но отблеском глубоких чувств на миг
Порою озарялся бледный лик.²

(«Лара»)

¹ Перевод А. Оношкович-Яцыны.

² Перевод О. Чюминой.

Мы не собираемся писать историю жизни лорда Байрона, хотя связь, уже установленная между его характером и поэзией, заставляет нас касаться и его литературной судьбы, и его манеры держаться, и даже его внешности. Впрочем, у нас достаточно сведений о его частной жизни, и мы можем поручиться, что хотя в юности он совершил немало опрометчивых поступков — так оно обычно и бывает с молодыми людьми, которые слишком рано становятся хозяевами своего поведения и денежных средств, — но только клевета и злоба способны приписывать ему какие-либо серьезные причины для безнадежных угрызений совести или мрачной мизантропии. Но как же тогда объяснить странную привычку автора (столь талантливого и искусного в изображении пагубного влияния вины и угрызений совести на человеческий характер) придавать свои собственные черты разбойникам и пиратам, которых он нарисовал карандашом, достойным по силе Сальватора?

На такой вопрос может быть дан не один ответ. Мы не беремся сказать, какой из них лучше всего подкрепляется фактами. Подобные склонности могут возникнуть под воздействием темперамента, который в силу глубокой и врожденной меланхолии — разительный пример тому Гамлет — заставляет своего «владельца» придумывать острые и захватывающие сцены борьбы непреклонной гордыни с укорами совести и находить наслаждение, воображая себя преступником, окруженным опасностями, — так некоторые люди инстинктивно любят ходить по краю головокружительной пропасти либо, держась за хрупкую веточку, склоняться над бездной, куда низвергается мрачный поток... Или, возможно, эти перевоплощения совершаются по прихоти, подобно тому как человек, обдумывая маскарадный костюм, останавливает свой выбор на плаще, кинжале и потайном фонаре *bravo*...¹ А быть может, сознавая свою силу в изображении мрачного и ужасного, лорд Байрон увлекся и придал своим героям сходство с собою, подобно ак-

¹ Наемного убийцы (*итал.*).

теру на сцене, представляющему одновременно и себя самого и трагический образ, в который он на время перевоплощается. Не кажется несовместимым с характером поэта и предположение, что, презирая критику, обрушившуюся по этому поводу на Чайлд-Гарольда, он решил показать читателям, как мало она его затрагивает и как ему легко и просто добиться внимания и уважения, даже если он вздумает придать свои личные черты и особенности пиратам и преступникам.

Но хотя мы и не беремся устанавливать мотивы, побудившие лорда Байрона так часто знакомить публику со своими чувствами и взглядами, мы с должным восхищением взираем на этот необыкновенный талант, который, вопреки кажущемуся однообразию, способен надолго приковать к себе внимание общества и снискать себе его горячее и единодушное одобрение.

Разносторонность авторов, умеющих правдоподобно изображать характеры совершенно различные и вовсе не похожие на их собственный, придает их произведениям невыразимую прелесть разнообразия и часто спасает от забвения, которое, в общем, подстерегает все, что, говоря технически, называется маньеризмом. Но только Байрону удавалось вновь и вновь выводить на общественную сцену один и тот же характер, который не кажется однообразным лишь благодаря могучему гению его автора, умеющего находить пружины страстей и чувств в глубочайших тайниках сердца и знающего, как их скомбинировать, чтобы держать читателя в постоянном, неослабевающем напряжении, хотя бы главный персонаж драмы и сохранял все время одни и те же очертания.

Настанет день, когда не последним феноменом нашей литературной эпохи будет признано то, что на протяжении четырех лет (несмотря на обилие выдающихся литературных талантов, которыми мы вправе похвалиться) один-единственный автор, да еще пишущий с беспечной и небрежной легкостью знатного

джентльмена, автор, чьи сюжеты так сходны между собой, а персонажи так напоминают друг друга, все же, вопреки этим обстоятельствам, вопреки неприятным качествам, какими он обычно наделяет своих героев, и вопреки пресловутому непостоянству публики, сумел сохранить свое влияние на читателей, возникшее сразу же после выхода его первого зрелого произведения. Но ведь дело обстояло именно так. За вычетом мнений тех сравнительно малочисленных поклонников других выдающихся поэтов, которые, естественно, группировались вокруг своих любимцев, лорд Байрон был в то время и, возможно, останется еще на какой-то срок всеми признанным первым поэтом английского Парнаса. Если власть его над умами уменьшилась, то случилось это не из-за того, что он потерпел литературную неудачу, не из-за триумфа соперников, но по другим обстоятельствам; на них так часто уже намекали во всякого рода статьях, что мы не можем пройти мимо совсем без отклика; впрочем, мы постараемся сделать его в равной мере кратким и беспристрастным.

Итак, поэт столь одаренный, снискавший такое восхищение и столько похвал, не мог дольше считать себя незаконно лишенным заслуженной славы или презрительно вычеркнутым из списка, где он значился первым кандидатом на почести. Увенчанный всеми отличиями, какими располагает публика, он, казалось, находился в самом завидном положении, какого мыслимо добиться чисто литературной известностью. То, что последовало за этим, можно рассказать теми же словами, которые были выбраны автором (здесь еще явственнее, чем в начале поэмы, отождествляющим себя с Чайлд-Гарольдом) для объяснения причины, заставившей героя поэмы снова взять посох пилигрима, хотя, казалось бы, можно было надеяться, что он до конца жизни уже не покинет своей родной страны. Пространность этой цитаты извинят все, кто способен почувствовать, какой интерес она представляет и с нравственной, и с поэтической точки зрения.

VIII

Но, впрочем, хватит: все ушло с годами;
На прежних чарах черствая печать...
Вновь Чайлд-Гарольд является пред нами
С желанием — не чувствовать, не знать,
Весь в ранах (не дано им заживать,
Хотя и мучат). Время, пролетая,
Меняет все. Он стал — годам под стать:
И пыл и силы жизнь ворует злая,
Чей колдовской бокал уже остыл, играя,

IX

Гарольд свой кубок залпом осушил;
На дне — полынь. Он от ключа иного —
Светлей, святей — в него напитка влил
И думал снова наполнять и снова,
Увы! На нем незримая окова
Замкнулась вдруг, тесна и тяжела,
Хоть и беззвучна. Боль была сурова:
Безмолвная, она колола, жгла,
И с каждым шагом — вглубь ползла ее игла,

X

Замкнувшись в холод, мнимым недотрогой
Он вновь рискнул пуститься к людям, в свет.
Он волю закаленной мнил и строгой,
Мнил, что рассудком, как броней, одет:
Нет радости, зато и скорби нет,
Он может стать в толпе отъединенным
И наблюдать — неузнанный сосед, —
Питая мысль. Под чуждым небосклоном
Так он бродил, в творца и в мир его влюбленным.

XI

Но кто б смирить свое желанье мог
Цветок сорвать расцветшей розы? Кто же,
Румянец видя нежных женских щек,

Не чувствует, что сердцем стал моложе?
Кто, Славу созерцая, — в звездной дрожи,
Меж туч, над бездной, — не стремится к ней?
Вновь Чайлд в кругу бездумной молодежи,
В безумном вихре не считая дней;
Но цели у него не прежние — честней.

XII

Потом он понял, что людское стадо —
Не для него, не властен бог над ним;
Свой ум склонять он не умел измлада
Перед чужим умом, хотя своим
Гнал чувство с юных лет. Неукротим,
Он никому б не предал дух мятежный:
Никто не мог бы властвовать над ним.
И, в скорби горд, он жизнью мог безбрежной
Дышать один, толпы не зная неизбежной.

XIII

Где встали горы, там его друзья;
Где океан клубится, там он дома;
Где небо сине, жгучий зной струя,
Там страсть бродить была ему знакома.
Лес, грот, пустыня, хоры волн и грома —
Ему сродни, и дружный их язык
Ему ясней, чем речь любого тома
Английского, и он читать привык
В игре луча и вод Природу, книгу книг.

XIV

Он, как халдей, впивался в звезды взглядом
И духов там угадывал — светлей
Их блеска. Что земля с ее разладом,
С людской возней? Он забывал о ней.
Взлети душой он в сферу тех лучей,
Он счастье знал бы. Но покровы плоти
Над искрою бессмертной — все плотней,
Как бы ревнуя, что она в полете
Рвет цепи, что ее вы, небеса, зовете.

XV

И вот с людьми он стал угрюм и вял,
 Суров и скучен; он, как сокол пленный
 С подрезанным крылом, изнемогал,
 А воздух был и домом и вселенной.
 И в нем опять вскипал порыв мгновенный:
 Как птица в клетке в проволочный свод
 Колотится, покуда кровью пенной
 Крыла, и грудь, и клюв не обольет,
 Так в нем огонь души темницу тела рвет.

XVI

И в ссылку Чайлд себя послал вторую;
 В нем нет надежд, но смолк и скорбный стоп,
 И, осознав, что жизнь прошла впустую,
 Что и до гроба он всего лишен,
 В отчаянье улыбку втиснул он,
 И, дикая, она (так в час крушенья,
 Когда им смерть грозит со всех сторон,
 Матросы ром глушат, ища забвенья)
 В нем бодрость вызвала, и длил он те мгновенья...¹

Комментарии, проясняющие смысл этого меланхолического рассказа, давно известны публике — их еще хорошо все помнят, ибо не скоро забываются ошибки тех, кто превосходит своих ближних талантом и достоинствами. Такого рода драмы, и без того душераздирающие, становятся особенно тягостными из-за публичного их обсуждения. И не исключено, что среди тех, кто громче всего кричал по поводу этих несчастных событий, находились люди, в чьих глазах литературное превосходство лорда Байрона еще увеличивало его вину. Вся сцена может быть описана в немногих словах: мудрый осуждал, добрый сожалел... а большинство, снедаемое праздным или злорадным любопытством, сновало туда и сюда, собирая слухи, искажая и преувеличивая их по мере повторения; тем

¹ Здесь и в дальнейшем все цитаты из поэмы «Странствования Чайлд-Гарольда» даны в переводе Г. Шенгели,

временем бесстыдство, всегда жаждущее известности, «вцепившись», как Фальстаф в Бардоляфа, в эту добычу, угрожало, неистовствовало и твердило о том, что надо «взять под защиту» и «встать на чью-либо сторону».

Семейные несчастья, которые на время оторвали лорда Байрона от родной страны, не охладили его поэтического огня и не лишили Англию плодов его вдохновения. В третьей песне «Чайлд-Гарольда» проявляется во всей силе и во всем своеобразии та буйная, могучая и оригинальная струя поэзии, которая в предыдущих песнях сразу привлекла к автору общественное внимание. Если и заметна какая-либо разница, то разве в том, что первые песни кажутся нам старательнее обработанными и просмотренными перед опубликованием, а нынешняя как бы слетела с авторского пера: сочиняя ее, поэт уделял меньше внимания второстепенным вопросам слога и версификации.

И тем не менее в ней так чувствуется глубина и напряженность страсти, настолько оригинален тон и колорит описаний, что недостаток отделки некоторых деталей скорее усиливает, нежели ослабляет энергию поэмы. Порою кажется, что поэт в своем стремлении обрушить на читателя «мыслей пламя, слов огонь», сознательно пренебрегал заботой о самодовлеющем изяществе, что встречающаяся иногда шершавость стиха соответствовала мрачным раздумьям и душевному страданию, которые этот стих выражает. Мы замечали, что такое же впечатление производила игра миссис Сиддонс, когда она, стараясь выделить какой-нибудь монолог, полный глубокого чувства, нарочно, по-видимому, принимала позу напряженную, застывшую, неестественную, диаметрально противоположную правилам изящного, ради того, чтобы лучше сосредоточиться и дать выход печали или страсти, которые не терпят украшательства.

Так и версификация в руках поэта-мастера всегда соответствует мыслям и действиям, которые она выражает, а «строчка трудится, слова текут лениво», вырываясь из груди под воздействием тяжелой и мучительной думы, как огромная глыба из рук Аякса...

Все же, раньше чем продолжить эти замечания, следует дать некоторое представление о плане третьей песни.

Тема та же, что и в предшествующих песнях «Странствований». Гарольд скитается в чуждых краях, среди чуждых пейзажей, которые возбуждают в его уме множество дум и размышлений. Песнь открывается прекрасным и патетическим, хотя и отрывистым, обращением к малютке дочери автора и сразу же привлекает наш интерес и наше сочувствие к добровольно ушедшему в изгнание Пилигриму:

I

Дочь, птенчик, Ада милая! На мать
Похожа ль ты, единственно родная?
В день той разлуки мне могла сиять
В твоих глазах надежда голубая,
Зато теперь... Вскочил я, дрожь смиряя;
Вокруг вода бушует, в вышине
Крепчает ветер. Вновь плыву, не зная
Куда. Вновь тает брег родной в волне,
Но в том ни радости уже, ни скорби мне...

II

Вновь я плыву! Да, вновь! И волны снова,
Как бы скакун, что к ездоку привык,
Меня стремят. Привет им — в буйстве рева!
Пусть мчат меня — скорее, напрямик,
Куда-нибудь! Пусть мачты, как тростник,
Сгибаются и парус хлещет рваный —
Я должен плыть. Я над волной поник,
Сноси ж удары волн и ярость урагана!

Затем возобновляется тема Чайлд-Гарольда, а дальше следуют уже цитированные нами стансы, которые, надо признать, сближают высокогородного автора с детищем его фантазии еще теснее, нежели это было в предыдущих песнях. Нас отнюдь не надо понимать так, будто все чувства и похождения Чайлд-

Гарольда следует приписывать лорду Байрону. Нет, мы только хотим сказать, что в вымышленном Пилигриме есть многое от самого автора.

О сюжете лишь заметим кратко, что местности, о которых в нем повествуется, равно относятся и к области реального и к области прекрасного.

Один наш остроумный друг хорошо подметил, что равнина, скала, холм, связанные с тем или иным событием, часто производят на ум более сильное впечатление, чем даже памятники искусства, которые специально созданы, чтобы сохранить о нем воспоминание.

Такие места имеют и преимущество долговечности, они порождают ассоциации с эпохами отдаленными, о которых молчит даже искусство. Картины выцветают, статуи рассыпаются в прах, храмы рушатся, города гибнут, но бессмертна земля Марафона, и тот, кто ступает по ней, приобщается к истории Афин теснее, чем мог бы приобщить его художник, поэт или ваятель. Шекспир, от которого ничто не укрывалось, указывает в знаменитом, уже цитированном нами отрывке, что одно из высочайших назначений поэзии — сблизить наши мысли с каким-нибудь «местным обиталищем». Потому-то и неправы те, кто утверждает, что поэзия имеет дело с чистым вымыслом. Этим грешит — и, быть может, слишком часто — роман. Но поэзия, по крайней мере поэзия хорошая, сопряжена исключительно с реальностями либо зрительного, либо умозрительного порядка. Вот почему мы с необычайным удовольствием следуем за Пилигримом по местам, которым его поэтический гений сообщает особый интерес, напоминая о том, какие события связаны с ними ассоциациями исторического или нравственного порядка.

Он приезжает в Ватерлоо — местность, где любой человек и особенно поэт, да еще такой, как лорд Байрон, должен помедлить. Здесь, посреди спокойного, простого пейзажа, им властно овладевают мысли более глубокие и волнующие, чем при созерцании самых удивительных чудес природы в ее самых романтических уголках.

Для нас очевидно, что взгляды лорда Байрона не совпадают с нашими — к сожалению и для нас и для него: для нас — потому, что не слышали мы триумфального гимна, который в ином случае мог бы прозвучать над полем, овеянным такой славой, какой никогда прежде не знала Британия; а что касается лорда Байрона, то грустно видеть столь гениального человека, обманутого явным лицемерием слов и фраз, хотя факты опровергают их самым очевидным образом. Когда поэт перемешивает неповторимые, вольные и величественные создания своей фантазии с предрассудками, которыми он мог заразиться только от людей, ему самому не внушающих уважения, тогда он неминуемо остается в проигрыше. Его возвышенная муза воспарила во всем своем блеске над полем Ватерлоо, не обронив ни единого лаврового листа на главу Веллингтона. Ну что ж, заслуги последнего могут обойтись без восхвалений даже лорда Байрона. И подобно тому как память о Бруте только сильнее запечатлелась в душе у римлян, когда было запрещено нести его изображение во время триумфального шествия, так имя британского героя еще живее встает в памяти именно благодаря строкам, в которых ему не воздано должного.

Мы охотно обошли бы молчанием политические взгляды, о которых упоминает Чайлд-Гарольд и которые более четко изложены в других поэмах лорда Байрона; мы сделали бы это тем охотнее, что рассуждения его, думается нам, скорее являются игрою прихоти, чудачеством или в лучшем случае отзвуком внезапной вспышки уязвленного чувства, нежели выражением сколько-нибудь серьезных или установившихся взглядов. Один французский автор (*Le Censeur du Dictionnaire des Girouettes*¹), взявшийся за нелегкую задачу — доказать постоянство во взглядах участников всех последних революций и контрреволюций во Франции, утверждает, что поэты никак не подлежат осуждению за любые политические взгляды или за полную их неустойчивость:

¹ Критик «Энциклопедии флюгеров» (франц.).

Le cerveau d'un poète est une cire molle et flexible où s'imprime naturellement tout ce qui le flatte, le séduit et l'alimente. La Muse du chant n'a pas de parti: c'est une étourdie sans conséquence, qui folâtre également et sur de riches gazons et sur d'arides bruyères. Un poète en délire chante indifféremment Titus et Thamasp, Louis XII et Cromwell, Christine de Suède et Fanchon la Vieilleuse.¹

Думается нам, что лорд Байрон будет не слишком польщен предоставляемой ему возможностью укрыться за той безответственностью, какую француз приписывает политическим взглядам поэтов. Но если он станет отвергать и защиту, основанную на том, что порой трудно отказаться от заманчивого сюжета или от удовольствия отстаивать парадоксальную мысль, то ему будет не легко избежать упрека в непоследовательности. Ибо сравнивать Ватерлоо с битвой при Каннах и утверждать, что кровь побежденных пролилась за дело свободы, — это значит вступать в противоречие не только со здравым смыслом и общим мнением, но и с личным опытом лорда Байрона — опытом, которым он же сам поделился с публикой.

В своих предшествующих странствованиях Чайлд-Гарольд видел в Испании, каков образ действий «тирана и его рабов». Он видел, как «Галльский коршун распростер крыла», и с негодованием увещевал Судьбу, грозящую гибелью испанским патриотам:

И всем погибнуть? Юным, гордым, смелым?
Чтоб деспот наглый стал вдвойне спесив?
Лишь смерть иль рабство быть должны уделом?
Пасть или жить, бесчестьем жизнь купив?

Чайлд-Гарольд видел места, которые он воспе-
вает, но как мог он сравнивать с полем Канн равни-

¹ Мозг поэта — это мягкий, податливый воск, на котором без труда отпечатывается все, что ему льстит, соблазняет его и питает. Муза поэзии не принадлежит ни к одной партии: это ветреница, не ведающая верности, — она одинаково резвится и среди пышной зелени и в вересковой пустоши. Поэт в своем опьянении воспекает без различия Тита и Тамаспа, Людовика XII и Кромвеля, Христину Шведскую и Фаншон Рылейщицу (франц.).

ну Ватерлоо, как мог, словно об утрате свободы, скорбеть о падении тирана, его военных сатрапов и рабов, своим оружием утвердивших его власть? Мы знаем, каков будет ответ тех немногих людей, которые, лелея свои предрассудки либо преследуя личные цели, поддерживают столь нелепое утверждение. Они проводят различие между Бонапартом-тираном, который пал в 1814 году, и Бонапартом-освободителем, воскресшим в 1815-ом. Немногие месяцы, проведенные на острове Эльба, якобы образумили его и подавили в его душе жадное честолюбие, для которого даже Россия была недостаточно велика, а Гамбург не казался слишком маленьким кусочком; то самое честолюбие, не испарившееся под жгучим солнцем Египта, не замерзшее в полярных снегах, пережившее потерю миллионов солдат и неизмеримой территории, столь же свирепое во время конференции в Шатильоне, где судьба деспота колебалась на чаше весов, как и в Тильзите, когда участь противника, казалось, была уже предрешена.

Весь опыт, какой Европа приобрела ценой океанов крови и годов упадка, должен быть, по мнению этих господ, предан забвению ради пустых обещаний человека, который, не колеблясь, нарушал свои клятвы (где бы и когда бы он их ни давал), если выгода или честолюбие толкали его на это.

Вернувшись с острова Эльба, Бонапарт заверял весь мир, будто он изменил свой нрав, образ мыслей, намерения. А его старый приспешник и министр (Фуше из Нанта) готов был тут же поручиться за него, как Бардольф — за Фальстафа. Когда Жиль Блас обнаружил, что его старые сообщники по мошенничеству дон Рафаэль и Амбросио Ламела управляют доходами одного картезианского монастыря, он тонко заметил, что сокровища святых отцов находятся в небольшой опасности, причем обосновал свое подозрение старинной пословицей: «Il ne faut pas mettre à la cave un ivrogne qui a reponcé au vin».¹ Но когда Франция

¹ Не следует сажать в винный погреб пьяницу, который стал трезвенником (франц.).

дала яркие доказательства стремления вернуть то, что она называла своей славой, и, изгнав короля, чье правление исключало войны с другими странами, призвала обратно Наполеона, для которого нападать на соседей — все равно что дышать, — тогда Европу стали осуждать за то, что, собрав все силы, она обеспечила свою безопасность и смирila оружием тех, кто почитал оружие единственным законом, а битву — единственным веским доказательством, хотя, уступи она в этом споре, ее следовало бы увенчать «короной — колпаком шута».

Нам не верится, что существует хоть один человек, который мог бы серьезно усомниться в справедливости сказанного нами. Если и были простачи, готовившиеся приветствовать свободу, восстановленную победоносным оружием Бонапарта, то их ошибка (когда бы лорд Веллингтон не спас их от ее последствий) поставила бы их в положение бедняги Слендера, который, бросившись в объятия Анны Пейдж, неожиданно для себя очутился в руках неуклюжего почтмейстера сына.

Но, по всей вероятности, нет глупца, который питал бы такие надежды, хотя и есть — пусть в малом числе — люди, чье мнение об европейской политике настолько тесно и неуклонно связано с их партийными предрассудками во внутренних делах, что в победе при Ватерлоо они видят лишь триумф лорда Каслри, а если бы события приняли иной оборот, они скорее подумали бы о вероятных переменах в церкви святого Стефана, нежели о возможности порабощения Европы.

Таковы были те, кто, прикрывая, быть может, тайные надежды показным унынием, оплакивали безумство, осмеливавшееся противостоятъ Непобедимому, у которого якобы военные планы основаны на расчетах, заведомо непостижимых для прочих смертных; таковы и те, кто ныне открыто оплакивает последствия победы, которую они же, наперекор упрямым фактам, провозглашали невозможной.

Но, как мы уже указывали, мы не можем проследить в писаниях лорда Байрона сколько-нибудь последовательной приверженности к определенным политическим убеждениям; нам кажется, что он изображает явления, имеющие общественный интерес с той стороны, какая случайно предстала ему в данный момент. Надо еще добавить, что обычно он рисует их в теневом аспекте, для того, вероятно, чтобы они гармонировали с мрачными красками его пейзажа.

Как ни опасно заниматься прорицанием, мы почти готовы предсказать, что если лорду Байрону суждена долгая жизнь (а этого мы желаем и ради него и ради нас самих), то в последующих его произведениях встретятся, вероятно, более благоприятные высказывания о морали, религии и конституции его страны, нежели те, которые до сих пор он излагал в своих поэмах. Если же не сбудется эта надежда, которую мы искренне лелеем, то осмеянию за ложное пророчество подвергнут, разумеется, нас, но проиграет от этого сам лорд Байрон.

Хотя в «Чайлд-Гарольде» и нет прославления победы при Ватерлоо, там есть прекраснейшее описание вечера накануне битвы у Катр-Бра — тревоги, поднявшей войска, спешки и замешательства перед их выступлением. Мы не уверены, что можно отыскать на нашем языке стихи, которые превосходили бы по силе и чувству приводимые ниже.

Опять длинная цитата, но мы не должны, не смеем ее сокращать.

XXI

Ночь напролет гремел блестящий бал:
То собралась бельгийская столица
Красу и Доблесть. Пламень люстр сиял
На дамские и рыцарские лица...
Сердца блаженно бьются. Вереница
Волшебных звуков зыблет сладкий сон,
И взор любви в ответный взор стремится.
Все весело, как свадебный трезвон, —

Но тише: дальний гул, как похоронный стон.

XXII

Слыхали?! Нет: то буря взвыла где-то,
То воз прогрохотал по мостовой...
Танцуем же! Ликуюм до рассвета!
Кто спать пойдет, коль быстрою стопой
Часы мчит Юность в танец вихревой?
Но — тише! Снова этот гул знакомый,
Как будто эхо в туче грозовой,
Но ближе — полный смертною истомой!
К оружию! Скорей! То — пушек рев и громы!

XXIII

В оконной нише в пышном зале том
Сидел злосчастный Брунsvик одиноко;
Средь бала первым различил он гром
И смерть в нем слышал с чуткостью пророка.
Все улыбались: это ж так далёко;
Он сердцем слышал роковой сигнал,
Отца его в кровавый гроб до срока
Позвавший. Кровью мстить он пожелал
И в битву ринулся и в первой схватке пал.

XXIV

Рыдания и слезы всюду в зале...
Волнение к крайней подошло черте.
И бледность лиц, что час назад пылали,
Румянясь от похвал их красоте,
И судорожные прощанья те,
Что душат жизнь в сердцах, и вздохи эти
Последние: как знать, когда и где
Опять блеснут глаза, друг друга встретя,
Коль тает ночь услад в несущем смерть рассвете?

XXV

Коней седлают спешно; эскадрон
Равняется, и с грохотом крылатым
Упряжки мчатся; боевых колонн
Ряды спешат сомкнуться строем сжатым;

Гром дальних пушек стелется раскатом;
Здесь дробь тревоги барабаны бьют,
Еще до зорьки сон спугнув солдатам;
Толкуются горожане там и тут,
Губами бледными шепча: «Враги идут!»

XXVI

«Клич Кэмрена» пронзительно и дико
Звучит, шотландцев боевой призыв,
Грозивший саксам с Элбинского пика;
Как в сердце ночи резок и криклив
Лихой волынки звонкий перелив!
И снова горцам радость битв желанна:
В них доблесть дышит, память пробудив
О мятежах, бурливших неустанно,
И слава Доналда — в ушах всех членов клана!

XXVII

Арденнский лес листву склоняет к ним,
Росинки слез роняет им на лица,
Как бы скорбя, что стольким молодым,
Презревшим смерть, — увы! — не возвратиться;
Им всем вторая не блеснет денница,
Им лечь в бою примятою травой;
Но ведь трава весною возродится,
А их отваге, пылкой, молодой,
Врага сломив, сойти в холодный перегон.

XXVIII

Вчерашний день их видел, жизнью пьяных:
В кругу красавиц их застал закат;
Ночь принесла им звук сигналов бранных;
Рассвет на марше встретил их отряд,
И днем в бою шеренги их стоят.
Дым их застлал; но глянь сквозь дым и пламя;
Там прах людской заполнил каждый скат,
И прах земной сомкнется над телами;
Конь, всадник, друг и враг — в одной кровавой яме!

Прекрасные элегические стансы, посвященные родственнику лорда Байрона, достопочтенному майору Ховарду, и несколько строф о характере Наполеона и о его падении заключают раздумья, навеянные полем Ватерлоо.

Нынешнее положение Бонапарта таково, что следует воздерживаться от всяких мелочных нападок на него (если только его прямо не показывают нам, как это сделано на последующих страницах).

Но если лорд Байрон полагает, что падение Наполеона было вызвано или хотя бы ускорено «его привычным и справедливым презрением к людям и их помыслам», которое выражалось слишком откровенно и поспешно, его, как определяет поэт в одном из примечаний, «постоянным выказыванием своего нежелания сочувствовать человечеству и даже чувствовать заодно с ним», то, несомненно, поэт вступает в противоречие с действительностью.

Бонапарт не только не был лишен необходимого в политике таланта успокаивать страсти и усыплять предубеждения тех, кого он хотел сделать своим оружием, — напротив, он в совершенстве владел этим искусством. Ему почти всегда удавалось найти как раз того человека, который лучше всего подходил для его намерений, и он в удивительной степени обладал способностью направить данное лицо по нужному пути. И если в конце концов он не добился своего, то не потому, что презирал средства, с помощью которых люди добиваются успеха, а потому, что, уверовав в свою звезду, в свою силу, в благосклонность судьбы, задался целями, недостижимыми даже при гигантских возможностях, какими он располагал.

Но если нам скажут, что планы Наполеона обнаруживали, как мало, добиваясь желаемого, он считался с жизнью или счастьем людей и как эта слишком откровенная для упрочения его власти позиция распаляла его врагов и расхолаживала друзей, тогда поистине мы назовем его отношение к прочим смертным *презрением*, но, разумеется, отнюдь не *справедливым*.

Теперь, попрощавшись с политикой, этим грозным водоворотом, который втягивает все британское в свое круговращение, мы с удовольствием возвращаемся к Чайлд-Гарольду и начинаем следить за его странствованиями по пленительной долине Рейна:

Глядит Гарольд. Слились в его глазах
Красоты все: утесы, доли, воды,
Леса, поля и лозы на холмах;
И мшистые угрюмых замков своды
Прощанье шлют со стен, где умирают годы.

Руины эти, некогда убежище разбойного рыцарства, населявшего пограничные области Германии, где каждый граф и рыцарь осуществлял внутри своего крохотного владения всю полноту власти феодального суверена, вызывают у поэта соответствующие воспоминания о подвигах и облике бывших владельцев. Пребывая в расположении духа несколько более мягком, Пилигрим шлет привет некоему доброму сердцу, которому он еще может доверять свои печали, надеясь на ответное чувство. Далее следует воспоминание о гибели Марсо. Гарольд нежно прощается с долиной Рейна и углубляется в Альпы, чтобы найти в их тайниках виды более дикие и более подходящие тому, кто стремится к одиночеству, чтобы обновить строй

...тайных мыслей, с прежней их отрадой, —
Когда он загнанным в людское не был стадо.

Следующая тема, которую разрабатывает лорд Байрон, — это характер восторженного и, как метко определяет поэт, «самоистязающего софиста, буйного Руссо» — тема, естественно подсказанная пейзажами, среди которых обитал несчастный мечтатель, воюя со всеми и отнюдь не в ладах с самим собой. Руссо подчеркивал свое презрение к образованному обществу, а втайне страстно желал получить его одобрение и впустую расточал красноречивые похвалы первобытному состоянию людей, при котором его

парадоксальное мышление и обдуманная, чтобы не сказать напыщенная, декламация никогда не доставили бы ему даже минутной известности. В следующей строфе удачно описаны его характер и слабости:

LXXX

Всю жизнь он бился с мнимыми врагами
И гнал друзей. Он Подозренью храм
Воздвиг в душе, нища заклать в том храме
Всех близких, повод измышляя сам,
В слепом упорстве бешен и упрям.
Безумцем став (нет дела бесполезней
Искать причин, неуяснимых нам) —
Безумцем став от горя и болезней,
Он мудрым выглядел в своей безумной бездне.

Та же тема возникает в другой части поэмы — там, где путешественник навещает место действия «Новой Элоизы»:

Кларан уютный, колыбель Любви!
Сам воздух твой — дыханье мысли страстной;
Любовь — в твоих деревьях, в их крови;
В снегах и льдах — ее же цвет прекрасный,
Куда закат волною плещет красной,
Чтоб задремать любовно.

Есть еще много других прекрасных и живых описаний, которые показывают, что исполненные страсти пассажи в романе Руссо произвели глубокое впечатление на благородного поэта. Такой энтузиазм лорда Байрона — это не шуточная дань восхищения силе, которой обладал Руссо в описании страстей. Говоря по правде, мы нуждались в подобном свидетельстве, ибо, хотя и совестно сознаваться в том, что, вероятно, умалит нас в глазах читателей (но мы, подобно брадобрею Мидаса, умрем, если промолчим!), мы никогда не испытывали интереса к этому широко прославленному произведению, никогда не находили в нем достоинств. Охотно признаём, что есть в этой

переписке много красноречия — в нем-то и заложена сила Руссо. Но его любовники, знаменитый Сен-Пре и Жюли, никак не смогли нас заинтересовать — ни тогда, когда мы впервые услышали эту повесть (мы хорошо это помним), ни позже, вплоть до сегодняшнего дня. Возможно, здесь проявилась врожденная сердечная сухость; но, подобно Кребу у Ланса, этому ничтожеству с каменным сердцем, мы не роняли слез, когда все вокруг рыдали. Но ничего не поделаешь: даже сейчас, проглядывая том «Элоизы», мы находим в любви обоих утомительных педантов мало такого, что могло бы настроить наши чувства в пользу любого из них; нас отнюдь не прельщает и характер лорда Эдуарда Бомстона, выведенного в качестве представителя британской нации. А в общем, мы думаем, что скука, источаемая романом, является лучшим оправданием его исключительной аморальности.

И наконец, выражая наше мнение слогом куда более выразительным, чем наш собственный, мы, к сожалению, склонны рассматривать эту столь прославленную повесть о любви, приправленной философией, как «старомодную, бестактную, прокисшую, унылую, дикуую смесь педантизма с непристойностью, метафизических рассуждений с грубейшей чувственностью».¹

Не большее удовольствие доставляет нам Руссо своим пифийским неистовым вдохновением, которое дало волю

Пророчествам, что в мир внесли пожар,
Испепелявший царственные троны.

Мы согласны с лордом Байроном, что этот бешеный софист, чьи рассуждения (вернее, потуги на рассуждения — признак одного из худших видов безумия) основаны на ложных принципах, был первоапостолом французской революции; мы не слишком расходимся и с выводом его сиятельства о том, что в этом вулканическом извержении дурное смешано

¹ Письмо Берка к одному из членов Национального собрания. (Прим. автора.)

с хорошим. Но когда лорд Байрон уверяет нас, что, усвоив уроки французских законодателей, которые свергали одно правительство за другим, дабы добиться теоретически безупречной конституции, человечество может и должно снова приняться за это дело и уж теперь провести его с лучшим результатом, мы искренне надеемся, что опыт, каким бы «обнадеживающим» он ни был, нескоро возобновится, а «сосредоточенная страсть», которая, по выражению Чайлд-Гарольда, «притаила дыхание» и выжидает «часа расплаты», задохнется, прежде чем этот час настанет. Мы верим, что в наше время голос опыта, приобретенного дорогой ценой, должен наконец даже во Франции принудить к молчанию расшумевшуюся эмпирическую философию. Ведь никто не стал бы ни минуты слушать незадачливого мастера, который говорит: «Правда, из-за меня в вашем доме уже раз десять вспыхивал пожар, но все же позвольте мне еще раз повозиться с этими старомодными трубами и дымоходами, позвольте проделать еще один опыт, и тогда головой ручаюсь, что сумею наладить отопление по новейшему и наилучшему способу...»

Дальше в поэме очень красиво и с большим чувством описывается ночь на Женевском озере, когда каждое явление природы, от вечернего кузнечика до звезд — «этих стихов неба», наводит на раздумье о связи, существующей между создателем и его творением. «Дикое и прекрасное упоенье» грозой описано стихами, которые по яркости мало уступают вспышкам ее молний. Мы отметили это место, чтобы воспроизвести его здесь как одно из прекраснейших в поэме. Однако цитирование должно иметь пределы, а мы уж и так были весьма щедры. Но «оживший гром, что меж гремящими скалами скачет», голоса гор, словно окликающих друг друга, плеск ливня, сверканье широкого озера, светящегося как фосфорическое море, — все это являет картину возвышенного ужаса и одновременно ликования; ее часто пытались нарисовать поэты, но никогда она им не удавалась так хорошо и уж подавно никогда не удавалась лучше.

Пилигрим рассуждает о Гиббоне и Вольтере, о которых напоминают их резиденции на Женевском озере, и в заключение возвращается к тому меланхолическому строю чувств, с какого начиналась поэма. И хотя Чайлд-Гарольд формально не исчезает, он как бы скрывается в тень, и уже сам поэт от своего имени трогательно обращается к маленькой дочке:

СХV

О дочь моя! Я именем твоим
Открыл главу; им и закончить надо.
Вовек тебе останусь я родным,
Хоть на тебя нельзя мне бросить взгляда.
Лишь ты — в тенях далеких лет — отрада.
В твои виденья будущие мой
Войдет напев, забытый мной измлада,
И тронет сердце музыкой живой,
Когда мое замрет в могиле ледяной.

В таком же тоне идет еще несколько строф, и завершаются они отцовским благословением:

Спи в колыбели сладко, без волненья:
Я через море, с горной высоты
Тебе, любимой, шлю благословенье,
Каким могла б ты стать для моего томленья!

Закончив анализ этой прекрасной поэмы, мы стоим перед трудной и деликатной задачей — сделать некоторые замечания относительно тона, в котором она написана, и чувств, которыми полна. Но, прежде чем выполнить эту часть нашего долга, надо дать отчет о других произведениях, которыми одарил нас плодовитый гений лорда Байрона.

Сборник, название которому дал «Шильонский узник», хотя и менее интересен, чем продолжение «Чайлд-Гарольда», отмечен все же оригинальной силой гения лорда Байрона. Он состоит из ряда самостоятельных вещей, из которых некоторые являются отрывками и скорее поэтическими набросками, нежели законченными, совершенными поэмами.

Следует, быть может, пояснить иным из наших читателей, что Шильон, давший имя первой из поэм, — это замок на Женевском озере, в старину принадлежавший герцогам Савойским, которые устроили там в те мрачные времена государственную тюрьму, имевшую, разумеется, неисчислимое множество подземных темниц, застенков и все остальные аксессуары феодальной тирании. Первые борцы Реформации нередко бывали обречены искупать здесь свои еретические взгляды. Среди них одним из самых отважных был Бонивар, которого лорд Байрон и избрал героем своей поэмы. Почти шесть лет провел он в Шильоне, а именно с 1530 до 1536 года, и вытерпел всю тяжесть строжайшего одиночного заключения. Но лорд Байрон не стремился нарисовать своеобразный характер Бонивара; не находим мы также ничего, что говорило бы о выносливости и негибимой твердости человека, страдающего во имя свободы совести.

В этой поэме Байрон (как и Стерн в знаменитом очерке об узнике) поставил себе целью рассмотреть лишение свободы абстрактно и ответить, как под его воздействием постепенно оскудевают умственные силы, как цепенеет и утрачивает чувствительность телесная оболочка, пока несчастная жертва не становится, так сказать, частью темницы, не сливается со своими цепями. Мы полагаем, что такое превращение подтверждается фактами; по крайней мере нечто подобное можно наблюдать в Нидерландах, где никогда не применяется смертная казнь, а за тяжчайшие преступления положено пожизненное одиночное заключение. Ежегодно, в определенные дни, эти жертвы юриспруденции, именующей себя гуманной, выставляются для публичного обозрения на помосте, воздвигнутом посреди открытой рыночной площади, — очевидно, чтобы их вина и наказание не забывались. Вряд ли существует зрелище, более унижающее гуманность, чем подобная выставка: всклокоченные, исхудалые, ослепленные непривычным солнечным светом, оглушенные внезапным переходом от безмолвия

темницы к деловитому гудению толпы, одичало озираясь, сидят несчастные, похожие скорее на грубые изображения, на уродливые подобию людей, нежели на живые и мыслящие существа. Нас уверяли, что с течением времени они обычно впадают либо в безумие, либо в идиотизм, смотря по тому, что оказывается преобладающим, — дух или плоть в тот час, когда рушится таинственное равновесие между тем и другим. Но осужденные на столь страшное наказание обычно являются, подобно большинству низменных преступников, существами с убогой внутренней жизнью. Известно, что талантливые люди вроде Тренка даже в глубочайшем одиночестве и в самом строгом заключении умеют бороться с предательской, губительной меланхолией и выходить победителями после многолетнего пребывания в тюрьме. Тем более сильны духом те, кто терпит страдания во имя своей родины или веры. Они могли бы воскликнуть, как Отелло, хоть и в ином смысле:

Таков мой долг. Таков мой долг!¹

Вот почему ранняя история церкви изобилует именами мучеников, которые, веря в справедливость своего дела и в будущую награду на небесах, терпеливо переносили всю тяжесть продолжительного и одинокого заключения, все муки пыток и даже самую смерть.

Однако не с этой точки зрения посмотрел лорд Байрон на характер Бонивара и его заточение, за что и принес извинение, следующим образом изложенное в примечаниях: «Когда сочинялась предлагаемая поэма, я был недостаточно знаком с историей Бонивара, иначе я постарался бы возвысить своего героя, постарался бы прославить его доблесть и достоинства». Итак, темой поэмы является постепенное воздействие длительного заключения на человека могучего ума, пережившего в тюрьме смерть, одного за другим, двух своих братьев.

¹ Перевод Б. Пастернака.

Бонивар изображен узником, томящимся вместе с братьями в жуткой темнице Шильонского замка. Второй из братьев был

...чист душой,
Но дух имел он боевой;¹

поэтому он быстро согнулся под бременем долгого заключения, особенно горького для того, кто рожден воином и охотником.

Трогательно описаны болезнь и тоска другого брата, юноши с более мягким и нежным сердцем:

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимого отца,
Он, для кого я жизнь щадил,
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! Он долго мог сносить
С младенческой тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... Вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.

Дальше описывается горе оставшегося в живых Бонивара. Сперва он беснуется и неистовствует от сознания своего одиночества «в сей черноте», оттого, что порвались все звенья, соединявшие его с человечеством, но постепенно впадает в оцепенение отчаяния и безразличия, и уже нет для него ни света, ни воздуха, ни даже темноты:

¹ Здесь и в дальнейшем цитаты из поэмы «Шильонский узник» даны в переводе В. Жуковского.

И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было — тьма без темноты;
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил.

Потом поэт рассказывает о впечатлении, которое произвел на ум узника случайный прилет птицы, да еще вид на озеро через отдушину в стене тюрьмы. Выдержка из этого описания будет последним отрывком из поэмы, который мы приведем:

И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль берегов...
И я заметил островок:
Прекрасен, свеж, не одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем,
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивались нежней
Кругом родных берегов оне.

Наконец приходит свобода, но приходит она, когда узник Шильона уже примирился со своим под-земельем, когда он стал относиться к нему как

«к милой кровле» и даже с цепями — и с тем сдружился...

Совершенно очевидно, что эта своеобразная поэма скорее сильна, чем приятна. Темница Бонивара, как и темница Уголино, — тема вообще слишком мрачная, и даже гений поэта или художника не может преодолеть ее ужаса. Тем более тягостна она в этой поэме, что не оставляет никакого якоря для человеческой надежды и описывает узника, хотя и наделенного талантами и добродетелями, как существо инертное и бессильно поникшее под бременем скопившихся страданий. И все-таки картина, как ни сумрачен ее колорит, в силах соперничать с любой другой, нарисованной лордом Байроном, и поэтому невозможно читать эту поэму без замирания сердца, похожего с тем, что, по описанию, испытывала сама жертва.

Мы уже говорили, что иногда лорд Байрон заимствует манеру и стиль своих современников, хотя и не теряет при этом собственных оригинальных черт. Нынешний сборник дает тому немало примеров. Читая «Шильонского узника», нельзя не заметить, что многие места, например последний отрывок, цитированный нами, сильно напоминают Вордсворта. Есть и другой пример — стихотворение, озаглавленное «Могила Черчила», для которого, кажется, послужила образцом поэзия Саути — но не те ее образцы, где преобладают эпические мотивы, а «Английские эклоги», где моральные истины изложены, говоря языком самого поэта, «с почти разговорной простотой», в забавной и оригинальной манере, избранной для того, чтобы сделать нравоучение одновременно и впечатляющим и «пикантным».

Все же могила Черчила могла бы вызвать у лорда Байрона более глубокий душевный отклик, ибо при всем несходстве их характеров и поэтического дара было и нечто общее в их судьбе и облике. Саути Черчила текла более изобильным, хотя и не столь горьким потоком, зато по части лиричности и воображения он никак не может равняться с лордом Байроном. Но оба поэта считали, что стоят выше мне-

ния света, и обоим сопутствовали слава и популярность, которые они, видимо, презирали. Творения обоих обнаруживают врожденное благородство ума, хотя порой и заблуждающегося, и дух гордой независимости, зачастую доходящей до крайности. В своей ненависти к лицемерию оба они переходили черту осмотрительности и доводили склонность к язвительной насмешке до грани распушенности. Во цвете лет Черчил скончался на чужбине; здесь, мы надеемся, кончается сходство и объект нашей критики проживет еще долго к вящей своей славе.

Две другие вещи в этом сборнике приводят на ум дикую, необузданную и пламенную фантазию Колриджа. Мы всегда относились с почтением к высокому гению этого поэта, хотя он, быть может, слишком часто, к ущербу для собственной популярности, погружался в мир буйных видений, в мистику, никак не помогая читателю проникнуть в смысл того, что он хотел сказать.

Возможно, в произведении, озаглавленном «Чары», сходство лишь кажущееся, зато в своеобразной поэме «Тьма» с хорошим подзаголовком: «Сон, который не вовсе сон» дело обстоит иначе.

В ней наш автор, для которого до сих пор было столь характерно мастерское умение показать читателям, куда он их ведет, довольствуется тем, что преподносит множество могучих, но не упорядоченных мыслей, смысл которых мы, признаться, не всегда могли постичь. Перед нами мелькают жуткие видения; они образуют причудливые арабески, носятся, сливаются и расходятся, словно в лихорадочном сне — ужасающие химеры, в существование которых ум отказывается верить, сбивающие с толку и утомляющие неискушенного читателя, ставящие в тупик даже тех, кто больше свыкся с полетом поэтической музыки. Тема поэмы — нарастание кромешной тьмы, пока она не становится, по выражению Шекспира, «могильщиком мертвого»; мрачные образы, нагроможденные поэтом, только потому не вызывают у нас трепета, что слишком уж дик общий замысел.

Эти мистические наброски производят на нас то впечатление, какое описывает Генри Мор в строках, приведенных Саути в «Omniana»:

Престранное прочел он мне творенье;
Хотя я смысла и не уловил,
Но все-таки подумал в то мгновенье,
Что это вещь отменная...¹

Но глубокое почтение, которое мы питаем ко всякому трудно постижимому произведению, уступает место усталости, едва мы начинаем догадываться, что и никто другой не может как следует его понять.

Говоря откровенно, для экзальтированного и плодовитого воображения такого поэта, как лорд Байрон, чей Пегас всегда нуждался скорее в узде, чем в шпорах, создание подобных фантазий — опасное занятие. Пустынность безграничного пространства, куда они увлекают поэта, и пренебрежение к точности образов, которое такие темы могут сделать привычным, приводят в поэзии к тому же, к чему в религии приводит мистицизм. Когда поэт уносится на облачных крыльях, мысли его превращаются в тень мыслей и, будучи непонятными для других, в конце концов ускользают и от самого автора. Сила поэтического замысла и красота формы, потраченные на столь смутные эскизы, пропадают зря, как пропали бы краски у художника, если бы он взял вместо холста облако тумана или клуб дыма.

Пропуская одну или две вещи, представляющие меньший интерес, мы можем отметить только «Сон», который, если не ошибаемся, имеет скрытую и загадочную связь с повествованием о Чайлд-Гарольде. «Сон» написан с той же поэтической мощью, и мы не находим оснований жаловаться на темноту рассказа о видении, хотя и не претендуем на изобретательность и осведомленность, необходимые для его истолкования. Однако трудно ошибиться относительно то-

¹ Перевод Э. Линецкой.

го, кто или что подразумевается в концовке, тем более что тон слишком совпадает с тем, каким написаны подобные же места в «Чайлд-Гарольде».

Был странник, как и прежде, одинок,
Все окружающие отделились
Иль сделались врагами, и он сам
Стал воплощенным разочарованием,
Враждой и ненавистью окружен.
Теперь все стало для него мученьем,
И он, как некогда понтийский царь,
Питался ядами, и, не вредя,
Они ему служили вместо пищи.
И жил он тем, что убивало многих,
Со снежными горами он дружил,
Со звездами и со всемирным духом.
Беседы вел! Старался он постичь,
Учась, вникая, магию их тайны,
Была ему открыта книга ночи,
И голоса из бездны открывали
Завет чудесных тайн. Да будет так.¹

Предлагаем читателю сопоставить эти строки с теми суровыми и торжественными строфами, в которых Чайлд-Гарольд прощается — видимо, надолго — с обществом людей и, за исключением круга лиц, столь ограниченного, что его можно не принимать в расчет, клеймит перед расставанием все человечество за лицемерие и вероломство:

СХІІІ

Я мира не любил, как он меня;
Не млел я под его дыханьем смрадным;
Божкам не лстил, колена преклоня,
Щек не сквернил улыбкой и надсадным
Хвалам не вторил эхом заурядным.
Среди, но вне толпы я был чужой
Под саваном раздумий безотрадным,
Ей чуждых. Но и слейся я с толпой —
Мой ум остался б чист, сам властвуя собой.

¹ Перевод М. Зенкевича.

CXIV

И мир и я друг друга не любили.
 Простимся ж мирно, — я не обуян
 Враждой. Я верю: где-то есть и были
 Слова — дела; надежды — не обман;
 Мораль кротка и не всегда капкан
 Для слабых; я готов предать огласке,
 Что впрямь иной скорбит при виде ран,
 Что двое-трое жизнь ведут без маски,
 Что счастье не мечта и доброта не сказки.

Хотя в последней из этих строф и есть нечто мистическое и загадочное, но, вместе с уже цитированным отрывком из «Сна» и некоторыми другими поэмами, также опубликованными, она лишает смысла щепетильную деликатность, с которой в ином случае мы избегали бы намеков на нравственные страдания благородного поэта. Правда, для того, чтобы попытаться вскрыть рану, потребна рука хирурга. Никто не мог бы отнестись к лорду Байрону и его репутации с более теплым чувством, чем мы; к этому нас обязывает и художественное наслаждение, которое поэт доставил нам, и слава, которую он принес нашей литературе. Мы высказали самое пылкое восхищение его талантами, — они этого заслуживают. Теперь коснемся того применения их на деле, ради которого они были даны поэту, — в этом мы видим свой долг. Мы будем счастливы — и как счастливы! — если, выполняя его, сумеем оказать этому замечательному автору подлинную услугу. Мы не претендуем на роль сурового критика; нам не дано такого права по отношению к гению, тем более в годовщину его невзгод; и мы заранее готовы принять в расчет то впечатление, какое естественно производит несчастье на смелый и надменный дух. Как только буря налетит,

Столетние дубы валя на землю, —
 Забыются в щели оводы и мухи.
 Тогда лишь те с бушующей стихией

Соперничают яростью и силой,
Кто может отвечать на лютый вой
Таким же грозным криком.¹

Но если слишком долго бросать вызов судьбе, она может обрушиться на смельчака новые бедствия, — только это мы и хотим сейчас сказать. Не надо пренебрегать советом потому лишь, что дающий его безвестен: самый невежественный рыбак может оказаться полезным лоцманом, когда отважному судну у берега грозят буруны; самый ничтожный пастух может быть надежным проводником в бездорожной степи, и не следует отвергать предостережение, сделанное от души и с лучшими намерениями, даже если оно предлагается с откровенностью, которая может показаться неучливой.

Если бы литературная карьера лорда Байрона завершилась так, как предвещают его печальные стихи, если бы действительно этот душевный мрак, это неверие в существование высоких достоинств — преданности, искренности — навсегда легли пропастью между нашим выдающимся поэтом и обществом, тогда пришлось бы прибавить еще одно имя к знаменитому перечню, о котором говорится в предостережении Престопа:

Писать ты жаждешь? Юный пыл умерь,
Затем что трудный это путь, поверь;
Издrevле скорбен был удел певца:
Потоки слез и тернии венца.²

Но это сказано несправедливо. Счастье или несчастье поэта определяется не его темпераментом и талантом, а тем, как он их применяет в жизни. Могучее и необузданное воображение является, как мы уже говорили, и автором и зодчим собственных разочарований. Его способность подчинять себе разум, преувеличивать картины добра и зла и тем самым обострять душевные страдания — следствие естествен-

¹ Перевод Т. Гнедич.

² Перевод Э. Линецкой.

ное, хотя и печальное, живой восприимчивости и прихотливости чувств, лежащих в основе поэтического темперамента. Но дарователь всех талантов, отметивший каждый из них особенной и неповторимой пробой, наделяет их обладателя и способностью очищать и совершенствовать свой дар. И как бы для того, чтобы смягчить высокомерие гения, судьба справедливо и мудро установила, что если он хочет добиться свободы духа и спокойствия, он должен уметь не только обуздывать и направлять огонь своей фантазии, но и спускаться с высот, на которые она его возносит.

Материалы, из которых можно построить счастье, — разумеется такое, какое доступно при нынешнем состоянии общества, — в изобилии лежат вокруг. Но одаренный человек обязан нагнуться и собрать их, иначе они окажутся вне пределов досягаемости для большинства людей, ради пользы которых, равно как и ради его собственной пользы, их создало провидение. Ни для королей, ни для поэтов не существует особой тропы, ведущей к удовлетворенности и сердечному спокойствию; путь, на котором их можно обрести, открыт для людей из всех слоев общества, для самых скромных умов.

Умерять желания и страсти в соответствии с нашими возможностями; рассматривать наши несчастья, какими бы исключительными они ни были, как неизбежную долю в наследии Адама; обуздывать раздраженные чувства, которые, если над ними не господствовать, сами становятся господами; избегать того напряжения желчной, самоистязающей рефлексии, которое наш поэт так убедительно описал в своих жгучих строках:

Так много долгих дум
Изведал я, в таком раздумье черном
Я клекотал, что стал усталый ум
Фантазий и огня кипящим горном, —

короче говоря, спуститься к реальностям жизни; раскаиваться, если обидели мы, и прощать, если согрешили против нас; смотреть на мир не столько как на

врага, сколько как на сомнительного и изменчивого друга, чье одобрение мы должны в меру возможности заслужить, но не выпрашивать его и не презирать — таковы, по-видимому, наиболее очевидные и надежные средства для поддержания или возвращения душевного спокойствия.

Semita certe

Tranquillae per virtutem partet unica vitae.¹

Мы вынуждены были подробно остановиться на этой теме, ибо будущие поколения, доколе существует наш язык, станут спрашивать: отчего был несчастен лорд Байрон?

А пока для нас еще есть «сегодня», мы адресуем этот вопрос самому высокородному поэту. Он был несправедлив по отношению к обществу, когда, покидая его, полагал, что оно целиком состоит из людей, радующихся его страданиям. Если в подобных случаях голос утешения звучит не так громко, как упреки и оскорбления, то происходит это лишь потому, что люди, стремящиеся примирить, дать совет, предложить посредничество и утешить, целомудренны в проявлении своих чувств и опасаются усилить боль вместо того, чтобы ее успокоить. А тем временем являются пронырливые и назойливые люди, не знающие ни стыда, ни сочувствия, и своими наглыми взорами и грубыми криками отравляют уединение страдальца. Но боль, какую способны причинить эти насекомые, длится лишь до тех пор, пока рана свежа. Пусть тот, кого терзает горе, подчинится душевной дисциплине, предписанной религией и рекомендованной философией, и очень скоро шрам станет нечувствительным к их укусам. Лорд Байрон волен не любить общество, но общество любило его, быть может любовью недостаточно мудрой и проникающей, но такой сильной, на какую оно только способно.

¹ Но, конечно,
Лишь добродетель дает нам дорогу к спокойствию жизни (лат.).
(Перевод Д. Недовича и Ф. Петровского.)

И многие, не принадлежащие к «свету» в общепринятом значении этого слова, напряженно думают о лорде Байроне; они страстно уповают на то, что он обратит свой могучий разум на борьбу со своими раздраженными чувствами и что ближайшие его труды отразят спокойствие духа, которое так необходимо для свободного и плодотворного проявления его блестящего таланта.

I decus, i nostrum, melioribus utere fatis.¹

¹ Шествуй, краса, шествуй, наша! Да лучшие
ведает судьбы (лат.).
(Перевод В. Брюсова.)

«РАССКАЗЫ ТРАКТИРЩИКА»

Эти «Рассказы», безусловно, относятся к числу творений, с которыми нам уже не раз приходилось встречаться и которые вызывали необычайный интерес у читателей: речь идет о «Уэверли», «Гае Мэннеринге» и «Антикварии». Мы без малейшего колебания утверждаем, что все или большая часть «Рассказов» целиком или в значительной мере принадлежат перу того же автора. Мы пока не можем строить никаких догадок, почему он так усердно скрывается, то прощаясь с нами в одном обличье, то неожиданно появляясь в другом, — для этого у нас недостаточно сведений о личных соображениях, которые заставляют его соблюдать столь строгое инкогнито. Однако не приходится сомневаться, что у писателя может быть много разных причин, чтобы оберегать подобную тайну, не говоря уже о том, что она, несомненно, сделала свое дело, возбудив интерес к его произведениям.

Не знаем, не упадет ли наш автор в глазах публики, если окажется, что он наделен творческой фантазией далеко не в той степени, какую мы были склонны ему приписывать, но мы убеждены, что ценность его портретов должна только выиграть от того, что моделью для них послужили живые люди. Возможно, что именно такому совпадению фантазии с действительностью эти романы и обязаны значительной долей своего успеха, ибо — и это несколько не

умалает достоинств автора — любой читатель сразу заметит, что события и лица списаны им с натуры и носят отпечаток несомненной подлинности, не присущей детищам фантазии, как бы они ни были удачно задуманы и искусно выполнены. Не будем гадать, какое, если можно так выразиться, франкмасонство вселяет в нас эту уверенность, но все мы знаем по опыту, что инстинктивно, почти бессознательно отличаем в живописи, в поэзии и в других произведениях искусства то, что списано прямо с натуры, и чувствуем к этим правдивым описаниям ту родственную симпатию, благодаря которой ничто человеческое не может быть безразлично человеку. Поэтому, прежде чем заняться разбором «Рассказов трактирщика», мы просим разрешения кратко упомянуть о некоторых обстоятельствах, относящихся к произведениям, им предшествовавшим.

Наш автор сообщает нам, что его целью было представить ряд событий и характеров, связанных с прошлым и настоящим Шотландии. Надо сознаться, построение его романов настолько слабо, что невольно приходит на ум нитка балаганщика, на которой тот поднимает свои картинки, поочередно демонстрируя их взорам зрителей. Автор, по-видимому, всерьез придерживался мнения мистера Бэйса: «На кой черт существует сюжет, как не для того, чтобы рассказывать занимательные вещи?» Правдоподобие и четкость повествования с величайшим равнодушием приносятся в жертву эффектности, и если только автору удалось «изумить и восхитить», то он, видимо, считает, что выполнил свой долг перед читателями. Мы уже протестовали против этого неряшливого безразличия и теперь снова протестуем. Поступая так, мы имеем в виду пользу самого автора: каковы бы ни были достоинства отдельных сцен и отрывков (а никто не выражал им своего одобрения с большей готовностью, чем мы), они производили бы куда большее впечатление, будь они расположены в форме ясного и стройного рассказа. Мы тем серьезнее настаиваем на этом, что автор, вероятно, грешит главным образом по небрежности. Возможно, впрочем, что в этом есть своя система, ибо мы заметили, что он сознательно избе-

гает обычной повествовательной манеры, доходя в этом до аффектации, и старается по возможности втиснуть свою историю в драматическую форму. Во многих случаях это очень усиливает впечатление, потому что все время удерживает действующих лиц, равно как и само действие, в поле зрения читателя и до некоторой степени ставит его в положение театрального зрителя, который вынужден выводить смысл сцены из того, что говорят друг другу *dramatis personae*,¹ а не из каких-либо объяснений, обращенных непосредственно к нему. Но хотя автору и удалось этого добиться и тем самым принудить читателя думать о героях романа, а не о писателе, однако эта манера, особенно если она доведена до такой крайности, является одной из главных причин нестройной, рыхлой композиции, на которую не могут не сетовать самые ревностные его поклонники. Мало кто искреннее нас желает ему успеха, но если с его стороны не будет проявлено больше усердия, то мы сильно сомневаемся в долговечности этого успеха.

Наряду с бессвязным и дряблым стилем повествования у этих романов есть еще один важный недостаток, состоящий в том, что личность героя совершенно лишена интереса для читателя. Уэверли, Браун или Бертрам в «Гае Мэннеринге» и Ловел в «Антиквари» — родные братья; они очень приятные и очень бесцветные молодые люди. Мы полагаем, что и этот порок до некоторой степени вытекает из драматического принципа, на котором автор строит свои сюжеты. Его главные герои не столько действуют сами, сколько подвергаются воздействию обстоятельств, и их сходная судьба всегда складывается благодаря вмешательству второстепенных персонажей. Так получается потому, что автор обычно изображает их иностранцами, которым в Шотландии все чуждо; это служит ему поводом для введения множества мелких подробностей, которые проходят через сознание героя и уже, так сказать, отраженно преподносятся читателю. Вдаваясь в объяснения и детали, которые могли бы

¹ Действующие лица (*лат.*).

показаться утомительными и ненужными, будь они обращены прямо к публике, автор для возбуждения интереса описывает впечатление, произведенное ими на героя драмы, и этим способом добивается внимания к таким вещам, которые иначе прошли бы незамеченными. Но если автор на этом и выигрывает, то только за счет личности героя. Не может заинтересовать читателя тот, кто не управляет активно ходом событий. Это понимают даже достойный горожанин и его жена, выступающие в прологе «Рыцаря пламенеющего пестика» Флетчера. Когда их спросили, что должен делать главный герой драмы, ответ последовал без промедления: «Что за вопрос! Пусть выступит и убьет великана». Очень разумное требование! Всякому герою, как в поэзии, так и в художественной прозе, следует выступить и сделать или сказать что-нибудь такое, чего не мог бы сделать или сказать никто другой: принести какую-нибудь жертву, преодолеть какую-нибудь трудность, словом — заинтересовать нас не одним только своим появлением на сцене в виде пассивного орудия в руках других действующих лиц.

Бесхарактерность героев этого писателя отчасти связана и с той легкостью, с которой он вертит и крутит свою историю в погоне за броским и, пожалуй, мимолетным эффектом. Это вряд ли бы ему удалось, если бы он не изображал своих главных героев людьми с неустойчивыми или чересчур гибкими убеждениями. Прекрасной иллюстрацией нашей мысли служит готовность, с какой Уэверли сперва примыкает к партии якобитов, а потом отрекается от нее в 1745 году. Будь он наделен стойким характером, такое поведение показалось бы неправдоподобным. Автор это сознавал; и тем не менее, не желая отказаться от возможности ввести описание военной резиденции шевалье, подробности сражения при Престоне и т. д., он, не задумываясь, приносит в жертву бедного Уэверли и изображает его вроде тростинки, послушного любому ветерку. Менее беспечный писатель, вероятно, постарался бы добиться намеченной цели более искусными и обдуманнами средствами. Но наш автор спешил и поплатился за свою поспешность.

Мы уже намекали, что склонны сомневаться в оригинальности этих романов с точки зрения вымысла, но убеждены, что ничуть не умаляем этим достоинств автора; напротив, мы воздаем ему должную хвалу за то, что он изучал и тщательно и успешно описывал события и нравы, которые могли остаться погруженными в забвение. Постараемся это доказать.¹

Вся интрига романа построена на взаимном покровительстве Уэверли и Толбота: в основе ее лежит предание об одном из тех случаев, которые смягчают даже суровые черты гражданской войны, и поскольку он в равной мере служит к чести обеих сторон, мы без колебаний приводим полностью имена этих людей. Когда шотландские горцы в утро Престонской битвы предприняли свою знаменитую атаку, Камероны и аппинские Стюарты захватили и увели батарею из четырех полевых орудий. Одним из первых среди атакующих был Александр Стюарт из Инвернахила; он заметил офицера королевской армии, который, с презрением глядя на всеобщее паническое бегство, неподвижно стоял со шпагой в руке, очевидно решив защищать до конца доверенный ему пост. Знатный горец приказал офицеру сдаться, но ответом послужил удар шпагой, которая, однако, застряла в щите Стюарта. Теперь офицер оказался безоружным, и уже занесена была алебарда гиганта горца (инвернахильского мельника), чтобы размоzzжить ему голову, но в последний момент мистер Стюарт, хотя и не без труда, убедил его сдаться в плен, а затем взял на себя заботу об имуществе своего врага и его личной безопасности и в конце концов даже добился его освобождения под честное слово. Офицер оказался полковником Алленом Уайтфордом из Беллохмайла в Эйршире, благородным и влиятельным человеком,

¹ Нетрудно догадаться, что любопытные манускрипты и другие источники информации, которыми мы пользовались, не были доступны для нас в этой стране, но мы усердно наводили справки, и нам посчастливилось связаться с корреспондентом, который неумоимо производил поиски на месте; его любезные и своевременные сообщения превзошли все наши ожидания. (Прим. автора.)

горячо преданным Ганноверскому королевскому дому; но таково было взаимное доверие между обоими этими достойными людьми, невзирая на разницу их политических убеждений, что в то время, когда вокруг бушевала гражданская война и офицеров, отставших от своих горцев, беспощадно казнили,¹ Стюарт из Инвернахила не побоялся навестить своего бывшего пленника по пути в горную Шотландию, куда он возвращался, чтобы завербовать свежих рекрутов; он провел несколько дней среди вигов, друзей полковника Уайтфорда, так весело и приятно, как будто все кругом пребывало в мире и спокойствии. После сражения при Каллодене настал черед полковника Уайтфорда, не жалея сил и труда, добиваться помилования мистера Стюарта. Он обращался к товарищу председателя верховного суда Шотландии, к генеральному прокурору и ко всем высшим государственным чинам, но в ответ на его ходатайство ему каждый раз предъявляли список, в котором Стюарт из Инвернахила, по выражению этого доброго старого джентльмена, был «отмечен печатью зверя». Наконец полковник Уайтфорд направился к герцогу Камберлендскому. От него он тоже получил категорический отказ. Тогда он решил временно ограничиться просьбой об охране дома Стюарта, его жены, детей и имущества. Герцог снова ответил отказом, после чего полковник Уайтфорд, вынужденный на груди офицерский патент, попросил разрешения покинуть службу у государя, который не умеет щадить поверженного врага. Герцог был поражен и даже растроган. Он приказал полковнику взять свой патент назад и дал согласие на охрану, которой тот столь упорно добивался. Распоряжение пришло как раз вовремя, чтобы спасти дом, зерно и скот в Инвернахиле от войск, которые занимались опустошением «вражеской земли», как было принято выражаться. Небольшой отряд был расквартирован в поместье Стюарта, которое солдаты щадили, в то же время разоряя окрестные земли

¹ Как случилось с Мак-Доналдом из Кинлох-Мойдарта, (Прим. автора.)

и разыскивая повсюду вожаков восстания, главным образом самого Стюарта. Они и не подозревали, что он находится так близко от них: много дней (подобно барону Брэдуордину) скрывался он в пещере, откуда слышал часовых, выкрикивавших пароль. Пищу приносила ему одна из его дочерей, восьмилетняя девочка, которой миссис Стюарт была вынуждена доверить эту обязанность, потому что за ней и всеми ее домочадцами зорко следили. Девочка проявляла необычайную для ее возраста смекалку, прохаживаясь как ни в чем не бывало среди солдат, которые обращались с ней довольно ласково; уловив момент, когда за ней никто не наблюдал, она тихонько прокрадывалась в чашу кустарника и прятала порученный ей небольшой запас провизии в условленном месте, откуда отец потом его забирал. Эта скудная еда в течение нескольких недель поддерживала жизнь Стюарта из Инвернахила, а так как он был ранен в битве при Каллодене, то лишения, которые ему приходилось терпеть, еще усугублялись тяжкими физическими страданиями. После того как квартировавших у него солдат перевели в другое место, на его долю выпало еще одно чудесное спасение. Он отваживался теперь входить в дом вечером и уходить по утрам, и вот однажды на заре неприятельские солдаты обнаружили его, стали в него стрелять и погнались за ним. Поскольку беглецу посчастливилось ускользнуть от них, они ворвались в дом и принялись обвинять его семейство в том, что оно укрывает изменника, находящегося вне закона. У старухи служанки хватило сообразительности заявить, что мужчина, которого они видели, пастух. «Почему же он не остановился, когда мы ему кричали?» — спросили солдаты. «Бедняга глух как колода», — отвечала находчивая служанка. «Сейчас же послать за ним!» Настоящего пастуха привели с холма и по пути успели все ему объяснить, так что когда он предстал перед солдатами, то был глух в такой степени, в какой это требовалось для его оправдания. Стюарт из Инвернахила был впоследствии помилован по амнистии. «Я хорошо его знал, — сообщает наш корреспон-

дент,— и часто слышал об этих событиях из его собственных уст. Это был благородный представитель старых шотландских горцев, родовитый, доблестный, учтивый и по-рыцарски храбрый. Он выступал в 1715 и 1745 годах, был деятельным участником всех бурных событий, происходивших в горной Шотландии в промежутке между этими памятными датами, и наряду с другими подвигами прославился дуэлью на палашах со знаменитым Роб Роем Мак-Грегором в Кলেখе Балквиддерском. Он находился в Эдинбурге, когда Поль Джонс прибыл в залив Фертоф-Форт, и, хотя он уже был стариком, я видел его в полном вооружении и слышал, как он ликовал (по его собственному выражению) при мысли, что перед смертью еще раз обнажит палаш».

В те времена вся жизнь шотландцев была насквозь пронизана суеверными обычаями и страхами, и автор, по-видимому, счел долгом уснастить этими особенностями свои романы; однако он ввел их в таком количестве, что английским читателям это кажется неправдоподобным и неестественным. Некоторым оправданием ему может служить то, что иначе его повествование утратило бы национальный колорит, в сохранении которого была его главная цель. Любая старинная шотландская семья хранит какую-нибудь удивительную легенду, где событиями управляет нечистая сила; рассказываются эти легенды с самым таинственным видом и только под великим секретом. Причина этого, вероятно, кроется в том, что на ведьм и демонов привыкли сваливать ответственность за внезапное исчезновение людей и тому подобные происшествия, за которые, разумеется, в ответе порочные наклонности человеческой натуры, а тем паче в стране, где месть долгое время была в почете, где покой жителей годами нарушался личной враждой и гражданскими междоусобицами и где правосудие вершилось не очень справедливо и не очень регулярно. Мистер Лоу, добросовестный, но легковерный пастырь шотландской пресвитерианской церкви, живший в XVII веке, оставил после себя любопытный манускрипт, где политические события этого

смутного периода даны попеременно с описаниями разнообразных знамений и чудесных происшествий, которые он, следуя за веком, приписывал потустороннему вмешательству. Приводимый ниже отрывок из его рукописи рисует тягу этой эпохи ко всему сверхъестественному. Читая подобные вещи, записанные людьми разумными и образованными (а у мистера Лоу не было недостатка в обоих этих качествах), невольно вспоминаешь языческие времена, когда каждым происшествием, событием и поступком управляло особое, полновластное божество. Весьма любопытно было бы представить себе чувства человека, живущего во власти этого своеобразного вида галлюцинации и убежденного, что его со всех сторон обступают невидимые враги, — человека, не способного объяснить, почему лошади такого-то дворянина внезапно понесли, иначе, как прямым воздействием колдовства, и считающего, что *sage femme*,¹ пусть даже самой безупречной репутации, способна предать нечистой силе новорожденных младенцев.

Примечательно, что Михаил-архангел (Послание Иуды, 9) не смел произнести укоризненного суда сатане, но сказал: «Да запретит тебе господь, сатана». Но нам надлежит трепетать, и страшиться, и быть бдительными. Роженицам тоже следует быть осмотрительными и выбирать себе таких повивальных бабок, о которых идет добрая молва, ибо они часто бывают ведьмами, и пользуются *malafama*,² и имеют обыкновение посвящать младенцев сатане, особенно первенцев, и тайно крестить их во имя дьявола; правда, это не имеет силы и не может вменяться в вину ни младенцам, ни родителям, ибо они не принимали в этом участия; однако дьявол может предъявлять на таких детей свои права каждодневными искушениями, что для них очень тягостно, а особенно тем детям, чьи матери — ведьмы, ибо для подобных матерей совсем обычное дело посвящать своих детей сатане, и, конечно, это есть грех и дерзновенный вызов господу богу и уготовляет почву для искушения дьявольского, когда родители предпочитают нанимать таких повивальных бабок, считая, что они искуснее, расторопнее и удачливее в подобных обстоятельствах, нежели другие; боюсь, что этот грех слишком обычен в нашей стране, и поистине это богоотступничество. Вышеупомянутый Джон Стюарт и его сестра сознались, что мать еще в утробе предала их дьяволу. Было бы хорошо, если

¹ Повивальная бабка (франц.).

² Дурной славой (лат.).

бы повивальные бабки в нашей стране были богобоязненные и наставленные в вере. Сатана — обезьяна бога, он учится подражать завету бога с его народом; он тоже заключает завет со своими людьми, у него есть печать этого завета, есть свои отметины щипком и возобновление завета с возобновлением отметин, а также другие символы и знаки, которыми он орудует, такие, как изображения и подобию, заговоры, заклинания и чары; и если он не выполнит обещанного людям, то он делает так, чтобы эти символы разрушились в их руках, и на это он возлагает всю вину. Говорю вам, он учится подражать богу в его завете и обетованиях не из любви к богу и путям его, а потому, что тешится надеждой, что если переймет все у бога, то закрепит души за собой, а во-вторых, для осмеяния бога и его святых путей. Граф Дандоналд со своей леди ехал в карете из Пейсли в Эглинтаун на свадьбу своей внучки и лорда Монтгомери в декабре 1676 года и был вынужден прервать свое путешествие у дома дочери вышеуказанной Джонет Мети; ныне эта ведьма сидит в тюрьме в Пейсли из-за этого случая. Лошади, впряженные в карету, отказались пройти мимо этой двери и повернули головы назад. После чего джентльмены, ехавшие верхом за графом, спешились и впрягли своих лошадей в карету, но и те не хотели миновать эту дверь; по этому случаю граф приказал снова впрячь в карету своих лошадей и отправился домой в Пейсли со своей леди и всеми бывшими с ним. Это замечательное происшествие, случившееся в наши дни.

К суевериям северных британцев надо еще добавить их характерные и своеобразные развлечения; и тут мы должны загладить свою вину перед памятью ученого Паулуса Плейдела — теперь, когда мы располагаем более точными сведениями, мы склонны считать, что сlishком непочтительно отзывались о его литейных подвигах. Прежде чем был построен Новый Эдинбург (так называют новую часть города), его обитатели селились, как и до сих пор принято в Париже, в больших зданиях, именуемых лендами, причем каждая семья занимала один этаж и попадала в него по лестнице, общей для всех жильцов. Эти здания, если они не выходили на главную улицу города, образовывали маленькие, узкие, вредные для здоровья тупики или переулки. Убогие и стесненные условия жизни в этих домах вынуждали так называемых деловых людей, то есть служителей правосудия, назначать свои профессиональные свидания в тавернах; многие выдающиеся правоведы проводили большую часть дня в каком-нибудь известном трактире,

вели там дела, принимали клиентов, которые приходили вместе со своими писцами и поверенными, и никто не осуждал их за это. Этот установившийся порядок, естественно, порождал привычку к бражничеству, которому до самого недавнего времени слишком охотно предавались шотландские юристы. Мало кто умел выпивать так крепко, как советники старой школы, и еще недавно были в живых ветераны, которые поддерживали в этом отношении репутацию своих предшественников. Для оживления веселых пирушек изобретались разные забавы,¹ а самой распространенной была игра хай-джинкс, похожая на те *petits jeux*,² при помощи которых в известных кругах было принято коротать время. Правда, эта игра не может претендовать на то, чтобы быть допущенной в современное общество, но поскольку ее участникам приходилось разыгрывать разные роли, то она требовала известной находчивости и ловкости; и поэтому нетрудно себе представить, что она могла заинтересовать и увлечь играющих не меньше, чем подсчитывание очков при игре в карты или запоминание кругового порядка, в котором их бросают на стол. Самое пагубное в этой игре было как раз то, что в то время считалось ее главным преимуществом, а именно, что при проигрыше всегда можно было откупиться вином; это поощряло пьянство — господствующий порок той эпохи.

Что касается Дэви Геллатли, домашнего шута барона Брэдуордина, то, без сомнения, можно найти много свидетельств тому, что эта должность, не существующая в Англии уже с шекспировских времен, долгое время сохранялась в Шотландии, а в отдаленных

¹ Нас несколько смутило известие, что один из самых способных правоведов, когда-либо рожденных в Шотландии, и живой свидетель (хотя и в отставке) разнообразных изменений, которые произошли в ее судебных органах, человек, с честью занимавший высшие посты в своей профессии, презрительно фыркал по поводу чрезмерной мягкости нашей критики. И, разумеется, у него есть право на это, поскольку в молодости он был не только свидетелем подобных оргий, происходивших, как сказано выше, под покровительством мистера Плейдела, но и ревностным их участником. (*Прим. автора.*)

² Салонные игры (*франц.*).

ее провинциях сохраняется и по сей день. Мы вовсе не хотим сказать, будто в любой семье к северу от Твида можно встретить традиционного шута с дубинкой и в пестром лоскутном костюме. Однако в прошлом столетии представитель этой почтенной профессии выполнял свои обязанности в семействе графов Стрейзморских, и его богатый праздничный наряд, украшенный серебряными бубенцами, все еще хранится в Глэмисском замке. Нас заверяли, что и в значительно более поздний период, и даже вплоть до нашего времени, эта своеобразная разновидность слуг все еще существовала в Шотландии благодаря особенностям нравов и обычаев ее обитателей. В сельских приходах Шотландии, как правило, нет наделов для бедняков, нет, разумеется, и рабочих домов для выбившихся из сил горемык и «унылых идиотов и веселых безумцев», которых Крабб называет самыми счастливыми обитателями этих жилищ, ибо они нечувствительны к своим невзгодам. Поэтому в Шотландии дом ближайшего богатого и знатного землевладельца, естественно, становился пристанищем для этих изгоев общества. Пока не пришли трудные времена, которые породили расчетливость, пока люди не стали задумываться, стоит ли прикармливать в семье такое существо, до тех пор эти несчастные обычно находили себе приют и пользовались жизненными благами, насколько это позволяли их ограниченные умственные способности. Этим слабоумных зачастую использовали на разных случайных и несложных работах; если можно верить имеющимся у нас сведениям, им часто поручали поворачивать вертел, пока не было изобретено для этого особое приспособление. Но что бы их ни заставляли делать, они обычно питали к своим кормильцам безотчетную и трогательную привязанность. Нам известен случай, когда подобное существо много дней отказывалось от пищи, чахло, можно сказать вконец истерзало себя и умерло через несколько недель после кончины своего благодетеля. Мы не можем здесь останавливаться на моральных выводах, на которые наводят подобные случаи. Правда, в том, что люди творили себе потеху из чудачеств этих убогих созда-

ний, не сознававших унизости своего положения, сказывалась известная душевная грубость, но зато во всем остальном их образ жизни был рассчитан так, чтобы обеспечить максимальную степень доступного им счастья. Впрочем, эти юродивые забавляли наших предков не только своим убожеством и дурацкими выходками — они были также источником удовольствий более достойных, расточая поистине необузданное остроумие с узаконенной вольностью шекспировских клоунов. Мало найдется в Шотландии сколько-нибудь знатных или старинных домов, где и по сей день не поминались бы при случае острые словечки подобного зубоскала. Радость, доставляемая нашим предкам такими репликами, была тем сильнее, что в их быту не было привычки к более утонченным развлечениям. В Шотландии эти обычаи сохранялись долгое время, и в доме одного из первых вельмож этой страны (человека, имя которого всегда произносится с глубоким уважением) в течение последних двадцати лет за обедом у бокового столика стоял настоящий шут, при случае потешавший гостей своими импровизированными остротами. Слабоумие служило оправданием для всевозможных дерзких выходок даже в самых торжественных случаях. Известно, с каким благоговением шотландцы всех званий относятся к погребальным обрядам. Однако у многих представителей нынешнего поколения сохранилось в памяти, как некий идиот по имени Джейми Дафф с безобразной и нелепой внешностью, одетый, точно в насмешку, в порыжелый и изодранный черный сюртук, украшенный галстуком и манжетами из белой бумаги наподобие тех, которые носят люди в самом глубоком трауре, выступал во главе почти каждой похоронной процессии в Эдинбурге, словно высмеивая последние почести, воздаваемые усопшему.

Принято считать, что самые примечательные и характерные герои как этих, так и других популярных романов взяты из действительной жизни. Переплетчик и брадобрей стали спорить о том, с кого из них списан Стрэн Смоллетта, лишь после смерти этого писателя, — тогда как наш автор еще жив, а уже нет,

пожалуй, ни одной долины в приходах южных графств, которая не считала бы себя родиной подлинного Дэнди Динмонта. Что касается приказчика Мак-Уибла, то некий законник, занимающий высокий пост, прекрасно помнит, что получал от него гонорары. Нам самим кажется, что в Джин Гордон из нижеследующего отрывка мы узнаем прообраз Мег Меррилиз, на чьей неистовой преданности главным образом и держится интерес «Гая Мэннеринга».¹

Отец мой помнил старую Джин Гордон из Иетхолма, которая пользовалась большой властью среди своих соотечественников. Она была очень похожа на Мег Меррилиз и в той же мере была наделена безаветной преданностью — этой добродетелью дикарей. Она часто пользовалась гостеприимством на ферме Лохсайд, близ Иетхолма, и в силу этого старательно воздерживалась от воровства во владениях фермера. Но зато сыновья ее (а у нее их было девять) не отличались такой щепетильностью и преспокойным образом украли у своего доброго покровителя супоросую свинью. Джин была огорчена их неблагодарностью, и стыд заставил ее покинуть Лохсайд на несколько лет.

Однажды у лохсайдского фермера не оказалось денег, чтобы внести арендную плату, и он отправился занять их в Ньюкасл. Это ему удалось, но когда он возвращался обратно по Чевинотским горам, его там застала ночь, и он сбился с дороги.

Огонек, мерцавший в окне большого пустого амбара, оставшегося от не существовавшей уже фермы, подал ему надежду найти ночлег. В ответ на его стук дверь отворилась, и он увидел перед собой Джин Гордон. Ее весьма заметная фигура (в ней было почти шесть футов роста) и столь же удивительная одежда не оставляли ни малейшего сомнения, что эта была она, хотя и прошло уже немало лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Встреча с этой особой в столь уединенном месте, да еще, по-видимому, неподалеку от стоянки табора, была для бедного фермера неприятной неожиданностью: все его деньги были при нем, и потеря их означала для него полное разорение.

— Э, да это почтенный лохсайдский фермер! — радостно воскликнула Джин. — Слезайте же, слезайте; для чего это вам ночью ехать, коли рядом друг живет?

Фермеру ничего не оставалось, как сойти с лошади и принять предложенный цыганкой ужин и ночлег.

В амбаре лежали большие куски мяса, неизвестно где добытого, и шли приготовления к обильному ужину, который, как заметил еще более встревожившийся фермер, готовился

¹ Смотри весьма любопытную статью, озаглавленную «Заметки о шотландских цыганах», в новом периодическом издании под названием «Эдинбург мансли мэгезин». (Прим. автора.)

на десять или двенадцать человек, по-видимому таких же отпеч-
тых, как и сама хозяйка.

Джин подтвердила его подозрения. Она напомнила ему о краже свиньи и рассказала, как она терзалась потом этим поступком. Подобно другим философам, она утверждала, что мир с каждым днем становится хуже, и, подобно другим матерям, говорила, что дети совсем отбились от рук и нарушают старин-
ный цыганский закон — не посягать на собственность их благо-
детелей.

В конце концов она осведомилась о том, сколько у него с со-
бой денег, и настоятельно попросила — или даже приказала —
отдать их ей на хранение, так как ребята, как она называла
своих сыновей, скоро вернутся. Фермер, у которого другого вы-
хода не было, рассказал Джин о своей поездке и передал ей
деньги на сохранение. Несколько шиллингов она велела ему ос-
тавить в кармане, сказав, что если у него совершенно не найдут
денег, то это покажется подозрительным.

После этого она постелила фермеру постель на соломе, и
он прилег, но, разумеется, ему было не до сна.

Около полуночи разбойники вернулись, нагруженные разной
добычей, и принялись обсуждать свои похождения в таких вы-
ражениях, от которых нашего фермера бросило в дрожь. Вскоре
они обнаружили непрошеного гостя и спросили Джин, кого это
она у себя приютила.

— Да это наш славный лохсайдский фермер, — ответила
Джин. — Он, бедный, в Ньюкасл ездил денег достать, чтобы
аренду уплатить, и ни один черт там не захотел раскошелиться,
так что теперь вот он едет назад с пустым кошельком и с тя-
желым сердцем.

— Что ж, может быть, это и так, — ответил один из раз-
бойников, — но все же надо сначала пошарить у него в карма-
нах, чтобы узнать, правду ли он говорит.

Джин стала громко возражать, говоря, что с гостями так
не поступают, но переубедить их она не смогла. Вскоре фермер
услышал сдавленный шепот и шаги около своей постели и по-
нял, что разбойники обыскивают его платье. Когда они нашли
деньги, которые, вияв благоразумному совету Джин, фермер
оставил при себе, бандиты стали совещаться, забрать их или
нет. Но Джин стала отчаянно протестовать, и они этих денег не
тронули. После этого они поужинали и легли спать.

Едва только рассвело, как Джин разбудила гостя, привела
его лошадь, которая ночь простояла под навесом, и сама еще
проводила его несколько миль, пока он наконец не выехал на
дорогу в Лохсайд. Там она отдала ему все деньги, и никакие
просьбы не могли заставить ее принять даже гинею.

Старик в Джеббурге рассказывали мне, что все сыновья
Джин были приговорены к смерти в один и тот же день. Гово-
рят, что мнения судей на их счет разделились, но что один из
ревнителей правосудия, который во время этого спора тихо спал,
вдруг проснулся и громко вскрикнул: «Повесить их всех!» Еди-
ногласного решения шотландские законы не требуют, и, таким

образом, приговор был вынесен. Джин присутствовала при этом. Она только сказала: «Господи, защити невинные души!» Ее собственная казнь сопровождалась дикими надругательствами, которых она вовсе не заслуживала. Одним из ее недостатков, а может быть, впрочем, одним из достоинств, пусть это уже решит сам читатель, была ее верность якобитам. Случилось так, что она была в Карлайле, то ли в дни ярмарки, то ли просто в один из базарных дней, — это было вскоре после 1746 года; там она громко высказала свои политические симпатии, которые разъярили толпу местных жителей. Ревностные в своих верноподданнических чувствах, когда проявление их не грозило никакой опасностью, и не в меру кроткие, когда им пришлось покориться горным шотландцам в 1745 году, жители города приняли решение утопить Джин Гордон в Идене. Это было, кстати сказать, не таким простым делом, потому что Джин была женщина недюжинной силы. Борясь со своими убийцами, она не раз высывала голову из воды и, пока только могла, продолжала выкрикивать: «Карл еще вернется, Карл вернется!» В детстве в тех местах, где она когда-то жила, мне не раз приходилось слышать рассказы о ее смерти, и я горько плакал от жалости к бедной Джин Гордон.

Такие поразительно точные совпадения встречаются очень часто и невольно вселяют в нас убеждение, что автор писал с натуры, а не только сочинял; тем не менее мы воздержимся от окончательных выводов, понимая, что если член какой-то группы людей обрисован в основном правильно, то помимо типового сходства, которое должно у него быть, как у представителя своей местности, он обязательно будет напоминать нам какого-нибудь определенного человека. Иначе и быть не может. Когда Эмери выступает на сцене в роли йоркширского крестьянина, с повадками, манерами и диалектом, характерными для этого типа и изображенными точно и правдиво, то люди, незнакомые с этой провинцией или ее уроженцами, видят только абстрактную идею, *beau idéal*¹ йоркширца. Но тем, кто близко сталкивается с ними, игра актера почти неизбежно приводит на память какого-нибудь местного жителя (хотя, вероятно, совсем неизвестного исполнителю), на которого тот случайно походит внешним видом и манерами. Поэтому мы склонны полагать, что события в романе часто бывают ско-

¹ Идеальный тип (франц.).

пированы с истинных происшествий, но что образы людей либо целиком вымышлены, либо, если некоторые их черты и заимствованы из действительной жизни, как в вышеприведенном рассказе о Стюарте из Инвернахила, они тщательно замаскированы и перемешаны с чертами, порожденными фантазией. Переходим к более подробному рассмотрению этих романов.

Они озаглавлены «Рассказы трактирщика», но почему — трудно понять, разве что для ввода цитаты из «Дон-Кихота». Во всяком случае, это не рассказы трактирщика, и не так-то легко решить, чьими рассказами их следовало бы назвать.

Начинаются они с так называемого введения, якобы написанного Джедедией Клейшботэмом, учителем и псаломщиком деревни Гэндеркю: он дает нам понять, что «Рассказы» созданы его покойным помощником, мистером Питером Петтисоном, который наслушался всяких историй от путешественников, заезжавших в гостиницу Уоллеса в этой деревне. О введении мы скажем только то, что оно написано таким же вычурным стилем, как предисловие Гей к его «Пасторалиям»; Джонсон говорил, что это «по-сильное подражание устарелому языку, то есть такой стиль, которым никогда не писали и не говорили ни в какую эпоху и ни в какой местности».

Первый из введенных таким образом рассказов озаглавлен «Черный карлик». В нем есть несколько эффектных сцен, но ему еще больше чем другим не хватает качеств, необходимых для ясного и интересного повествования, как будет видно из следующего краткого пересказа.

Два охотника на оленей — лэрд Эрнсклиф, родовитый и богатый дворянин, и Хобби Элиот из Хейфута, отважный фермер из пограничной области, — возвращались вечером с охоты на холмах Лиддсдейла; переходя вересковую пустошь, которую, по народному поверью, посещают духи, они заметили, к великому ужасу фермера, существо, чья внешность и подсажала автору название этой истории; оно о чем-то плакалось луне и камням священного круга друидов; с этими камнями автор заранее познакомил

читателя, как с предполагаемым местопребыванием нечистой силы, вызывающим суеверный ужас. Вот как описывается Черный карлик.

По мере того как молодые люди приближались, рост фигуры, казалось, все уменьшался теперь в ней было меньше четырех футов; насколько им удалось разглядеть в неверном свете луны, она была примерно одинакова в высоту и ширину и имела скорее всего шарообразную форму, вызванную, по-видимому, каким-то ей одной присущим уродством. Дважды молодой охотник заговаривал с этим необычайным видением, не получая ответа, но и не обращая внимания на щипки, при помощи которых его спутник хотел убедить его, что лучше всего тронуться дальше и оставить это сверхъестественное, уродливое существо в покое. Но в третий раз, в ответ на вопрос: «Кто вы? Что вы здесь делаете в такой поздний час?» — они услышали голос, пронзительно-резкие и неприятные звуки которого заставили Эрнскифа вздрогнуть, а Элиота — отступить на два шага назад.

— Идите своим путем и не задавайте вопросов тем, кто не задает их вам.

— Что вы делаете здесь, вдали от жилья? Может, вас ночь застигла в пути? Хотите, пойдемте ко мне домой («Боже упаси!» — невольно вырвалось у Хобби Элиота), и я дам вам ночлег.

— Уж лучше искать ночлег на дне Тэрреса, — снова прошептал Хобби.

— Идите своим путем, — повторил человек; от внутреннего напряжения звук его голоса стал еще более резким. — Не нужна мне ваша помощь, не нужен мне ваш ночлег; вот уже пять лет, как я не переступал порога человеческого жилья, и, надеюсь, никогда больше не переступлю.

После того как карлик-мизантроп наотрез отказался от какого бы то ни было общения с охотниками, они продолжают свой путь к дому Хобби в Хейфуте, где их учтиво принимают его бабушка, сестры и Грейс Армстронг, прекрасная кузина, в которую влюблен отважный фермер. Жанровая сценка нарисована с таким же знанием языка и быта людей этого класса, как изображение Дэнди Динмонта и его семьи в «Гэе Мэннеринге». Тем не менее мы вовсе не приравниваем эту сценку к более простому наброску из раннего романа. Вероятно, так часто получается, когда автор повторно показывает нам образы одного и того же *genus*.¹ Он, можно сказать, вынужден напирать на специфические особенности и различия, а не на об-

¹ Рода (лат.).

щие, характерные черты, иными словами — ему приходится больше показывать, какими свойствами Хобби Элиот отличается от Дэнди Динмонта, а не описывать его как такового.

Таинственный карлик с почти сверхъестественной быстротой строит себе хижину из камней и торфа, обносит ее грубо сложенной оградой, внутри которой возделывает садик на клочке земли, и все это он совершает с помощью случайных прохожих, которые зачастую останавливаются пособить ему в работе, непосильной для столь изуродованного существа. Вся эта история показалась нам абсолютно невероятной; однако нам сообщают, что подобное существо, так же обиженное природой от рождения, действительно появилось лет двадцать назад в уединенной вересковой пустоши в долине реки Твид, соорудило там себе жилище без всякой посторонней помощи, если не считать содействия вышеупомянутых прохожих, и проживало в оном доме, построенном вышеупомянутым способом. Его отталкивающая внешность, видимая легкость, с которой он построил себе жилье, полная неосведомленность всех окрестных жителей относительно того, откуда он родом и как сложилась его жизнь, — все эти необычайные обстоятельства возбуждали в умах простых людей суеверный ужас, насколько не уступавший тому, который, судя по роману, посеяло в Лиддсдейле появление Черного карлика. Реальный отшельник — прототип Черного карлика — обладал умом и знаниями, не соответствующими видимым обстоятельствам его жизни, и соседи в простоте душевной склонны были считать это чем-то сверхъестественным. Он когда-то проживал (и, быть может, живет до сих пор) в узкой лощине, где протекает речка Мэнор, впадающая в Твид близ Пиблса; эта лощина получила известность благодаря тому, что там обитал ныне покойный достопочтенный профессор Фергюсон.

К Черному карлику обращаются за советом многие окрестные жители, верящие в его колдовские способности, а это дает автору повод познакомить нас со своими *dramatis personae*: Уилли Уэстбернфле-

том, чистокровным пограничным разбойником, который, пожалуй, является анахронизмом в этой истории, и мисс Изабеллой Вир, дочерью лэрда Эллисло, которую взаимная склонность связывает с лэрдом Эрнсклифом. Но, как водится в таких случаях, ее отец, который в политике принадлежит к партии якобитов и сильно замешан в их интригах, настроен против этого брака. Несговорчивый родитель решил отдать руку мисс Вир сэру Фредерику Лэнгли, английскому баронету, который разделяет его политические убеждения и которого он желает еще теснее связать с делом своей жизни. Эти лица, да еще ничем не примечательная кузина, наперсница Изабеллы, веселый кавалер по имени Маршал, который втягивается в интриги своего родственника Эллисло с самой жизнерадостной беспечностью, и, наконец, суровый управляющий по имени Рэтклиф, который собирает для мистера Вира доходы с каких-то обширных английских поместий, якобы принадлежавших его покойной жене, — вот и все *dramatis personae*. Список невелик, но это отнюдь не упрощает рассказа. Напротив, он изобилует заговорами, бегствами, похищениями, спасениями и всякими бурными происшествиями, столь обычными в романах и столь редкими в обыденной жизни.

Кампанию открывает вышеупомянутый бандит Уилли Уэстбернфлет: он поджигает дом нашего честного приятеля Хобби Элиота. Сходка пограничных жителей, жаждущих расплаты и мести, преследование разбойника и осада его крепости — все это рассказано с такой живостью, на какую способен только человек, привыкший наблюдать подобные сцены. Разбойник предлагает в качестве выкупа освободить свою прекрасную пленницу — как оказывается, не Грейс Армстронг, а мисс Вир, увезенную им по желанию ее отца, лэрда Эллисло, который опасался, что его намерение подчинить дочь родительской воле и помешать ей выбрать мужа по сердцу может получить отпор со стороны управляющего Рэтклифа, обладающего какой-то таинственной властью над своим хозяином. Девушку возвращает в замок Эллисло ее возлюбленный Эрнсклиф, который (разумеется!) пер-

вым бросился ее спасать. Поскольку это одна из немногих попыток бедного джентльмена «убить великана», то есть тем или иным способом отличаться на протяжении романа, то ее не следует замалчивать. Между тем разбойник возвращает свободу Грейс Армстронг под влиянием Черного карлика, который вдобавок ухитряется подкинуть ее жениху кошель с золотом, возмещающий ему все убытки.

Во время этих событий Эллисло принимает все меры для того, чтобы поднять восстание якобитов и прикрыть намечавшееся вторжение французов в пользу шевалье Сен-Жоржа. Ему неожиданно угрожает предательство со стороны человека, которого он прочит в мужа мисс Вир, сэра Фредерика Лэнгли; тот завидует его умению маневрировать и подозревает, что лэрд его надует и не выдаст за него дочь. Воспользовавшись этим обстоятельством, Вир убеждает дочь, что его состояние и жизнь находятся во власти этого ненадежного сообщника и спасти его может только ее согласие на незамедлительное заключение брака! От судьбы, которую ей уготовил отец, ее спасает внезапное появление Черного карлика; он оказывается родичем ее матери, которую когда-то нежно любил. Целый ряд несчастий, случившихся с ним из-за махинаций Вира, ввергли его в мрачную мизантропию и заставили отказаться от света. На помощь своему благодетелю является Хобби Элиот с вооруженными людьми; приходит весть о провале французской экспедиции; смущенные заговорщики рассеиваются; Вир бежит за границу, предоставив дочери полную свободу следовать влечению сердца; отшельник отправляется на поиски еще более далекого и уединенного пристанища, а Эрнслиф и Хобби женятся на своих избранницах и счастливо устрояют свою жизнь.

Таково краткое содержание истории, в которой повествование построено необычайно искусственно. Ни герой, ни героиня не возбуждают никакого интереса, потому что это *примерные* персонажи, за которых никто гроша ломаного не даст. Раскрытие тайны, окружающей личность карлика и его судьбу, слишком

долго откладывалось из очевидного желания оттянуть это объяснение до конца романа, и оно так скомкано, что лично нам из побуждений главного действующего лица удалось понять только одно — что он был сумасшедший и сообразно этому и действовал (легкий и быстрый способ разрешать все сложности). Что касается суетни и военной шумихи в развязке, то она достойна только фарса «Мельник и его люди» или любой новейшей мелодрамы, заканчивающейся появлением толп солдат и театральных рабочих на авансцене и полной неразберихой на заднем плане.

Мы говорили об этом романе, следуя доводу шута в пользу мастера Пены: «Взгляните на его лицо. Я могу поклясться на священном писании, что его лицо — самое скверное, что в нем есть, а если его лицо — самое скверное, что в нем есть, мог ли мастер Пена сделать что-нибудь плохое жене констебля?» Так же и мы готовы побожиться, что развитие интриги — самая слабая сторона «Черного карлика», однако, если читатель, познакомившись с ней по этому краткому очерку, считает ее терпимой, то он убедится потом, что само произведение не лишено мест, исполненных правдивого пафоса или наводящих непередаваемый ужас; места эти вполне достойны автора сцены похорон Стини в романе «Антикварий» или жуткого образа Мег Меррилиз.

Роман, занимающий три следующих тома, значительно интереснее как сам по себе, так и по его связи с историческими событиями и личностями. Его следовало бы назвать «Рассказ Кладбищенского Старика», ибо персонаж, носящий это прозвище, упоминается в романе только для того, чтобы подтвердить его авторитетом подлинность описываемых событий. Вот как о нем рассказано в первой, предварительной, главе.

По мнению большинства, он был уроженцем не то графства Дамфриз, не то Гэллоуэя и происходил от тех самых приверженцев ковенанта, подвиги или страдания которых были любимой темой его рассказов. Сообщают, что когда-то он держал небольшую ферму на пустоши, но то ли вследствие понесенных на ней убытков, то ли из-за семейных раздоров уже давно от нее отказался, как отказался, впрочем, и от каких бы то ни было заработков. Говоря языком писания, он покинул

дом, кров и родных и скитался по самый день своей смерти, то есть что-то около тридцати лет.

В течение всего этого времени благочестивый паломник-энтузиаст непрерывно кочевал по стране, взяв себе за правило ежегодно навещать могилы несчастных пресвитериан, погибших в схватках с врагом или от руки палача в царствования двух последних монархов из дома Стюартов. Эти могилы особенно многочисленны в западных округах — Эйре, Гэрроузе и графстве Дамфриз, но на них можно наткнуться и в других областях Шотландии — повсюду, где гонимые пуритане пали в боях или были казнены военной и гражданской властями. Их надгробия — нередко в стороне от человеческого жилья, посреди диких пустошей и торфяников, куда, скрываясь от преследований, уходили эти скитальцы. Но где бы эти могилы ни находились, они обязательно ежегодно навещались Кладбищенским Стариком по мере того, как его маршрут предоставлял ему эту возможность. И охотники на тетеревов порою встречали его, к своему изумлению, в самых глухих горных ущельях, возле серых могильных плит, над которыми он усердно трудился, счищая с них мох, подновляя своим резцом полустершиеся надписи и восстанавливая эмблемы смерти — обычные украшения этих незатейливых памятников. Глубоко искренняя, хотя и своеобразная набожность заставила этого старого человека отдать столько лет своей жизни бескорыстному служению памяти павших воинов церкви. На свое дело он смотрел как на выполнение священного долга и считал, что, возрождая для взоров потомков пришедшие в упадок надгробия — эти символы религиозного рвения и подвижничества их предков, он как бы поддерживает огонь маяка, который должен напоминать будущим поколениям, чтобы и они стояли за веру, не щадя живота своего.

Этот неутомимый старый паломник, видимо, никогда не нуждался в денежной помощи и, насколько известно, наотрез от нее отказывался. Правда, его потребности были очень невелики, и к тому же, куда бы ему ни доводилось попасть, для него всегда бывал открыт дом какого-нибудь камеронца, его единоверца по секте, или другого истинно религиозного человека. За почтительное гостеприимство, которое ему повсюду оказывали, он неизменно расплачивался приведением в порядок надгробий (если таковые имелись) членов семьи или предков своего хозяина. И так как странника постоянно видели за этим благочестивым занятием где-нибудь на деревенском кладбище или заставляли склонившимся над одинокой, полускрытой вереском могильной плитой, с молотком, которым он ударял по резцу, пугая тетеревов и ржанок, тогда как его белый от старости пони пасся где-нибудь рядом, народ из-за его постоянного общения с мертвыми дал ему прозвище Кладбищенский Старик.

К сведениям об этом замечательном старце мы считаем возможным добавить его имя и место жительства. Имя его было Роберт Патерсон, а первую

половину своей жизни он провел в Клозбернском приходе, в Дамфризшире, где он обращал на себя внимание своей глубокой набожностью и благочестием. У нас нет сведений о том, что побудило его перейти к бродячему образу жизни, описанному в романе, — домашние ли огорчения или какие-либо другие причины, — но он вел его многие годы, а примерно лет через пятнадцать закончил свое утомительное паломничество так, как описано в предварительной главе: «Его нашли на большой дороге близ Локерби в Дамфризшире в совершенном изнеможении и при последнем издыхании. Старый белый пони, его постоянный товарищ и спутник, стоял возле своего умирающего хозяина». Эта замечательная личность упоминается в сочинениях Свифта, изданных мистером Скоттом, в заметке о «Мемуарах капитана Джона Критона».

Рассказ, как нетрудно вывести из этого объяснения, относится ко времени преследований пресвитериан в Шотландии в царствование Карла II. Действие начинается с описания народного сборища по поводу военного смотра вассалов короны и последующей стрельбы в чучело попугая; этот обычай, по-видимому, все еще держится в Эйршире, а также, должны мы добавить, и в других частях континента. Нежелание пресвитериан участвовать в подобных смотрах вызвало забавный инцидент. Леди Маргарет Белленден, дама, исполненная достоинства и верноподданных чувств, из-за отказа своего пахаря взять в руки оружие вынуждена пополнить свое феодальное ополчение слабоумным мальчишкой по прозвищу Гусенок Джибби; облаченный в воинские доспехи, он выступает под стягом ее доблестного дворецкого Джона Гьюдыла. Вот к чему это приводит.

Между тем, едва кони перешли на рысь, ботфорты Джибби — справиться с ними бедный мальчуган оказался не в силах — начали колотить коня попеременно с обеих боков, а так как на этих ботфортах красовались к тому же длинные и острые шпоры, терпение животного лопнуло, и оно стало прыгать и бросаться из стороны в сторону, причем мольбы несчастного Джибби о помощи так и не достигли ушей слишком забывчивого дворецкого, утонув частью под сводами стального шлема с забралом, водруженного на его голову, частью в звуках воин-

ственной песенки про храброго Грэмса, которую мистер Гьюдйл высвистывал во всю мощь своих легких.

Дело кончилось тем, что конь поторопился распорядиться по-своему: сделав, к великому удовольствию зрителей, несколько яростных прыжков туда и сюда, он пустился во весь опор к огромной семейной карете, описанной нами выше. Копье Джибби, выскользнув из своего гнезда, приняло горизонтальное положение и легло на его руки, которые — мне горестно в этом признаться — позорно искали спасения, ухватившись, насколько хватало сил, за гриву коня. Вдобавок ко всему этому шлем Джибби окончательно съехал ему на лицо, так что перед собой он видел не больше, чем сзади. Впрочем, если бы он и видел, то и это мало помогло бы ему при сложившихся обстоятельствах, так как конь, словно стакнувшись со злонамеренными, неся что было духу к парадной герцогской колымаге, и копьё Джибби грозило проткнуть ее от окна до окна, нанизав на себя одним махом не меньше народу, чем знаменитый удар Роланда, пронзившего (если верить итальянскому эпическому поэту) столько же мавров, сколько француз насаживает на вертел лягушек.

Выяснив направление этой беспорядочной скачки, решительно все седоки — и внутренние и внешние — разразились паническим криком, в котором слились ужас и гнев, и это возымело благотворное действие, предупредив готовое свершиться несчастье. Своенравная лошадь Гусенка Джибби, испугавшись шума и внезапно осекшись на крутом повороте, пришла в себя и начала лягаться и делать курбеты. Ботфорты — истинная причина бедствия, — поддерживая добрую славу, приобретенную ими в былые время, когда они служили более искусным наездникам, отвечали на каждый прыжок коня новым ударом шпор, сохраняя, однако, благодаря изрядному весу свое прежнее положение в стременах. Совсем иное случилось с горемыкою Джибби, который был с легкостью вышвырнут из тяжелых и широких ботфорт и на потеху многочисленным зрителям перелетел через голову лошади. При падении он потерял шлем и копьё, и, в довершение беды, леди Маргарет, еще не вполне уверенная, что доставивший присутствовавшим зевакам столько забавы — один из воинов ее ополчения, подъехала как раз вовремя, чтобы увидеть, как с ее крошки-вояки сдирали его львиную шкуру, то есть куртку из буйволово́й кожи, в которую он был запеленат.

Вокруг этого смехотворного случая вращается, как мы сейчас увидим, судьба главных персонажей драмы: Эдит Белленден, внучки и наследницы леди Маргарет, и юноши-пресвитерианина по имени Мортон, сына храброго офицера, служившего шотландскому парламенту в прошлых гражданских войнах; после смерти отца Мортон оказался в зависимости от корыстного и скупого дяди, лэрда Милнвуда. Этот юный джентльмен, взяв приз на стрелковом состязании,

направляется в ближайший трактир, чтобы угостить своих друзей и соперников. Мирную пирушку нарушает стычка между сержантом королевской лейб-гвардии, человеком знатного рода, но с грубыми и наглыми повадками, которого прозвали Босуэлом, потому что он происходил от последних шотландских графов, носивших это имя, и незнакомцем угрюмого и замкнутого вида, отличающимся огромной физической силой и сдержанными манерами; впоследствии окажется, что это один из пресвитериан, объявленных вне закона, по имени Джон Белфур из Берли, находящийся в данный момент в крайней опасности, так как он вынужден скрываться из-за своего участия в убийстве Джеймса Шарпа, архиепископа Сент-Эндрю. Атлетически сложенный ковенантер одолевает Босуэла и бросает его на пол таверны.

Его товарищ Хеллидей выхватил из ножен палаш.

— Вы убили моего сержанта! — воскликнул он, бросаясь на победителя. — И, клянусь всем святым, ответите мне за это.

— Стойте! — закричал Мортон и все окружавшие. — Игра велась чисто; ваш приятель сам искал схватки и получил ее.

— Что верно, то верно, Том, — произнес Босуэл, медленно поднимаясь с пола, — убери свой палаш. Не думал я, чтобы среди этих лопоухих бездельников нашелся такой, который мог бы красу и гордость королевской лейб-гвардии повалить на пол в этой гнусной харчевне. Эй, приятель, давай-ка вашу руку.

Незнакомец протянул руку.

— Обещаю вам, — сказал Босуэл, крепко пожимая руку противника, — что придет время, когда мы встретимся снова и повторим эту игру, причем гораздо серьезнее.

— И я обещаю, — сказал незнакомец, отвечая на его рукопожатие, — что в нашу следующую встречу ваша голова будет лежать так же низко, как она лежала сейчас, и у вас недостатит сил, чтобы ее поднять.

— Превосходно, любезнейший, — ответил на это Босуэл. — Если ты и взаправду виг, все же тебе нельзя отказать в отваге и силе, и, знаешь что, бери свою клячу и улупетывай, пока сюда не явится с обходом корнет; ему случилось, уверяю тебя, задерживать и менее подозрительных лиц, чем твоя милость.

Незнакомец, очевидно, решил, что этим советом не следует пренебрегать; он расплатился по счету, пошел в конюшню, оседлал и вывел на улицу своего могучего вороного коня, отдохнувшего и накормленного; затем, обратившись к Мортону, он произнес:

— Я еду по направлению к Милнвуду, где, как я слышал, ваш дом; готовы ли вы доставить мне удовольствие и высокую честь, отправившись вместе со мною?

— Разумеется, — сказал Мортон, хотя в манерах этого человека было нечто давящее и неумолимое, неприятно поразившее его с первого взгляда. Гости и товарищи Мортонна, учтиво пожелав ему доброй ночи, стали разъезжаться и расходиться, направляясь в разные стороны. Некоторые, впрочем, сопровождали Мортонна и незнакомца приблизительно с милею, покидая их один за другим. Наконец всадники остались одни.

Отметим мимоходом, что Фрэнсис Стюарт, внук и единственный потомок последнего графа Босуэла, который был внуком Иакова V Шотландского, оказался в таких стесненных обстоятельствах, что действительно в тот период служил в лейб-гвардии рядовым, о чем сообщает нам в своих «Мемуарах» Критон, его товарищ. Больше ничего о нем не известно, и черты характера, которыми он наделен в романе, полностью вымышлены.

Белфур и Мортон вместе покидают деревню, и по пути Белфур открывает юноше, что он старый друг его отца; услышав литавры и трубы приближающегося кавалерийского отряда, он просит Мортонна приютить его в доме его дяди в Милнвуде. Здесь, подобно Дон-Кихоту, критиковавшему анахронизмы раешника маэсе Педро, мы просим сообщить нашему романисту, что кавалерия никогда не выступает ночью под музыку, как и мавры из Сансуэньи никогда не были в колокола. Следует заметить, что, согласно жестоким и деспотическим законам того времени, предоставив другу отца убежище — а по-человечески ему невозможно было в этом отказать, — Мортон рисковал навлечь на себя суровую кару, которой подвергались все, кто принимал у себя или укрывал людей, находящихся вне закона. По суровому распоряжению правительства, на непокорных кальвинистов был наложен запрет, равный *aquae et ignis interdictio*¹ гражданского законодательства, и тот, кто нарушал его, помогая злосчастному беглецу, становился соучастником преступления и наравне с преступником подлежал наказанию. Еще одно обстоятельство усугубляло риск, которому подвергал себя Мортон. Пахарь леди Маргарет Белленден, по имени Кадди Хедриг, был вместе

¹ Запрету воды и огня (лат.).

с матерью изгнан из замка Тиллитудлем за отказ явиться с оружием в руках на военный смотр, что поставило заменить его Гусенком Джибби, к великому посрамлению отряда леди Маргарет, как мы видели выше. Старуха описана как фанатическая ультрапресвитерианка, сын — как отсталый шотландский мужлан, хитрый и смекалистый в доступных ему областях, тупой и безразличный во всех остальных; он почитает мать и любит свою милую — разбитную горничную из замка, но не умеет как следует выразить эти чувства словами. То, что этот честный селянин, получив военный приказ, покорно поддался бабьему влиянию, было характерно не только для его среды. У Фаунтенхола мы узнаем, что когда тридцати пяти наследникам из графства Файф в 1680 году было приказано предстать перед Тайным советом за то, что они не явились в королевское ополчение на конях и при полном вооружении, оправдания многих смахивали на те, которые мог бы привести в свою защиту Кадди. «Балканкуал из Балканкуала объяснил, что у него украли коней, но он не решился заявить об этом, опасаясь вызвать недовольство жены»; «А Юнг из Керктонна ссылаясь на опасную болезнь своей супруги, которая стала бы горько проклинать его, если бы он покинул ее; он уверял, что ей грозили преждевременные роды в случае его отъезда».

После тайных переговоров с прекрасной Эдит Белленден Мортон вынужден, по просьбе молодой девушки, ходатайствовать перед дядей и его фавориткой домоправительницей о принятии обоих изгнанников в Милнвуд в качестве слуг. Все домочадцы сидят за столом, когда к ним врываются солдаты для домашнего обыска; такие насильственные вторжения в частные дома были им разрешены и даже поощрялись. Общий рисунок и колорит этой сцены очень характерны для нашего автора, и поэтому мы считаем нужным ее привести.

Пока слуги отворяли ворота и впускали солдат, отводивших душу проклятиями и угрозами по адресу тех, кто заставил их зря прождать столько времени, Кадди успел шепнуть на ухо матери:

— А теперь, сумасшедшая вы старуха, оглохните, как колода, — ведь и мне случалось оглохнуть от ваших речей, — и дайте мне говорить за вас. Я не желаю вкладывать свою шею в петлю из-за болтовни старой бабы, даже если она моя мать.

— Медовый мой, милый, я помолчу, чтобы не напортить тебе, — зашептала в ответ старая Моз. — Но помни, мой дорогой, что кто отречется от слова, от того и слово отречется...

Поток ее увещаний был остановлен появлением четырех лейб-гвардейцев во главе с Босуэлом.

Они вошли, производя страшный грохот подкованными каблуками необъятных ботфорт и волочащимися по каменному полу длинными, с широким эфесом, тяжелыми палашами. Милнвуд и домоправительница тряслись от страха, так как хорошо знали, что такие вторжения обычно сопровождаются насилиями и грабежами. Генри Мортону было не по себе в силу особых причин: он твердо помнил, что отвечает перед законом за предоставление убежища Берли. Сирая и обездоленная вдова Моз Хедриг, опасаясь за жизнь сына и одновременно подхлестываемая своим неугасимым ни при каких обстоятельствах пылом, упрекала себя за обещание молча сносить надругательства над ее религиозными чувствами и потому волновалась и мучилась. Остальные слуги дрожали, поддавшись безотчетному страху. Один Кадди, сохраняя на лице выражение полнейшего безразличия и непроницаемой тупости, чем шотландские крестьяне пользуются порою как маской, за которой обычно скрываются сметливость и хитрость, продолжал усердно расправляться с похлебкой. Придвинув миску, он оказался полновластным хозяином ее содержимого и вознаградил себя среди всеобщего замешательства семикратной порцией.

— Что вам угодно, джентльмены? — спросил Милнвуд, униженно обращаясь к представителям власти.

— Мы прибыли сюда именем короля, — ответил Босуэл. — Какого же черта вы заставили нас так долго торчать у ворот?

— Мы обедали, и дверь была на запоре, как это принято у здешних домохозяев. Когда бы я знал, что у ворот — верные слуги нашего доброго короля... Но не угодно ли ответить немного элю или, быть может, бренди, или чарку канарского, или кларета? — спросил он, делая паузу после каждого предложения не менее продолжительную, чем скаредный покупатель на торгах, опасющийся переплатить за облюбованную им вещь.

— Мне кларета, — сказал один из солдат.

— А я предпочел бы элю, — сказал второй, — разумеется, если этот напиток и впрямь в близком родстве с Джоном Ячменное Зерно.

— Лучшего не бывает, — ответил Милнвуд, — вот о кларете я не могу, к несчастью, сказать то же самое. Он жидковат и к тому же слишком холодный.

— Дело легко поправимое, — вмешался третий солдат, — стакан бренди на три стакана вина начисто предупреждает урчание в животе.

— Бренди, эль, канарское или кларет? А мы отведаем всего понемногу, — изрек Босуэл, — и присоемся к тому, что окажется лучшим. Это не лишено смысла, хоть и сказано каким-то распроклятым шотландским вигом.

Наглый вояка насильно заставляет всех выпить за здоровье короля; это было одним из разнообразных косвенных методов проверки политических убеждений собеседников.

— Ну, — сказал Босуэл, — все выпили? Что там за старуха? Дайте и ей стакан бренди, пусть и она выпьет за здоровье его величества.

— С позволения вашей чести, — произнес Кадди, устремив на Босуэла тупой и непроницаемый взгляд, — то моя матушка, сударь; она такая же глухая, как Кора-Линн, и, как ни бейся, ей все равно ничего не втолкуешь. С позволения вашей чести, я охотно выпью вместо нее за здоровье нашего короля и пропущу столько стаканчиков бренди, сколько вам будет угодно.

— Готов поклясться, парень говорит сухую правду! — воскликнул Босуэл. — Ты и впрямь похож на любителя пососать бренди. Вот и отлично, не теряйся, приятель! Где я, там всего вволю. Том, налей-ка девчонке добрую чарочку, хотя она, как мне кажется, неряха и недотрога. Ну что ж, выпьем еще и эту чарку — за нашего командира, полковника Грэма Клеверхауза! Какого черта ворчит эта старая? По виду она из самых отъявленных вигов, какие когда-либо жили в горах. Ну как, матушка, отрекаетесь ли вы от своего ковенанта?

— Какой ковенант изволит ваша честь разуместь? Существует ковенант труда, существует и ковенант искупления, — поторопился вмешаться Кадди.

— Любой ковенант, все ковенанты, какие только ни затевались, — ответил сержант.

— Матушка! — закричал Кадди в самое ухо Моз, изображая, будто имеет дело с глухой. — Матушка, джентльмен хочет узнать, отрекаетесь ли вы от ковенанта труда?

— Всей душой, Кадди, — ответила Моз, — и молю господ бога, чтобы он уберег меня от сокрытой в нем западни.

— Вот тебе на, — заметил Босуэл, — не ожидал, что старуха так здорово вывернется. Ну... выпьем еще разок вкруговую, а потом к делу. Вы уже слышали, полагаю, об ужасном и зверском убийстве архиепископа Сент-Эндрю? Его убили десять или одиннадцать вооруженных фанатиков.

Он настойчиво возвращается к этому вопросу и в результате обнаруживает, что накануне вечером Мортон тайно ввел Белфура, одного из убийц, в дом своего дяди. Но хотя Босуэл и намерен взять юношу под стражу, однако выясняется, что высокородный сер-

жант не прочь закрыть глаза на его проступок при условии, если все домочадцы дадут присягу, а его дядя уплатит штраф в двадцать фунтов в пользу солдат.

Побуждаемый жестокой необходимостью, старый Милнвуд окинул горестным взглядом свою советчицу и пошел, как фигурка в голландских часах, выпускать на свободу своих заключенных в темнице ангелов. Между тем сержант Босуэл принялся приводить к присяге остальных обитателей усадьбы Милнвуд, проделывая это, само собой, с почти такой же торжественностью, как это происходит и посейчас в таможенных его величества.

— Ваше имя, женщина?

— Элисон Уилсон, сударь.

— Вы, Элисон Уилсон, торжественно клянетесь, подтверждаете и заявляете, что считаете противозаконным для верно-подданного вступать под предлогом церковной реформы или под каким-либо иным в какие бы то ни было лиги и ковенанты...

В это мгновение церемонию присяги нарушил спор между Кадди и его матерью, которые долго шептались и вдруг стали изъясняться во всеуслышание.

— Помолчите вы, матушка, помолчите! Они не прочь кончить миром. Помолчите же наконец, и они отлично поладят друг с другом.

— Не стану молчать, Кадди, — ответила Моз. — Я подыму свой голос и не буду таить его; я изобличу человека, погрязшего во грехе, даже если он облачен в одежду алого цвета, и мистер Генри будет вырван словом моим из тенет птицелова.

— Ну, теперь понеслась, — сказал Кадди, — пусть удержит ее кто сможет, я уже вижу, как она трясется за спиной драгуна по дороге в Толбутскую тюрьму; и я уже чувствую, как связаны мои ноги под брюхом у лошади. Горе мне с нею! Ей только приоткрыть рот, а там — дело кончено! Все мы — пропащие люди, и конница и пехота!

— Неужто вы думаете, что сюда можно явиться... — заторопилась Моз; ее высохшая рука тряслась в такт с подбородком, ее морщинистое лицо пылало отвагой религиозного иступления; упоминание о присяге освободило ее от сдержанности, навязанной ей собственным благоразумием и увещаниями Кадди. — Неужто вы думаете, что сюда можно явиться с вашими убивающими душу живую, святотатственными, растлевающими совесть проклятиями, и клятвами, и присягами, и уловками, со своими тенетами, и ловушками, и силками? Но воистину всеу расставлены сети на глазах птицы.

— Так вот оно что, моя милая! — сказал сержант. — Поглядите-ка, вот где, оказывается, всем вигам виг! Старуха обрела и слух и язык, и теперь мы, в свою очередь, оглохнем от ее крика. Эй ты, успокойся! Не забывай, старая дура, с кем говоришь.

— С кем говорю! Увы, милостивые государи, вся скорбная наша страна слишком хорошо знает, кто вы такие. Злобные

приверженцы прелатов, гнилые опоры безнадежного и безбожного дела, кровожадные хищные звери, бремя, тяготящее землю...

— Клянусь спасением души! — воскликнул Босуэл, охваченный столь же искренним изумлением, как какой-нибудь дворовый барбос, когда на него насккивает куропатка, защищающая своих птенцов. — Ей-богу, никогда еще я не слышал таких красочных выражений! Не могли бы вы добавить еще что-нибудь в этом роде?

— Добавить еще что-нибудь в этом роде? — подхватила Моз и, откашлявшись, продолжала: — О, я буду ратовать против вас еще и еще. Филистимляне вы и идумеи, леопарды вы и лисицы, ночные волки, что не гложут костей до утра, нечестивые псы, что умышляют на избранных, бешеные коровы и яростные быки из страны, что зовется Васан, коварные змеи, и сродни вы по имени и по природе своей большому красному дракону. (Откровение святого Иоанна, глава двенадцатая, стих третий и четвертый.)

Тут старая женщина остановилась — не потому, разумеется, что ей нечего было добавить, но чтобы перевести дух.

— К черту старую ведьму! — воскликнул один из драгун. — Заткни ей рот кляпом и прихвати ее с собой в штаб-квартиру.

— Постыдись, Эндрю, — отозвался Босуэл, — ты забываешь, что наша старушка принадлежит к прекрасному полу и всего-навсего дала волю своему язычку. Но погодите, дорогая моя, ни один васанский бык и ни один красный дракон не будет столь терпелив, как я, и не сетуйте, если вас передадут в руки констебля, а он вас усадит в подобающее вам кресло. А пока что я должен препроводить молодого человека к нам в штаб-квартиру. Я не могу доложить моему офицеру, что оставил его в доме, где мне пришлось столкнуться лишь с изменой и фанатизмом.

— Смотрите, матушка, что вы наделали, — зашептал Кадди, — филистимляне, как вы их окрестили, собираются взять с собой мистера Генри, и все ваша дурацкая болтовня, черт бы ее побрал.

— Придержи язык, трус, — огрызнулась Моз, — и не суйся со своими упреками! Если ты и эти ленивые объедалы, что расселись здесь, пуча глаза, как корова, раздувшаяся от клевера, приметесь ратовать руками за то, за что я ратовала моим языком, им не утащить в тюрьму этого драгоценного юношу.

Взрыв красноречия Моз свел на нет тайную сделку между старым Милнвудом и сержантом, однако последний без всякого зазрения совести присваивает себе субсидию в двадцать фунтов, на которую он уже успел наложить лапу; затем, захватив своего пленника, он отправляется вместе со всем отрядом в замок Тиллитудлем, где остается на ночь по гостеприимному приглашению леди Маргарет Белленден, которая не скупится на знаки внимания солдатам его священ-

нейшего величества, тем более что ими предводительствует человек столь высокого происхождения, как Босуэл. Рисуя вышеприведенную сценку, автор уделит большое внимание изображению нравов. Но она не вполне оригинальна, и читатель, по всей вероятности, обнаружит зародыш ее в следующем диалоге, который Даниель Дефо ввел в свою «Историю шотландской церкви». Напомним, что Дефо посетил Шотландию с политической миссией в период унии; вполне естественно, что анекдоты об этой злополучной эпохе, еще у многих свежие в памяти, не могли не заинтересовать человека с таким живым воображением, который не знал себе равных в умении драматизовать рассказ, как бы разыгрывая его перед читателем.

Нам рассказали еще одну историю о солдате, которому человеколюбие было не так чуждо, как большинству из его товарищей; встретив мужчину на дороге, он заподозрил в нем одного из несчастных объявленных вне закона, каким тот и был в действительности; крестьянин испугался и хотел пройти мимо, но увидел, что ему это не удастся; однако солдат вскоре дал ему понять, что не слишком стремится причинить ему какой-либо вред, а тем более его убить; после чего между ними произошел следующий диалог.

— Солдат, видя, что прохожий хочет потихоньку улигнуть от него, начал так:

Стойте, сэр, не удирайте, у меня к вам есть дело.

Крестьянин. А чего вы от меня хотите?

Солдат. Мне сдается, что вы — один из молодчиков с Босуэл-бриджа. Что вы на это скажете?

Крестьянин. Право, нет, сэр.

Солдат. Пусть так, но я должен задать вам несколько вопросов; если вы ответите правильно, мы с вами снова станем друзьями.

Крестьянин. А какие вопросы вы мне зададите?

Солдат. Во-первых, сэр, согласны ли вы молиться за короля?

Крестьянин. Право, сэр, я готов молиться за всех хороших людей. Я надеюсь, вы считаете короля хорошим человеком, иначе вы не стали бы ему служить.

Солдат. Да, сэр, я считаю его хорошим человеком, а все, кто не хочет за него молиться, дурные люди.¹ Но что вы скажете о деле при Босуэл-бридже? Разве это не был мятеж?

¹ К этому времени бедняга успел смекнуть, что солдат не собирается его обижать; он понял намек, приободрился и стал отвечать нужным образом. (Прим. автора.)

Крестьянин. Не знаю, что сказать про Босуэл-бридж, но если там подняли оружие против хорошего короля без важной причины, значит это мятеж, тут я с вами согласен.

Солдат. Ну, тогда, надеюсь, мы с тобой поладим: сдается мне, ты малый честный. Но они убили епископа Сент-Эндрю, честного человека. То было злое дело, что ты на это скажешь, разве это не убийство?

Крестьянин. Увы, бедняга, если они убили его и если он взаправду был честный человек, а они убили его без причины, тогда я согласен, это, должно быть, убийство; другого слова тут, пожалуй, и не подберешь.

Солдат. Правильно ты сказал, парень, а теперь у меня к тебе еще один только вопрос, и тогда мы с тобой вместе выпьем. Ты отрекаешься от кovenанта?

Крестьянин. Вы уж не взывайте, но теперь я вас должен спросить. Есть два кovenанта, какой из них вы имеете в виду?

Солдат. Два кovenанта? Да где же они?

Крестьянин. Есть кovenант труда, приятель, и кovenант искупления.

Солдат. Черт меня побери, если я в этом разбираюсь, парень; отрекись хотя бы от одного из них, и с меня хватит.

Крестьянин. От всей души, сэр. Право, я от всей души отрекаюсь от кovenанта труда.

По окончании диалога солдат отпустил беднягу, если верить этой истории. Но правдива она или нет, она дает читателю правильное представление о тех ужасных условиях, в которых существовал в то время каждый честный человек, ибо жизнь его была в руках первого попавшегося солдата; нетрудно себе представить, к каким это приводило последствиям. (*Дефо, История шотландской церкви.*)

Эта история наводит на мысль, что солдаты далеко не всегда были столь бесчеловечны, как того требовали суровые инструкции. Говорят, что даже приходские священники иногда потворствовали своим строптивым прихожанам и признавали достаточной уступкой приказам Тайного совета согласие просто посетить церковь, то есть войти в одну дверь и выйти в другую, не присутствуя на богослужении. Но вернемся к нашему рассказу.

Мортон навещает в камерке, где он заключен, мисс Белленден со своей горничной Дженни Деннисон, подружкой изгнанника Кадди. Результатом их беседы является попытка молодой леди спасти своего возлюбленного через посредничество дяди, майора Беллендена, старого воина, который знал и ценил

Мортонa. На другое же утро ей представился случай пустить в ход свое влияние, так как в замке появился знаменитый Грэм Клеверхауз, впоследствии виконт Данди, прибывший на поиски мятежных ковенантеров, которые засели в ближних вересковых зарослях. Приведем как образец удачного описания портрет этого прославленного полководца, которого одни возвеличивали как героя, а другие поносили как дьявола.

Грэм Клеверхауз был во цвете лет, невысок ростом и худощав, однако изящен; его жесты, речь и манеры были такими, каковы они обычно у тех, кто живет в аристократическом и веселом обществе. Черты его отличались присущей только женщинам правильностью. Овальное лицо, прямой, красиво очерченный нос, темные газелии глаза, смуглая кожа, сглаживавшая некоторую женственность черт, короткая верхняя губа со слегка приподнятыми, как у греческих статуй, уголками, оттененная едва заметной линией светло-каштановых усиков, и густые, крупно выющиеся локоны такого же цвета, обрамлявшие с обеих сторон его выразительное лицо, — это была наружность, какую любят рисовать художники-портретисты и какую любят женщины.

Суровость его характера, равно как и более возвышенное качество — безграничная и деятельная отвага, которую вынуждены были признавать в нем даже враги, таилась где-то под его внешнею оболочкою, подходившей, казалось, скорее ко двору или к салонам, чем к полю сражения. Благожелательность и веселость, которым дышали черты его привлекательного лица, одушевляли также любое его движение и любой жест; в целом, на первый взгляд, Клеверхауз мог показаться скорее жрецом наслаждений, чем честолюбия. Но за этой мягкой наружностью скрывалась душа, безудержная в дерзаниях и замыслах и, вместе с тем, осторожная и расчетливая, как у самого Маккьявелли. Глубокий политик, полный, само собой разумеется, того презрения к правам личности, которое порождается привычкой к интригам, этот полководец был холоден и бесстрастен в опасностях, самонадеян и пылок в использовании успеха, беззаботен перед лицом смерти и беспощаден к врагам. Таковы люди, сложившиеся во время гражданских раздоров, люди, чьи лучшие качества, извращенные политическою враждой и стремлением подавить обычное в таких случаях сопротивление, весьма часто сочетаются с пороками и страстями, сводящими на нет их достоинства и таланты.

Заступничество майора Беллендена в пользу Мортонa оказывается безуспешным. Клеверхауз, сохраняя внешнюю воинскую учтивость, проявляет безжалостную суровость, характерную для человека, столь отличившегося своим рвением в подавлении мятежей.

Он вызывает отряд драгунов для исполнения смертного приговора Мортону, но в эту критическую минуту Эдит бросается за помощью к молодому дворянину, который занимает в полку Клеверхауза подчиненное положение, но пользуется большим влиянием на него благодаря своей знатности и политическому весу. Лорд Эвендел, тоже поклонник Эдит, подозревает о ее склонности к сопернику, который находится на краю гибели; однако он благородно выполняет ее просьбу и просит у Клеверхауза, как личного одолжения, отменить казнь Мортонна. Ответная речь начальника свидетельствует о его крутом и решительном нраве и упорстве в выполнении того, что он почитает своим долгом.

— Пусть будет по-вашему, — сказал Клеверхауз, — но, молодой человек, если вы хотите достигнуть когда-нибудь высокого положения, служа своему королю и отечеству, пусть первойшей вашей обязанностью будет безоговорочное подчинение ваших страстей, привязанностей и чувств общественным интересам и служебному долгу. Теперь не время отказываться ради бредней выживших из ума стариков и слез неразумных женщин от спасительных мер, прибегать к которым нас вынуждают грозящие отовсюду опасности. И помните, что, если на этот раз, поддавшись вашей настойчивости, я сдался, то эта уступка должна раз и навсегда избавить меня от ваших ходатайств такого же рода.

Сказав это, он вышел из ниши и бросил на Мортонна испытующий взгляд, желая, видимо, выяснить, какое впечатление произвела на того эта жуткая пауза между жизнью и смертью, оледенившая ужасом всех окружающих. Мортон сохранял ту твердость духа, на которую способны лишь те, кто, покидая землю, не оставляет на ней ни любви, ни надежд.

— Взгляните, — прошептал Клеверхауз лорду Эвенделу, — он стоит у самого края бездны, отделяющей сроки человеческие от вечности, в неведении более мучительном, чем самая страшная неотвратимость, и все же его щек не покрыла бледность, его взгляд спокоен, его сердце бьется в обычном ритме, его нервы не сдали. Посмотрите на него хорошенько, Эвендел. Если этот человек станет когда-нибудь во главе войска мятежников, вам придется отвечать за содеянное вами нынешним утром.

Итак, Мортонна уводят в тыл войска, которое направляется теперь к месту под названием Лоудонхилл. С ним три товарища по несчастью: Тимпан, пресвитерианский проповедник, которого схватили, когда он обращался с пламенным увещанием к собранию

молящихся, и Моз с ее злополучным сыном Кадди, арестованные на этом собрании.

Клеверхауз застает повстанцев в полной боевой готовности. Им предлагают сдаться, но они стреляют в парламентаря (племянника Клеверхауза, согласно рассказу) и убивают его на месте. Тогда солдаты бросаются в атаку. Подробности и перипетии схватки описаны ясно и четко. Самый захватывающий эпизод — это единоборство Босуэла и Белфура, или Берли, в котором первый гибнет.

— Ты гнусный убийца, Берли, — сказал Босуэл, крепко сжимая палаш и стиснув зубы, — однажды тебе удалось от меня ускользнуть, но твоя голова (он выпалил такое ужасающее проклятие, что мы не решаемся его повторить)... стоит того, во что ее оценили, и она будет болтаться у луки моего седла, или мой конь возвратится к своим с опустевшим седлом.

— Да, — отозвался Берли с видом суровой и мрачной решимости, — да, я тот самый Берли, который обещал тебе, что уложит твою голову на землю, и притом так, чтобы ты не смог ее больше поднять. И да сотворит со мной господь то же самое и еще худшее, если я не сдержу своего слова.

— Значит, или ложе из вереска, или тысяча мерков! — воскликнул Босуэл, обрушиваясь изо всей силы на Берли.

— Меч господи и меч Гедеона! — прокричал Белфур, отбивая удар Босуэла и нанося ему ответный удар.

Едва ли часто случалось, чтобы оба участника поединка были столь же равны в физической силе, в искусстве владеть оружием и конем, в безграничной храбрости и в непримиримой взаимной вражде. Обменявшись многочисленными ударами, нанеся и получив по несколько легких ран, они в бешенстве набросились друг на друга, подгоняемые слепым нетерпением смертельной ненависти: Босуэл схватил Берли за портупею, Белфур вцепился в воротник его куртки, и оба свалились наземь. Товарищи Берли поспешили ему на выручку, но им помешали драгуны, и борьба опять стала общей. Но ничто не могло оторвать Берли и Босуэла друг от друга, и они продолжали кататься по земле, борясь, беснуясь, с пеной у рта, напоминая упорством чистокровных бульдогов.

Несколько лошадей промчалось над ними, но они не разжали объятий, пока удар копытом не сломал правую руку Босуэла. Подавляя глубокий стон, он отпустил врага, и они оба вскочили на ноги. Сломанная рука Босуэла беспомощно повисла у него на боку, но левой рукой он пытался нащупать место, где должен был находиться кинжал, который, однако, выпал из ножен во время борьбы. Устремив на противника взгляд, в котором сочетались бешенство и отчаяние, он стоял теперь безоружный и беззащитный; и Белфур, с диким торжествующим хохотом взмахнув палашом, обрушил его на противника. Тот

устоял на ногах, так как палаш лишь слегка задел ему ребра. Босуэл больше не защищался, но, взглянув на Берли с усмешкой, в которой выразил всю свою беспредельную ненависть, он презрительно бросил ему:

— Грязный мужик, ты пролил королевскую кровь!

— Умри, жалкая тварь! — закричал Белфур, нанося новый удар, и на этот раз с большим успехом. И, наступив ногой на тело упавшего Босуэла, он в третий раз пронзил его своим палашом: — Умри, кровожадный пес! Умри, как ты жил; умри, как подышают животные, ни на что не уповая, ни во что не веря.

— И ничего не страшась, — прохрипел Босуэл, собрав последние силы, чтобы произнести эти гордые, полные непримиримости слова, и тотчас же испустил дух.

В конце концов Клеверхауз и его войско разбиты наголову и бегут с поля сражения.

Автор дает живой, но несколько преувеличенный отчет об этой примечательной схватке, в которой Клеверхауз потерпел поражение. Отношения между ним и убитым корнетом Грэмом полностью вымышлены. По свидетельству Критона и Гилда (автора поэмы на латинском языке под названием «*Bellum Bothuellianum*»¹), тело этого офицера после смерти было зверски изуродовано победителями, которые решили, что это труп самого Клеверхауза. Если бы нам позволяло место, мы бы охотно привели здесь любопытный отрывок из рукописи очевидца, Джеймса Рассела, одного из убийц архиепископа Шарпа; он объясняет надругательство над телом корнета Грэма неосторожными речами, которые тот будто бы произносил в утро перед битвой. Обе стороны, разумеется, настаивали на своей версии рассказа; в таких случаях это всегда вопрос совести.

Мортон, освобожденный победившими ковенантерами, вынужден примкнуть к ним и принять пост командира в их войске; к этому его склоняют уговоры Берли и глубокое сознание несправедливости правительства к повстанцам, равно как естественное чувство протеста против недостойного и жестокого обращения, которое ему самому пришлось испытать. Но, делая этот решительный шаг, он все же отнюдь не разделяет узколобого фанатизма и горького озлобле-

¹ «Босуэлская война» (лат.).

ния, с каким большинство членов преследуемой партии смотрит на прелатистов, и ставит одно непереносимое условие: поскольку дело, к которому он примкнул, отстаивается мужчинами в открытой войне, то ее надо вести согласно законам цивилизованных народов. Если мы познакомимся с историей тех времен, то убедимся, что ковенантеры, пройдя школу гонений, не научились милосердию. Этого, пожалуй, и нельзя было ожидать от лишенного прав и преследуемого племени, озлобленного тягчайшими страданиями. Так или иначе, у победителей при Драмклоге был жестокий и кровожадный нрав, и это явствует из рассказа их историка, мистера Хови из Лохгойна, личности не менее интересной и своеобразной, чем Кладбищенский Старик; несколько лет тому назад он с большим усердием собрал все, что можно было извлечь из рукописей и из устных преданий относительно поборников ковенанта. В своей истории битвы при Босуэл-бридже и предшествующей схватки при Драмклоге он ссылается на мнение мистера Роберта Гамильтона, командовавшего вигами в этом последнем сражении, о том, насколько допустимо и законно щадить побежденного врага.

Мистер Гамильтон проявил большое мужество и доблесть как во время сражения, так и в преследовании неприятеля; но тогда как он и некоторые другие устремились вслед за врагом, нашлись и такие, которые жадно бросались на добычу, какой бы скудной она ни была, вместо того чтобы упрочить победу; а некоторые без ведома мистера Гамильтона и вопреки его прямому приказу пощадили пятерых из этих окаянных врагов и отпустили их на волю; мистер Гамильтон сильно огорчился, увидев, что этому вавилонскому отродью удалось спастись, после того как господь предал его в их руки, чтобы они разбили его о камни (псал. СXXXVII, 9). В своем отчете об этом случае он высказал мнение, что оказание пощады врагам и освобождение их были одним из первых уклонений с пути истинного; и он опасался, что господь больше не удостоит их чести совершить что-нибудь для него; и он был против того, чтобы оказывать милости врагам господним или принимать таковые от них (*«Битва при Босуэл-бридже»*, стр. 9).¹

¹ Тот же честный, но фанатичный и предубежденный историк, автор *«Знаменитых людей Шотландии»*, еще подробнее остановился на этом щекотливом вопросе в *«Жизни Джона Нес-*

Поэтому автор поступил в строгом соответствии с исторической истиной (было ли это разумно, мы разберем после), изобразив ковенантеров, или, вернее, ультраковенантеров (ибо большинство победителей

бита из Хардхила» — биографии другого поборника ковенанта. По его словам, Несбит перед казнью высказался против проявленного к пяти пленным драгунам мягкосердечия, считая его одной из ступеней отхода от истинной веры и одной из причин, навлекших гнев господень.

«Некоторые считали слишком суровым его намерение казнить пленных, взятых при Драмклогге. Но его нельзя слишком осуждать за это, ибо лозунг неприятеля был: «Никакой пощады!» — и пленные подвергались той же участи; и мы видим, что мистер Гамильтон был очень огорчен, когда обнаружил, что его солдаты пощадили нескольких врагов, которых господь предал в их руки. «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам» (псал. CXXXVII, 8). Да и сам Несбит считал, по-видимому, что у него есть веские причины и основания говорить об одной из ступеней отхода от истинной веры. На этом мы и закончим наше повествование».

«Пункт пятнадцатый. Правосудие над врагами бога и церкви совершалось подчас необдуманно, завистливо и алчно, но были и случаи, которые побуждали господа отвергнуть, изгнать свой народ и вырвать власть из его рук за жалость к врагам, вопреки тому, что он повелел свершить над ними мщение, которое им назначено, согласно псалму CXLIX, 9. Ибо правосудие должно совершиться таким способом, как сказано выше, и оно должно совершиться полностью, без пощады, как явствует из Иисуса Навина (VII, 24) и т. д. За то, что Саул пощадил жизнь врага и бросился на добычу (Самуил, I, XV, 18), он подвергся суровой укоризне, и хотя он оправдывался перед богом, однако за это самое дело господь отторг царство израильское от него. Вспомним же и оплачем случай при Драмклогге. Если бы люди не столь глубоко погрязли в невежестве, их мог наставить разум, ибо какой хозяин, имеющий слуг и дающий им работу, стерпел бы такое оскорбление от своего слуги, если бы он сделал только часть работы и пришел бы и сказал хозяину, что нет нужды делать остальное, а невыполнение это наносило бы урон чести хозяина и вред всей его семье? Поэтому ярость гнева господня поднялась против его народа, так что он возненавидел наследие свое, и скрыл лицо от народа своего, и заставил его пугаться дрожащего листа и бежать, когда никто не преследует, чтобы стал он посмешищем и поруганием у врагов своих и вселял страх в тех, кто желал бы помочь ему. О, скорбите в сердце своем и оплакивайте содеянное; вы навлекли на себя гнев его тем, что не стремились совершать истинное правосудие, и этого он не простил. «Вот! Вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша» (Исаия, L, 1 и т. д.)» (*Знаменитые люди Шотландии*, стр. 430). (Прим. автора.)

при Драмклоге подходило под это определение), в виде кучки свирепых и кровожадных людей, в ком фанатизм и озлобление, вызванное долгими преследованиями, разрушили те чувства и принципы морали, которые должны сопровождать и облагораживать любой акт возмездия. Большинство пресвитериан, духовенство и народ далеко не сочувствовали этим крайностям; и когда они брали в руки оружие и присоединялись к повстанцам, им приходилось сталкиваться с явным недружелюбием и подозрительностью со стороны изуверов, о которых мы говорили выше. Священнослужителей, которые удовлетворялись разрешением правительства на отправление службы по так называемой индульгенции, антагонисты клеймили за эрастианство и самовольное служение богу, а те, в свою очередь и с бóльшим основанием, обвиняли своих противников в том, что они под предлогом установления свободы и независимости пресвитерианской церкви намерены отказаться от всякого подчинения государственной власти. Автор «Пуритан» нарисовал картину их сумбурных совещаний и растущих разногласий и вывел несколько представителей их духовенства; в каждом из них религиозный пыл выражается по-разному, в зависимости от природных свойств их ума и характера. Энтузиазм Паундтекста искренний, но формальный; это принявший индульгенцию пресвитерианский священник, честный, благонамеренный и преданный, но немного боязливый и любящий свои удобства и покой. Рвение Тимпана более бурное. Это человек смелый, шумный и несговорчивый. У юноши по имени Мак-Брайер, обладающего более возвышенным и пылким воображением, энтузиазм неистовый, экзальтированный, красноречивый и увлекающий, а у Аввакума Многогневного он доходит до полного безумия.

Нам пришлось потратить немало усилий, дабы удостовериться, что разногласия, указанные в романе, действительно существовали, и мы считаем своим долгом привести подлинные слова современников. Свидетельство Джеймса Рассела по этому вопросу недвусмысленно:

В субботу армия со всеми священниками собралась у Ратергена, и они стали обсуждать вопрос о проповеди, ибо офицеры, которым господь ниспослал честь довести дело до такого славного конца, выступали против всех, кто не желал защищать истинную веру и разоблачать всякое отступничество, но священники решили войти в соглашение и проповедовали в трех разных местах; одни проповедовали против всякого отступничества и посягательства на права Иисуса Христа, а мистер Уэлч и его сторонники проповедовали подчинение подданных государственным властям. Это очень возмущало всех, ибо те, кто примыкал к первым, считали, что отступят от истинной веры, согласившись с мистером Уэлчем; те же, кто стоял за интересы короля и за индульгенцию, также были недовольны; и в этот день мистер Холл, Рэтиллет, Кармайкл, мистер Смит были посланы в Кэмпси, чтобы разогнать народное ополчение, которое собралось там, — умышленно или нет, мы сказать не можем, ибо все они были честными чужеземцами; однако по всей армии начались раздоры и споры, причем одни ратовали за интересы господни, а другие за интересы короля и свои собственные и поносили праведную сторону, называя ее раскольнической и бунтарской.

Хови из Лохгойна, с которым мы уже познакомили читателя, сообщает нам, что среди победителей при Драмклоге царили полное согласие и единодушие, пока их не омрачила *дурная весть*, что мистер Уэлч, сторонник индульгенции, приближается к ним с мощным подкреплением. Казалось бы, это известие должно было их обрадовать. Но эти удивительные воины, для которых пустяковое расхождение во взглядах было важнее, чем несколько сот лишних шпаг, впали при этом в полнейшее уныние.

До той поры среди них царило согласие и единомыслие во всем, что касалось дела и завета Иисуса Христа, за которые они ратовали, и в этом между ними была полная гармония; но теперь, увы, их мирному и прекрасному союзу, согласно и гармонии пришел конец, ибо вечером этого дня в их лагерь прибыло сильное полчище аханов и внесло прискорбное смятение в божье воинство; то были мистер Джон Уэлч, который привел с собой около ста сорока всадников из Каррика с молодым Блехеном во главе, около трехсот пехотинцев, а также несколько продажных священников его породы, и Томас Уэйр из Гринриджа с кавалерийским отрядом под его командой, хотя этот Уэйр был справедливо отстранен военным советом в предыдущий вторник. Все они были врагами правого дела, которое защищала армия; и, как указывает праведный Рэтиллет, теперь среди них был человек, а именно Гринридж, виновный в пролитии крови святых, и несколько таких, которые владели поместьями пострадавших

во имя господи и не прошли путь раскаяния подобно Иуде, который принес обратно плату за кровь и вернул ее. И гут пришло горе и досада для праведных людей, ибо с того времени, как среди них появился мистер Уэлч, и до их разгрома врагом, их терзали споры, разногласия, раздоры, предубеждения, распри, смятение и беспорядки и, наконец, полное поражение этой некогда дружной армии; и с тех пор в ней всегда были две партии, боровшиеся между собой: одна стояла за правду, другая — за отступничество, подобно Иакову и Исаву, боровшимся в утробе Ревекки (Бытие, XXV, 22). Был там мистер Гамильтон и все, примыкавшие к праведной партии, и мистер Уэлч с вновь прибывшими и с другими, которые присоединились впоследствии, и с такими, которых они перетянули от истинного понимания завета на свои порочные пути, что составило новую и очень порочную партию (*Хови, Битва при Босуэл-бридже*).

Но пора вернуться к романисту, о котором мы почти совсем забыли, разбирая достоверность его исторических описаний. Он заставляет мятежных пресвитериан предпринять осаду вымышленного замка Тиллитудлем; обороной его руководит старый майор Белленден, которому леди Маргарет Белленден торжественно вручает жезл своего отца с золотым набалдашником в качестве символа власти, предоставляя ему, как она выражается, «полномочия умерщвлять, поражать и наносить урон тем, кто осмелится покуситься на вышеназванный замок, делая это с таким же правом, с коим могла бы действовать она сама». Гарнизон получает подкрепление с прибытием лорда Эвендела, а также отряда драгунов, оставленного Клеверхаузом при отступлении из Драмклога. Подготовившись таким образом, они решают выдержать осаду, все перипетии которой рассказаны в мельчайших подробностях, по привычке этого писателя, который уделяет военным описаниям очень большое (быть может, чересчур большое) внимание. Наконец после ряда превратностей судьбы лорд Эвендел взят в плен во время вылазки. Самые фанатичные из мятежников собираются его убить, но более умеренные вожди вместе с Мортонем восстают против этого жестокого решения и освобождают Эвендела под двумя условиями: первое из них — сдача замка, а второе — обещание передать Тайному совету памятную записку с изложением жалоб и петицию об устранении

несправедливостей, которые послужили причиной восстания.

Этот эпизод никак нельзя считать надуманным. Из вышеприведенных цитат видно, что камеронская часть повстанцев решила не щадить своих пленников. Согласно двойному свидетельству Критона и Гилда, которое подтверждается «Рукописными мемуарами» Блэкзера, они воздвигли посредине своего лагеря в Гамильтоне виселицу огромных размеров и необычной конструкции, снабженную крюками и веревками, чтобы вешать сразу по нескольку осужденных; они открыто заявляли, что это устройство предназначено для наказания нечестивых; это не было пустой угрозой, потому что они, в самом деле, прехладнокровно повесили некоего Уотсона, мясника из Глазго, чье преступление состояло только в том, что он сражался на стороне правительства. Казнь мясника вызвала сильное недовольство той части их собственных соратников, которых им угодно было называть эрастианами, как явствует из цитированных выше мемуаров Рассела.

Освобождение лорда Эвендела приводит к открытому разрыву между героем романа Мортонем и другом его отца Берли, который воспринял договор с Эвенделом как личное оскорбление. Пока эти раздоры терзают армию мятежников, к ним приближается герцог Монмут во главе войска Карла II, подобно коршуну из басни, который парит над драчливыми мышкой и лягушкой, готовый ринуться на обеих. Мортон отправляется парламентарем к герцогу, который, по-видимому, выслушал бы его благосклонно, если бы не суровое вмешательство Клеверхауза и генерала Дэлзела. В этой последней подробности автор жестоко погрешил против исторической истины, потому что он выставил Дэлзела участником сражения при Босуэл-бридже, тогда как «кровавый старик», как его называет Вудроу, вовсе не был там, а находился в Эдинбурге и присоединился к армии лишь через день или два. Кроме того, автор изображает вышеупомянутого Дэлзела в *ботфортах*, а по свидетельству Критона, старый генерал никогда их не носил. Вряд ли у автора найдутся веские доводы в оправдание этой

фальсификации, и поэтому мы великодушно напоминаем, что он писал роман, а не историю. Но он строго придерживался исторических фактов в изображении Монмута, который стремился избежать кровопролития как до сражения, так и после него и который собирался предложить мятежникам приемлемые условия, но вынужден был уступить свирепому нраву своих соратников.

Мортон, совершив ряд удивительных подвигов, чтобы повернуть колесо фортуны, как и подобает герою романа, в конце концов вынужден спасаться бегством в сопровождении верного Кадди, своего товарища по несчастью. Они добираются до заброшенной фермы, занятой отрядом отступающих вигов с их проповедниками. К несчастью, это самые неистовые из камеронцев, и для них Мортон по меньшей мере отступник, а то и предатель; посоветовавшись между собой, они решают его убить, сочтя его неожиданное появление знаком, указующим волю провидения. И действительно, эти злосчастные люди так долго вынашивали мысль о мести, что в их сознании укоренилась глубокая убежденность, будто подобные случайности являются знамением свыше, повелевающим совершить кровопролитие. В рассказе Рассела Джон Белфур (в романе — Берли) уверяет заговорщиков, собравшихся утром перед убийством архиепископа Шарпа, что всевышний предназначил его на великий подвиг, ибо, когда он собирался бежать в горы, он почувствовал, как что-то побуждает его остаться. Дважды в усердной молитве испрашивал он указания у неба и на первую свою мольбу услышал ответ, а на вторую — строгий приказ: «Иди! Разве я не послал тебя?» Сам Джон Рассел был убежден, что он тоже получил особое знамение перед этим достопамятным случаем.

Мортону спасает от неминуемой гибели приезд его старого знакомого Клеверхауза, с отрядом всадников преследующего беглецов; окружив дом, он безжалостно уничтожает всех, кто в нем укрывался. Этот полководец преспокойно сидит за ужином, пока его солдаты выводят и расстреливают тех немногих пленных, которые уцелели в схватке. На исполненные ужаса

перед его жестокостью слова Мортон он отвечает с равнодушием воина и в смелой и страстной речи выражает свою преданность государю и твердую решимость до конца выполнять его законы о мятежниках. Клеверхауз берет Мортон под свое непосредственное покровительство в благодарность за помощь, оказанную им лорду Эвенделу, и отвозит его в Эдинбург, где добивается, чтобы смертный приговор, который тот навлек на себя, подняв оружие против правительства, был заменен приговором об изгнании. Мортон оказывается свидетелем ужасного допроса под пыткой одного из своих соратников. Эта сцена написана языком, словно заимствованным из протоколов, которые велись во время этих страшных процедур, и наряду со многими другими эпизодами, соответствующими фактам, хотя и переплетенными с вымыслом, должна заставить всякого шотландца возблагодарить бога, что он родился не тогда, когда подобные зверства творились с благословения закона, а на полтора века позже. Обвиняемый выдерживает пытку с твердостью, которую проявляло большинство этих мучеников; за исключением проповедника Доналда Каргила, который, по словам Фаунтенхола, вел себя очень трусливо, никто из них не утратил стойкости, несмотря на ужасные страдания. Кадди Хедриг, чьи убеждения отнюдь не были «пыткоустойчивы», после многочисленных уверток, которых и следовало ожидать от крестьянина, да еще к тому же шотландца (шотландские крестьяне всегда славились своей способностью давать уклончивые ответы на самые простые вопросы), в конце концов вынужден признать свое заблуждение, выпить за здоровье короля и отречься от вигов и всех их принципов, после чего он получает полное прощение. Сцена его допроса весьма характерна, но мы не имеем возможности привести ее здесь.

Мортон получает второе сообщение от своего старого друга Берли о том, что последний располагает неограниченной властью над судьбой Эдит Белленден (о любви к ней Мортон ему было хорошо известно) и готов применить эту власть в пользу Мортон при условии, что тот останется верен делу пресвитерианст-

ва. Неожиданную перемену в своем отношении к Мортону Берли объясняет тем, что он был свидетелем его отважного поведения у Босуэл-бриджа. Но нам эта причина кажется недостаточно веской, а весь эпизод — маловероятным. Письмо Берли Мортон получает на корабле и поэтому лишен возможности что-либо предпринять.

О дальнейших событиях мы дадим лишь краткий и суммарный отчет. После многолетнего отсутствия Мортон возвращается на родину и узнает, что замок Тиллитудлем избежал позорной участи, которой опасался Катон: он не остался невредимым и не процветал во время гражданской войны; вследствие пропажи важного документа, который Берли похитил в личных целях, права на наследственные владения перешли к Бэзилу Олифанту, наследнику по мужской линии, а леди Маргарет Белленден с внучкой нашли приют в небольшой усадьбе лорда Эвендела, чья верная дружба долгое время спасала их от нищеты. Мортон прибывает в это скромное убежище; и брак лорда Эвендела и мисс Белленден, на который *она* нехотя дает согласие, считая, что ее первый возлюбленный давно умер, и на котором *он* благородно настаивает, чтобы обеспечить судьбу леди Маргарет Белленден и ее внучки (сам он собирается подвергнуть свою судьбу величайшему риску, ибо его старый командир Данди готовится снова поднять меч за дело изгнанного короля), — брак этот, повторяем, расстраивается, едва лишь Эдит узнает, что Мортон еще жив.

Остальные события, необходимые для развития действия, можно уместить в одно предложение. Высоко в горах, в диком и уединенном ущелье, описанном рукою мастера, Мортон находит своего бывшего соратника Джона Белфура из Берли, которого привела туда ненависть к правительству короля Вильгельма; под влиянием политического и религиозного фанатизма и безумных видений, вызванных терзаниями совести за подлое и малодушное убийство, которых не в силах побороть даже его страстная вера, Берли дошел до грани помешательства. Он лелеет планы радикальной реформации и старается вовлечь в них Мортон, что

не мешает ему уничтожить документ, подтверждающий права леди Маргарет Белленден на наследие ее предков. Вырвавшись от этого мрачного маньяка, Мортон с благородным великодушием пытается спасти жизнь своего соперника Эвендела, которой угрожают махинации Бэзила Олифанта и Белфура. Однако его старания терпят неудачу. В тот самый момент, когда лорд Эвендел отправляется в путь, чтобы присоединиться к восставшим якобитам, убийцы окружают его и смертельно ранят. Белфур тоже убит после ожесточенного сопротивления, превосходно и ярко описанного. В этой схватке падает и претендент на наследство, что дает леди Маргарет возможность без труда восстановить свои законные наследственные права; а мисс Белленден, которая, очевидно, достигла уже зрелого, *тридцатилетнего* возраста, отдает свою руку Мортону.

Мы привели все эти подробности, отчасти повинувшись правилам, установленным для такого рода работ, а отчасти в надежде, что авторитетные свидетельства, которые нам удалось собрать, прольют дополнительный свет на роман и повысят интерес к нему. Принимая во внимание небывалую популярность этих произведений, мы отнюдь не считаем, что наш краткий пересказ познакомит кого-либо из читателей с событиями, которые не были бы ему ранее известны. Мы позволим себе лишь кратко упомянуть о причинах такой популярности, не рассчитывая, однако, исчерпать их полностью, — да в этом и нет необходимости, поскольку нам вряд ли удастся высказать хоть одно соображение, которое не приходило бы в голову нашим читателям при чтении самой книги.

Одним из главных источников всеобщего восхищения, вызванного этой серией романов, послужил их своеобразный замысел и выдающееся мастерство его выполнения. Упреки, которые часто высказывались по адресу так называемых исторических романов, следует объяснить, на наш взгляд, скорее бездарностью всех существовавших до сих пор произведений этого литературного жанра, чем каким-либо присущим ему органическим пороком. Если нравы различных эпох

беспорядочно перемешаны, если стриженные ненапудренные волосы и стройные, воздушные фигуры выступают в одном хороводе с огромными париками и обширными кринолинами, если при изображении реальных личностей искажена историческая истина, то взоры зрителя неизбежно отворачиваются от картины, которая во всяком здравомыслящем и понимающем человеке рождает возмущение и недоверие. У нас нет ни времени, ни желания подкреплять эти замечания примерами. Но если автору удастся избежать этих непростительных прегрешений против хорошего вкуса и воссоздать минувшие времена правдиво и в то же время ярко, то законным будет противоположный вывод: произведение такого рода станет значительнее и лучше со всех точек зрения, и автор, отмежевываясь от своих пустых и легковесных собратьев, к которым, возможно, причислит его поверхностный наблюдатель, займет место в ряду историков своего времени и своей страны. В эту славную плеяду — и отнюдь не на последнее место — мы и считаем нужным поместить автора *Реманов*, о которых идет речь, ибо мы снова выражаем уверенность — хотя это, подчеркиваем, не равносильно *осведомленности*, — что все они — детища одного родителя. Одинаково свободно разбираясь как в великих исторических событиях, так и в незначительных происшествиях, понимая, чем нравы той эпохи, которую он прославляет, отличаются от нравов, господствующих в наши дни, автор является как бы современником живых и мертвых; разум помогает ему отделять индивидуальные черты от родовых, а изображение, столь могучее и живое и в то же время точное и разборчивое, создает перед читателем картину нравов тех времен и близко знакомит его с персонажами драмы, с их мыслями, речами и поступками. Правда, мы не вполне уверены, что в образе Черного карлика можно найти что-нибудь такое, что позволило бы отнести его к началу прошлого столетия, если не считать прямого указания автора и фактов, приводимых им, и, как мы уже отмечали, его пиратствующий разбойник, пожалуй, пережил свою эпоху. Но изображение людей и событий превосходно. Хотя

dénoûement¹ и страдает ощутимыми и непростительными дефектами, в книге есть сцены, исполненные глубокого и захватывающего интереса, и нам кажется, что всех должен очаровать портрет бабушки Хобби Элиота; этот образ, сам по себе излучающий покой и утешение, еще оттеняется контрастом с более вольными манерами младших членов семьи и искренним, но грубоватым и шумным поведением самого пастуха.

Второй роман, как было указано, более соответствует таланту автора, и поэтому на его долю и выпал больший успех. Мы слишком безжалостно злоупотребляли временем наших любезных читателей, чтобы, уступив соблазну, излагать здесь свою оценку этого печального и тем не менее примечательного периода нашей истории, когда благодаря стараниям и усилиям развращенного, беспринципного правительства, благодаря бешеному фанатизму, непросвещенности, изуверству и невежеству проповедников, чьи сердца и разум смутил и извратил иступленный экстаз, народная свобода была, можно сказать, растоптана, а общественные связи почти распались. Как бы все эти явления ни возмущали патриота, поэту они дают благодатный материал. Что касается *красоты* изображений, предлагаемых читателю в этом романе, то здесь, как нам кажется, двух мнений быть не может, и мы убеждены, что чем тщательнее и беспристрастнее к ним подходить, тем яснее предстанут перед нами другие, еще более ценные качества — точность и правдивость. Мы уже частично говорили, на каком основании мы так считаем, и снова возвращаемся к этой теме. Мысли и язык *праведной стороны* переданы с точностью свидетельского показания; и того, кто сумел раскрыть перед нами положение шотландского крестьянина, который дошел до пределов отчаяния и гибнет на поле сражения или на эшафоте, пытаясь отстоять свои первейшие и священнейшие права, кто представил нам во плоти и крови заправил этих беззаконий, от знаменитого герцога Лодердейла до неприметного его единомышленника, лишь выполнявшие

¹ Развязка (франц.).

го приказы, — такого хроникера нельзя по справедливости подозревать в попытке смягчить или затушевать пороки правителя, павшего вскоре жертвой собственных безумств и преступлений.

Независимо от изображения нравов и характеров эпохи, описанной в романе, необходимо отметить как особое достоинство правдивое изображение жизни вообще. Если обратиться не только к тем выводам романов, которые высказывают на один день из болота, где их расплодили, но и к многочисленным другим творениям, с которыми связаны более честолюбивые претензии, становится очевидным, что при их сочинении авторы сосредоточивали внимание почти целиком на завязке и развертывании сюжета и что, запутывая и распутывая интригу, комбинируя входящие в нее эпизоды и даже обрисовывая характеры, они обращались за помощью главным образом к сочинениям своих предшественников. Бесцветность, однообразие и бессодержательность — вот неизбежные следствия этого недобросовестного и нетворческого метода. Совершенно иную книгу изучал наш автор — великую Книгу Природы. Он бродил по свету в поисках того, что в нем имеется в изобилии, но что дано найти лишь проницательному человеку и что сумеет описать только человек высокоодаренный. Герои этого таинственного автора не менее человечны, чем герои Шекспира, его мужчины и женщины живут и движутся не менее естественно. Именно благодаря этому, как мы уже говорили, многие из его действующих лиц кажутся нам списанными с натуры. Вероятно, на своей родине он много вращался среди разных слоев общества, а ученые изыскания познакомили его с ныне забытыми обычаями и нравами; поэтому действующие лица его драмы хотя и являются детищами фантазии, однако вселяют в нас убеждение, что они — настоящие люди, которые существуют и сейчас или же вызваны из могил во всей своей первозданной свежести, с подлинными чертами лица и характера и с мельчайшими особенностями одежды и поведения. Разбираемое нами произведение равно примечательно как правдивостью выведенных характеров, так и бесконечным их

разнообразием. Величавое и напыщенное достоинство леди Маргарет Белленден, поглощенной сознанием своего высокого положения; суетливая важность и неподдельная доброта миссис Элисон Уилсон, принимающие разные формы при переменах в ее судьбе, но неизблемые в своей сущности; подлинно шотландская осторожность Нийла Блейна — мы не можем здесь показывать в деталях, с каким тонким мастерством демонстрируются их характерные черты; автор не перечисляет их, не описывает, а дает возможность читателю, как в действительной жизни, наблюдать за взаимодействием этих черт с особенностями других людей. На более значительных персонажах останавливаться не стоит. Пусть нам все же простят, если мы отдадим легкую дань уважения замечательной старой женщине, которая указывает Мортону последнее убежище Берли; она изображена как терпеливое, доброе, мягкое и благородное существо, хотя ее нищета и бесправие ужасны и в довершение всего она слепа; ее религиозный пыл, в отличие от благочестия других членов секты, отмечен истинной печатью евангельского учения, ибо кротость сочетается в нем с глубокой верой и любовь к ближнему — с покорностью и любовью к всевышнему. А прекрасной иллюстрацией понимания человеческой природы служит последняя милюетная встреча с нашей старой знакомой Дженни Деннисон. Когда Мортон вернулся с континента, он обнаружил, что ветреная *fille de chambre*¹ из Тиллиудлема стала женой Кадди Хедрига и матерью многочисленного семейства. Все, вероятно, знают из наблюдений, что кокетство, всегда, как в высшем, так и в низшем обществе, основанное на глубочайшем эгоизме, с возрастом постепенно обнажает свою истинную сущность, а тщеславие уступает место скупости; поэтому есть большая художественная правда в том, что живая, пустенькая девушка превращается в благоразумную хозяйку дома, все заботы которой сосредоточены на ней самой и еще на ее муже и детях, ибо это *ее* муж и *ее* дети. Даже в этом беглом и несовер-

¹ Горничная (франц.).

шенном наброске мы не можем вовсе обойти выдающиеся достоинства *диалога*. Мы имеем в виду не только его драматургические свойства или живой, естественный разговорный тон, который неизменно его отличает; нам хотелось бы отметить, что при передаче подлинных чувств шотландского крестьянина на подлинном языке его родной страны автор проявил редкое мастерство, избежав налета грубости и вульгарности, до сих пор подрывавших успех всех подобных попыток. Мы, живущие в этой части нашего острова, может быть не способны в полной мере оценить это достоинство, хотя и не вполне бесчувственны к нему. Шотландский крестьянин говорит на языке своей родины, на своем *национальном языке*, а не на *областном* *ratois*;¹ и, прислушиваясь к нему, мы не только не испытываем ни малейшего отвращения или антипатии, но в нашей груди находит отклик любое чувство восторга, благоговения или ужаса, которое автору угодно в нас возбудить. Истинность наших слов убедительно подтверждает пример Мег Меррилиз. Жуткое очарование этой таинственной женщины, парии и распутницы из подонков общества, действует на нас с большой силой, хотя оно и передано через посредство такого языка, который до сих пор вызывал ассоциации, исключаящие всякое очарование. Мы могли бы с большим удовольствием для себя и, полагаем, к великой досаде наших терпеливых читателей продолжать обсуждение этой темы, подкрепляя наши взгляды цитатами из некоторых сцен, особенно нас поразивших, но мы и так слишком злоупотребили снисходительностью публики, и к тому же нам надо осветить еще один вопрос, не лишенный значения. В основном речь пойдет об исторических портретах, которые нам подарил автор. Мы намерены рассмотреть их более или менее подробно и надеемся, что сведения, собранные нами из мало кому известных источников, послужат нам извинением за обширность настоящей статьи.

Большинство персонажей этой категории дано резкими штрихами, но их подлинность, к тому же

¹ Жаргоне (*франц.*),

подкрепленную историческими документами, вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, разве только упорные фанатики, для кого религиозный или политический символ веры служит единственным мерилom при оценке хороших или дурных свойств деятелей прошлого. Для таких людей доскональное знание истории — только средство извращения истины. Их любимцы должны быть нарисованы без теней (говорят, что такие же требования к своим изображениям предъявляла королева Елизавета), а объекты их политической антипатии надо писать одной черной краской и приделывать им рога, копыта и когти; только при этом условии признают они сходство портретов с оригиналами. Но если мы станем обожествлять память усопших, бывших при жизни достойными и благочестивыми людьми нашего вероисповедания, как будто они не были слабыми смертными, — значит, не стоило нам отречься от язычества, которое провозглашало умерших героев богами; а если мы будем безоговорочно предавать анафеме наших идейных противников и все их побуждения, то, выходит, мы мало что выиграли, отколовшись от римской церкви, по учению которой ересь включает любые возможные прегрешения.

Самым интересным с исторической точки зрения является портрет Джона Грэма Клеверхауза, впоследствии виконта Данди; трудно отрицать разительное сходство этого портрета с оригиналом, хотя те, кто помнит только о жестокости Клеверхауза к пресвитерианам, вероятно считают, что храбрость, таланты, жизнерадостность и верность несчастному государю плохо вяжутся с этими дурными проявлениями его натуры. Изучающие его жизнь не ошибутся, если сделают вывод, что движущей силой многих худших его деяний было ложное представление о долге безусловного повиновения офицера своим начальникам в сочетании с самым беззастенчивым честолюбием. Однако он не всегда был таким безжалостным, каким изображен в «Рассказах». В некоторых случаях он вступался за жизнь людей, которых ему приказано было казнить; особенно горячо он ходатайствовал перед сэром Джеймсом Джонстоном из Уэстерхола о по-

миловании некоего Хислопа, который был застрелен на Эскдейлской вересковой пустоши. Из его переписки с лордом Литгоу видно также, что он заботился о своих пленниках, поскольку он оправдывался, что не привез одного из них, ибо тому из-за тяжелой болезни было мучительно ехать верхом. Из нижеследующего отрывка видно, что его действия против вигов не всегда удовлетворяли требованиям власть имущих.

Герцог Кунинсбери возмущался тем, что Клеверхауз *не так беспощадно действовал против вигов, как ему следовало* (они убили двух человек и заставили священнослужителя, мистера Шоу, поклясться, что он никогда не будет проповедовать под началом епископов), и поэтому приказал своему брату, полковнику Дугласу, взять двести человек из своего полка и напасть на мятежников. Но когда тот вместе с отрядом своих солдат столкнулся в одном доме с равным количеством мятежников, они убили двоих из его людей и брата капитана Уркхарта Мелдрама, и сам он был бы убит, если бы карабин виг не дал осечку (о чем нельзя не пожалеть, принимая во внимание, что этот полковник оказался впоследствии гнусным изменником королю Иакову VII), и Дуглас застрелил за это вышеупомянутого вигу в январе 1685 года (*Рукописный дневник Фаунтенхола*).

Кое-что надо отнести и за счет преувеличений, вызванных политической и религиозной враждой. Например, в истории Вудроу говорится, что Джон Браун из Мюиркирка был собственноручно застрелен Клеверхаузом. Между тем в «Жизни Педена», дающей обстоятельный и интересный отчет об этой казни, подробности которой автор узнал от несчастной вдовы, ясно сказано, что Браун был расстрелян отрядом солдат, а Клеверхауз при этом наблюдал и командовал. Но и после всех возможных оговорок остается достаточно фактов, чтобы заклеить Клеверхауза в этот ранний период его военной карьеры, как свирепого и беспощадного офицера, послушного исполнителя самых пагубных распоряжений своих командиров, забывшего о том, что, хотя приказы начальников и узаконивают его жестокости и насилия перед земным судом, но морального оправдания ему нет, — ведь он располагал возможностью выйти в отставку, а если он добровольно остался на посту, где от него требовали выполнения подобных вещей, то на него

нельзя не смотреть как на человека, который служебную карьеру и личные интересы ставит выше совести, справедливости и чести. Но последующее поведение Грэма таково, что оно в какой-то мере искупает жестокость, которая, как мы сейчас покажем, была свойственна не столько ему лично, сколько тому времени вообще, и которая была затушевана, если не вполне стерта, заключительными событиями его жизни. В то время когда от Иакова II отшатнулись все, Клеверхауз, ставший виконтом Данди, хранил непоколебимую верность своему благодетелю. В своих личных расходах он был строго расчетлив, но расточал свое состояние, когда это могло помочь делу его обманутого монарха. Когда Иаков, распустив свою армию, готовился к последнему и отчаянному шагу — отъезду из Англии, Клеверхауз воспротивился этому. Он утверждал, что армия, хотя и расформирована, еще не настолько разбрелась, чтобы ее нельзя было снова собрать; он предлагал призвать ее под штандарт короля и дать сражение голландцу.¹ Разочаровавшись в этом предприятии из-за малодушия короля, он не предал его дела, хотя оно становилось все безнадежнее. Он отстаивал его интересы на собрании сословий в Шотландии; наконец, удалившись в горную часть страны, поднял кланы на его защиту. Ни одно имя не окружено у горцев такой благоговейной любовью, как имя Данди, и то влияние, которое ему удалось приобрести среди этих энергичных и мужественных людей, составляющих коренное население Шотландии, само по себе свидетельствовало о его одаренности. Сэр Джон Дэлримпл необоснованно утверждал, будто Данди изучал древнюю поэзию горных шотландцев и подогревал свой энтузиазм их старинными преданиями. На самом деле он даже не понимал их языка и знал на нем всего лишь несколько слов. Их уважение он завоевал своими незаурядными способностями и умением обращаться с людьми более низкого умственного уровня. Он пал в тот момент, когда была

¹ См. государственные документы Макферсона. (*Прим. автора.*)

одержана решительная победа над войском, превосходящим его собственное числом, вооружением, военным искусством — всем, кроме доблести и стремительности солдат и военного таланта полководца. Образ его, сохранившийся в памяти потомков, на редкость противоречив. Он не то что богат оттенками, он даже не пестрый; с одной стороны, он подлинно героический, а с другой — жестокий, неистовый и кровожадный. Старая сказка о золотом и серебряном щите очень подходит к характеру Клеверхауза, и люди, стоящие по ту или другую сторону, могут поносить или защищать его так же убежденно, как рыцари в упомянутой сказке. Менестрели тоже не молчали, а нападкам на славного Грэма можно противопоставить классическую эпитафию Питкерна.

Клеверхауз — единственный выдающийся роялист, на котором останавливается наш автор; сэра Джона Дэлзела и герцога Лодердейла он касается лишь слегка. Среди ковенантеров наиболее значительной фигурой является Белфур. Этот человек (ибо он существовал на самом деле), дворянин по рождению, был зятем Хэкстона Рэтиллета, энтузиаста иной и более беспримесной закваски. Что касается предписаний религии, то он их соблюдал, но не с той строгостью, какой требовала его секта; однако он искупал эту небрежность своей воинской предприимчивостью и безжалостной жестокостью. Об этом нам сообщает Хови, чей труд мы уже цитировали; в то же время мы узнаем, каким, по мнению этого почтенного историка, должен был быть образцовый воин ковенанта.

Он примыкал к той группе наших покойных страдальцев, которая отличалась особой преданностью своим убеждениям; хотя некоторые считали его не слишком набожным, зато он был всегда человеком ревностным, чистосердечным и смелым во всех предприятиях, и храбрым солдатом, и *редко удавалось спастись тому, кто попал в его руки* («Знаменитые люди Шотландии», стр. 563).

Из другого отрывка мы узнаем кое-что о его внешности, которая была, по-видимому, столь же непривлекательна, как его поступки — безжалостны.

Говорят, что на этой сходке у Лоудон-хилла, разогнанной 5 мая 1681 года, он своими руками обезоружил одного из людей герцога Гамильтона, сняв с его седла пару отличных пистолетов, принадлежавших герцогу, и велел ему передать своему господину, что он оставит их у себя до личной встречи. Впоследствии, когда герцог спросил своего солдата, как он выглядел, тот ответил, что это человек маленького роста, косоглазый и очень свирепого вида, на что герцог сказал, что он знает, кто это такой, и вознес молитву богу о том, чтобы ему никогда не увидеть его в лицо, ибо он был уверен, что после такой встречи ему долго не прожить (*там же*).

По-видимому, Берли был ранен в битве при Босуэл-бридже, потому что люди слышали, как он проклинал руку, стрелявшую в него. Он бежал в Голландию, но те шотландские беженцы, чей религиозный пыл умерялся моральными соображениями, избегали его общества, а шотландская конгрегация не допускала его к причастию. Говорят, что он сопровождал Аргайла при его злополучной попытке вместе с неким Флемингом, также одним из убийц архиепископа. И наконец он присоединился к экспедиции принца Оранского, но умер до высадки на берег. Мистер Хови простодушно считает, что из-за этого события не смогло полностью совершиться возмездие гонителям дела господня и его народа в Шотландии.

Говорят, что он (Белфур) получил разрешение принца на это дело, но умер на корабле до прибытия в Шотландию, вследствие чего это намерение никогда не было выполнено, так что земля Шотландии никогда не была омыта согласно закону божью кровью тех, кто проливал невинную кровь. *«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека»* (Бытие, IX, 6) (*«Знаменитые люди Шотландии»*, стр. 563).

Вряд ли кто станет утверждать, будто наш автор сильно искажил эту своеобразную личность. Напротив, сделав первопричиной всех поступков Берли глубокий, хотя и подчиненный рассудку религиозный пыл, которым, если верить Хови, тот в действительности не обладал, он создал образ более интересный и страшный, чем если бы он изобразил идущего напролом, кровожадного головореза с очень малой долей набожности и еще меньшей долей милосердия, каким

представлен Белфур в «Знаменитых людях Шотландии».

Но хотя мы признаем, что эти портреты нарисованы живо и убедительно, возникают еще два вопроса, от решения которых больше чем от чего-либо другого зависит ценность этих романов, — а именно, можно ли считать пристойным и разумным в произведении, основанном на вымысле, подражание библейскому стилю фанатиков XVII столетия, создающее нередко комический эффект; и, во-вторых, не были ли непокорные пресвитериане, взятые в целом, слишком возвышенным и священным объединением, для того чтобы неизвестный писатель мог позволить себе обращаться с ними с такой беззастенчивой фамильярностью.

По поводу первого вопроса мы, говоря по совести, испытываем сильное затруднение. Вкладывая библейские выражения в уста лицемерам или сумасбродам, автор всегда до некоторой степени рискует причинить этим вред, потому что он может невольно создать привычную ассоциацию между самим выражением и его смехотворным использованием, подрывающую должное благоговение перед священным текстом. А то, что эта опасность заложена в самом замысле романа, оправданием служить не может. Такой великий авторитет, как Бурдалу, распространяет этот запрет еще дальше и осуждает всякую попытку разоблачать лицемерие оружием насмешки, потому что сатирик неизбежно подвергает осмеянию и ту благочестивую маску, которую он с него сорвал. Но даже и этому авторитету можно возразить, что насмешка — друг религии и нравственности, когда она направлена против тех, кто надевает их личину, будь то из лицемерия или из фанатизма. Сатира Батлера, не всегда пристойная в частностях, принесла, однако, огромную пользу, сдирая с подобных людей всю их надутую важность и выставляя на всеобщее посмеяние напускной фанатизм современной ему эпохи. Не мешает также вспомнить, что при королеве Анне много камизаров, или гугенотов, из Дофине прибыли в Англию в качестве беженцев и получили прозвище французских

пророков. Судьба этих фанатиков в их родной стране была до некоторой степени сходна с судьбой ковнантеров. Сотни вооруженных камизаров точно так же собирались в горах и в пустынных местах, и за ними точно так же гонялись и охотились военные. Они тоже были фанатиками, но нелепость их фанатизма была куда более очевидной. Беглые камизары, прибывшие в Лондон, падали в судорогах, изрекали пророчества, старались обратить людей в свою веру и привлекали общественное внимание обещанием воскрешать мертвых. Английский министр, вместо того чтобы налагать на них штрафы, подвергать их тюремному заключению и другим карам, которые могли бы окружить их мученическим ореолом и укрепить веру их многочисленных последователей, подговорил одного драматурга сочинить на эту тему фарс, который, не будучи ни очень остроумным, ни очень тонким, оказал, однако, благотворное действие, осмеяв французских пророков, лишив их, таким образом, почитателей и остановив поток бессмыслицы, грозивший наводнить страну и опозорить эпоху, в которую он появился. Камизары снова стали тем, чем они были, — завывающими псалмопевцами, и ни об их секте, ни об их чудесах больше ничего не было слышно. Как было бы хорошо, если бы всякое безумие такого рода можно было столь же легко искоренить, ибо восторженная чепуха ни в наши дни, ни в минувшие точно так же не смеет рассчитывать на покровительство религии, как пиратский корабль — на неприкосновенность, обещанную всеми почитаемому и дружественному флагу!

Тем не менее мы должны признать, что в применении оружия насмешки ко всему, что связано с религией, необходимы большой такт и осмотрительность. В произведении, о котором идет речь, встречаются места, где единственным оправданием автору может служить только его неудержимая потребность давать волю своей юмористической жилке; даже угрюмый Джон Нокс был не в силах противиться этому соблазну, описывая мученичество своего друга Уисхарта или убийство своего врага Битона; его ученый и доб-

росовестный биограф, пытаюсь оправдать эту смесь шуток и серьезности, ссылаюсь именно на непреодолимое искушение и, опровергая обвинение, выдвинутое Юмом против Нокса, говорит:

Есть писатели, способные писать о самых священных предметах с легкостью, стоящей на грани богохульства. Должны ли мы безоговорочно объявлять их нечестивцами, и неужели нельзя ничего отнести за счет естественной склонности к остроумию и насмешке? Шутки, которыми Нокс пересыпает свой рассказ о его (кардинала Битона) смерти и погребении, безвкусны и неуместны. Но дело здесь не в удовольствии, которое ему доставляло описание кровавой сцены, а в неудержимой тяге к юмору. Те, кто внимательно читал его историю, несомненно заметили, что он не властен подавить эту склонность даже в очень серьезных случаях (*Мак-Край, Жизнь Нокса, стр. 147*).

Сам доктор Мак-Край дал нам наглядный пример, как пресвитерианское духовенство даже самого строгого толка потакало этой *vis comica*.¹ Охарактеризовав одно полемическое произведение как «остроумно построенное и местами оживленное комическими штрихами», он приводит для украшения собственных своих страниц (ибо мы не можем обнаружить в этой истории никакой назидательной цели) смешную пародию, сочиненную невежественным приходским священником на слова одного псалма — слова слишком священные, чтобы приводить их здесь. Наше невинное подшучивание нельзя в данном случае ставить на одну доску с шутками ученого биографа Джона Нокса, но мы вполне понимаем, что его авторитет может считаться в Шотландии решающим по вопросу о том, до какого предела дозволено юмористу изощрять свое остроумие на библейских текстах, не подвергаясь осуждению даже со стороны самых суровых служителей церкви.

Совсем по-иному приходится разрешать вопрос о том, насколько автор может рассчитывать на оправдание по второму пункту обвинения. Люди скорее закрывают глаза на слишком свободное обращение со священными текстами, чем на высмеивание членов

¹ Комической силе (лат.).

определенной секты. Всем известен ответ великого Конде Людовику XIV, когда этот монарх выразил удивление по поводу шумихи, поднятой вокруг Мольера «Тартюфа», тогда как богохульный фарс под названием «Scaramouche ermite»¹ не вызвал никакого скандала: «C'est parce que Scaramouche ne jouait que le ciel et la religion, dont les dévots se souciaient beaucoup moins que d'eux-mêmes».² Поэтому мы считаем, что лучше всего послужим нашему автору, если докажем, что его сатира только тогда становится язвительной, когда она направлена на ту свирепую и безрассудную часть ультрапресвитериан, чей фанатизм, в равной мере нелепый и жестокий, служил поводом для суровых мер, применявшихся ко всем нонконформистам без разбора, и навлекал величайший позор и поношение на мудрых, сдержанных, просвещенных и истинно набожных людей из среды пресвитериан.

Основного различия между камеронцами и здравомыслящими пресвитерианами мы уже касались. Его можно резюмировать в нескольких словах.

После реставрации Карла II в Шотландии по единодушной петиции парламента было восстановлено епископство. Если бы при этом была сохранена полная веротерпимость по отношению к пресвитерианам, чьи убеждения склонялись к иному типу церковного управления, то, на наш взгляд, страна не понесла бы никакого ущерба. Но вместо этого были безжалостно пущены в ход самые крайние меры для насильственного внедрения единомыслия, а пресвитерианское духовенство, гонимое и преследуемое карательными законами, было лишено права совершать богослужение. Эти репрессии только заставляли людей еще упорней разыскивать лишенных слова проповедников и спланиваться вокруг них. Изгоняемые из церквей, они устраивали тайные собрания в домах. Выселенные из городов и людских жилищ, они встречались на хол-

¹ «Скарамуш-отшельник» (франц.).

² Да ведь Скарамуш высмеивал только небо и религию, а ханжи заботятся о них гораздо меньше, чем о самих себе (франц.).

мах и в пустынных местах, подобно французским гугенотам. Подвергаясь вооруженным нападениям, они отражали силу силой. Суровость правителей, подстрекаемых епископальным духовенством, росла вместе с упорством нонконформистов, пока в 1666 году последние не подняли оружие в защиту своего права служить богу по собственному разумению. Они были разбиты при Пентленде; а в 1669 году в шотландские советы Карла проник луч здравого смысла и справедливости. Они даровали пресвитерианскому духовенству так называемую индульгенцию (возобновлявшуюся впоследствии несколько раз), назначили небольшие пособия и разрешили проповедовать в заброшенных церквах, специально перечисленных Тайным советом Шотландии. Эта «индульгенция», хотя и ограниченная очень жестокими условиями, часто возобновляемая или деспотически отменяемая, была все-таки желанным благодеянием для самой разумной и лучшей части пресвитерианского духовенства, смотревшей на это как на начало своей деятельности при законном правительстве, которое она продолжала признавать. Но младшее поколение священнослужителей этого вероисповедания было настроено куда резче и непримиримее. Согласие на выполнение своих священных обязанностей под контролем какой-либо зримой власти они считали отъявленным эрастизмом, изменой великому, незримому и божественному главе церкви; такое поведение, по словам одного из трактатов, могли защищать только безбожники, приспособленцы, маловеры или архиепископ Кентерберийский. Насмешку и отвращение вызывали в них те их собратья, которые считали терпимость приемлемой подачкой. По мнению этих ревностных пастырей, все, что не способствовало восстановлению пресвитерианства как единственного и господствующего вероисповедания, все, что не было направлено на полную реставрацию Торжественной лиги и ковенанта, было недопустимым и пагубным компромиссом между богом и мамоной, между епископством и прелатством. Нижеследующие отрывки из печатной проповеди одного из них на тему об «укреплении души» отражают

то возмущенное презрение, с каким эти самонадеянные фантазеры взирали на своих более благоразумных собратьев, и в то же время служат образцом топорного красноречия, которым они воодушевляли своих последователей. Читатель, вероятно, согласится, что оно вполне достойно самого Тимпана и может снять с мистера Джедедии Клейшботэма обвинение в преувеличении.

Много есть людей, которые обращают свое лицо к новомодному вероисповеданию, и много есть людей, которые обращают лицо и к старому учению; они обращают лицо к богоугодным людям, и они обращают лицо к гонителям богоугодных людей, и они хотят быть сразу папенькиными чадами и маменькиными чадами; они хотят быть чадами *прелатов* и чадами *нечестивых*, и хотят быть чадами народа божьего. А что думаете вы о подобном двуличии? Бедняга Петр также тщился выказать изворотливость, но бог сделал Павла своим орудием и повелел ему взять Петра за шиворот и вытряхнуть ее из него. О, если бы господь взял нас за шиворот и вытряхнул из нас нашу изворотливость!

Поэтому вы, которые ходите только своей старческой, семейной походкой и не ускоряете шага, вы не стремитесь к *укреплению души*; есть среди нас несколько старых, семенящих священников, несколько старых, семенящих болтунов, они еле плетутся и быстрее ходить не желают; и поэтому они никогда не достигнут *укрепления души* в служении богу. А наши старые, семенящие священники превратились в *приходских священников*, а наши старые, семенящие болтуны примкнули к ним, и таким путем бог вывернул их наизнанку и сделал тайное явным, а раз их сердце привязано к этой суете сует, я не дам гроша ломаного за них вместе с их вероисповеданием.

Дьявол держит теперь шотландских священников и их приверженцев в решете — и как он их просеивает, и как встряхивает, и как грохочет, и какие получает высевки! И я боюсь, что там будет больше высевок, чем доброго зерна, и они будут найдены среди нас, или всему придет конец; но человек, *укрепивший душу свою*, оставит дьявола с носом и все приведет к должной мере, а дьявола оставит на подветренной стороне. О братья, трудитесь в день креста!

Более умеренные пресвитерианские священники с болью и гневом видели, что фанатики, мнившие себя блюстителями чистоты учения, сманивали от них низшие слои их паствы, которых не пугали самые отчаянные шаги, ибо этим людям нечего было терять, тогда как священников выставляли в смешном свете, как старых, семенящих болтунов и как высевки, брошен-

ные сатаной. Они обвиняли камеронских проповедников в том, что те повели обманутую толпу на бойню при Босуэл-бридже, предсказывая ей верную победу и уговаривая не соглашаться на амнистию, предложенную Монмутом. «Ничто не могло заставить Мак-Каргила, Кидда, Дугласа и других подобных им безрассудных людей выслушать какие-либо мирные предложения, — говорит мистер Лоу, сам пресвитерианский священник. — И среди них этот Дуглас, сидя на коне, проповедовал смущенной толпе и говорил, что с ними хотят войти в соглашение, и все гудел, как шмель, про это соглашение: «Они хотят дать нам пол-Христа, а нам нужен целый Христос», — и тому подобные дерзкие речи, годные для тех, кто кормится ветром, а не чистым млеком слова божия». Лоу осуждает этих исступленных и озлобленных фанатиков не только за намерение свергнуть правительство, но и за то, что они поклялись убивать всех, кто не разделяет их взглядов; он приводит несколько примеров их жестокости к отставшим солдатам, которых они пристреливали на дороге или на биваке, если удавалось застать их врасплох, а также к своим бывшим приверженцам, которые от них откололись. Когда их спрашивали, почему они хладнокровно совершают такие злодеяния, они отвечали, что «их вынуждает к тому священный долг». При этом они зверски уродовали трупы своих жертв, и каждый мог принять участие в этом преступлении. Камеронцы мнили себя прямыми и вдохновленными свыше орудиями небесного возмездия. Не было у них недостатка и в обычных возбудителях фанатизма, и Педен и другие претендовали на пророческий дар, хотя их предсказания редко сбывались. Они разоблачали ведьм, видели своими глазами врага рода человеческого в его натуральном обличье или обнаруживали его, когда, перевоплотившись в ворона, он разжигал красноречие на квакерской сходке. В некоторых случаях оказывалось, что их собрания на открытом воздухе охраняют небесные стражи. Четверо вполне честных мужчин очень убедительно уверяли достопочтенного мистера Блэкэдера, что во время сблища на Ломондских

холмах, в тот момент, когда оно было разогнано солдатами, некоторые женщины, оставшиеся дома, «ясно различали высокую, величественную фигуру мужчины, который стоял в воздухе над народом, выставив одну ногу вперед, все время, пока стреляли солдаты». К несчастью, великое видение Охраняемого холма завершилось не так, как можно было ожидать. Небесный часовой слишком рано покинул пост, и кавалеристы напали на собравшихся с тыла, многих ограбили и раздели и взяли в плен восемнадцать человек.

Но нам не доставляет никакого удовольствия задерживаться на зверствах или на безрассудствах людей, чье невежество и фанатизм были доведены до крайности непрерывными преследованиями. Для нашей цели достаточно указать, что нынешнее духовенство Шотландии, которое отличается таким разумным вероисповеданием и ученостью и воспитало столько замечательных личностей, является законным преемником духовенства, принявшего индульгенцию при Карле II, только кругозор у него стал гораздо шире. После революции учение, которое проповедовало это духовенство, вполне естественно и закономерно возобладавало над епископством и стало национальной религией, потому что ему были свойственны мудрость, ученость и умеренность, необходимые для такого переломного момента, и потому что среди его последователей были все богатые и влиятельные сторонники пресвитерианства. Но камеронцы еще долго существовали как обособленная секта, несмотря на то, что их проповедники были ханжи и невежды, а верующие вербовались из низших слоев крестьянства. Их учение (насколько его вообще можно было понять) отстаивало верховную власть пресвитерианской церкви, установленную в 1648 году, а государственную церковь они продолжали считать эрастианской и приспособленной, ибо ее представители осторожно хранили молчание по некоторым абстрактным и щекотливым вопросам, в связи с которыми могло возникнуть противоречие между требованием абсолютной свободы церкви и законами гражданского правительства стра-

ны. Камеронцы вообще не признавали никаких королей и правительств, которые не подчинялись Торжественной лиге и ковенанту, и долго лелеяли надежду на восстановление этого великого национального соглашения; на эту приманку их ловили все те, кто желал повредить правительству в царствование Вильгельма и Анны, что явствует из мемуаров Кера из Керсленда и рассказа полковника Хука о его переговорах с якобитами и другими недовольными элементами того времени.

Партия с такими непримиримыми убеждениями, такими смутными и непоследовательными взглядами не могла продержаться долго при системе полной и неограниченной веротерпимости. Члены ее продолжали проповедовать на холмах, но изрядно утратили свой пыл, когда им перестало грозить вторжение драгунов, шерифов и лейтенантов народного ополчения. Подтвердилась старая басня о плаще путешественника, и буйные, кровожадные изуверы времен Клеверхуаза выродились в таких спокойных и мирных энтузиастов, как Хови из Лохгойна или сам Кладбищенский Старик. Поэтому все, что есть отвратительного, и почти все, что есть смехотворного в вымышленном повествовании мистера Джедедии Клейшботэма, направлено против той породы сектантов, которая давно перестала существовать; и мы не допускаем мысли, чтобы эта сатира могла затронуть кого-либо из современных пресвитериан, так же как безобидная насмешка над личностью магглтонца Людовика Клакстона была не в силах скомпрометировать Хэмпдена. Если же все-таки сохранился кое-кто из тех сектантов, которые желают монополизировать светоч евангелия для Гесема своей собственной безвестной синагоги, и вместе с неудачливым убийцей Джеймсом Митчелом сваливают в одну кучу прелатство и папизм, «Долг человека» и дома терпимости, смешанные танцы и «Всеобщий молитвенник» и прочие мерзости и заблуждения нашего времени, и если они почувствуют себя оскорбленными, читая это досужее повествование, то им можно ответить примерно так же, как весельчаки ответили Мальволио, который, как

известно, был чем-то вроде пуританина: «Думаешь, если ты такой уж святой, так на свете больше не будет ни пирогов, ни хмельного пива? Клянусь святой Анной, имбирное пиво тоже недурно обжигает глотку!»

На этом мы и собирались закончить нашу чересчур длинную статью, но до нас дошли сведения (за их достоверность мы не ручаемся) о каких-то заатлантических попытках приписать эти книги другому автору, а не тому, которого подозревают наши шотландские корреспонденты. Впрочем, критику можно простить, если он хватается за первую попавшуюся подозрительную личность, следуя принципу, удачно сформулированному Клеверхаузом в письме к графу Линлитгоу (он, по-видимому, разыскивал одного искусного ткача, который постоянно ораторствовал на молитвенных собраниях): «Я приказал найти этого ткача, а вместо него мне привели его *брата*; хотя, возможно, он и не умеет проповедовать, как его брат, я не сомневаюсь, что у него такие же стойкие убеждения; поэтому я и решил, что большой беды не будет, если его пригласят отправиться в тюрьму вместе с остальными».

СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА

Среди полного спокойствия в сфере политической жизни мы были потрясены событием из совсем другой области: до нас дошло одно из тех траурных известий, которые время от времени раздаются как трубный глас архангела и сразу пробуждают душу всего народа. Лорд Байрон, так долго и прочно занимавший первенствующее место в общественном мнении, разделил участь всех смертных. Он скончался в Миссолунги 19 апреля 1824 года.

Этот могучий гений, шествовавший между людьми как некто высший по сравнению с простыми смертными, гений, чье всевластие мы созерцали с удивлением и даже с некоторым трепетом, словно не зная, ведет ли оно к добру или к злу, теперь покоится в могиле так же просто, как и любой крестьянин-бедняк, помыслы которого никогда не поднимались над будничными заботами. Голоса справедливого порицания, равно как и голоса злобной хулы сразу же умолкли; нами овладело такое чувство, будто внезапно исчезло великое небесное светило, исчезло в тот самый момент, когда каждый телескоп был направлен на исследование пятен, затуманивающих его блеск. Теперь не время спрашивать, в чем были ошибки лорда Байрона, в чем состояли его заблуждения, — вопрос заключается в том, как заполнить пробел, возникший в британской литературе.

Опасаемся, что для этого не хватит одного нынешнего поколения: оно произвело многих высоко одаренных людей, но среди них все же нет никого, кто приближался бы к Байрону по оригинальности, а ведь именно она является главной отличительной чертой гения.

Всего тридцать семь лет от роду, и уже столько сделано для бессмертия! Так много времени было у него впереди, казалось нам, близоруким смертным, чтобы поддержать и умножить свою славу, а также искупить ошибки в поведении и легковесность в творчестве. Кто не пожалеет, что оборвался этот жизненный путь, пусть не всегда прямой, что погас этот светоч, который, правда, иной раз ослеплял и смущал людей! Теперь еще одно только слово на эту неблагодарную тему, прежде чем мы расстанемся с ней навсегда.

Ошибки лорда Байрона происходили не от развращенности сердца, ибо природа не допустила такой аномалии, как соединение столь необычного таланта с безнравственностью, и не от равнодушия к добродетели. Не было человека, наделенного сердцем, более склонным к сочувствию, не было руки, которая щедрее оказывала бы помощь обездоленным. Он больше чем кто-либо был расположен от всей души восхищаться благородными поступками, когда был уверен, что совершаются они из бескорыстных побуждений. Лорд Байрон не ведал унижительного проклятия, тяготеющего над литературным миром. Мы имеем в виду ревность и зависть. Но его удивительный гений был от природы склонен презирать всякое ограничение, даже там, где оно необходимо. Еще в школе он отличался только в тех заданиях, которые выполнял по собственной охоте; а его положение знатного молодого человека, притом наделенного сильными страстями и бесконтрольно распоряжавшегося значительным состоянием, усиливало прирожденную его нетерпимость по отношению к строгостям или принуждению. Как писатель, он не снисходил до того, чтобы защищаться от обвинений критики, как человек — не считал себя подсудным трибуналу общественного мне-

ния. Замечания, высказанные другом, в чье расположение и добрые намерения он верил, зачастую грубо западали ему в душу, но мало насчитывалось людей, которые могли или решились отважиться на столь трудное предприятие. Он не терпел упреков, а порицание только укрепляло его в заблуждениях, и часто он напоминал боевого коня, который рвется вперед на стальные острия, пронзающие ему грудь. В разгар мучительнейшего кризиса в его частной жизни эта раздражительность и нетерпимость к критике достигли у него такого предела, что он стал похож на благородную жертву боя быков, которую сильнее бесят петарды, бандерильи и всякие мелкие неприятности, причиняемые чернью, собравшейся вокруг арены, нежели пика более достойного и, так сказать, законного противника. Короче говоря, многие его проступки были своего рода бравадой и презрительным вызовом тем людям, которые его осуждали, и совершал он эти проступки по той же причине, по которой их совершал драйденовский деспот — «чтоб показать, как своевластен он».

Не приходится говорить, что в тех обстоятельствах подобное поведение было ошибочно и вредоносно. И если благородный бард добился своего рода триумфа, заставив весь мир прочитать стихи, написанные на недостойную тему, только потому, что это были *его* стихи, то вместе с тем он доставил низменный триумф своим низменным хулителям, не говоря уже о глубоком огорчении, которое причинил тем, чью похвалу выше всего ценил в спокойные минуты своей жизни.

То же самое было и с его политическими выступлениями, которые в некоторых случаях обретали характер угрожающий и пренебрежительный по отношению к конституции его родины. На самом же деле в глубине сердца лорд Байрон дорожил не только тем, что он рожден британцем, но и своим званием, своим знатным происхождением; к тому же он был особенно чувствителен ко всякого рода оттенкам, составляющим то, что принято называть манерами истинного джентльмена. Не подлежит сомнению, что, несмотря на свои эпиграммы, на эту мелкую войну острословия,

от которой ему следовало бы воздержаться, он в случае столкновения между партиями аристократической и демократической всю свою энергию отдал бы на защиту той, к которой принадлежал по рождению.

Взгляды на эту тему он выразил в последней песни «Дон-Жуана», и они полностью гармонируют с мнениями, которые он изложил в своей переписке в тот момент, когда казалось, что на его родине вот-вот возникнет серьезное столкновение противоборствующих партий: «Если нам суждено пасть, — писал он по этому поводу, — то пусть независимая аристократия и сельское дворянство Англии пострадают от меча самовластного государя, который по рождению и воспитанию настоящий джентльмен, и пусть он рубит нам головы, как рубили их некогда нашим предкам, но не потерпим, чтобы нас перебили толпы головорезов, пытающихся проложить путь к власти».

Точно так же он в очень сильных выражениях заявлял о своем намерении бороться до последней крайности с тенденцией к анархии, тенденцией, порожденной экономическими бедствиями и используемой недовольными в своих целях. Те же чувства выражены и в его поэзии:

Довольно демагогов без меня:
Я никогда не потакал народу,
Когда, вчерашних идолов кланя,
На новых он выдумывает моду.
Я варварство сегодняшнего дня
Не воспою временщику в угоду,
Мне хочется увидеть поскорей
Свободный мир — без черни и царей.

Но, к партиям отнюдь не примыкая,
Любую я риску оскорбить...¹

Но мы вовсе не выступаем здесь защитниками Байрона, — *теперь* он — увы! — в этом не нуждается. *Теперь* его великие достоинства получают всеобщее

¹ Перевод Т. Гнедич,

признание, а заблуждения — мы в это твердо верим — никто и не вспомнит в его эпитафии. Зато все вспомнят, какую роль в британской литературе он играл на протяжении почти шестнадцати лет, начиная с первой публикации «Чайлд-Гарольда». Он никогда не отдыхал под сенью своих лавров, никогда не жил за счет своей репутации и пренебрегал тем «обихаживанием» себя, теми мелочными предосторожностями, которые второразрядные сочинители называют «бережным отношением к собственной славе». Байрон предоставлял своей славе самой заботиться о себе. Он не сходил с турнирной арены, его щит не ржавел в бездействии. И хотя его высокая репутация только увеличивала трудность борьбы, поскольку он не мог создать ничего — пусть самого гениального, — что превзошло бы всеобщую оценку его гения, все же он снова бросался в благородный поединок и всегда выходил из него достойно, почти всегда победителем. В разнообразии тем подобный самому Шекспиру (с этим согласятся люди, читавшие его «Дон-Жуана»), он охватывал все стороны человеческой жизни, заставлял звучать струны божественной арфы, извлекал из нее и нежнейшие звуки и мощные, потрясающие сердца аккорды. Едва ли найдется такая страсть или такая ситуация, которая ускользнула бы от его пера. Его можно было бы нарисовать, подобно Гаррику, между Рыдающей и Смеющейся музами, хотя, конечно, самые могучие порывы он посвящал Мельпомене. Гений его был столь же плодовитым, сколь и многосторонним. Величайшая творческая расточительность не истощала его сил, а скорее оживляла их. Ни «Чайлд-Гарольд», ни прекрасные ранние поэмы Байрона не содержат поэтических отрывков более восхитительных, чем те, какие разбросаны в песнях «Дон Жуана» — посреди стихов, которые автор роняет как бы невзначай, наподобие дерева, отдающего ветру свои листья. Увы, это благородное дерево никогда больше не принесет плодов и цветов! Оно срублено в расцвете сил, и только прошедшее остается нам от Байрона. Нам трудно примириться с этим, трудно себе представить, что навеки умолк голос, так

часто звеневший в наших ушах, голос, который мы часто слушали, замирая от восторга, иногда с сожалением, но всегда с глубочайшим интересом.

Потускнеет все, что блещет, —
Чем блестящей, тем быстрее...¹

С чувством невыносимой скорби расстаемся мы с нашей темой. Смерть подстерегает нас посреди самых серьезных, равно как и посреди самых пустячных занятий. Но есть нечто высокое и утешительное в мысли, что она настигла нашего Байрона не тогда, когда он был погружен в суетные дела, а когда тратил свое состояние и рисковал жизнью ради народа, дорогого ему лишь своей былой славой, ради братьев, страждущих под ярмом язычников-угнетателей.

После того как были написаны эти строки, нам стало известно из самого авторитетного источника, что значение лорда Байрона для дела греческих повстанцев оказалось даже большим, чем он решался предположить. Все свое влияние Байрон направил на лучшие и разумнейшие цели; и как это удивительно, что человек, не отличавшийся, разумеется, осмотрительностью в своих личных делах, с величайшей проныцательностью прокладывал курс для великой нации, попавшей в положение трудности необычайной! Его пылкий, нетерпеливый характер был, видимо, укрощен важностью предпринятого им дела; так боевой конь горячится и становится на дыбы под легкой ношей, но идет ровной и напористой рысью, оседланный воином в броне, направляющим его в битву.

К Байрону постоянно обращались за советом и руководством, когда нужно было примирить независимых и несогласных друг с другом греческих вожakov, заставить их отказаться от зависти, от наследственной вражды, от жалкой погони за личными выгодами и объединить силы против общего врага. Его постоянной заботой было отдалить рассмотрение разногласий

¹ Перевод Э. Линецкой.

О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ В ЛИТЕРАТУРЕ

**И, В ЧАСТНОСТИ, О СОЧИНЕНИЯХ ЭРНСТА ТЕОДОРА
ВИЛЬГЕЛЬМА ГОФМАНА**

Ни один из истоков романтической фантастики не оказывается столь глубоким, никакое иное средство возбудить тот захватывающий интерес, которого так добиваются авторы этого рода литературы, не представляется столь непосредственно доступным, как тяга человека к сверхъестественному. Она присуща всем классам нашего общества, и, быть может, особенно захвачены ею те люди, которые усвоили себе несколько скептический взгляд на этот предмет; так что и вам, читатель, вероятно, приходилось порой слышать в разговоре, как некто, заявив о своем крайнем недоверии к рассказам о чудесном, кончает тем, что сам пытается занять собеседников какой-нибудь вполне достоверной историей, которую нелегко, а то и вовсе невозможно согласовать с непримиримым скептицизмом рассказчика. Сама по себе вера в сверхъестественное, при том, что она легко может выродиться в суеверие и нелепость, не только возникает на тех же основах, что и наша священная религия, но к тому же еще тесно связана и с закономерностями самой природы человеческой, которые подсказывают нам, что, покуда длится наш искус в подлунном царстве, тут же по соседству с нами и вокруг нас существует некий призрачный мир, устои которого

недоступны людскому разуму, ибо наши органы недостаточно тонки и чувствительны, чтобы воспринимать его обитателей.

Все проповедники христианской религии утверждают, что было время, когда силы небесные проявлялись на земле более явственно, чем в наши дни, и в своих высших целях изменяли и подчиняли себе обычные законы земного мира; а римская католическая церковь провозглашает даже как один из своих символов веры, что чудеса вершатся и в нынешние времена. Не вдаваясь в этот спор, удовлетворимся тем, что непреклонная вера в возвышенные истины нашей собственной религии побуждает мудрых и достойных людей, даже в протестантских странах, разделять сомнения, одолевавшие доктора Джонсона по поводу сверхъестественных явлений:

Известное суждение, что мертвые якобы больше не навещают нас, — заметил Имлак, — мне было бы трудно отстаивать перед лицом единодушно опровергающих его показаний, звучащих во все времена и у всех народов. Не сыскать такой страны, дикой или цивилизованной, где не рассказывали бы о явлениях мертвецов и не верили бы в эти рассказы. Убеждение это, распространившееся так же широко, как и сам род человеческий, потому и стало всеобщим, что оно соответствует истине. Люди, никогда не слышавшие друг о друге, не создали бы столь сходных рассказов, если бы не почерпнули их из опыта. То, что отдельные скептики высказывают сомнения по этому поводу, не может поколебать многочисленные свидетельства очевидцев, да к тому же кое-кто из тех, кто оспаривает эти рассказы на словах, на деле подтверждает их своим страхом.

Подобные доводы способны у любого философа развеять охоту догматически судить о предмете, по поводу которого никто не располагает никакими доказательствами, кроме чисто негативных. И тем не менее склонность верить в чудесное постепенно ослабевает. Всякий согласится, что, с тех пор как прекратились библейские чудеса, вера в волшебные и сверхъестественные явления тем быстрее клонится к упадку, чем больше развиваются и обогащаются человеческие знания. С наступлением новых, просвещенных времен сколько-нибудь подтвержденные надежными свидетельствами рассказы о сверхъестественном сделались

столь редкими, что скорее следует считать их очевидцев жертвами странной и преходящей иллюзии, нежели предположить, что поколебались и изменились законы природы. В наш век расцвета наук чудесное в сознании людей настолько сблизилось со сказочным, что их обычно рассматривают как явления одного и того же порядка. По-иному, однако, обстояло дело в ранний период истории, который изобиловал сверхъестественными событиями, и хотя в наше время мы рассматриваем слово «роман» как сочинение, основанное на художественном вымысле, тем не менее, поскольку первоначально оно просто означало поэтическое или прозаическое произведение на романском языке, не вызывает сомнений, что доблестные рыцари, слушавшие песнь менестреля, «с доверьем набожным внимали дивным сагам» и что подвиги, которые он воспевал, перемежая их рассказами о магическом и сверхъестественном вмешательстве, почитались такими же достоверными, как и столь сходные с ними легенды клириков. Эта стадия общественного развития, однако, завершилась задолго до того, как романист стал тщательно отбирать и перестраивать материал, из которого складывалось его повествование. Пока общество, хоть и разделенное на сословия и звания, оставалось однородным и нерасчлененным, благодаря мрачному туману невежества, равно окутывавшему и знать и простонародье, автору незачем было точно определять, какому слою лиц он адресует свою историю или какими художественными средствами должен он ее украсить. «Ното¹ было тогда общим именем для всех», и всем по душе приходился один и тот же художественный стиль. Со временем, однако, многое переменилось. Просвещение, как мы уже говорили, одерживало все большие успехи, и все труднее становилось завоевать внимание образованных кругов непритязательными небылицами, которые людей нынешнего поколения пленяют разве что в детстве, тогда как наши предки дарили этим сказкам свое внимание и в юности, и в зрелости, и в преклонные годы.

¹ Человек (лат.).

Обнаружилось также, что со сверхъестественным в художественном произведении следует обращаться еще бережнее, ибо критика теперь встречает его настороженно. Возбуждаемый им интерес и ныне может служить могучей пружиной успеха, но интерес этот легко оскудевает при неумелом подходе и назойливом повторении. К тому же характер этого интереса таков, что его нелегко поддерживать, и можно утверждать, что крупница здесь иной раз действует сильнее целого. Чудесное скорее, чем какой-либо иной из элементов художественного вымысла, утрачивает силу воздействия от слишком яркого света рамп. Воображение читателя следует возбуждать, по возможности не доводя его до пресыщения. Если мы хоть раз, подобно Макбету, «объелись ужасами», наш вкус к такого рода трапезе притупится и трепет, с которым мы слушали или читали о пронзительном крике в ночи, уступит место вялому равнодушию, с каким тиран в последнем акте трагедии выслушивает известия о самых губительных катастрофах, обрушившихся на его дом.

Сверхъестественные явления носят обычно характер таинственный и неуловимый, они кажутся нашему напуганному воображению особенно значительными тогда, когда мы и сами не можем в точности сказать что же, собственно, мы видели и какой опасностью это видение угрожает нам. Они подобны тем образам, что возникают в сознании Девы из маски «Комус»:

...Видений мириады
В моем сознании текут толпой
Теней зовущих, призраков манящих,
Чудовищных ревущих голосов,
Скандирующих чьи-то имена
В пустынях диких и в песках прибрежных.

Берк утверждает, что темнота изложения необходима, ибо именно благодаря ей произведение наводит ужас на читателя. «Привидений и домовых, — пишет он, — никто не может себе представить, но как раз это и подстегивает нашу фантазию, заставляя нас верить народным рассказам об этих существах». Ни

один писатель, по его мнению, «не владел таким даром создавать чудовищные образы и окружать их атмосферой ужаса благодаря обдуманной темноте изложения, как Мильтон. Образ Смерти во второй книге «Потерянного рая» разработан превосходно; просто диву даешься, с каким мрачным великолепием, с какой волнующей и многозначительной неясностью оттенков и очертаний завершает он портрет этого Владыки Ужасов:

И новый образ — коль назвать решимся
Мы образом тот бестелесный мрак,
Где нет ни форм, ни членов, ни суставов,
Коль явью призрак звать за то, что явь
Столь с призраком неразлично сходна, —
Черней, чем ночь, грознее преисподней
И яростней десятка лютых фурий,
Стоит, вздымая смертоносный дрот,
И грозное подобье головы
Венчается подобием короны.

Все в этом образе таинственно, неясно, смутно, потрясающе и возвышенно до крайних пределов».

Рядом с вышеприведенным отрывком достоин быть упомянутым лишь всем известный рассказ о видении из Книги Иова с его ужасающей смутной неопределенностью:

И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне. Он стал, — но я не распознал вида его, — только облик был перед глазами моими; тихое веянье, — и слышу голос...

Эти возвышенные и убедительные примеры подтверждают, что в художественном произведении сверхъестественные явления следует выводить редко, кратко, неотчетливо, оставляя описываемое привидение настолько непостижимым, настолько непохожим на нас с вами, чтобы читатель и предположить не мог, откуда оно пришло или зачем явилось, а тем более не составил себе ясного и отчетливого представления об

его свойствах. Поэтому обычно бывает так, что первое соприкосновение со сверхъестественным производит наиболее сильный эффект, тогда как в дальнейшем, при повторении подобных эпизодов, впечатление скорей ослабевает и блекнет, нежели усиливается. Даже в «Гамлете» второе появление призрака оказывает далеко не столь сильное воздействие, как первое; во многочисленных же романах, на которые мы могли бы сослаться, привидение, так сказать, утрачивает свое достоинство, появляясь слишком часто, назойливо вмешиваясь в ход действия и к тому же еще становясь не в меру разговорчивым, или попросту говоря — *болтливым*. Мы сильно сомневаемся, правильно ли поступает автор, вообще разрешая своему привидению говорить, если оно к тому же еще в это время открыто человеческому взору. Шекспир, правда, подыскал для «мертвого повелителя датчан» такие слова, какие уместны в устах существа сверхъестественного и по стилю своему отчетливо разнятся от языка живых действующих лиц трагедии. В другом месте он даже набрался смелости раскрыть нам в двух одинаково сильных выражениях, как и с какой интонацией изъясняются обитатели загробного мира:

И мертвый в саване на стогнах Рима
Скрипел визгливо да *гнусил* невятно.

Тем не менее то, с чем справился гений Шекспира, будет, пожалуй, выглядеть комичным, если это выйдет из-под пера менее одаренного писателя; именно поэтому во многих современных романах крови и ужаса наше чувство страха уже задолго до развязки ослабевает под воздействием того чрезмерно близкого знакомства, которое порой ведет к неуважению.

Понимая, что сверхъестественное, поданное слишком упрощенно, быстро утрачивает свою силу, современные писатели стремятся проложить новые пути и тропы в зачарованном лесу, чтобы так или этак оживить, насколько удастся, слабеющие эффекты тающих в нем ужасов.

Наиболее очевидный и простой способ достичь этой цели заключается в том, чтобы расширять и множить сверхъестественные события в романе. Однако, исходя из вышеизложенного, мы склонны полагать, что чрезмерно подробное и старательное описание не только не усиливает впечатления, но, напротив, ослабляет его. В этом случае утрачивается изящество, а злоупотребление превосходной степенью, наводняющей роман, делает его утомительным или даже смешным, вместо того чтобы сообщить ему мощь и возвышенность.

Существуют, однако, и такие сочинения, в которых сверхъестественному отводится немаловажная роль, но которые способствуют лишь игре фантазии, а не творческой работе мысли, и стремятся скорее развлечь читателя, нежели увлечь его и привести в волнение. К ним относятся восточные сказки, которые доставили нам немало наслаждения в юности и которые мы с таким удовольствием припоминаем, а то и перечитываем в более зрелые годы. Не много найдется читателей, хоть сколько-нибудь одаренных воображением, которые в ту или иную пору жизни не разделяли бы увлечений Коллинза. «Этот поэт, — уверяет доктор Джонсон, — приходил в совершеннейший восторг от свойственных этим сказкам бурных взлетов фантазии, которая разрывала узы естественного и с которой разум мирился, лишь пассивно покоряясь господствующим вкусам. Он был влюблен во всех этих фей, джиннов, великанов и чудищ; увлеченно бродил по зачарованным лужайкам, любовался великолепием золотых дворцов, отдыхал у водопадов в Елисейских Полях». В такого рода книгах, не требующих при чтении особой работы мысли, находят наслаждение главным образом молодые и праздные люди. Став старше, мы вспоминаем их, как вспоминают игры детства, скорее потому, что мы некогда любили их, чем потому, что они и ныне способны нас позабавить. Обескураженный нелепостью вымысла, зрелый рассудок не воспринимает их чар, и, хотя этот дикий вымысел содержит немало прекрасного и полно фантазии, тем не менее бессвязность и отсутствие об-

щего смысла приводят к тому, что сказки эти оставляют нас равнодушными и мы проходим мимо них, как богатырская дева Бритомарта проезжала мимо богатого берега,

Где был рассыпан жемчуг самокатный,
Сапфир и лал, где цвел узор камчатный,
Где золотом червонным рдел песок.
Все в диво ей, но, путь ни на вершок
Не изменив и лишь взглянув бесстрастно
На золото, на жемчуга и шелк,
Она презрела их — ей было все подвластно.

К этому же разряду сочинений о сверхъестественном может быть причислен и другой, хотя и менее интересный, вид сказок, который французы называют *contes des fées*,¹ стремясь этим названием отграничить его от распространенных во многих странах обычных народных сказок о волшебных существах. *Conte des fées*² — совершенно особый жанр, и действующие в нем феи вовсе непохожи на тех эльфов, которые только и знают, что плясать вокруг гриба при лунном свете или сбивать с пути запоздалого селянина. Французская фея больше напоминает восточную пери или фату из итальянских стихов. По своей природе она высшее существо, стихийный дух, обладающий магической силой, и эта сила в значительной мере помогает ей творить добро и зло. Но какие бы достоинства этот жанр ни обрел в искусных руках, стоит ему только попасть в руки менее ловкие, как он становится на редкость плоским, нелепым и безжизненным. Из огромного, насчитывающего около пятидесяти томов «*Cabinet des fées*»,³ если отвлечься от привязанностей нашего детства, мы вряд ли наберем и полдесятка книжек, которые хоть в какой-то мере могут доставить нам удовольствие.

Нередко случается так, что в то время как какое-нибудь отдельное направление в искусстве ветшает

¹ Сказки о феях (франц.).

² Сказка о феях (франц.).

³ «Собрания сказок о феях» (франц.).

и приходит в упадок, карикатура на это направление или сатирическое использование его приемов способствует появлению нового вида искусства. Так, например, английская опера возникла из пародии на итальянский театр, созданной Геом в «Опере нищих». Точно так же, когда книжный рынок был наводнен *ad pauseat*¹ арабскими сказками, персидскими сказками, турецкими сказками, монгольскими сказками и легендами всех народов, живущих к востоку от Босфора, когда публика окончательно пресытилась растущим потоком всякого рода волшебных повествований, граф Энтони Гамильтон, подобно новому Сервантесу, выступил со своими сатирическими сказками, которым суждено было произвести переворот в царстве дивов, джиннов, *пери et hoc genus omne*.²

Порою слишком вольные для нашего утонченного века, сказки графа Гамильтона служат превосходной иллюстрацией того, что любая область литературы, подобно ниве земледельца, какой бы она ни казалась истощенной и бесплодной, тем не менее поддается обновлению и может опять приносить урожай, если ее новым способом возделывать и обработать. Остроумие графа Гамильтона, словно удобрение, брошенное в истощенную почву, сделало восточную сказку если не более поучительной, то хотя бы более пикантной. Многие подражали стилю графа Гамильтона; в частности, он оказал влияние на Вольтера, который, идя этим путем, превратил повесть о сверхъестественном в удачнейшее средство сатиры. Таким образом, в этом роде литературы мы имеем дело с комической разновидностью сверхъестественного, ибо автор здесь откровенно показывает свое намерение обратить в шутку чудеса, которые он описывает, и стремится развеселить читателя, отказываясь воздействовать на его воображение, а тем более на его чувства. Читатель видит в этих сказках попросту пародию на сверхъестественное, которая возбуждает смех, отнюдь не вызывая почтительного внимания или хотя бы того

¹ До отказа (лат.).

² И прочих существ подобного рода (лат.).

неглубокого волнения, с каким обычно слушают волшебное повествование о феях. Этот вид сатиры — а жанр этот часто используют в сатирических целях — особенно удачно применяли французы, хотя Виланд и некоторые другие немецкие писатели, идя по следам Гамильтона, дополнили еще и поэтичной грациозностью то остроумие и ту фантазию, которыми они украсили свои творения. «Оберон», в частности, вошел и в нашу литературу благодаря блестящему переводу господина Созби и почти столь же известен в Англии, как и в Германии. Однако мы слишком бы удалились от нашей нынешней темы, если бы стали исследовать героико-комическую поэзию, которая также относится к этому роду литературы и включает в себя прославленные творения Пульчи, Берни, да, пожалуй, в какой-то степени и самого Ариосто, который время от времени так высоко приподнимает забрало своего рыцарского шлема, что нам нетрудно уловить мимолетный отблеск улыбки, пробежавшей по его лицу.

Более общий взгляд на карту этого на редкость привлекательного волшебного царства открывает нам другую его область, которая выглядит, быть может, суровой и дикой, но, пожалуй, как раз поэтому и таит в себе весьма заманчивые находки. Существуют такие любители старины, которые не стремятся, подобно многим другим, приукрашивать собранные ими предания своего народа, а ставят перед собой задачу *antiquos accedere fontes*,¹ добратсья до тех исконных источников и родников древней легенды, которые любовно сохранялись седой и суеверной стариной, но почти начисто изгладились из памяти образованных кругов, однако затем были ими заново открыты и, подобно старым народным балладам, завоевали известную популярность именно вследствие своей безыскусственной простоты. «*Deutsche Sagen*»² братьев Гримм — один из превосходных памятников подобного рода; свободная от всякого искусственного приукрашивания, от попыток улучшить язык или услож-

¹ Приблизиться к древним истокам (лат.).

² «Немецкие предания» (нем.).

нить отдельные эпизоды, книга эта вобрала в себя множество бытовавших в разных немецких землях преданий, в основе которых лежат народные поверья, а также происшествия, приписываемые вмешательству потусторонних сил.

Существуют другие издания того же вида и на том же языке, собранные с большой тщательностью и несомненной точностью. Порой, пожалуй, несколько шаблонные, подчас скучные, иногда ребячливые, предания эти, собранные со столь неослабным рвением, тем не менее являются новым шагом в исследовании истории человечества, и если сопоставить их с материалами аналогичных сборников, составленных в других странах, то обнаруживаются признаки их общего происхождения из единой группы сказаний, распространенных среди самых разных племен рода человеческого. К каким выводам приходим мы, узнав, что ютландцы и финны рассказывают своим детям те же легенды, какие можно услышать в детской маленького испанца или итальянца, и что наши собственные ирландские или шотландские предания совпадают с народными сказаниями русских? Уж не вытекает ли это сходство из ограниченности человеческого воображения, когда одни и те же вымыслы приходят на ум самым различным авторам в удаленных друг от друга странах, подобно тому как разные виды растений обнаруживаются в таких районах мира, куда они никак не могли быть перенесены из других мест? Или, быть может, правильней возвести те и другие предания к некоему общему праисточнику, существовавшему в те времена, когда род человеческий составлял всего лишь одну большую семью, и, подобно тому как языковеды прослеживают в самых разных диалектах фрагменты единого общего языка, так, возможно, и собиратели старины могли бы в будущем распознать в легендах удаленных друг от друга стран части некогда существовавшей единой группы преданий? Мы не станем задерживаться на этих вопросах и лишь в общих чертах заметим, что, собирая эти памятники старины, трудолюбивые их издатели проливают свет не только на историю своего собственного народа, но вообще на

всю историю человечества. Обычно в устном предании имеется и некоторая доля истины наряду с обилием вымысла и с еще большим обилием преувеличений; поэтому они могут порой неожиданно подтвердить или опровергнуть скудные данные какой-нибудь древней летописи. Случается также, что легенды, рассказанные простыми людьми, добавляют особые характерные черты, местный колорит и подробности реальных эпизодов, сохранившиеся у них в памяти, и этим придают живое дыхание сухому и холодному повествованию, воспроизводящему одни только факты, лишенные тех драгоценных деталей, которые только и могут сделать его интересным и запоминающимся.

Мы бы хотели, однако, рассмотреть эти народные предания, сведенные в сборники, и с другой точки зрения, а именно — как особый способ воспроизведения в литературе чудесного и сверхъестественного. И тут мы должны признать, что тот, кто станет вчитываться в этот обширный свод повестей о злых духах, привидениях и чудесах, надеясь почувствовать то близкое к ужасу замирание сердца, которое и является самым очевидным триумфом сверхъестественного, будет, вероятно, разочарован. Целый сборник повестей о привидениях столь же мало возбуждает страх, как книга анекдотов — охоту смеяться. Многочисленные истории на одну и ту же тему способны полностью исчерпать интерес к ней; так, человек, попавший впервые в большую картинную галерею, с непривычки оказывается столь подавленным разнообразием сверкающих и переливающихся красок, что он уже не в состоянии разобраться в достоинствах тех картин, которые заслуживают его внимания.

И все же, несмотря на этот важный недостаток, неизбежный в подобного типа изданиях, читатель, если он не лишен воображения, если он способен преодолеть узы реальности и возбудить в душе своей то сочувствие, на какое обычно и рассчитана простая и незамысловатая народная легенда, найдет в ней для себя немало интересного, обнаружит в ней черты естественности и убедительности, и пусть эта легенда не в ладу с трезвой истиной, тем не менее в ней есть

нечто, чему наш разум не прочь поверить, какое-то правдоподобие, которого при самом большом старании не достичь ни поэту, ни прозаику. В таких случаях читателя больше убеждает пример, чем простое утверждение, и мы выбрали с этой целью письмо, полученное нами много лет тому назад от одного любезного и образованного джентльмена, недавно покинувшего этот мир и отличавшегося как тягой к науке, так и пристрастием к литературе во всех ее разветвлениях.

Было это, если я не ошибаюсь, в ночь на 14 февраля 1799 года, когда налетевший с юго-востока губительный ураган с мокрым снегом свирепо бушевал почти по всей Шотландии. Накануне днем капитан М. с тремя спутниками отправился на охоту за оленями далеко в горы, лежащие к западу от Дэлнакардоха. К вечеру они не вернулись и не подали о себе никакой вести. На следующий день, как только стихла буря, были посланы люди на розыски пропавших. После долгих поисков трупы охотников были найдены в пустынной местности, среди развалин хибары, временного рабочего барака, где капитан М. и его спутники, видимо, искали убежища. Хибара была разрушена бурей и притом необычайнейшим образом. Она была сложена частью из камня, частью из прочных бревен, вертикально врытых в землю; а между тем ее не просто свалило грозой, но буквально разнесло на куски. Огромные валуны, из которых были сложены стены, валялись в сотне ярдов от хибары, а деревянные стояки были искверканы какой-то чудовищной силой, которая скрутила их, как тугую ветку. Судя по положению трупов, было очевидно, что люди готовились ко сну в тот момент, когда разразилась катастрофа. Правда, тело одного из них нашли на расстоянии многих ярдов от хибары, но другой оказался на том самом месте, где стояло это строение, причем он был только в одном чулке и, видимо, уже снял второй. Капитан М., уже совсем раздетый, лежал ничком на убогой кровати, стоявшей в хибаре, колени его были поджаты к подбородку. По всей видимости, никому из этих людей и в голову не приходило, что их убежище будет сметено бурей. Расположение домика сулило надежную защиту от самых яростных ветров. Он был построен в узкой впадине у подножия горы, так что ее обрывистые и крутые склоны защищали его с трех сторон. Один только фасад не прилегал к горе, но и тут впереди возвышался холм, хоть и обращенный к дому своим пологим откосом. Необычайное разрушение столь хорошо укрытого здания породило в простом народе мысль о вмешательстве нечистой силы. Нашлись люди, которые вспомнили, что с месяц назад им пришлось охотиться с капитаном М., и когда все вместе они расположились на привал в той же хибаре, в дверь постучался какой-то молодой пастух и спросил капитана М., а когда тот вышел к пастуху, они вдвоем куда-то отправились, оставив

прочих участников охоты в хибаре. Спустя некоторое время капитан М. возвратился один; он не стал рассказывать о том, что произошло у него с пастухом, но вид у него был серьезный и озабоченный; с тех пор его, казалось, постоянно угнетала какая-то тайная тревога. Припомнили и то, как однажды вечером, когда уже стемнело и капитан М. находился в хибаре, его спутники, стоявшие у дверей, заметили огонь, пылавший на самой вершине холма, который возвышался перед ними. Немало подивившись этому огню в столь безлюдной местности и в такую неподходящую пору, они решили выяснить его происхождение. Но когда они добрались до вершины холма, никакого огня там уже не оказалось. Вспомнили также, что днем, в канун роковой ночи, капитан М. проявил непонятное упорство, настаивая на том, чтобы отправиться на охоту. Никакие возражения с ссылками на дурную погоду и на опасность, которой он подвергается, не остановили его. Он заявил, что он *должен* пойти и что он решился идти. Говорили также и о свойствах характера капитана М., который слыл человеком без твердых принципов, алчным и жестоким. О нем шла молва, что он наживался, вербуя в рекруты горцев, а этот способ обогащения не пользовался уважением в тех краях, тем более что ради своих целей, наряду с прочими низкими уловками, он способен был, например, бросить на дороге кошелек с деньгами, а затем, когда кто-нибудь поднимал его, грозился привлечь нашедшего к суду за грабеж, если тот не завербует в рекруты.¹ Человек, который нам об этом сообщил, ничего больше не добавил к рассказанному. Он не высказал ни своего личного мнения, ни мнения окружающих. Он давал нам возможность, в соответствии с нашими собственными представлениями о возмездии в этой жизни за содеянное добро и зло, создать любую версию прискорбного происшествия. Сам он, видимо, был обуреваем суеверным страхом и заключил свой рассказ словами: «Ни о чем подобном никогда и не слыхивали в Шотландии». Человек этот, весьма пожилой, служит школьным учителем в окрестностях Рэноха. Мы наняли его проводником во время нашего путешествия по Шехэлиону, и он рассказал нам эту историю, когда мы, ведя коней в поводу, медленно взбирались по извивающейся тропе на северный склон Рэноха. С этой возвышенности открывался вид на мрачные горы севера, и среди них проводник указал нам ту, у подножия которой разыгралось действие этой грозной драмы. В настоящем письме я излагаю вам, насколько позволяет моя память, лишь то, что я услышал от проводника. В некоторых второстепенных подробностях я, быть может, кое-что и запомнил, иное искажил, иное добавил, чтобы не утратилась общая связь событий, а в ином месте, боюсь, что и вовсе кое-что упустил. Попытайтесь уточнить у мистера П., не говорил ли капитан М.

¹ Нечего и говорить, что хотя все это были лишь непроверенные слухи, подобные толки основательно подорвали репутацию покойного. (Прим. автора.)

после беседы с пастухом, что через месяц ему придется снова вернуться в эту хибару. Мне как будто помнится нечто подобное, и, если это и в самом деле так, было бы жаль не упомянуть об этом. Мистер П., возможно, исправит или дополнит мое сообщение и в других отношениях.

Читатель согласится, мы надеемся, что ощущение суеверного ужаса, сопутствующего пагубным обстоятельствам этого удивительного рассказа, вряд ли возросло бы от новых жутких подробностей, сочиненных каким-либо писателем; что сами эти события и суровая простота их изложения воздействуют на нас много сильнее, чем любые живописные или поэтические украшения; и что старый учитель-горец, рассказ которого в основных его чертах столь тщательно воспроизвел автор сообщения, был более подходящим рассказчиком подобной повести, чем даже сам Оссиан, если бы его удалось воскресить для этой цели.

Тем не менее о музе романтической поэзии справедливо сказано, что она

*Mille habet ornatus.*¹

Профессор Музеус, а с ним и те, кого причислили к его школе, полагая, по-видимому, что простодушие лишенной поэтических прикрас народной легенды может помешать ее успеху, и чувствуя, как уже ранее отмечалось, что, хотя отдельные повести и производят иногда исключительно сильное впечатление, целый сборник сочинений такого рода может показаться достаточно бесцветным и скучным, употребил весь свой талант на то, чтобы разукрасить их увлекательными эпизодами, сообщить главным действующим лицам своеобразие характера и придать новый интерес чудесному за счет индивидуализации тех, в чью жизнь оно вторгается. Два тома «*Volksmärchen*»² Музеуса, переведенные на английский язык покойным доктором Беддоузом и опубликованные под названием: «Немецкие народные сказки», дают английскому читателю достаточно полное представление об

¹ Имеет тысячу украшений (лат.).

² «Народных сказок» (нем.).

увлекательных произведениях этого жанра. Они, быть может, имеют некоторое сходство с уже упоминавшимися сказками графа Энтони Гамильтона, но тут есть и существенное различие. «Le Bélier»¹ или «Fleur d'Épée»² — обычные пародии, возникшие, правда, на фантастическом материале, но обязанные своим успехом лишь остроумной выдумке автора. Музеус, напротив, берет сюжет подлинной народной легенды, но перелицовывает его по своему вкусу и описывает персонажей по собственному усмотрению. Гамильтон подобен повару, который готовит все угощения из свежих продуктов; Музеус же вытаскивает старые предания, словно вчерашнее холодное мясо из погреба, и своим мастерством да приправами придает им новый вкус для сегодняшнего обеда. Конечно, успех rifacimento³ следует приписать в данном случае не только основной фабуле, но и дополнениям искусного рассказчика. Например, в повести «Чудесное дитя» так называемый исходный материал скуден, примитивен и едва ли вышшеается над чудесами обычной детской сказки, но благодаря яркому образу старого скряги, который выменивает своих четырех дочерей на золотые яйца и мешки жемчуга, все оживает и повесть приобретает остроту и занимательность. Другая народная сказка «Цирюльник-призрак» и сама по себе не лишена оригинальности и выдумки, но особенную живость и увлекательность придает ей характер главного героя, добродушного, честного, твердолобого бременца, которого нужда до тех пор учит уму-разуму, пока он с помощью природного мужества и некоторой приобретенной мудрости не выпутывается постепенно из затруднений и не возвращает себе утраченного имущества.

Еще более своеобразное преломление приобретает чудесное и сверхъестественное в заново возродившемся в наши дни рыцарском романе о минувших веках с его исторической фабулой и достопримечательными чертами древности. В Германии своими опытами

¹ «Баран» (франц.).

² «Цветок терновника» (франц.).

³ Переделки (итал.).

в этом жанре, который предполагает сочетание трудолюбия ученого с талантом художника, прославился барон де Ламотт-Фуке. Усилия этого превосходного писателя направлены к созданию романа более совершенного типа, чем у его коллег, хотя последние и пользуются подчас большей известностью. Он стремится воспроизвести историю, мифологию, нравы описываемой эпохи и представить нынешнему веку красочную картину времен, отошедших в прошлое. «Походы Тиодольфа», например, вводят читателя в тот неисчерпаемый мир готических преданий, с которым знакомят нас северные саги и «Эдда»; а чтобы сделать образ своего смелого, прямодушного и решительного героя еще более эффектным, автор сталкивает его с южными рыцарями, над которыми этот благородный исландский юноша одерживает решительную победу. В некоторых своих произведениях барон, пожалуй, даже злоупотребляет эрудицией в области древней истории и знаний старины: он забирется в такие дебри, куда не под силу следовать за ним читателю, и наш интерес к книге падает, поскольку нам становятся непонятны происходящие в ней события. Это относится к тем сочинениям, где материал заимствован из истории древних германцев; чтобы понять их, требуется куда более солидное знакомство с бытом этой малоизвестной эпохи, чем то, которым располагает большинство читателей. Нам кажется, что в такого рода сочинениях автору следует взять за правило ограничивать себя историческими событиями либо всем известными, либо такими, которые без особых хлопот можно разъяснить читателю в той мере, в какой это требуется для понимания смысла книги. Впрочем, в тех случаях, когда материал был выбран удачно, барон де Ламотт-Фуке показал, что он им превосходно владеет. Его повесть «Синтрам и его спутники» в этом отношении просто превосходна, а другая повесть «Ундины» — о наяде, или речной нимфе, — полная самой утонченной прелести. Страдания героини, — а страдания эти *подлинные*, хоть она и фантастическое существо, — вызваны следующими причинами: будучи духом стихий, Ундина не подвер-

жена страстям человеческим, но она добровольно отказывается от этой своей привилегии и становится женой красивого юного рыцаря, который, однако, платит ей изменой и неблагодарностью. Этот сюжет в одно и то же время и противоположен и созвучен «Diable Amoureux»¹ Казотта, но повесть начисто лишена той *polissonnerie*,² которая в ее французском прототипе так оскорбляет хороший вкус.

Рамки рыцарского романа под пером этого изобретательного и плодovitого писателя раздвинулись, вобрав в себя мало освещенные периоды древней истории, вплоть до смутных преданий Киммерии; при этом автору удалось создать искусные и правдивые картины, полные захватывающего интереса; вот почему этот жанр, бесспорно, заслуживает признания как один из видов романтической литературы, в чем-то близкий эпосе в поэзии и весьма пригодный для воспроизведения аналогичных красот.

Итак, мы в общих чертах проследили разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе; однако приверженность немцев к таинственному открыла им еще один литературный метод, который едва ли мог бы появиться в какой-либо другой стране или на другом языке. Этот метод можно было бы определить как *фантастический*, ибо здесь безудержная фантазия пользуется самой необузданной и дикой свободой и любые сочетания, как бы ни были они смешны или ужасны, испытываются и применяются без зазрения совести. Другие методы воспроизведения сверхъестественного даже эту мистическую сферу хоть в какой-то степени подчиняют известным закономерностям, и воображение в самом дерзновенном своем полете руководствуется поисками правдоподобия. Не так обстоит дело с методом фантастическим, который не знает никаких ограничений, если не считать того, что у автора может наконец иссякнуть фантазия. Произведения, созданные по этому методу, так же относятся

¹ «Влюбленному дьяволу». (Франц.).

² Игривости (Франц.).

к обычному роману, комическому или серьезному, как фарс или, пожалуй, даже пантомима относятся к трагедии и комедии. Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств: не предпринимается ни малейшей попытки сгладить их абсурдность или примирить их противоречия; читателю только и остается, что взирать на кувыркание автора, как смотрят на прыжки или нелепые переодевания арлекина, не пытаясь раскрыть в них что-либо более значительное по цели и смыслу, чем минутную забаву.

Английский строгий вкус не легко примирится с появлением этого необузданно-фантастического направления в нашей собственной литературе; вряд ли он потерпит его и в переводах. Единственное сочинение, приближающееся к подобной манере, — это яркая книга о Франкенштейне, но и там, хотя создание мыслящего и чувствующего существа с помощью технической выдумки относится к области фантастики, все же главный интерес обращен не на чудесное сотворение Франкенштейна, а на те переживания и чувства, которые должны быть этому чудовищу естественно присущи, если только это слово уместно при столь противоестественном происхождении и образе жизни героя. Иными словами, все это чудотворное представление затеяно не ради самого чуда, а ради той последовательной цепи размышлений и действий, которые сами по себе логичны и правдоподобны, хотя основной стержень, на котором все они держатся, совершенно невероятен. В этом отношении «Франкенштейн» напоминает «Путешествия Гулливера», где самые диковинные вымыслы допускаются ради того, чтобы извлечь из них философский смысл и нравственный закон. Допущение чудес в этом случае подобно плате при входе в лекционный зал; это вынужденная уступка автору, за которую читатель получает возможность духовного обогащения. Однако та *фантастика*, о которой мы ныне ведем речь, вовсе не ставит себе подобным условием, и единственная ее цель — поразить публику самим чудодейством. Читателя заманивают, сбивают с пути причудливые при-

зраки, чьи проделки, лишенные цели и смысла, находят оправдание в одной лишь их необычности. На английском языке нам известен всего лишь один пример подобного рода литературы: это потешная сценка в повести мистера Джоффри Крейона «Смелый драгун», где мебель пляшет под музыку призрачного скрипача. Другие рассказы о привидениях этого прославленного и всеми любимого писателя остаются в тех общепринятых пределах, которыми Гленвил, а также другие заслуженные и авторитетные мастера ограничивают призрачное царство теней; мы полагаем однако, что в приводимом ниже отрывке мистер Крейон изменил своей обычной манере, пытаясь доказать, что случайные ландскнехты так же подвластны ему, как и регулярные войска волшебного мира.

В отблеске камина он увидел бледного малого со сморщенным лицом, в долгополом фланелевом халате и высоком белом колпаке с кисточкой, который, сидя у огня и держа под мышкой мехи, извлекал из волынки астматические ноты, приводившие в ярость моего дедушку. Играя, он к тому же еще все время дергался, принимая самые причудливые позы, покачивал головой и тряс своим увенчанным кисточкой колпаком. На противоположном конце комнаты стул с высокой спинкой и изогнутыми ножками, крытый кожей и утыканный по последней моде медными гвоздиками, внезапно пришел в движение; у него обнаружились сначала когтистые ступни, затем кривые руки, и вот он уже изящным шагом приблизился к креслу, покрытому засаленной парчой, с дыркой внизу, и учтиво повел его в призрачном менуэте.

Музыкант играл все неистовей, тряс головой и колпаком как безумный. Постепенно танцевальный экстаз охватил и прочую мебель. Старомодные долговязые стулья, разбившись на пары, выделявали па контрданса. Табуретка-треножник откалывала матросский танец, хотя ей ужасно мешала третья нога; в то же время влюбчивые щипцы, обхватив за талию лопатку для угля, кружили ее по комнате в немецком вальсе. Короче говоря, все, что способно было двигаться, плясало и вертелось, взявшись за руки, словно свора дьяволов, — все, за исключением большого комода, который, подобно вдовствующей особе, только приседал все время и делал реверансы в углу, выдерживая точно ритм музыки, но не танцуя, видимо вследствие излишней тучности или, быть может, за отсутствием партнера.

Мастерски написанная небольшая сценка — вот и все, чем мы в Англии располагаем в области фантастического направления в литературе, о котором мы

ведем речь. «Петер Шлемиль», «Эликсир дьявола» и другие немецкие произведения этого рода получили у нас известность лишь благодаря переводам. Писателем, который открыл дорогу этому литературному направлению, был Эрнст Теодор Вильгельм Гофман, чей гений, равно как темперамент и образ жизни способствовали его успеху в той сфере, где воображение напрягалось до последних пределов эксцентричности и *bizarrie*.¹ Был он, видимо, человеком редкостной одаренности — и писатель, и живописец, и музыкант, — но благодаря своему капризному, ипохондрическому нраву во всех своих творческих начинаниях он впадал в крайности, в результате чего в музыке его преобладало капричио, живопись обращалась в карикатуру, а повести, по его собственному определению, — в причудливые фантазии.

Получив поначалу юридическое образование, он в какие-то периоды своей жизни служил в Пруссии и других немецких землях в должности мелкого государственного чиновника, в другое же время был полностью предоставлен собственной своей находчивости и зарабатывал на жизнь то в качестве композитора при театре, то как писатель, то как живописец.

Внезапные перемены в судьбе, неуверенность, зависимость от случая — такой образ жизни, несомненно, наложил отпечаток на его душевный склад, от природы весьма чувствительный к падениям и взлетам; а его темперамент, и без того неровный, стал еще более неустойчивым от этого мелькания городов и профессий, от общей непрочности его положения. К тому же он подстегивал свою гениальную фантазию вином в весьма чувствительных дозах и бывал крайне неумерен в употреблении табака. Даже внешний облик Гофмана говорил о состоянии его нервной системы: низкорослый человечек с копной темно-каштановых волос и глазами, которые горели под этой непокорной гривой, выглядел

Как серый ястреб с хищным взором

¹ Причудливости (*франц.*).

и обнаруживал черты душевного расстройства, которое, видимо, он и сам сознавал, иначе бы не оставил он в своем дневнике полных ужаса строк:

Почему во сне и наяву преследуют меня неотступные мысли о безумии? Извержение диких помыслов, вырастающих в моем сознании, напоминало бы, вероятно, кровоизлияние.

На протяжении неустроенной, бродячей жизни Гофмана случались порой события, которые, казалось ему, метили его особой метой, как того, кто «не значится среди людей обыкновенных». На самом деле эти события вовсе не носили столь необычайного характера. Вот один из примеров. Как-то раз на водах Гофман присутствовал в зале, где шла крупная игра, и его приятель, привлеченный видом рассыпанного по столу золота, решил принять в ней участие. Колеблясь, однако, между надеждой и страхом и не доверяя собственной удаче, он сунул Гофману полдюжины золотых, чтобы тот от себя поставил их на карту. Судьба благоприятствовала юному мечтателю: хотя он и был вовсе несведущ в игре, ему удалось выиграть для друга около тридцати фридрихсдоров. На следующий вечер Гофман рискнул попытать счастья сам. Это не было, замечает он, заранее обдуманное намерение: решение пришло, когда его друг снова стал упрашивать Гофмана поставить за него деньги. Гофман сел за стол и стал играть на собственный страх и риск, поставив на карту два фридрихсдора — все, чем он тогда располагал. Если и в предшествующий вечер Гофману удивительно везло, то сейчас, казалось, он вступил в сговор с какими-то высшими силами. Он выигрывал все ставки подряд, каждая карта оборачивалась к его выгоде.

Я утратил власть над своими чувствами, — говорит он, — и, по мере того как ко мне стекалось золото, мне все больше казалось, что все это происходит во сне. Пробудился я лишь для того, чтобы рассовать по карманам выигранные деньги. Игра закончилась, как обычно, около двух часов ночи. Когда я собрался уходить, какой-то старик военный положил мне руку на плечо и, глядя на меня пристальным и суровым взглядом, сказал: «Молодой человек, если вы так разбираетесь в этом деле, вы сможете сорвать любой банк. Однако если вы действительно

втянулись в игру, помните — дьявол целиком завладеет вами, как владеет всеми здесь присутствующими». Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел прочь. Уже брезжила зоря, когда я вернулся домой и стал выкладывать из карманов на стол кучи золота. Представьте себе чувства юноши, весьма стесненного в средствах, ограниченного в расходах самой скромной суммой, на которого вдруг, словно с неба, свалилось сокровище, пусть даже ненадолго сделавшее его настоящим богачом! Но в то время как я смотрел на это золото, под влиянием острой и неожиданной боли, столь жестокой, что холодный пот выступил на лбу у меня, ход моих мыслей вдруг круто изменился. Лишь теперь дошли до моего сознания слова старого офицера во всем ужасном и грозном их значении. Мне показалось, что золото, блистающее передо мной на столе, — это как бы задаток, брошенный Князем Тьмы за власть над моей душой, которой теперь уже не избежать гибели. Мне чудилось, что какая-то ядовитая гадина высасывает кровь из моего сердца, и я почувствовал себя низвергнутым в бездну отчаяния.

Но вот румянец зари окрасил окна, лучи его осветили деревья и равнину, и наш юный мечтатель испытывает блаженное ощущение возвращающихся сил; он теперь способен побороть соблазн и защитить себя от адского наваждения, грозившего ему, как он полагал, неминуемой гибелью. Под воздействием этих переживаний Гофман дал клятву никогда не брать в руки карт и выполнял ее до конца жизни. «Урок, данный мне офицером, — пишет Гофман, — был хорош, а его последствия превосходны». Но благодаря особому складу души Гофмана этот урок подействовал на него скорее как народное средство, чем как лекарство опытного врача. Он отказался от карточной игры, не столько уверясь в порочных нравственных последствиях этой привычки, сколько из простого страха перед образом злого духа.

В другую пору жизни Гофману удалось доказать, что его необычайно подвижная и необузданная фантазия ни в какой мере не связана с доходящей до безумия робостью, которую приписывают обычно поэтам, этим «сгусткам воображения». Писатель находился в Дрездене в тот богатый событиями год, когда город был уже почти захвачен союзниками; падению его помешало внезапное возвращение Бонапарта и его гвардии из Силезии. Гофман тогда увидел войну в самой непосредственной близости; он не побоялся пройти

в пятидесяти шагах от метких французских стрелков, когда те обменивались выстрелами с пехотой союзников неподалеку от Дрездена. Он пережил бомбардировку города; одно из ядер взорвалось перед домом, где Гофман и актер Келлер с призванными содействовать укреплению духа бокалами в руках следили через одно из окон верхнего этажа за ходом наступления. Взрывом убило троих человек; Келлер выронил бокал, но философски настроенный Гофман допил вино со словами: «Вот она, жизнь! И как же все-таки хрупко человеческое тело, если оно не в силах справиться с осколком раскаленного железа!» Он видел поле битвы, когда обнаженными трупами набивали огромные траншеи, обращенные в братские могилы; поле, носившее следы яростного сражения, усеянное убитыми и ранеными солдатами и лошадьми; повсюду валялись взорванные зарядные ящики, обломки оружия, кивера, шпаги, патронные сумки... Он видел и Наполеона в зените его славы и слышал, как этот человек с осанкой и голосом льва крикнул адъютанту одно лишь словечко: «Voyons!»¹

Приходится сожалеть, что Гофман сохранил лишь скудные записи об этих насыщенных событиями неделях своего пребывания в Дрездене, — ведь он с его наблюдательностью и изобразительным талантом мог бы рассказать о них весьма точно. Нельзя не отметить, что обычно описания военных действий напоминают скорее схему, чем подлинную картину, и, хотя из них можно кое-что почерпнуть специалисту по тактике, они редко вызывают интерес у простого читателя. В частности, военный человек, если спросить у него о битве, в которой он принимал участие, скорее прибегнет к сухому и отвлеченному языку газетных реляций, чем станет изукрашивать свой рассказ живописными и яркими подробностями, которые так ценятся обычными слушателями. Это и понятно, ибо ему кажется, что, отойдя он от бесстрастной и подчеркнуто профессиональной манеры изложения, его тотчас же заподозрят

¹ Увидим! (франц.).

в стремлении преувеличить опасность, которой он подвергался, а такое подозрение больше всего на свете страшит подлинного смельчака; да к тому же нынешние военные и вообще считают подобные рассказы проявлением дурного вкуса. Вот почему так досадно, когда человек, не связанный с военным ремеслом и вместе с тем способный запечатлеть все его жуткие подробности, случайно сделавшись очевидцем столь примечательных событий, как дрезденские бои в памятном 1813 году, не оставил подробного описания того, что, несомненно, вызвало бы у нас живейший интерес. Описание последовавшей затем битвы при Лейпциге, сделанное ее очевидцем М. Шоберлем (если мы верно запомнили это имя), — вот, примерно, то, на что мы могли бы рассчитывать, если бы человек с талантом Гофмана сообщил нам свои личные впечатления о грозных событиях, при которых ему довелось присутствовать. Мы охотно пожертвовали бы некоторыми из его произведений в духе гротескной *diablerie*¹ ради верной картины наступления на Дрезден и последующего отхода союзных армий в августе 1813 года. Это была последняя значительная победа Наполеона, и так как почти сразу за ней последовало поражение Вандама и потеря *corps d'armée*,² ее можно рассматривать как бесспорную дату начала падения императора. Гофман к тому же пылкий патриот, истинный, чистокровный немец, всей душой желавший освобождения своей родины. Он бы с огромным воодушевлением описал победу Германии над ее угнетателем. Но ему не было суждено создать о ней даже небольшой исторический очерк. Вскоре за тем французская армия отступила, и Гофман вернулся к обычным своим занятиям — к литературным трудам и дружеским попойкам.

Тем не менее весьма возможно, что его лихорадочное воображение получило новый толчок от зрелища тягот и опасностей, свидетелем которых столь недавно был наш писатель. Другое, на этот раз семейное, несча-

¹ Чертовщины (франц.).

² Основной части армии (франц.).

стве также способствовало болезненному повышению чувствительности Гофмана. Во время переезда в другой город случайно опрокинулась почтовая карета, и его жена была опасно ранена в голову, от чего страдала затем длительное время.

Все эти обстоятельства в сочетании с нервическим от природы темпераментом навязали Гофману такой строй мыслей, который, быть может, весьма благоприятствовал успешной работе над его необычными произведениями, но далеко не способствовал тому спокойному и уравновешенному типу человеческого бытия, с которым философы склонны связывать достижение высшей ступени счастья. Болезненная острота восприятия, при которой человек несколько не считается с доводами рассудка и действует вопреки его повелениям, создает душевную неустойчивость, столь порицаемую в превосходной «Оде равнодушию»:

То сердце мира не найдет,
Что, словно стрелка, рыщет.
Оно к веселью, к скорби льнет,
Замрет и снова ищет.

Страдание, которое иногда связано с чрезмерной чувствительностью тела, в других случаях коренится в собственном нашем возбужденном воображении; поэтому нелегко установить, что страшней — обостренная ли восприимчивость или преувеличенная живость фантазии. У Гофмана, в частности, нервы были в состоянии самом болезненном. Жестокий приступ нервной горячки в начале 1807 года еще более обострил роковую возбудимость, от которой он и без того страдал: то, что вначале поразило его тело, вскоре распространилось и на разум. Он составил для собственного пользования особого рода шкалу душевных состояний, которая, подобно шкале термометра, определяла, насколько взвинчены его нервы, вплоть до такого предела, за которым, вероятно, уже начиналось подлинное безумие. Не легко подыскать английские слова, соответствующие тем терминам, которыми Гофман определял свои ощущения; заметим только, что один день

был в его дневнике отмечен настроенностью романтической и религиозной, на другой день он, по его словам, пребывал в состоянии экзальтированном и возбужденно-шутливом, на третий — становился язвительно насмешливым, на четвертый — бывал во власти бурных и причудливых музыкальных звучаний, на пятый — им овладевала романтическая тяга ко всему отталкивающему и ужасному, на шестой день он опять саркастичен и жаждет чего-то капризно-необычного и экзотического, на седьмой — впадает в квиетизм, его душа раскрыта прекрасным, чистым, привлекательным и образно-поэтическим впечатлениям, а на восьмой день он уже снова возбужден, но на этот раз его влекут к себе лишь самые отвратительные, самые ужасные и самые дикие мысли, которые к тому же еще и особенно мучительны. Порой чувства, отмечаемые в дневнике этим злосчастным гением, совершенно противоположны тому, что, по его мнению, свидетельствует о нервном возбуждении. Напротив, они говорят об упадке духа, о равнодушии к тем ощущениям, которые прежде он воспринимал с особой живостью, причем безразличие это сопровождалось у Гофмана меланхолией и полным бессилием, столь характерными для человека, припоминающего былые наслаждения, когда они уже не доставляют ему радости. Этот своеобразный духовный паралич представляется нам особого рода болезненным состоянием, которое в той или иной степени свойственно каждому, начиная от бедного механика, внезапно обнаружившего, что ему, как он выражается, «рука отказала» и что он не может выполнить обычную работу с присущей ему некогда ловкостью, и кончая поэтом, чья муза покидает его в тот момент, когда он, быть может, особенно в ней нуждается. В таких случаях разумный человек прибегает к усиленным упражнениям или к смене занятий; невежда же и человек безрассудный пытаются справиться с этим пароксизмом более вульгарными средствами. Но то, что у обычных людей оказывается хоть и неприятным, но преходящим состоянием, превращается в подлинный недуг для такой натуры, как Гофман, болезненно ощущающей любые крайности, но осо-

бенно часто и длительно подверженной всему, что сулит страдание. Таково уж действие чрезмерно богатого воображения. Именно подобной душевной настроенности обязан Бертон своей концепцией меланхолии, когда в душе чередуются радости и муки, рожденные воображением. Его стихи столь удачно воспроизводят этот изменчивый, ипохондрический склад, что всего лучше просто привести их:

Когда я с радостным лицом
Склоняюсь молча над ручьем
Иль, зеленью лесной храним,
Брожу, неслышен и незрим,
И тысячи немых услад
Мне радость чистую дарят,

Не отыщу прекрасней доли я,
Чем сладостная меланхолия,

Когда гуляю иль сижу,
Вздыхаю, о былом тужу
Под мрачным куполом ветвей
Иль в бедной хижине моей,
Когда тоски иль горя гнет
Меня коверкает и гнет,

Ах, лучше б кончил жизнь в неволе я,
Чем в лапах злобной меланхолии,

Я слышу, музыка звенит,
Она блаженство мне сулит,
И мир у ног моих тогда —
Селенья, замки, города,
И блеск, и чары красоты,
И женщин нежные черты,

И не найду прекрасней доли я,
Чем сладостная меланхолия.

Я слышу скорби жуткий вскрик,
О грозный звук, о страшный миг!
Кошмаром близится тогда
Уродов злобных череда,
Зверей, безглавых обезьян,
Вампиров, демонов, цыган.

Уж лучше б кончил жизнь в неволе я,
Чем в лапах черной меланхолии.

В состоянии безотчетного возбуждения, описанного в этих стихах, мучительное и мрачное расположение духа, вообще говоря, куда более обычно, нежели веселое, приятное и восторженное. Всякий, кто попытается проследить за собой, легко установит правдивость этого утверждения, ибо оно неизбежно вытекает из несовершенства человеческой природы, которая при мыслях о будущем куда охотнее рисует нашему взору картины неприятные, чем сладостные; иными словами, страх в наших мыслях занимает куда более обширную сферу, нежели противостоящая ему надежда. В том-то и вся беда, что Гофман был так сильно подвержен первому из этих душевных состояний и любое приятное ощущение неминуемо сочеталось у него со страхом перед его вредными и опасными последствиями. Его биографы приводят немало примеров такого тягостного предрасположения, когда он не только преувеличивал возможность беды при действительной опасности, но капризно и некстати связывал свои роковые предчувствия с самыми безобидными и невинными происшествиями. «Дьявол, — обычно говорил он, — всюду всунет свое копыто, как бы гладко ни шло все сначала». Мелкий, но удивительно характерный пример наглядно продемонстрирует читателю эту злополучную склонность всегда ожидать худшего. Гофману, внимательному наблюдателю окружающего мира, довелось однажды увидеть, как к прилавок рыночной торговки подошла маленькая девочка, чтобы купить приглянувшиеся ей фрукты. Осторожная торговка пожелала сперва выяснить, хватит ли у девочки денег на покупку; и когда крошка, прелестное создание, весело и гордо показала совсем мелкую монету, женщина дала ей понять, что нет у нее на прилавке товара, который соответствовал бы содержимому кошелька покупательницы. Оскорбленная и пристыженная девочка разочарованно отошла со слезами на глазах, но Гофман подозвал ее и, уладив дело с торговкой, высыпал бедняжке в передник самые лучшие фрукты. Однако недолго тешился он тем, что выражение ее детского личика переменялось, что вместо обиды на нем теперь сияли счастье и полный восторг; внезапно им

овладело опасение, не причинил ли он ребенку смертельный вред, не объестся ли девочка фруктами, которые он ей накупил, и не станут ли эти фрукты источником какой-нибудь опасной болезни. Эта мысль, все время терзавшая его, пока он шел к своему приятелю, была сродни многим другим, которые преследовали его всю жизнь, никогда не давая насладиться плодами доброго или благожелательного поступка и отвращая неясным предчувствием воображаемого зла все, что приносило наслаждение в настоящем или сулило счастье в будущем.

И как тут не противопоставить Гофману Вордсворта, также обладающего живым воображением и чувствительностью, Вордсворта, в чьих стихах отражаются порою столь же несложные события, как и вышеприведенный случай, с тем, однако, существенным различием, что ясное, мужественное и разумно направленное сознание поэта обычно подсказывает ему приятные, нежные и утешительные мысли в тех же обстоятельствах, в которых Гофман предчувствует совсем иные последствия. Подобные незначительные эпизоды проходят бесследно для людей с заурядным складом мышления. Наблюдатели же с богатым поэтическим воображением, подобные Вордсворту и Гофману, — это химики, способные извлечь из них либо успокаивающее лекарство, либо отраву.

Мы не станем утверждать, что воображение Гофмана было порочным или извращенным, мы только подчеркиваем его необузданность и чрезмерное пристрастие ко всему нездоровому и страшному. Так, например, его постоянно, особенно в часы одиночества и напряженной работы, преследовало ощущение загадочной опасности, которая якобы нависла над ним; а заполнившее его книги племя чудовищ, призраков, фантазмагорических видений и всякого рода нечисти, хоть и было сотворено его собственным воображением, приводило его в такой трепет, как если бы все эти существа жили в реальном мире и в самом деле могли накинуться на своего создателя. Эти порожденные им самим видения порой настолько оживали в его глазах, что он уже не в силах был их выносить, и ночью —

обычное время его работы — Гофман часто будил жену, чтобы она сидела у стола, пока он пишет, и своим присутствием защищала его от фантомов его же собственного больного воображения.

Таков был этот зачинатель фантастического направления в литературе, или, во всяком случае, первый значительный художник, который использовал в своем творчестве фантастику и сверхъестественный гротеск, столь близко подходя к грани подлинного безумия, что он и сам пугался детищ своей фантазии. Неудивительно, что в сознании, настолько подвластном воображению и так мало сообразующемуся со здравым смыслом, возникла целая вереница образов, в которых главную роль играет фантазия и вовсе не участвует рассудок. В самом деле, гротеск в его произведении похож на живописную арабеску, на которой можно различить диких, причудливых, замысловатых чудищ, напоминающих кентавров, грифов, сфинксов, химер, птицу Рок и всякие иные романтические видения, на сложный орнамент, который ослепляет зрителя казалось бы необычайной плодовитостью вымысла и поражает его богатейшими контрастами всех возможных форм и оттенков, тогда как на деле во всем этом не сыскать ничего, что бы обогащало рассудок или давало пищу для суждения. Всю свою жизнь, а она у него была нелегкая, Гофман истратил на полотна, изображающие такого рода дикие и фантастические образы, которые принесли ему куда меньше успеха у публики, чем если бы его талант был руководим более требовательным вкусом и более основательным суждением. Есть немало оснований полагать, что и жизнь его оборвалась столь рано не только из-за психического недуга, который мешал правильному пищеварению и нормальной работе желудка, но и вследствие неводержанности, которая шла от желания преодолеть меланхолию, столь властно подчинившую себе его дух. И это тем прискорбней, что Гофман, при всех причудах перенапряженного воображения, так странно искажившего его художественный вкус, был, видимо, человеком недюжинного таланта, вдумчивым наблюдателем окружающего, и, если бы болезненный

и путаный ход мыслей не заставил его свести чудесное к абсурдному, он прославился бы как тончайший живописец души человеческой, которую он умел воспринимать во всей ее реальности и которой не устал восхищаться.

Гофман особенно удачно воспроизводил характеры, часто встречающиеся у него на родине, в Германии. Среди множества немецких литераторов не сыскать другого, который бы сумел лучше и вернее обрисовать искреннюю прямоту и суровую честность, какие встречаются во всех сословиях этой страны, ведущей свое происхождение от древних тевтонских племен. В частности, в повести «Das Majorat» — «Майорат» — изображен подобный характер, видимо специфически немецкий и разительно непохожий на людей той же профессии, как их принято описывать в романах или какими они, вероятно, встречаются в реальной жизни в других странах. Юстициарий Ф. выполняет почти те же обязанности в семье барона Родериха фон Р., дворянина, владеющего обширными поместьями в Курляндии, какие всем хорошо известный приказчик Мак-Уибл выполнял на землях барона Брэдуордина. Юстициарий, к примеру, представляет особу сеньора в его феодальном суде, следит за правильным поступлением доходов, учитывает и проверяет траты на ведение его дома и благодаря длительному знакомству с делами этого семейства получает право участвовать в обсуждении и давать советы во всех случаях, когда этого требует необходимость. Разрабатывая подобный же характер, шотландский автор позволил себе приписать ему склонность к мошенничеству, которую считают обычно присущей судейским низшего разбора, что, видимо, не противоречит истине. Приказчик, жалкий, низменный трус и крючкотвор, вызывал бы у нас лишь презрение и отвращение, если бы этот образ не спасали некоторые забавные черты, сочетающиеся с профессиональной ловкостью Мак-Уибла и той почти животной привязанностью к своему патрону и его семейству, которая, видимо, перевешивает даже природный эгоизм этого человека. Юстициарий баронов Р. совершенно противоположен ему по складу характера. Он чуда-

коват, ему присущи и старческие капризы и связанная с ними насмешливая брюзгливость, но по моральным своим качествам он как будто вышел из-под пера де Ламотт-Фуке, этот рыцарственный герой в халате и домашних туфлях современного старика правоведа. Врожденное достоинство, независимый нрав, отвага и решимость юстициария, казалось, скорее возросли, чем уменьшились под влиянием его образования и профессии, которые обычно помогают лучшему постижению человеческой природы и, при отсутствии чести и совести, способствуют самым подлым и опасным проделкам, которые только может учинить человек по отношению к своим ближним. Быть может, несколько строчек из Крabbа помогут обрисовать склад ума юстициария, хоть он и отмечен, как мы покажем, более привлекательными качествами, чем те, которые английский поэт приписывал достойному стряпчему своего местечка.

В местечке, прямодушен и суров,
Он вел дела прижимистых дельцов,
Но как истец, так и плательщик иска
Им одинаково ценились низко.
Он дружелюбен, но угрюм и горд,
Он сердцем чист, но бдителен и тверд,
Он видел столько грязи и паденья,
Что, друг людей, он полон к ним презренья.
С печалью в сердце зрел порою он,
Как с легкостью был добрый совращен,
Как друга не шадил и лучший друг,
Как разрывался уз священный круг
И тут же сочетались безобразно
Порок голодный с мерзостью соблазна.

Юстициарий, изображенный Гофманом, обладает, однако, еще более возвышенным характером, чем персонаж поэмы Крabbа. Он был поверенным двух поколений баронов и постепенно сделался хранителем семейных тайн этого дома, тайн, порою загадочных и ужасных. Положение доверенного лица, а в еще большей степени личная энергия и благородство старика заставляли считаться с ним даже его патрона, хотя

барон был полон важности и держался временами весьма гордо и заносчиво. Изложение фабулы повести слишком увело бы нас в сторону, хотя «Майорат» является, на наш взгляд, лучшим из всего, что когда-либо создал его автор. Тем не менее кое-что нам придется рассказать, чтобы стали понятны те краткие выдержки, которые мы собираемся привести, в основном для характеристики юстициария.

Основную часть состояния барона составлял его родовой замок Р...зиттен — неделимое имение, или майорат, который дал название всей повести. В соответствии со статутом этого вида собственности, барону приходилось каждый год проводить там некоторое время, хотя ни местоположение Р...зиттена, ни его обитатели не таили в себе ничего привлекательного. Это было огромное старинное здание на берегу Балтийского моря, безмолвное, мрачное, почти, можно сказать, необитаемое и окруженное не садами и парками, а густым лесом, черные сосны и ели которого подступали к замковым стенам. Все развлечения барона и его гостей сводились днем к травле волков и медведей, облюбовавших этот лес, а вечером — к шумным пиршествам, где прилагались такие усилия, чтобы изобразить бурное веселье и радость, которые свидетельствовали о том, что по крайней мере сам барон вовсе не испытывал этих чувств. Часть здания была разрушена. Башня, возведенная одним из прежних владельцев, основателем пресловутого майората, для занятий астрологией, обвалилась, и теперь на ее месте от дозорной вышки до самого подземелья замка чернел зияющий провал. Падение башни было роковым для ее владельца, злосчастливого астролога, а глубокий провал оказался не менее роковым для его старшего сына. Судьба последнего оставалась загадочной, и все обстоятельства его гибели, известные или предполагаемые, сводились к следующему.

Барону запомнились оброненные как-то стариком дворецким слова о том, что сокровища покойного астролога погребены на дне пропасти, в развалинах башни. В эту пугающую бездну можно было заглянуть из рыцарской залы замка: там сохранилась

дверь, которая раньше вела на лестницу башни, а теперь открывалась прямо в глубокую дыру с грудой обломков внизу. На дне этого провала и был найден разбившийся насмерть сын астролога, второй барон из рода, о котором ведется рассказ, причем его рука продолжала сжимать восковую свечу. Полагали, что он отправился за книгой в библиотеку, куда также попадали через залу, но ошибся дверью и нашел свой конец, свалившись в разверзшуюся пустоту. Полной уверенности в этом, однако, не было.

Это двойное несчастье и какая-то природная унылость этих мест, видимо, и были причиной того, что нынешний барон Родерих редко посещал замок; но условия майоратного владения обязывали его проводить в нем хотя бы несколько недель в году. Примерно в то же время, когда он туда наведывался, приезжал в замок обычно и юстициарий, который вершил суд от лица барона и выполнял прочие официальные обязанности. К началу этой повести он как раз прибыл в Р...зиттен в сопровождении своего внучатного племянника, от лица которого ведется повествование, — молодого человека, совсем еще неискушенного в светской жизни, воспитанного несколько в духе Вертера — романтического, восторженного, слегка тщеславного, музыканта, поэта и щеголя; при всем том достойнейшего малого, полного уважения к своему двоюродному деду, юстициарию, который, со своей стороны, относился к юноше с большой добротой, но при этом любил пошутить над ним. Старик взял его с собой отчасти как помощника в судейских делах, но больше — чтобы закалить его здоровье на холодном, свистящем северном ветре да в трудах и опасностях волчьей охоты.

Они добрались до старого замка, когда кругом бушевала метель. Вся округа выглядела особенно мрачной, дороги были занесены снегом, и форейтор напрасно стучал в ворота... Но здесь мы предоставим вести рассказ самому Гофману.

Тут старик грозно закричал во всю мочь:

— Франц! Франц! Куда ты запропастился? Пошевеливайся, черт подери! Мы замерзаем у ворот! Снег до крови нахлестал лицо, пошевеливайся, черт дер!

Завизжала дворовая собака, в нижнем этаже замелькал свет, загремели ключи, и скоро со скрипом растворились тяжелые створки ворот.

— А, добро пожаловать, добро пожаловать, господин стряпчий, угораздило вас в такую несносную погоду!

Так вскричал старый Франц, подняв высоко фонарь; свет ударял ему прямо в лицо, морщинистое и странно скривившееся в приветливой улыбке. Повозка въехала во двор; мы выбрались из нее, и тут только я разглядел необычайную фигуру старого слуги, облаченного в старомодную егерскую ливрею, затейливо расшитую множеством всяких снурков. Над широким белым лбом лежало всего несколько седых прядей, нижняя часть лица обветрела и заглубела, как и полагается охотнику, и хотя напряженные мускулы почти превращали его в причудливую маску, однако глуповатое добродушие, светящееся в глазах старика, играющее на его устах, вновь примиряло с ним.

— Ну, старина Франц, — заговорил в передней мой дед, стряхивая снег с шубы, — ну, старина Франц, все ли готово, выбита ли пыль из ковровых обоев в моих комнатушках, принесены ли постели, ладно ли истопили там вчера и сегодня?

— Нет, — невозмутимо ответил Франц, — нет, высокочтимый господин стряпчий, ничего этого не сделано.

— Боже милостивый, — изумился дед, — да я, кажись, написал заблаговременно: я ведь приезжаю всегда в указанный срок; вот бестолковщина; стало быть, придется поселиться в промерзлых комнатах!

— Да, высокочтимый господин стряпчий, — продолжал Франц, заботливо перекусив щипцами курящийся нагар свечи и затоптав его ногами, — да, видите ли, все это не много бы помогло, особенно топка, ибо ветер и снег гуляют там без всякого препятствия, окна разбиты, и там...

— Что, — перебил его мой дед, распахнув шубу и подболевшись, — что, окна разбиты, а ты, замковый кастелян, не распорядился вставить стекла?

— Я распорядился бы, высокочтимый господин стряпчий, — спокойно и невозмутимо продолжал старик, — да только гуда и не подступишься — уж очень много навалилось щебня и кирпича в ваших покоях.

— Тыфу ты, провал возьми, откуда взялись в моих комнатах щебень и кирпич? — вскричал дед.

— Желаю вам беспрестанно пребывать в добром здравии, молодой господин, — проговорил Франц, учтиво мне кланяясь, ибо я только что чихнул, и тотчас прибавил: — Это известка и камень от средней стены, той, что обвалилась.

— Что же случилось у вас — землетрясение? — сердито выпалил мой дед.

— Никак нет, высокочтимый господин стряпчий, — ответил Франц, улыбаясь во весь рот, — но три дня назад в судейской зале с грохотом обрушился тяжелый штучный потолок.

— Ах, чтоб... — Дед по своему вспыльчивому и горячему нраву хотел было чертыхнуться, но, подняв правую руку вверх,

а левой сдвинул на затылок лисью шапку, удержался, оборотился ко мне и, громко засмеявшись, сказал: — По правде, тетка, надобно нам попридержать язык и не спрашивать более ни о чем, а не то узнаем о еще горшей беде, или весь замок обрушится на наши головы. Однако ж, — продолжал он, повернувшись к старику, — однако ж, Франц, неужто не хватило у тебя смекалки распорядиться очистить и напить для меня другую комнату? Не мог разве ты приготовить другую залу для суда?

— Да все уже приготовлено, — промолвил тот приветливо, указав на лестницу, и тотчас стал по ней подниматься.

— Ну, поглядите-ка на этого удивительного чудака! — воскликнул дед, когда мы пошли следом за кастеляном.

Мы проходили по длинным сводчатым коридорам; зыбкий пламень свечи, которую нес Франц, отбрасывал причудливый свет в густую темноту. Колонны, капители и пестрые арки словно висели в воздухе; рядом с ними шагали наши исполненные тени, а диковинные изображения на стенах, по которым они скользили, казалось вздрагивали и трепетали, и к гулкому эху наших шагов примешивался их шепот: «Не будите нас, не будите нас! Мы — безрассудный волшебный народ, спящий здесь в древних камнях». Наконец, когда мы прошли длинный ряд холодных мрачных покоев, Франц отворил дверь в залу, где ярко пылающий камин радушно приветствовал нас веселым треском. Едва я вошел туда, у меня сразу стало легко на душе; однако ж дед стал посреди залы, посмотрел вокруг и весьма серьезным, почти торжественным тоном сказал:

— Итак, здесь в этой зале, должен быть суд?

Франц, подняв высоко свечу, так что на широкой темной стене открылось взору светлое пятно с дверь величиной, ответил глухо и горестно:

— Здесь ведь однажды уже был свершен суд!

— Что это тебе вошло на ум, старик? — вскричал дед, торопливо сбросив шубу и подходя к огню.

— Так, просто у меня вырвалось! — ответил Франц, зажег свечи и отворил дверь в боковой покой, который был уютно прибран для нас.

Скоро перед камином появился накрытый стол; старик подал отлично приготовленные блюда, за сим последовала добрая чаша пунша, как только умеют варить на севере, что пришлось весьма по душе нам обоим, мне и моему двоюродному деду. Утомившись дорогою, мой дед, отужинав, тотчас отправился почивать; новизна, необычайность места да и пунш так возбудили мой дух, что о сне нечего было и помышлять. Франц собрал со стола, помешал в камине дрова и вышел с приветливым поклоном.

И вот я остался один в высокой просторной рыцарской зале. Метель улеглась: ветер перестал завывать, небо прояснилось, и сквозь широкие арковые окна сияла полная луна, озаряя магическим светом все темные уголки этого старинного здания, куда не достигал ни тусклый свет моей свечи, ни отблеск огня в камине. Стены и потолки залы, как это и сейчас еще можно встретить в старых замках, были покрыты диковин-

ными старинными украшениями, одни — тяжелыми панелями, другие — фантастической росписью и пестро раскрашенной золоченой резьбой. На больших картинах, чаще всего представлявших дикую схватку кровавой медвежьей и волчьей охоты, выдавались вырезанные из дерева звериные и человеческие головы, приставленные к написанным красками туловищам, так что, особенно при зыбком, мерцающем свете луны и огня, все оживало ужасающе правдиво. Из портретов, помещенных между этими картинами, выступали во весь рост рыцари в охотничьих нарядах, вероятно предки нынешних владельцев, любившие охоту. Все — живопись и резьба — было темного цвета давно минувшего времени; тем резче выделялось светлое голое пятно на той стене, где были пробиты две двери в соседние покои; скоро я уразумел, что там, должно быть, также была дверь, которую потом заложили, и что как раз эта новая кладка не была, подобно другим стенам, расписана или украшена резьбой.

Кому же не ведомо, как непривычная, причудливая обстановка с таинственной силой воздействует на наш дух, так что самое ленивое воображение пробуждается и начинает предчувствовать небывалое — например, в долине, окруженной диковинными скалами, или в темных стенах церквей и проч. Ежели я прибавлю, что мне было двадцать лет и я выпил несколько стаканов крепкого пуншу, то мне поверят, что в рыцарской зале мне было спокойней чем где-либо. Представьте себе тишину ночи, когда глухой рокот моря и странный свист ветра раздаются подобно звукам огромного органа, приведенного в действие духами; светлые мерцающие облака, проносясь по небу, часто заглядывают в скрипучие сводчатые окна, уподобляясь странствующим великанам, — поистине, в тайном трепете, пронизывавшем меня, я должен был почувствовать, что неведомый мир может зримо и явственно открыться передо мной. Но это чувство было подобно той дрожи, которую охотно испытываешь, читая живо представленную повесть о привидениях. Тут мне пришло на ум, что не может быть лучшего расположения духа для чтения книги, которую я, как всякий, кто в то время хоть сколько-нибудь был предан романтизму, носил в кармане. Это был Шиллеров «Духовидец». Я читал и читал, и воображение мое распалось все более и более. Я дошел до захватывающего своей жуткой силой рассказа о свадебном празднестве у графа фон Ф. И вот, как раз когда появляется кровавый призрак Джеронимо, со странным грохотом растворилась дверь, которая вела в залу. В ужасе я вскакиваю, книга валится у меня из рук, но в тот же миг все стихло, и я устыдился своего ребяческого испуга! Быть может, двери распахнулись от сквозного ветра или по другой какой причине. «Тут нет ничего — только мое разгоряченное воображение превращает всякое естественное явление в призрак». Успокоив себя, я подымаю книгу с полу и снова бросаюсь в кресла, но вдруг кто-то тихо и медленно, мерными шагами проходит через залу, и вздыхает, и стоит, и в этом вздохе, в этом стоне заключено глубочайшее человеческое страдание, безутешная скорбь. Ага! Это, верно, какой-

нибудь больной зверь, запертый в нижнем этаже. Ведь хорошо известны ночные акустические обманы, когда все звуки, раздающиеся в дали, кажутся такими близкими. Чего же тут бояться! Так успокоил я себя, но вдруг кто-то стал царапать в новую стену, и громче прежнего слышались тяжкие вздохи, словно исторгнутые в ужасающей тоске предсмертного часа. «Да, это несчастный запертый зверь; вот сейчас я громко крикну, хорошенько притопну ногой — и тотчас все смолкнет или зверь там, внизу, явственнее отзовется своим неестественным голосом». Так я раздумываю, а кровь стынет у меня в жилах, холодный пот выступает на лбу; оцепенев, сижу я в креслах, не в силах подняться и еще менее того вскрикнуть. Мерзкое царапанье наконец прекратилось, снова слышались шаги, — и жизнь и способность к движению вновь пробудились во мне; я вскакиваю и ступаю два шага вперед; но тут ледяной порыв ветра пронесится по зале, и в тот же миг месяц роняет бледный свет на портрет весьма сурового, почти страшного человека, и будто сквозь пронзительный свист ночного ветра и оглушительный ропот моря отчетливо слышу я, как шелестит его предостерегающий голос: «Остановись! Остановись, не то ты подпадешь всем ужасам призрачного мира!» И вот дверь захлопывается с таким же грохотом, как перед тем; я явственно слышу шаги в зале; кто-то сходит по лестнице, — с лязгом растворяется и захлопывается главная дверь замка. Затем будто кто-то выводит лошадь и по прошествии некоторого времени ставит ее обратно в конюшню. Потом все стихло! В ту же минуту услышал я, что мой дед в соседней комнате тревожно вздыхает и стонет. Я разом пришел в себя, схватил свечу и поспешил к нему. Старик метался, по-видимому в дурном и тяжелом сне.

— Пробудитесь, пробудитесь! — закричал я, взяв его нежно за руку и подняв свечу так, что яркий свет ударил ему в лицо.

Старик вздрогнул, испустил неясный крик, потом открыл глаза, ласково поглядел на меня и сказал:

— Ты хорошо сделал, тезка, что разбудил меня. Ах, мне привиделся дурной сон, и тому виной только эта комната и зал, ибо я вспомнил минувшее и много диковинного, что здесь случилось. Но все же постараемся выспаться хорошенько!¹

На другой день с утра юстициарий с племянником приступили к делам. Сократим, однако, подробный рассказ молодого стряпчего о том, что с ним произошло, и отметим лишь, что мистический ужас предшествующего вечера оставил такой глубокий след в его воображении, что он уже склонен был видеть черты сверхъестественного всюду, куда падал его взгляд;

¹ Здесь и в дальнейшем повесть «Майорат» цитируется по изданию: Э. Т. А. Гофма и. Избранные произведения в трех томах, т. 1. Гослитиздат, М., 1962 (перевод А. Морозова).

даже две почтенные старые дамы, тетки барона Родериха фон Р., старомодные обитательницы этого старомодного замка в их французских чепцах и штофных платьях с пестрыми оборками, казались его предубежденному взору чем-то призрачным и фантастическим. Юстициарий был обеспокоен странным поведением своего помощника и, как только они оказались наедине, попросил у него по этому поводу объяснений:

— Однако ж, тезка, скажи, бога ради, что с тобой случилось? Ты не смеешься, не говоришь, не ешь, не пьешь. Уж не болен ли ты, или с тобой что-нибудь стряслось?

Не запираясь, я обстоятельно рассказал ему все, что произошло прошедшей ночью. Я ни о чем не умолчал, особенно подчеркнув, что выпил много пуншу и читал Шиллера «Духовидца».

— Надобно в этом признаться, — добавил я, — и тогда станет вероятным, что моя разгоряченная фантазия создала все эти призраки, на самом деле бродившие лишь в моем собственном мозгу.

Я полагал, что дед жестоко напустится на меня и осыплет колкими насмешками мое общение с призраками, но вместо того он помрачнел, устался в пол, потом быстро поднял голову и, устремив на меня сверкающий взор, сказал:

— Я не знаю, тезка, твоей книги. Однако ж не ей и не парам пунша обязан ты этим видением. Знай же: мне привиделось то же самое, что приключилось с тобой. Мне представилось, что я, так же как и ты, сижу в креслах подле камина, но то, что открылось тебе только в звуках, я отчетливо узрел внутренним взором. Да, я видел, как вошел страшный призрак, как бессильно толкался он в замурованную дверь, как в безутешном отчаянии царапал стену так, что кровь выступила из-под сломанных ногтей, как потом сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и опять поставил ее туда. Слышал ли ты, как далеко в деревне пропел петух?.. И тут ты разбудил меня; я скоро поборол злое наваждение этого чудовищного человека, который все еще смущает ужасами веселie жизни.

Старик умолк, а я не хотел его расспрашивать, полагая, что он все объяснит сам, когда найдет нужным. Пробыв некоторое время в глубоком раздумье, дед продолжал:

— Тезка, теперь, когда ты знаешь, как обстоят дела, останется ли у тебя мужества еще раз испытать это наваждение? Со мной вместе?

Разумеется, я сказал, что чувствую довольно сил для этого.

— Ну, тогда, — продолжал старик, — будущую ночь мы с тобой не сомкнем глаз. Внутренний голос убеждает меня, что это злое наваждение поборет не столько моя духовная сила, сколько мужество, основанное на твердом уповании, что это не дерзостное предпринятие, а благое дело, и я не пощажу живота

своего, чтобы заклясть злой призрак, который выживает потомков из родового замка их предков. Однако ж ни о каком опасном дерзновении тут и речи нет, ибо при таком твердом, честном умысле, при таком смиренном уповании, какие живут во мне, нельзя не быть и не остаться победителем. Но все же, если будет на то воля божия и меня сокрушит нечистая сила, ты, тезка, должен будешь объявить, что я пал в честной христианской битве с адским духом, который тревожит своим смутительным существованием обитателей замка! Но ты, ты держись в стороне! Тогда тебе ничего не будет!

День прошел в различных рассеивающих занятиях. После ужина Франц, как и накануне, собрал со стола и принес пунш; полная луна ярко светила сквозь мерцающие облака, морские волны кипели, и ночной ветер завывал и стучал в дребезжащие стекла сводчатых окон. Внутренне взволнованные, мы понуждали себя к равнодушной беседе. Мой дед положил часы с репетицией на стол. Они пробили двенадцать. И вот с ужасающим треском распахнулась дверь, и, как вчера, послышались тихие и медленные шаги, наискось пересекающие залу, донеслись вздохи и стоны. Дед побледнел, однако глаза его сверкали огнем необыкновенным. Он встал с кресел и, выпрямившись во весь рост, подперся левой рукой, а правую простер вперед, в середину залы, и был похож на повелевающего героя. Но все сильнее и явственнее становились стенания и вздохи, и вот кто-то стал царапаться в стену еще более мерзко, чем накануне. Тогда старик выступил вперед и пошел прямо к замурованной двери такими твердыми шагами, что затрещал пол. Став подле того места, где все беженей и бешеней становилось царапанье, он сказал громким и торжественным голосом, какого я еще от него никогда не слышал:

— Даниель, Даниель, что делаешь ты здесь в этот час?

И вот кто-то пронзительно закричал, наводя оторопь и ужас, и послышался глухой удар, словно на пол рухнула какая-то тяжесть.

— Ищи милости и отпущения у престола всевышнего! Там твое место. Изыди из мира сего, коему ты никогда больше не сможешь принадлежать! — Так воскликнул старик еще громче, чем прежде, и вот словно жалобный стон пронесся и замер в реве поднимающейся бури.

Тут старик подошел к двери и захлопнул ее так крепко, что в пустой зале прошел громкий гул. В голосе моего деда, в его движениях было что-то нечеловеческое, что повергло меня в трепет неизъяснимый. Когда он опустился в кресло, его взор как будто просветлел, он сложил руки, молясь в душе. Так, должно быть, прошло несколько минут, и вот мягким, глубоким, западающим в душу голосом, которым дед так хорошо владел, он спросил меня:

— Ну что, тезка?

Полон страха, ужаса, трепета, священного благоговения и любви, я упал на колени и оросил протянутую мне руку горячими слезами. Старик заключил меня в объятия и, прижимая к сердцу, сказал необычно ласково:

— Ну, а теперь будем спать спокойно, любезный тезка.

Привидение больше не появлялось. Это был, как, вероятно, догадался уже читатель, призрак вероломного слуги, чьей рукой прежний владелец замка был низвергнут в провал, зиявший за столь часто упоминавшейся дверью, недавно заложенной камнем.

Прочие события в замке Р...зиттен окрашены по-иному, но и они, бесспорно, свидетельствуют о высоком искусстве Гофмана в изображении человеческих характеров. Барон Родерих и его жена прибывают в замок в сопровождении целой свиты гостей. Баронесса молода, хороша собой и отличается болезненной впечатлительностью — она любит нежную музыку, патетические стихи, прогулки при лунном свете; дикая орава почитателей охоты, окружающих барона, их шумные дневные забавы и не менее шумные вечерние развлечения претят баронессе Серафине, и она пытается найти утешение в обществе племянника юстициария, который умеет написать сонет, исправить клавикорды, спеть партию в итальянском дуэте или принять участие в чувствительной беседе. Короче говоря, двое молодых людей, решительно не думая о чем-либо предосудительном, стояли на верном пути к греху и несчастью, если бы только их не выручили из западни, расставленной их собственной страстью, мудрая осмотрительность, здравый смысл и колкая ирония нашего друга юстициария.

Вот почему об этом герое можно сказать, что он обладает тем правдивым и честным характером, который, по нашему разумению, помогает смертному столь же успешно справиться со злыми чарами загробного мира, как сдержать и предотвратить нравственное зло в нашем реальном мире; самые возвышенные чувства движут Гофманом, когда он приписывает незапятнанной мужской чести и прямоту ту же неуязвимость по отношению к силам зла, какие поэт связывает с женской непорочностью:

И сказано: ни дух, бродящий ночью
В огне, в тумане иль в болоте мгlistом,
Ни ведьма тощая, ни злой вампир,
Из гроба выходящий в час урочный,

Ни домовой, ни злобный черный кобальд
Над девичьей не властны чистотой.

Поэтому в приведенных выше отрывках мы восхищаемся не просто волшебной или страшной фабулой повести, хотя события здесь изложены превосходно, но тем, в каком выгодном свете подан человеческий характер, способный, вооружась могучим чувством долга, без излишней самонадеянности, но твердо противостоять силе, могущество которой трудно вообразить, в намерениях которой он имеет все основания усомниться и сопротивление которой кажется столь безнадежным, что самая мысль о нем наполняет ужасом все наше естество.

Прежде чем расстаться с повестью «Майорат», следует еще отметить ее заключение, которое отлично написано и большинству читателей, переступивших черту юности, напомнит те чувства, которые они и сами порой испытывали. Много-много лет спустя после того, как угас род баронов Р., случай привел юного племянника, ныне уже пожилого человека, на берега Балтийского моря. Была ночь, и его внимание привлек сильный свет, льющийся над горизонтом.

— Эй, куманек, что это там за огонь впереди? — спросил я форейтора.

— Эва, — отвечал тот, — да ведь это не огонь, это будет Р...зиттенский маяк!

Р...зиттен!.. Едва фореитор вымолвил это имя, как память моя с ослепительной живостью представила мне те роковые осенние дни, что я провел там. Я видел барона, видел Серафину, и старых диковинных тетушек, и самого себя с пышущим здоровьем лицом, искусно причесанного и напудренного, в нежном небесно-голубом камзоле, — да, себя самого, влюбленного, что поет скорбную песнь об очах любимой и вздыхает, словно печь. В глубокой тоске, объявшей меня, точно разноцветные огоньки вспыхивали соленые шутки старого стряпчего, которые теперь забавляли меня больше, чем тогда. Я был исполнен печали и вместе с тем удивительного блаженства, когда рано утром вышел в Р...зиттене из коляски, остановившейся подле почтового двора. Я узнал дом управителя, спросил про него.

— С вашего дозволения, — ответил мне почтовый писарь, вынимая изо рта трубку и поправляя ночной колпак, — с вашего дозволения, здесь нет никакого управителя. Это королевское присутственное место, и господин чиновник еще изволит почивать.

Из дальнейших расспросов я узнал, что прошло уже шестнадцать лет, как барон Родерих фон Р., последний владелец майората, умер, не оставив после себя наследников, и майорат, согласно уставу, по которому он был учрежден, поступил в казну.

Я поднялся к замку; он лежал в развалинах. Часть камней употребили на постройку маяка — так по крайней мере сказал мне вышедший из лесу старик крестьянин, с которым я завел разговор. Он еще хранил в памяти рассказ о привидении, бродящем в замке, и уверял, что еще и поныне, особенно в полнолуние, в развалинах слышатся ужасающие стенания.

Если читателю приходилось в преклонные годы заново посещать места, где он бывал в юности, и слышать от незнакомых людей рассказы о переменах, которые там произошли, он не останется равнодушным к простоте этого заключения.

Отрывки, которые мы привели, свидетельствуют не только о безудержности гофмановской фантазии, но и о его умении ее смягчить и ослабить. К сожалению, вкус и темперамент слишком настойчиво влекли Гофмана к гротескному и фантастическому, унося его чересчур далеко, *extra moenia flammantia mundi*,¹ за пределы не только вероятного, но даже и мыслимого; вот почему он так редко творил в более умеренном стиле, которым ему столь просто было бы овладеть.

Распространенный ныне роман, бесспорно, знает множество путей развития, да мы и не склонны вовсе спускать псов критики на тех, кто ставит себе целью всего лишь развлечь читателя и помочь ему скоротать время. Мы искренне полагаем, что в этой области литературы «*tout genre est permis hors les genres ennuyeux*»,² и, несомненно, дурной вкус нельзя критиковать и преследовать столь же ожесточенно, как порочный моральный принцип, ложную научную гипотезу, а тем более религиозную ересь. Гений, как известно, капризен, надо дать ему возможность идти своим путем, пусть даже эксцентричным, хотя бы ради опыта. Порой бывает к тому же весьма занятно рассматривать причудливые арабески, выполненные человеком с незаурядной фантазией. Но все-таки нам не хотелось бы

¹ За пределы пылающих стен мира (лат.).

² Разрешены все жанры, кроме скучных (франц.).

видеть, как гений расточает — или, верней, истощает — себя в творениях, никак не согласуемых с хорошим вкусом, и самое большее, с чем мы можем примириться, когда речь идет о фантастике, — это такая ее форма, которая возбуждает в нас мысли приятные и привлекательные.

Мы не в силах, однако, столь же терпимо отнестись к тем капризничю, которые не только поражают нас своим сумасбродством, но чей скрытый смысл вызывает в нас отвращение. В жизни писателя существуют и не могут не существовать моменты приятного волнения, так же как и моменты волнения мучительного, и шампанское, играющее в его бокале, утратило бы свою благотворную силу, если бы оно не пробуждало его фантазии к ощущениям радостным в такой же мере, как и к причудливым. Но если все его перенапряженные чувствования то и дело устремляются к чему-то мучительному, если пароксизмы безумия и приступы весьма близкого к нему чрезмерного возбуждения носят болезненный характер куда чаще, чем характер приятный, то не приходится сомневаться, что мы имеем дело с талантом, скорей способным повергнуть нас в трепет, меланхолию и ужас, чем навеять мысли о чем-то веселом и радостном. Гротеск к тому же естественно сочетается с ужасным, ибо все, что противно природе, трудно примирить с красотой. Ничто, к примеру, так не коробит взор, как тот дворец свихнувшегося итальянского государя, который был украшен самыми чудовищными изваяниями, какие только может подсказать скульптору извращенное воображение. Творения Калло, хоть и свидетельствуют о неслыханной плодовитости его таланта, также способны вызвать скорее удивление, чем удовольствие. Если сравнить Калло и Хогарта, то по своей плодовитости они близки друг другу, но когда речь заходит о наслаждении, даруемом пристальным изучением картин, английский мастер оказывается в бесспорном выигрыше. Всякая новая черта, открывающаяся зрителю в могучем изобилии образов Хогарта, обогащает историю если не человеческих чувств, то хотя бы человеческих нравов, тогда как при самом внимательном

разглядывании чертовщины Калло мы лишь сетуем всякий раз заново о попусту растроченной изобретательности и о фантазии, заблудившейся в мире абсурда. Творения одного художника — это заботливо возделанный сад, где на каждом клочке земли растет нечто приятное или полезное, в то время как картины другого подобны саду лентяя, где столь же плодородная почва приносит лишь дикие и уродливые сорняки.

Когда Гофман назвал свой сборник «Ночные повести *в манере Калло*», он в какой-то мере отождествлял себя с изобретательным художником, которого мы только что подвергли критике; и действительно, для того чтобы написать, например, такую повесть, как «Песочный человек», надо было глубоко проникнуть в секреты этого причудливого мастера, на духовное родство с которым наш автор по праву претендовал. Мы привели ранее в пример повесть, в которой чудесное вводится, на наш взгляд, весьма удачно, ибо оно сочетается и соотносится с человеческими интересами и чувствами, а также с необычайной силой показывает, до каких вершин могут обстоятельства возвести мощь и достоинство человеческого разума. «Песочный человек» принадлежит к совершенно иному роду произведений — к такому,

Где слит кошмар с причудой своенравной
В бесовский шабаш, мрачный и забавный.

Натанаэль, герой повести, рассказывает о своей жизни в письме к Лотару, брату Клары; первый — его друг, вторая — девушка, с которой он обручен. Автор письма, молодой человек мечтательного и ипохондрического склада, настроенный весьма поэтически и метафизично, пребывает в том нервном состоянии, которое особенно подвержено воздействию воображения. Он знакомит друга и возлюбленную с событиями своего детства. Отец его, честный ремесленник, часовой мастер, имел обыкновение иногда по вечерам пораньше отправлять своих детей спать, и мать, подгоняя их, приговаривала: «В постель, дети, Песочник идет!» Натанаэль и в самом деле замечал, что после их ухода слышался стук в дверь, тяжелые шаги громыхали по

лестнице, кто-то входил в кабинет отца, а иногда по дому разносился тяжелый и удушливый чад. Это, вероятно, и есть Песочник. Но чем он занимается, и чего он хочет? Старая нянюшка на этот вопрос ответила так, как обычно отвечают нянюшки: «Песочник — это злой человек, который швыряет песок в глаза малым детям, если они не хотят ложиться спать». Это еще усилило ужас мальчика, но в то же время и разожгло его любопытство. Однажды он решил спрятаться в отцовском кабинете и там дожидаться ночного гостя; так он и сделал, и Песочным человеком оказался не кто иной, как адвокат Коппелиус, которого Натанаэль не раз видел у отца. Это был рослый, неуклюжий косолапый мужчина с огромным носом, большими ушами, крупными чертами лица и до того похожий на людоеда, что дети часто испытывали перед ним страх, еще до того как выяснилось, что нескладный законник и есть страшный Песочный человек. Гофман оставил нам карандашный набросок этого удивительного лица, в котором ему, бесспорно, удалось выявить нечто, не только наводящее страх на детей, но и вызывающее отвращение у взрослых. Отец встретил гостя с подобострастной почтительностью; вдвоем они открыли и разожгли замаскированный очаг и приступили к непонятным и таинственным химическим опытам, немедленно вызвавшим тот удушливый чад, который появлялся и прежде. Движения химиков становились какими-то фантастическими, их лица, даже лицо отца, принимали во время работы выражение дикое и злое; мальчиком овладел ужас, он закричал и выскочил из своего укрытия; когда его увидел алхимик — ибо именно алхимией и занимался Коппелиус, — он стал грозить, что вырвет у мальчика глаза, и отцу лишь с трудом удалось удержать его, чтобы он не швырнул ребенку в лицо горячей золы. Воображение Натанаэля было глубоко потрясено пережитым страхом, и последствием этого была нервная горячка, на протяжении которой страшный образ ученика Парацельса являлся ему и мучил его душу.

После долгого перерыва, когда Натанаэль выздоровел, ночные визиты Коппелиуса к его ученику возоб-

новились, но отец обещал матери, что эти опыты будут последними. Так оно и случилось, но произошло все иначе, нежели полагал старый часовщик. В химической лаборатории произошел взрыв, который стоил жизни отцу Натанаэля; его наставника в роковом искусстве, жертвой которого он оказался, никто больше не видел. Благодаря этим событиям, которые не могли не произвести сильнейшего впечатления на живое воображение Натанаэля, его потом всю жизнь преследовали воспоминания о страшном Песочном человеке, и Коппелиус стал для него воплощением злого начала.

Автор представляет нам своего героя, когда тот, будучи студентом университета, неожиданно встречает своего прежнего врага, который теперь превратился не то в итальянского, не то в тирольского разносчика оптических стекол и барометров, и хотя алхимик ныне одет в соответствии со своей новой профессией, хотя он итальянизировал свое имя и зовется Джузеппе Коппола, юноша не сомневается, что перед ним его давний недруг. Натанаэль весьма удручен тем, что ни друг, ни возлюбленная не верят в его роковые предчувствия, которые, по его мнению, убедительно подтверждаются предполагаемой тождественностью коварного правоведа с его двойником, продавцом барометров. Он недоволен Кларой, чей ясный и здоровый ум отвергает не только его метафизические страхи, но и чрезмерную и аффектированную склонность к поэзии. Он постепенно начинает испытывать отчуждение по отношению к этой искренней, отзывчивой и нежной подруге своего детства и все больше увлекается дочерью некоего профессора Спаланцани, чей дом стоит как раз напротив окон его квартиры. Таким образом, Натанаэль часто имеет возможность видеть Олимпию в ее комнате, и хотя она там часами сидит в одной позе, не читая, не работая и даже не двигаясь, тем не менее его покоряет ее прелестная внешность, и он не обращает внимания на безжизненность этой неподвижной красоты. Но особенно стремительно развивается его роковая страсть после того, как он покупает подзорную трубу у разносчика, так сильно напоминающего

ему предмет его давней неприязни. Обманутый тайной магией зрительного прибора, он теперь не замечает того, что видно всякому, кто приближается к Олимпии, — явной принужденности ее движений, из-за которой кажется, что ее шаги направляются каким-то механизмом, бедности мыслей, понуждающей ее вечно говорить одни и те же короткие фразы, словом всех особенностей, свидетельствующих о том, что Олимпия — и это в конечном счете подтверждается — не что иное, как кукла, или, вернее, автомат, созданный механическим мастерством Спаланцани и вызванный к какому-то подобию жизни, как нетрудно догадаться, дьявольским искусством алхимика, адвоката и продавца барометров Коппелиуса, alias¹ Копполы. В этой необычайной и прискорбной истине влюбленный Натанаэль убеждается, став свидетелем ужасной ссоры между обоими подражателями Прометея, спорящими, кто из них больше имеет прав на удивительный результат их совместных творческих усилий. Изрыгая страшные проклятия, они ломают красивую куклу на куски, вырывая друг у друга обломки ее часового механизма. Натанаэль, и без того близкий к безумию, сходит с ума под воздействием этого ужасного зрелища.

Но мы и сами рискуем утратить разум, продолжая следить за всеми этими бредовыми выдумками. Повесть заканчивается попыткой умалишенного студента убить Клару, сбросив ее с башни. Несчастную девушку спасает ее брат, а иступленный безумец остается один на галерее, дико жестикулируя и выкрикивая всякую тарабарщину, усвоенную им от Коппелиуса и Спаланцани. В тот момент, когда люди внизу обсуждают, как связать безумного, среди них возникает внезапно Коппелиус, уверяющий всех, что Натанаэль сейчас спустится сам; это предсказание сбывается: чародей устремляет на юношу неподвижный гипнотический взгляд, и несчастный прыгает вниз головой через перила галерей.

¹ Иначе (лат.).

Дикость и нелепость фабулы частично искупаются здесь некоторыми чертами образа Клары, чья твердость, обыденный здравый смысл и искреннее чувство составляют приятный контраст к дикому воображению, фантастическим предчувствиям и сумасбродным переживаниям ее безумного возлюбленного.

Нет никакой возможности критически анализировать подобные повести. Это не создание поэтического мышления, более того — в них нет даже той мнимой достоверности, которой отличаются галлюцинации сумасшедшего, это просто горячечный бред, которому, хоть он и способен порой взволновать нас своей необычностью или поразить причудливостью, мы не склонны дарить более чем мимолетное внимание. В самом деле, образы Гофмана столь близки видениям, возникающим при неумеренном курении опиума, что, говоря о них, нельзя не рассматривать все его творчество как случай, требующий скорее медицинского вмешательства, чем помощи критики; мы допускаем, что при большем умении владеть своим воображением Гофман мог бы стать первоклассным писателем, но при существовавшем положении вещей, когда он еще вдобавок сам усугублял недуг, снедавший его нервную систему, ему с неизбежностью суждено было стать жертвой той чрезмерной живости мыслей и восприятий, от которой страдал, но которую сумел преодолеть знаменитый Николай. Кровопускание и слабительное в сочетании с оздоровлением его мышления и строгим надзором могли бы, как это было в случае с этим знаменитым философом, излечить рассудок Гофмана, который мы не можем не считать расстроенным, а его воображение при более равномерном и устойчивом полете могло бы достичь высочайших вершин поэзии.

Смерть настигла этого необычайного человека в 1822 году. Гофмана разбил паралич, именуемый *tabes dorsalis*,¹ постепенно лишивший его подвижности тела. Находясь в столь удручающем состоянии, он все же успел продиктовать еще несколько сочинений, доказывающих силу его фантазии, и, в частности, отрывок

¹ Сухотка спинного мозга (лат.).

«Выздоровление», в котором рассыпано немало прозрачных намеков на собственные переживания писателя в этот период, а также повесть «Враг», которой он был занят в самый канун смерти. Самообладание не изменило ему: он стойко переносил агонию своего тела, хоть и не умел справиться с кошмарными видениями своего сознания.

Врачи подвергли его жестокому испытанию, рассчитывая путем прижигания позвоночника каленым железом восстановить деятельность нервной системы. Он не был сломлен этой медицинской пыткой и даже спросил своего приятеля, вошедшего в комнату сразу после жестокого опыта, не ощущает ли тот запаха жареного мяса. Тем же героическим духом проникнуто его высказывание о том, что «он согласился бы полностью утратить подвижность, если бы ему была сохранена возможность работать с помощью секретаря». Гофман скончался в Берлине 25 июня 1822 года, оставив по себе славу замечательного человека, которому лишь его темперамент и состояние здоровья помешали достичь подлинных вершин искусства, человека, чьи творения в том виде, в каком они ныне существуют, должны не столько рассматриваться как пример для подражания, сколько служить предостережением: даже самая плодovitая фантазия иссякает при неразумном расточительстве ее обладателя.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

И О РАЗЛИЧНЫХ СБОРНИКАХ БРИТАНСКИХ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ШОТЛАНДСКИХ) БАЛЛАД

Введение, первоначально предпосланное «Песням шотландской границы», было скорее исторического, нежели литературного свойства; теперь мы добавляем к нему нижеследующие замечания, цель которых — дать широкому кругу читателей некоторые сведения об особенностях балладной поэзии.

Мы не собираемся попусту тратить слова, доказывая, что любой народ на первых порах своего существования всегда проявляет вкус и склонность к тем или иным видам примитивной поэзии, — с этим никто не станет спорить. Люди первобытного племени, достаточно развив свои органы чувств и способности для правильного и целесообразного пользования ими, ощущают естественную потребность применить их более утонченным и упорядоченным образом для игр и развлечений. Уверившись на охоте или на войне в том, что члены его гибки и сильны, дикарь начинает упражнять их в движениях более размеренных — он пляшет на празднествах своего племени или совершает обряды перед алтарями божества. Следуя тому же побуждению, он стремится облагородить обычную речь, которая прежде служила только средством социального общения между ним и его сородичами. Постепенно придавая этой речи большую цветистость, модулируя

ее с помощью некоторых приемов — ритма, каданса, созвучия окончаний, повторения одних и тех же звуков, — он вырабатывает язык либо более торжественный по слогу, чтобы запечатлеть законы и подвиги своего племени, либо более нежный по звучанию, чтобы воззвать к своей возлюбленной.

Первобытной поэзии всех народов, видимо, свойственны одинаковые достоинства и недостатки. Древние поэты обладали тем преимуществом над современными — и притом немалым! — что первыми черпали из запасов материала, пригодного для искусства, между тем как позднейшие авторы, не желавшие рабски подражать родоначальникам стихотворства, принуждены были прибегать к различным ухищрениям, зачастую скорее изобретательным, нежели изящным, дабы утвердить если не полную свою оригинальность, то хотя бы четкое различие между собой и своими предшественниками. Поэтому и получилось, что древние поэты почти всегда отличаются такой смелой, суровой, самобытной выразительностью. Непринужденно, вольной походкой шли они по дебрям Парнаса, тогда как их преемники должны были пробираться, соразмеряя каждый шаг, обдумывая каждое движение, чтобы не ступать след в след за своими предками.

Когда первый бард сравнил героя со львом, он извлек смелую и верную ноту, хотя для охотничьего племени подобное сравнение было достаточно очевидным. Но в дальнейшем каждый поэт, решивший употребить этот образ, вынужден был приложить немало усилий, чтобы подать своего льва, как говорят гербоведы, «с отличительным знаком», в противном случае на него обрушивалось тяжкое обвинение в раболепном заимствовании.

Маловероятно, что ученые обнаружат когда-либо образец поэзии более древний, чем тот, который был создан Гомером. Но подобно тому как герои жили и до Агамемнона, так, без сомнения, существовали и поэты до бессмертного барда, прославившего царя царей. Тот, кого ныне все цивилизованные нации признают родоначальником поэзии, сам, должно быть, обращал взоры к своим поэтическим предкам и только

потому почитается совершенно самобытным, что мы не знаем, кому он подражал. И хотя многое следует приписать богатству его собственного гения, поэзия Гомера с несомненностью убеждает нас в том, что искусство это было в ту пору уже вполне разработано и достигло высокой степени совершенства; частые упоминания Гомера о бардах или рапсодах явно указывают, что многие изучали поэзию, а знали и любили ее все.

Разумеется, нетрудно было обнаружить, что качествами, необходимыми для сочинения поэм, подобных Гомеровым, одарены отнюдь не все члены племени; для того чтобы стать настоящим мастером в своем искусстве, барду необходимо было нечто большее, нежели достаточный запас слов и фраз и умение расположить их в соответствии с той формой древних образцов, которая была признана тогда мерилom правильной версификации. Племя быстро распознавало, что, помимо известного уровня ремесленной сноровки (нужной и для писания «стихотворной чепухи», как называют эти вирши в школах), которую нетрудно приобрести с помощью запоминания и упражнения, поэт должен обладать свойствами куда более редкими. Чтобы овладеть искусством поэзии, ему нужны и острая наблюдательность, позволяющая с первого взгляда подметить те особые обстоятельства, которые определяют своеобразие описываемого эпизода, и развитая, утонченная восприимчивость, дающая барду возможность постичь и передать чувства действующих лиц произведения, и свободное владение языком, попеременно то нежным, то возвышенным, способным выразить мысли, роящиеся в его уме.

Но поэт достигнет вершины своей профессии, только если у него есть природный дар так воплощать и детализировать события, что картина, живущая лишь в его собственном воображении, становится зримой и для других. Эта замечательная творческая способность воздействовать на умы слушателей описанием сцен и чувств, не существующих в действительности, принесла бардам Греции прозвище *Ποιητής*, которое на удивление точно совпадает со старинным

шотландским названием поэтов *makers* — творцы. Французские слова «трувер», «трубадур», то есть «открыватель», «выдумщик», говорят о том же даре оригинального вымысла и открытия, присущего поэтическому искусству; без этого свойства вряд ли можно вообще говорить о поэзии как о чем-то приятном или полезном.

Даже простое расположение слов, создающее поэтический ритм, или сочетание их, согласующееся с техническими правилами, то есть с метрикой, так связано с музыкой, что, естественно, тесный союз между этими изящными искусствами зародился очень рано. Бесплодно ломать голову над тем, какое из них было изобретено раньше, ибо, несомненно, первенство было делом случая, и не имеет значения, приспосабливал ли музыкант стихи к своей примитивной мелодии или же первобытный поэт, читая свои произведения, придавал им напевность либо просто пел. Тот поэт, который научился этому первый, стал аэдом, или песнопевцем, и образ его получил завершение, когда к голосовому исполнению присоединился аккомпанемент лютни или арфы.

Такова, следовательно, история древней поэзии у всех наций. Тем не менее очевидно, что, хотя поэзия — это растение, пригодное почти для всякой почвы, она видоизменяется благодаря особенностям климата и страны, ее породивших. Уровень достигнутого ею мастерства, без сомнения, в какой-то мере также зависит от нравов и обычаев народа, от того, насколько благоприятствуют они событиям, которые обычно становятся темами поэтических творений, и от богатства и выразительности данного языка. Но гораздо больше зависит прогресс искусства от появления какой-нибудь высокоодаренной личности, наделенной в превосходной, исключительной степени могучим талантом, личности, которая влияет на вкусы всего народа и сообщает языку своей страны некую незыблемость, священную для последующих поколений.

В этом отношении Гомер стоит особняком и не имеет соперников, словно светоч, от которого гении последующих веков и далеких народов заимствовали

огонь и озарение. Будучи старейшим поэтом нецивилизованной эры, он, однако, так прославил ее и вызвал такое преклонение перед ней, что, не решаясь применить к ней слово «варварская», мы называем ее «героическим периодом».

Ни один поэт (мы не говорим о святых и боговдохновенных) никогда не имел и не будет иметь подобного влияния на потомство в столь удаленных друг от друга странах, как этот слепой старец с Хиоса. Все же мы уверены, что не будь благоговейной заботы Писистрата, который свел воедино эти божественные поэмы, придав им форму, существующую и поныне, они (если бы даже и сохранились) предстали бы перед последующими поколениями в виде скромного собрания разрозненных баллад, объединенных лишь временем действия да общностью сюжета и круга героев, наподобие метрических поэм о Сиде в Испании или о Робине Гуде в Англии.

Совершенно очевидно, что в других странах, менее счастливых по части языка и ярких событий, даже гений Гомера не смог бы воспарить на высоту столь необычайную, ибо там он был бы одновременно лишен сюжетов и тем, так хорошо подходивших для его музыки, равно как и возвышенного языка, мелодичного и гибкого, чтобы их увековечить. Другим народам в ту эпоху, когда они создавали свою древнюю поэзию, не хватало и гениального Гомера, и колоритного пейзажа, и величавого языка. Тем не менее исследование любой старинной поэзии, даже самой примитивной, является делом любопытным и полезным. Это глава из истории детства человеческого общества, и черты сходства или различия между поэтическими творениями различных народов, стоящих на одинаковой стадии развития, могут осветить древнюю историю государств — более или менее быстрый процесс их цивилизации, неспешное или энергичное усвоение всевозможных обычаев, понятий, религии. Поэтому серьезные труды о произведениях народного творчества, спасенных из бездн забвения, представляют в любом случае значительный интерес для философа-моралиста и для ученого, занимающегося всеобщей историей.

Точно так же, если не более, важны они и для историка определенной нации; он не должен пренебрегать дошедшими в форме песен и баллад преданиями, ибо они могут подтвердить или уточнить сведения, собранные им из других, более надежных источников. И хотя поэты испокон веков были выдумщиками и склонность их к преувеличению так велика, что на их рассказы не следует полагаться, если нет подкрепляющих свидетельств, все же можно вспомнить немало случаев, когда поэтическое предание неожиданно оказывалось подтвержденным.

Что касается любителей и почитателей поэзии, то им, разумеется, тоже интересно бросить взгляд на отечественную музу в колыбели или прислушаться к ее детскому лепету, к ее первым попыткам создать мелодичные песни, которыми впоследствии она пленяла потомство. И я позволю себе добавить, что эти произведения старинной поэзии при всем своем несовершенстве все же подобны первым весенним плодам, даруемым Природой, и вознаградят терпение даже читателя с утонченным вкусом, ибо он найдет в них такие строфы, в которых грубый менестрель возвышается до величия или растворяется в пафосе. Вот эти-то достоинства и побудили классициста Аддисона написать тщательно разработанный комментарий к той самой балладе «Охота на Чевиотских горах», которая в свое время будоражила, словно звук трубы, буйную кровь сэра Филиппа Сиднея.

Правда и то, что стихи столь высокого звучания встречаются редко, ибо в младенческую эпоху поэтического искусства бард обычно довольствовался грубым и небрежным выражением своих чувств. И даже тогда, когда творческое вдохновение подсказывало ему счастливый оборот или возвышенный стих, удача эта была случайной и, может быть, оставалась незамеченной как самим менестрелем, так и его слушателями.

Старинная баллада слишком часто страдает незначительностью мысли и бедностью выражения еще и потому, что видимая простота балладной строфы порождала сильный соблазн к сочинительству небреж-

ному и тривиальному. Рифмы, которые постепенно были накоплены основателями поэтического цеха, рассматривались, по-видимому, как акционерный капитал для общего пользования; впрочем, не только рифмы, но и стихотворные строки и целые строфы переходили из одного произведения в другое, что придавало однообразие и незрелость множеству старинных стихов. Таково, например, столь часто повторяемое приветствие:

Дай бог счастья в судьбе, смелый рыцарь, тебе,
Дай бог счастья тебе и удачи!¹

Таково же и обычное обращение за советом:

Мой брат, ты мне подай совет,
И отплачу советом.

Таково и неизменное повествование о розе и шиповнике, вырастающих на могиле героя и героини стихотворных легенд; при этом никто не прилагает особых усилий, чтобы как-то разнообразить традиционные выражения, в которых рассказывается об этом событии.

Тот, кто хоть сколько-нибудь знаком с предметом, немедленно вспомнит огромное число ходовых строф, которые без всяких церемоний присваивал каждый сочинитель баллад, тем самым значительно облегчая себе труд, но в то же время принижая свое искусство неряшливым применением давно избитых фраз. Из-за той же лености древние виршеплеты в разных странах пользовались любым случаем, чтобы удлинять свои поделки путем повторений, не затрудняясь настоящим сочинительством. Если, к примеру, надо передать весть, поэт, избавляя себя от дополнительной работы, использует точно те же слова, в которых она была изложена первоначально, лишь бы эта весть дошла до слуха особы, которой она предназначалась.

Конечно, барды, живущие в более суровом климате и говорящие на менее благодарном языке, чем греческий, могли бы сослаться на пристрастие Гомера к

¹ Все стихотворные цитаты, приведенные в настоящей статье В. Скотта, даны в переводе Э. Линецкой.

повторениям, но в то время, как у отца поэзии повторы эти представляют сказителю случай передохнуть и оглянуться на волшебную страну, пронизанную ими из края в край, барду более поздних времен они ничего не приносят, разве что облегчают возможность оглушить слушателя скучными и утомительно однообразными строфами.

Другая причина вялости и бесцветности, двух главнейших недостатков балладной поэзии, связана не столько с первоначальной композицией этих стихов в те времена, когда их еще исполняли сами авторы, сколько с невежеством и ошибками исполнителей, через которых они дошли до нас. Чем популярнее становилось произведение старинного поэта или «творца», тем больше было шансов, что оно подвергнется искажениям, ибо в стихах, прошедших через бесчисленных исполнителей, точно так же как и в книгах, выдержавших очень много изданий, могут появиться дерзкие интерполяции из-за самонадеянности одного менестреля, непонятные и грубые ошибки из-за глупости другого и достойные сожаления пропуски из-за недостатка памяти у третьего.

Такого рода искажения были отмечены очень давно, и читатель найдет любопытный тому пример во вступлении к стихотворному «Роману о сэре Тристреме». Роберт де Брюнн жалуется там, что «Роман о сэре Тристреме» был бы лучшим из всех, когда-либо сочиненных, если бы его можно было читать вслух в том виде, в каком он был создан автором — Томасом Эрсилдауном; однако он написан таким цветистым языком и таким сложным размером, что теряет все свои достоинства в устах обыкновенных менестрелей, которые чуть ли не в каждой строфе что-то пропускают в ущерб и смыслу и ритму отрывка.

Подобной порче подвергался, естественно, не только Томас Эрсилдаун — другие, вероятно, пострадали по той же причине и в такой же или еще в большей степени. Мы вправе даже сделать вывод, что пропорционально старанию, с каким автор работал над своим произведением, добиваясь наивысшего для той эпохи поэтического совершенства, возрастали искажения,

которым оно подвергалось из-за неточности исполнителей или из-за их желания упростить замысел и стиль, чтобы им легче было запомнить, а необразованным слушателям — понять эти стихи.

Разумеется, такие искаленные, изуродованные сочинения постепенно утрачивали свое первоначальное содержание и стиль. Соответственно неточны и наши издания старинных баллад за вычетом тех редких случаев, когда удавалось найти их оригиналы или ранние копии.

Вероятность искажений возрастает безмерно, если мы примем во внимание, что баллады претерпевали такие переделки не единожды, что в течение долгих столетий они бесчисленное число раз переходили от одного невежественного исполнителя к другому и каждый отбрасывал те слова и обороты оригинала, которые, по его суждению, устарели или вышли из моды, и заменял анахронизмы выражениями, обычными в его дни. И тут следует заметить, что хотя желание исполнителя быть понятным вполне естественно и похвально, однако именно оно оказалось особенно губительным для старинной поэзии. Конечно, менестрель, старавшийся точно передать текст автора, также мог исказить непонятные ему слова, ошибившись в их звучании и смысле, но в таких случаях проникательный и опытный исследователь часто воскрешает и восстанавливает первоначальный смысл; более того, искаженные слова становятся тогда гарантией подлинности баллады в целом. Но позднейшие исполнители, видимо, гораздо реже стремились говорить словами автора, чем вводить собственные поправки и давать новые прочтения, а это всегда приводило к модернизации и большей частью снижало и вульгаризировало суровость духа и стиля старинных стихов.

Так, подвергаясь из века в век постепенным изменениям и переделкам, наша народная и устная поэзия утратила в значительной степени свой первоначальный вид, а могучие штрихи, отличавшие ее некогда, оказались по большей части сглаженными и стертыми, подобно тому как стирается отличная чеканка на монете,

которая давно уже находится в обращении и переходит из рук в руки.

Прекрасная баллада «Охота на Чевиотских горах» дает пример этой губительной алхимии, портящей и подделывающей драгоценный металл старины. Когда Аддисон в эпоху, глубоко равнодушную к народной поэзии, написал свой классический разбор этой баллады, он, безусловно, принял за ее подлинный текст обыкновенную рыночную копию, хотя мог и должен был заподозрить, что стихотворение, изложенное почти на языке его времени, не могло быть тем самым, которое сэр Филипп Сидней назвал более чем за сто лет до этого «грехом, выраженным в пыль и паутину невежественного века».

Достопочтенный епископ Перси первый исправил ошибку, обнаружив копию этой баллады, сделанную, во всяком случае, не позже годов царствования Генриха VII и носящую имя ее автора или переписчика — Ричарда Шилля. Но и сам преподобный издатель впал в ошибку, предположив, что последняя версия «Охоты на Чевиотских горах» является копией изначально-го текста, нарочито модернизированной каким-либо позднейшим бардом. Теперь общепризнанно, что эта версия возникла в результате последовательных изменений, внесенных многочисленными исполнителями на протяжении двух веков; за это время баллада понемногу превратилась в произведение, имеющее с оригиналом лишь общее сходство; она излагает те же события, в ней выражены те же чувства, но язык ее стал куда глаже, а версификация — плавнее и облегченнее. Баллада значительно больше потеряла в отношении поэтического огня и энергии, а также в силе и сжатости выражений, нежели приобрела в сладкозвучии. Так, например,

Перси покинул Нортумберленд
И поклялся именем бога
Полных три дня Чевиотские склоны
Тревожить охотничьим рогом,
Грозному Дугласу наперекор
И всем, кто ему подмога,

превращается в:

Отважный граф Нортумберленд
Обет святой дает,
Что он три летних дня в лесах
Шотландских проведет и т. д.

Этот и другие примеры — их можно было бы цитировать во множестве — говорят о том, что дошедшие до нас образцы поэзии менестрелей, созданные первоначально для княжеских дворов и дворянских трапезных, очень часто как бы «переодеты» в более современный и вульгарный язык, на котором их еще недавно распевали посетителям сельских пивных.

Достаточно привести еще один удивительный и печальный пример: в любопытном сборнике, озаглавленном «Книга баллад», мы находим, говоря словами его остроумного редактора, глупейшую балладу, напечатанную так, как ее певали в Эннендейле, и основанную на хорошо известном предании о дочери принца Салернского; Гисмонда там неуклюже переделана в Дизмел, а Гискар превращен в засаленного поваренка...

Дурное нас всегда к себе влечет.

Порою первоначальный вариант старинной поэзии и тот, в котором она существует в наше время, отличаются друг от друга еще сильнее и глубже. Речь идет о пространственных стихотворных романах, которые были в моде в средние века, а потом подвергались огромным сокращениям для того, чтобы их можно было пересказывать непросвещенным слушателям.

Так, например, баллада о Томасе Эрсилдауне и его походе с Королевой Волшебной Страны широко известна — или, во всяком случае, была известна — в Тевинтдейле и других областях Шотландии. Две старинные копии этой поэмы, вернее — романа на ту же тему, очень часто содержащие те же слова и обороты, хранятся в библиотеках соборов в Линкольне и Питерборо. Нам остается догадываться, были ли оригиналы таких баллад постепенно сведены к их нынешнему

объему из-за нетерпеливости слушателей в более поздние времена, а также из-за недостатка памяти у со-временных им исполнителей, или же в отдельных случаях какой-либо балладных дел мастер действительно брался за сокращение устарелых подробностей у менестрелей и за продуманную, систематическую модернизацию, стремясь, если можно так выразиться, «балладизировать» стихотворный роман.

Так или иначе, нам доподлинно известно, что роман «Росуэл и Лилиан» распевался на улицах Эдинбурга еще два поколения тому назад; знаем мы и то, что «Сэр Эджер, сэр Грайм и сэр Грейстил» также имел собственный напев или мелодию.

Нынешние рыночные копии обоих романов сильно сокращены и, по-видимому, сделаны в то время, когда романы начали проходить — или уже прошли — процесс превращения в баллады.

Принимая во внимание, какими окольными путями передавалась потомству народная поэзия наших предков, мы не должны удивляться тому, что она дошла до нас в искаженном, изуродованном виде и мало соответствует тем представлениям о первых произведениях национального гения, какие мы склонны создавать. Скорее поразительно, что мы все же обладаем столь многими весьма примечательными балладами, нежели то, что гораздо большее их число, некогда существовавшее, погибло задолго до нашего времени.

Дав этот сжатый очерк балладной поэзии в целом, мы сочтем задачу наших вступительных замечаний выполненной, если вкратце очертим народную поэзию Шотландии и некоторые попытки, сделанные, чтобы собрать и истолковать ее.

Теперь уже единогласно признано, что скотты и пикты, как бы ни различались они в других отношениях, одинаково принадлежат к кельтской расе и что во время своих победоносных войн они продвинулись несколько дальше нынешней границы между Англией и Шотландией; примерно в конце XI века они покорили и обложили данью бриттов Стрэтклайда, которые, как и они сами, были кельтами. Итак, за исключением областей Берикшир и Лотиан, где обитали

главным образом англосаксы, вся Шотландия была населена различными племенами той же расы — расы, страстно преданной музыке; это пристрастие мы обнаруживаем у родственных кельтских национальностей — ирландской, уэльской и шотландской, — которые до наших дней сохранили нетронутыми стиль и характер своей музыки, специфические для каждого края и все же общие в главных чертах для всех трех краев. В частности, шотландская музыка была уже отмечена и прославлена старинными писателями, а те ее образцы, которые дошли до нас, доставляют удовольствие не только местным уроженцам, страстно к ним приверженным, но и тем, кто занимается этим искусством, разработанным на основе более утонченной и разнообразной.

Эта музыкальная одаренность, естественно, сопровождалась не меньшей одаренностью и в своеобразной поэзии, порожденной нравами страны, — поэзии, которая прославляла победы торжествующих кланов, оплакивала павших героев и описывала удивительные приключения, могущие развлечь и семью, собравшуюся у домашнего очага, и весь клан, пирующий в доме вождя. Но получилось странное противоречие: в то время как музыка по общему строю оставалась кельтской, языком, наиболее принятым в Шотландии, начал становиться язык соседей — англичан, принесенный множеством саксов, устремившихся ко двору Мальколма Кэнмора и его преемников, а также толпами военнопленных, захваченных скоттами во время набегов на Нортумберленд и превращенных в рабов. Сыграло роль и то влияние, которое оказали жители наиболее населенных и богатых областей Шотландии, а именно Берикшира и Лотиана, на обитателей горных краев и, наконец, превосходство англосаксонского языка, значительно облагороженного, давно уже пришедшего к письменности, способного выражать потребности, желания и чувства говорящих на нем, над диалектами ирландских и британских племен, отличными друг от друга и поэтому отъединенными.

Принимая во внимание это превосходство и немалый отрезок протекшего времени, не приходится удив-

ляться, что обитатели Нижней Шотландии, сохранив кельтскую музыку, многие кельтские обычаи, а также кельтскую династию, тем не менее усвоили англосаксонский язык, тогда как в горной Шотландии народ остался верен не только одежде, оружию, нравам и образу правления своих отцов, но и кельтскому диалекту.

Шотландцы долго и торжественно хранили память о том, что некогда англосаксонский язык и англосаксонская поэзия не были приняты при королевском дворе. И действительно, во время коронации шотландских королей, правивших до Александра III, составной частью церемонии было выступление кельтского барда, который выходил вперед, как только король занимал место на «камне судьбы», и рассказывал в кельтских стихах генеалогию монарха, подчеркивая его высокое происхождение и наследственные права на верховную власть.

Нет сомнения, что в течение известного времени кельтские песни и поэмы продолжали существовать и в Нижней Шотландии, пока там еще сохранялись какие-то остатки этого языка. Мы знаем также, что гэльские или ирландские барды порой забредали в Нижнюю Шотландию, и, быть может, их музыка имела успех даже тогда, когда сами повествования были уже совсем непонятны.

Но хотя эти поэты-аборигены и появлялись на празднествах и в других публичных собраниях, вряд ли их привечали, как во времена Гомера, почетными местами за столом или лакомыми кусочками хребтины; скорее их числили среди людей, которые прикидываются дурачками, среди здоровенных нищих-попрошайек, к которым их приравнивает один шотландский указ.

Потребовалось время, чтобы полностью вытеснить один язык и заменить его другим; но любопытно, что когда скончался Александр III, последний шотландский король истинно кельтского происхождения, народный похоронный плач был сложен на шотландско-английском диалекте, который очень напоминает современный и является самым ранним образчиком этого языка, каким мы располагаем в поэзии и прозе.

Примерно в те же годы процветал прославленный Томас Рифмач, чья поэма, написанная на английском (или нижнешотландском) языке с величайшей заботой о версификации и об аллитерациях, представляет даже в нынешнем виде весьма занятный пример раннего стихотворного романа. Ее сложная форма оказалась слишком лаконичной для народного слуха, который предпочитает стиль менее изощренный с частыми повторами и пространными описаниями, позволяющими аудитории поспевать за певцом или сказителем и восполнять пробелы, образовавшиеся из-за недостатка внимания у слушателей, либо из-за слабости голоса и нечеткости произношения у менестреля.

Обычная строфа, которая была избрана как наиболее свойственная языку и самая приятная для слуха (после того как была отброшена сложная система более изысканных размеров, какие употреблял Томас Эрсилдаун), состояла первоначально, судя по многочисленным примерам, из двух строк:

На белоснежном скакуне граф Дуглас грозный ехал;
Сверкали, словно золото, его людей доспехи.

Будучи разделена на четыре строки, она образовала то, что сейчас принято называть балладной строфой:

На белоснежном скакуне
Граф Дуглас грозный ехал;
Сверкали, словно золото,
Его людей доспехи.

В отличие от двухстрочной строфы, в которой интонации или местоположение цезуры были целиком подчинены личному вкусу каждого, такие расчлененные строки ясно указывали, как именно следует их читать. Четырехстрочные строфы иногда заменялись шестистрочными, причем рифмовались третья и шестая строки. В произведениях более значительных, с большим размахом, сохранялась и более сложная метрика; примеры тому можно найти в «Сказании о Ральфе Койлзире», в «Приключениях Артура в Тарн-

Уотелине», в «Сэре Гэвейне и сэре Голограсе» и некоторых других стихотворных романах. Образцом такой системы стиха, дошедшей до нашего времени, являются стансы «Церковь Христа на лугу», обработанные королем Иаковом I и известные Аллену Рэмзи и Бернсу. Чрезмерная страсть к аллитерациям, отличавшая поэзию англосаксов, чувствуется и в шотландских поэмах возвышенного характера; впрочем, заурядные менестрели и сочинители баллад избегали этого сложного приема.

А в общем, видимо, никакая из строфических систем, принятых в народной поэзии, не оставалась долго в небрежении. В пограничных областях, где люди постоянно сражаются, то защищая себя, то беспокоя соседей, они живут, можно сказать, в атмосфере опасности и возбуждения, а такая атмосфера всегда способствует расцвету поэзии. Это подтверждает и рассказ историка Лесли, цитируемый нами в нижеследующем «Предисловии». Лесли говорит о наслаждении, которое получали обитатели пограничной области от своеобразной музыки и рифмованных баллад; в балладах этих они прославляли деяния предков или старались увековечить хитроумную стратегию своих грабительских войн. В том же «Предисловии» читатель найдет соображения по поводу того, почему вкус к песне мог и должен был дольше сохраняться на границе, нежели внутри страны.

Теперь, после этих кратких замечаний о старинной поэзии вообще и о шотландской в частности, составитель этого сборника хотел бы упомянуть о судьбе некоторых предшествующих попыток собирания балладной поэзии и о принципах отбора и публикации, которые были приняты некоторыми образованными и осведомленными составителями; и хотя предлагаемый сборник включает главным образом шотландские баллады, однако в обзоре нельзя не коснуться и основных собраний английских баллад.

Рукописных записей старинных баллад найдено пока очень мало. Должно быть, менестрели, большей частью не умевшие ни читать, ни писать, полагались на свою хорошо натренированную память. Набрать

таким способом достаточный для их целей запас «товара» было делом нетрудным; пишущий эти строки не только знал людей, легко запоминавших огромное количество народных преданий, но и сам в некий период своей жизни, когда ему следовало бы нагружать свою память более достойными предметами, без труда заучил столько старинных песен, что для чтения их вслух потребовалось бы несколько дней. Со временем, однако, печатный станок избавил исполнителей народных сказаний от необходимости напрягать память и стал еженедельно выпускать пачки баллад для развлечения завсегдатаев пивных и для любителей поэзии на фермах и в господских домах, где часть аудитории, не умевшая читать, могла по крайней мере повторять их за другими.

Эти недолговечные листки, обычно с текстом, напечатанным лишь на одной стороне, или маленькие сборники, прозванные «венками», попадали в руки к людям небрежным и легкомысленным — разумеется, в отношении книг — и гибли от самых разнообразных причин. А так как на заре книгопечатания тиражи были весьма ограниченные, то даже баллады, выпущенные дешевыми изданиями в начале XVIII века, попадают редко.

Были, однако, и тогда люди, наделенные вкусом — должно быть, он казался странным их современникам — к собиранию и сохранению сборников этой исчезающей поэзии. Только поэтому до нас и дошло крупное собрание баллад, хранящееся в Кембридже и составленное секретарем Пеписом, автором очень занимательного дневника. Только поэтому мы располагаем еще более ценным вкладом — изданием баллад в трех томах ин-фолио, которое так нравилось покойному герцогу Роксборо, что он частенько расширял его свежими приобретениями, собственноручно вклеивая их и внося в оглавление.

Первая попытка издать сборник баллад для категории читателей, отличной от тех, кому предназначались рыночные копии, была предпринята анонимным собирателем в Лондоне. Эти три тома в одну двенадцатую листа, иллюстрированные гравюрами, появи-

лись в разные годы начала XVIII столетия. Издатель их пишет с известным легкомыслием, но все же как человек, который поднялся над уровнем обычного невзыскательного собирателя. По-видимому, эта работа потребовала немалых усилий, а что касается общих введений и исторических толкований, предпосланных различным балладам, то написаны они с такой тщательностью, какая прежде почиталась для подобного предмета излишней. Сборник в основном состоит из ходовых, всем известных баллад, не имеющих особых поэтических достоинств и не представляющих большого интереса. Однако этот своеобразный труд высоко ценится любителями старины, а так как три его тома публиковались в разное время и редко попадают вместе, то полный комплект продается по очень дорогой цене.

Теперь обратим взор к Шотландии, где особенно-сти диалекта (в нем отбрасываются согласные в окончаниях слов, что сильно упрощает задачу рифмовки), нравы, характер и обычаи народа исстари настолько благоприятствовали созданию балладной поэзии, что, если бы сохранились все шотландские песни, можно было бы, опираясь только на них, составить прелюбопытнейшую историю страны — от конца царствования Александра III (1285) и вплоть до окончания гражданских войн в 1745 году.

Что такие материалы существовали, сомнения нет, поскольку шотландские историки часто ссылаются на старинные баллады как на авторитетный источник сведений о древних обычаях. Но трудно было надеяться или предполагать, что кто-нибудь станет бережно хранить эти баллады. Песенные «венки», последовательно сменявшие друг друга, появлялись на свет, цвели, увядали и забывались, и только названия немногих баллад дошли до наших дней, показывая нам, каким обильным был урожай этих полевых цветов.

Подобно вольнорастущим чадам Флоры, эти поэтические «венки» существуют только на невоздланной почве; цивилизация и рост знаний с неизбежностью изгоняют их, как плуг земледельца срезает гор-

ную маргаритку. Так или иначе, небезынтересно отметить, что самый ранний из уцелевших образцов шотландского книгопечатания — это «Альманах» Миллара и Чепмена, в котором сохранен для нас значительный фонд шотландской народной поэзии и, среди прочего, неплохие образцы приключений Робина Гуда — «отрады английских сочинителей баллад», чья слава, видимо, сохранилась во всей свежести как на севере, так и на южных берегах Твида. В XVII веке существовало, по-видимому, несколько собраний шотландских баллад и стихотворений. Одно из них, очень хорошее, принадлежавшее лорду Монтегю, погибло лет двадцать тому назад во время пожара, который уничтожил Диттон-хауз.

В 1706 году Джеймс Уотсон опубликовал в Эдинбурге сборник в трех частях, включавший и некоторые произведения старинной поэзии. Но первым, кто поставил себе целью сохранить нашу старинную народную поэзию, должно быть был хорошо известный Аллен Рэмзи, издавший сборник под названием «Неувядающий венок», куда включены главным образом отрывки из творений древних шотландских бардов, чьи поэмы сохранились в Бэннетайнской рукописи, а также некоторые народные баллады. Среди последних — «Битва при Харло», перепечатанная, вероятно, с модернизированной копии; это, видимо, древнейшая из всех шотландских исторических баллад; более или менее пространных, какие ныне существуют. В том же сборнике напечатана и подлинная шотландская баллада о жителях пограничного края «Джонни Армстронг», записанная в исполнении одного из потомков — в шестом поколении — злосчастного героя.

В тот же сборник Рэмзи включил и «Хардиканут», произведение явно современное, но вместе с тем являющееся прекрасным и ярким подражанием древней балладе. В следующем сборнике лирических стихов, названном «Альманах для чтения за чайным столом», Аллен Рэмзи напечатал еще несколько старинных баллад, например баллады «Жестокая Барбара Аллен», «Храбрый граф Марри», «Призрак у дверей Маргарет» и две-три другие. Но его достойный

сожаления замысел — писать новые слова на старые мелодии, не сберегая при этом старинных стихов, — привел к тому, что совместно с некими «искусными молодыми джентльменами» он отбросил многие оригиналы, которые были бы гораздо интереснее и важнее всего того, чем они заменены.

Одним словом, собиранием и истолкованием древней народной поэзии как в Англии, так и в Шотландии занимались люди недостаточно компетентные и не обладавшие необходимыми знаниями для отбора и аннотирования материала; положение это изменилось, только когда за дело взялся доктор Перси, впоследствии епископ Дроморский в Ирландии. Этот почтенный священнослужитель, будучи сам поэтом, высоко ценимым тогдашними литераторами, имел доступ к таким людям и в такие учреждения, какие лучше всего могли снабдить его материалами. Итоги своих изысканий он представил публике в трехтомном труде, озаглавленном «Памятники старинной английской поэзии» и опубликованном в Лондоне в 1765 году; с тех пор эти тома выдержали четыре издания.

Этот труд, не будучи первым по времени, вместе с тем навсегда останется одним из самых выдающихся по своим качествам: соперничать с ним нелегко, а превзойти его невозможно, с таким вкусом подобран в нем материал и так удачно он истолкован автором, сочетавшим знание нашей старины с начитанностью в классической литературе. Однако ни высокие достоинства сборника, ни сан и репутация его составителя не защитили книгу и ее автора от оскорбительных нападок критики.

Особенно суров был Джозеф Ритсон, человек, одаренный острой наблюдательностью, серьезный исследователь и большой труженик. К несчастью, эти ценные качества соединялись в нем с несдержанностью и раздражительностью, из-за которых он относился к мелким различиям старинных текстов с той серьезностью, какую люди, умудренные жизненным опытом, прибегают для более важных дел, и превращал научные разногласия в личные ссоры, ибо не способен был соблюдать в литературных спорах самую

простую учтивость. Должен все же сказать, ибо я хорошо знал Ритсона лично, что его раздражительный нрав был как бы врожденным телесным недугом и что вместе с тем непримиримая требовательность в отношении чужих работ вызывалась необычайной приверженностью к строжайшей истине. Видимо, на епископа Перси он нападал с тем большей враждебностью, что не питал расположения к церковной иерархии, в которой этот прелат занимал видное место.

Критика Ритсона, язвительная до грубости, основывалась на двух пунктах. Первый касался характеристики положения менестрелей: Ритсон считал, что доктор Перси намеренно приукрасил его, а вместе с тем и самих менестрелей с целью придать предмету своего исследования не присущее ему достоинство. Второе возражение относилось к свободе, с какой доктор Перси обращался с материалами, добавляя, сокращая и улучшая их, чтобы приблизить эти материалы ко вкусам своего времени. Мы сделаем краткие замечания по обоим пунктам.

Первый пункт. В первом издании своего труда доктор Перси, конечно, дал повод для обвинений его в неточной и несколько преувеличенной оценке английских менестрелей, определив их как людей, «которые, составляя в средние века целое сословие, избрали себе в качестве ремесла поэзию и музыку и пели под арфу стихи, сочиненные ими самими». Чтобы подкрепить это определение, достопочтенный составитель «Памятников» привел немало любопытных цитат, показывающих, что во многих случаях менестрели действительно пользовались почетом и уважением, их исполнению рукоплескали вельможи и придворные, их самих осыпали наградами, их искусству подражали даже государи.

Ритсон решительно выступил против этих утверждений. Он заявил — и, кажется, справедливо, — что менестрели не обязательно были поэтами; как правило, они не имели обыкновения сочинять стихи, которые пели под арфу; недаром слово «менестрель»

означало, по общепринятому толкованию, всего лишь «музыкант».

Судя по тому, как исправил «Очерк о менестрелях» в четвертом издании «Памятников старинной английской поэзии» доктор Перси, он, видимо, был в известной мере убежден доводами критика: он расширил первоначальное свое определение, отвергнутое Ритсоном, и на этот раз описал менестреля как человека, поющего стихи, «сочиненные им самим или *другими* поэтами». Эту позицию, по нашему мнению, вполне можно защищать. Ведь если, с одной стороны, слишком смелым кажется утверждение, будто все менестрели были поэтами, то, с другой стороны, весьма странной представляется мысль, что люди, постоянно читавшие стихи вслух, не способны были приобрести навыки сочинительства, хотя их хлеб насущный всецело зависел от доставляемого ими удовольствия, умение же сочинять новое было важным шагом к желанной цели! Поэтому непредубежденный читатель без колебаний примет определение епископа Перси касательно менестрелей и их профессии, как оно изложено в четвертом издании его «Очерка», то есть что иногда они сами были поэтами, а иногда простыми исполнителями чужих творений.

Что касается второго утверждения критика, то доктор Перси убедительно показал, что не было в истории такого периода, когда слово «менестрель» относилось бы только к человеку, умеющему играть на каком-нибудь инструменте. Он привел достаточно примеров того, что одаренные представители этой профессии так же часто выступали в качестве певцов или сказителей, как и в качестве музыкантов. По-видимому, кое-кто и тогда уже отличал песенные выступления менестрелей от чисто музыкальных, и мы можем добавить любопытный пример к тем, которые приводит епископ. Он заимствован из своеобразной баллады, относящейся к Томасу Эрсилдауну, где утверждается, что «главное для менестреля — это язык».

Мы можем еще отметить, что само слово «менестрель», происшедшее фактически от германского

Minnesinger, первоначально означало человека, «поющего про любовь», — смысл, совершенно неприложимый к простому музыканту-инструменталисту.

Второй существенный пункт, по которому доктор Перси был жестоко атакован мистером Ритсоном, также давал обеим сторонам основание спеть «Te Deum». Речь идет о положении, или «статусе», менестреля в обществе на протяжении всего средневековья.

По этому вопросу составитель «Памятников старинной английской поэзии» привел самые убедительные свидетельства того, что англо-норманские государи превыше всего ценили в часы досуга общество «учителей веселой науки», да и сами не брезговали порой братья за мелодичный труд менестрелей и подражать их сочинениям.

На это мистер Ритсон с большим остроумием ответил, что примеры уважения, воздаваемого французским менестрелям, выступавшим хотя и в Британии, но при дворе норманских монархов на их родном языке, не являются аргументом в пользу английских артистов той же профессии, между тем как ведь это из их произведений, а не из французских стихов доктор Перси, по его собственным словам, составил свой сборник. Английские менестрели потому влачили столь жалкое по сравнению со своими французскими собратьями существование, веско заявляет мистер Ритсон, что английский язык (смесь англосаксонского и нормано-французского) вошел в обиход англонорманских королей лишь при Эдуарде III. Следовательно, вплоть до весьма позднего периода, когда баллады менестрелей стали уже выходить из моды, их английские исполнители вынуждены были увеселять своими талантами только простолюдыне.

Разумеется, мы признаем правоту мистера Ритсона в том, что почти все английские стихотворные романы, уцелевшие до сегодняшнего дня, переведены с французского; вполне вероятно также, что люди, занятые главным образом переложением на английский язык чужих поэтических произведений, не могли занимать столь же высокое положение, как те, кто поднимался

до самостоятельного творчества; таким образом, критик тут берет верх в споре. Но мистер Ритсон и на этот раз ударился в крайность, ибо в английской истории был, несомненно, такой период, когда менестрели, писавшие на национальном диалекте, пользовались почетом и уважением в соответствии со своими заслугами.

Так, например, Томас Рифмач, менестрель, процветавший в конце XII столетия, не только был человеком одаренным в своем искусстве, но и занимал также известное положение в обществе, дружил со знатью и сам был землевладельцем. Он и его современник Кэндел, как уверяет Роберт де Брюнн в уже упомянутом нами «Вступлении», писали на языке хотя и английском, но доступном только «вельможным и знатым», а не простым людям, к которым обращался сам Роберт, открыто признававший, что он старается снизить до их понимания и стиль и систему версификации. Значит, во времена этого историка существовали менестрели, которые, вращаясь в кругу вельмож, сочиняли свои творения на особом, утонченном языке, и не подлежит сомнению, что раз уж так высоко ценились их стихи, то, безусловно, были в почете и сами авторы.

Иаков I Шотландский воспитывался под опекой Генриха IV, и в число предметов, которым его обучали, входили и музыка и местная народная поэзия, иначе говоря — искусство менестрелей в обеих его разновидностях. Поэзия эта (король оставил несколько образцов ее) была, как хорошо известно, английская. И нет оснований предполагать, что принцу, которого воспитывали с таким тщанием, стали бы преподавать искусство, дошедшее, если верить мистеру Ритсону, до последней степени падения и унижительное для тех, кто им занимался. Это соображение подкрепляется и поэтическими опытами герцога Орлеанского на английском языке, относящимися ко времени его пленения после битвы при Азенкуре. Нельзя себе представить, чтобы знатный пленник стал утешаться в своем заточении низменным, годным лишь на потребу черни видом сочинительства.

Мы могли бы привести и другие примеры, говорящие о том, что этот острый критик в пылу полемики зашел слишком далеко. Но мы предпочитаем дать общий обзор данного вопроса, обзор, который, нам кажется, убедительно показывает, откуда могли взяться столь противоречивые точки зрения и почему глубокое уважение к тому или иному менестрелю и высокая оценка его искусства вполне совмещаются с презрением к сословию менестрелей в целом.

Все, кто занимается изящными искусствами, кто посвящает время не практически жизненным нуждам, а услаждению общества, только в том случае не уронят профессиональной чести, если докажут, что в своей области они владеют высочайшим мастерством. Нас вполне удовлетворяет ремесленник, добросовестно выполняющий работу; мы не склонны смотреть свысока и на духовное лицо, на стряпчего или врача, если только они не выказывают грубого невежества в своем деле: пусть они и не обладают глубокими познаниями — с нас довольно, что они хотя бы могут дать нам полезный совет по интересующему нас вопросу. Однако

...mediocribus esse poëtis

Non di, non homines, non concessere columnae.¹

Эти слова относятся и к живописцам, и к ваятелям, и к музыкантам — ко всем, кто подвизается на поприще изящных искусств. Когда они действительно проявляют подлинное мастерство, то нет в обществе столь почетного положения, которого они не могли бы занять, если, разумеется, умеют держать себя подобающим образом. Но когда им не хватает сил добраться до вершины, то, вырождаясь, они превращаются в каменотесов, в размалевщиков, в жалких дудильщиков, в дрянных рифмоплетов и тому подобных поденщиков, самых ничтожных, какие есть в роду человеческом. Причина ясна. Людям приходится

¹ ...поэтам ни люди, ни боги,
Ни столбы не прощают посредственность (лат.).

(Перевод М. Дмитриева)

мириться с тем способом удовлетворения жизненных нужд, какой доступен им при данных обстоятельствах, и когда кому-либо требуется верхняя одежда и ему не по средствам Штульце, он обратится к деревенскому портному. Иначе обстоит дело, когда человек ищет удовольствия: тот, кто не может услышать Пасту или Зонтаг, вряд ли утешится, если ему предложат заменить пение этих сирен мелодиями охрипшего исполнителя баллад. Напротив, он сочтет оскорбительной такую неравноценную замену и возмутится до глубины души.

Убедительнее всего подтверждает нашу мысль пример актеров. Высший круг общества открыт для лиц, прославленных лицедейским талантом, а их вознаграждение неизмеримо выше, нежели заработок людей, занятых прикладными искусствами. Но те, кто не выдвинулся в первые ряды на этом поприще, относительно беднее и приниженнее, чем самые незаметные из числа ремесленников, врачей или стряпчих.

Таким образом, становится понятным, почему многие менестрели, которые выступали в местах, где царило грубое, разгульное веселье, которые унижали свое искусство, дабы усладить слух пьяных невежд, которые жили беспутно, как нередко живут люди, не обеспеченные пропитанием и существующие впроголодь, — почему эти менестрели вызывали всеобщее презрение и почему собратья их из числа «звезд» (применяя новомодное слово), вознесшиеся в эмпирей, смотрели на них сверху вниз, подобно планетам, взирающим на испарения, которые устремляются ввысь из густых туманов земной атмосферы.

В общем весь спор напоминает поучительную басню о золотом и серебряном щитах. Доктор Перси созерцал менестреля, окруженного славой и поклонением; и многие из них, действительно, достигали этого благодаря своим талантам, как достигают того же самого наши современники, наделенные талантом в одном из видов изящных искусств. А Ритсон видел обратную сторону медали — нищего, бродячего сказителя, одетого в причудливые лохмотья, который рад был заработать себе на хлеб пением баллад в пивной

и в конце концов превращался в простого дудильщика с расстроенной флейтой, сопровождавшего грубую мелодию еще более грубыми стишками, беспомощного спутника пьяных драчунов, донельзя боящегося констебля и приходского сторожа. Разница между людьми, занимавшими крайние — наивысшее и наименее — положения в этом ремесле, была, конечно, столь же велика, как разница между Дэвидом Гарриком или Джоном Кемблом и париями из бродячей труппы, обреченными на нужду, лишения и преследование со стороны закона.

Был еще один вопрос — и притом важнейший, — в котором мнения доктора Перси и его недоброжелательного критика резко разошлись. Первый, будучи поэтом и человеком со вкусом, поддавался искушению и вольно обошелся с оригиналами баллад, ибо ему хотелось угодить веку, настроенному более критически, нежели тот, в котором они сочинялись. И вот он изменял отдельные слова, улучшал фразы, вставлял или пропускал по своей прихоти целые строфы. Такие вольности доктор Перси особенно часто допускал в отношении поэм, перепечатанных из одной рукописи ин-фолио, принадлежавшей ему лично, — рукописи весьма любопытной благодаря пестрому ее содержанию, но, к несчастью, сильно испорченной, с листами, поврежденными из-за бессовестной небрежности и невежества переписчика. Желая во что бы то ни стало использовать сокровища, заключенные в рукописи, составитель «Памятников» не поколебался восстановить и обновить песни, взятые из этого искаленного и все же интересного собрания, и снабдить их такими исправлениями, которые могли бы прийтись по вкусу его современникам.

За такое вольное обращение с текстами Ритсон попрекал доктора Перси в самых суровых выражениях и самым неистовым слогом, обвиняя его в интерполяциях и подлоге, намекая, что не существует *in regim natura*¹ такого предмета, как эта рукопись ин-фолио, на которую столь часто ссылался доктор Перси в

¹ В природе (лат.).

качестве источника произведений, помещенных в «Памятниках». И снова пыл Ритсона увлек его в этой атаке дальше, чем допускали здравый смысл, осмотрительность и простая благопристойность. Конечно, крайне желательно, чтобы тексты творений старины представляли перед читателем нетронутыми и неискаженными. Но в 1765 году подобное соображение не приходило на ум составителю «Памятников» — его целью было завоевать благосклонность публики, ибо в ту эпоху главная трудность состояла не в том, чтобы восстановить подлинные слова старинных баллад, а в том, чтобы хоть как-нибудь привлечь внимание публики к самому предмету. Возможно, не возьмись за эту задачу доктор Перси, важное и нужное для английской литературы дело так и осталось бы незавершенным. Его труд впервые вызвал интерес широкого круга читателей к древней поэзии, а без этого какой был смысл заниматься вопросом, присущи ли ей ее достоинства или же они привнесены человеком, который собирал и опубликовывал эти произведения? К тому же автор «Памятников» в нескольких местах своей книги чистосердечно признавался, что иные из напечатанных баллад были исправлены, а другие не являются целиком и полностью старинными; что начало одних и конец других дописаны; что, в общем, он неоднократно украшал творения древности чертами, свойственными более изысканной эпохе.

Все это было высказано без всяких обиняков, и если бы нашелся критик, полагающий (как бедняга Ритсон, которого привел к такому выводу ипохондрический темперамент), что литературная подделка должна приравняться к подлогу документов, то ему нужно было бы напомнить следующее обстоятельство: если нет соответствующего заключения о том, что подделанный документ добровольно или под давлением был выдан за подлинный, то нет и состава преступления; подражание как таковое не наказуемо, по крайней мере в уголовном смысле. Таким образом, обвинение, предъявленное преподабному Перси в столь резких выражениях, ни на чем не основано, ибо он открыто признавал, что вносит изменения и улуч-

шения в стихи, дабы приспособить их ко вкусам эпохи, которая в противном случае не была бы расположена одарить их своим вниманием.

Нам следует добавить, что в четвертом издании «Памятников» мистер Томас Перси из колледжа Сент-Джон в Оксфорде выступил в защиту своего дяди; отдав должное познаниям и талантам мистера Ритсона, он сдержанно, как подобает истинному джентльмену вступил в спор с этим критиком, не впадая при этом в оскорбительный тон.

Конечно, было бы очень желательно, чтобы читатель получил теперь более подробное представление о содержании рукописи ин-фолио доктора Перси. Идя навстречу этому желанию, мистер Томас Перси приводит оригинал «Свадьбы сэра Гэвейна» и сопоставляет его с копией, опубликованной полностью его дядей, который дал тут волю своей фантазии, хотя, впрочем, он лишь развил то, что — правда, в очень примитивной форме — было уже заложено в этой старинной балладе. Воспроизвел мистер Томас Перси и изящную стихотворную повесть «Дитя греха» в том виде, в каком она существует в рукописи ин-фолио, причем из сравнения явствует, что всеми своими красотами она обязана поэтическому дару преподобного Перси. Судя по этим двум образцам, легко понять, почему достопочтенный составитель «Памятников» уклонился от предъявления рукописи ин-фолио: он не желал снабжать своего сурового аристарха таким оружием, которое, несомненно, обратилось бы против него самого.

Не подлежит, однако, сомнению, что рукопись содержит немало действительно превосходных сочинений, хотя и поврежденных и искаженных. Подобие прекрасной баллады «Сэр Колин» можно найти в шотландском варианте под названием «Король Мальколм и сэр Колвин» в сборнике «Баллады Северного края» Бакена, о котором мы еще будем говорить. Таким образом, она, бесспорно, старинная, хотя, вероятно, подправленная, и, быть может, к ней прибавлена вторая часть, так как в шотландской рукописи этой части нет. Хотелось бы наконец с точностью узнать,

до какой степени использовал доктор Перси права издателя и в этом и в других случаях; в наше время это, разумеется, было бы только проявлением справедливости в отношении его памяти.

А в общем, мы можем, заканчивая наши рассуждения о сборнике «Памятники старинной английской поэзии», привести похвалу и критику, высказанные по поводу этой книги одним джентльменом, тоже достойным тружеником в вертограде нашей старины:

Это лучшая компиляция старинной поэзии, которая когда-либо появлялась в какой бы то ни было стране. Но нужно откровенно признаться, что в ней так много исправлений и изменений, что взыскательный историк, собиратель старины, желающий узреть английские баллады в их подлинном виде, принужден справляться в более точном издании, нежели этот прославленный труд.

О талантах самого Ритсона как издателя старинных стихов мы будем иметь случай поговорить позже. Первым собирателем, последовавшим примеру доктора Перси, был мистер Т. Эванс, книготорговец, отец джентльмена, которого мы только что цитировали. Его сборник «Старинные баллады, исторические и повествовательные, с добавлением некоторых современных» вышел в 1777 году в двух томах и имел большой успех. В 1784 году последовало второе издание, причем труд разросся до четырех томов. В это собрание вошли многие баллады, не включенные епископом Перси в «Памятники», ибо с его точки зрения, они были недостаточно примечательны. Большая часть этих материалов взята из сборника ин-октаво 1723 года. Сборник Эванса содержит и несколько превосходных современных баллад, которых нет в других изданиях; по-видимому, они принадлежат перу Уильяма Джулиуса Микла, переводчика «Лузиад»; впрочем, он никогда не подтверждал своего авторства и не включал этих баллад в собрание своих сочинений. Есть среди них элегическая баллада «Камнор-холл», которая подсказала беллетристическую повесть под названием «Кенилворт». В этом же собрании впервые появилась песня «Рыцарь Красного Креста» того же Микла, сочинившего эти слова на чудесную старин-

ную мелодию. Поскольку Микл, отличный версификатор, умел также придавать своим стихам большую налевность — тут ему могли бы позавидовать барды гораздо более известные, — то и баллады эти очень ему удались, если, конечно, рассматривать их как произведения явно современные. Но если судить о них как об имитации старинной поэзии, то они весьма проигрывают: поддерживая иллюзию лишь большим числом двойных согласных, рассыпанных наобум в обычных словах, автор добивается не большего сходства со старинной манерой, чем архитектор, который украшает современный фасад нишами, башенками и гипсовыми финтифлюшками.

В 1810 году четыре тома 1784 года были с очень значительными изменениями переизданы мистером Р. Х. Эвансом, сыном их первого составителя. Из этого последнего издания были справедливо изъяты многие посредственные современные баллады, зато оно обогатилось ценными добавлениями к той части, где представлены творения старины. Будучи в какой-то мере дополнением к «Памятникам старинной английской поэзии», сборник этот должен обязательно находиться на полке у любого библиофила, который захотел бы соперничать с капитаном Коксом из Ковентри, прототипом всех собирателей произведений древней поэзии.

Покуда доктор Перси создавал классический образец публикации старинной английской поэзии, покойный Дэвид Херд в скромном уединении занимался собиранием шотландских песен, удачно определенных им как «поэзия и музыка сердца». Первая часть его сборника состоит из баллад героических и исторических, полно и хорошо подобранных. Мистер Херд, счетовод, как зовется эта профессия в Эдинбурге, был известен и всеми уважаем за большие познания в старине и острый, смелый, здравый ум, сочетавшийся с добродушием и великой скромностью. Открытое выражение лица, патриархальная внешность и почтенная седая грива заслужили ему среди друзей прозвище Грейстил. Первый однотомный сборник песен, составленный им, появился в 1769 году, а расширенный

(в двух томах) вышел в 1776 году. Публикация того же типа, что и книга Херда, только еще более полная, была напечатана в 1791 году Лори и Симингтоном. В этот труд включены современные произведения; из них далеко превосходят прочие два отличных подражания шотландским балладам, сочиненные одаренным автором (ныне — увы! — покойным) «Чувствительного человека» и озаглавленные «Дункан» и «Кеннет».

После этого завладеть вниманием публики попытался Джон Пинкертон, человек весьма образованный, ума пронзительного и нрава сурового. Его сборник «Избранные баллады» (Лондон, 1783) содержит достаточно доказательств, что он толковал очень расширительно афоризм Горация *quidlibet audendi*.¹ Обладая немалым поэтическим даром — впрочем, не таким значительным, как ему думалось, — он решил придать своему сборнику интерес и новизну, обогатив его произведениями, облаченными в старинный наряд, однако же из гардероба составительской фантазии... С отвагой, подсказанной, быть может, успехами мистера Макферсона, он в книгу, состоявшую всего лишь из двадцати одной трагической баллады, включил не менее пяти, как он потом признался, целиком или в значительной степени им же самим сочиненных баллад. Всего любопытнее в этом сборнике вторая часть превосходной баллады о Хардикануте; в ней, кстати, есть некоторое количество хороших стихов. Она страдает все же большим недостатком: чтобы связать свою концовку с подлинным повествованием, мистер Пинкертон оказался вынужденным изменить основной сюжетный ход в старой балладе, исключавший придуманную им развязку. При такой дерзости писать продолжения и концовки — дело нехитрое! Во втором томе «Избранных баллад», состоящем из вещей юмористических, в числе пятидесяти двух произведений читатель найдет девять, принадлежащих перу самого издателя. Эти подделки написаны в такой манере, что о них можно коротко сказать следующее: труд ученого, гораздо лучше знакомого со старин-

¹ О свободном дерзании (лат.).

ными книгами и рукописями, нежели с устной традицией и народными сказаниями. От стихов мистера Пинкертон пахнет чадом светильника, и, по правде сказать, если бы балладам действительно был присущ тот причудливый язык, какой употребляет наш автор, они никогда не приобрели бы достаточной популярности, чтобы сохраниться в устном предании. Глоссарий свидетельствует о том, что автор его куда лучше знаком с научными словарями, нежели с обычным диалектом, на котором по сей день говорят в Нижней Шотландии, и, разумеется, он полон ошибок.¹ Не больше посчастливилось мистеру Пинкертону и по части предположительных истолкований. Так, он решил сделать сэра Джона Брюса Кинросса создателем баллады о Хардикануте и прелестной поэмы под названием «Видение». На самом деле первая принадлежит миссис Холкит Уордлоу, а вторая — Аллену Рэмзи, хотя, надо признать, по своим достоинствам она превосходит то, что обычно выходило из-под его пера. Сэр Джон Брюс был храбрым, грубоватым воином, без всяких претензий на литературное творчество, но его дочь, миссис Брюс-Арнот, обладала большим талантом — обстоятельство, которое, возможно, ввело в заблуждение нашего любителя старины.

Мистер Пинкертон опубликовал своего рода «отречение» в «Списке шотландских поэтов», предположительно «Избранным стихам из Мейтлендской рукописи» (т. I, 1786); он признался там, что включил в «Избранные баллады» подделки под старину, самолично им сочиненные, — признался с хладнокровием, которое (если припомнить неоднократные его нападки на других, позволявших себе подобную вольность) является такой же дерзостью, как и его обдуманная и кропотливая защита всяческих непристойностей, опозоривших те же страницы.

Тем временем Джозеф Ритсон, человек, не уступавший мистеру Пинкертону в усердии и проница-

¹ Так, например, слово *bansters*, обычно означающее вязальщиков снопов во время жатвы, производится от *ban* (браниться) и объясняется как «шумливые, ругающиеся парни». (Прим. автора.)

тельности, но наделенный самой похвальной аккуратностью и точностью, необходимой ученому, занимался разнообразными публикациями произведений старины, сопровождая их глубокими толкованиями. С большой тщательностью и немалым вкусом составил он сборник избранных английских песен, вышедший в Лондоне в 1783 году. После смерти Ритсона появилось новое издание этого труда, поддержанное именем высокоученого и неутомимого собирателя Томаса Парка и дополненное многими подлинными произведениями, а также некоторыми вещами, подготовленными к печати самим Ритсоном.

За сборником песен Ритсона последовал любопытный том, озаглавленный «Старинные песни от времени Генриха III до революции» (1790), затем «Образцы древней поэзии» (1792) и «Сборник шотландских песен с подлинными мелодиями» (Лондон, 1794). Последний является действительно подлинным, но довольно тощим собранием каледонских народных песен. В следующем году мистер Ритсон выпустил книгу «Робин Гуд. Сборник всех старинных поэм, песен и баллад, поныне сохранившихся и относящихся к этому знаменитому разбойнику» (2 тома, 1795).

Сборник этот — примечательная иллюстрация достоинств и недостатков метода мистера Ритсона. Поистине невозможно представить себе, сколько усердия и кропотливого труда отдал он собиранию старинных текстов! Едва ли найдется фраза или слово, касающиеся Робина Гуда, в исторических ли работах или в стихах, в юридических книгах, в старинных поговорках или в речениях, которые не были бы приведены и объяснены мистером Ритсоном. В то же время исключительная точность составителя доведена до излишества, ибо он с необъяснимым упорством сохраняет все многочисленные грубые ошибки, которые попали в текст при повторном его исполнении, и считает священным своим долгом предпочитать худшие варианты лучшим, словно отсутствие художественных достоинств гарантирует их подлинность. Короче говоря, когда Ритсон перепечатывал из редких книг или старинных рукописей, он был точнее из точных,

но когда он обращался к устным сказаниям и делал выбор между записями двух вариантов исполнения одной и той же вещи, он всегда склонялся к худшему, как к более подлинному, хотя очевидно, что стихи, проходя через уста многих исполнителей, чаще подвергаются порче, нежели исправлению. Его фанатичная шепетильность достойна особого сожаления в балладах о Робине Гуде, потому что она привела к расширению сборника за счет большого числа плохих виршей, которые копируют друг друга и вертятся вокруг одной и той же темы: храбрый Робин Гуд встречает пастуха, лудильщика, нищего, дубильщика и т. д. и т. д., каждый из них задает ему хорошую трепку, и каждого он принимает в свою шайку. Предание, утверждающее, что смелый разбойник обязательно вступал в драку с каждым из своих рекрутов, чтобы посмотреть, как тот владеет дубинкой, могло бы, конечно, оправдать включение одного-двух подобных рассказов, но большинство надо было отбросить, как поздние и совершенно пустяковые подражания, составленные приблизительно в годы царствования Иакова I Английского. Используя этот поддельный хлам в качестве эпизодов истории Робина Гуда, составитель превращает последнего в самого битого (за вычетом Дон-Кихота) героя, какой когда-либо прославлялся в прозе или стихах... Ритсон опубликовал также несколько «венков» северо-шотландских песен.

Рассматривая в целом труды этого видного собирателя, мы вправе осуждать несправедливость и суровость его оценок; вправе удивляться тому, что он проявлял столько раздражительности из-за такого предмета, как собрание старых баллад, который сам по себе как будто не содержит ничего, разжигающего страсти; вправе, наконец, иной раз сердиться на упорство, с каким он предпочитал плохие варианты хорошим, но поскольку трудолюбие, неустанность в розысках, знание старины суть качества драгоценные в такого рода работах, мы не можем не признать, что превзойти Джозефа Ритсона в качестве составителя очень сложно. К его чести надлежит добавить, что

хотя он и не был расположен легко отступить от своих взглядов, однако стоило ему убедиться, что им совершена ошибка — в фактах или в доказательствах, — как он тут же отказывался от своего мнения с прямотой, которая равнялась горячности, с какой он защищался, покуда считал себя правым. Многие из его трудов ныне почти разошлись, и потому их переиздание — с обычной орфографией и исправлением странностей написания, присущих автору в силу его предубеждений, — было бы желанным подарком для всех любителей старины.

Итак, мы сделали беглый обзор различных сборников народной поэзии, составленных в XVIII веке. Нам остается отметить, что в нынешнем столетии этот вид научных занятий весьма в почете. Данный двухтомный сборник появился впервые в 1802 году. По удивительному совпадению это был первый труд, изданный мистером Джеймсом Баллантайном (проживавшим тогда в Келсо), и одновременно — первое серьезное обращение пишущего эти строки к терпению публики. «Песни шотландской границы» с добавлением третьего тома были вторично изданы в 1803 году. В том же 1803 году мистер Джон Грем Дэлзел, которому его родина многим обязана за его исследования старины, опубликовал «Шотландские поэмы XVI века», где среди прочих интересных произведений имеется современная и очень любопытная баллада о Белринесе. В ней есть строфы поистине великолепные.

1806 год отмечен появлением сборника «Народные баллады и песни, почерпнутые из устной традиции, рукописей и редких изданий, с переводами подобных же творений со стародатского языка и несколькими оригинальными сочинениями составителя, доктора Роберта Джемисона, магистра искусств и члена археологического общества». Труд этот, встреченный публикой без должного внимания, является истинным открытием, так как указывает на первоисточник шотландских баллад. Широкое знакомство мистера Джемисона со скандинавской литературой позволило ему обнаружить не только черты сходства между ними и

датскими балладами (сохранившимися в «Kiempre Viser»¹ — старинном сборнике героических баллад на этом языке), но и показать, что во многих случаях сказания и песни явно идентичны — обстоятельство, о котором до тех пор даже не подозревал ни один фольклорист. Примечания мистера Джемисона также весьма полезны и содержат любопытные пояснения к старым поэтам. Его подражания, правда не свободные от манерности из-за чрезмерной любви к устаревшим словам, в общем весьма интересны. Труд его занимает видное место на книжных полках у людей, увлекающихся этой отраслью изучения старины.

Мистер Джон Финли, поэт, жизнь которого так преждевременно оборвалась, опубликовал в 1808 году небольшой сборник «Шотландские исторические и романтические баллады». Изящество некоторых его подражаний старинным балладам, а также вкус, эрудиция и скромность вступительных статей заставляют каждого поклонника старинной поэзии сожалеть о ранней утрате этого образованного молодого человека.

За последние годы появились разнообразные и весьма ценные сборники старинной балладной поэзии; некоторые из них прокомментированы со знанием дела и проницательностью, например книги мистера Мазеруэла и мистера Кинлоха, отличающихся большим пониманием этого вида литературы и любовью к ней. Нет недостатка и в изданиях, целью которых является не столько публичная продажа, сколько спасение непрочных произведений менестрелей, находящихся под угрозой близкой гибели. Некоторые из них, выпущенные, как нам известно, людьми выдающегося таланта, изданы в малом формате и ограниченным тиражом и скоро станут *introuvables*² шотландского книгопечатания. Нам хотелось бы особо отметить работу (в одну двенадцатую листа) под скромным названием «Книга баллад», без даты и указания места выхода, которая даже в немногочисленных

¹ «Ратных песнях» (стародатск.).

² Редкостями (франц.).

примечаниях обнаруживает способность составителя давать весьма обстоятельные и остроумные пояснения к старинным текстам. Большинство баллад — комического характера, и некоторые из них являются восхитительные примеры шотландского невозмутимого юмора.

Другой сборник, заслуживающий особого внимания, имеет примерно такой же формат и то же название; место и год выпуска — Эдинбург, 1827. О его содержании сообщается, что это, так сказать, содержимое сумы или, если хотите, запас товара старого менестреля из Абердиншира — вероятно, последнего в роду менестрелей, — который (в соответствии с определением профессии, предложенным доктором Перси) распевал свои и чужие произведения в главном городе графства и в других городах этого края джентльменов. Звали менестреля Чарлз Лесли, но больше он был известен под кличкой Губастый Чарли — из-за странно выпяченной нижней губы. В октябре 1792 года в газете появилось сообщение о его смерти, и составлено оно было в таких выражениях:

Скончался в Олдрейне (Абердиншир) в возрасте ста четырех лет Чарлз Лесли, уличный певец баллад, хорошо известный в этом краю под именем Губастый Чарли. За несколько недель до смерти он все еще занимался своим ремеслом.

Чарли, преданный якобит, пользовался такой благосклонностью жителей Абердина, что в городе ему была предоставлена своего рода монополия на профессию менестреля: никому другому ни под каким видом не разрешалось распевать баллады на тротуарах или булыжных мостовых «доброго шотландского города». Большинство песен Губастого Чарли, как и произведения, собранные в предыдущем сборнике, носят шутливый характер.

Однако самым обширным и ценным вкладом, сделанным за последнее время в эту область литературы, надо считать сборник мистера Питера Бакена из Питерхеда, неутомимого труженика в данной области, чье усердие увенчалось самыми успешными результатами. Отчасти это связано с тем, что мистер Бакен

живет в местности, которая изобилует реликвиями искусства менестрелей и в то же время очень мало исследована предыдущими собирателями; так вот и получилось, что если к югу от Тэя почти невозможно найти балладу, могущую претендовать на древность и еще не изученную и не перепечатанную в том или другом из сборников старинной поэзии, то баллады Абердиншира до сих пор почти не изучены. Пишущий эти строки был первым, кто потребовал внимания к нашим северным песням; толчком для этого послужило собрание баллад, сообщенных ему его покойным и уважаемым другом, лордом Вудхаузли. Мистер Джеемисон, сам уроженец Морейшира, в своем сборнике «Песни и баллады» далеко продвинул исследование шотландских баллад, проиллюстрировав тем самым свою теорию о связях между древними шотландскими и датскими балладами, на которую работа мистера Бакена проливает яркий свет. Несомненно, эта публикация — наиболее полная из всех, какие до сих пор появлялись.

У нас нет ни малейшего сомнения относительно подлинности произведений в сборнике мистера Бакена. Несколько баллад (в качестве примера можно привести интересное сказание «Два мага») переведены с древнескандинавского; должно быть, мистер Бакен незнаком с их оригиналами. Другие связаны с историческими событиями, о которых составитель, видимо, недостаточно осведомлен. При всем нашем уважении к этому трудолюбивому и делающему важное дело собирателю старины, мы все же заметим, что его проза слишком витиевата и составляет в этом отношении резкий контраст с исключительной простотой баллад; именно эта простота и внушает нам безусловную уверенность, что они представлены публике в том самом виде, в каком он их нашел. Более того — нам еще не приходилось видеть сборник шотландской поэзии, который по самой своей сути был бы столь явно и несомненно подлинным. Следует, быть может, пожалеть, что мистер Бакен не устранил очевидных ошибок и искажений, но, сказать по правде, если их наличие в тексте и наносит ущерб чисто литератур-

ному впечатлению от баллад, оно вместе с тем в какой-то мере является доказательством их подлинности. И пусть отдельным балладам могло бы пойти на пользу то право выбирать между различными вариантами, которое дано составителю, мы тем не менее рады, что они появились в таком несовершенном виде: было бы хуже, если бы из-за поправок и изменений на них упала какая-то тень и была бы поставлена под сомнение их подлинность.

Надо отметить, что исторических поэм в сборнике не много и они не очень древнего происхождения. Одна из старейших — «Мост через реку Ди», другие восходят ко времени ковенанта, а некоторые написаны о событиях более современных, например о свадьбе матери покойного прославленного поэта Байрона или о катастрофе, случившейся еще позже, — мы имеем в виду балладу «Гибель Литхолла».

Нам хотелось бы заинтересовать почитателей старинного искусства менестрелей этим любопытным сборником, поэтому мы считаем возможным посоветовать мистеру Бакену в случае нового издания исключить значительное число песен, напечатанных лишь потому, что они отличаются — иногда к худшему — от вариантов, появившихся в других публикациях. Такое сокращение освободило бы много места для произведений, которые, как бы они ни были стары, сохраняют до наших дней всю прелесть новизны.

К этому обзору вышедших за последнее время сборников шотландских баллад добавим еще несколько замечаний по поводу весьма интересной книги — «Старинные сказания, печатаемые главным образом по подлинным источникам, под редакцией преподобного Чарлза Генри Хартсхорна, магистра искусств» (1829). Составитель этого скромного сборника выполнил свой долг перед публикой с большим трудолюбием и заботливостью, познакомив поклонников народной поэзии с весьма старинными стихотворными легендами, которые до сих пор не были опубликованы и очень мало известны. Значение сборника тем более велико, что многие из поэм — комического свойства, а произведения такого рода сравнительно немно-

численны; кроме того, так как в них обязательно содержатся намеки на особенности обыденной жизни того времени, они занятнее и интереснее, нежели поэмы с возвышенными сюжетами.

Итак, мы дали беглый очерк истории английской и шотландской народной поэзии и отметили наиболее интересные из выходявших время от времени сборников старинных стихов; рассказали мы также о принципах, которыми руководствовались их составители. Благодаря стараниям людей образованных и высокоодаренных, этот предмет привлек к себе за последнее время внимание самых широких кругов общества, и теперь у нас есть все основания надеяться на то, что нам удастся извлечь из глубины забвения все старинные стихи и песни, какие еще возможно восстановить.

Вторая важнейшая задача состоит в том, чтобы дать отчет о современных подражаниях английской балладе, то есть о том разделе литературного творчества, которым с некоторым успехом занимался и автор настоящей статьи. Наши замечания об этом виде сочинительства предшествуют третьему тому «Песен шотландской границы».

ДНЕВНИКИ

Отрывки

1825

21 ноября

...Я не знаю музыки и не могу воспроизвести ни единой ноты, а сложные созвучия представляются мне беспорядочным, хотя и приятным журчанием. Однако песни и простые мелодии, особенно если они связаны со словами и мыслями, производят на меня такое же впечатление, как и на большинство людей. И я терпеть не могу, когда какая-нибудь молодая особа поет без чувства и выражения, приличествующего данной песне. Мне несносен голос, в котором столько же жизни, сколько в фортепьяно или охотничьем роге. В любом искусстве есть нечто духовное, что, подобно жизненному началу в человеке, не поддается анализу самого внимательного исследователя. Вы чувствуете его отсутствие, но не можете описать, чего вам не хватает. Как-то сэр Джошуа или какой-то другой великий художник рассматривал картину, которая стоила ее создателю больших мук. «Что ж, — сказал он нерешительно, — очень умно... Отлично написано... Не нахожу недостатков. Но в ней нет чего-то; в ней нет... черт возьми!.. в ней нет вот этого!..» И он выбросил вверх руку и щелкнул пальцами...

Сравнивая свои заметки с записями Мура, я укрепился в некоторых своих давнишних мыслях по поводу бедняги Байрона. Мне, например, казалось, что, подобно Руссо, он был крайне подозрителен и только полной прямоотой и откровенностью можно было завоевать его расположение. Уил Роуз рассказывал мне, что, сидя как-то с Байроном, он уставился непроизвольно на его ноги, из которых одна, как мы помним, была изуродована. Внезапно подняв глаза, он поймал на себе взгляд Байрона, исполненный глубокого недовольства, которое исчезло, когда тот убедился, что лицо Роуза не выражает ни неловкости, ни смущения. Впоследствии Марри объяснил это Роузу, сказав, что лорд Байрон очень чувствителен к тому, что люди обращают внимание на этот его недостаток. Мур подтвердил и другое распространенное мнение, а именно, что Байрон любил злые шутки. Мур однажды предостерегал его в письме от участия в создании журнала «Либерал» вместе с такими людьми, как П. Б. Шелли и Хант, которых, как он выражался, заклеил свет. А Байрон показал им это письмо. Шелли написал Мору сдержанный, но довольно трогательный протест. Обе эти особенности — крайняя подозрительность и любовь к злым шуткам — суть проявления той болезни, которая, несомненно, омрачала какую-то сторону характера этого могучего гения; но, пожалуй, человек, наделенный талантом (я имею в виду талант, зависящий от силы воображения), не может не страдать этим недугом. Чтобы колеса машины вращались быстро, они не должны быть слишком точно подогнаны, иначе трение ослабит движущую силу.

Другой особенностью Байрона была любовь к мистификации, которая, конечно, связана с его любовью к злым шуткам. Никогда нельзя было знать, насколько можно верить его рассказам. Пример: когда мистер Бэнкс пенял ему за чересчур выпренное и хвалебное посвящение Кэму Хобхаузу, Байрон ответил, что Кэм до тех пор клянчил у него это посвящение, пока он не сказал ему: «Хорошо, пусть будет так,

но при одном условии: вы напишете посвящение сами»; и он уверял, будто это высокопарное посвящение написал сам Кэм Хобхауз. Тогда я спросил у Марри, сославшись на Уила Роуза, которому об этом сказал Бэнкс. Марри в ответ заверил меня, что посвящение написано самим лордом Байроном, и в подтверждение показал мне его рукопись. Я написал Роузу, чтобы он сообщил об этом Бэнксу, потому что, если бы история стала известной в нашем кругу, она могла бы иметь неприятные последствия. Байрон полагал, что все люди с творческой фантазией склонны примешивать вымысел (или поэзию) к своей прозе. Он не раз выражал уверенность, что прославленная венецианская куртизанка, о которой Руссо рассказал столь пикантную историю, при ближайшем знакомстве, несомненно, оказалась бы весьма грязной девкой. Думаю, что он сам значительно приукрашивал собственные любовные похождения и во многих смыслах был *le fanfaron de vices qu'il n'avoit pas*.¹ Ему нравилось, чтобы его считали человеком ужасным, таинственным, мрачным, и порой он намекал на какие-то темные деяния. Думаю, все это было созданием и игрой буйной и безудержной фантазии. Таким же образом он, что называется, *пичкал* людей рассказами о дуэлях и т. п., которые или вовсе не состоялись или были сильно приукрашены. <...>

Что мне особенно нравилось в Байроне, помимо его безграничного гения, так это щедрость духа, а также кошелька, и глубокое отвращение ко всякой аффектации в литературе — от менторского тона до жеманства...

22 декабря

Я написал вчера шесть моих убористых страниц, что составляет примерно двадцать четыре печатные страницы. Более того — мне кажется, выходит на славу. История настолько интересна сама по себе, что можно не сомневаться в успехе книги. Конечно, она

¹ Человеком, похваляющимся пороками, которых у него нет (франц.).

будет поверхностной, но я готов пойти и на это. Лучшее поверхностная книга, которая ярко и живо соединяет известные и признанные факты, чем унылое, скучное повествование, которое сочинитель прерывает на каждом шагу, чтобы углубиться в предмет, вовсе не требующий углубленных размышлений.

Ничто так не утомляет, как прогулка по красивой местности с дотошным натуралистом, ботаником или минералогом, который постоянно отвлекает ваше внимание от величественного пейзажа и показывает какую-то травку или камушек. Правда, он сообщает полезные сведения из своей области, равно как и дотошный историк. А ведь эта мысль будет отлично выгладеть в предисловии!

Моя печень совсем утихла. Я убежден, что она разыгралась просто от с недавнего меня беспокойства. Какая чудесная связь между душой и телом!..

28 декабря

...Когда я впервые понял, что обречен стать литератором, я приложил стоические усилия, дабы избавиться от той болезненной чувствительности — или, скажем прямо, тщеславия, — которая делает племя поэтов несчастным и смешным. Я всегда старался подавить в себе столь присущую поэтам жажду похвал и комплиментов.

1826

3 февраля

...Джеймс Баллантайн весьма осуждает в «Вудстоке» то, что он зовет подражанием миссис Рэдклиф. С ним согласятся многие, но я считаю, что он неправ <...> Во-первых, к самому факту, что другой автор успешно обработал некий сюжет, я отношусь, как птица к пугалу, отгоняющему ее от поля, где она, не будь этого пугала, могла бы отлично пожить! Во-вторых, между нами огромная разница: я вовсе не стремлюсь возбудить в читателе ужас перед сверхъестественным, а просто хочу показать действие подобного

страха на героев романа, из которых один — человек разумный и твердый, другой — сокрушенный угрызениями совести, третий — тупой, нелюбопытный мужлан и четвертый — образованный и достойный, но суеверный священник. В-третьих, роман строится на этой основе, и поэтому без нее никак не обойтись...

9 февраля

Байрон обычно пинал и язвил напыщенность и жаргон у писателей с таким презрением, с каким этого не делал никто из известных мне литераторов, забравшихся так высоко. И то сказать, я и не знавал никого, кто бы забрался так высоко; а прежде чем позволить себе презирать высокое положение, надеясь при этом убедить и других, что ты не разыгрываешь лису, взирающую на виноград, ты должен сам стоять на вершине. Мур рассказал мне несколько прелестных историй о нем. Вот одна из них. Как-то раз в Венеции они стояли у окна палаццо Байрона и любовались великолепным закатом. Мура, естественно, потянуло сказать что-то о том, как это красиво, на что Байрон ответил тоном, который легко могу себе представить: «Ох, черт возьми, Том! Не говори так поэтично!» В другой раз, когда он стоял с Муром на балконе того же палаццо, мимо проплыла гондола с двумя англичанами, — их сразу можно было узнать по виду. Они рассеянно взглянули на балкон и поплыли дальше. Байрон скрестил руки и, перегнувшись через перила, сказал: «Ах, черт бы вас побрал! Кабы вы знали, на каких двух молодцов вы сейчас глядели, вы смотрели бы на нас подольше». Таким был этот человек — капризный, прихотливый, насмешливый и при этом гениальный. Он никогда не принуждал себя писать, неизменно творил по вдохновению; потому я всегда считал Бернса и Байрона самыми истинными поэтическими гениями не только моего времени, но и за полвека до меня. У нас, конечно, есть много людей большого поэтического дарования, но, думается, нет такого неиссякаемого и вечного источника чистой влаги...

Вчера вечером окончил второй том «Вудстока», и сегодня утром надо приниматься за третий. Но у меня нет ни малейшего представления, как довести историю до развязки. Я точно в том же положении, как в былые годы, когда блуждал в незнакомом краю. Я всегда шел по самой приятной дороге, и либо она оказывалась кратчайшей, либо я ее такой считал. Так же и в работе — никогда не умею составить план, а если и составлю, то никогда не придерживаюсь его: когда я пишу, одни эпизоды разрастаются, другие сокращаются или вовсе исчезают; герои начинают играть важную или, наоборот, незначительную роль, в зависимости не от основного замысла, а от того, как они у меня получились. Я только стараюсь, чтобы то, что я пишу, было занимательно и интересно, а в остальном полагаюсь на судьбу. Меня часто забавляет, что критики находят некоторые эпизоды особенно тщательно обработанными; в действительности же рука писала их без задержки, а глаза прочли их снова только в корректуре. Стихи я переписываю два, а иногда даже три раза. По-испански этот способ сочинения называется *dar donde diere*,¹ а по-нашему *тяп-ляп, как попало*; признаю, это опасный способ, но ничего не могу поделать. Когда я пытаюсь сковать разумом плоды своего воображения, — а это не то, что логические построения, — мне кажется, что солнце покидает небосвод, что своими умствованиями я уничтожаю всю живость и одушевление первоначального замысла и что в результате получается нечто холодное, скучное и безжизненное. Та же разница между речью написанной и той, что свободно, непреднамеренно вырывается из груди оратора; в последней всегда есть хоть немного энтузиазма и вдохновения. Но я не хотел бы, чтобы молодые авторы подражали моей беспечности. *Consilium popi currem capere*.²

¹ Как вышло — так вышло (*исп.*).

² Стремись к размышлению, а не к быстроте (буквально: прими совет, а не колесницу) (*лат.*).

Прочел несколько страниц Уила Давенанта, которому так нравился слух, будто бы Шекспир свел интрижку с его матерью. Думаю, что к этому следует относиться как к претензии Фаэтона в Филдинговом фарсе:

Мальчишки дразнят — просто стыд и срам:
«Ублюдок! Солнцев сын! Катись к чертям!»¹

Ба, да я эти строчки вставляю в «Вудсток»! Они хорошо прозвучат в устах старого поклонника Шекспира. Но ведь они тогда еще не были написаны. Что же с того? Какой-нибудь пройдоха обнаружит анахронизм — беда невелика. К тому же можно заявить, что они были уже написаны и Филдинг только заимствовал их из предания...

13 февраля

Истинная цель и высшее назначение всех изящных искусств — это воздействовать на человеческие страсти или временно сглаживать и смягчать беспокойство духа: возбуждать удивление, или ужас, или удовольствие, или какие-либо иные чувства. Часто бывает, что при самом зарождении и возникновении этих искусств, как, например, в случае с Гомером, основное назначение воплощается с таким совершенством, которое недоступно потомкам. Однако важно также и самое исполнение; в более утонченные времена поэты и музыканты стараются отточить его, придать своим произведениям изящество, отличное от грубой силы произведений их предшественников. В поэзии начинают господствовать сложные правила, в музыке — ученые каденции и гармонии, в риторике — изысканные периоды. Исполнению уделяется больше внимания, а впечатление получается меньшее. При этом, однако, благородная цель искусства — служение народу — не забывается; и хотя некоторые произведения слишком учены, слишком *recherchés*² для широких кругов публики, однако время от времени

¹ Перевод Э. Линецкой.

² Вычурны (франц.).

рождается музыка, электризирующая все собрание, красноречие, потрясающее форум, поэзия, возносящая людей на седьмое небо. Но в живописи дело обстоит иначе; она становится таинством, познание которого доступно лишь немногим знатокам, чья цель — не восхвалять творения художников, производящих впечатление на все человечество, но классифицировать их соответственно владению прикладными правилами искусства. Спору нет, правила совершенно необходимо изучать, чтобы следовать им, но все же они должны рассматриваться лишь как *gradus ad Parnasum*¹ — ступень, ведущая к высшей и конечной цели — глубокому воздействию на зрителей. Эти знатоки усвоили ту самую манеру критики, которая заставила Микеланджело назвать некоего папу жалким созданием, когда его святейшество, не обращая внимания на общий вид величественной статуи, принялся критиковать отделку мантии. В этом, мне кажется, и заключена причина упадка этого прекрасного искусства, особенно исторической живописи — благороднейшего его вида. А так как я пишу это для себя, то могу добавить, что живопись тогда лишь достигнет совершенства, когда будет что-то говорить душе человека, подобного мне, — образованного и восприимчивого ко всему тому, что способно возбудить естественные чувства. Но как редко встречается что-либо, способное меня тронуть! Уилки, который заслуживает большего, чем прозвище «Шотландский Тенирс», несомненно принес много новых идей. И Уил Аллен — тоже, хотя его и замучили упреками по поводу колорита и композиции, из-за которых не хотели признавать его общих достоинств и самобытности. Чудесней собак Лэндсира я не видал ничего — они так и прыгают, и скачут, и скалятся на полотне. Лесли очень одарен. А сцены из Мольера превосходны. И все же нужен человек, который смог бы возродить живопись, который вывел бы паутину из своей головы, прежде чем взяться за палитру, как это сделал Чантри в родственном искусстве. В настоящее время мы пишем картины

¹ Ступень к Парнасу (лат.).

на античные сюжеты, как в дни Людовика XIV поэты писали эпические поэмы по рецептам мадам Дасье и компании. У бедного читателя или зрителя положение безвыходное: произведения создаются *secundum artem*,¹ а если они ему не нравятся, за ним не признают права судить их — и дело с концом.

14 апреля

...Получил письмо от прославленного Дениса Давыдова, Черного Капитана, который так отличился в партизанской войне во время отступления из Москвы. Удалось бы мне вытянуть из него хоть несколько историй — вот был бы богатый улов!..

4 июня

...Люди всегда кричат о методичности в работе, и действительно, она полезна в некоторых отношениях и дает большие преимущества деловым людям; но, на мой взгляд, методичные писатели, которые могут отложить или взять перо точно в назначенный час, — довольно жалкие создания. Леди Луиза Стюарт рассказывала мне, что мистер Хул, переводчик Тассо и Ариосто, и в этом своем качестве — благородный преобразователь золота в свинец, был клерком в Ост-Индской компании, носил длинные кружевные манжеты и костюм табачного цвета. Он изредка навещал ее отца, и она имела случай разговаривать с ним. Ее позабавило, когда он сказал, что каждый день *делает* одинаковое число двестишестидесяти, ни больше, ни меньше; он привык, и ему это было легко, зато читателю приходилось туго...

16 июня

Вчера получил в подарок две гравюры с моего портрета работы сэра Генри Реберна — последнего портрета, который он (бедняга!) написал, и, безусловно, не худшего. Я имел удовольствие передать одну из

¹ По правилам искусства (лат.).

гравюр молодому господину Давыдову для его дяди — прославленного Черного Капитана кампании 1812 года. Любопытно, что ему захотелось получить изображение человека, который стяжал некоторую известность совсем иными заслугами. Но мне кажется, что если в моей поэзии или прозе и есть что-либо хорошее, так это та непосредственная искренность, которая нравится солдатам, морякам и юношам деятельного и решительного склада. Я не вздыхатель в тени ветвей, не автор

Песенок сельских и нежных куплетов,
Тех, что свистят на тростинке весной.

29 сентября

...Написал пять страниц — почти двойное задание, хотя бродил три часа с топором, надзирая за прореживанием домашних посадок. Это тоже полезно. Чувствую, как это придает устойчивость моей душе. Говорят, что женщины сходят с ума значительно реже мужчин. Если это так, то причина тому отчасти мелкая ручная работа, которой они постоянно заняты, — она в известной мере регулирует поток их мыслей, как маятник регулирует движение часов. Не знаю, прав я или нет, но мне думается, что, окажись я в одиночном заключении, без всякой возможности совершать моцион или чем-нибудь заниматься, шести месяцев хватило бы, чтобы я превратился в безумца или идиота.

18 октября

Вновь принялся за заметки о моих подражателях. Я убежден, что не обижаю этих господ, называя их так, и от души желаю им следовать лучшим образцам; но это помогает мне обнаружить *veluti in speculo*¹ собственные ошибки или, если угодно, ошибки *стиля*. Все же, думается, у меня есть перед ними одно преимущество: они, пожалуй, валяют дурака изящнее,

¹ Словно в зеркале (лат.).

зато я, как сэр Эндрю Эггючик,— натуральнее. Им, чтобы набраться знаний, приходится читать старые книги и справляться с коллекциями древностей, я же пишу потому, что давно прочел все эти книги и обладаю благодаря сильной памяти сведениями, которые им приходится разыскивать. В результате у них исторические детали притянуты за волосы, а подробные описания, не способствующие развитию сюжета, притупляют интерес к нему читателя. Возможно, я и сам этим грешил; в самом деле, я слишком хорошо понимаю, что для меня сюжет был, как говорит Бэйс, средством набить книгу интересными вещами, так что по отношению к описаниям он был вроде нитки кукольника, с помощью которой вытягивают и выставляют напоказ королей, королев, битву при Ватерлоо, Бонапарта на острове святой Елены, скачки в Ньюмаркете и Белоголового Боба, которого Джемми гонит прочь из города. Все это я, конечно, делал, да зато потом и раскаялся. А в своих лучших произведениях, где действие развивается с помощью реально существовавших лиц и связано с историческими событиями, я старался переплести их возможно теснее, и в дальнейшем буду уделять этому еще больше внимания. Нельзя, чтобы фон затмевал основные фигуры, а рама подавляла картину.

Другое мое преимущество: мои современники воюют слишком уж открыто. Мистер Смит вставил в «Брэмблтай-хауз» целые страницы из «Пожара и чумы в Лондоне» Дефо.

«Украсть»! Фу! Что за низменное слово!
«Переместить», — так мудрый говорит!

Когда я «перемещаю» какой-то эпизод и т. п., я всячески пытаюсь замести следы, словно меня могут привлечь за это к уголовной ответственности в Олд-Бейли.

Но эти подражатели, из-за которых в конце концов подобные вещи набьют оскомину, так теснят меня со всех сторон, что я, как загнанная лиса, ищу способа обойти своих преследователей, стараюсь при-

думать какую-нибудь новую уловку, чтобы сбить их со следа и выгадать одну-две мили, а там пуститься во всю прыть с помощью ног да попутного ветра.

Есть, конечно, средство добиться новизны: основывать успех на искусно построенной интересной фабуле. Но горе мне! Это требует раздумий, размышлений, надо писать по тщательно разработанному плану, а пуще всего — придерживаться чего-то одного, а я так не умею, потому что, когда пишу, эпизоды разрастаются совсем непропорционально тому месту, какое каждый из них занимал в первоначальном замысле, так что — черт возьми! — я никогда не могу додумать его как следует. И все же я заставлю мир удивляться и обгоню всех этих подражателей!!! Мы еще себя покажем.

За свободу в бой пойдем!
Смерть или победа!..

12 ноября

...Слава богу, что наши мысли скрыты от посторонних. О, если бы, находясь в свете, мы могли видеть, что происходит в душе каждого, мы стали бы искать берлоги и пещеры, чтобы укрыться от людского общества! Видеть, как прожектор трясется, ожидая провала своих спекуляций, как сластолюбец клянет свое последнее рождение, как скряга изматывает себе душу из-за утраты гиней, как все, все охвачены суетными надеждами и еще более суетными сожалениями! Нам не понадобилось бы идти в преисподнюю за калифом Ватеком, чтобы узреть, как сердца людей пылают за черной завесой. Боже, храни нас от искушения, ибо никто из нас не может быть собственным пастырем!..

20 ноября

...Касаясь финансов, должен заметить, что мои расходы на путешествия сильно возросли. Я уже слишком стар, чтобы мириться с лишениями, скардничать и, таким образом, экономить полсотни

фунтов. Зато я выгадал на здоровье, расположении духа, запасы новых мыслей, новых планов и новых взглядов. Мое уважение к себе возросло (надеюсь, не без оснований) благодаря многим лестным для меня обстоятельствам, сопутствовавшим посещению обеих столиц, и я теперь чувствую себя увереннее. А работать и наводить экономию буду уже в Шотландии.

11 декабря

...Да продлится твоя слава и почует душа твоя в мире, Роб Бернс! Когда я хочу выразить чувства, овладевшие мной, я нахожу нужные слова у Шекспира или у тебя. Болваны болтают, будто я подобен Шекспиру... Я недостоин даже завязать шнурки на его башмаках!

1827

1 января

...Не сравниваю себя по части воображения с Вордсвортом — ни в коем случае: ему присуща естественная тонкость, доведенная постоянным упражнением до совершенства. Но и я не хуже других могу видеть замки в облаках, джиннов — в клубящемся дыме паровой машины и прекрасный Персеполис — в пламени каменного угля. Вся моя жизнь проходила в подобных снах наяву. Но я не хвастаюсь этим. Иногда следует помнить, что говаривал Руссо: «Tais-toi, Jean-Jacques, car on ne t'entend pas!»¹

15 февраля

...Получил письмо от барона фон Гёте; мне прочли его, потому что, хотя я и знаю немецкий, но забыл письменный шрифт. Я взял себе за правило лишь изредка читать заграничные письма от литературной братии и никогда не отвечать на них. Ведь из этого

¹ Помолчи-ка, Жан-Жак, — ведь тебя не понимают! (франц.).

ничего не выходит, кроме перекидывания волана комплиментов, легковесных, как пробка с перьями. Но Гёте — это другое дело. Чудесный человек. Он одновременно и Ариосто и почти Вольтер для Германии. Кто бы предсказал мне лет тридцать назад, что я стану переписываться с творцом «Гёца» и буду чуть что не на равной ноге с ним? Да, и кто бы предсказал еще сотню других вещей, которые со мной приключились?

6 марта

...Мы пошли в театр. Брат Джона Кембла играл Бенедикта. У него красивая внешность, и он хороший актер, но не превосходный. Все время помнишь, что он играет. И попутал же его черт взяться за моего любимого Бенедикта, для которого ему не хватает силенок! Он не имеет ни малейшего понятия о роли, особенно о том, как Бенедикт должен вести себя в сцене ссоры с принцем и Клавдио, в которой он поднимается почти до трагедийного величия. Давным-давно старый Том Кинг превосходно показывал, как он отбрасывает легкомысленное чудачество и являет себя человеком чувствующим и благородным. Особенно мне памятен суровый тон высокого нравственного чувства в словах: «В несправедливой ссоре настоящей доблести нет», которыми он обрывал жестоко-легкомысленное веселье принца и Клавдио...

7 мая

Закончил статью о Гофмане *talis qualis*.¹ Мне она не нравится, но я часто бывал недоволен вещами, которые потом имели успех. Наши труды становятся нам противны из-за того, что мы снова и снова переворачиваем в голове одни и те же мысли. Для других же, кому они являются впервые, они имеют прелесть новизны. Дай бог, чтобы было так. Если смогу, я охотно приду на помощь этому бедняге, потому что сам беден.

¹ Так или иначе (лат.).

8 мая

...Исправлял статью о Гофмане, однако не смог довести до конца. Закончил статью о сочинениях Дефо. Его основное достоинство состоит в необычайном *vraisemblance*.¹ Я это показал на примере истории призрака миссис Вил...

24 мая

...Мне пришла в голову хорошая мысль — написать для маленького Джонни Локарта рассказы из истории Шотландии вроде «Рассказов из истории Англии». Но я не стану ее писать простовато, как Крокер. Я убежден, что и дети и низший класс читателей терпеть не могут книг, которые *снисходят* до их возможностей, и, наоборот, любят книги посложнее, предназначенные для старших и более образованных читателей. Я напишу, если удастся, такую книгу, которую поймет ребенок, но и взрослому захочется прочесть ее, если она попадет ему на глаза. Для этого, правда, нужна простота стиля, что мне не совсем свойственно. Великое и занимательное содержится в мыслях, а не в словах...

4 августа

...Меня посетил генерал Ермолов с письмом от доктора Нокса, которого я не знаю. Если это Вицесимус, то мы встречались лет двадцать пять назад и не поладили. Зато имя генерала Ермолова, по счастью, мне известно. Это человек в расцвете сил, лет тридцати, красивый, уверенный в себе и восторженный; он страстный поклонник поэзии и всяких искусств. Ермолов участвовал в Московской кампании и во всех последующих, хотя, конечно, был тогда очень молод. Он нисколько не сомневается, что Москву сжег Ростопчин; он сказал, что перед вступлением французов, когда жители покидали город, распространился слух, что оставлены люди, которые должны уничтожить

¹ Правдоподобие (*франц.*).

Москву. Я спросил его, почему в первую очередь не был подожжен пороховой склад. Он отвечал, что, по его мнению, взрыв склада был опасен для отступающих русских. Это выглядит неубедительно. Русские колонны находились слишком далеко от Москвы, чтобы это могло им повредить. Я пристал к нему с расспросами о причинах медлительности операций Кутузова, и он откровенно признался, что русские были так обрадованы и удивлены отступлением французов, что не сразу осознали размеры полученного ими преимущества...

4 октября

...Так называемое высшее общество, которое я довольно повидал на своем веку, теперь меня только забавляет, потому что благодаря возрасту и равнодушию я отвык считать себя его частью; у меня такое чувство, что я уже — не одно из *dramatis personae*,¹ а лишь сторонний наблюдатель, о котором не скажешь, хорошо или плохо он исполняет свою роль, ибо он вовсе не играет. И нимало не заботясь о том, что обо мне думают, я имею довольно времени для наблюдений за игрой других...

7 ноября

Сегодня утром начал успокаиваться после пережитой за последние дни умственной и даже физической спешки. Принялся за статью, а именно — очерк о декоративном садоводстве для «Куортерли ревью». Но скоро застрял за недостатком книг. Однако я не хотел давать себе отдых, предоставляя мыслям свободу, и немедленно принялся за вторую серию «Кэнонгейтской хроники», поскольку первая имела успех. Нанес второй визит и изрядно размяк, как старый дурень, вспоминая былые времена, пока наконец уже не был годеи ни на что, кроме как лить слезы и читать стихи всю ночь напролет. Это грустное дело. Могилы отдают своих мертвецов, и время катится на тридцать

¹ Действующих лиц (лат.).

лет назад, приводя меня в полное расстройство. Ну, да ладно. Я ожесточаюсь, теряю, как загнанный олень, природное добродушие и становлюсь свирепым и опасным. Но какую повесть можно рассказать, и боюсь, в один прекрасный день она будет рассказана! И тогда, несомненно, будут увековечены три года моих снов и два года пробуждения. Но мертвые не чувствуют боли.

14 ноября

...Читал в «Гэзетт» о великой Наваринской битве, в которой мы хорошенько поколотили турок. Но если говорить о законности нашего вмешательства, то предположим, что какой-то турецкий дипломат в огромном тюрбане и широченных шальварах стал бы диктовать нам, как нам следует обращаться с нашими непокорными подданными — ирландскими католиками. Мы не спешим дать согласие на его вмешательство, и тогда мусульманский флагман врывается в Корт-бей или Бэнтри-бей, где стоит британская эскадра, и посылает шлюп, чтобы отбуксировать брандер. Судно стреляет в шлюп и топит его. Кто же совершил нападение: тот, кто выстрелил первым, или тот, чьи маневры вызвали стрельбу?..

5 декабря

Много занимался подготовкой к работе над новым романом и решил как-нибудь использовать историю Гарри Уинда. «На северном краю Перта» звучит неплохо как заглавие, и можно будет показать различие между древним горцем и современным. Парень, переплывший Тэй и спасшийся таким образом, был бы хорошим комическим персонажем. Но я хочу попробовать связать его с серьезной линией трагедии. Мисс Бейли сделала своего Этлинга прирожденным трусом и в то же время героем, когда затронуты его сыновние чувства. Представим себе человека, в котором отвага поддерживается чувством чести или, скажем, ревностью; это чувство помогает ему преодолеть природную робость до определенного момента, а затем

внезапно исчезает — думаю, это может произвести некое трагическое впечатление. Джеймс Баллантайн в своей критике, боюсь, слишком уж придерживается общепринятых взглядов на роман, чтобы согласиться с подобными рассуждениями. Но что делать? Я туг на воображение, а свет требует новизны. Что ж, попробую моего храброго труса или трусливого храбреца...

7 декабря

...У меня есть одна характерная черта: я работаю, вернее — размышляю над работой лучше всего, когда одновременно *как бы* занят чем-то другим — чтением, например. Когда я обнаруживаю, что пишу плохо или что зашел в тупик, я беру какую-нибудь легкую книгу, роман или что-то вроде, и обычно стоит мне немного почитать, как все трудности исчезают, и я снова готов писать. В моей голове должны проходить сразу два потока мыслей; быть может, более легкое занятие, наподобие прядения или вязания у женщин, служит для того, чтобы придать уму устойчивость, мешая мыслям разбегаться, и, таким образом, предоставить более глубокому потоку возможность течь беспрепятственно. Я всегда смеюсь, когда слышу, как говорят: «Делай зараз что-то одно». Всю свою жизнь я делал десяток вещей зараз...

11 декабря

...Баллантайн переслал мне довольно неприятное письмо Кэделла. Как видно, мистер Кэделл недоволен умеренным успехом первой серии «Хроники» и отрицательно относится к уже написанному почти до половины тому второй серии, явно сожалея о своем участии в деле. Я не столь глуп, ответил я, чтобы полагать, будто благосклонность ко мне публики будет длиться вечно, и я не был ни поражен, ни встревожен, когда убедился, что она уже иссякла, ибо рано или поздно так и должно было случиться. Пожалуй, это создаст некоторые неудобства, но я предпочел бы отказаться от дела, лишь бы не причинить еще боль-

ших убытков. Не вижу, написал я им, иного выхода, как оставить поле под паром и дать временный отдых своему воображению, которое уже, можно считать совершенно истощено. Я-то как-нибудь перебыюсь, несмотря на крах наших надежд, но, думаю, и Кэделл и Д. Б., вероятно, пострадают. Так или иначе, но они вправе откровенно высказывать свое мнение, которое, можно считать, весьма точно совпадает с мнением публики. Итак, я и в самом деле считаю их критику разумным основанием для того, чтобы прекратить работу над этой книгой, хотя часть сделанного сохранию до лучших времен.

12 декабря

Вновь обдумал возможность падения моей литературной репутации. Я настолько глубоко равнодушен к порицанию или похвале света, что никогда не ослеплялся самомнением, которое, казалось бы, мог внушить мне мой огромный успех. Поэтому, что касается моих чувств, то я способен встретить это событие с неколебимой твердостью. Если литературная репутация приносит какие-либо преимущества, то я их имел, но утрата их меня нимало не заботит.

Никто не сможет отрицать, что я *носил корону*. С точки зрения моих деловых обязательств весьма некстати, что я вынужден именно сейчас отложить работу, и это единственная причина, почему я не прекращаю литературного труда; но по крайней мере не стану продолжать это проигрышное дело — писание романов. Листы, которые вызвали нарекания, заберу назад, но это не значит, что я стану переписывать их заново. <...>

Два моих ученых фиванца посетили меня и уехали после длительного совещания. Они решительно осудили перерыв в работе, считая, что он приведет к полному краху. Я высказал им свои соображения по поводу трудностей и опасностей, которые навлеку на себя, если стану упорствовать, и объяснил им, что смогу найти употребление своему времени в течение полугода или даже года, пока публика не нагуляет аппетита. Они ответили (и в этом действительно есть

некоторый риск), что ожидания за это время возрастут настолько, что ни один смертный не будет в силах их удовлетворить. Следует также иметь в виду то, о чем они промолчали, а именно, что меня могут совсем оттеснить, как лошадь на скачках, которая было вырвалась вперед, но не старалась удержать свое преимущество. В итоге мы решили, что нынешнюю книгу я буду продолжать, как начал, только исключу некоторые места из введения, против которых они возражают. Вот прекрасный пример вкуса публики, и, безусловно, лучше пойти им навстречу и уступить, если только у меня нет полной, подчеркиваю — *полной* уверенности, что прав я, а не они. К тому же я не боюсь, что они чрезмерно критичны в данных обстоятельствах, так как оба они — здравомыслящие люди, не склонные приносить возможность надежной прибыли в жертву причудам критического вкуса...

24 декабря

Выехал из Арнистона после завтрака и к обеду прибыл в Эбботсфорд.

Когда я въезжал в собственные ворота, мысли мои были совсем иного рода и много приятнее тех, с которыми я покидал свой дом около шести недель назад. Тогда я раздумывал, не следует ли мне бежать из родной страны или объявить себя банкротом и пойти на распродажу библиотеки и домашней обстановки вместе с имением. Человек, искушенный в житейских делах, скажет, что лучше бы мне так и сделать. Конечно, поступи я так сразу, я бы имел в своем распоряжении те двадцать пять тысяч фунтов стерлингов, которые я заработал и отдал в погашение своих долгов после банкротства фирм Констебла и Робинсона. Но тогда я не мог бы спать так спокойно, как сейчас, получая благодарность кредиторов и сознавая, что выполняю свой долг, как подобает честному и благородному человеку. Я вижу перед собой долгий, томительный и унылый путь, но ведет он к истинной славе и незапятнанной репутации. Если я свалюсь по дороге, что весьма возможно, то по край-

ней мере умру с честью; если же достигну своей цели, то обрету благодарность всех заинтересованных лиц и одобрение собственной совести...

28 декабря

...Если у меня и есть в чем-нибудь сноровка, так это в умении извлекать поразительный и интересный сюжет из множества скучных подробностей, и поэтому я нахожу столько приятного и поучительного в томах, слышащих скучными и неинтересными. Дайте мне факты, а воображения мне хватит своего...

1828

1 января

Я веду дневник с 20 ноября 1825 года, то есть уже два года и два месяца. Не скажу, чтобы стал от этого умнее или лучше, но я убедился, что способен держаться однажды принятого решения. Пожалуй, радоваться тут нечему; пожалуй, это лишь показывает, что я скорее человек методический, нежели оригинальный; у меня уже нет той живости фантазии, которая несовместима с регулярным трудом. Однако даже если дело обстоит так, мне следует радоваться тому, что, потеряв одно, я хоть приобрел другое.

14 января

Прочел новый роман Купера «Красный корсар»; действие его разворачивается почти исключительно в океане. Некоторое излишество мореходных терминов; по сути дела они подавляют все остальное. Но если только читатели заинтересуются описаниями, они проглотят и многое такое, чего не понимают. <...> Купер обладает могучим талантом, глубоким пониманием человеческой души и силой исполнения. Но, как видно, ему приходят в голову те же мысли, что и другим людям. Изящная форма рангоута и узор такелажа на фоне неба встречаются слишком часто.

28 января

...Прочел «Прерию» Купера, которая, по-моему, лучше его «Красного корсара», где ни разу не выходишь на берег, а для полного понимания событий необходимо слишком обширное знание мореходных терминов. Правда, это очень умный роман.

24 февраля

...Последние два-три дня я уперся в то, что «Критик» называет мертвой точкой — все события и персонажи в моей истории перепутались, образовав такой гордиев узел, что прямо не знаю, как его распутать. Несколько дней я обдумывал это положение с чувством, близким к тому отчаянию, которое охватило прекрасную принцессу, когда гнусная мачеха велела ей разобрать полный чердак перепутанных шелковых ниток всех цветов и размеров; но вот входит принц Персине, взмахивает волшебной палочкой над всей этой мешаниной — и гляды! — все нитки аккуратно разложены, как в мастерской белошвейки. Мне часто случалось ложиться спать, когда моя голова знала не больше, чем плечи, что мне писать дальше, а утром я просыпался с ясным и точным пониманием того, каким образом можно — хорошо ли, плохо ли — распутать сюжет. Думается, что работу ума в подобных случаях можно несколько оживить возбуждением, придаваемым нашему организму стаканом вина. Конечно, ни о каком излишестве не может быть и речи. Пожалуй, следующее мое утверждение может показаться странным, но это истинная правда: написав уже половину какого-нибудь романа, я действительно обычно не имею ни малейшего представления о том, как его окончить, короче говоря работаю в стиле *тяп-ляп, как попало...*

3 марта

Принялся очищать стол от писем, на которые я не ответил; их, по моему нерадению, накопилась целая авгиева куча. Я написал не менее двадцати ответов,

а ведь их можно было настрочить сразу, не теряя ни минуты. Делай все вовремя — и тогда работа будет спориться. Но когда тебя вечно отрывают по пустякам, поток твоего ума мелеет и ты теряешь то величавое течение мыслей, которое одно лишь может нести с собой глубокие и величественные планы. Иногда мне хочется стать одним из тех педантов, которые могут назначить себе определенные занятия на любой час дня и не отступать от своего расписания. Но я всегда вспоминаю, что у меня лучше получается à la débânde, ¹ чем при правильных и систематических занятиях. Начатая работа — для меня это камень, который я качу, чтобы сбросить его с горы. Первые обороты требуют больших усилий, но я подобен тому, кто vires acquirit eundo. ² Так вот, если камень остановить, то всю работу придется начинать сызнова. Возьмем менее лестное для меня сравнение: я как лошадь, больная шпатом; трогаясь с места, она хромает и спотыкается, но когда ее суставы разогреются, скачет весьма изрядно, так что лучше пускать ее по возможности на больший перегон. К тому же большинство известных мне педантов не были ни деловыми людьми, ни чиновниками, которым их обязанности предписывают работать в определенное время, нет, они добровольно становились

Рабами времени, вассалами звонка

и были весьма жалкими, на мой взгляд, существами...

8 апреля

Мы посетили могилу могучего чародея. Надгробие сделано в дурном вкусе времен Иакова I, но какое очарование царит в этом месте! Вокруг стоят величавые памятники забытых ныне родов; но как только видишь памятник Шекспиру, что тебе за дело до прочего? Все вокруг принадлежит Шекспиру...

¹ Беспорядочно (франц.).

² Движением набирает силы (лат.).

9 мая

...Позировал Норткоту, который, подобно художникам венецианской школы, хочет изобразить на той же картине и себя, пишущего мой портрет. Он уже стар, небольшого роста, согбен годами — ему не меньше восьмидесяти. Но у него быстрый глаз и благородное лицо. Приятный собеседник, хорошо помнящий сэра Джошуа, Сэмюела Джонсона, Берка, Голдсмита и др. Рассказ его о последнем подтверждает все, что мы слышали о чудачествах этого человека...

10 мая

Второй долгий сеанс у старого чародея Норткота. Он действительно похож на живую мумию. Под влиянием его рассказов я изменил свое мнение о сэре Джошуа Рейнолдсе, которого со слов Голдсмита, Джонсона и других привык считать человеком добродушным и благожелательным. А он, хотя и обладал некоторым великодушием, был холоден, бесчувствен и равнодушен к своему семейству настолько, что его сестра, мисс Рейнолдс, выразила однажды удивление по поводу приема, который ему всегда оказывали в обществе, и добавила: «Для меня он только мрачный и угрюмый тиран». Признаюсь, такое мнение о нем меня покорило: оно отняло у меня приятное представление о возможном сочетании высочайшего таланта с прелестнейшим характером. Но Норткот сказал, что его дурные черты были скорее негативными, нежели позитивными, они объяснялись скорее недостатком чувствительности, чем действительным желанием уязвить кого-то или тиранствовать. Они проистекали из его исключительной приверженности к искусству...

29 мая

...Развлекался сегодня чтением книги Локарта «Жизнь Бернса», которая превосходно написана. Просто отличная вещь. Он поступил благоразумно, умолчав о пороках и безрассудствах Бернса, потому что, хотя Карри, я сам и другие не сказали ни слова

неправды на этот счет, но подобно тому, как тело покойника распрямляют, обряжают в саван и придают ему пристойный вид, точно так же бережно надо обращаться после смерти с репутацией столь неподражаемого гения, как Бернс. Рассказ о его пороках или хотя бы о порочных наклонностях только огорчит расположенного к нему человека, а развратника обрадует.

30 мая

...Не могу никак понять причины нашего пристрастия к женской красоте, которая вызывает своего рода сдержанное преклонение пожилых, равно как и иступленный восторг юнцов; но совершенно очевидно, что даже избыток любых других достоинств в женщине не в состоянии уравновесить полное отсутствие этого качества. Я, для кого красота ныне и впредь — лишь картина, все еще смотрю на нее с тихой преданностью старого почитателя, который уже не станет воскурять фимиам перед святыней, но смиренно затеплит свой огарок, опасаясь притом, как бы не обжечь пальцы. Нет ничего на свете более нелепого и жалкого, чем старик, подражающий страстям своей юности...

1829

15 февраля

...Мне крайне редко удается обдумать что-нибудь, если я лежу в совершенной праздности. Но когда я беру пустую книжку или гуляю, ум мой, как бы из противоречия, бредет назад к своему делу; то, о чем я читаю, смешивается с тем, о чем я писал, и в голове что-то заваривается. Этот умственный процесс я могу сравнить лишь с тем, что происходит с прядильщицей, для которой механическая работа служит своего рода аккомпанементом к ее песням или течению мыслей. Выражение «нос age»,¹ которое часто повторял отец,

¹ Обрати внимание (лат.).

не согласуется с моим нравом. Я не в силах приковать свой ум к одному предмету, и, только поддерживая два потока мыслей, могу привести в порядок один из них...

29 апреля

...По правде сказать, я испытываю весьма мало уважения к дорогой *publicum*,¹ которую обречен ублажать, как ханжа Трэш в «Варфоломеевской ярмарке», трещотками и имбирными пряниками, и я был бы весьма неискренним перед теми, кому, быть может, случится прочесть мои признания, если бы написал, что публика, на мой взгляд, заслуживает внимания или что она способна оценить утонченные красоты произведения. Она взвешивает достоинства и недостатки фунтами. У тебя хорошая репутация — можешь писать любой вздор. У тебя плохая репутация — можешь писать как Гомер, ты все равно не понравишься ни одному читателю. Я, пожалуй, *l'enfant gâté de succès*,² но я прикован к столбу и должен волей-неволей стоять до конца...

30 апреля

...Нет, никто не может сказать, что я ем хлеб праздности. Да и с чего бы? Тот, кто работает не по необходимости, добровольно обрекает себя изнурительному труду, и не будь у меня этой необходимости, я бы добровольно занимался такого же рода литературным трудом — правда, без того напряжения...

1831

23—25 февраля

...Если бы кто-нибудь спросил меня, сколько времени у меня уходит на обдумывание произведения, я ответил бы, что, с одной стороны, вряд ли найдется

¹ Публике (лат.).

² Ребенок, испорченный успехом (франц.).

в течение дня пять минут, чтобы я о нем не думал. Но, с другой стороны, оно никогда не бывает серьезным предметом размышления, ибо никогда не занимает мои мысли полностью хотя бы пять минут подряд, кроме тех случаев, когда я диктую мистеру Ледлоу.

16 марта

Поскольку дела с мистером Кэделлом улажены, мне только остается распределить свои занятия так, чтобы не переутомляться. Думается, что мой нынешний распорядок позволяет мне посвящать работе достаточно времени, учитывая мои силы, и если даже мне суждено достичь семидесяти, до которых осталось трижды три года или, точнее — почти десять лет, то я проведу это время с честью, пользой и выгодой для себя и других. Мой день протекает так: встаю без четверти семь; в четверть десятого завтракаю; на завтрак получаю яйца или по крайней мере одно яйцо, до завтрака пишу — письма и т. п.; после завтрака в десять часов приходит мистер Ледлоу, и мы вместе пишем до часу. Это прекрасный человек; он из всех сил старается писать красиво, очень мне помогает, заменяя, по возможности, мои собственные отказавшие мне пальцы. Мы серьезно трудимся над дневным уроком до часу, после чего я иногда гуляю пешком, однако не часто, потому что я ослабел, и к тому же даже небольшая прогулка причиняет мне сильную боль. Чаще всего беру пони и час или два езжу верхом вблизи дома; это довольно жалкое зрелище, потому что двум слугам приходится сажать меня на лошадь, а затем один из них идет рядом и следит, чтобы я не упал и не разбился насмерть, что легко может случиться. Моя гордая *promenade à pied*¹ или *à cheval*,² как придется, заканчивается к трем часам. Час до обеда посвящается дневнику и прочим легким занятиям. В четыре подают обед — тарелка

¹ Прогулка пешком (франц.).

² Верхом (франц.).

бульона или супа, столь порицаемого докторами, кусок простого мяса, никаких напитков крепче слабого пива, после чего сидя отдыхаю до шести, когда снова приходит мистер Ледлоу; он остается со мною до девяти, а иной раз и до без четверти десять. Затем я получаю миску овсянки и молоко и поглощаю их с детским аппетитом. Забыл сказать, что после обеда мне разрешается выпить полстакана слабого грога из разведенного джина или виски. Выпить больше мне никогда не хочется, и даже в глубине души я не тоскую по сигарам, хотя так их любил когда-то. Около шести часов работы ежедневно — это хорошо, если смогу так продолжать и впредь.

КОММЕНТАРИИ

•

ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЖСКИЙ

По всей вероятности, первоначальный замысел романа в самых общих чертах восходит к 1826 году. Об этом свидетельствует запись в дневнике, внесенная Скоттом против 19 февраля: «Обеспокоенный обильно нахлынувшими прихотями воображения и легким сердцебиением, читаю Хронику доброго рыцаря мессира Жака де Лалена — историю любопытную, хотя и однообразную из-за постоянных описаний похожих друг на друга сражений, изображаемых все одними и теми же фразами. Словно перебиваешь горы песка ради крупницы золота... Что-нибудь можно будет, очевидно, сделать из повести о рыцарской доблести, о том, как Жак де Лален выходил на «поединок честолюбия» каждое первое число месяца на протяжении года».

Скотт разумел «Книгу деяний» фламандского воина Жака де Лалена (1420—1453), изданную во Франции в XVII столетии. На службе у бургундского герцога Филиппа Доброго этот воин был посвящен в рыцари Золотого Руна за то, что не знал поражений в «поединках честолюбия» (*pas d'armes*). По условиям такого состязания одинокий рыцарь обязан был скрестить оружие с любым соперником, пожелавшим бросить вызов защитнику места. Состязания происходили в окрестностях Шалона-на-Соне, возле фонтана, прозванного Фонтаном слез. Засады, которые граф Роберт и Бренгильда устраивали всем странствующим рыцарям у часовни Владычицы сломанных копий, продолжают или, точнее говоря, предвосхищают традицию Жака де Лалена.

Непосредственно к работе над романом Скотт приступил осенью 1830 года. Он писал медленно и трудно, стесненный, по его словам, «досадными обстоятельствами политики и болезни». В мае 1831 года произошел эпизод, который, по-видимому, ускорил

кончину писателя. На парламентских выборах в Джеббурге, куда он явился, чтобы голосовать за кандидата тори, демонстранты встретили его яростными угрозами и выкриками: «Бей сэра Вальтера!» Их возмущение было вызвано неоднократными выступлениями Скотта против намечавшейся парламентской реформы. Еще ранее, в ноябре предыдущего года, Скотта поразил второй апоплексический удар. Окружавшие его лица (личный секретарь Ледлоу, издатели Баллантайн и Кэделл) говорили о том, что Скотт утратил умственные способности и остатки дарования, и советовали ему вовсе отказаться от творчества, с тем чтобы заняться, например, составлением каталогов для друзей-библиофилов. Баллантайна особенно волновали возможные убытки при издании «Графа Роберта». Возбешенный твердым отказом Скотта прекратить работу над романом, Баллантайн написал ему письмо, в котором, не заботясь о выражениях, заявил, что первые главы «Графа Роберта» «решительно слабее всего когда-либо написанного этим пером». Судя по записям в дневнике, Скотт весьма болезненно воспринимал эти выпады.

Роман был закончен ранней осенью 1831 года и опубликован вместе с «Замок Опасным» в четвертой серии «Рассказов трактирщика» в ноябре того же года.

Эпиграфом к «Графу Роберту Парижскому» Скотт избрал слова из поэмы Байрона «Дон-Жуан» (песнь пятая, строфа третья):

Софии купол, гордые снега
Олимпа, и военные фрегаты,
И роши кипарисов, и луга —
Я эти страны пел уже когда-то;
Они уже пленяли, не таю,
Пленительную Мэри Монтегью.¹

Обостренный интерес Скотта как мыслителя и художника к эпохе крестовых походов объяснялся тем, что в его глазах конфликт двух цивилизаций — восточной и западной — представлял собой переломный, имевший важные последствия момент истории. Художественная интерпретация сущности такого конфликта таила в себе неисчерпаемые творческие возможности. Исторический фон повествования и некоторые детали интриги могли быть заимство-

¹ Перевод Т. Гнедич.

ваны из авторитетных трудов крупнейшего английского историка Эдуарда Гиббона (1737—1794) и его последователя Чарлза Миллса (1788—1826), автора «Истории крестовых походов» и «Истории рыцарства», а также из комментированного знаменитым французским лингвистом и византиноведом Шарлем Дюканжем (1610—1688) латинского издания «Алексиады». Много томный труд Гиббона «История упадка и гибели Римской империи» (1776—1788) оставался для Скотта и его современников важнейшим источником сведений о Греческой империи. Между тем Гиббон, как и другие историки эпохи Просвещения, рассматривал средние века как эпоху глубокой политической и нравственной косности, претящего разуму застоя общественной жизни. С его точки зрения, Византия явилась воплощением наиболее отрицательных сторон средневековья — церковного мракобесия и фанатизма, тирании восточного типа с постыдным культом рабства и бессмысленной помпезностью придворного этикета. Он полагал, что ум и воля византийцев расточались в бесплодных схоластических и богословских спорах, жалких интригах и заговорах. «Обреченные рабы тщеславия и предрассудков», как их называл Гиббон, не могли создать долговечные культурные ценности. Находясь на идеалистических позициях, он ошибочно рассматривал историю Византии как продолжение упадка Западной Римской империи. Основной причиной кризиса Греческой империи Гиббон считал пагубное воздействие христианства, искоренившего «мужественную силу языческого Рима» и вытеснившего «исконный дух римских доблестей».

Однако представления эти во многом расходились с исторической правдой. Окруженная со всех сторон врагами — турками, арабами, половцами и другими, Византийская империя вынуждена была полагаться не столько на силу оружия, сколько на утонченное искусство своих дипломатов. Рост феодальной оппозиции внутри государства вынуждал императорскую власть хитроумно лавировать, учитывая соотношение сил, и прибегать к подкупам, тайным расправам и лицемерным посулам. Богословские споры и репрессии против еретиков имели более серьезное значение, чем это представлялось Скотту. Острая классовая борьба в империи принимала форму религиозного конфликта. Форму манихейской ереси приняло мощное народное движение против деспотии и феодально-церковного угнетения. Изображая ортодоксальную нетерпимость Алексея Комнина, каравшего невежественных еретиков, Скотт прежде всего характеризовал психологию этого монарха.

однако в исторической действительности описанный конфликт имел серьезные социальные основания.

Именно в эту эпоху наступил расцвет византийской культуры и науки. Греческие историки, изучавшие памятники античной мысли, оказали неоценимую услугу позднейшим европейским гуманистам, передав им по наследству накопленные знания. И в эту эпоху и в предыдущие века выходцы из Византии (например, создатели славянского алфавита Кирилл и Мефодий) несли свою культуру народам других стран. Описывая столкновение крестоносцев с Византией, Скотт преувеличивает отсталость и слабость греческих подданных с их пристрастием к показному блеску по сравнению с грубоватой отвагой рыцарей и непреклонным прямодушием варягов. В нравственном отношении византийцы нимало не уступали потомкам варваров, зато греческая образованность намного превосходила европейскую.

Воззрения Скотта на сущность христианства расходились с концепцией Гиббона. Консервативные тенденции, которым Скотт отдавал дань, особенно в последний период жизни, подразумевали признание облагораживающей роли христианства в общественном развитии. Так возникло в романе противопоставление истинно христианских идеалов крестоносцев фактическому безверию греков, педантически озабоченных формальными обрядами богослужения. Достаточно вспомнить в этом смысле последний разговор Агеласта с Бренгильдой (гл. XXV) и нелепую гибель философа, которая воспринимается как небесное возмездие за его кощунство.

Обильно черпая сведения об исторических событиях, а также колорит эпохи из «Алексиады», Скотт все же относился с предубеждением к этому труду Анны Комнин. Глава IV, в которой описано «ритуальное чтение» в покоях Анны, представляет собой пародию на выспренний, цветистый слог ученой принцессы. Между тем было бы несправедливо рассматривать «Алексиаду» лишь как бессодержательное риторическое упражнение — панегирик императору. Написанная образованнейшей женщиной того времени, хроника эта является весьма ценным документом византийской истории.

Прямое соответствие находит в романе эпизод ленной присяги крестоносцев Алексею Комнину, подробно изложенный в «Алексиаде». Своему герою, не имевшему исторического прототипа, Скотт приписывает дерзкий поступок французского рыцаря, имя которого не упоминается в византийской хронике. Однако не сле-

дует, разумеется, искать в романе точного воспроизведения фактов византийской истории. Создавая увлекательное повествование с острой и напряженной интригой, Скотт видоизменил некоторые события и нарушил их хронологическую последовательность. Так, например, попытка дворцового переворота, составляющая кульминацию романа, приурочена к 1096 году. На самом же деле Анна Комнина и ее муж Никифор Вриенний пытались захватить престол двадцать два года спустя, уже после смерти императора Алексея. Этот заговор, направленный против законного наследника, сына Алексея Иоанна, не увенчался успехом, и Анна была вынуждена удалиться в изгнание, где трудилась над историей царствования отца. Во время же Первого крестового похода Анна едва достигла отроческих лет. Но, разумеется, роман Скотта — это тонкая композиция, где исторические факты служат канвой драматической фабулы, укрепленной психологическим и бытовым правдоподобием, всегда составлявшим сильную сторону дарования Скотта.

В последние годы жизни Скотт отчетливо сознавал иллюзорность компромисса между нынешними социальными отношениями и прежним, отмиравшим укладом добуржуазной эры. Горечь утраченной иллюзии нашла выражение в «Графе Роберте Парижском», где фантазия писателя воскрешает и расцветивает давнее прошлое, которое стало несбыточной, но полной обаяния легендой. Восточная экзотика и романтика рыцарских подвигов преобладают в романе над общественно-историческим анализом. Таково существенное различие между поздней прозой Скотта и его романами шотландского цикла.

Характеристика действующих лиц в «Графе Роберте» выполнена в обычной для Скотта реалистической манере. Представители обоих лагерей — крестоносцы и греки — наделены характерами, соответствующими их социальным условиям и психологическому складу. Варяг Хирвард продолжает галерею «промежуточных» героев, не связанных убеждениями или иными интересами ни с одной из противостоящих друг другу группировок. «Честный и здравомыслящий» Хирвард имеет черты сходства с Узверли, Мртоном, Осбалдистоном, Айвенго и другими характерными героями Скотта. Его промежуточное положение подчеркнуто в романе тем, что он чужестранец, наемник, презирующий коварных и лицемерных греков и ненавидящий захватчиков-норманнов.

Элементы фабулы были заимствованы Скоттом не только из «Хроники» Жака де Лалена, «Алексиады» и сочинения Гиббона. Например, история злополучного Урсела, некогда оспаривавшего власть у императора и заточенного в темницу, напоминает историю шекспировского короля Лира.

Хотя последний роман Скотта, измученного болезнью и остро переживавшего политические осложнения, нельзя поставить наравне с его прежними творениями, необходимо помнить о том, что «Граф Роберт Парижский» и поныне представляет собой уникальное в европейской литературе художественное воспроизведение фактов византийской истории, выполненное великим писателем.

Стр. 7. «Ирина», акт I. — Стихотворные фрагменты, предпосланные главам I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XX, XXIV, XXV, XXVI, принадлежат самому Скотту. «Не подлежит сомнению, — писал известный комментатор поэзии Скотта Дж. Робертсон, — что из всех произведений Скотта эпиграфы и стихотворные отрывки в романах наиболее трудно подготовить к печати. Его манера снабжать главы эпиграфами была, по существу, рассчитана, если не предназначена, для того, чтобы привести в недоумение читателя и редактора. По крайней мере он с достаточной откровенностью признавал, что «эти отрывки иной раз цитировались по книге, иногда на память, но большей частью представляют собой чистую выдумку». Он просто-напросто обманывал читателя, когда именовал эти выдумки «старинной пьесой» или приписывал их какому-либо безымянному сыну муз; однако его хитроумные замыслы заходили еще дальше, когда он сочинял стихи от имени известных поэтов. Но даже это не было пределом его фантазии. Он придумал по крайней мере дюжину заглавий несуществующих поэм и делал вид, будто берет из них выдержки. Кроме этого, я подозреваю, что он также выдумал двух или трех поэтов, чтобы приписать им собственные вирши» (Poetical Works of Sir Walter Scott, compiled and edited by J. L. Robertson, London, 1908, p. 3). Придумывая заглавие несуществующей драмы, Скотт, вероятно, имел в виду супругу византийского императора Льва IV Исавряннина (775—780), которая отличалась красотой и умом, а также властолюбием и своеволием. После смерти мужа управляла государством, но была свергнута в 802 г. и спустя год умерла в ссылке на острове Лесбосе,

Стр. 8. *...у природы существуют свои законы...* — Изложенная здесь концепция восходит к теории эволюционного развития живого мира, которую развил в своем труде «Философия зоологии» французский естествоиспытатель Жан Ламарк (1744—1829).

В одной прелестной восточной сказке... — Этот сюжет был заимствован Скоттом из сборника английского писателя Дж. Ридли «Сказки о джиннах, или Увлекательные поучения Орама, сына Азмаура» (1825).

...отдал бы предпочтение городу Константина... — Константинополь был основан римским императором Константином, прозванным Великим (306—337), в 324 г. на месте древней греческой колонии Византии (по названию этой колонии Восточную Римскую империю стали именовать Византийской) и в мае 330 г. стал столицей империи. Константин перенес столицу империи в Константинополь, так как к тому времени Рим утратил свое прежнее экономическое и политическое значение. Стремясь укрепить и отстроить новую столицу, Константин перевез в нее из разных городов и стран замечательные памятники античного искусства (напр., Змеиную колонну из Дельф в Греции, Пурпурную колонну из Рима, множество статуй из Верхнего Египта и др.).

Стр. 10. *...получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране...* — Согласно некоторым историческим источникам, в 313 г. Миланским эдиктом императоры Константин и Лициний допустили свободное исповедание христианства в империи. Этот эдикт был вызван необходимостью политического укрепления империи в период ее кризиса. Политическое единодержавие дополнялось и религиозным единством.

...превратившись в 324 г. ... — См. прим. к стр. 8. Скотт ошибся: Константинополь был объявлен столицей империи в 330 г.

В 1080 году Алексей Комнин вззошел на императорский трон... — Эпоха господства династии Комнинов (1057—1185, с перерывом в 1059—1081 гг.) явилась последним периодом расцвета Греческой империи. Эта эпоха характеризовалась значительным оживлением торговли и промышленности в государстве, ослаблением его экономической зависимости от Венецианской республики. При Комнинах успешно развивалась культурная жизнь страны, изучались памятники античной литературы и философии. Вместе с тем империю продолжали раздирать внутренние противоречия, вызванные

усилением социального гнета и движением широких народных масс. Император Алексей I Комнин (1081—1118) вступил на трон после ожесточенной борьбы и смуты. Будучи талантливым дипломатом и политическим деятелем, он с помощью половцев разбил печенегов, сумел заключить мир с турками-сельджуками, союз с Венецией и германским императором Генрихом IV. С переменным успехом Алексей Комнин воевал с норманским герцогом Робертом Гискарсом. Положение империи несколько стабилизировалось ко времени Первого крестового похода. Алексею Комнину удалось принудить крестоносцев передать под власть Византии значительную часть Малой Азии, отвоеванную у турок.

Гиббон — см. стр. 727—728.

Стр. 11. *Пульхерия* (398—453) — дочь императора Аркадия и сестра императора Феодосия II. В 450 г., после смерти брата, стала императрицей.

Петр Пустынник — Петр Амьенский, прозванный Пустынником (ок. 1050—1115), французский монах-проповедник. Был одним из руководителей крестьянского ополчения в Первом крестовом походе (1096—1099). В 1096 г. возглавил стихийное движение французской бедноты. После разгрома ополчения турками-сельджуками Петр Амьенский присоединился к походу рыцарей.

Стр. 12. *...прославленным Бозмундом Антиохийским...* — Бозмунд I (1065—1111), старший сын Роберта Гискара, князь Тарентский (Южная Италия), сражался против императора Алексея Комнина, а впоследствии участвовал в крестовом походе. Свой титул получил после завоевания Антиохии в 1098 г. Вернувшись из похода, он снова развязал войну с Византией, но после неудачной осады Диррахия (Дураццо; современное название — Дуррес) в 1108 г. вынужден был заключить невыгодный мир.

Стр. 14. *...в его отношении к манихеям или к павликианам...* — Манихеи — последователи уроженца Месопотамии Сураика, по прозвищу Мани («дух», «ум»), основавшего в III в. религиозно-философскую секту, которая исповедовала учение о добре и зле как о двух безусловно самостоятельных первоначалах, отражая незрелые формы идеологии крестьянских масс. Ортодоксальная христианская церковь признавала это учение еретическим. Павликиане — приверженцы крупнейшего религиозно-мистического дуалистического учения в Византии (VI—IX вв.), близкого манихейству. Свое название это учение получило, по всей вероятности, от имени одного из раннехристианских еретиков Павла Самосатского,

Стр. 15. *Константин Палеолог* — Константин XII, последний византийский император (1449—1453).

Золотые ворота Константинополя — триумфальная арка в Константинополе, воздвигнутая в 388 г. в честь победы императора Феодосия I (379—395) над Максимом, его соперником в борьбе за императорскую власть.

Феодосий I, прозванный Великим... — См. предыдущ. прим. Феодосию I признавшему христианство государственной религией, удалось в последний раз соединить на короткий срок обе половины империи, которая после его смерти окончательно распалась.

Стр. 18. *Варяги* — наемники-скандинавы, служившие в IX—XI вв. русским князьям и греческим императорам в составе специальных дружин. Полагают, что слово «варяг» восходит к скандинавскому «варар» (клятва), что подчеркивает отношение дружинника к нанявшему его князю. В своих комментариях к роману Скотт подробно объясняет значение и происхождение варяжских дружин, ссылаясь на труды французских, итальянских, англо-норманских и других историков.

Стр. 20. *Преторианская гвардия в Риме*. — Имеются в виду солдаты императорской гвардии, которая с I в. принимала участие в дворцовых переворотах.

...от Эльсинорского пролива в проливы Сеста и Абидоса. — Эльсинорским проливом называется самая узкая часть Зундского пролива, отделяющего Данию от Швеции. На берегу пролива стоит Эльсинорский замок, где происходит действие трагедии Шекспира «Гамлет». Сест и Абидос — два древних города во Фракии, противостоящие друг другу по обоим берегам Геллеспонта (Дарданелл). С этими городами связано множество преданий.

Туле — в представлении древних греков крайняя северная земля в Атлантическом океане (иногда отождествлялась с Исландией или Норвегией). Отсюда выражение — *ultima Thule*, (крайняя Туле, то есть предел обитаемого мира).

Стр. 21. *...ссылками на византийских историков...* — По всей вероятности, Скотт имеет в виду, помимо Анны Комнин, таких выдающихся византийских историков XI—XIII вв., как Никифор Вриенний, Иоанн Киннам, Никита Хониат (Акоминат) и Никифор Влеммид.

Виллардуен Жоффруа (ок. 1164—1212) — французский государственный деятель и полководец, автор хроники «Завоевание

Константинополя» — первого исторического сочинения на французском языке. Виллардуен сам принял участие в Четвертом крестовом походе и взятии Константинополя (1204).

Дюканж — см. стр. 727.

Стр. 24. *Кастор* — в греческом мифе сын Зевса. В древней Спарте вместе со своим братом Поллуксом считался покровителем гимнастики и искусным кулачным бойцом.

Фидий и Пракситель — великие древнегреческие скульпторы (V—IV вв. до н. э.).

Истмийские игры — греческий праздник в честь Посейдона, отмечавшийся раз в два года на Истме (Коринфский перешеек), где находился храм Посейдона. Праздник состоял из гимнастических, конных и музыкальных состязаний. Согласно наиболее распространенному варианту мифа, Истмийские игры были учреждены героем Тесеем.

Стр. 25. *...из восточной сказки...* — Имеется в виду «Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар-аз-Замане и царевне Будур» из «Книги тысячи и одной ночи» (ночи 170—249).

Кидн. — Так называлась в древности горная река в Киликии (Малая Азия).

Поллукс — см. прим. к стр. 24.

Стр. 26. *...«непоколебимые римляне сотрясали мир»...* — Цитата из «Энеиды» Вергилия (1, 1).

...века более богатого, нежели бронзовый. — В представлении древних бронзовый (медный) век пришел на смену золотому и серебряному — эпохам блаженной жизни людей. Третье поколение жило в медных жилищах, не знало земледелия и добывало пропитание грабежом и насилием.

Стр. 27. *Назарейяне* (назарен) — первые христиане из иудеев. По преданию, Христос провел детство в Назарете.

Стр. 28. *Ликург* — легендарный законодатель древней Спарты.

Стр. 29. *...со времен замечательного центуриона Сизифа...* — Здесь это имя вымышленное.

Митилены — в древности самый важный город на острове Лесбосе в Греции. В начале средних веков название Митилен перешло на весь остров.

Аргус — в греческой мифологии стоглазый великан, которого усыпил и убил бог Гермес. Богиня Гера поместила глаза Аргуса на хвосте павлина.

Стр. 30. *Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты...* — Диомед — в

греческом мифе фракийский царь, который кормил своих свирепых коней мясом попадавшихся в его руки путников. Перифет, сын бога Гефеста, прозванный Коринетом (дубиноносцем), дубиной убивал проходящих путников. Синн (Синнид), по прозвищу Пителиампт (сгибатель сосен), ловил путников, привязывал их к вершинам согнутых сосен и, отпустив деревья, разрывал людей пополам. Скирон грабил прохожих, заставлял их мыть себе ноги и сталкивал с утеса. О Прокрусте рассказывалось, что он укладывал схваченных им путников на ложе («прокрустово ложе»). Если они были малы для этого ложа, Прокруст растягивал их, если велики, то отрубал им ноги. Коринет, Синн, Скирон и Прокруст были побеждены и убиты героем Тесеем.

Стр. 33. *Клянусь святым Георгием...* — В житии рассказывается, будто Георгий Победоносец был солдатом римского императора Диоклетиана (IV в.); замученный и казненный за переход в христианство, он был причислен церковью к лику святых. Со времени крестовых походов считался покровителем Англии.

...это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона... — В «Илиаде» рассказывается, что Ахилл, сын мирмидонского царя Пелея и морской богини Фетиды, непобедимый герой, перестал принимать участие в Троянской войне, потому что поссорился с предводителем греков Агамемноном. Однако, потрясенный гибелью своего друга Патрокла, убитого троянским героем Гектором, Ахилл поклялся отомстить и примирился с Агамемноном. Ахилл отогнал троянцев и убил Гектора. Троя иначе называется Илионом в честь Ила, царя дарданов, сына Троя и Каллирои, построившего этот город.

Стр. 34. *Беотия* — самая обширная из областей средней Греции. Ее жителей считали ограниченными, туповатыми людьми.

Стр. 35. *Грамматикам того времени...* — В Греции и Риме грамматиками называли ученых, занимавшихся толкованием литературных произведений.

Стр. 36. *...когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским.* — Имеется в виду Фредерик Август, герцог Йоркский (1763—1827), сын короля Георга III, с 1798 г. главнокомандующий британской армией. Потерпев ряд поражений в войне с Францией, он пытался провести военную реформу.

Стр. 38. *Протоспафарий* (греч. «первый меч») — главный телохранитель императора.

Никанор (греч.) — победитель.

Стр. 39. *Гемптон* — в описываемое время небольшой город на Темзе, вблизи Лондона, ныне район британской столицы.

Стр. 42. *Лаодикея* — название нескольких греческих городов в Азии, здесь — вымышленное.

Святой Георгий Каппадокийский. — Каппадокия — древнее название области на востоке Малой Азии, где в средние века существовал храм святого Георгия.

Стр. 45. *...отец разил ею воров норманнов при Гастингсе.* — Гастингс — город на южном побережье Англии, где в 1066 г. состоялась битва между англосаксами и норманнами во главе с герцогом Вильгельмом Завоевателем. Одержав решительную победу в этой битве, норманны установили свое господство на острове.

Стр. 47. *Бухта Золотой Рог* — обширная и удобная для стоянки судов константинопольская бухта.

Влахернский дворец и монастырь были сооружены в V в. в западной части Константинополя.

Стр. 51. *...изваяние, изображавшее две руки...* — Над престолом алтарей в византийских храмах укреплялось рельефное изображение святого, благословляющего молящихся.

Стр. 52. *Анна Комнина* (1083—1148) — дочь императора Алексея Комнина. Она усвоила византийскую образованность, изучив не только красноречие, поэзию, математику и физику, но и философию Аристотеля и Платона. Выйдя замуж за Никифора Вриенния, прославленного полководца и государственного деятеля, Анна тщетно пыталась вместе с ним после смерти отца захватить престол. По смерти мужа удалилась в монастырь. Написанная ею история царствования отца под названием «Алексиада» содержит многие интересные подробности о крестоносцах и принадлежит к лучшим историческим сочинениям византийцев. См. также стр. 728.

Стр. 55. *Роберт Гискар*, то есть Лукавый (1015—1085) — норманский вождь, создавший в Южной Италии и Сицилии могучее государство и лишивший Византию всех ее итальянских владений. В 1081 г. он наголову разбил Алексея Комнина при Диррахии. Впоследствии воевал на стороне римского папы Григория VII против германского императора Генриха IV. Придя в 1084 г. на помощь папе, осажденному в Риме императором, разгромил Генриха IV, но при этом разрушил и разграбил город.

Циники (кинники) — последователи философской школы, основанной в IV в. до н. э. учеником Сократа Антисфеном и названной по месту, где происходило их обучение (Киносарг). Циники отвергали нравственные нормы, основанные на общественных условиях, и призывали к «естественному» поведению.

Стр. 56. *Элефас* (Элефант) (греч.) — слон.

Гимнософисты (греч.) — «нагие мудрецы». Так греки называли индийских философов, строгих аскетов, отвергавших даже одежду и проводивших жизнь в созерцании.

Стр. 59. *Гиперборейцы* — по верованиям древних греков, народ, обитавший на Крайнем Севере.

Стр. 60. *Таранис* (Таранн) — дух грозы и бури в религии друидов, жрецов у древних кельтских народов.

Стр. 64. *...портрету Александра, написанному плохим художником, украсившим кисть Апеллеса.* — Имеется в виду портрет греческого царя Александра Македонского (336—323 до н. э.). Апеллес — выдающийся древнегреческий живописец IV в. до н. э.

Стр. 66. *«Осада Дамаска»* — пьеса английского драматурга Джона Хьюза (1677—1720). Эпиграф заимствован из первой сцены второго действия этой пьесы.

Стр. 70. *...наш августейший отец воскликнул: «Святая София!»...* — Святая София, именем которой был назван знаменитый храм в Константинополе (превращенный после захвата Византии турками в мусульманскую мечеть), считалась покровительницей Византии.

Стр. 72. *В те ночные часы, когда, по выражению божественного Гомера, спят и боги и люди...* — «Илиада», песнь I, строка 1.

Стр. 73. *...ударил жезлом пророк Моисей...* — В Библии рассказывается о том, как Моисей рассек жезлом скалу, чтобы исторгнуть воду и напоить сынов изранлевых в пустыне (Числа, XX, 11).

Стр. 74. *...говоря языком Горация...* — Имеются в виду «Оды», кн. I, 9.

Стр. 75. *Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его* — главный догмат ислама, утверждающий единосущие аллаха.

Стр. 78. *...как некогда сражался доблестный Менелай за тело Патрокла.* — В «Илиаде» рассказывается, как спартанский царь Менелай сражался с троянцами за тело убитого героя Патрокла, друга Ахилла, и вынес его с поля битвы.

Стр. 86. *Идумейцы* (идумеи, или эдомитяне). — Идумеей, или Эдомом, называлась в древности страна, расположенная между Мертвым и Красным морями.

Стр. 88. *Себастократор* (греч. «августейший») — высший сановник Греческой империи.

Стр. 90. *...пифийский бог может разгневаться...* — Пифий — одно из прозвищ (эпиклес) бога Аполлона, победившего чудовищного дракона Пифона.

Стр. 92. *...его вел... столп огненный.* — В библии рассказывается, будто бы господь явился в виде огненного столпа, дабы вывести народ Израиля из пустыни.

Стр. 93. *Греческий огонь* — зажигательная смесь неизвестного состава, употреблявшаяся греками для военных целей.

Стр. 94. *Гуго де Вермандуа* (1057—1102) — сын французского короля Генриха I (1031—1060), участник Первого крестового похода; по прибытии в Византию был, как один из самых знатных вождей крестоносцев, с почетом встречен императором Алексеем Комнином и принес ему ленную присягу.

Государь Франции. — Имеется в виду Филипп I (1060—1108), сын Генриха I и дочери Ярослава Мудрого Анны, из-за интердикта папы не принимавший участия в Первом крестовом походе. Брак между Генрихом I и Анной Ярославовной был заключен в 1051 г.

Знамя святого Петра. — Римско-католическая церковь считает папу преемником князя апостолов — Петра.

Стр. 95. *Готфрид Бульонский* (1060—1100) — герцог Нижней Лотарингии. Предание делает его верховным вождем Первого крестового похода. После взятия Иерусалима он был избран королем завоеванных земель, однако отказался от титула.

Стр. 96. *...Готфрид может считаться Агамемноном.* — Согласно греческому мифу, аргосский царь Агамемнон был предводителем греков в Троянской войне.

Стр. 98. *...некий Роберт, носящий титул герцога Нормандского...* — Имеется в виду Роберт II, прозванный Коротконогим (1060—1134), старший сын Вильгельма Завоевателя. В 1087 г. принял титул герцога Нормандского. Он участвовал в Первом крестовом походе после безуспешной борьбы со своим братом Вильгельмом II, унаследовавшим английский престол.

Эрл (англосакс.) — граф.

Стр. 99. *Александрийская библиотека* — знаменитое книгохранилище древности, памятник эпохи эллинизма, Основана в Але-

ксандрии Египетской в III в. до н. э. Часть библиотеки сгорела в 48 г. до н. э. при сражении с войсками Юлия Цезаря. В 273 г. император Аврелиан приказал сжечь здание библиотеки, и драгоценные свитки были перенесены в храм бога Сераписа. Самый серьезный ущерб был нанесен книгохранилищу христианами-фанатиками, которые в 391 г. разрушили храм. Остатки свитков были уничтожены мусульманами при халифе Омаре в 642 г.

Прокопий (ок. 490—562) — знаменитый византийский историк, автор «Истории войн императора Юстиниана с персами, вандалами и готами».

Стр. 100. *Стикс* — в послегомеровских сказаниях река в подземном царстве.

Юстиниан (527—565) — византийский император. В годы его царствования империя находилась в зените своего могущества.

Стр. 104. *...кто-то из других его сыновей...* — См. прим. к стр. 98.

Стр. 109. *...его ослица... заговорила с ним.* — В библии рассказывается, что месопотамский прорицатель Валаам, прельщенный богатыми подарками и посулами моавитянского царя, собирався проклясть народ Израиля, но бог послал ему предостережение: бессловесная ослица, заговорив человеческим голосом, изобличила его безумие.

Стр. 110. *Старший Брут* — Люций Брут, один из двух первых римских консулов, избранных после свержения царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.) и установления Римской республики. Опасаясь царя Тарквиния и его жестокости, Люций притворился безумным, за что его и прозвали Брутом (глупцом). Эта хитрость позволила ему обмануть царя и подготовить его свержение. Люция Брута называют старшим в отличие от другого Брута — убийцы Юлия Цезаря.

Стр. 112. Эпиграф заимствован из поэмы Джона Мильтона «Возвращенный рай» (кн. 3, стр. 337—343). *Во стане Агрикана в день...* — Имеется в виду сюжет поэмы итальянского поэта Маттео Боярдо (1441—1494) «Влюбленный Роланд», где рассказывается о том, как Агрикан, король Тартарии, стремясь захватить прекрасную Анджелику, осадил в замке ее отца Галлафрона, короля Китая. *Пэры Карла* — то есть Карла Великого, короля франков (с 768), императора (с 800), венчанного римским папой (ум. 814).

Префект. — Так в древнем Риме именовались разные административные и военные должности. *Претор* — должностное лицо, осуществлявшее высшую судебную власть и охрану внутреннего порядка. *Квестор* — должностное лицо, ведавшее государственной казной.

Стр. 113. *Царь Соломон* — царь объединенного израильско-иудейского царства (X в. до н. э.). В Библии, а также в средневековой и особенно восточной литературе Соломон изображается как мудрый, справедливый государь, обладавший несметными богатствами, повелитель духов. Ему приписывается ряд произведений, вошедших в Библию.

Стр. 114. *...они сражались в Дураццо...* — Дураццо — город в Албании. В X—XI вв. был многократно осаждаем болгарами и наконец захвачен Никифором Вриеннием. В 1081 г. Роберт Гискар разбил здесь императора Алексея и взял город, но отдал его обратно в 1085 г. См. также прим. к стр. 12.

Стр. 117. *Дан и Вирсавия* — города, расположенные соответственно на крайнем севере и крайнем юге Палестины. Выражение «от Дана до Вирсавии» означает «вся Палестина».

Стр. 120. *...положить конец расколу церкви.* — Имеется в виду окончательное разделение христианской церкви (1054 г.) на западную (римско-католическую) и восточную (православную).

Стр. 125. *Кибела* — древнее фригийское божество, культ которого был перенесен в Грецию, затем в Рим и стал очень распространенным, слившись там с культами местных божеств. Кибела считалась «Великой матерью богов» и всего сущего на земле. Скотт ошибочно называет Кибелу египетской богиней.

Апис — священный бык у древних египтян, воплощение извечной творческой силы.

Стр. 129. *Доктор Уоттс.* — Имеется в виду Исаак Уоттс (1674—1748), английский богослов и поэт, автор «Псалмов Давида» и «Духовных гимнов». Стихи, приписанные Уоттсу, принадлежат перу Скотта.

Стр. 132. *Анубис* — древнеегипетское божество, изображавшееся в виде человека с головой шакала.

Вотан — в древнегерманской мифологии высший из богов, бог бурь и битв; в скандинавской мифологии ему соответствует Один.

...в обители святого Августина. — Августин Аврелий (354—430) — один из первых христианских теологов, автор рели-

гиозно-философского трактата «О граде божьем», в котором развита идея теократии.

Стр. 136. *Прозелит* (греч.) — новообращенный в какую-либо веру, горячий приверженец какого-либо учения.

Стр. 139. ...говоря словами божественного Гомера, поток не-
удержимого смеха. — Так смеялись олимпийские боги, видя, как
ковыляет хромой Гефест («Илиада», песнь I, строка 599).

Стр. 143. *Раймонд Тулузский* (1088—1105) — Раймонд IV —
маркграф прованский, граф тулузский. Считался самым богатым
и могущественным феодалом в Южной Франции. Участвовал в
Первом крестовом походе и был одним из главных претендентов
на иерусалимский престол.

Стр. 144. *Пропонтида* (греч. «преддверие моря») — Мрамор-
ное море.

Протосебаст — начальник личной охраны императора.

Стр. 145. *Лабарум* — знамя со знаком креста и монограммой
имени Христа, которое якобы увидел Константин перед одним из
своих победоносных сражений. Со времен Константина лабарум
являлся знаменем римских императоров. Позднее так стала на-
зываться священная хоругвь в католических процессиях.

Стр. 146. *Болдуин* — Болдуин I — король иерусалимский
(1100—1118), младший брат Готфрида Бульонского; принимал
участие в Первом крестовом походе, но, поссорившись с осталь-
ными предводителями, отправился в Эдессу, был усыновлен та-
мошним правителем и, когда тот был убит во время мятежа,
стал князем эдесским. По смерти Готфрида занял иерусалимский
престол.

Стр. 157. ...с тех пор, как Гета, жена Роберта Гискара... —
В своих комментариях к данному месту Скотт пишет, что в не-
которых исторических источниках сообщается, будто бы Гета,
соблазнившись посулами греческого императора и надеясь стать
его супругой, отравила своего мужа, герцога Роберта Гискара.

Марфиза и *Брадаманта* — персонажи поэмы итальянского
поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд»; об-
разы воинственных девушек-рыцарей.

Стр. 160. *В нем текла кровь Карла Великого...* — См. прим. к
стр. 112. При Карле Великом, самом выдающемся представителе
династии Каролингов, провозгласившем себя преемником держа-
вы римских императоров, империя франков находилась в апогее
военной мощи.

Стр. 163. *Если бы мой предок Карл не покинул жалких берегов Заале...* — Имеется в виду Франконская Заале, правый приток Майна, в окрестностях которой, по преданию, родился Карл Великий.

Стр. 164. *Зюликий*. — Так в древности назывался один из островов в Эгейском море, в архипелаге Южные Спорады.

Стр. 165. *Зороастр* (Заратуштра) — легендарный пророк, мифический основатель древнеиранской религии (I тыс. до н. э.), характерными чертами которой был дуализм, представление о борьбе доброго и злого начал, а также учение о загробной жизни.

Стр. 178. *Сивиллы* — легендарные женщины-пророчицы в Греции и Риме, из предсказаний которых составлялись так называемые Сивиллины книги, хранившиеся в строгой тайне, доверявшейся особой греческой коллегии.

Тиволи — древний город в Италии, к востоку от Рима, знаменитый античными памятниками.

Стр. 179. *...Хама, непочтительного сына Ноя...* — В библии (Бытие, IX, 20—23) рассказывается о том, как праотец Ной, разгневанный непочтительным поведением своего младшего сына Хама, который надругался над отцом, предрек рабство его потомству.

Стр. 181. *...чтобы повторилось чудо, содеянное Прометеем.* — Согласно одному из вариантов мифа, Прометей сотворил людей из земли и вдохнул в них жизнь.

Стр. 182. *Тримальхион* — образ богача-вольноотпущенника из древнеримского романа «Сатирикон» (I в. н. э.), авторство которого приписывается Петронию.

Стр. 189. *Траншифер* (франц.) — разрубавший железо.

Стр. 193. *...вскоре, как говорил Гомер, неистовая жажда и голод были утолены...* — Здесь имеется в виду место из «Одиссеи», где повествуется о том, как утоляет голод и жажду Одиссей, вынесенный волной на берег страны феаков (песнь VI, строка 259).

Чосер Джеффри (1340—1400) — «отец английской поэзии», автор «Кентерберийских рассказов», откуда заимствована в несколько измененном виде приведенная в тексте фраза («Рассказ рыцаря», строка 1267). У Чосера: «Все то, что ново, старина знавала».

Ком, или *Комус* — греческое божество пиршеств, изображавшееся в виде крылатого юноши.

Стр. 196. ...*со времен великого Юлия*... — Имеется в виду Гай Юлий Цезарь.

История Гери и Леандра. — Греческий миф повествует о том, как Леандр из Абидоса полюбил Геро, жрицу Афродиты в Сесте, на противоположном берегу Геллеспонта, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив. Однажды Леандр утонул во время бури. Увидев труп Леандра, вынесенный волнами на берег, Геро в отчаянии бросилась в море.

Стр. 197. *Хлодвиг* — родоначальник династии Меровингов, король франков (481—511). Объединил почти всю Галлию под властью франков, в 496 г. принял христианство по католическому обряду.

Стр. 207. *Пентесилея* — согласно греческому мифу, царица амазонок, явившаяся на помощь жителям Трои во время Троянской войны и убитая Ахиллом.

Фалестрис — предводительница амазонок, которая, по преданию, явилась со своим войском в лагерь Александра Македонского (П л у т а р х, «Сравнительные жизнеописания», «Александр», гл. XLVI).

Стр. 209. «*Vicit Leo ex tribu Iudae*». — Имеется в виду Христос, происходивший, согласно библии, из рода Иуды.

В эпиграфе цитата из «Ричарда III» Шекспира (акт IV, сц. 2).

Стр. 211. *Марк Антоний* (83—31 гг. до н. э.) — римский политический деятель, соратник Юлия Цезаря. После гибели Цезаря (44 г. до н. э.) на некоторое время сделался неограниченным властителем Рима; затем вместе с Октавианом Августом и Лепидом составил второй триумвират. По договору с двумя другими триумвирами (40 г. до н. э.) стал повелителем восточных провинций. Однако триумвират вскоре распался, и после поражения, нанесенного ему Октавианом, Антоний покончил с собой.

Стр. 211—212. ...*лилий, которые... заставляли трепетать всю Европу*... — Лилии были в гербе династий Валуа и Бурбонов.

Стр. 221. *Кубок Нестора*. — Нестор — в греческой мифологии пифосский царь, который дожил до глубокой старости и, согласно Гомеру, ко времени Троянской войны царствовал уже над третьим поколением людей. В литературную традицию Нестор вошел как образ умудренного опытом старца, мудрого советчика. Нестор владел большим драгоценным, редкой резьбы кубком.

Стр. 222. *Грации* (в древнем Риме — хариты) — в греческой мифологии богини красоты, радости, олицетворение женской прелести. *Музы* — богини поэзии, искусств и наук. Любимым место-

пребыванием муз считалась гора Парнас. Согласно мифу, граций было три, а муз — девять.

Стр. 226. *Аргивский колодец* — то есть колодец аргивян, жителей Арголиты (древнее название области в Пелопоннесе).

Стр. 229. *Иды* — в древнеримском календаре 15 число месяцев марта, мая, июля, октября и 13 число остальных месяцев.

Стр. 236. *...в бога Пана, в сатиров и фавнов.* — Согласно греческой мифологии, бога лесов и рош Пана сопровождали сатиры и фавны, лесные божества и божества плодородия. Христианские поверья связывали сатира с дьяволом.

...сатир, виденный святым Антонием в пустыне... — В житии святого Антония Фиванского, именуемого христианскими богословами отцом монашества (III в.), повествуется о том, как Антоний, удалившись в пустыню, был искушаем бесовскими видениями.

Стр. 238. *...балладу менестрелей об Андрокле и льве.* — Менестрели — средневековые певцы и поэты. История раба Андрокла встречается у античных писателей. Андрокл бежал от своего господина в Ливийскую пустыню, где встретил хромящего льва, у которого вынул из лапы занозу. Затем Андрокл был пойман и привезен в Рим. Его должен был растерзать лев на арене. Однако, ко всеобщему изумлению, лев, вместо того чтобы броситься на Андрокла, ласкаясь, лег к его ногам. Пораженный этим зрелищем, император подарил невольнику свободу.

Стр. 239. *Бедное чудище, как назвал бы его Тринкуло...* — Тринкуло — персонаж драмы Шекспира «Буря». Бедным чудищем Тринкуло называет в драме Калибана.

Стр. 240. *Святой Суизин* (IX в.) — епископ Уинчестерский.

Стр. 245. *Святой Дунстан* (X в.) — епископ Вустерский, сподвижник англосаксонского короля Эдгара.

Стр. 247. *...у тирана Дионисия было такое ухо...* — Согласно преданию, тиран Дионисий I, захвативший власть в Сиракузах (V в. до н. э.), построил тюрьму с хитроумным акустическим приспособлением, чтобы подслушивать разговоры узников (так называемое дионисиево ухо).

...перенесся в Лорето дом пресвятой девы? — Предание повествует о том, что в Назарете (IV в.) над хижиной, где жила дева Мария, был воздвигнут храм. В XII в., когда церкви угрожали сарацины, ангелы будто бы перенесли ее по воздуху в Лорето (провинция Анкона в Италии). Этот храм и поныне показывают верующим.

Стр. 263. *Бевис из Гемптона* — герой средневекового английского романа в стихах, который в XV—XVI вв. был переложен в прозу и впервые издан. Сюжет этого романа был разработан английским поэтом Дрейтоном (1563—1631) в его поэме «Полиальбион» (1613—1622), хорошо известной Скотту. Источником английского романа о подвигах Бевиса явился французский рыцарский роман о Бюэве из Анстона, возникший в эпоху крестовых походов. Этот сюжет проник также в итальянскую рыцарскую литературу, а с итальянского языка был в XVI в. переведен на белорусский и в XVII в. на русский. Так возникла русская волшебная богатырская повесть о Бове Королевиче. В английском романе рассказывается, что подростком Бевис дал обет отомстить отчиму и матери за убийство родного отца. Он бежал от преследований подосланных убийц на Восток, там был продан в рабство, отпущен на свободу и женился на королевской дочери. Вернувшись на родину, Бевис отомстил за отца.

Стр. 264. *Militat omnis amans, habet et sua castra Cupido.* — Цитата из «Любовных элегий» Овидия (X, 1).

Стр. 265. *Ксантиппа* — по преданию, сварливая жена древнегреческого философа Сократа.

Фрина — знаменитая греческая гетера IV в. до н. э. В предании рассказывается о том, что, будучи обвиненной в безбожии, Фрина предстала перед судом. Защитник, отчаявшись в успехе дела, снял с нее одежды. Красота ее тела произвела такое впечатление на судей, что они оправдали гетеру.

Диоген из Синопа (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ-циник.

Стр. 267. *Я ведь слышала о прославленной осаде Трои...* — Бренгильда здесь рассказывает историю Троянской войны.

Стр. 287. *Эдрик Лесовик* — Эдрик Могучий (XI в.), англосаксонский вождь, боровшийся с норманнами.

Стр. 289. *Вильгельм Рыжий* — Вильгельм II — король английский (1087—1100), сын Вильгельма Завоевателя. Вильгельм восстановил против себя вассалов и духовенство и был застрелен на охоте.

Стр. 303. В эпиграфе цитата из «Ричарда II» Шекспира (акт V, сц. 3).

Стр. 306. *Вильгельм Шотландский*. — Имеется в виду Вильгельм Рыжий (см. прим. к стр. 289). В 1097 г. Вильгельм угрозой вторжения вынудил Эдгара, короля Шотландии, признать себя вассалом английской короны.

Стр. 308. *Дракон* — легендарный законодатель древних Афин; его законы отличались чрезвычайной суровостью.

Стр. 313. *Кэмпбел Томас* (1777—1844) — английский поэт и критик; отрывок взят из его поэмы «Гертруда из Уайоминга».

Стр. 322. *Скутари* — предместье Константинополя.

Стр. 326. *Танкред* (ум. 1112) — племянник Боэмунда Антиохийского, один из героев Первого крестового похода. Когда вожди крестоносцев присягали в вассальной верности Алексею Комнину, Танкред единственный из них переплыл на азиатский берег, чтобы уклониться от унижения. Впоследствии он отличился при взятии Антиохии (1097—1098). Итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595) сделал Танкреда героем своей поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 336. *Вещие сестры* — три ведьмы из «Макбета» Шекспира. Далее следует неточная цитата из этой трагедии (акт III, сц. 4).

Стр. 338. *Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes...* — цитата из «Сатир» (III, строки 77—79) римского поэта-сатирика Ювенала (II в.).

Джонсон Сэмюел (1709—1783) — английский критик.

...слова, с какими якобы тень Клеоники... — Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» («Жизнь Кимона») рассказывает, что правитель Спарты Павсаний (V в. до н. э.) приказал привести к себе некую девушку по имени Клеоника, дочь знатных родителей, с намерением обесчестить ее. Придя к нему ночью в опочивальню, девушка неосторожно опрокинула светильник, и Павсаний, испугавшись, заколол ее кинжалом. С тех пор Клеоника не давала Павсанию покоя: ее призрак являлся к нему ночью и изрекал в гневные стихи, который приводится в романе.

В примечании к данному месту Скотт ошибочно приписывает этот стих Овидию. На самом деле он заимствован из латинского перевода «Сравнительных жизнеописаний», выполненного в XVI в. Г. Крюзером («Жизнь Кимона», гл. VI), и принадлежит неизвестному автору.

Стр. 339. ...он не уступает самому Антонину... — Имеется в виду Марк Аврелий (121—180), римский император из династии Антонинов, которого называли «философом на троне».

Стр. 342. *Вальтер Голяк* — французский рыцарь, прозванный так за свою чрезвычайную бедность, один из предводителей народного ополчения, которое во главе с Петром Пустынником дви-

нулось в крестовый поход (1096), не дожидаясь рыцарского ополчения. Почти все участники этого ополчения погибли в Малой Азии, куда их переправил Алексей Комнин.

Стр. 348. *Тартар* — в греческой мифологии подземное царство.

Эпикур (ок. 340—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист и атеист.

Стр. 350. *Тапробана* — старинное название острова Цейлон.

Стр. 359. *Ахерон* — в греческой мифологии река в подземном царстве.

Стр. 369. *Молох* — бог солнца в религии древней Финикии и Карфагена. В честь Молоха сжигались на жертвеннике дети знатных родов, заменявшиеся иногда рабами. Имя Молоха получило символическое значение всепоглощающей силы, требующей новых и новых жертв.

Стр. 370. *Паладины*. — Так называли соратников императора Карла Великого.

В эпитафье цитата из «Короля Лира» Шекспира (акт IV, сц. 7).

Стр. 380. В эпитафье цитата из «Как вам это понравится» Шекспира (акт II, сц. 1).

Стр. 381. *Акант* — декоративное растение, произрастающее в странах Средиземноморья. Форма листьев аканта часто входит в орнамент скульптурных памятников античного мира.

Стр. 389. В эпитафье цитата из «Юлия Цезаря» Шекспира (акт II, сц. 1).

Эреб — в греческой мифологии олицетворение вечного мрака.

Стр. 394. *...sed et illa propago...* — цитата из «Метаморфоз» Овидия (I, 160—162). Речь в отрывке идет о поколении «железного века».

Стр. 396. *Конгривовы ракеты* — боевые пороховые ракеты, которые применялись англичанами в войне с Наполеоном; названы по имени их изобретателя Уильяма Конгрива (1772—1828).

Стр. 397. *Жуанвиль Жан* (1224—1319) — французский историк, участник Седьмого крестового похода.

Стр. 407. В эпитафье цитата из «Меры за меру» Шекспира (акт II, сц. 2).

Стр. 410. *Крисп* (311—326) — старший сын императора Константина Великого. Был возведен отцом в сан цезаря и назначен правителем Галлии. В войне против соправителя Константина Лициния Крисп одержал блестящую победу на море в 323 г.

Вследствие клеветы, исходившей, вероятно, от второй жены императора Фаусты, Константин велел убить Криспа.

Стр. 417. ...«из тесного игольного ушка...» — цитата из «Короля Иоанна» Шекспира (акт V, сц. 4).

Стр. 418. В эпитафии цитата из пьесы английского поэта и драматурга Джона Драйдена (1631—1700) «Дон Себастьян, король португальский» (акт III, сц. 1).

Стр. 419. *Ринальдо д'Эсте* — рыцарь-крестоносец, персонаж поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 424. В эпитафии цитата из стихотворного трактата «Опыт о критике» (ч. II, 279—282) английского поэта-сатирика, поборника классицизма Александра Попа (1688—1744).

Стагирит — то есть уроженец Стагиры; так называли Аристотеля.

Стр. 426. *Кора, Дафан и Авиран*. — Согласно библейской легенде, Кора, Дафан и Авиран восстали против Моисея во главе 250 мужей из сынов израилевых. В наказание за это «земля разверзла уста свои и поглотила их» (Числа, XVI, 2—41).

Стр. 434. *Пульчинелла* — персонаж итальянской народной комедии, французский Полишинель, русский Петрушка.

Стр. 440. «*Подметные каракули*» — железные шары с остриями, которые разбрасывали на поле сражений, чтобы калечить лошадей неприятеля.

Стр. 444. *Гуго Капет* — французский король (987—996), основатель династии Капетингов. Здесь Скотт допускает явный анахронизм.

Святой Арнульф — епископ Суассонский (XI в.).

Нибелунги — в древнегерманском героическом эпосе мифический народ карликов, олицетворяющий темные силы подземного мира и охраняющий несметные сокровища. Клад Нибелунгов достался нидерландскому королевичу Зигфриду, который стал с тех пор именоваться Нибелунгом. Это имя переходило вместе с кладом к тем, кто владел им (см. «Песнь о Нибелунгах»).

Роберт, прозванный Сильным — герцог Парижский, граф Анжуйский. Был убит в сражении с норманнами (в 866 г.).

Дорилея — город в северной Фригии. Битва при Дорилее между крестоносцами и арабами произошла в 1098 г.

Эшбернем Бертран (1797—1878) — английский историк и библиофил; указанный Скоттом труд Эшбернема был опубликован в 1827 г.

В. ЗАХАРОВ

СТАТЬИ И ДНЕВНИКИ

Критические сочинения Вальтера Скотта занимают несколько томов. Сюда входят две большие монографии о Джоне Драйдене и Джонатане Свифте — историки литературы ссылаются на них и до сих пор, — а также статьи по теории романа и драмы, серия жизнеописаний английских романистов XVIII века, множество рецензий на произведения современных авторов и другие статьи, в частности по вопросам фольклористики.

Первое собрание исторических, критических и фольклористических трудов Вальтера Скотта вышло в Эдинбурге в 1827 году. Затем они несколько раз переиздавались и переводились на иностранные языки. Вальтер Скотт как критик возбудил, например, значительный интерес во Франции 1830-х годов. В русском переводе появилось несколько статей в «Сыне отечества» (1826—1829) и в других журналах XIX века.

Критики эпохи Просвещения обычно подходили к оценке художественных произведений с отвлеченными эстетическими и этическими критериями. При этом важную роль играл моральный облик автора как частного лица. Осуждение его поступков влекло за собой отрицательный отзыв о его сочинениях. Один из самых авторитетных критиков XVIII столетия Сэмюел Джонсон предпочитал биографии историографическим сочинениям на том основании, что из жизни знаменитых людей легче почерпнуть нравоучительные примеры, чем из исторических фактов. Биографический метод критики долго господствовал в Англии. Не остался в стороне от его влияния и Скотт, особенно в монографиях о Драйдене и Свифте. Тем не менее этот подход к литературе его не удовлетворял. Не удовлетворяли его и беглые очерки литературных явлений при общих описаниях нравов того или иного периода в исторических трудах, например в «Истории Англии» Дэвида Юма, которого Скотт считал «плохим судьей в области поэзии».

Между тем во второй половине XVIII и в начале XIX века стали появляться книги, авторы которых стремились воссоздать картину развития художественной литературы или ее отдельных жанров. Большое значение для Скотта имели «История английской поэзии с XII до конца XVI века» Томаса Уортона (1774—1781) и «История романа» шотландского историка Джона Данлопа (1814). Эти сочинения подсказали Скотту мысль о национальном своеобразии литературы каждого народа, а также

о ее зависимости от общественного развития в каждой стране. При этом исторический роман представлялся Скотту жанром, который способен ответить на запросы широких читательских кругов, раздуть в пламя искру интереса к родному прошлому, которая тлеет в сознании многих людей.

В основе воззрений Скотта лежит определенная теория народности. Народ для него — хранитель национальных литературных традиций, верховный судья и покровитель литературного творчества. В народной памяти хранятся вечные источники повествовательного искусства: сказки, предания, легенды и были. Вот почему, по мнению Скотта, между историографией, литературой и фольклором нет, не может и не должно быть непроницаемых граней; одно легко переходит в другое и сочетается с ним.

Вместе с авторскими предисловиями к романам критические статьи Скотта помогают лучше понять его творчество и бросают свет на создание нового жанра — исторического романа. Хотя литературного манифеста у Скотта в полном смысле этого слова и нет, но почти каждая из его статей освещает ту или иную сторону его творческих исканий.

Особый интерес для понимания творчества Скотта представляет статья-авторрецензия «Рассказы трактирщика». Под этим общим заглавием, как известно, выходили первые шотландские романы «Черный карлик» и «Пуритане» (в дальнейшем эта серия была продолжена романами «Легенда о Монтрозе», «Граф Роберт Парижский» и «Замок Опасный»), которым и посвящена данная статья. В ее составлении принимал участие близкий друг Скотта Уильям Эрскин, однако рукописный экземпляр статьи, сохранившийся в архивах, целиком написан рукой Скотта. Поводом для ее появления послужила серия статей, опубликованных в «Эдинбург крисчен инструктор» Томасом Мак-Краем — биографом Джона Нокса (ум. 1572), главы шотландского кальвинизма. Мак-Край обвинял Скотта в том, что он оскорбил национальное чувство шотландцев, изобразив фанатиков пуритан в недостаточно привлекательном виде. Скотт поместил свой ответ Мак-Краю без подписи в лондонском торийском журнале «Куортерли ревью» (январь 1817 года), в котором он сотрудничал с момента основания журнала в 1809 году. До тех пор Скотт печатал большую часть своих статей в «Эдинбург ревью», журнале шотландских вигов. Посвящая много места «шотландским древностям», превознося далекое героическое прошлое Шотландии, журнал относился с полным равнодушием к бедственному положению шотландцев,

особенно горцев, в настоящее время и приветствовал беспощадность, с которой капитал наступал на север Великобритании. Консервативная политика могла задержать процесс роста промышленного капитала и дать возможность Шотландии снова встать на ноги; поэтому «Куортерли ревью» больше подходило Скотту, так как этот журнал и был создан с целью обуздать вигов и, в частности, дать отпор «завладевавшему Эдинбургу», где они хозяйничали.

Эдинбуржцам, однако, могло казаться, что Скотт отвернулся от своей родины. Любое верное изображение ошибок, совершенных шотландцами в борьбе против объединения с Англией и за сохранение самостоятельности, воспринималось в некоторых кругах Эдинбурга почти как святотатство. Отсюда упреки Мак-Краю. Они задели Скотта за живое. Он не мог оставить без ответа обвинение в неуважении к подвигам шотландских патриотов, потому что, видя нереальность их усилий, он все же благоговел перед их героизмом и самозабвенной любовью к отчизне. Он отвечал, что был правдивым летописцем и показал в своих романах невыносимое положение шотландского крестьянина и его самоотверженные попытки защитить свои самые священные права, а потому обвинений, брошенных ему Мак-Краем, не заслужил. При этом, писал Скотт, он не стремился дать надуманную картину народной жизни Шотландии, а хотел изобразить ее крестьян именно такими, какими они были на самом деле.

Реалистически изображая народную жизнь Шотландии, Скотт намеренно драматизировал повествование. Этот способ изложения Скотт считал очень важным для своих задач, хотя и признавал, что в результате повествование дробится на отдельные диалогические сцены и построение романа становится рыхлым. Однако Скотт готов пожертвовать и стройностью композиции и даже привлекательностью главных героев для читателей, лишь бы достичь убедительности целого. Его Уэверли, Браун и Ловел не действуют сами, а лишь испытывают на себе воздействие обстоятельств. Поэтому их судьба решается с помощью второстепенных персонажей, то есть прежде всего шотландских крестьян. Следовательно, роль их возрастает. Этого и надо было добиться. Этим путем автор исторических романов отделяет черты, характерные для отдельных, вымышленных персонажей, от общих, типичных для века черт; он оказывается в состоянии сохранять строгую верность нравам эпохи и поднять исторический роман до уровня серьезного историографического сочинения.

Одним из важнейших источников историка, романиста и поэта Скотт всегда считал народное творчество. Его статья «Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских (преимущественно шотландских) баллад» подводит итог более ранним сочинениям на аналогичные темы, в частности рецензиям Скотта на сборники баллад, выходивших в начале XIX века. Статья эта содержит краткий обзор развития фольклористики в Англии и в Шотландии за сто с лишним лет. Скотт останавливается на спорах, которые вели фольклористы в его время, например об авторстве баллад, о социальном положении древнего менестреля, о преимуществах и недостатках различных источников балладного творчества и т. п.

Особенно интересно мнение Скотта о наилучшем способе издания народных баллад. В XVIII веке было принято вносить в них дополнения и поправки с целью приблизить их к современным вкусам. Так в 1760-х годах поступил Томас Перси с балладами своего знаменитого сборника «Памятники старинной английской поэзии». Некоторые современники Скотта осуждали Перси за эти вольности. В их числе был демократ и якобинец Джозеф Ритсон. Он требовал, чтобы фольклорные памятники издавались без изменений. Скотт готов отчасти поддержать Ритсона, хотя и упрекает его за излишнюю горячность. Однако Скотт не склонен уменьшать и заслуги Перси: в его время дело шло не о том, как издавать баллады, а о том, станут ли их читать вообще. Сборник Перси приблизил балладу к читателям и вызвал у них интерес к народному творчеству.

Непревзойденным интерпретатором народной поэзии, по глубокому убеждению Скотта, был, безусловно, Бернс. Когда в 1808 году Р. Кромек выпустил в свет сборник «Наследие Роберта Бернса, состоящее преимущественно из писем, стихотворений и критических заметок о шотландских песнях», Скотт откликнулся на эту книгу. Точка зрения Скотта на творчество Бернса резко отличалась от всего, что было до тех пор сказано о нем, в частности от рецензии на тот же сборник в «Эдинбург ревью», автором которой был сам редактор журнала Фрэнсис Джеффри.

В начале XIX века революционные мотивы в поэзии Бернса и его резкие выпады против церковников отпугивали многих благонамеренных читателей и критиков. Джеффри и другие критики считали более осторожным рассматривать Бернса как неуча, для примитивных взглядов которого многое прощательно, а его творчество — как «жалобную лиру» «влюбленного пахаря». Скотт ви-

дел в нем могучую натуру. Он называет Бернса плебеем с гордой душой и с плебейским негодованием. Именно потому Бернс и понял народную поэзию так глубоко. Ведь она, как говорил Скотт в статье «О подражании народным балладам» (1830), «была обращена к народу, и только он ее действительно ценил, так как в ней дышало все, что его окружало».

Наряду с балладой Скотта привлекали народные сказки и поверья. Фантастика, полагал он, повышает интерес и романа, и поэмы, и пьесы, однако пользоваться ею надо с осторожностью: даже в «Гамлете» второе появление призрака действует на зрителей менее сильно, чем первое. Злоупотребление фантастическим и сверхъестественным иногда ведет к плачевным последствиям, как показывает Скотт в статье «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана». Отдавая должное высокой одаренности Гофмана, Скотт все же приходит к выводу, что его погубил избыток воображения; болезненные выдумки, способные внушить не только страх, но и отвращение, заслонили в творчестве Гофмана высокие и человеколюбивые задачи искусства.

Любовь к людям Скотт считает главным для писателя. Поэтому писатель обязан держать в узде свои прихоти, поэтому лучше, если он сам останется в тени. Сосредоточенность на самом себе, по мнению Скотта, — ошибка Байрона; она источник его скепсиса и отрицания действительности; это, в свою очередь, приводит его к другой крайности — к оправданию эпикурейского отношения к жизни. Пылкий протест Байрона остался Скотту непонятным. Он опасался вспышки революционного движения в Англии, его пугала возможность гражданской войны.

Расходясь с Байроном во взглядах, Скотт все же чрезвычайно высоко ценил его. Его возмущала травля, которой подвергся Байрон в результате бракоразводного процесса. Он оставался для Скотта, вопреки мнению реакционных кругов Англии, величайшим поэтом своего времени. Скотт особенно ценил в поэмах Байрона описания стран Востока. Именно так и следует говорить о чужих краях, как говорил он, — без сухой книжной премудрости, без слащавого приукрашивания. Только по личным впечатлениям и при условии искреннего сочувствия другим народам можно так глубоко проникнуть в их жизнь, как проник Байрон, и отделить важное от второстепенного. С этой точки зрения Скотт рецензировал третью и четвертую песни «Чайлд-Гарольда» и другие произведения Байрона. Отношение Скотта тронуло

Байрона, и в письме от 12 января 1822 года он благодарил его за смелую защиту перед лицом английского общественного мнения и за благожелательную и нелицеприятную критику.

Гибель Байрона в Греции потрясла Скотта. Эта смерть доказала всему миру, что Байрон был великим человеком. Если он иногда в своей жизни совершал ошибки, то там, где на карту была поставлена жизнь целой нации, он умел действовать мудро в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Статья Скотта «Смерть лорда Байрона» — не только надгробное слово. Это и выражение его глубокого убеждения, что нет более благородной деятельности, чем борьба за права угнетенного народа.

Е. КЛИМЕНКО

**НАСЛЕДИЕ РОБЕРТА БЕРНСА,
состоящее преимущественно из писем, стихотворений
и критических заметок о шотландских песнях**

Впервые напечатано в журнале «Куортерли ревью» в 1809 г.

Стр. 449. *Кромек* Роберт Хартли (1770—1812) — гравер и библиофил. В 1808 г. совершил поездку по Шотландии, собирая материалы о жизни и творчестве Бернса. Результатом этой поездки явилась публикация произведений, писем и заметок Бернса, по поводу которой и написана настоящая статья Скотта. Двумя годами позже Кромек издал также собрание шотландских народных песен и баллад, в котором воспроизвел критические замечания Бернса.

Стр. 450. *Карри* Джеймс (1756—1805) — врач и любитель литературы, один из первых биографов Бернса. По просьбе друзей умершего поэта написал статью о его жизни и творчестве, которая была опубликована в первом томе собрания сочинений Бернса, изданном в 1800 г. Статья содержит много неточностей и искажений.

«*Веселые нищие*» (1785). — Эта кантата Бернса была впервые напечатана в 1799 г., спустя три года после смерти поэта.

Стр. 452. «*Опера нищих*» — музыкально-сатирическая комедия Джона Гея (1685—1732), английского поэта и драматурга эпохи Просвещения.

Стр. 454. *Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт и драматург.

Стр. 459. *Как тот дикарь, что по лесам бродил...* — цитата из трагедии Драйдена «Альманзор и Альмагида, или Завоевание Гранады» (ч. I, акт I, сц. I).

Стр. 460. *В письме к мистеру Кларку...* — Вероятно, имеется в виду органист Кларк, с которым Бернс познакомился в Эдинбурге и с которым он и гравёр Джеймс Джонсон с 1787 г. издавали «Шотландский музыкальный музей». Кларк подбирал на органе шотландские народные мелодии, Джонсон перекладывал их на ноты, Бернс же обрабатывал, а чаще заново писал текст.

Стр. 461. *Черчил* Чарлз (1731—1764) — английский поэт. Скотт цитирует строки из стихотворения Черчила «Беседа», в котором автор излагает свой взгляд на общественный долг поэта. В приведенных строках говорится о нравственных муках, которые поэт испытывает при воспоминании о совершенных проступках: душа его содрогается, увидев свое отражение в зеркале Сострадания.

Стр. 462. *...вроде «норки мышки полевой» и «вырванной маргаритки»...* — Скотт имеет в виду стихи Бернса «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом» (1785) и «Горной ромашке, которую я смял своим плугом» (1786).

Якобиты — сторонники изгнанной династии Стюартов, в частности Иакова II, последнего английского короля этой династии. Якобитские настроения были особенно сильны в Шотландии, где с реставрацией Стюартов — шотландцев по происхождению — многие связывали надежду на уничтожение зависимости Шотландии от Англии. В XVIII в. имя Стюартов стало для большинства шотландцев отвлеченным символом шотландской независимости.

Карл Эдуард (1720—1788) — внук Иакова II Стюарта, известный под прозвищами Претендент, Чарли и Иаков III. В 1745 г. предпринял попытку захватить английский престол, подняв восстание в Шотландии, но был разбит и бежал во Францию.

Стр. 463. *Грэм оф Финтри* — один из главных инспекторов государственной акцизной палаты Шотландии. В 1788 г. рекомендовал Бернса, с которым был в дружеских отношениях, на должность акцизного чиновника. Бернс посвятил Грэму оф Финтри несколько стихотворений.

Кипела кровь в игре страстей... — строфа из стихотворения Бернса «Видение». Скотт часто полагался на свою память;

возможно, этим объясняется пропуск одной строки, которой недостает в приведенной им цитате.

Стр. 467. *Рилы, порты и стратспей* — национальные шотландские танцы.

Стр. 468. *Роберт Брюс* (1274—1329) — шотландский король (1303—1329). В битве при Бэннокберне (1314) нанес поражение англичанам.

Стихотворение о Бэннокберне. — Скотт имеет в виду стихотворение Бернса «Брюс — шотландцам» (1793), представляющее собой как бы обращение Брюса к своим воинам перед битвой при Бэннокберне.

Пляска ведьм в аллоуэйской церкви. — Имеется в виду стихотворение Бернса «Тэм О'Шентер. Повесть в стихах» (1791), герой которой, возвращаясь ночью домой после веселой пирушки, наталкивается на хоровод чертей и ведьм и с трудом спасается от них на своей кобыле.

Стр. 469. «*Письма Роберта Бернса к Кларинде*» (1802). — Именем Кларинды подписывала прозаические и стихотворные послания Бернсу Эгнес Мак-Лиоз, которую познакомили с поэтом в Эдинбурге зимой 1787—1788 г. Увлеченный Клариндой, Бернс написал ей ряд писем и стихотворений, впоследствии составивших упоминаемый Скоттом томик.

Сильвандер — имя, которое придумала для Бернса Кларинда (см. предыдущее прим.).

Стр. 470. *Элен Мэрайа Уильямс* (1762—1827) — английская писательница, автор «Писем о французской революции», историко-бытовых очерков, путевых заметок и стихотворений.

Доктор Вуд — возможно, хирург Александр Вуд, который лечил Бернса в Эдинбурге, когда тот повредил себе ногу.

Стр. 471. *Никол Уильям* (1744—1797) — учитель в Эдинбурге, один из близких друзей Бернса. С ним Бернс путешествовал по Шотландии в 1787 г. В честь Николы был назван сын поэта, Уильям Никол Бернс (род. 1791).

Уильям Бернс — младший брат поэта. В поисках заработка уехал в Лондон, где обучался ремеслу шорника. Умер в Лондоне от тифа в 1790 г. двадцати трех лет от роду.

Стр. 472. ...*Который поселянина сыскал...* — цитата из пролога к «Кентерберийским рассказам» Джеффри Чосера (1340—1400), в котором поэт характеризует своих персонажей, в том числе и торговца индульгенциями.

«СТРАНСТВОВАНИЯ ЧАЙЛД-ГАРОЛЬДА»

(песнь III),

«ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК», «СОН»

и другие поэмы лорда Байрона

Впервые напечатано в журнале «Куортерли ревью» в 1816 г.

Стр. 473. *Sine me, Liber...* — цитата из «Скорбных элегий» Овидия (I, 1).

Стр. 474. «Женищина Дон-Кихот» — сатирический роман Шарлотты Леннокс (1720—1804), рассказывающий о забавных похождениях молодой женщины, которая, начитавшись романов, решила во всем походить на их героев и героинь.

Историю? Нет у меня историй — видоизмененная цитата из пародии Джорджа Каннинга (1770—1827) «Друг человечества и усталый точильщик».

Дермоди Томас (1775—1802) — ирландский поэт. Прожил трудную жизнь: терпел нужду, тяжело болел; служа в армии, был ранен. Одно время участвовал в ирландском национально-освободительном движении.

Стр. 475. «Сгусток воображения», в котором величайший из всех когда-либо живших поэтов видел отличительный признак своих собратьев... — Скотт имеет в виду мысли о характере и роли творческого воображения, которые высказал Шекспир в комедии «Сон в летнюю ночь» (акт V, сц. 1).

Стр. 477. *Критическое обозрение было прочитано и возбудило веселье...* — Рецензия на первый сборник стихов Байрона «Часы досуга» (1807) появилась в журнале «Эдинбург ревью» в 1809 г.

...осмеяв в язвительных ямбах... — Речь идет о сатирической поэме Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809).

«Странствования Чайлд-Гарольда» вышли впервые в 1812 году... — Имеются в виду первые две песни поэмы Байрона.

Стр. 478. *...недавними семейными утратами...* — В 1811 г. умерла мать Байрона. Поэт тяжело переживал также смерть двух своих близких друзей.

Стр. 480. *Когда из глубины сердечной...* — Скотт приводит полностью стихотворение Байрона «Экспромт (В ответ другу)».

Стр. 481. *Во Франции у молодых дворян...* — цитата из пьесы Шекспира «Король Иоанн» (акт IV, сц. 1).

Стр. 483. ...как Грей, ограничивались немногими поэмами... — Произведения Томаса Грея (1716—1771), автора прославившей его «Элегии, написанной на сельском кладбище», «Пиндарических од» и др., составляют сравнительно небольшой том.

Аристарх — александрийский критик. Его имя стало нарицательным.

...«ненужный тащится по сцене»... — цитата из произведения английского писателя, критика, моралиста и ученого Сэмюэла Джонсона (1709—1783) «Тщета человеческих желаний» (I, 308).

Стр. 487. *Саути* Роберт (1774—1843) — английский поэт, историк и критик. С 1813 г. получил официальное звание поэта-лауреата.

Мур Томас (1779—1852) — поэт, друг и впоследствии биограф Байрона.

Чаттертон Томас (1752—1770) — английский поэт, покончивший с собой из-за тяжелой нужды и одиночества.

Стр. 488. «Сон». — Эта небольшая, состоящая из девяти строф, поэма была написана Байроном в 1816 г. Она во многом автобиографична.

Стр. 489. *Пилигрим* — Чайлд-Гарольд.

Альп Отступник — герой поэмы Байрона «Осада Коринфа».

Стр. 490. *Корсар* — герой одноименной поэмы Байрона.

Деруэнт-Уотер — озеро в Англии, в северной части Озерного края.

Кехамы — герой поэмы Роберта Саути «Проклятие Кехамы».

Твид — река, протекающая между Англией и Шотландией.

Мармион — главное действующее лицо одноименной поэмы Скотта.

Конрад — имя байроновского Корсара.

Лишь темный взор его горит огнем... — цитата из I песни «Корсара» (строфа 9).

Стр. 491. *Его не радует стаканов звон...* — цитата из той же песни (строфа 2).

Его года заметно изменили... — цитата из I песни поэмы «Лара» (строфа 5).

Стр. 492. *Сальватор* — Сальватор Роза (1615—1673), итальянский художник и поэт.

Стр. 498. *Фальстаф* и *Бардольф* — персонажи хроник Шекспира «Генрих IV» и «Генрих V» и комедии «Виндзорские насмешницы».

Сиддонс Сара (1755—1831) — английская актриса преимущественно трагического репертуара, исполнительница многих шекспировских ролей.

...как огромная глыба из рук Аякса... — Аякс Теламонид, герой «Илиады», вступив в единоборство с Гектором, поднял огромную каменную глыбу и швырнул ее в вождя троянцев.

Стр. 500 *...бессмертна земля Марафона...* — При Марафоне, селении вблизи древних Афин, в 490 г. до н. э. афиняне разбили персидские войска и остановили дальнейшее их вторжение.

Шекспир... указывает в... уже цитированном нами отрывке... — См. прим. к стр. 475.

Стр. 501. *Веллингтон* Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель. В 1815 г. командовал английской армией в битве при Ватерлоо. Представитель реакционного торизма, Веллингтон не пользовался симпатиями Байрона. Скотт, напротив, видел в нем героя, спасителя Англии.

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — один из последних приверженцев и защитников римской республики, виднейший участник заговора против Юлия Цезаря.

Один французский автор... утверждает... — Скотт имеет в виду библиографа-ученого Адриена Бешо (1773—1851). В 1815 г. в Париже вышло в свет сочинение писателя, поэта и журналиста Сезара де Круази (1786—1836) «Энциклопедия флюгеров», в котором были сатирически изображены французские государственные деятели, писатели, художники, журналисты и др., изменившие своим республиканским убеждениям в связи с наступлением во Франции роялистской реакции. Автор расположил имена персонажей в алфавитном порядке, снабдив каждое изображением определенного количества флюгеров в зависимости от легкости, с которой эти люди приняли новое направление. Книга де Круази имела шумный успех и вызвала полемический отклик со стороны А. Бешо, который в противовес «Энциклопедии флюгеров» немедленно опубликовал свой «Словарь устойчивых». Ниже Скотт цитирует строки из этого сочинения Бешо.

Стр. 502. *...сравнивать Ватерлоо с битвой при Каннах...* — Скотт имеет в виду начало строфы XIV, где битва при Ватерлоо сравнивается с «Каннской бойней», то есть с битвой при Каннах, в которой карфагенский полководец Ганнибал нанес тяжелое поражение римлянам (216 до н. э.). Такое сравнение казалось Скотту кощунством, так как он считал, что битва при Ватерлоо освободила мир от тирании Наполеона,

...видел в Испании, каков образ действий «тирана и его рабов»... видел, как «Галльский коршун распростер крыла»... — Имеется в виду Наполеон.

И всем погибнуть?.. — цитата из I песни «Чайлд-Гарольда» (строфа LIII).

Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император.

Тамасп — персидский царь.

Христина Шведская (1626—1689) — королева Швеции.

Фаншон Рылейщица (род. 1737) — уличная певица и музыкантша. Была очень популярна в Париже в конце XVIII в. Фаншон стала героиней ряда водевилей, оперетт и других пьес, которые шли на парижской сцене в первые годы XIX столетия.

Стр. 503. ...как *Бардольф* — за *Фальстафа*. — См. прим. к стр. 498.

Жиль Блас, дон Рафаэль и Амбросио Ламела — персонажи из романа французского писателя Лесажа (1668—1747) «Похождения Жиль Бласа де Сантильяны».

Стр. 504. ...изгнав короля, чье правление исключало войны с другими странами... — Скотт имеет в виду Людовика XVIII, который занял престол после низложения Наполеона в 1814 г. Уверенность Скотта относительно мирных устремлений Людовика была, возможно, основана на соображении, что этот монарх, как противник Наполеона, был бы противником и его политики; кроме того, он вступил на трон с согласия и при помощи правителей основных европейских держав, объединившихся против Наполеона, и таким образом, казалось, почва для конфликтов была устранена.

...бедняги *Слендера*, который, бросившись в объятия *Анны Пейдж*... — Скотт ссылается на эпизод (за сценой) из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы» (акт V, сц. 5).

Каслри Роберт Стюарт (1769—1822) — английский государственный деятель, тори, один из столпов политической реакции.

Церковь святого Стефана — лондонская церковь, в которой с 1547 г. до пожара 1834 г. проводились заседания палаты общин.

Стр. 505. *Катр-бра* — бельгийская деревня к югу от Ватерлоо, близ которой в 1815 г. произошло сражение между французской армией и англо-голландскими войсками.

Стр. 508. ...как это сделано на последующих страницах... — Имеется в виду статья Уильяма Уордена о Наполеоне, напечатанная в том же номере журнала «Куортерли ревью», в котором была опубликована настоящая статья Скотта.

Стр. 509. *Глядит Гарольд...* — цитата из строфы XLVI.
...тайных мыслей с прежней их отрадой.. — цитата из строфы LXVIII.

Стр. 510. «Новая Элоиза» (1761) — роман Ж.-Ж. Руссо.
Клааран уютный, колыбель Любви!.. — цитата из строфы XCIX.

Стр. 511. *Сен-Пре и Жюли* — герой и героиня «Новой Элоизы».

...подобно Кребу у Ланса... — Ланс — персонаж из комедии Шекспира «Два веронца». Креб — имя его собаки. См. начало 3 сцены II акта этой пьесы.

Пророчествам, что в мир внесли пожар... — цитата из строфы LXXXI.

Берк Эдмунд (1729—1797) — английский политический деятель, публицист и философ.

Стр. 513. *Гиббон Эдуард* — английский историк. См. также стр. 726—727.

...трогательно обращается к маленькой дочке... — Байрон обращается к дочери Аде, с которой он был разлучен после разрыва с женой и отъезда из Англии.

Спи в колыбели... — цитата из строфы CXVIII.

Стр. 514. ...как и *Стерн* в знаменитом очерке об узнике... — Скотт имеет в виду одну из глав романа Лоренса Стерна (1713—1768) «Сентиментальное путешествие».

Стр. 515. *Тренк Фридрих* (1726—1794) — прусский офицер. Приговоренный к тюремному заключению за связь с Австрией, провел десять лет в Магдебургском замке.

Таков мой долг!.. — цитата из трагедии Шекспира «Отелло» (акт V, сц. 2).

Стр. 516. ...чист душой... — цитата из строфы V.

Стр. 517. *И виделось, как в тяжком сне...* — цитата из строфы IX.

И слышен был мне шум ручьев... — цитата из строфы XIII.

Стр. 518. *Темница Уголино*. — Уголино — один из самых мрачных образов «Божественной комедии» Данте. Обвиненные им врагом архиепископом в измене, Уголино и его четверо сыновей были заточены в башню, где и погибли голодной смертью.

«Могила Черчила» (1816) — стихотворение, которое Байрон посвятил памяти Чарлза Черчила (см. прим. к стр. 461).

Стр. 519. ...проживет еще долго к вящей своей славе. — В 1830 г. Скотт снабдил это место своей статьи следующим

примечанием: «Увы, выраженная нами надежда оказалась тщетной. Мы не смогли умолить судьбу, и катастрофа завершила сходство между этими поэтами».

...в своеобразной поэме «Тьма» с хорошим подзаголовком: «Сон, который не вовсе сон»... — «Тьма» написана в 1816 г. То, что Скотт называет подзаголовком, является первой строкой стихотворения.

Стр. 521. *Был странник, как и прежде, одинок...* — цитата из строфы VIII поэмы «Сон».

Стр. 522. *...Столетние дубы валя на землю...* — цитата из пьесы Шекспира «Троил и Крессида» (акт I, сц. 3).

Стр. 523. *Престон.* — По-видимому, имеется в виду английский поэт и драматург Уильям Престон (1753—1807).

Стр. 524. *...в наследии Адама...* — Имеются в виду страдания, муки и несчастья, на которые, по христианским верованиям, обрек человечество изгнанный из рая Адам.

Так много долгих дум... — цитата из песни III «Чайлд-Гарольда» (строфа VII).

Стр. 525. *Semita certe...* — цитата из «Сатир» Ювенала (X, 364).

Стр. 526. *I decus, i nostrum...* — цитата из «Энеиды» Вергилия (VI, 546).

РАССКАЗЫ ТРАКТИРЩИКА

Об истории написания статьи см. стр. 750—751.

Стр. 528. *Мистер Бэйс* — персонаж сатирической комедии «Репетиция» (1671), написанной Джорджем Вильерсом, герцогом Бакингером совместно с несколькими другими авторами.

Стр. 530. «*Рыцарь пламенеющего пестика*» — одна из лучших пьес английского драматурга Джона Флетчера (1579—1625), созданных им в сотрудничестве с Фрэнсисом Бомонтом (1584—1616). Это пародия на вкусы той части зрителей и театральных деятелей, которые, требуя от театра сильных ощущений, хотели видеть на сцене лишь приключения, поединки и т. п.

Стр. 532. *Ганноверский королевский дом* — династия английских королей, выходцев из ганноверского княжеского рода (Германия), воцарившаяся с 1714 г.

После сражения при Каллодене... — Близ города Каллоден (Шотландия) в апреле 1746 г. армия Карла Эдуарда, к которой

принадлежал и Александр Стюарт, была разгромлена английскими войсками.

Стр. 533. *Брэдуорд* — персонаж романа Скотта «Уэверли» (см. т. 1 наст. изд.).

Стр. 534. *Он выступал в 1715 и 1745 годах...* — В 1715 г. в Шотландии вспыхнуло восстание якобитов, окончившееся их поражением. В 1745 г. Карл Эдуард вторгся в Англию, стремясь восстановить монархию Стюартов, однако весной следующего года был разбит в сражении при Каллодене.

...прославился дуэлью на палашах со знаменитым Роб Роем Мак-Грегором в Клехене Балквиддерском. — Роб Рой Мак-Грегор — потомок одного из старейших шотландских кланов, вождь одной из его ветвей, еще существовавшей в XVIII в. в Горной Шотландии. Упомянутый поединок был результатом спора между кланом Мак-Грегора и кланом Аппина из-за фермы в районе Балквиддера (Шотландия). Скотт подробно рассказывает об этом эпизоде в предисловии к роману «Роб Рой» (см. т. 5 наст. изд., стр. 50—51).

...когда Поль Джонс прибыл в залив Ферт-оф-Форт... — Поль Джонс (1747—1792) — мореплаватель-авантюрист; одно время занимался контрабандой и работорговлей, позже служил в военном флоте различных стран. В 1779 г., во время вооруженного конфликта между Англией и Францией, попытался высадиться в заливе Ферт-оф-Форт, на восточном побережье Шотландии, с намерением наложить контрибуцию на жителей городов Эдинбурга и Лита, однако поднявшаяся на берегу тревога и неблагоприятный ветер заставили его снова уйти в море.

Стр. 536. *Паулус Плейдел* — персонаж романа Скотта «Гай Мэннеринг» (см. т. 2 наст. изд.).

Стр. 537. *Дэви Геллатли* — персонаж романа «Уэверли».

Стр. 538. *...к северу от Твида* — то есть в Шотландии.

...которых Крабб называет самыми счастливыми обитателями этих жилищ... — Скотт имеет в виду поэму Джорджа Крабба (1754—1832) «Деревня». Крабб изображал в своих произведениях жизнь английской деревни, рыбацких поселков и т. п.

Стр. 539. *...с узаконенной вольностью шекспировских клоунов.* — В шекспировские времена слово «клоун» имело более широкое значение: клоуном называли грубоватого простолоудина или деревенского парня, не знакомого с правилами городского этикета. Соответствующим персонажем на английской сцене часто был слуга или домашний шут, у Шекспира этот

персонаж превратился в остроумного, мудрого и смелого наблюдателя над жизнью и делами людей.

...с кого из них списан Стрэн Смоллетта... — Хью Стрэн — персонаж в романе Тобайаса Смоллетта (1721—1771) «Приключения Родерика Рэндома».

Стр. 540. *Дэнди Динмонт* — персонаж романа Скотта «Гай Мэннеринг».

Мак-Уил — персонаж романа Скотта «Уэверли».

Джин Гордон. — История Джин Гордон, которую далее цитирует Скотт, была написана им самим и опубликована в одном из номеров «Блэквудз мэгэзин». Она включена также в предисловие к роману «Гай Мэннеринг» (см. т. 2 наст. изд., стр. 18—21).

Стр. 542. *Эмери Джон* (1778—1822) — драматический актер.

Стр. 543. ...разве что для ввода цитаты из «Дон-Кихота». — Циклу «Рассказы трактирщика» Скотт предпослал следующую цитату из 32 главы I тома «Дон-Кихота» Сервантеса:

«— Вот что, хозяин, — сказал священник, — принесите-ка ваши книги, я их просмотрю.

— С удовольствием, — молвил хозяин.

Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со старым сундучком, застегнутым на цепочку, открыл его и достал три толстых тома, а также весьма красивым почерком исписанные бумаги» (перевод Н. Любимова).

В английском переводе романа Сервантеса, который цитируется в эпиграфе, встречается то же слово «landlord» (хозяин гостиницы, трактирщик), которое Скотт ввел в название цикла «Рассказы трактирщика» («The Tales of My Landlord»).

...как предисловие Гей к его «Пасторалям»... — В 1714 г. Джон Гей (см. прим. к стр. 452) опубликовал серию сцен из английской сельской жизни, под названием «Неделя пастуха, или Шесть пасторалей».

...Джонсон говорил... — Скотт цитирует отзыв Сэмюэла Джонсона (см. прим. к стр. 483) из статьи «Гей» в его «Жизнеописаниях поэтов».

Лэрд (шотл.) — помещик, землевладелец.

Священный круг друидов — место, где жрецы древних кельтов, друиды, совершали религиозные обряды и приносили жертвы, иногда человеческие.

Стр. 547. *Шевалье Сен-Жорж* — Иаков Эдуард Стюарт (1688—1766), сын Иакова II, бежавшего из Англии в результате свержения династии Стюартов. Иаков Эдуард вырос во Фран-

ции, служил в войсках Людовика XIV. Заручившись обещанием Людовика оказать ему вооруженную помощь, в 1715 г. пытался (но безуспешно) вернуть себе английский престол.

Стр. 548. *«Мельник и его люди»* — популярный в то время музыкальный фарс Исаака Покока (1782—1835).

«Взгляните на его лицо...» — цитата из пьесы Шекспира «Мера за меру» (акт II, сц. I).

Роман, занимающий три следующих тома... — Имеется в виду роман Скотта «Пуритане» (см. т. 4 наст. изд.).

Стр. 552. *...в убийстве Джеймса Шарпа...* — Архиепископ Джеймс Шарп был убит в 1679 г., во время восстания пуритан в Шотландии. Этот акт был ответом шотландских пуритан на религиозные притеснения со стороны Англии.

...ковенантер одолевает Босуэла... — Ковенантерами называли шотландских пуритан, поддерживавших национальный ковенант (договор) о защите религиозных прав шотландцев. В 1638 г. Карл I сделал попытку реорганизовать шотландскую церковь по образцу английской. Это вызвало бурный протест, в результате которого в 1639 г. в Шотландии был подписан ковенант (от англ. covenant — соглашение), участники которого торжественно поклялись бороться с абсолютизмом Карла I.

Стр. 553. *...подобно Дон-Кихоту, критиковавшему анахронизмы раешника маэсе Педро...* — Скотт имеет в виду эпизод из 26 главы II тома романа Сервантеса: следя за представлением кукольного театра, Дон-Кихот прерывает мальчика, комментирующего действие, замечанием, что при сигнале тревоги мавры били в литавры, а не звонили в колокола, поскольку у них вообще не было колоколов.

Стр. 554. *Фаунтенхол* Джон Лоудер (1646—1722) — шотландский государственный деятель. Оставил дневники и многочисленные записи, касавшиеся событий из истории Шотландии и шотландской церкви. В 1822 г. Скотт издал некоторые из его воспоминаний под заглавием «Хронологические заметки о шотландских делах. 1680—1701».

Стр. 559. *Уния* — соглашение о политическом объединении Англии и Шотландии, заключенное в 1707 г., после долгой борьбы шотландцев за сохранение национальной и политической независимости.

Стр. 564. *«Bellum Bothuellianum»*. — Поэт имел в виду битву при Босуэлбридже, в Шотландии, в 1679 г., в которой английские войска разбили восставших шотландских пуритан.

Стр. 565. *Хови Джон* (1735—1793) — автор историко-биографического труда «Знаменитые люди Шотландии» (1774) и издатель «Собрания речей и проповедей священников-ковенантеров» (1779).

Роберт Гамильтон (1650—1701) — один из лидеров крайнего крыла ковенантеров.

Стр. 567. *Индальгенция* — в данном случае — декларация религиозной веротерпимости, изданная Карлом II в 1672 г. и разрешавшая пресвитерианам и католикам отправлять богослужение в согласии с установлениями соответствующей церкви.

Эрастианство — учение о подчинении церкви государству, названное по имени гейдельбергского врача Томаса Эраста (1524—1583), который отрицал право церкви карать за грехи и преступления, считая, что наказание — прерогатива государственной власти.

Стр. 570. *Блэкэдер Адам* (род. ок. 1659) — ковенантер, автор ряда политических трактатов, заметок о борьбе партий в Шотландии и т. п.

Монмут Джеймс Скотт (1649—1685) — побочный сын Карла II. После реставрации монархии Стюартов в 1660 г. занимал ряд военных постов, а во время восстания ковенантеров Карл II назначил его главнокомандующим английской армии в Шотландии. Впоследствии Монмут вступил в заговор против Карла II и был изгнан из Англии. После смерти Карла II Монмут высадился на Британских островах и провозгласил себя английским королем, однако потерпел поражение и был казнен.

Вудроу Роберт (1679—1734) — автор трудов по истории шотландской церкви и ее деятелей. Его «История страданий шотландской церкви» (1721—1722) содержит многочисленные данные о преследовании ковенантеров.

Стр. 573. ...к правительству короля Вильгельма... — Имеется в виду Вильгельм III Оранский (1650—1702), вступивший на английский престол в 1689 г., после падения и бегства во Францию Иакова II Стюарта.

Стр. 581. «Жизнь Педена». — Скотт имеет в виду биографию священника Александра Педена (ок. 1626—1686), который, будучи приверженцем ковенанта, подвергался жестоким преследованиям.

Стр. 582. *Государственные документы Макферсона* — политические документы, относящиеся ко второй половине XVII в. и

остававшиеся неизвестными до 1775 г., когда шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736—1796) опубликовал их в качестве приложения к написанной им «Истории Великобритании от Реставрации до воцарения Ганноверского дома».

Стр. 583. ...*классическую эпиграфию Питкерна*. — По-видимому, Скотт имеет в виду написанное на стене аббатского дома в Данфермлине (Шотландия) двустилие: «Так как слово — рабство, а мысль свободна, мой совет тебе — придержи свой язык». Эти стихи приписывались Роберту Питкерну (ок. 1520—1584).

Стр. 584. ...*сопровождал Аргайла при его злополучной попытке*... — Граф Арчибалд Аргайл (ум. 1685) — сын маркиза Аргайла, возглавлявшего борьбу шотландских пресвитериан против абсолютизма Карла I и казненного после реставрации Стюартов. В 1681 г. Арчибалд Аргайл был обвинен в государственной измене и бежал в Голландию. Когда в 1685 г. к власти пришел Иаков II, Аргайл высадился в Шотландии с целью его свержения. Отряд его был разбит, а сам он схвачен и казнен.

Принц Оранский — будущий Вильгельм III, король Англии (1689—1702).

Стр. 585. *Бурдалу* Луи (1632—1704) — французский иезуит, проповеди которого рекомендовались в качестве назидательного чтения.

Батлер Сэмюел (1612—1680) — поэт эпохи реставрации, язвительный сатирик, высмеявший в поэме «Гудибрас» нравы и обычаи английских пуритан, участников и вождей английской буржуазной революции.

...*при королеве Анне*... — Годы правления королевы Анны — 1702—1714.

Камизары — участники крестьянского восстания 1702—1704 гг. на юге Франции, вспыхнувшего в результате феодальных и религиозных притеснений.

Стр. 586—587. ...*Джон Нокс*... *его ученый и добросовестный биограф*... — См. стр. 750.

Стр. 588. *Конде* Луи (1621—1686) — принц, родственник французского короля, известный полководец и меценат.

Нонконформисты — пресвитериане, отказавшиеся подчиниться акту о единообразии богослужения. По этому акту отправлять богослужение разрешалось лишь тем священникам, которые приняли каноны англиканской церкви.

«*Скарамуш-отшельник*» — фарс, поставленный Итальянским театром в Париже в 1667 г.

Стр. 589. *Торжественная лига* — договор, который в 1643 г. заключили между собой шотландские пуритане и английский пресвитерианский парламент, объединившиеся для борьбы против роялистов.

Стр. 593. *Кер* Джон (1673—1726) — правительственный шпион.

Хук Натаниел (1664—1738) — приверженец Стюартов. Несколько раз вступал в переговоры с шотландскими якобитами, пытаясь организовать восстание.

...над личностью магглтона *Людовика Клакстона*... — Скотт ошибочно называет Клакстона Людовиком; в действительности имя Клакстона (1615—1667) было Лоренс, Людовик же — имя Маглтона (1609—1698), воинствующего сектанта, последователем которого был Клакстон.

Хэмден Джон (1594—1643) — революционный политический деятель, противник роялистов и епископальной церкви.

Гесем — по библейскому преданию, плодородная, счастливая страна, якобы уготованная еврейскому народу в Египте. В переносном смысле — обитель мира и изобилия.

Джеймс Митчел — фанатичный приверженец ковенанта, участник восстаний ковенантеров. В 1668 г. совершил неудачное покушение на архиепископа Шарпа (см. прим. к стр. 552), бежал, но через несколько лет был арестован. Казнен в 1678 г.

«*Долг человека*» (1658) — книга религиозно-дидактического содержания, в которой излагались обязанности человека по отношению к богу и к своим ближним. Предполагалось, что ее автором был священник Ричард Аллестри (1619—1681).

«*Всеобщий молитвенник*» — сборник молитв на английском языке, составленный в XVI в. и постепенно пополнявшийся. Окончательный текст был установлен в 1662 г.

Стр. 593—594. *Мальволио* — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Далее следует цитата из этой пьесы (акт II, сц. 3).

СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА

Впервые напечатано в «Эдинбург уикли джорнал» в 1824 г.

Стр. 597. *В разгар мучительнейшего кризиса в его частной жизни...* — Намек на тяжелые переживания Байрона, вызванные разрывом с женой, а затем ожесточенной травлей, которой его

подвергли реакционные круги английского общества. В результате поэт был вынужден в 1816 г. навсегда покинуть Англию.

...прочитать стихи, написанные на недостойную тему... — Вероятно, Скотт имеет в виду первые песни «Дон-Жуана», которые показали себя безнравственными многим критикам и читателям Байрона (в том числе и некоторым из его друзей).

Стр. 598. *Довольно демагогов без меня...* — цитата из «Дон-Жуана» (песнь IX, строфы 25—26).

Стр. 599. *...начиная с первой публикации «Чайлд-Гарольда».* — Первые две песни «Чайлд-Гарольда» вышли в 1812 г.

Гаррик Дэвид (1717—1779) — знаменитый английский актер, игравший с одинаковым успехом как трагические, так и комические роли, драматург и театральный деятель.

Рыдающая и Смеющаяся музы — в греческой мифологии муза трагедии Мельпомена и муза комедии Талия.

Стр. 601. *Когда в газетах появились эти заметки...* — Эта приписка была сделана Скоттом в 1827 г.

**О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ В ЛИТЕРАТУРЕ,
и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора
Вильгельма Гофмана**

Впервые напечатано в журнале «Фореин куортерли ревью» в 1827 г.

Стр. 602. *Эрнст Теодор Вильгельм.* — Так немецкий писатель Гофман (1766—1822) был назван при рождении. Впоследствии он отбросил имя Вильгельм и заменил его именем Амадей в честь своего любимого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Стр. 603. *Джонсон* — см. прим. к стр. 483. Приводимое далее рассуждение — цитата из 31 главы романа Джонсона «Расселас, принц абиссинский». Эти слова произносит один из персонажей, поэт и мудрец *Имлак*, в ответ на шутовское замечание Расселаса по поводу привидений.

Стр. 605. *...«объелись ужасами»...* — видоизмененная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 5).

...в сознании Девы из маски «Комус»... — Масками в Англии XVI—XVII вв. называли представления, чаще всего аллегорического содержания, с мифологическим сюжетом, сочетавшие пение, танец и драматический диалог. «Комус» — одно из ранних

произведений Джона Мильтона. Комус в античной мифологии — бог праздничного веселья; у Мильтона — это волшебник, сын бога виноделия Вакха и волшебницы Цирцеи. Увлекая заблудившихся в лесу людей в чашу, Комус превращает их в диких животных. Одной из его жертв чуть не оказывается Дева, героиня маски. Попад в лес, она становится свидетельницей чудесных и страшных явлений, однако ее спасают душевная чистота и непорочность, перед которыми бессильны любые чары. Приводимые далее стихи — рассказ Девы о лесных видениях.

Берк. — См. прим. к стр. 511. Скотт цитирует далее почти полностью раздел 3 из II части работы Берка «Философские рассуждения о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного».

Стр. 607. *И мертвый в саване...* — рассказ Горацио о зловещих предзнаменованиях перед смертью Юлия Цезаря («Гамлет», акт I, сц. 1).

Стр. 608. *Коллинз* Уильям (1721—1759) — английский поэт. Приводимые далее слова Сэмюэла Джонсона — цитата из статьи «Коллинз», вошедшей в его «Жизнеописания поэтов».

Елисейские Поля — в античной мифологии загробный мир, где пребывают тени умерших.

Стр. 609. *Бритомарта* — одна из героинь поэмы Эдмунда Спенсера (1552—1599) «Королева фей». Скотт цитирует строки из II книги, повествующей о жизни и странствованиях Бритомарты.

«*Cabinet des Fées*» — собрание сказок (41 том), издававшееся в 1785—1789 гг. в Париже, Амстердаме и Женеве. Многие из этих сказок были затем переведены на английский язык и изданы в Англии.

Стр. 610. *...английская опера возникла из пародии на итальянский театр, созданной Геом в «Опере нищих».* — В «Опере нищих» Джона Гея (см. прим. к стр. 452), осмеивающей пороки общественной и политической жизни Англии XVIII в., пародируются также некоторые приемы модной тогда в Лондоне итальянской оперы.

Энтони Гамильтон (1646—1720) — писатель. Его «Мемуары графа де Граммона», рисующие нравы английской знати во время реставрации Стюартов, были переведены на английский язык (Гамильтон писал по-французски). В сказках Гамильтона, носящих большей частью аллегорический или поучительный характер, чудесное часто трактуется в шутовском, ироническом духе.

Сравнивая эти сказки с «Дон-Кихотом» Сервантеса, Скотт не-
скольکو преувеличивает их значение.

Стр. 611. *Виланд* Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель, поэт и переводчик, автор поэмы «Оберон». Перевод этой поэмы, выполненный Уильямом Созби (1757—1833), о котором упоминает далее Скотт, был опубликован в 1798 г. и переиздан в 1805 г. Скотт высоко ценил Созби как переводчика.

Пульчи Луиджи (1432—1484), *Берни* Франческо (1498—1535) и *Ариосто* Лодовико (1474—1533) — итальянские поэты эпохи Возрождения. Скотт имеет в виду поэму Пульчи «Морганте», грубоватую и остроумную пародию на рыцарские романы; шутилистую и сатирическую лирику Берни и поэму Ариосто «Неистовый Роланд», в которой рыцарская тема с ее фантастикой, чудесами и идеализацией феодального быта становится предметом откровенного иронического обыгрывания.

Стр. 616. *Оссиан* — легендарный кельтский поэт-певец, живший, по преданию, в III или IV в. Именем Оссиана воспользовался Д. Макферсон (см. прим. к стр. 582), выдавший свои поэмы «Фингал» и «Темора», написанные на основе свободной обработки кельтского эпоса, за перевод произведений древнего барда.

Музеус Иоганн Карл Август (1735—1787) — немецкий писатель и фольклорист. Собрал и обработал множество немецких сказок, которые были изданы под названием «Народные сказки немцев» (1782—1787). В 1791 г. в Англии было опубликовано двухтомное собрание сказок Музеуса в переводе на английский язык. По имеющимся данным, переводчиком был Уильям Бекфорд, а не доктор Беддоуз, как пишет Скотт.

Стр. 618. *Де Ламотт-Фуке* Фридрих (1777—1843) — немецкий романист, поэт и драматург, автор рыцарской повести «Ундина».

Стр. 619. *Казотт* Жак (1720—1792) — французский писатель.

Киммерия — легендарное царство мрака и тумана («Одиссея»).

Стр. 620. *Франкенштейн* — герой одноименного философского и фантастического романа Мэри Вулстонкрафт-Шелли, ученый, создавший живое человеческое существо.

Стр. 621. *Джозефи Крейон* — псевдоним американского писателя Уошингтона Ирвинга (1783—1859). «Смелый драгун» входит в первую часть его «Рассказов путешественника».

Стр. 622. «*Петер Шлемиль*» — повесть немецкого писателя Адальберта Шамиссо (1781—1838). В основе повести лежит легенда о человеке, продавшем свою тень.

«Эликсир дьявола» (1816) — роман Э. Т. А. Гофмана.

Стр. 624. ...поэтам, этим «сгусткам воображения». — См. прим. к стр. 475.

Стр. 626. *Вандам* Жозеф-Доминик (1770—1830) — один из генералов Наполеона. В 1813 г. был разбит при Кульме коалиционными войсками и взят в плен.

Стр. 629. *Бертон* Роберт (1578—1640) — священник, автор ученого труда «Анатомия меланхолии». Приводимые Скоттом стихи — строфы из стихотворения, которое Бертон предпослал сьоей книге.

Стр. 631. *Вордсворт* Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик.

Стр. 633. *Мак-Уил* — персонаж романа Скотта «Уэверли».

Шотландский автор. — Скотт имеет в виду самого себя.

Стр. 634. *Крабб*. — См. прим. к стр. 538. Далее следует цитата из поэмы Крабба «Местечко».

Стр. 643. *И сказано: ни дух, бродящий ночью...* — цитата из маски Мильтона «Комус» (см. прим. к стр. 605).

Стр. 645. ...*«tout genre est permis hors les genres ennuyeux»*... — Эти слова приписываются Вольтеру.

Стр. 646. *Калло* Жак (1592—1635) — французский рисовальщик и гравер. В его многочисленных офортах, особенно в сериях «Нищие» (ок. 1622) и «Бедствия войны» (1633), социальные бедствия отражены в острых, сатирических, часто гротескных образах и ситуациях.

Хогарт Уильям (1697—1764) — художник, график и гравер, в сатирических работах которого — «Карьера мота», «Выборы», «Модный брак», «Доверчивость, суеверие и фанатизм» и др. — изображены нравы тогдашнего английского общества.

Стр. 647. ...*Гофман назвал свой сборник «Ночные повести в манере Калло»*... — Скотт по ошибке соединяет названия двух сборников Гофмана: «Фантазии в манере Калло» («Phantasiestücke in Callots Manier», 1814/1815) и «Ночные повести» («Nachtstücke», 1817).

Стр. 648. *Парацельс* Филипп (настоящее имя Теофраст Бомбастус фон Гогенхейм; 1493—1541) — швейцарский врач, занимавшийся также алхимией.

Стр. 651. *Николаи* Фридрих (1733—1811) — немецкий писатель, критик и философ эпохи Просвещения.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
и о различных сборниках
британских (преимущественно шотландских) баллад

Впервые напечатано в 1830 г. в виде предисловия к сборнику «Песни шотландской границы».

Стр. 653. *Введение, первоначально предпосланное «Песням шотландской границы»...* — Скотт имеет в виду предисловие, которое он написал к первому изданию «Песен шотландской границы».

Стр. 656. *Аэд* — древнегреческий профессиональный поэт-певец. Аэды слагали эпические песни о богах, героях и т. п. и сами же исполняли их, наполовину импровизируя, под аккомпанемент лиры.

Стр. 657. *Слепой старец с Хиоса* — Гомер.

Писистрат (ок. 600—527 до н. э.) — афинский тиран.

Стр. 658. *...побудили классициста Аддисона написать... комментарий к... балладе «Охота на Чевииотских горах»...* — Джозеф Аддисон (1672—1719) — английский писатель, поэт и журналист, автор написанной в классическом стиле трагедии «Катон», издатель сатирико-нравоучительных журналов «Болтун», «Зритель» и «Опекун». Его комментарий к балладе «Охота на Чевииотских горах» был напечатан в «Зрителе» (1711, №№ 70, 74). Эта шотландская баллада, сложенная, вероятно, в XV в., была опубликована в одном из первых в Шотландии печатных сборников (ок. 1540).

Филипп Сидней (1554—1586) — английский поэт эпохи Возрождения. Писал о балладе «Охота на Чевииотских горах» в своем трактате «Защита поэзии» (1579—1580).

Стр. 660. *«Роман о сэре Тристреме»* — английская обработка романа о Тристане и Изольде, произведенная в XIII в. Скотт опубликовал это произведение в 1804 г. по рукописи Эдинбургской библиотеки.

Роберт де Брюнн (1288—1338) — поэт, автор стихотворной «Хроники Англии» и других произведений.

Томас Эрсилдаун (ок. 1220 — ок. 1297) — шотландский поэт, по преданию обладавший также даром предвидения. Некоторые из его поэтических «Пророчеств» были впервые перепечатаны с рукописного подлинника в 1806 г. в антологию Р. Джемисона «Народные баллады и песни». Томас Эрсилдаун, в свою очередь, стал героем нескольких баллад и романов в стихах.

Стр. 662. *Перси Томас* (1729—1811) — поэт и фольклорист. О его деятельности по собиранию памятников старинной английской поэзии Скотт подробно рассказывает ниже.

...не позже годов царствования *Генриха VII*... — Генрих VII правил Англией в 1485—1509 гг.

Стр. 663. «*Книга баллад*». — Скотт имеет в виду антологию, составленную и изданную в 1823 г. его другом, любителем старины Ч. К. Шарпом (1781—1851).

Стр. 664. «*Росуэл и Лилиан*» и «*Сэр Эджер, сэр Грайм и сэр Грейстил*» — английские романы в стихах. Наиболее ранние из известных печатных изданий относятся, соответственно, к 1663 и 1711 гг. Оба романа были перепечатаны в сборнике Д. Лэнга «Ранние повести в стихах» (1826).

Стр. 665. *Мальколм Кэнмор* (ум. 1093) — Мальколм III, король Шотландии (1057—1093), сын убитого Макбетом Дункана I.

Стр. 666. «*Камень судьбы*» — тронный камень шотландских королей; был впоследствии вделан в трон английского короля.

...когда скончался *Александр III*. — Шотландский король Александр III умер в 1285 г.

Стр. 667. *Томас Рифмач* — по-видимому, то же лицо, что и Томас Эрсилдаун (см. прим. к стр. 660).

«*Сказание о Ральфе Койлзире*» — роман в стихах, примыкающий к циклу сказаний о Карле Великом и его рыцарях. Одно из ранних изданий относится к 1572 г. Был перепечатан Д. Лэнгом в его сборнике «Избранные памятники древней народной поэзии Шотландии» (1821).

Стр. 667—668. «*Приключения Артура в Тарн-Уотелине*» — один из раннеанглийских стихотворных романов.

Стр. 668. «*Сэр Гэвейн и сэр Голограс*» — роман в стихах, входящий в так называемый артуровский цикл. Один из ранних печатных текстов — издание 1508 г. В 1792 г. историк и филолог Джон Пинкертон (1752—1825), издавший несколько сборников баллад, включил этот роман в 3 том своей антологии «Древние шотландские стихи».

«*Церковь Христа на лугу*» — юмористические стихи в духе народной поэзии, описывающие веселый народный праздник. Автором их считался шотландский король Иаков I (1394—1437), любитель литературы и поэт.

Аллен Рэмзи (1686—1758) — шотландский поэт, собиратель и издатель народных песен, баллад и других памятников шот-

ландского фольклора, опубликованных им в нескольких антологиях.

Это подтверждает и рассказ историка Лесли, цитируемый нами в нижеследующем «Предисловии». — Скотт имеет в виду предисловие к первому изданию «Песен шотландской границы», которое он воспроизвел в издании 1830 года. Джон Лесли (ум. 1596) — автор ряда трудов по истории и этнографии Шотландии. Его «История Шотландии», охватывающая 1436—1561 гг., была издана в Эдинбурге в то время, когда Скотт писал эту статью.

Стр. 669. *Пепис* Сэмюел (1632—1703) — секретарь морского министерства в период реставрации Стюартов. Оставил дневник, который вел с января 1660 г. до мая 1669 г. (опубликован в 1825 г.).

Роксборо Кэр Джон (1740—1804) — известный библиофил. В его библиотеке, распроданной в 1812 г. с аукциона, было много ценных изданий, начиная с первых дней книгопечатания, в том числе редкое собрание старинных баллад.

Стр. 670. *...вплоть до окончания гражданских войн в 1745 году.* — Скотт имеет в виду борьбу шотландцев против Англии и, одновременно, борьбу представителей различных религиозных, а по существу социально-политических течений среди самих шотландцев. См. прим. к стр. 534.

Флора — в римской мифологии богиня весны, цветов и растений.

Стр. 671. «*Альманах*» *Миллара и Чепмена*. — Вероятно, Скотт имеет в виду первую печатную книгу, появившуюся в Шотландии в 1508 г. Ее создателями были Эндрю Миллар, французский печатник, шотландец по происхождению, и эдинбургский печатник и книготорговец Уолтер Чепмен (ок. 1473 — ок. 1538). Выпущенный ими сборник состоял из одиннадцати небольших книжек, в числе которых было несколько рыцарских романов, баллад о Робине Гуде и т. д.

Джеймс Уотсон (ум. 1722) — издатель широко известного в свое время собрания «Избранные шотландские стихи, комические и серьезные», которое вышло тремя частями в 1706, 1709 и 1711 гг. и включило как старинные, так и новые произведения.

«*Неувядающий венок*» (1724) — один из самых известных сборников, изданных Алленом Рэмзи. В двух томах этой анто-

логии он собрал образцы народной поэзии, включив также подражания им (в том числе и написанные им самим).

Бэннетайнская рукопись — запись стихов и баллад, составленная в 1568 г. эдинбургским купцом Джорджем Бэннетайном, которого, как и многих его современников, эпидемия чумы заставила временно удалиться от дел и уединиться в деревне. Рукопись содержит свыше 800 страниц.

...*Рэмзи включил и «Хардикуанут»*... — Поэма «Хардикуанут» представляет собой более позднюю обработку древней баллады. Автором этой обработки была Элизабет Холкит Уордлоу (1677—1727), которая опубликовала балладу в 1719 г. Рэмзи включил «Хардикуанут» в свою антологию с кое-какими собственными дополнениями.

Стр. 672. *Джозеф Ритсон* (1752—1803) — критик и фольклорист. См. также стр. 752.

Стр. 675. ...*лишь при Эдуарде III*. — Король Англии Эдуард III правил с 1327 г. по 1377 г.

Стр. 676. ...*Томас Рифмач, менестрель, процветавший в конце XII столетия*... — Вероятно, ошибка Скотта: предполагают, что Томас Рифмач умер в конце XIII в.

...*его пленения после битвы при Азенкуре*. — В битве при французском городе Азенкуре (1415) герцог Орлеанский оказался пленником англичан.

Стр. 677. ...*mediocribus esse poëtis*... — цитата из трактата Горация «Об искусстве поэзии» (строки 373—374).

Стр. 678. *Штульце* — по-видимому, модный портной.

Паства Джудитта (1798—1865) — итальянская певица.

Зонтаг Генриетта (1806—1854) — немецкая певица.

Стр. 679. *Дэвид Гаррик*. — См. прим. к стр. 599.

Джон Кембл (1757—1823) — известный актер, родоначальник артистической семьи Кемблов, мастер высокого трагического стиля, связанного с традициями классического направления на английской сцене.

Стр. 682. *Уильям Джулиус Микл* (1734—1788) — поэт и переводчик.

...*беллетристическую повесть под названием «Кенилворт»*. — Скотт имеет в виду собственный роман (см. т. II наст. изд.).

Стр. 683. *Дэвид Херд* (1732—1810) — собиратель шотландских баллад, издатель сборника «Древние и современные шотландские песни».

Грейстил — герой упоминаемого Скоттом выше стихотворного романа «Сэр Эджер, сэр Грайм и сэр Грейстил», властитель заколдованной страны.

Стр. 684. *«Чувствительный человек»* — роман английского писателя Генри Макензи (1745—1831).

Джон Пинкертон. — См. прим. к стр. 668.

Макферсон. — См. прим. к стр. 582 и 616.

Стр. 685. *Джон Брюс Кинросс* (ок. 1684—1766) — офицер и государственный деятель. Был женат на сестре *Холкит Уордлоу* (см. прим. к стр. 671); отсюда, возможно, и та путаница в определении истинного сочинителя этой баллады, о которой пишет Скотт.

«Избранные стихи из Мейтлендской рукописи». — Скотт имеет в виду сборник Дж. Пинкертона «Древние шотландские стихи», материалом для которого в значительной мере послужила рукопись, составленная в 1555—1585 гг. Ричардом Мейтлендом (1496—1586). Мейтлендская рукопись представляет собой двухтомное собрание разнообразных стихов, песен и баллад.

Стр. 686. *Томас Парк* (1759—1834) — собиратель, издатель и комментатор памятников английской поэзии. Издание, о котором говорит Скотт, Парк выпустил в 1813 г.

...каледонских народных песен. — Каледония — древнее название Шотландии.

Стр. 687. *...в годы царствования Иакова I Английского*. — Король Иаков I правил с 1603 г. по 1625 г.

Стр. 688. *Джеймс Баллантайн* (1772—1833) — школьный товарищ Скотта, глава книгоиздательской фирмы, совладельцем которой был Скотт.

Стр. 689. *Джон Финли* (1782—1810) — поэт. Интересовался памятниками народного творчества, собирал материалы для истории поэзии.

Книги мистера Мазеруэла и мистера Кинлоха. — Сборник Мазеруэла «Песни древние и современные» и сборник Кинлоха «Древние шотландские баллады» появились в 1827 г.

Стр. 691. *Вудхаузли* Александр Фрейзер Тайтлер (1747—1813) — профессор истории в Эдинбургском университете, автор исторических сочинений, в том числе работы по архитектуре и искусству древних шотландцев. Вудхаузли разделял интерес Скотта к народной поэзии.

ДНЕВНИКИ

Отрывки

Скотт начал вести дневник 20 ноября 1825 г., под впечатлением попавшегося ему в руки дневника Байрона. «Всю свою жизнь я жалел о том, что не вел постоянного дневника, — писал он по этому поводу. — Из-за этого я сам утратил воспоминания о многом интересном и лишил свою семью некоторых любопытных сведений. Увидев недавно несколько томов дневников Байрона, я подумал, что он, видимо, поступил правильно, когда завел себе книжку, в которую, откинув всякие претензии на порядок и последовательность, вносил записи о событиях так, как они ему вспоминались. Последую-ка и я этим путем». Последняя запись в дневнике Скотта датирована 16 апреля 1832 г. и обрывается на полуфразе. После смерти Скотта дневник был передан его зятю, писателю и журналисту Джону Гибсону Локарту, который цитировал отдельные места в своей книге «Жизнь Вальтера Скотта» (1837—1838). Полностью дневник Скотта был впервые опубликован в 1890 г. в Эдинбурге. Это двухтомное издание содержит около тысячи страниц.

Стр. 694. *Сэр Джошуа*. — Имеется в виду английский художник Джошуа Рейнолдс (1727—1792), первый президент основанной в 1768 г. Королевской академии.

Стр. 695. ...с записями Мура... по поводу бедняги Байрона. — Томас Мур (см. прим. к стр. 487) в это время начал собирать материалы для биографии Байрона, которая была завершена и опубликована в 1830 г. Скотт встречался с Муром и раньше, но по-настоящему познакомился с ним лишь 22 ноября 1825 г. Как явствует из дневника, Байрон был предметом их разговора. Свою книгу о Байроне Мур посвятил Скотту.

Уил (Уильям) *Роуз* (1775—1843) — поэт и переводчик, друг Скотта.

Марри Джон (1778—1843) — лондонский издатель. В 1812 г. опубликовал две первые песни «Чайлд-Гарольда», после чего между ним и Байроном завязались деловые и дружеские отношения.

«*Либерал*» — литературный журнал, издававшийся в 1822—1823 гг. и закончивший свое существование на четвертом номере.

Хант Ли (1784—1859) — поэт и журналист. Был приговорен к двум годам тюремного заключения за разоблачительную

статью о принце-регенте (будущем короле Георге IV) в журнале «Экземинаер», который он редактировал.

Бэнкс Уильям Джон (ум. 1855) — школьный товарищ Байрона.

...за... посвящение *Кэму Хобхаузу*... — *Кэм Хобхауз* (1786—1869) — государственный деятель, друг Байрона со студенческих лет. Речь идет о том, что Байрон посвятил Кэму Хобхаузу IV песнь «Чайлд-Гарольда».

Стр. 696. ...прославленная *венецианская куртизанка*, о которой *Руссо* рассказал... — Намек на увлечение, которое Руссо пережил в Венеции в 1740-х гг. и о котором он рассказал в своей «Исповеди» (ч. II, кн. 7).

Я написал вчера шесть моих убористых страниц... — Скотт имеет в виду рукопись книги «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов», над которой он начал в это время работать.

Стр. 697. *Джеймс Баллантайн*. — См. прим. к стр. 688.

«*Вудсток*» — роман Скотта (см. т. 17 наст. изд.).

Рэдклиф Анна (1764—1823) — английская писательница, автор популярных в конце XVIII в. «черных», или готических, романов.

Стр. 698. *Как-то раз в Венеции они стояли у окна палатцо Байрона*... — Байрон жил в Венеции в 1816—1819 гг., в особняке на берегу Большого канала. Мур навестил его там в 1819 г.

Стр. 700. *Уил* (Уильям) *Давенант* (1605—1668) — поэт и драматург. Среди его современников ходили слухи, будто он незаконнорожденный сын Шекспира. Притязания Давенанта на родство с Шекспиром служат темой разговора в 25 главе романа Скотта «Вудсток» (см. т. 17 наст. изд., стр. 358).

Мальчишки дразнят... — цитата из фарса Генри Филдинга «Дик Развалина» (1736).

...я эти строчки вставляю в «Вудсток»! — Скотт действительно включил эти строки в 25 главу «Вудстока», снабдив их примечанием: «Мы нашли эти стихи в фарсе Филдинга «Дик Развалина», написанном на сюжет той же самой старинной истории. Так как они были широко известны в эпоху республики, то, наверно, дошли и до автора «Тома Джонса», — ведь никто не заподозрит в подобном анахронизме автора настоящей книги».

Стр. 701. *Уилки*... «*Шотландский Тенирс*»... — Излюбленными темами художника-жанриста Дэвида Уилки (1785—1841) были сцены из сельской жизни Шотландии, и потому его иногда срав-

нивали с Давидом Тенирсом Младшим (1610—1690), фламандским живописцем, который часто изображал быт и характеры крестьян.

Уил (Уильям) *Аллен* (1782—1850) — художник, работавший в историческом жанре; в частности, писал на темы, навеянные романами Скотта. В 1815 г. Скотт организовал лотерею, чтобы помочь Аллену продать выставленную им в Эдинбурге картину. Впоследствии Аллен стал президентом Королевской академии.

Лэндсир Эдвин (1802—1873) — художник, прославившийся главным образом как анималист. Ему принадлежит посмертный портрет Скотта с собаками.

Лесли Чарлз Роберт (1794—1859) — художник, заимствовавший свои темы из литературных произведений (Шекспира, Сервантеса и других). В 1825 г. написал портрет Скотта.

Сцены из Мольера. — Скотт имеет в виду картины Гилберта Стюарта Ньютона (1794—1835), который часто использовал литературные сюжеты, возможно — его картину «Господин де Пурсоньяк, или Больной поневоле», написанную на сюжет комедии Мольера «Господин де Пурсоньяк».

Чантри Фрэнсис (1781—1841) — скульптор-портретист. Бюст Скотта работы Чантри был, по словам дочери Скотта, лучшим из всех изображений ее отца.

Стр. 702. *Дасье* Анна (1651—1720) — французская переводчица «Илиады» и «Одиссеи».

Получил письмо от прославленного Дениса Давыдова... — Работая над «Жизнью Наполеона Бонапарта» и собирая материалы о поражении французов в России, Скотт заинтересовался борьбой русских партизан против французской армии и вступил в переписку с поэтом-партизаном Денисом Васильевичем Давыдовым (1784—1839).

Луиза Стюарт — близкая знакомая семьи Скотта.

...мистер Хул... благородный преобразователь золота в свинец... — Переводы (в основном из итальянских поэтов), выполненные Джоном Хулом (1727—1803), имели мало общего с подлинниками, и его младшие современники относились к нему иронически.

Генри Реберн (1756—1823) — шотландский художник-портретист. Писал Скотта несколько раз: в 1808, 1809 гг. и позже. Портрет, о котором упоминает Скотт, был написан в 1822 г.

Стр. 703. *Песенок сельских и нежных куплетов...* — из песни «Охота на зайца».

Вновь принялся за заметки о моих подражателях. — Говоря о своих подражателях, Скотт имеет в виду Уильяма Гаррисона Эйнсворта (1805—1882) и Хорэйса Смита (1779—1849), чьи романы он в это время читал. Действие романа Эйнсворта «Сэр Джон Чивертон» происходит во времена рыцарства; в романе Смита «Дом Брэмблтай, или Кавалеры и круглоголовые» изображен период гражданской войны в Англии во время буржуазной революции в Англии в XVII в., то есть та же эпоха, что и в «Вудстоке» Скотта. Под заметками Скотт подразумевает свою запись в дневнике за предшествующий день.

Стр. 703—704 *...валяют дурака изящнее, зато я, как сэр Эндрю Эгьючик, — натуральнее.* — Эндрю Эгьючик — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Скотт имеет в виду следующие строки из 3 сцены II акта этой пьесы:

«Ш у т. ...И знатно же этот рыцарь умеет валять дурака!

Сэр Эндрю. Конечно, умеет, когда хочет, и я тоже. Только у него это получается красивее, а у меня натуральнее» (перевод Э. Линецкой).

Стр. 704. *Бэйс.* — См. прим. к стр. 528.

Ньюмаркет — местечко в графстве Западный Саффолк, где происходили традиционные и очень популярные в Англии скачки.

«Пожар и чума в Лондоне» Дефо — «История чумы в Лондоне в 1665 году» (1722).

«Украсть!» Фу! Что за низменное слово!.. — цитата из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы» (акт I, сц. 3).

Олд-Бейли — здание уголовного суда в Лондоне.

Стр. 705. *За свободу в бой пойдем!..* — из стихотворения Р. Бернса «Брюс — шотландцам».

Калиф Ватек — герой «восточной» повести Уильяма Бекфорда (1759—1844) «Ватек», попадающий в подземное царство, где томятся некогда могущественные тираны, цари и т. п. Слушая рассказ одного из них, Ватек с ужасом замечает сквозь одежду и телесную оболочку его пылающее в огне сердце.

...мои расходы на путешествия сильно возросли. — Скотт сделал эту запись в Оксфорде, где он остановился на несколько часов, возвращаясь в свое шотландское имение Эбботсфорд после двухнедельного пребывания во Франции и десятидневной остановки в Лондоне.

Стр. 706. *...благодаря многим лестным для меня обстоятельствам...* — Скотт имеет в виду то внимание и восхищение, с которым его встретили в Лондоне и в Париже.

Вордсворт. — См. прим. к стр. 631.

Персеполис — столица древней Персии. В 331 г. до н. э. Александр Македонский сжег находившийся в Персеполисе дворец, в котором хранились сокровища персидских царей, после того как отпраздновал в нем победу над персами.

Стр. 707. *Джон Кембл.* — См. прим. к стр. 679. Его брат, о котором Скотт говорит как об исполнителе роли Бенедикта («Много шума из ничего» Шекспира), — скорее всего Чарлз Кембл (1775—1854). В семье Кемблов было двенадцать детей, и почти все стали актерами.

Том (Томас) Кинг (1730—1805) — актер и драматург. Ушел со сцены в 1802 г.

«В несправедливой ссоре...» — Скотт цитирует 1 сцену V акта комедии Шекспира «Много шума из ничего».

Статья о Гофмане. — См. стр. 602—652 наст. тома.

...я охотно приду на помощь этому бедняге... — Скотт имеет в виду Роберта Пирса Гиллиса (1788—1858), редактора незадолго до того основанного журнала «Фореин куортерли ревью». Потеряв в 1825 г. в результате разразившегося в Англии кризиса почти все свое состояние, Гиллис часто терпел нужду и не раз находил поддержку у Скотта. Публикуя статью о Гофмане в этом журнале, Скотт отказался от гонорара в пользу его редактора.

Стр. 708. *История призрака миссис Вил* — очерк Дефо «Правдивый рассказ о призраке некоей госпожи Вил, явившемся на следующий день после ее смерти к некоей госпоже Баргрейв в Кентербери 8 сентября 1705 года» (1706). Очерк был предпослан религиозному трактату Чарлза Дрелинжура «Борьба христианина против страха смерти» с целью привлечь внимание читателей к этой малопопулярной книге. Дефо изложил фантастическую историю госпожи Вил с обстоятельностью репортера, сообщающего о реальном событии.

Джонни Локарт — внук Скотта.

Крокер Джон Уилсон (1780—1857) — политический деятель, журналист и поэт, автор «Рассказов для детей из истории Англии».

Я напишу, если удастся, такую книгу... — Скотт действительно написал книгу «Рассказы деда», в которой изложил для внука в художественной форме ряд эпизодов из истории Шотландии.

Ержолов Алексей Петрович (1772—1861) — полководец и дипломат, участник Отечественной войны 1812 г., позже главно-

командующий русской армией на Кавказе. Как видно из записи Скотта, генерал Ермолов показался ему значительно моложе своих лет.

Если это Вицесимус... — Видимо, ошибочное предположение, так как Вицесимус Нокс, священник и автор многочисленных религиозных сочинений, с которым встречался Скотт, умер в 1821 г.

...не сомневается, что Москву сжег Ростопчин... — Причастность графа Федора Васильевича Ростопчина (1763—1826), который в 1812 г. был военным губернатором Москвы, к московскому пожару не доказана, хотя некоторые и приписывали ему главную роль в поджоге города.

Стр. 709. *...начал успокаиваться после пережитой за последние дни умственной и даже физической спешки.* — Скотт имеет в виду свои переживания, связанные с финансовым крахом его книгоиздательской фирмы. См. об этом также запись в дневнике от 24 декабря того же года.

Нанес второй визит... — В этот день Скотт навестил леди Джейн Стюарт, дочь которой, Уильяминой Белшес, он был увлечен в юношеские годы (она умерла в 1810 г.). Первая встреча с Джейн Стюарт произошла накануне, 6 ноября. Оба посещения сильно взволновали Скотта, воскресив в нем воспоминания о его первой любви.

Стр. 710. *Брандер* — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами и предназначенное для уничтожения неприятельских кораблей при сближении с ними.

Новый роман — «Пертская красавица» (см. т. 18 наст. изд.).

Бейли Джоанна (1762—1851) — английская поэтесса, автор серии «Пьес о страстях». *Этлинг* — герой одной из трагедий, опубликованных во втором томе этой серии.

Стр. 711. *Кэделл* Роберт (1788—1849) — издатель и друг Скотта.

«Хроника» — «Кэнонгейтская хроника».

Стр. 712. *Д. Б.* — Джеймс Баллантайн.

Два моих ученых фиванца посетили меня... — По всей вероятности, Скотт имеет в виду Джеймса Баллантайна и Роберта Кэделла.

Стр. 713. *...покидал свой дом около шести недель назад.* — См. прим. к стр. 709.

...после банкротства фирм Констебла и Робинсона. — Арчибалд Констебл (1774—1827) — бывший компаньон Кэделла. Изда-

тельская фирма «Констебл и Кэделл» (1812—1825) была связана деловыми интересами с Баллантайном и так же, как Баллантайн, стала жертвой экономического кризиса. После банкротства Констебл и Кэделл разошлись. Робинсон — представитель фирмы «Херст, Робинсон и К^о», игравшей роль агента Констебла и Кэделла в Лондоне и также потерпевшей крах в 1825 г.

Стр. 714. *Прочел новый роман Купера «Красный корсар»...* — Существовало мнение, будто роман «Красный корсар», написанный Фенимором Купером (1789—1851) в 1827 г., был задуман как противопоставление роману Скотта «Пират» (см. т. 12 наст. изд.), вышедшему за шесть лет до «Красного корсара».

Стр. 715. «Критик» (1779) — фарс Шеридана.

...все события и персонажи в моей истории... — Вероятно, Скотт имеет в виду роман «Пертская красавица», над которым он начал работать в декабре предыдущего года.

Персине — персонаж из французской сказки.

Стр. 716. *Рабами времени, вассалами звонка...* — цитата из сатирического стихотворения Джона Олдэма (1653—1683) «Обращение к другу, собирающемуся покинуть университет».

Мы посетили могилу могучего чародея. — Эта запись в дневнике Скотта сделана на родине Шекспира, в Стрэтфорде-на-Эвоне, куда Скотт и его дочь Анна приехали 7 апреля, направляясь в Лондон. Памятник Шекспиру, о котором идет речь, работы скульптора Джерарда Джонсона, был установлен между 1616 и 1623 гг.

Стр. 717. *Норткот Джеймс* (1746—1831) — художник, известный главным образом как портретист.

...помнящий сэра Джошуа... — Норткот получил первые уроки живописи в студии Джошуа Рейнолдса (см. прим. к стр. 694) и в 1813 г. опубликовал воспоминания о нем.

Сэмюел Джонсон. — См. прим. к стр. 483.

Берк. — См. прим. к стр. 511.

...все, что мы слышали о чудачествах этого человека... — Бродячая жизнь, которую одно время вел писатель Оливер Голдсмит (1728—1774), и некоторая житейская неустроенность снискали ему славу чудака, а повышенный интерес к его личности и биографии способствовал укреплению этой репутации.

Карри. — См. прим. к стр. 450.

Стр. 717—718. *...я сам и другие не сказали ни слова неправды на этот счет...* — Скотт имеет в виду свои многочисленные высказывания о Роберте Бернсе, и в первую очередь, очевидно,

свою статью «Наследие Роберта Бернса» (см. стр. 449—472 наст. тома).

Стр. 719. ...как ханжа *Трэш* в «*Варфоломеевской ярмарке*»... — Имеется в виду персонаж сатирической комедии Бена Джонсона (1573—1637).

Стр. 720. *Ледлоу* Уильям (1780—1845) — друг Скотта, его личный секретарь и одно время управляющий имением Эбботсфорд.

...дела с мистером *Кэделлом* улажены... — Скотт имеет в виду финансовые расчеты, связанные с изданием его произведений.

...заменяя... мои собственные отказавшие мне пальцы. — В феврале 1830 г. Скотт перенес первый приступ паралича, после которого так и не оправился.

Н. ЕГУНОВА

БРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВАЛЬТЕРА СКОТТА

1771

15 августа.

В Эдинбурге в старом особняке на улице Колледж-уинд родился Вальтер Скотт. Вскоре после его рождения родители Скотта переселяются из этого мрачного и сырого дома в другой дом — на Джордж-сквер.

Отец писателя, также носивший имя Вальтер, выучившись на стряпчего, возглавил контору, где впоследствии начал свою юридическую карьеру его сын. Мать писателя, Анна Скотт, урожденная Резерфорд, была дочерью профессора медицины Эдинбургского университета. Она любила старинные шотландские легенды и баллады и сумела передать это пристрастие своему сыну, который был к ней горячо привязан. «У каждого шотландца имеется родословная, — писал Скотт в автобиографии, — это его национальная привилегия, столь же неотъемлемая, как его гордость и его бедность. Мой род не был ни выдающимся, ни захудалым. В нашей стране он считался знатным, ибо как по отцовской, так и по материнской линии я был связан, пускай отдаленно, с древнейшими фамилиями». Далее, рассказывая о своем предке — Старом Вате из Хардена, который в XVI веке совершал набеги на соседей, грабил скот, уводя его в неприступное ущелье возле замка Харден, и о его жене, которую называли «Цветком Йерроу», Скотт добавляет: «Не столь уж плохая родословная для певца шотландской границы».

1772—1778

В феврале 1772 года Скотт заболевает детским параличом и утрачивает подвижность правой ноги. По совету врачей родители отправляют его в Сэнди-Ноу, на ферму его деда Роберта Скотта, где его безуспешно пытаются лечить домашними средствами. Скотт продолжает хромать, и недуг этот остается у него на всю жизнь. Тем не менее деревенский воздух укрепляет его здоровье, а ранние впечатления детства навсегда определяют любовь Скотта к сельской жизни. Исторические памятники в окрестностях фермы Сэнди-Ноу, в частности — развалины Смальгольмского замка, связанные с родовой историей клана Скоттов из Хардена, находят впоследствии свое воплощение в творчестве писателя (поэма «Мармисн», баллада «Иванов вечер»).

В 1775 году тетушка Дженет Скотт везет своего племянника на лечение в курортный городок Бат. По пути они заезжают в Лондон и знакомятся с его достопримечательностями. В Бате, в местной начальной школе, Скотт учится читать. Здесь же он впервые попадает в театр. Комедия Шекспира «Как вам угодно» производит на мальчика сильное впечатление. Из Бата Скотт возвращается в Сэнди-Ноу.

В 1777 году Скотта везут для лечения в приморский курорт Престонпанс. Здесь друг его отца Джордж Констебл знакомит его с творчеством Шекспира.

В 1778 году Скотта привозят из Престонпанса в Эдинбург, в дом на Джордж-сквер.

1779—1782

В октябре 1779 года Скотт поступает во второй класс эдинбургской средней школы. Школьные успехи Скотта на первых порах велики.

В 1782 году Скотт переходит в класс директора школы Адама, превосходного педагога, сумевшего дать правильное развитие наклонностям мальчика. Скотт становится его лучшим учеником, успешно изучает латинскую классическую литературу и переводит стихи римских поэтов. «Многие знают язык не хуже

Скотта, — говорил доктор Адам, — но нет у него соперников в понимании того, что хотел сказать автор». Под влиянием занятий с Адамом Скотт пишет свои первые стихи. Славится он в школе и как рассказчик. Увлекается историей своей родины. Этому способствуют занятия с домашним репетитором в доме Скоттов Джеймсом Митчелом, убежденным калвинистом и сторонником вигов, развившим у своего ученика вкус к спорам на темы из истории Шотландии. «Я, по уши влюбленный в рыцарство, — вспоминал в автобиографии Скотт, — был кавалером, мой друг (Джеймс Митчел. — *А. Л.*) — круглоголовым; я был тори, он же оставался вигом. Я терпеть не мог пресвитериан и восхищался Монтрозом с его доблестными горцами; он предпочитал пресвитерианского Одиссея, угрюмого и расчетливого Аргайла, так что мы никогда не могли прийти к единому мнению по поводу предмета спора, но сами эти споры неизменно велись в дружеском тоне».

1783—1785

Весной 1783 года в связи с ухудшившимся здоровьем Скотта родители забирают его из школы и посылают на шесть месяцев к тетке Дженет, которая из Сэнди-Ноу переехала к этому времени в Келсо. Здесь он посещает местную школу, где совершенствует свои знания латинского языка и много читает. В школьные годы Скотт изучает Шекспира, знакомится с Оссианом, читает в английском переводе Ариосто и Тассо, знает наизусть Спенсера и множество старинных баллад. В Келсо он с увлечением читает книгу Томаса Перси «Памятники старинной английской поэзии» (1765). «Не помню, чтобы я когда-либо читал другую книгу так часто и с таким увлечением», — пишет он в автобиографии. В этот же период он открывает для себя Ричардсона, Макензи, Филдинга, Смоллетта и других английских писателей. В автобиографии Скотт подчеркивает, что здесь, в Келсо, на берегах реки Твид, развилась в нем романтическая тяга к живописным местам, где красоты природы сочетались с руинами древних замков и памятниками старины.

В ноябре того же года Скотт поступает в эдинбургский городской колледж. Он посещает одновременно латинский и греческий классы. Кроме того, он посещает еще класс логики и берет частные уроки математики. Пребывание в колледже прерывается поездками в Келсо для поправки здоровья.

1786

Март.

Скотт поступает на службу в контору стряпчего, которую возглавлял его отец. Он много читает, изучает французский и итальянский языки.

1787

Болезнь (кровотечение в кишечнике). Скотту приходится длительное время лежать неподвижно и развлекаться лишь чтением да игрой в шахматы. В дальнейшем, однако, Скотт преодолел свою болезненность и в зрелые годы пользовался завидным здоровьем. Невзирая на хромоту, он мог прошагать в день тридцать миль, превосходно ездил верхом, неутомимо лазил по скалам и одной рукой поднимал кузнечную наковальню.

В 1786—1787 годах в гостях у эдинбургского профессора Адама Фергюсона Скотт встречается с прославленным народным поэтом Шотландии Робертом Бернсом, личность и творчество которого уже тогда вызывали его живейший интерес. Позднее (в письме к Джону Гибсону Локарту от 1827 года) он следующим образом охарактеризовал свои впечатления от этой встречи: «Если бы я не знал, кто он, я принял бы этого поэта за рассудительного фермера старого шотландского склада... из тех степенных простолюдинов, что сами шагают за плугом. Все черты его внешнего облика с удивительной силой выражали прирожденную пронизательность и здравый смысл. И только одни глаза, пожалуй, выдавали его поэтический нрав и темперамент. Огромные и мрачные, они буквально пылали, когда он говорил, загораясь воодушевлением и страстью. Никогда в жизни мне больше не

случалось видеть такие глаза, а ведь я был знаком со многими выдающимися людьми нашей эпохи. Речь его дышала уверенностью. Она была начисто лишена претенциозности. В среде ученых людей того времени он высказывался с сознанием силы, но без малейшей развязности и твердо отстаивал свою точку зрения, не впадая при этом в нескромность».

1788

Скотт возвращается в колледж, где теперь изучает право. Часто ездит в Горную Шотландию, навещая клиентов своего отца. Один из них, Александр Стюарт из Инвернахила, много рассказывает ему о бурных событиях 1715 и 1745 годов, когда шотландцы восставали против Англии.

1789—1790

Скотт принимает участие в деятельности эдинбургских дискуссионных клубов, где велись споры по разным научно-философским и литературным проблемам.

1791

Январь.

Скотт вступает в члены самого известного из эдинбургских дискуссионных клубов «Speculative Society». Его выбирают библиотекарем, а затем казначеем и секретарем этого клуба.

1792

Весна — лето.

Скотт сдает последние экзамены в колледже и получает звание адвоката. Он был опытным правоведом, в особенности хорошо осведомленным в вопросах шотландского права, что впоследствии пригодилось ему в его писательской деятельности.

Первая любовь Скотта: он влюбляется в дочь богатого адвоката Уильямину Белшес,

семья которой принадлежала к высшей шотландской знати.

Осень.

Совместно со своим другом Робертом Шортридом, помощником шерифа в Роксбергшире, Скотт едет в Лиддсдейл. Изучает жизнь обитателей пограничной полосы, коллекционирует древности и предметы быта, собирает песни и легенды, составившие впоследствии три тома «Песен шотландской границы».

Декабрь.

Совместно с группой друзей Скотт приступает к изучению немецкого языка.

1793

Лето — осень.

Исследуя памятники шотландской старины, Скотт и его приятель Кларк отправляются в путешествие по Стерлингширу и Пертширу. Скотт навещает своих друзей: Джорджа Эберкромби в имении Тьюлибоди, Эдмонстона в имении Ньютон, расположенном недалеко от развалин замка Даун, и Бьюкэнана (молодого лэрда Камбасмора), у которого он и в дальнейшем часто останавливается во время своих путешествий. Затем Скотт заезжает в имение Крейгхолл, принадлежавшее родственникам его спутника Кларка. Наиболее длительную остановку в этом путешествии он делает в Мэйгле — имении Патрика Мери, страстного любителя шотландской старины.

В октябре Скотт возвращается из путешествия и отправляется в Джелбург, где впервые выступает защитником в уголовном процессе.

Конец года.

Скотт продолжает изучение немецкого языка. Выступает в дискуссионном клубе по вопросам парламентской реформы и неприкосновенности судей.

1794

Лето.

Скотт путешествует по Роксбергширу и Пертширу. Навещает Бьюкэнана и других друзей, живших в этих местах.

Сентябрь.

Скотт возвращается в Эдинбург.

1795

- Март.* Поездка Скотта в Гэллоуэй (Аллоуэй) в связи с судебным процессом, в котором он принимает участие в качестве адвоката.
- Июнь.* Скотта, как лицо наиболее осведомленное в литературе, выбирают хранителем библиотеки эдинбургской корпорации адвокатов.
- Зима.* Скотт переводит на английский язык балладу немецкого поэта Бюргера «Ленора».

1796

- Март — апрель.* Поездка в Абердин. Скотт знакомится с памятниками шотландской истории, посещает исторические места в Бэннокберне, Камбасморе и Тросаксе; затем он едет дальше, в Перт и Абердин.
- Начало мая.* Из Абердина Скотт едет в Феттеркейрн, родовое поместье родителей Уильямина Белшес, отсюда — в Кинросс, после чего возвращается в Эдинбург.
- Июль — август.* Поездки Скотта в Келсо и в Камбасмор.
- Октябрь.* В Эдинбурге, в издательстве «Мэннерс и Миллер», выходят переводы Скотта из Бюргера (баллады «Ленора» и «Дикий охотник»). Особого успеха у публики эти переводы не имеют.
- Скотт узнает о предстоящем браке Уильямина Белшес с его приятелем Уильямом Форбзом, крупным землевладельцем и банкиром.

1797

- Февраль.* Опасаясь высадки французов, английское правительство создает ополчение. Скотт вступает в эдинбургский королевский легкий драгунский полк. Его назначают квартирмейстером полка.
- Июль.* Скотт вместе со своим братом Джоном и Адамом Фергюсоном совершает поездку на

Английские озера (Камберленд) и здесь на водах в деревушке Гилсленд встречает свою будущую жену, двадцатисемилетнюю француженку Чарлот Маргарет Карпентер (Шарпантье), которая после смерти родителей находилась на попечении их друга, лорда Дауншира.

Август.

Опекун Чарлот Маргарет Карпентер дает согласие на ее брак со Скоттом.

24 декабря.

Женитьба Скотта. В Эдинбурге молодая чета снимает дом на улице Норт-касл, № 39, где часто собирались друзья писателя.

1798

Лето.

Скотт снимает летний деревенский коттедж в живописной местности Ласуэйд, на Эске. Здесь он живет часть года, работает, принимает своих эдинбургских друзей. Его охотно приглашают в свои родовые поместья соседи — герцог Бакклю и лорд Мелвил.

14 октября.

Рождение первого ребенка Скотта, который умер, не прожив и двух суток.

1799

Январь.

Приезд в Эдинбург Мэтью Грегори Льюиса, автора романа «Монах». Возникает деловое и дружеское общение Льюиса и Скотта.

Февраль.

Льюис побуждает Скотта перевести драму Гёте «Гёц фон Берлихинген» и помогает опубликовать этот перевод. На публикации впервые стоит имя переводчика, до этого печатавшегося без подписи. Критика одобительно встречает этот перевод, но на читателей он особого впечатления не производит.

Льюис задумывает сборник «Волшебные рассказы» (вышел в 1801 году). Для этого сборника Скотт пишет баллады «Гленфинлас», «Серый монах» и «Иванов вечер» (в переводе Жуковского — «Замок Смальгольм»),

Март.

Скотт приезжает в Лондон, где Льюис вводит его в литературные круги Англии; работает над рукописями в книгохранилище Британского музея.

Апрель.

Смерть отца Скотта.

24 октября.

Рождение дочери Скотта Софии.

Конец года.

Школьный приятель Скотта Джеймс Баллантайн, издававший в Келсо местную газету, предлагает Скотту печатать в ней статьи по юридическим вопросам. Баллантайн печатает также его стихи, и Скотт предлагает своему приятелю выпустить небольшой сборник шотландских народных баллад. Скотт советует Баллантайну переселиться из Келсо в Эдинбург и развернуть здесь издательскую деятельность, в которой он сам собирается участвовать в качестве компаньона.

16 декабря Скотт получает назначение на должность шерифа в Селкиркшире с окладом в 300 фунтов стерлингов в год. Вместе с наделом, оставшимся после смерти отца, с доходами от приданого жены и от адвокатской деятельности это составляет весьма внушительную сумму в 1000 фунтов стерлингов годового дохода.

1799—1800

Скотт работает над изданием сборника шотландских баллад. Ему помогает Джон Лейден, сын роксбергского пастуха, самоучка, изумлявший эдинбургских профессоров своими познаниями в древних и новых языках, в математике и естественных науках. Другим помощником Скотта является Джеймс Хогг, в отличие от Лейдена вовсе не получивший образования, но обладавший недюжинным поэтическим даром. Его третий помощник в собирании баллад — сын фермера Уильям Ледлоу, будущий секретарь и управляющий Скотта.

1801

Рождение сына Скотта Вальтера,

1802

Январь.

Выходят первые два тома «Песен шотландской границы», напечатанные в типографии Джеймса Баллантайна в Келсо.

Осень.

Скотт начинает писать поэму «Песнь последнего менестреля».

1803

Начало года.

Рождение дочери Скотта Анны.

Выходит второе издание первых двух томов и третий том «Песен шотландской границы». Издание сопровождается введением Скотта и его комментарием, посвященным описанию быта пограничной Шотландии и проблеме происхождения баллады. Критика весьма благоприятно встречает «Песни шотландской границы», и на протяжении последующих десяти лет они неоднократно переиздаются.

Апрель.

Скотт едет в Лондон, где изучает рукописи в библиотеке герцога Роксбергского. Он посещает Оксфорд и встречается там с литератором Ричардом Эбером, который еще ранее с большим сочувствием следил за работой Скотта по собиранию шотландских баллад.

Сентябрь.

Поэт Вордсворт с сестрой путешествуют по Шотландии и останавливаются погостить у Скотта. Скотт читает Вордсворту первые четыре главы «Песни последнего менестреля», и гость выражает автору свое восхищение «новизной приемов, яркой живописностью описаний и энергичностью большей части стихов». Скотт говорит Вордсворту, что это его произведение написано «от души и с единственной целью — дать выход мыслям, которые с самого детства живут» в его сознании.

Октябрь.

Скотта приглашают сотрудничать в журнале «Эдинбург ревью», основанном в 1802 году самым крупным из шотландских издателей и книготорговцев Арчибалдом Констеблом. Редактором журнала становится друг Скотта, большой знаток литературы и блистательный критик Фрэнсис Джеффри. Скотт пишет для

«Эдинбург ревью» рецензии на поэму Саути «Амадис Галльский» и на антологию шотландской поэзии Сиболда. В дальнейшем Скотт регулярно печатает в этом журнале статьи и рецензии.

1804

Весна — лето.

2 мая Скотт выпускает средневековую английскую поэму «Сэр Тристрем», рукопись которой была обнаружена в библиотеке коллегии адвокатов Джозефом Ритсоном.

Лорд-наместник Селкиркшира Нэпир настаивает на том, чтобы Скотт хотя бы часть года проводил не в Эдинбурге и не в Ласуэиде, а в своем округе на шотландской границе. В связи с этим Скотт снимает в аренду, вблизи города Селкирка, Ашестиел, имение своего двоюродного брата по материнской линии, жившего в то время в Индии. Управляющим фермой он назначает Томаса Пэрди, который всю дальнейшую жизнь Скотта остается не только преданным слугой, но и другом писателя. Скотт продает за 5000 фунтов стерлингов имение Роузбенк, полученное в наследство после смерти его дяди Роберта Скотта.

Осень.

Завершение работы над поэмой «Песнь последнего менестреля».

На протяжении года Скотт пишет для журнала «Эдинбург ревью» рецензии на «Жизнь Чосера» Годвина и на выпущенную Эллисом антологию средневековой английской поэзии, а также статью «О жизни и творчестве Чаттертона».

1805

Первая половина года.

В январе Баллантайн выпускает в свет «Песнь последнего менестреля». Издание имеет неслыханный успех. Новые издания следуют одно за другим.

Скотт предлагает издателю Констеблу выпускать собрания сочинений классиков английской литературы с его комментариями, Констебл принимает это предложение.

Деньги, полученные от продажи имения Роузбенк, Скотт вкладывает в издательскую фирму Джеймса Баллантайна, переселившегося по совету Скотта из Келсо в Эдинбург. Скотт становится, таким образом, пайщиком этой фирмы и получает право на одну треть ее доходов. Свое участие в фирме он скрывает, ибо предрассудки того времени не допускали участия адвоката и видного королевского чиновника в коммерческом предприятии.

Визит поэта Роберта Саути в Ашестиел к Скотту.

Лето.

Скотт пишет в Ашестиеле первые семь глав романа «Уэверли», но, услышав отрицательный отзыв о них из уст своего друга Уильяма Эрскина, надолго откладывает работу над романом.

Пишет для «Эдинбург ревью» статьи о новом издании сочинений поэта Спенсера, о романе Годвина «Флитвуд, или Новый человек чувства», о переводе хроник Фруассара, принятом Джонсом, а также статью по поводу состоявшегося в Обществе по изучению Горной Шотландии доклада о поэмах Оссиана и два фельетона — о путешествии полковника Торнтона и о поваренных книгах.

Скотт с женой едут на Английские озера (Камберленд) — место их первой встречи. Скотт вместе с поэтом Вордсвортом совершает поездку в Уэстморленд.

Октябрь.

В Ашестиеле Скотта вновь навещает Саути. Скотт начинает работать над подготовкой к изданию собрания сочинений Джона Драйдена.

Декабрь.

Рождение сына Скотта Чарлза.

1806

Январь.

Скотт едет в Лондон, где знакомится с видным политическим деятелем Джорджем Каннингом, лидером «реформаторского торизма», будущим министром иностранных дел и премьер-министром Англии.

Весна.

Скотта назначают преемником престарелого секретаря эдинбургского суда Джорджа

Хоума. Он выполняет в суде его обязанности и отдает ему все жалование. Зато после смерти Хоума (в 1812 году) Скотт на протяжении многих лет получает 1300 фунтов годового дохода. Новые обязанности требуют от Скотта ежедневного присутствия в суде от четырех до шести часов в течение шести месяцев в году. Остальные шесть месяцев он проводит в Ашестиеле.

Май — июнь,

Скотт пишет для «Эдинбург ревью» рецензию на стихи и переводы Уильяма Эрберта; в другой рецензии он сравнивает вышедшую ранее антологию средневекового английского рыцарского романа Эллиса с новой антологией такого же типа, выпущенной Ритсоном. Следом за этим Скотт пишет фельетон «О тяготах жизни человеческой», к которому Джеффри добавляет заключающие этот фельетон «Жалобы рецензента».

Сентябрь,

В издательстве Лонгмена выходит сборник баллад и лирических стихотворений Скотта.

Октябрь,

В издательстве Констебла Скотт выпускает старинные мемуары под общим названием «Личные воспоминания из времен великой гражданской войны, составившие биографию сэра Генри Слингсби, и воспоминания капитана Ходжсона с комментариями», которые он снабжает своим предисловием и увлекательной биографией кавалера Слингсби.

Ноябрь,

Скотт начинает работу над поэмой «Мармион». К этому времени репутация его уже настолько высока, что издатель Констебл тут же выплачивает ему огромную сумму в 1000 гиней за право издания этой еще не написанной поэмы.

1807

Март,

Скотт совершает поездку на юг Англии, связанную с его работой над изданием собрания сочинений Драйдена. Во время этой поездки он посещает своего друга Уильяма Стюарта Роуза в Хэмпшире.

12 мая,

Скотт возвращается в Эдинбург.

1808

Февраль.

Выходит в свет поэма «Мармион», снабженная стихотворным вступлением к каждой песни и обширным историческим комментарием. Она встречает теплый прием у читателей, но критик Джеффри в «Эдинбург ревью» осуждает ее за идеализацию средневекового рыцарства.

Апрель.

Скотт предпринимает выпуск собрания сочинений Драйдена в восемнадцати томах со своей вступительной статьей о жизни и творчестве этого писателя и комментарием к тексту.

Октябрь.

В «Эдинбург ревью» появляется статья неизвестного автора, благоприятно оценивающая работу Скотта над изданием Драйдена.

Скотт завершает незаконченный рыцарский роман английского историка Джорджа Стратта «Куинху-холл». Он выпускает роман в свет, но эта публикация не привлекает внимания читателей. «У меня сложилось мнение, — пишет Скотт по поводу этой неудачи, — что роман, посвященный истории Горной Шотландии и не столь давним событиям, будет иметь больший успех, чем рыцарская повесть». Это событие наталкивает Скотта на мысль возобновить работу над романом «Уэверли».

Скотт издает «Воспоминания капитана Карлтона о войне за испанское наследство» (к этому произведению он пишет вступительную статью и комментарий), а также выпускает сходного типа издание «Мемуаров Роберта Кери, графа Монмутского».

Начинает работу над изданием собрания сочинений Свифта.

1809

Январь.

Происходит разрыв между Скоттом и его главным издателем Арчибалдом Констеблом, вызванный публикацией некоторых критических статей в журнале «Эдинбург ревью» и противоречием между либеральным направлением этого журнала и консервативными убеждениями Скотта. При ближайшем участии

Скотта организуется новый журнал «Куортерли ревью», стоящий на позициях тори. Редактором этого журнала становится Уильям Гиффорд. Этот конфликт влияет на издание собрания сочинений Свифта. Оно все же выходит в свет в 19 томах с предисловием и комментариями Скотта, хотя сроки его выхода и растягиваются с 1809 до 1814 года.

Март.

Выходит в свет (анонимно) сатирическая поэма Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели», в которой молодой поэт язвительно критикует поэму Скотта «Мармион» за идеализацию средневековья и феодального рыцарства. Скотт знакомится с поэмой Байрона в июле того же года.

Начало лета.

Поездка Скотта в Лондон. Встреча его с поэтами Озерной школы Сэмюелом Колриджем и Робертом Саути.

В июне Скотт возвращается в Эдинбург.

Июль — август.

Не довольствуясь своим участием в издательстве Баллантайна, Скотт решает организовать новую фирму, которая объединяет типографию и издательство. Фирме присваивается имя «Джон Баллантайн и К^о» (Джон — младший брат Джеймса Баллантайна, поступивший в 1806 году в его фирму в качестве клерка). Скотт вкладывает в нее 50 процентов капитала и авансирует еще 25 процентов в счет пая Джона Баллантайна, не имевшего собственных средств.

Поездка Скотта в Камбасмор, Лох-ломонд, Арочер и Лох-слой в связи с началом работы над поэмой «Дева озера».

В журнале «Куортерли ревью» в 1809 году опубликованы три статьи Скотта: «Наследие Роберта Бернса, состоящее преимущественно из писем, стихотворений и критических замечаний о шотландских песнях», рецензия на выпущенные Саути «Исторические хроники о Сиде», а также рецензия на «Путешествие по Шотландии» Джона Карра.

В этом же году Скотт предлагает издателю Миллеру выпустить собрание трактатов видного политического деятеля XVII века лорда Джона Соумера в тринадцати томах; это издание ему удалось завершить лишь к 1815 году.

1810

Май.

Издательство «Джон Баллантайн и К^о» публикует поэму «Дева озера», встреченную восторженными отзывами читателей и критиков. Джеффри в «Эдинбург ревью» и Эллис в «Куортерли ревью» единодушно одобряют новую поэму. «Казалось, мне удастся вбить гвоздь в известное своим непостоянством колесо Фортуны», — пишет по поводу этого успеха Скотт.

Лето.

Поездка с женой и старшей дочерью на Гебридские острова в поисках материала для поэмы «Повелитель островов».

Осень.

В сентябре Скотт пишет еще несколько глав романа «Уэверли» и показывает начало романа Джеймсу Баллантайну, которому этот опыт кажется неудачным, хотя он и рекомендует Скотту продолжать работу. Скотт снова откладывает работу над романом.

В газете «Лондон курир» 15 сентября появляется статья, подписанная инициалами S. T. C., автор которой утверждает, что в «Песни последнего менестреля» Скотт совершил плагиат у Колриджа. По этому поводу происходит объяснение между другом Колриджа поэтом Саути и Скоттом. Саути настаивает на том, что Сэмюел Тейлор Колридж не является автором этой статьи.

Скотт выпускает собрание сочинений английской писательницы Анны Сьюард в трех томах, сопроводив его вступительной статьей о ее жизни и творчестве.

1811

Июль.

Выходит в свет «Видение дона Родерика». Доход от этой поэмы Скотт жертвует в пользу португальцев, пострадавших от нашествия Наполеона.

Декабрь.

Начало работы над поэмой «Рокби».

1812

4 апреля.

Скотт пишет письмо Джоанне Бейли относительно «Чайлд-Гарольда» Байрона, в котором отмечает поэтические достоинства поэмы,

порицая, однако, образ ее героя (он отождествляет его с личностью самого автора) за любование своей собственной порочностью. «Мне представляется, — пишет он, — что это очень умная поэма, но она обнаруживает дурные черты души и нравственного облика ее автора».

Мад.

Скотт покупает на берегу реки Твид участок земли, некогда принадлежавший аббатству Мелроз, и перебирается туда из Ашестиела, поселившись с семьей и слугами в единственном жилом помещении — старом домике фермера. С ним прибывают на двадцати четырех телегах его коллекции оружия и другие реликвии шотландской старины. «Обращали на себя внимание старинные мечи, луки, щиты и копья. Семейство индюка расположилось в шлеме некогда прославленного пограничного греху chevalier,¹ и даже коровы, насколько помнится, носили знамена и мушкетеры» (из письма Скотта к леди Олуэнли).

С этого момента начинается строительство замка Эбботсфорд, который Скотт превращает в своеобразный музей средневекового прошлого Шотландии. Он скупает соседние земли, благоустраивает пустоши и испытывает благодаря этому постоянный недостаток средств, который ему приходится покрывать интенсивным литературным трудом.

3 июля.

В беседе с принцем-регентом Байрон лестно отзываясь о творчестве Скотта. Узнав об этом, Скотт пишет ему примирительное письмо, которое кладет конец холодности, возникшей между обоими писателями в связи с поэмой Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели».

Осень.

Скотт едет к своему другу Мориту, владельцу Тиздейла, на место действия своей будущей поэмы «Рокби». Необходимость этой поездки он мотивирует в письме к Мориту, который сомневался в том, что поэту следует точно воспроизводить реалии описываемой местности. «Сама природа, — пишет Скотт, — так устроена, что не бывает двух совершенно тождественных зрелищ. Всякий, кто верно опишет то, что видят его глаза, будет разномы-

¹ Доблестного рыцаря (франц.).

сторонен в своих описаниях и обнаружит столь же богатое воображение, сколь обширен круг описываемых им зрелищ природы, тогда как тот, кто полагается на одну лишь фантазию, обнаружит, что его кругозор ограничен и прикован к незначительному числу излюбленных образов, а их повторение рано или поздно приведет к тому однообразию и бесплодию, которое свойственно всякой описательной поэзии, если она не возникает под рукой терпеливого поклонника истины. К тому же географические наименования и характерные местные детали в значительной мере украшают вымышленное повествование».

Скотт просит издателя Хатчарда прислать ему недавно появившиеся «Повести в стихах» Джорджа Крабба. Узнав о лестном отзыве Скотта о его стихах, Крабб завязывает с ним переписку. В одном из писем к Краббу Скотт говорит: «Ясность и точность Ваших описаний, посвящены ли они природе или душе человеческой, дают возможность наслаждаться целиком всем произведением даже тогда, когда читатель по молодости лет может и не почувствовать некоторых из его прелестей. Бывают такие произведения искусства — притом, бесспорно, самые ценные на одном уже этом основании, — которые одинаково поражают и непосвященных и знатоков, хотя лишь эти последние могли бы разобраться в причинах своего восхищения».

Конец года.

Скотт пишет небольшую статью для издаваемого Джеймсом Баллантайном ежегодника «Эдинбург эньюзл реджистер» — обзорные жизни и творчества Патрика Кери, роялистского поэта эпохи английской революции, которого Скотт в этой статье сравнивает с его современником Ричардом Лавлейсом. Эта статья в расширенном виде вошла в изданный Скоттом в 1820 году сборник стихотворений Патрика Кери.

1813

Январь.

Поэма «Рокби» выходит в свет. Ее встречают более холодно, чем «Деву озера». Одной из причин падения интереса к поэзии Скотта был выход в свет первых двух песен «Чайлд-

Гарольда» Байрона, имевших огромный успех не только в Англии, но и во всем мире. Скотт понимает, что в поэзии появился более сильный соперник, и это служит одной из причин его перехода к прозе.

Весна.

Скотт публикует без подписи свою поэму «Трирменская свадьба».

Август — октябрь.

Скотту предлагают звание поэта-лауреата. Он отказывается от него под тем предлогом, что он и без того уже занимает два официальных поста, и рекомендует отдать это звание Роберту Саути. На самом деле Скотт опасался, что звание поэта-лауреата ограничит свободу его творчества.

Война с Наполеоном и с Соединенными Штатами приводит к спаду деловой активности. Среди других фирм испытывает материальные затруднения и фирма «Джон Баллантайн и К^о». Скотту приходится примириться с Арчибалдом Констеблом, но и это не спасло бы издательство от банкротства, если бы друг Скотта герцог Бакклю не ссудил ему суммы в 4000 фунтов стерлингов.

24 ноября.

Байрон записывает в своем дневнике: «Еще не ответил на последнее письмо В. Скотта, но отвечу. С сожалением узнал от других, что у него в последнее время были денежные затруднения. Он, несомненно, Король Парнаса и наиболее *английский* из поэтов».

Конец года.

Скотт в Эбботсфорде возобновляет работу над романом «Уэверли».

1814

Январь.

Возвращение Скотта в Эдинбург. Продолжение работы над «Уэверли».

Март.

Перерыв в работе над «Уэверли». Скотт выполняет для Констебла срочный заказ — статьи для «Британской энциклопедии» (статьи эти вышли, однако, лишь в последующие годы).

4 июня.

Начало работы над вторым томом «Уэверли».

Конец июня.

Окончание работы над «Уэверли».

1 июля.

Завершается издание подготовленного Скоттом собрания сочинений Джонатана Свифта. «Эдинбург ревью» помещает благоприятную рецензию на это издание, хотя автор рецензии считает, что Скотт в своей вступительной статье идеализировал образ Свифта.

7 июля.

Выходит в свет роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» в трех томах, без имени автора. Поначалу авторство Скотта известно только его ближайшим друзьям Эрскину, Мориту и братьям Баллантайнам. Огромный успех романа.

29 июля.

Скотт уезжает в морское путешествие на яхте, капитаном которой является Стивенсон, дед будущего писателя Роберта Стивенсона. Скотт посещает аббатство Арброт (Аберброк), которое он некогда посетил совместно с Уильяминой Белшес, затем Оркнейские, Шетландские и Гебридские острова, где знакомится с памятниками старины и местными достопримечательностями. Это путешествие помогло ему в работе над поэмой «Повелитель островов» и в дальнейшем — над романом «Пират». Путешествие на яхте обрывается в связи с полученным известием о смерти герцогини Бакклю, жены друга и покровителя Скотта. В Гриноке Скотт пересаживается на пароход и едет в Глазго, а оттуда в Эдинбург, чтобы навестить Бакклю.

Август.

Выходит второе издание «Уэверли».

Осень.

Скотт завершает работу над поэмой «Повелитель островов».

В октябре выходит третье издание «Уэверли».

Ноябрь — декабрь.

Скотт работает над романом «Гай Мэннеринг».

1815

18 января.

Поэма «Повелитель островов» выходит в свет. Она получает одобрительные отзывы у журнальных обозревателей, но, в общем,

вызывает разочарование, тем более заметное, что в это же время ширится успех стихов Байрона.

24 февраля.

Выходит в свет роман «Гай Мэннеринг, или Астролог», хорошо принятый публикой.

31 марта.

Скотт с женой и дочерью Софией едет в Лондон. Его встречают теперь не только как прославленного поэта, открывшего для английского читателя красоту живописного пейзажа Шотландии, ее романтическую старину и памятники народного творчества, но и как вероятного автора «Узверли» и «Гая Мэннеринга», хотя Скотт упорно скрывал свое авторство. В одном из писем, полученных перед прибытием в Лондон, его дружески предупреждают, что на него «будут глазеть почти с таким же любопытством», с каким после только что одержанной победы над Наполеоном смотрят на русского царя или на Блюхера.

Апрель — май.

Скотт прибывает в Лондон, встречается со старыми друзьями, знакомится с известным химиком Хэмфри Дэви, обедает с принцем-регентом, будущим королем Георгом IV, и восхищает его своим искусством рассказчика.

Встреча Скотта с Байроном. Они становятся друзьями и встречаются почти ежедневно во время пребывания Скотта в Лондоне. Скотт дарит Байрону старинный кинжал, украшенный золотом, а Байрон Скотту — афинскую серебряную погребальную урну с прахом древнего грека.

11 июня.

Отъезд Скотта из Лондона в Эдинбург.

*30 августа —
начало сентября.*

Скотт с тремя друзьями предпринимает поездку во Фландрию, на поля недавних сражений с французами. Из Фландрии он едет в Париж, где собрались в этот период европейские монархи и полководцы — победители Наполеона. Скотт встречается с Александром I, с казачьим атаманом Платовым, с Веллингтоном и Блюхером. «Этим утром, — пишет он Джоанне Бейли, — я видел грандиозный военный парад — около двадцати тысяч русских проходили торжественным маршем перед всеми королями и правителями, которые ныне собрались в Париже. Император, прусский король, герцог Веллингтон с многочисленной сви-

той из генералов и штабных офицеров расположились в центре площади, носившей имя Людовика XV, почти на том же месте, где был обезглавлен Людовик XVI... Отряд казаков с пиками нес охрану, и их воинственный вид еще усиливал необычность зрелища».

9—14 сентября.

Возвращение в Англию. Скотт приезжает в Лондон, а затем возвращается в Эбботсфорд. По пути заезжает в Уорик, Кенилворт и Шеффилд.

Октябрь.

Скотт публикует поэму «Поле Ватерлоо», сперва отдельным изданием, а затем еще раз — в составе сборника «„Видение дон Родрига“, „Поле Ватерлоо“ и другие стихотворения». Гонорар Скотт передает в фонд помощи сиротам и вдовам солдат, павших при Ватерлоо. Стихотворение о Ватерлоо «Пляска смерти» выходит в «Эдинбург эньюзл реджистер» за 1815—1816 годы.

Конец года.

Скотт начинает работу над романом «Антикварий».

1816

Январь.

Скотт покупает имение Кейсайд. Выходят «Письма Павла к его родне», рассказывающие о недавней поездке Скотта на континент.

Актер Дэниел Тери готовит инсценировку «Гая Мэннеринга» для лондонского театра.

Джеймс Баллантайн собирается жениться, и поскольку брат его невесты требует, чтобы Баллантайн предварительно избавился от долговых обязательств, которыми была обременена книгопечатная фирма «Баллантайн и К^о», Скотт освобождает своего компаньона от участия в делах фирмы. Так как пай Джона Баллантайна, третьего компаньона, также принадлежал Скотту, он остается единственным владельцем типографии. Долговые обязательства Джеймса Баллантайна превращаются в его личный долг Скотту (3000 фунтов стерлингов). В то же время Скотт принимает его на работу в фирму в качестве управляющего типографией.

Весна — лето.

В мае в издательстве Констебла выходит в свет роман «Антикварий».

У Скотта возникает замысел серии произведений под общим названием «Рассказы трактирщика», написанных от лица школьного учителя Джедедии Клейшботэма.

Поездка Скотта в Пертшир и Данбартоншир.

Октябрь.

В «Эдинбург эньюзл реджистер» публикуется очерк Скотта «История 1814 года», а в «Куортерли ревью» — его статья «„Странствования Чайлд-Гарольда“ (песнь III), „Шильонский узник“, „Сон“ и другие поэмы лорда Байрона».

Декабрь.

Издательство Мери и Блэквуда публикует первую серию «Рассказов трактирщика» в четырех томах, куда входят романы «Черный карлик» и «Пуритане». Сразу же по выходе книги издатель Джон Мери восторженным письмом поздравляет Скотта с необычайным успехом у читателей: «Лорд Холленд, когда я спросил его мнение о книге, воскликнул: „Мнение! Да у нас вчера ночью вся семья глаз не сомкнула. — так никто и не спал, кроме моей подагры!“» Такой же интерес к этому роману проявляют читатели и за пределами Англии. Именно за чтением «Пуритан» («Шотландских пуритан») Печорин в «Герое нашего времени» забывает о предстоящей ему утробе дуэли: «...Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга...»

1817

Январь.

Выходит в свет поэма Скотта «Гарольд Неустрашимый». В «Куортерли ревью» публикуется его статья «Рассказы трактирщика», развивающая концепцию протестантского движения в Шотландии и написанная в ответ на резкую критику романа «Пуритане» в статьях историка шотландской Реформации Томаса Мак-Края в журнале «Эдинбург криспен инстрактор».

5 марта.

Первый тяжелый приступ желчнокаменной болезни. Боли настолько сильны, что Скотт, по его словам, «ревел, как бык». Целую не-

делю Скотт прикован к постели. В дальнейшем боли мучат его все лето и осень. На протяжении трех лет болезнь постоянно напоминает о себе, но несмотря на это Скотт продолжает интенсивно работать — диктует свои книги секретарю Уильяму Ледлоу.

- Май.* Начало работы над романом «Роб Рой».
- Июль.* Скотт едет в Ленокс и Глазго.
- Август.* «Эдинбург эньюэл реджистер» публикует очерк Скотта «История 1815 года». К Скотту в Эбботсфорд приезжает покинутая мужем леди Байрон. Его посещает также американский писатель Уошингтон Ирвинг. Описание этой встречи, оставленное Ирвингом, свидетельствует о радушии Скотта и рисует жизнь писателя в кругу семьи. Ирвинг рассказывает также о прогулке по окрестностям замка. Во время этой прогулки Скотт показывал ему исторические места, большинство из которых обрело свою романтическую славу под пером хозяина Эбботсфорда. «Я глядел на раскинувшуюся передо мной часть шотландской границы, — пишет Ирвинг, — места, где разыгрывалось действие баллад и романов, восхищавших целый мир». В Эбботсфорд приезжает английский художник Уилки.
- Сентябрь.* Завершена работа над статьей «Рыцарство».
- Конец года.* Выходит в свет сборник «Древности шотландской границы» со вступительной статьей Скотта. Эта статья, содержащая богатый научный материал, позднее печаталась отдельно. Скотт предлагает Констеблю вторую серию «Рассказов трактирщика». 31 декабря выходит в свет роман «Роб Рой». 10 000 экземпляров первого издания романа расходятся за две недели, что по тем временам означало небывалый успех. Скотт выплачивает свой долг герцогу Баклю и другим. Чрезвычайно велик успех «Роба Роя» и за пределами Англии. Эккерман приводит следующий отзыв Гёте об этом романе: «Следовало бы, собственно, всегда читать только то, что вызывает наше восхищение, как я и поступал

в моей юности; теперь я чувствую это, читая Вальтера Скотта. Я начал «Роб Роя» и хочу прочитать, таким образом, один за другим все его лучшие романы. Да, в самом деле, здесь все значительно — материал, содержание, характеры, изложение. И какое неутомимое прилежание в предварительном изучении, какая правдивость деталей при выполнении!»

Продолжается строительство замка Эбботсфорд. С потолка замка Стерлинг копируются витражи с изображением шотландских королей, строится фонтан по образцу Эдинбургского Креста, расположенного против собора святого Эгидия в Эдинбурге, создаются алебастровые копии гаргулий (водосточных труб в виде фантастических фигур) аббатства Мелроз. Закупаются книги, старинное оружие, картины. В этом же году Скотт приобретает новое имение Тофтфилд, которое он переименовывает в Хантли Берн (Охотничий ручей).

1818

Январь — июнь.

Выходит в свет том Британской энциклопедии со статьей Скотта «Рыцарство». Скотт пишет ряд статей для «Куортерли ревью» и других журналов. Среди этих статей — рецензия на «Историю церкви» Кирктона и отклик на недавно вышедший роман «Франкенштейн» Мэри Вулстонкрафт-Шелли, который Скотт приписывает ее мужу — поэту Перси Биши Шелли.

В феврале по инициативе Скотта принимается решение о вскрытии хранилища шотландских королевских регалий в Эдинбурге: короны и скипетра Иакова V, меча, подаренного Иакову IV папой Юлием II, и серебряного жезла государственного казначея Шотландии. Скотт возглавляет эту церемонию.

Начало июля.

Выходит в свет роман «Эдинбургская темница» в четырех томах, составляющий вторую серию «Рассказов трактирщика».

Август.

Скотт посещает герцога Бакклю в Драмланриге и своего друга Морита в Рокби.

Сентябрь.

Начало работы над романом «Ламмермурская невеста».

Ноябрь.

В журнале «Куортерли ревью» выходят статьи Скотта, посвященные недавно увидевшим свет письмам Орэйса Уолпола и четвертой песни «Чайлд-Гарольда» Байрона.

Скотт работает над статьей «Драма» для энциклопедии Констебла.

Декабрь.

В Индии умирает Чарлз Карпентер, брат жены Скотта, оставивший завещание в пользу семьи своего зятя.

Скотт издает ряд топографических и исторических очерков для издания «Местные достопримечательности Шотландии».

1819

Начало года.

15 февраля эдинбургский театр ставит инсценировку по роману «Роб Рой». Скотт присутствует на этом спектакле.

Скотта избирают профессором древней истории в Королевской академии в Эдинбурге.

Весна.

Резкое обострение болезни Скотта, связанное с разлитием желчи. «Я был болен... очень... очень болен», — пишет он герцогу Бакклю. Приступы острой боли длятся у него иногда по десять часов. В этом состоянии он диктует секретарю роман «Ламмермурская невеста». Впоследствии Скотт начисто забыл все, что диктовал во время болезни, и читал этот роман как незнакомую книгу.

Работает над романом «Легенда о Монтрозе».

Джеймс Баллантайн выпускает собрание стихотворений и поэм Скотта в десяти томах. Вскоре выходит собрание романов и повестей Скотта в двенадцати томах.

11 мая Скотт приезжает в Эдинбург на судебную сессию.

Лето.

В июне в издательстве Констебла выходит в четырех томах третья серия «Рассказов трактирщика», включающая «Ламмермурскую невесту» и «Легенду о Монтрозе». Роман «Ламмермурская невеста» пользовался впоследствии большой популярностью в России. Белинский писал в статье «Менцель, критик Гёте»: «Прочтите, например, высокохудожественное создание Вальтера Скотта «Ламмер-

мурскую невесту» — эту великую трагедию, достойную гения самого Шекспира, эту высоко поразительную картину в форме романа, осуществившую трагическую борьбу, разрешившуюся в торжество нравственного закона».

12 июля Скотт возвращается в Эбботсфорд.

Начало работы над романами «Айвенго» и «Монастырь».

Скотт принимает в Эбботсфорде бельгийского принца, будущего короля Бельгии.

Здоровье Скотта восстанавливается, хотя он и утратил былую физическую силу.

Декабрь.

В одну неделю умирают мать писателя, ее брат профессор Резерфорд и ее сестра Кристиен Резерфорд, любимая тетка Скотта.

Скотт пишет политические статьи для издаваемого Джеймсом Баллантайном еженедельника «Эдинбург уикли джорнал» под общим названием «Провидец» о некоторых вопросах, вызывавших расхождение между тори и вигами.

Выходит из печати роман «Айвенго». Писатель достигает вершины своей популярности. Первое издание расходуется за одну неделю. Журналы публикуют восторженные отзывы о новом романе.

Сын писателя Вальтер поступает в гусарский полк, что требует от Скотта новых расходов, новых долговых обязательств.

В 1819 году Скотт заканчивает статью «Драма» для энциклопедии Констебла.

1820

Начало марта.

Издатели Лонгмен и Констебл выпускают в свет роман Скотта «Монастырь», холодно встреченный публикой.

12 марта.

Скотт едет в Лондон приветствовать короля Георга IV в связи с его возведением на престол.

Вторая половина марта.

Скотт начинает работу над романом «Аббат».

Обнаруживает неопубликованные письма Свифта и включает их во второе издание «Жизни и творчества Свифта».

В Лондоне художник Лоренс по заказу короля пишет портрет Скотта для большой галереи в Уиндзоре. Скульптор Чантри работает над созданием его бюста.

30-го в газетах публикуется сообщение о пожаловании Скотту титула баронета.

Конец апреля.

Возвращение Скотта в Эдинбург. 29-го его дочь София выходит замуж за молодого литератора Джона Гибсона Локарта, ближайшего друга и будущего биографа ее отца.

Май.

Оксфордский и Кембриджский университеты предлагают Скотту докторскую степень по кафедре гражданского права.

Август — сентябрь.

Начало работы над романом «Кенилворт». 20 сентября выходит в свет роман «Аббат», который несколько исправляет неблагоприятное впечатление, произведенное на публику романом «Монастырь».

Октябрь.

Скотт задумывает новое издание — серию собраний сочинений английских романистов с его вступительными статьями и пишет первую из этих статей — «Жизнь Филдинга».

В 1820 году в России выходит первый перевод из Вальтера Скотта — отрывок из романа «Айвенго» под заглавием «Турнир в Англии при Ашби де ла Зуше в конце XII века» («Сын отечества», 1820, ч. 66, № 47; перевод А. Величко).

1821

Январь.

Выходит в свет роман «Кенилворт» в трех томах, горячо принятый читателями и критикой.

Скотт едет в Лондон по делам, связанным с его службой в суде.

5-го Байрон записывает в своем дневнике: «В пятидесятый раз (я все романы В. Скотта читал не менее пятидесяти раз) перечел заключение третьей серии его «Рассказов

трактирщика» — великолепное произведение. Шотландский Филдинг, и к тому же большой английский поэт — замечательный человек! Я очень хотел бы с ним выпить».

1 июня.

Скотт заканчивает статью «Жизнь Смоллетта» для собрания сочинений Тобайаса Смоллетта.

Июль.

Скотт едет в Лондон на торжества коронации Георга IV и пишет отчет об этой церемонии для «Эдинбург уикли джорнал».

Молодой английский критик Джон Лестер Адольфус публикует книгу «Письма к Ричарду Эберу, эсквайру, в которых содержатся критические замечания о серии романов, открывающейся романом «Уэверли», и предпринимается попытка выяснить личность их автора». Об этой книге Скотт упоминает позднее, в романе «Приключения Найджела». Во «Вступительном послании» к этому роману Скотт, желая сохранить инкогнито, отказывается поддерживать полемику с Адольфусом: «Установить, кем я не являюсь, было бы первым шагом к выяснению того, кто я такой на самом деле; и так как я... не имею ни малейшего желания вызывать всякие толки и пересуды, которые обычно сопутствуют таким открытиям, я и впредь буду хранить молчание по поводу предмета, на мой взгляд совершенно не заслуживающего шума, поднятого вокруг него, и еще более недостойного столь ревностно примененной изобретательности, проявленной юным автором писем».

Локарты переезжают в специально для них выстроенный возле Эбботсфорда коттедж Чифсвуд. В этом коттедже Скотт, скрываясь от гостей Эбботсфорда, работает над романом «Пират».

В Эбботсфорде гостит друг Скотта критик Уильям Эрскин со своими дочерьми.

Скотт переиздает старинную книгу «Северные записки Фрэнка, или Рыболов-созерцатель». Он выпускает также «Хронологические заметки о событиях в Шотландии с 1680 по 1701 год», извлеченные из дневника лорда Фаунтенхола.

Август.

Выходит в свет собрание сочинений Смоллетта с биографией писателя, написанной Скоттом.

Констебл проектирует издание «Избранной библиотеки английской поэзии» — ряда поэтических сборников со вступительными статьями и комментариями Скотта.

Скотт переделывает для нового издания свою работу о Драйдене.

Джеймс Баллантайн предпринимает выпуск «Исторических романов автора „Уэверли“» в шести томах — переиздание ранее написанных произведений.

Осень.

Скотт начинает работу над романом «Приключения Найджела».

Начало декабря.

Выходит в свет роман «Пират».

1822

Январь.

В Эдинбурге основана газета «Бикон» («Маяк»), одним из учредителей которой является Скотт. Эта газета просуществовала всего восемь месяцев, но резкость ее статей едва не стоила Скотту жизни: обиженный газетой адвокат Гибсон хотел вызвать его на дуэль и передумал, лишь когда ему доказали, что Скотт лично не участвовал в издании газеты. Несколькими месяцами позже на дуэли по аналогичным мотивам был убит друг Скотта Александр Босуэл.

Февраль.

Скотт работает над пьесой «Хэлидон-хилл».

Весна.

Джеймс Баллантайн снова становится со-владельцем фирмы, компаньоном Скотта.

В марте в своих «Письмах из Берлина» Генрих Гейне пишет об успехе Вальтера Скотта в Германии: «Но как мне перейти... к произведениям сэра Вальтера Скотта? Ибо о них должен я говорить теперь, так как весь Берлин говорит о них... потому что их повсюду читают, возносят, критикуют, разносят и опять читают. От графини до швей, от графа до мальчишки-рассыльного — все зачитываются романами великого шотландца, особенно наши чувствительные дамы. Они ложатся спать с «Уэверли», встают с «Роб Роем» и целый день держат в руках «Черного карлика». Особенный фурор произвел роман «Кенилворт». Так как здесь очень немногие наделены

свыше хорошим знанием английского языка, то большая часть нашего читательского мира вынуждена пользоваться французскими и немецкими переводами, в которых и нет недостатка. Уже объявлено о выходе последнего романа Скотта «Пират» в четырех переводах... На блестящем маскараде, устроенном на одном празднике, появилось большинство героев скоттовских романов в их характерном облике. Об этом празднике и об этих образах тоже говорят здесь целую неделю».

В мае Скотт завершает работу над «Приключениями Найджела». 30-го роман выходит в свет. Публика принимает его горячо. Констебл пишет, что это новое произведение «затмивает, если только это возможно, по своей популярности все предшествовавшие романы».

Июнь.

Выходит в свет пьеса «Хэлидон-хилл».

Июль.

Скотт работает над романом «Певерил Пик».

8 августа.

Поэт Крабб навещает Скотта в Эбботсфорде.

14 августа.

Смерть друга Скотта Уильяма Эрскина, знатока елизаветинской драмы и античной литературы. Скотт тяжело переживает кончину Эрскина. «Если когда-либо покидала эту юдоль слез по-настоящему светлая душа, то это была душа Уильяма Эрскина», — пишет он. Скотт хлопочет об установлении королевской пенсии для дочерей Эрскина.

15 — 29 августа.

Пребывание в Эдинбурге короля Георга IV. По замыслу Скотта, город украшает свои дома и улицы шотландскими флагами. Жители города надевают национальные костюмы и устраивают в честь короля торжественный обед в здании парламента. Скотт и король появляются в тартановых юбках и пледах и едут в торжественной процессии верхом, предводительствуемые по средневековым обычаям трубами и герольдами. Роберт Пил в письме к нему Скотта, написанном по поручению короля, по достоинству оценивает организаторскую деятельность писателя и отмечает, что его высокая репутация среди шотландцев, чью психологию он хорошо понимал, облегчила контакт короля с его северными подданными.

Сентябрь.

Скотт пишет биографии писателей Чарльза Джонстона, Лоренса Стерна, Оливера Голдсмита и Сэмюэла Джонсона.

В издании Констебла выходят «Стихи из романов и повестей автора „Уэверли“».

В 1822 году русский журнал «Вестник Европы» (в №№ 9—14) печатает «Песнь последнего менестреля» в переводе с польского М. Каченовского.

1823

Январь.

Выходит в свет роман «Певерил Пик», довольно холодно принятый читателями и критикой.

Скотт обдумывает замысел романа «Квентин Дорвард».

Февраль.

Скотт пишет биографии писателей Гебри Макензи, Орэйса Уолпола, Клары Рив.

«Великого Неизвестного» — автора «Уэверли» — избирают в члены Роксбергского клуба, его особу представляет Вальтер Скотт. В это же время Скотт организует в Шотландии Бэннетайн-клуб, объединявший любителей шотландской старины. Цель организации клуба — публикация произведений, относящихся к шотландской истории и литературе; название дано в честь известного собирателя шотландских песен Джорджа Бэннетайна.

29 мая.

В письме к Анри Бейлю (Стендалю) Байрон восторженно отзываясь о Скотте.

Июнь.

Выход в свет романа «Квентин Дорвард», вначале холодно принятого английской публикой. Но восторженный прием романа во Франции повышает интерес к нему и в Англии.

Июль.

Скотт задумывает роман «Сент-Ронанские воды».

Август.

В Эбботсфорд приезжает писательница Мэрайя Эджуорт — автор семейной хроники владельцев старого ирландского поместья «Замок Рэкрент» и ряда моралистических рассказов.

С Эджуорт у Скотта установилась переписка со времени выхода в свет «Уэверли», вызвавшего восхищение писательницы. Скотт высоко ценил ирландские повести и рассказы Эджуорт. «Если бы мне удалось достичь чудесного дара мисс Эджуорт, — писал он Джейму Баллантайну 10 ноября 1814 года, — умеющей вдохнуть жизнь в каждого из своих персонажей так, что они живут в вашем сознании подобно живым существам, меня бы больше ничто не тревожило».

В Эбботсфорд приезжает Джон Лестер Адольфус, оставивший интересные воспоминания о своих беседах со Скоттом.

Осень.

Скотт позирует художнику Лесли для портрета, заказанного бостонским профессором Тикнором.

Ноябрь.

Начало работы над романом «Редгонтлет».

Декабрь.

Скотт пишет для собрания сочинений английских романистов биографию Сэмюэла Ричардсона и работает над статьей о рыцарском романе для Британской энциклопедии.

Выходит в свет роман «Сент-Ронанские всды».

В России выходят отдельными изданиями переводы «Кенилворта», «Песни последнего менестреля» и поэмы «Рокби» (в прозаическом переводе).

1824

1 января.

Скотт завершает работу над биографией Ричардсона.

Весна.

Скотт публикует в «Эдинбург уикли джорналь» статью-некролог «Смерть лорда Байрона».

Июнь.

Выходит в свет роман «Редгонтлет», не имевший большого успеха у публики.

Скотт работает над подготовкой к переизданию собрания сочинений Свифта. Задумывает два романа из эпохи крестовых походов.

Лето — осень.

Скотт занят отделкой замка Эбботсфорд. Приводятся в порядок библиотека и коллекции предметов старины. Из разных мест прибивают подарки для музея.

Скотт произносит речь о воспитании молодого поколения на открытии Эдинбургской академии.

Заново перерабатывает биографию Свифта.

Работает над биографией радикального просветителя XVIII века Роберта Бэйджа, автора романов «Человек как он есть» (1792) и «Хермстронг, или Человек каким он не стал» (1796). «Хермстронг, — пишет Скотт, — которого автор представляет нам как совершенный идеал человечества, выступает как человек, который, освободившись от того, чему учит любая нянька и любой священник, идет своим путем без всякого религиозного и политического принуждения; как человек, который выводит свои жизненные правила из собственного ума и сопротивляется искушениям страстей потому, что его разум подсказывает ему, что они грозят дурными последствиями».

Скотт работает над биографией романиста и драматурга XVIII века Ричарда Камберленда — одного из представителей радикального сентиментализма в английской литературе эпохи Просвещения.

25 декабря.

В связи с завершением строительства замка Скотт устраивает торжественное новоселье в Эбботсфорде.

В России выходят отдельными изданиями переводы «Пуритан» (перевод В. Соца), «Черного карлика» и «Легенды о Монтрозе» (последние два в переводе с французского). В журналах «Соревнователь просвещения и благотворения» (ч. XXV, № 11) и в «Новостях литературы» (ч. VII, № 7) напечатана баллада «Иванов вечер» («Замок Смальгольм») в переводе В. А. Жуковского.

1825

Май.

Констебл предлагает Скотту новый проект ежемесячного выпуска большими тиражами дешевых томиков под общим названием

«Смесь». Для этой серии Скотт задумывает книгу «Жизнь Наполеона Бонапарта». Кроме того, в эту же серию он собирается дать два романа о крестоносцах: «Обрученные» и «Талисман».

В конце мая в Эдинбурге ставится инсценировка по роману Скотта «Редгонтлет».

Июнь.

Выходят в свет «Обрученные» и «Талисман»; последний имеет большой успех. Скотт работает над очерком по истории французской революции.

8 июля.

Скотт и Локарт выезжают из Эдинбурга в Ирландию, чтобы навестить проходящего там службу капитана Вальтера Скотта, старшего сына писателя, по пути гостят несколько дней у друзей в Ланкашире, затем из Глазго едут пароходом до Бельфаста и 14 июля прибывают в Дублин. Депутация от королевского Дублинского общества устраивает торжественный обед в честь писателя.

15 июля.

Скотт получает письмо от Кайла, главы Тринити-колледжа, о присуждении ему степени доктора прав. Продолжаются торжества в Дублине, связанные с приездом Скотта. Скотт осматривает окрестности Дублина.

1 августа.

Визит Скотта к ирландской писательнице Мэрике Эджуорт в Эджуортстауне. Вместе с ней Скотт посещает район Килларнских озер. «Как я завидую тем, кто будет иметь счастье показать вас и Килларни друг другу. Нет двух других созданий природы, столь достойных встретиться друг с другом», — пишет по этому поводу Скотту ирландский поэт Томас Мур.

18 августа.

Отъезд Скотта из Дублина. На пути в Эдинбург Скотт встречается с Каннингом и Вордсвортом.

Начало сентября.

Скотт возвращается в Эдинбург. Работает над биографией английской писательницы Чарлот Смит (1749—1806), автора романов «Эмелина, сирота из замка» (1788), «Этелинда, или Отшельница озера» (1790) и др.

Октябрь.

Томас Мур посещает Скотта в Эбботсфорде.

Скотт начинает работу над романом «Вудсток».

Ноябрь.

Скотта навещает в Эбботсфорде завершающий свое образование в Шотландии русский студент Владимир Давыдов. Скотт расспрашивает юношу о его знаменитом дяде, поэте-партизанине Денисе Давыдове, чей портрет Скотт держал в своей спальне. Денис Давыдов, узнав об этом, писал Скотту: «Признаюсь Вам, что за всю мою военную карьеру и даже за всю жизнь не было для меня ничего более лестного! Быть объектом интереса со стороны первого гения эпохи, самым страстным и пылким поклонником которого я состою, — это не только честь, это, я бы сказал, подлинное счастье, о котором я никогда не смел и подумать...» Скотт ответил Давыдову: «Немалая честь для меня, живущего на покое, быть предметом столь лестного мнения человека, справедливо вызывающего восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в час грозной опасности...» Позднее Скотт послал Давыдову свой портрет, а Давыдов Скотту оружие кавказских горцев для его коллекции.

20-го Скотт делает первую запись в дневнике, который он продолжает вести до конца своей жизни.

Середина декабря.

Паника в Лондоне в связи с крахом крупного банка; финансовые затруднения издательских фирм усиливаются.

Финансовый бум, который характеризовал начало 1825 года, переходит в глубокий экономический кризис, роковым образом отразившийся на делах фирм, связанных с Вальтером Скоттом.

Конец декабря.

Скотт работает над вступительной статьей и комментариями к английскому переизданию вышедших в Бордо в 1815 году мемуаров мадам Парошжакелли, рисующих судьбы французских эмигрантов в период французской буржуазной революции. Пишет статью для «Куортерли ревью» по поводу первого издания (1825) дневника английского политического деятеля эпохи Реставрации Стюартов Сэмюэла Пеписа.

26 декабря приступ желчнокаменной болезни укладывает Скотта в постель.

В России публикуются произведения Скотта: «Эдинбургская темница» (перевод с французского А. З.), «Аббат» (перевод Политковского), «Редгонтлет» («Сын отечества», ч. 103, № 18, отд. I; отрывок в переводе с французского Сомова), «Трирменская свадьба» (прозаический перевод с французского), «Рокби» («Московский телеграф», ч. II, № 8, отд. I, перевод Волкова), статьи о Лесаже («Сын отечества», ч. 104, № 23 и 24, отд. II) и о Байроне («Московский телеграф», ч. I, № 1, отд. I, перевод А. К.). В журнале «Московский телеграф» (ч. 6, № 21, отд. III) Н. Полевой публикует рецензию на перевод «Трирменской свадьбы».

1826

Январь.

Встреча Локарта с Констеблом в Лондоне. Констебл испытывает сильнейшие финансовые затруднения.

16-го Скотт переезжает в Эдинбург.

Банкротство фирмы «Констебл и К^о» и связанное с этим банкротство фирмы Баллантайна, в результате которых на Скотта обрушивается общая задолженность в 130 000 фунтов стерлингов. Скотт мог бы выплатить лишь часть своего долга, как это делали другие обанкротившиеся коммерсанты, но он решает, что никто не должен потерять ни одного пенни по его вине. Он принимает на себя обязательство выплатить всю сумму долга за счет своего писательского труда.

20-го совещание кредиторов Скотта обсуждает проблему возмещения его долгов. Подписывается соглашение, по которому Скотту оставляют здание и земли Эбботсфорда и не накладывают арест на его жалованье шерифа и секретаря эдинбургского суда.

Февраль.

В «Эдинбург уикли джорнал» Скотт публикует серию писем под общим названием «Письма Малаки Мэлегроутера», которые затем были изданы Блэквудом в виде отдельного памфлета. Статьи содержали полемику с английским правительством, проводившим финансовую реформу, и произвели огромное впечатление.

чатление в Шотландии и в Англии. Результатом выступления Скотта явилась отмена запрещения шотландским банкам выпускать собственные ассигнации.

Весна.

Скотт покидает свой дом на Норт-касл-стрит в Эдинбурге, где он прожил двадцать восемь лет, и переезжает в Эбботсфорд.

Скотт продолжает работу над романом «Вудсток». Пишет статью для «Куортерли ревью» об английском актере Джоне Филиппе Кембле в связи с выходом его биографии, написанной Боденом, а также рецензию на воспоминания сентименталистского драматурга XVIII века Хью Келли.

Задумывает новую серию произведений под названием «Кэнонгейтская хроника».

В мае выходит в свет роман «Вудсток», горячо принятый читателями.

10 мая Скотт выезжает в Эдинбург на судебную сессию. Для своего зимнего местопребывания он снимает небольшое помещение в доме на Норт-Сент-Дэвид-стрит.

15-го умирает жена Скотта.

*Октябрь —
ноябрь.*

В связи с работой над «Жизнью Наполеона Бонапарта» Скотт совершает поездку в Лондон и Париж. Во время пребывания в Лондоне, куда он приезжает 12 октября, навещает своего друга Морита. Король Георг IV устраивает в Уиндзоре завтрак в честь Скотта. В Париже, где Скотт проводит две недели (конец октября — начало ноября), он слушает в театре «Одеон» оперу, написанную на сюжет «Айвенго» (музыка по мотивам из опер Россини), беседует в Тюильри с королем Карлом X, с маршалом Макдональдом и маршалом Мармоном. По возвращении из Франции в Лондон позирует художнику Томасу Лоренсу для портрета, начатого еще в 1820 году, много раз беседует с герцогом Веллингтоном, собирая материал для своей «Жизни Наполеона Бонапарта». Ненадолго заезжает в Оксфорд к своему сыну Чарлзу и хлопочет о предоставлении ему поста в министерстве иностранных дел.

27 ноября возвращается в Эдинбург, где снимает меблированные комнаты на Уокер-стрит.

Конец декабря.

Скотт проводит рождественские каникулы в Эбботсфорде.

В России выходит отдельным изданием «Айвенго» (перевод с французского Ковтырева); в журналах публикуются отрывки из «Талисмана» и «Вудстока» («Московский телеграф», ч. XI, № 17 и № 18, отд. II), а также статья Скотта о жизни и творчестве Анны Рэдклиф («Сын отечества», ч. 105, № 2).

1827

12 января.

Гёте пишет Скотту письмо, в котором очень тепло отзываясь о поэзии Байрона и о творчестве самого Скотта, а также благодарит его за то, что Скотт своим переводом его драмы «Гёц фон Берлихинген» способствовал в свое время росту популярности Гёте в Англии. Ответ Скотта не сохранился, однако известно, что в своем письме он также выражал восхищение творчеством великого немецкого поэта.

23 февраля.

Скотт председательствует на благотворительном обеде Театрального фонда в пользу престарелых актеров. Здесь он впервые публично признает себя автором «Узверли».

Апрель.

Скотт пишет для «Куортерли ревью» статью о книге Генри Макензи «Жизнь и творчество Джона Хоума» (Джон Хоум — участник якобитского восстания 1745 года, автор предромантической трагедии «Дуглас», за которую он был лишен священнического сана). Статья Скотта полна воспоминаний о литературной жизни Шотландии в годы его молодости.

Лето.

В июне выходит «Жизнь Наполеона Бонапарта» в девяти томах, написанная с консервативных позиций, осуждающая вождей французской революции и восхваляющая реставрацию Бурбонов. Книга эта вызывает резкое осуждение со стороны революционно-демокра-

тической критики. «Бедный Вальтер Скотт! Будь ты богат, ты не написал бы этой книги и не стал бы бедным Вальтером Скоттом», — писал Генрих Гейне в «Путевых картинах». «На чем сбили Вальтера Скотта экономические расчеты и выкладки? На истории, а не на романах», — писал Белинский в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (1836).

Скотт пишет для недавно основанного журнала «Фореин куортерли ревью» статью «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана», задумывает книгу для детей «Рассказы деда», в которой собирается изложить в художественной форме ряд эпизодов из истории Шотландии, работает над «Кэнонгейтской хроникой». В августе Скотта навещает критик Адольфус.

Гурго, французский генерал из свиты Наполеона во время заключения бывшего императора на острове Святой Елены, посылает в лондонские газеты статью, где обвиняет в клевете Вальтера Скотта, который в своей «Жизни Наполеона Бонапарта» изобличил Гурго в двуличном поведении.

14 сентября.

Скотт направляет издателю «Эдинбург уикли джорнал» письмо, которое опровергает выступление Гурго. Последний отвечает Скотту еще более яростными нападка. Ходят слухи о предстоящей дуэли Скотта и Гурго. Английское общественное мнение, единодушно выраженное в газетах самых разных направлений, оказывается на стороне Скотта. Угроза Скотта опубликовать во французской печати документы, на основе которых он писал книгу, заставляют Гурго прекратить свои выступления.

*Вторая половина
сентября,*

Скотт едет в Эдинбург, оттуда — в Гриннок и на обратном пути заезжает в Блитсвуд к своему родственнику Кэмпбелу; в его парке он осматривает камень Аргайла, отмечающий место, где шотландский национальный герой был взят в плен в 1685 году. По дороге домой навещает своего старого друга Джорджа Крэнстоуна в его старинном замке Корхауз у Клайдского водопада. Выезжает в Дарэм для встречи с герцогом Веллингтоном.

Октябрь.

Скотт пишет для «Куортерли ревью» очерк «Освоение невозделанных земель», представляющий собой главу из его автобиографии.

Ноябрь.

Выходит в свет первая серия «Кэнонгейтской хроники» (рассказы: «Вдова горца», «Два гуртовщика» и «Дочь врача»).

Начинает работу над романом «Пертская красавица». Пишет для «Куортерли ревью» очерк «О декоративном садоводстве», являющийся своеобразным продолжением очерка «Освоение невозделанных земель». Работает над биографией Джорджа Бэннетайна.

В России растет интерес к творчеству Скотта. В 1827 году выходят отдельными изданиями «Уэверли» (в переводе с французского), «Ламмермурская невеста», «Квентин Дорвард» (перевод с французского А. И. Писарева), «Талисман», «Битва при Ватерлоо» (в последнее вошли также отрывки из поэм и баллад в прозаическом переводе), поэма «Повелитель островов» (в прозаическом переводе), «Письма Павла к его родне» (сразу в двух изданиях) и отрывки из «Жизни Наполеона Бонапарта» («Московский телеграф», ч. XVI, № 14, отд. II и ч. XVII, № 18, отд. I). Кроме того, в этом году и в предшествующие годы выходит ряд романов, приписываемых Скотту. Подобные подделки выходили не только в России, но и в других странах, в том числе и в Англии.

1828

Начало года.

Выходит в свет томик проповедей, написанных Скоттом и озаглавленных «Религиозные рассуждения мирянина». Проповеди эти Скотт написал, желая помочь молодому священнику Гордону, глухота которого послужила церковной общине предлогом для отстранения его от службы в данном приходе.

Март.

Скотт пишет для «Куортерли ревью» статью «О ландшафтном садоводстве» и для «Форейн куортерли ревью» статью о Мольере.

Апрель.

Выходит в свет роман «Пертская красавица», составивший второй выпуск «Кэнонгейтской хроники».

Скотт работает над романом «Анна Гейерштейн» и новой серией «Рассказов деда», а также над вступительной статьей и комментариями к полному собранию его романов (это издание он называет своим *Opus Magnum*¹).

9-го Скотт выезжает в Лондон. Навещает дочь и сыновей, обедает с Колриджем и с Фенимором Купером, с которым он познакомился еще раньше в Париже.

Май.

Скотт платит долги своего обанкротившегося друга, актера и управляющего театра Адельфи в Лондоне Дэниела Тери, за платежеспособность которого он поручился в 1825 году.

Художник Хейдон делает набросок головы Скотта.

28-го Скотт выезжает из Лондона.

Конец года.

Выход в свет второй серии «Рассказов деда» в трех томах.

В России выходят отдельным изданием «Редгонтлет» (перевод с французского), «Сент-Ронанские воды» (перевод М. Вознесенского), в прозаических переводах с французского выходят поэмы «Дева озера», «Видение дон Родерика» и «Мармион». Журнал «Сын отечества» публикует перевод рассказа «Вдова горца»; «Московский телеграф» помещает рецензии на русские издания произведений Скотта (№№ 11, 16). В увидевшей свет в том же году «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина» среди переводной литературы больше всего перечислено романов Скотта (двадцать восемь номеров).

Большой успех имел роман «Сент-Ронанские воды». Впоследствии Белинский писал в статье «Разделение поэзии на роды и виды», что роман этот «несравненно выше и, так сказать, *человечнее*» «Ламмермурской невесты», которую он также оценивал весьма высоко.

¹ Великим трудом (лат.).

1829

29 апреля.

Скотт завершает работу над романом «Анна Гейерштейн».

Продолжает работу над вступительной статьей и комментариями к полному собранию своих романов (в 1829 году вышло восемь томов этого издания).

Начинает работу над «Историей Шотландии» для энциклопедии Ларднера.

Середина мая.

Выходит в свет и имеет большой успех у читателей роман «Анна Гейерштейн» в трех томах.

Вторая половина года.

Выходит в свет первый том «Истории Шотландии» и третья серия «Рассказов деда» в трех томах.

В России выходят отдельным изданием: «Роб Рой», «Легенда о Монтрозе», «Монастырь», «Пират», «Приключения Найджела», «Вудсток» (два издания), «Пертская красавица», Журнал «Галатей» публикует отрывки из «Кэнонгейтской хроники» (ч. VI, №№ 30 и 31) и из романа «Анна Гейерштейн» (ч. VIII, №№ 37—39); журнал «Сын отечества и Северный архив» (т. VII, №№ 44—46, отд. VIII) — статью «О сверхъестественном».

1830

Начало года.

Скотт пишет рецензию на книгу Питкерна «Старинные уголовные процессы».

15 февраля.

Болезнь Скотта — первый апоплексический удар.

Весна.

Скотт пишет «Письма о демонологии и колдовстве», очерк «Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских (преимущественно шотландских) баллад», работает над четвертой серией «Рассказов деда», посвященных на этот раз истории Франции, продолжает работу над комментариями к полному собранию своих романов.

В мае выходит в свет второй том «Истории Шотландии».

Август.

Скотт пишет рецензию на книгу Роберта Саути «Жизнь Баньяна» — об английском пуританском поэте XVII века, авторе «Пути паломника».

Осень.

Скотт подает в отставку и выходит на пенсию. С этого времени почти безвыездно живет в Эбботсфорде.

В ноябре его поражает второй апоплексический удар.

Скотт работает над романом «Граф Роберт Парижский».

В Англии ширится движение народных масс за избирательную реформу. Происходит падение торийского кабинета Веллингтона. Новый король Вильгельм IV (1830—1837) призывает к власти министерство вигов во главе с лордом Греем. Новый кабинет состоит из сторонников реформы. Скотт вместе с другими торями борется против избирательной реформы.

17 декабря.

Собрание кредиторов Скотта возвращает ему право собственности на мебель, посуду, библиотеку и коллекции Эбботсфорда в знак признания «его в высшей степени благородного поведения и в благодарность за те беспрецедентные и весьма плодотворные усилия, которые он приложил и продолжает прилагать» в погашении долга. «Мой дорогой сэр, — пишет Скотт на следующий день председателю этого собрания Джорджу Форбзу. — Я был в высшей степени обрадован содержанием Вашего письма, которое не только предоставляет мне возможность есть моими собственными ложками и читать книги из моей собственной библиотеки, но и дает мне еще большее удовлетворение от сознания того, что мой образ действий был одобрен заинтересованными лицами».

В России выходят отдельным изданием «Певерил Пик», «Кэнонгейтская хроника», «Анна Гейерштейн»; в журнале «Московский телеграф» (ч. XXXV, № 19—21) печатаются «Письма о демонологии и колдовстве»; в «Галатее» (ч. XVI, № 30) — «Автобиография» Скотта.

К этому же году относится заметка Пушкина о Скотте: «Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure*¹ французских трагедий, не с чопорностью чувствительных романов, не с *dignité*² истории, но современно, но домашним образом. Шекспир, Гёте, Вальтер Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих *la dignité et la noblesse*...³»

1831

- 31 января.** Скотт едет в Эдинбург, чтобы составить свое завещание.
- 21 марта.** На собрании в Джеббурге Скотт выступает с консервативных позиций против избирательной реформы. Его освистывают.
- 16 апреля.** Третий апоплексический удар.
- 14 июня.** Выборы в парламент дают перевес сторонникам избирательной реформы, что приводит через год после сложной политической борьбы к принятию билля о реформе. В день выборов в Джеббурге экипаж Скотта забрасывают камнями.
- Июль.** Скотт начинает работу над романом «Замок Опасный». 18-го Скотт вместе с Локартом выезжает в Дугласдейл, чтобы осмотреть место действия своего нового романа.
- Сентябрь.** В Эбботсфорде гостят критик Адольфус и художник Тернер, приехавший в Шотландию для того, чтобы подготовить эскизы иллюстраций к поэмам Вальтера Скотта. 21-го туда приезжает Вордсворт с дочерью и племянником. 23-го Скотт выезжает в Лондон. Врачи рекомендуют ему провести зиму вне Англии,

¹ Напыщенностью (франц.).

² Достоинством (франц.).

³ Достоинство и благородство (франц.).

29 октября.

Правительство предоставляет Скотту для его путешествия по Средиземному морю фрегат «Барэм». Скотт отплывает из Портсмута на остров Мальта.

Ноябрь.

Выходит в свет «Замок Опасный», составивший вместе с «Графом Робертом Парижским» четвертую серию «Рассказов трактирщика».

22-го Скотт прибывает на остров Мальта.

Задумывает роман «Осада Мальты» и рассказ «Бицарро».

17 декабря.

Прибытие Скотта в Неаполь. Скотт совершает экскурсию в Помпеи, посещает неаполитанский двор, беседует, одевшись в форму шотландского лучника, с королем и архиепископом Тарентским.

В России выходят в свет «Жизнь Наполеона Бонапарта» и «История Шотландии».

1832

Январь —
февраль.

Скотт собирает неаполитанские и сицилийские баллады, работает над романом «Осада Мальты» и рассказом «Бицарро».

Задумывает поэму в стиле «Девы озера», которая должна, по его замыслу, завершить собрание его романов.

Скотт хочет ехать домой через Германию, чтобы увидеться с Гёте в Веймаре.

22 марта.

Смерть Гёте. Узнав об этом, Скотт восклицает: «Он-то, во всяком случае, умер дома. Едем в Эбботсфорд!»

Апрель.

16-го Скотт выезжает в экипаже из Неаполя на север Италии. Сопровождавший его сын Вальтер возвращается в полк, и его сменяет другой сын — Чарлз. Скотт проводит три недели в Риме.

11 мая.

Отъезд из Рима.

Вторая половина
мая — начало
июня.

19 мая Скотт приезжает в Венецию.

Едет через Тироль в Германию (Мюнхен, Ульм, Гейдельберг, Франкфурт, Майнц). В Майнце Скотта посещает немецкий философ

Артур Шопенгауер; Скотт не может его принять ввиду болезни и отправляет ему письмо с извинениями.

Путешествует по Рейну на пароходе, и здесь 9 июня его разбивает четвертый апоплексический удар. Тем не менее он решает продолжать поездку.

11 июня Скотта вносят на корабль в Роттердаме.

13 июня.

Скотт прибывает в Лондон, в отель на Джермин-стрит, где он лежит три недели. Из Эдинбурга приезжает его издатель и друг Кэделл. Болезнь Скотта вызывает всенародную скорбь в Англии. Сведения о его здоровье ежедневно публикуются в газетах и сообщаются в королевский дворец.

7 июля.

Отъезд Скотта из Лондона.

9 июля.

Приезд в Нью-Хэвен.

11 июля.

Переезд в Эбботсфорд.

11 сентября.

Резкое обострение болезни.

21 сентября.

Смерть Вальтера Скотта. Все шотландские и часть английских газет выходят с траурными знаками, как при объявлении о смерти коронованных особ.

26 сентября.

Похороны Вальтера Скотта в аббатстве Драйбург.

ЛЕВИНТОН

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
произведений, вошедших в собрание сочинений
Вальтера Скотта в двадцати томах

Аббат — X

Айвенго — VIII

Антикварий — III

Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках
британских (преимущественно шотландских) баллад — XX, 653

Вдова горца — XVIII, 547

Вудсток, или Кавалер — XVII

Гай Мэннеринг, или Астролог — II

Граф Роберт Парижский — XX, 5

Два гуртовщика — XVIII, 627

Дева озера — XIX, 480

Дневники (Отрывки) — XX, 694

Зеркало тетушки Маргарет — XVIII, 660

Квентин Дорвард — XV

Кенилворт — XI

Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье — XVIII,
702

Ламмермурская невеста — VII, 5

Легенда о Монтрозе — VII, 367

Монастырь — IX

Наследие Роберта Бернса, состоящее преимущественно из писем, стихотворений и критических заметок о шотландских песнях — XX, 449

О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана — XX, 602

Певерил Пик — XIV

Пертская красавица, или Валентинов день — XVIII, 5

Песнь последнего менестреля — XIX, 383

Пират — XII

Поле Ватерлоо — XIX, 622

Приключения Найджела — XIII

Пуритане — IV, 179

«Рассказы трактирщика» — XX, 527

Роб Рой — V

Сент-Ронанские воды — XVI

Смерть лорда Байрона — XX, 595

Стихотворения — XIX, 639

Аллен-э-Дейл — 692

Арфа — 694

Битва при Земпахе — 668

Владыка огня — 662

Военная песня клана Макгрегор — 702

Гленфинлас, или Плач по лорду Роналду — 641

Даме, преподнося ей цветы с римской стены — 674

Дева из Нидпаса — 680

Дева Торо — 678

Джок из Хэзелдина — 700

Доналд Кэрд вернулся к нам — 707

«Закат окрасил гладь озер...» — 711

Замок Кэдьо — 655
Замок семи щитов — 666
Иванов вечер — 649
«Идем мы с войны...» — 710
Инок — 696
К луне — 688
«Как бы ветры ни гудели...» — 713
Кипарисовый венок — 693
Клятва Норы — 701
«Когда друзья сойдутся в круг...» — 713
Колыбельная юному вождю — 700
Лохинвар — 687
Маяк — 697
«Миля Брайнгельских тень лесов...» — 689
«Мы с детства сроднились с тревожной трубою...» — 712
«О дева! Жребий твой жесток...» — 691
Островитянка — 709
Охотничья песня — 683
Паломник — 679
Песня пажы — 685
Печальная перемена — 703
Победная песнь — 675
Покаяние — 717
Похоронная песнь Мак-Криммона — 706
Прощальная речь мистера Кембла — 704
Прощание — 695
Прощание с Маккензи — 699
Прощание с музой — 709
Разбойник — 741
Резня в Гленко — 697
Решение — 684
Скиталец Уилли — 681
Суд в подземелье — 724
«Тверда рука, и зорок глаз...» — 712

Умирающий бард — 677

Фиалка — 674

Хелвеллии — 676

«Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь III), «Шильонский узник», «Сон» и другие поэмы лорда Байрона — XX, 473

Талисман — XIX, 5

Уэверли, или Шестьдесят лет назад — I

Черный карлик — IV, 5

Эдинбургская темница — VI

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЖСКИЙ

Глава I	7
Глава II	15
Глава III	45
Глава IV	66
Глава V	87
Глава VI	105
Глава VII	112
Глава VIII	129
Глава IX	140
Глава X	157
Глава XI	174
Глава XII	179
Глава XIII	184
Глава XIV	209
Глава XV	222
Глава XVI	233
Глава XVII	246
Глава XVIII	254
Глава XIX	272
Глава XX	283
Глава XXI	303
Глава XXII	313
Глава XXIII	320
Глава XXIV	335
Глава XXV	346
Глава XXVI	352

<i>Глава XXVII</i>	370
<i>Глава XXVIII</i>	380
<i>Глава XXIX</i>	389
<i>Глава XXX</i>	400
<i>Глава XXXI</i>	407
<i>Глава XXXII</i>	418
<i>Глава XXXIII</i>	424
<i>Глава XXXIV</i>	440

СТАТЬИ И ДНЕВНИКИ

Наследие Роберта Бернса, состоящее преимущественно из писем, стихотворений и критических заметок о шотландских песнях. <i>Перевод С. В. Петрова</i>	449
«Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь III), «Шильонский узник», «Сон» и другие поэмы лорда Байрона. <i>Перевод Е. Т. Танка</i>	473
«Рассказы трактирщика». <i>Перевод Л. Ю. Виндт</i>	527
Смерть лорда Байрона. <i>Перевод Е. Т. Танка</i>	595
О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. <i>Перевод А. Г. Левинтона</i>	602
Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских (преимущественно шотландских) баллад. <i>Перевод Е. Т. Танка</i>	653
Дневники (Отрывки). <i>Перевод Ю. Д. Левина</i>	694
Комментарии	723
Краткая летопись жизни и творчества Вальтера Скотта. <i>Составлена А. Г. Левинтоном</i>	786
Алфавитный указатель произведений, вошедших в собрание сочинений Вальтера Скотта	833

Б. Т. Грибановым переведены главы I—XV романа «Граф Роберт Парижский», *Н. С. Надеждиной* — главы XVI—XXXIV. Составителем раздела «Статьи и дневники» является *Ю. Д. Левин*.

ВАЛЬТЕР СКОТТ
Собрание сочинений, т. 20

*Редакторы Н. Толстая
и Г. Бергельсон*

*Художник Б. Воронецкий
Художественный редактор
Л. Чалова*

*Технический редактор
Э. Марковская
Корректор В. Урес*

Сдано в набор 16/VI 1965 г.
Подписано к печати 4/IX 1965 г.
Бумага 84×108¹/₃₂ — 26,25 печ.
л. = 44,1 усл. печ. л. Уч.-изд. л.
41,134. Тираж 298 000 экз. Заказ
№ 1752, Цена 1 р. 15 к.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 1
«Печатный Двор» имени
А. М. Горького Главполиграф-
прома Государственного коми-
тета Совета Министров СССР
по печати, Гатчинская, 26